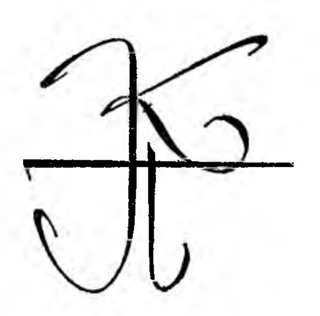
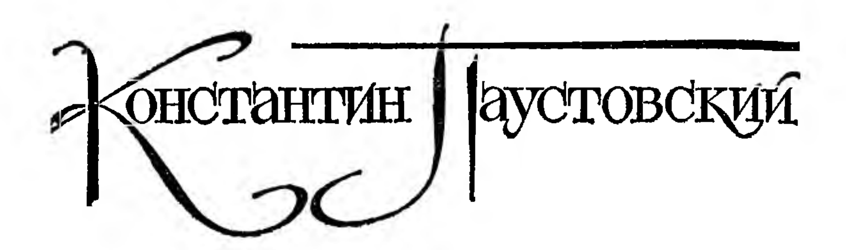
Константин Паустовский

3

Константин Паустовский 3



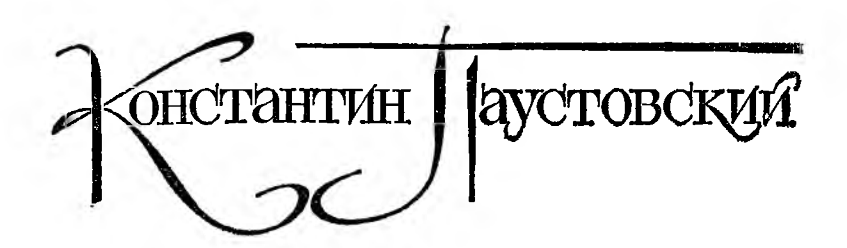


СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

В ДЕВЯТИ ТОМАХ



МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1982



СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

ТОМ ТРЕТИЙ

•

ПОВЕСТИ

•



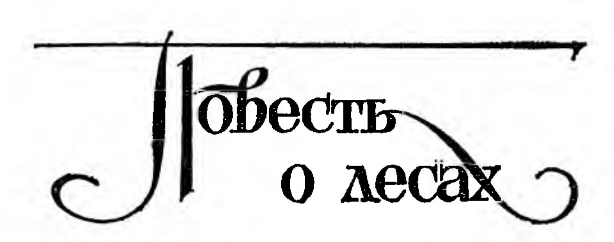
МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1982

Р2
П 21

Примечания
Л. Левицкого

Оформление художника
Е. Гольдина

П $\frac{4702010200\text{-}352}{028(01)\ 82}$ подписное


Повесть
о лесах

Краса полуночной природы,
Любовь очей, моя страна!

Языков

СКРИПУЧИЕ ПОЛОВИЦЫ

Дом рассохся от старости. А может быть, и от того, что он стоял на поляне в сосновом лесу и от сосен все лето тянуло жаром. Иногда дул ветер, но он не проникал даже в открытые окна мезонина. Он только шумел в вершинах сосен и проносил над ними вереницы кучевых облаков.

Чайковскому нравился этот деревянный дом. В комнатах слабо пахло скипидаром и белыми гвоздиками. Они в изобилии цвели на поляне перед крыльцом. Растрепанные, высохшие, они даже не были похожи на цветы, а напоминали клочья пуха, прилипшего к стебелькам.

Единственное, что раздражало композитора,— это скрипучие половицы. Чтобы пройти от двери к роялю, надо было переступить через пять шатких половиц. Со стороны это выглядело, должно быть, забавно, когда пожилой композитор пробирался к роялю, приглядываясь к половицам прищуренными глазами.

Если удавалось пройти так, чтобы ни одна из них не скрипнула, Чайковский садился за рояль и усмехался. Неприятное осталось позади, а сейчас начнется удивительное и веселое: рассохшийся дом запоет от первых же звуков рояля. На любую клавишу отзовутся тончайшим резонансом сухие стропила, двери и старушка люстра, потерявшая половину своих хрусталей, похожих на дубовые листья.

Самая простая музыкальная тема разыгрывалась этим домом как симфония.

«Прекрасная оркестровка!» — думал Чайковский, восхищаясь певучестью дерева.

С некоторых пор Чайковскому начало казаться, что дом уже с утра ждет, когда композитор, напившись кофе, сядет за рояль. Дом скучал без звуков.

Иногда ночью, просыпаясь, Чайковский слышал, как, потрескивая, пропоет то одна, то другая половица, как бы вспомнив его дневную музыку и выхватив из нее любимую ноту. Еще это напоминало оркестр перед увертюрой, когда оркестранты настраивают инструменты. То тут, то там — то на чердаке, то в маленьком зале, то в застекленной прихожей — кто-то трогал струну. Чайковский сквозь сон улавливал мелодию, но, проснувшись утром, забывал ее. Он напрягал память и вздыхал: как жаль, что ночное треньканье деревянного дома нельзя сейчас проиграть! Проиграть незамысловатую песню пересохшего дерева, оконных стекол с обвалившейся замазкой, ветра, постучавшего веткой по крыше.

Прислушиваясь к ночным звукам, он часто думал, что вот проходит жизнь, а ничего еще толком не сделано. Все написанное — только небогатая дань своему народу, друзьям, любимому поэту Александру Сергеевичу Пушкину. Но еще ни разу ему не удалось передать тот легкий восторг, что возникает от зрелища радуги, от ауканья крестьянских девушек в чаще, от самых простых явлений окружающей жизни.

Чем проще было то, что он видел, тем труднее оно ложилось на музыку. Как передать хотя бы вчерашний случай, когда он укрылся от проливного дождя в избе у объездчика Тихона! В избу вбежала Феня — дочь Тихона, девочка лет пятнадцати. С ее волос стекали капли дождя. Две капли повисли на кончиках маленьких ушей. Когда из-за тучи ударило солнце, капли в ушах у Фени заблестели, как алмазные серьги.

Чайковский любовался девочкой. Но Феня стряхнула капли, все кончилось, и он понял, что никакой музыкой не сможет передать прелесть этих мимолетных капель.

А Фет распевал в своих стихах: «Лишь у тебя, поэт, крылатый слова звук хватает на лету и закрепляет вдруг и темный бред души, и трав неясный запах...»

Нет, очевидно, это ему не дано. Он никогда не ждал вдохновения. Он работал, работал, как поденщик, как вол, и вдохновение рождалось в работе.

Пожалуй, больше всего ему помогали леса, лесной дом, где он гостил этим летом, просеки, заросли, заброшенные

дороги — в их колеях, налитых дождем, отражался в сумерках серп месяца,— этот удивительный воздух и всегда немного печальные русские закаты.

Он не променяет эти туманые зори ни на какие великолепные позлащенные закаты Италии. Он без остатка отдал свое сердце России — ее лесам и деревушкам, околицам, тропинкам и песням. Но с каждым днем его все больше мучает невозможность выразить всю поэзию своей страны. Он должен добиться этого. Нужно только не щадить себя.

К счастью, в жизни выдаются удивительные дни — вот такие, как сегодняшний. Он проснулся очень рано и несколько минут не двигался, прислушиваясь к перезвону лесных жаворонков. Даже не глядя в окно, он знал, что в лесу лежат росистые тени.

На соседней сосне куковала кукушка. Он встал, подошел к окну, закурил.

Дом стоял на пригорке. Леса уходили вниз, в веселую даль, где лежало среди зарослей озеро. Там у композитора было любимое место — оно называлось Рудым Яром.

Самая дорога к Яру всегда вызывала волнение. Бывало, зимой, в сырой гостинице в Риме, он просыпался среди ночи и начинал шаг за шагом вспоминать эту дорогу: сначала по просеке, где около пней цветет розовый иван-чай, потом березовым грибным мелколесьем, потом через поломанный мост над заросшей речкой и по изволоку — вверх, в корабельный бор.

Он вспоминал этот путь, и у него тяжело билось сердце. Это место казалось ему наилучшим выражением русской природы.

Он окликнул слугу и заторопил его, чтобы поскорее умыться, выпить кофе и идти на Рудой Яр. Он знал, что сегодня, побывав там, он вернется — и давно живущая где-то внутри любимая тема о лирической силе этой лесной стороны перельется через край и хлынет потоками звуков.

Так и случилось. Он долго простоял на обрыве Рудого Яра. С зарослей липы и бересклета капала роса. Столько сырого блеска было вокруг, что он невольно прищурил глаза.

Но больше всего в этот день Чайковского поразил свет. Он вглядывался в него, видел всё новые пласты света, падавшие на знакомые леса. Как только он раньше не замечал этого?

С неба свет лился прямыми потоками, и под этим светом особенно выпуклыми и кудрявыми казались вершины леса, видного сверху, с обрыва.

На опушку падали косые лучи, и ближайшие стволы сосен были того мягкого золотистого оттенка, какой бывает у тонкой сосновой дощечки, освещенной сзади свечой. И с необыкновенной в то утро зоркостью он заметил, что сосновые стволы тоже отбрасывают свет на подлесок и на траву — очень слабый, но такого же золотистого, розоватого тона.

И, наконец, он увидел сегодня, как заросли ив и ольхи над озером были освещены снизу голубоватым отблеском воды.

Знакомый край был весь обласкан светом, просвечен им до последней травинки. Разнообразие и сила освещения вызвали у Чайковского то состояние, когда кажется, что вот-вот случится что-то необыкновенное, похожее па чудо. Он испытывал это состояние и раньше. Его нельзя было терять. Надо было тотчас возвращаться домой, садиться за рояль и наспех записывать проигранное на листках нотной бумаги.

Чайковский быстро пошел к дому. На поляне стояла высокая раскидистая сосна. Ее он прозвал «маяком». Она тихо шумела, хотя ветра и не было. Он, не останавливаясь, провел рукой по ее нагретой коре.

Дома он приказал слуге никого к себе не пускать, прошел в маленький зал, запер дребезжащую дверь и сел к роялю.

Он играл. Вступление к теме казалось расплывчатым и сложным. Он добивался ясности мелодии — такой, чтобы она была понятна и мила и Фене, и даже старому Василию, ворчливому леснику из соседней помещичьей усадьбы.

Он играл, не зная, что Феня принесла ему махотку земляники, сидит на крыльце, крепко сжимает загорелыми пальцами концы белого головного платка и, приоткрыв рот, слушает. А потом приплелся Василий, сел рядом с Феней, отказался от городской папироски, предложенной слугой, и скрутил цигарку из самосада.

— Играет? — спросил, подымив цигаркой, Василий.— Прекратить, говоришь, нельзя?

— Никак! — ответил слуга и усмехнулся на необразованность лесника.— Он музыку сочиняет. Это, Василий Ефимыч, святое дело.

— Дело, конечно, святое,— согласился Василий.— А ты бы все-таки доложил.

— И не просите. Надо же иметь понимание вещей.

— А мы что ж, не понимаем? — рассердился Василий.— Ты, брат, охраняй, да в меру. Мое дело, ежели разобраться, поважнее, чем этот рояль.

— Ой! — вздохнула Феня и еще туже затянула концы платка.— Весь бы день слухала!

Глаза у нее были серые, удивленные, и в них виднелись коричневые искорки.

— Вот,— сказал с укором слуга,— девчонка босоногая, и та чувствует! А ты протестуешь! Смыслу от тебя не добьешься. И неизвестно, за каким ты делом пришел.

— Я не в трактир пришел,— ответил бранчливо Василий.— В трактире встретимся — будем лаяться, кипеть до утра. Я к Петру Ильичу за советом пришел.

Он снял шапку, поскреб серые космы, потом нахлобучил шапку и сказал:

— Слыхали небось? Помещик мой не вытянул, ослаб. Весь лес продал.

— Да ну!

— Вот тебе и ну! Ну да ну, повесь язык на сосну!

— Ты чего вяжешься? — обиделся слуга.— А то я и ответить могу!

— Жилетку ты носишь бархатную,— пробормотал Василий,— с кармашками. А что в них класть, неведомо. Леденцы для девиц? Или платочек засунуть и пойти форсить под окошками? Ты, выходит, блудный сын. Вот ты кто!

Феня фыркнула. Слуга молчал, но смотрел на Василия презрительно.

— То-то! — сказал Василий.— Понимать надо, где правда, а где беззаконие. Лес помещик профукал. А толку что? С долгами расплатиться не хватит.

— Кому продал?

— Харьковскому купцу Трощенке. Принесла его сюда, за тыщи верст, нелегкая из Харькова!.. Слыхал про такого?

— Купцов много,— уклончиво ответил слуга.— Ежели бы еще он был московский... да первой гильдии...

— Повидал я купцов на своем веку каких хошь гильдий. Таких видал обормотов, что спаси господи! А этот — с виду приличный господин. В золотых очках, и бородка седенькая, гребешочком расчесанная. Чистая бородка. Отставной штабс-капитан. А не похоже. Вроде как церков-

ный староста. В чесучовом пиджаке ходит. А в глаза, брат, не гляди — там пусто. Как в могиле. Приехал с ним приказчик, все хвалится: «Мой, говорит, волкодав леса́ свел по всей Харьковской и Курской губерниям. Сплошной рубкой. Он, говорит, к лесу злой — на семена ничего не оставит. На лесах большие капиталы нажил». Думали, конечно, что врет приказчик. Они при денежных людях угождают; им соврать или человека разуть-раздеть — пустое дело. А вышло на поверку, что не брешет приказчик. Купил Трощенко лес, рубаху еще не сменил, а пригнал уже лесорубов и пильщиков. С завтрашнего дня лес начнут валить. Всё, говорят, велел пустить под топор, до последней осины. Так-то!

— Серьезный мужчина,— заметил слуга.

— Хо-озяин! — злобно выкрикнул Василий.— Шея у него из одних мослаков, у анафемы!

— А тебе что? Твоя какая беда? Что велят, то и делай. Только поспевай шапку скидать.

— Служишь ты у хорошего господина,— раздумчиво сказал Василий,— а душа у тебя как гнилой орех. Щелкнешь — а в нем заместо ядра белый червь. Был бы я твоим барином, обязательно бы тебя выгнал. Взашей! Как язык поворачивается такое спрашивать — мне-то что! Да я со своих двадцати годов к этому лесу приставлен. Я его растил, нянчил. Как баба ребят не растит.

— Вона! — насмешливо отозвался слуга.

— «Вона»!—передразнил его Василий.—А теперь что? Разбой! Да я еще должен дерева к смерти метить. Нет, брат, совесть у меня не бумажная. Меня не купишь. Теперь одна путь — жаловаться.

— Кому? — спросил слуга и пустил из ноздрей табачный дым.— Царю Гороху?

— Как кому? Губернатору. Земству. А не поможет — в суд! Дойти до сената.

— Будет сенат с таким делом вожжаться!

— А не будет — так до царя-императора!

— Ну, а как царь не поможет?

— Тогда всем миром стать и стоять. Стенкой. Не допустим, мол, разбоя. Уходи, откуда пришел.

— Мечты! — вздохнул слуга и затоптал папиросу.— С такими словами ты лучше к Петру Ильичу не приступай.

— Это мы еще поглядим!

— Ну и сиди, дожидайся! — рассердился слуга.—Только имей в виду, что ежели он заиграется, так до ночи не выйдет.

— Небось выйдет! Ты меня не пугай. Я, брат, не из робких.

Слуга взял у Фени махотку с земляникой и ушел в дом. Феня еще долго сидела пригорюнившись, смотрела перед собой удивленными глазами. Потом тихонько встала и, оглядываясь, пошла прочь по дороге. А Василий палил цигарки, скреб грудь, ждал. Солнце уже перевалило к вечеру, от сосен пошли длинные тени, а музыка не затихала.

«Колдует! — подумал Василий, поднял голову, прислушался.— Господи, да ведь это как бы знакомое! Неужто наше, деревенское? «Среди долины ровныя»! Нет, не то. А схоже! Или то пастухи заиграли в лугах, скликая к вечеру стадо? Или то соловьи ударили сразу, будто сговорились, по окрестным кустам? Эх, старость! А душа, видно, не сдается. Душа помнит молодость. С молодостью человеку расставаться куда как жаль. Не с руки расставаться!»

Когда в окнах заполыхал багровый закатный огонь, музыка наконец оборвалась. Несколько минут было тихо. Потом скрипнула дверь. Чайковский вышел на крыльцо, достал из кожаного портсигара папиросу. Он был бледен, руки у него дрожали.

Василий поднялся, шагнул к Чайковскому, стал на колени, стащил с головы выгоревший картуз, всхлипнул.

— Ты что? — быстро спросил Чайковский и схватил Василия за плечо.— Встань! Что с тобой, Василий?

— Спаси! — прохрипел Василий и начал через силу подыматься, опираясь рукой о ступеньку.— Мочи моей нету! Криком бы кричал, да никто не отзовется. Помоги, Петр Ильич, не дай случиться палачеству!

Василий прижал к глазам рукав застиранной синей рубахи. Он долго не мог ничего выговорить, сморкался, а когда наконец рассказал все как есть, то даже оторопел: никогда он не видел Петра Ильича в таком гневе.

Все лицо у Чайковского пошло красными пятнами. Обернувшись к дому, он крикнул:

— Лошадей!

На крыльцо выскочил испуганный слуга:

— Звали, Петр Ильич?

— Лошадей! Вели закладывать.

— Куда ехать-то?

— К губернатору.

Чайковский плохо помнил эту позднюю поездку. Коляску подбрасывало на выбоинах и корнях. Лошади всхрапывали, пугались. С неба падали звезды. Холодом ударяло в лицо из заболоченных чащ.

Временами дорога прорывалась через такую гущу лещины, что нужно было сидеть согнувшись, чтобы ветками не исхлестало лицо. Потом лес кончился, дорога пошла под гору, в просторные луга. Кучер гикнул, и лошади пошли вскачь.

«Успею ли? — думал Чайковский.— В крайнем случае разбужу. Завтра начнут валить лес. Что за подлость такая!»

С губернатором он познакомился как-то на благотворительном концерте в губернском городе. Смутно помнился тучный человек в тесном сюртуке, с припухшими, больными веками. Поговаривали, что губернатор — либерал.

Вот и город. Колеса загремели по мосту, пересчитали все бревна, потом покатились по мягкой пыли. В окошках церковно блестели киоты. Потянулись каменные лабазы. Проехали мимо темной каланчи, мимо сада за высокой оградой. Коляска остановилась у белого дома с облупленными колоннами.

Чайковский позвонил у калитки.

Из сада доносились голоса, смех, удары деревянных молотков. Там, должно быть, играли при фонарях в крокет. Значит, в доме была молодежь. Это успокоило Чайковского. Он поверил, что ему удастся убедить губернатора. Как бы ни был губернатор сух и чиновен, ему будет стыдно перед своей молодежью отказать Чайковскому в таком правом деле.

Горничная в ситцевом, до скрипа накрахмаленном платье провела Чайковского на веранду, где губернатор пил чай. Он был вдовец, и чай разливала пожилая экономка с оскорбленным лицом.

Губернатор тяжело встал, сделал шаг навстречу. На нем была шелковая белая косоворотка с расстегнутым воротом. Он извинился, глядя на Чайковского припухшими глазами.

Стук крокетных шаров в саду прекратился. Должно быть, молодежь узнала Чайковского и прекратила играть. Да и трудно было его не узнать — изящного, седеющего, со знакомыми по портретам серыми внимательными глазами.

А когда он, слегка поклонившись, принял от экономки стакан чаю, молодежь увидела его руку,— тонкую, но сильную руку музыканта. На портретах его часто изображали облокотившимся на эту руку.

— Существующие законоположения,— медленно говорил губернатор, выжимая ложечкой в стакане чая ломтик лимона,— к сожалению, не дают мне возможности, Петр Ильич, что-либо предпринять. Вырубка леса разрешена Трощенке на основании имеющихся на то инструкций. Господин Трощенко волен действовать к своей выгоде. Ничего тут не поделаешь!

Губернатор выжал лимон и выудил его ложечкой из стакана.

— А что, собственно, вы находите в действиях Трощенки преступного? — осведомился он вежливо.

Чайковский молчал. Что он мог сказать этому человеку? Что гибель лесов несет его стране разорение? Губернатор, может быть, и поймет, но, руководствуясь законами и разъяснениями к ним, тотчас мягко отведет это возражение. Что же сказать еще? О поруганной красоте земли? О своем убитом вдохновении? О могучем влиянии лесов на душу человека? Что сказать? «Мы тем и замечательны, что вспоили и вскормили свою народную силу в согласии с этой удивительной природой»? Или просто признаться, что жаль до боли этих лесов, их свежести, шума, сияния воздуха на полянах?

Чайковский молчал.

— Конечно,— сказал губернатор и поднял брови, как бы о чем-то раздумывая,— лесное хищничество — вещь безобразная. Но я бессилен помочь вам в этом затруднении. Рад бы душой, но не могу, Петр Ильич. Разделяю ваше негодование. Но стремления артистической натуры не всегда совпадают с коммерческим интересом.

Чайковский встал, откланялся и молча пошел к выходу. Губернатор торопливо шел позади.

Над крокетной площадкой висели на ветках фонари. Две девушки и юнкер стояли в саду с крокетными молотками в руках и молча смотрели вслед Чайковскому.

Обратно ехали медленно. Временами кучер засыпал. Голова его моталась, как у пьяного, пока коляску не встряхивало на ухабе. Тогда кучер просыпался, покрикивал на лошадей: «Но, лодыри!» — и ерзал на козлах. Лошади на минуту ускоряли шаг, а потом снова едва пле-

лись, фыркали, тянулись к темной траве по обочинам дороги.

Чайковский курил, откинувшись на спинку кожаного сиденья, подняв воротник пальто. Что делать? Один выход: перекупить у Трощенки втридорога лес. Но где взять денег? Послать разве завтра же телеграмму своему издателю Юргенсону? Пусть достанет деньги, где хочет. Под заклад его сочинений... Это решение несколько успокоило Чайковского.

— Не гони, Иван, ради бога! — сказал он, хотя кучер ни разу не подхлестнул лошадей.

Чайковскому хотелось ехать долго, всю ночь,— в дремоте, легкой, неясной, представлять себя едущим среди этой темной равнины к друзьям, где его ждут признание, счастье...

Когда Чайковский очнулся, коляска стояла на берегу реки. Темнели заросли. Кучер слез с козел и, поправив кнутовищем упряжь на лошадях, сказал:

— Паром на том берегу. Спят, должно, перевозчики. Покричать, что ли? — Он подошел к самой воде, помедлил, негромко крикнул: — Перево-оз!

Никто не ответил. Кучер подождал, снова крикнул. На том берегу задвигался огонек. Кто-то шел с цигаркой. Паром, скрипя, отчалил.

Когда паром подошел, Чайковский вышел из коляски. Кучер осторожно свел лошадей на дощатый помост. Потом долго шуршал канат, кучер тихо переговаривался с перевозчиком. Из близкого леса тянуло теплом.

Какое облегчение! Он спасет этот уголок земли. К нему он привязался душой. Эти леса были неотделимы от его размышлений, от музыки, рождавшейся в тайниках сознания, от лучших минут его жизни. А их было не так уж много, этих минут.

Если бы композитора спросили, как он написал прославленные свои вещи, он мог бы ответить только одно: «По совести говоря, не знаю». Он нарочно говорил иногда о своей музыке как о поденной работе, но знал, что это далеко не так. И говорил он о ней как о чем-то обыденном только потому, что сам не мог понять, как это происходит.

Недавно в Петербурге восторженный студент спросил его, в чем тайна его музыкального гения. Студент так и сказал: «гения». Чайковский вспыхнул, покраснел — он никак не мог принять по отношению к себе это высокое

слово — и резко ответил: «В чем тайна? В работе. И никакой тайны вообще нет. Я сажусь за рояль, как сапожник садится тачать сапоги».

Студент ушел огорченный. Тогда Чайковскому сгоряча показалось, что он был прав. А сейчас, перед лицом этой ночи, слушая, как журчит вода о бревна парома, он подумал, что создавать — не так уж просто. Это приходит внезапно, как в забытых стихах: «Одной волной подняться в жизнь иную, учуять ветр с цветущих берегов...» Ветр с цветущих берегов! У него замерло сердце. Какие неожиданности таит в себе жизнь! И как хорошо, что мы не знаем, когда она их откроет — здесь ли, на пароме, в блеске ли театрального зала, под молоденькой сосной, где качается от неощутимого ветра ландыш, или в сиянии женских глаз, ласковых и пытливых.

Как хорошо знать, что в содружестве с этими лесами, в полной безмятежности он окончит начатую вчера работу и посвятит ее... кому? Тому молодому, застенчивому собрату, бывшему земскому доктору, чьи рассказы он читает и перечитывает по вечерам: Антону Чехову. Пусть сердятся музыканты. Он устал от их самонадеянности, солидности и неискренних похвал.

После переправы, садясь в коляску, Чайковский сказал кучеру:

— В усадьбу к Липецкому. Там этот купец остановился... как его... Трощенко?

— Надо быть, там. Да рановато приедем, Петр Ильич. Только-только начнет развиднять.

— Ничего. Мне нужно перехватить его пораньше.

В усадьбе Чайковский Трощенки не застал.

Уже рассвело. Весь усадебный двор зарос репейником. Среди репейника бегал по ржавой проволоке осипший пес. Морда у него была в репьях, и пес, немного полаяв, начинал терéть морду лапой, отдирать колючки.

На крыльцо вышел кривоногий человек в рыжих кудряшках. От него издали разило луком. Рыжий равнодушно посмотрел на коляску, на Чайковского и сказал, что Трощенко только что уехал на порубку.

— А вам он на что понадобился? — недовольно спросил рыжий.— Я ихний управитель.

Чайковский не ответил, дотронулся до спины кучера. Лошади с места взяли рысью. Рыжий посмотрел вслед коляске, длинно сплюнул:

— Дворяне! Разговаривать брезгуют. Много мы таких пустили по миру, с пустым карманом!

По дороге обогнали лесорубов. Они шли с топорами, с гнущимися на плечах синеватыми пилами. Лесорубы попросили закурить и сказали, что Трощенко недалеко, на пятом квартале.

Около пятого квартала Чайковский остановил коляску, вышел и направился в ту сторону, где слышались голоса.

Трощенко, в сапогах и шляпе, которую звали «здравствуй и прощай»,— шлеме из люфы с двумя козырьками, спереди и сзади,— ходил по лесу и сам метил топором сосны.

Чайковский подошел, назвал себя. Трощенко спросил:

— Чем могу служить?

Чайковский коротко изложил свое предложение — перепродать ему на корню весь этот лес.

— Желаете округлить владения? — ласково спросил Трощенко.— Этому лесу цены нету. Слышите? — Трощенко ударил обухом топора по сосне.— Поет древесина! А насчет ваших слов надо подумать. Своего рода неожиданность. Все дело, как сами понимаете, в цене. За свою цену я вам отдать не могу. Смысла нету. К тому же расходы. Одних лесорубов привезти да прокормить чего стоит! Ну, и начальство нам, лесопромышленникам, недешево обходится. Начальство вроде магнита — золото сильно притягивает.

— Назовите вашу цену. Торговаться я не собираюсь. Если цена будет сходная...

— Где вам торговаться! Вы человек возвышенных сфер жизни. Я вам верную цену скажу...— Трощенко помолчал.— Десять тысяч будет, пожалуй, самая цена.

— А за сколько вы купили этот лес?

— Это дело десятое. Мой товар — моя и цена.

— Хорошо! — сказал Чайковский и почувствовал холодок под сердцем, будто поставил на карту всю жизнь.— Я согласен.

— Что-то больно легко соглашаетесь,— промолвил Трощенко и протянул Чайковскому деревянный портсигар.— Прошу!

— Спасибо. Только что курил.

— Деньги-то у вас есть? — вдруг грубо спросил Трощенко.

— Будут.

— Царствие божие тоже будет. Когда помрем. Я о наличных деньгах спрашиваю.

— Я вам выдам вексель.

— Подо что? Под эту усадебку? Да ей две тысячи — красная цена!

— Усадьба эта не моя. Вексель я выдам под свои сочинения.

— Так-с!..— протянул Трощенко и закурил.— Под музыку!.. Ее послушать, конечно, приятно. Послушал — ушел, а следа-то и нету! — Он протянул к Чайковскому ладонь и поскреб по ней скрюченными пальцами.— Воздушная вещь. Сегодня она, может, и в цене, а завтра — дым! Векселя я, извините, не беру. Только наличными.

— Наличных сейчас у меня нет.

— На нет и суда нет! И опять же о цене был у нас весьма примерный разговор.

— То есть как? Вы же назначили цену!

— Обследовать еще надо. Лес обследовать. По-настоящему его оценить. Да, пожалуй, и несерьезное это дело. Кто же так договаривается — на ходу!.. Нет! — сказал он резко.— Пустой разговор! Ежели бы вот завтра вы мне выложили пятнадцать тысяч, тогда бы я отступился.

— Да вы что,— сказал Чайковский, и лицо его опять пошло красными пятнами,— в своем уме?

— Мой ум всегда при мне. Я не в эмпиреях живу.

— Вы просто маклак!

— Тогда нечего вам с маклаком и разговаривать! — огрызнулся Трощенко.— Жили мы маклаками и умрем маклаками, зато в чести и достатке. У нас не благородством шубы подбиты. Честь имею кланяться!

Он приподнял шляпу и зашагал в глубину леса.

«Всегда я так! — подумал Чайковский.— Вспылю, наговорю резкостей и сорву все дело».

Он поехал домой, стараясь не вслушиваться в разносившийся по лесу стук топоров.

Лошади вынесли коляску на поляну. Кто-то впереди предостерегающе закричал. Кучер с ходу осадил лошадей.

Чайковский встал, схватился за плечо кучера. От подножия сосны, согнувшись, как воры, разбегались лесорубы.

Внезапно вся сосна, от корней до вершины, вздрогнула и застонала. Чайковский явственно слышал этот стон. Вершина сосны качнулась, дерево начало медленно клониться к дороге и вдруг рухнуло, круша соседние сосны,

ломая березы. С тяжким гулом сосна ударилась о землю, затрепетала всей хвоей и замерла. Лошади попятились и захрапели.

Это был миг, один только страшный миг смерти могучего дерева, жившего здесь двести лет. Чайковский стиснул зубы.

Вершина сосны загородила дорогу. Проехать было нельзя.

— Придется ворочаться на большак, Петр Ильич,— сказал кучер.

— Езжай! Я пешком пройду.

— Эх, обормоты! — вздохнул кучер, подбирая вожжи.— Рубить и то по-людски не умеют. Нешто дело — валить сначала большие дерева, а малые ломать в щепки? Ты сначала малые повали, тогда большое в просторе ляжет, убытку не даст...

Чайковский подошел к вершине поваленной сосны. Она лежала горой сочной и темной хвои. На хвое еще сохранился блеск, свойственный тем воздушным просторам, где эта хвоя только что дрожала под ветерком. Толстые сломанные ветки, покрытые прозрачно желтоватой пленкой, были полны смолы. От ее запаха першило в горле.

Тут же лежали обломанные сосной ветки берез. Чайковский вспомнил, как березы пытались удержать падающую сосну, принять ее на свои гибкие стволы, чтобы смягчить смертельное падение,— от него далеко окрест дрогнула земля.

Он быстро пошел домой. То справа, то слева, то позади слышался гул падающих стволов. И все так же тупо ухала земля. Птицы метались над порубкой. Даже облака, казалось, ускорили свой бег в равнодушной ко всему небесной синеве.

Чайковский все ускорял шаги. Он почти бежал.

— Подлость! — бормотал он.— Мерзость чудовищная! Кто дал право человеку калечить и безобразить землю ради того, чтобы какой-то Трощенко слюнявил по ночам ассигнации? Есть вещи, которые не оценить ни рублями, ни миллиардами рублей. Неужели так трудно понять там, в Петербурге, этим многомудрым государственным мужам, что могущество страны — не в одном материальном богатстве, но и в душе народа! Чем шире, свободнее эта душа, тем большего величия и силы достигает государство. А что воспитывает широту духа, как не эта удивительная при-

рода! Ее нужно беречь, как мы бережем самую жизнь человека. Потомки никогда не простят нам опустошения земли, надругательства над тем, что по праву принадлежит не только нам, но и им. Вот они где, «промотавшиеся отцы»!..

Чайковский задыхался. Он уже не мог идти быстро. В груди возникала приступами обморочная пустота. После нее начинало так крепко стучать сердце, что удары его больно отдавались в висках. Он подумал, что и гибель леса, и бессонная ночь — все это состарило его сразу на несколько лет.

Значит, теперь он уже никогда не окончит начатую вчера работу. Придется тотчас уехать, чтобы не видеть этого варварства.

Наступила разлука с любимыми местами. Знакомое состояние! Почему любимые места, когда с ними надо расставаться, бывают особенно хороши? Почему они сияют такой прощальной красотой? Вот и сейчас все было необыкновенным. И небо, и воздух, и мокрая от росы трава, и одинокая паутина в синеве.

Еще вчера он мог остановиться, спокойно следить за полетом паутины и гадать, зацепится ли она за ветку березы или нет. А сегодня это уже невозможно. Нет покоя,— значит, нет радости. Нет ничего.

Дома он приказал слуге укладывать чемоданы.

Слуга сразу ожил:

— В Москву, Петр Ильич?

— Пока в Москву. А там будет видно.

Взглянув на расплывшееся от счастья лицо слуги, он нахмурился, прошел в маленький зал, сел к роялю. Значит, так! Значит, харьковский купец в скрипучих сапогах, наглый, распоясавшийся маклак, безнаказанно пакостит землю. И начатая симфония умерла, не успев расцвести. Он усмехнулся. «Не расцвел и отцвел в утре пасмурных дней...» А там, в сознании, где вчера еще было столько звуков, осталась одна пустота. Какой-то барышник выгнал его из этих удивительных мест, поднял руку на его работу. Впереди опять скитальчество, одиночество. Опять жизнь, как сплошная гостиница, где за все — равнодушную заботу, относительный покой, возможность создавать свои вещи — надо платить в срок и по дорогим счетам.

Он откинул крышку рояля, взял аккорд и поморщился:

одна клавиша не звучала. Очевидно, ночью лопнула струна.

Он резко — резче, чем следовало,— захлопнул крышку, встал и вышел.

А к вечеру снова пришел Василий. Дом был заперт, пуст. Василий походил вокруг, заглянул через окно в маленький зал,— никого! И сторожиха, должно, обрадовалась, что барин уехал, подалась на деревню к сыну.

— Та-а-ак! — сказал Василий, присел на ступеньки крыльца, закурил.

Ухала и сотрясалась земля: Трощенко валил лес без устали, без срока.

«Вот господин хороший хотел правды добиться, да рука, видать, не сильна,— подумал Василий.— Отступился. Улетел. А мне здесь жить одному, в разорении».

Василий поднял голову. Кто-то шел к дому по дороге. Уже смеркалось, и Василий сначала не мог разобрать, кто идет. А когда увидел, встал, одернул рубаху и шагнул навстречу Трощенке.

— Хозяин здесь?

— А тебе чего? — глухо спросил Василий.—Чего надо? Остатний лес хочешь скупить? Свести под корень?

— Ты хозяина позови. У меня с ним разговор, не с тобой.

— Я этих мест хозяин! Я! Не понимаешь, анафема? Так я тебе и втолковать могу!

— Ты что, очумел?

— Уйди от греха! — тихо сказал Василий и замахнулся на Трощенку.— Нашелся распорядитель! Волчья сыть! Кровосос!

— Ты не того...— пробормотал Трощенко.— Не очень... Болван!

Трощенко повернулся и торопливо пошел прочь. Василий тяжело поглядел ему вслед, выругался, сплюнул.

За свежей порубкой, за навалом сосен открывалась тусклая предвечерняя даль. Над ней низко висело багровое солнце.

МЕЧТАТЕЛЬНИЦА

Месяц назад Анфиса окончила десятилетку. Будущее было еще неясно. Отец, Николай Никитич, хотел, чтобы Анфиса уехала в Москву и поступила в Тимирязевскую

сельскохозяйственную академию; Анфиса же думала совсем о другом — еще туманном, но привлекательном: о театре, путешествиях...

Начитавшись книг, она часто представляла себя в какой-то чудесной стране. Она совершенно ясно видела, как сходит с парохода на берег этой страны ранним утром, оставляет на сыром песке следы и в каждом из них прячется маленькая синяя тень, потому что солнце только что взошло и свет его косо падает на землю. А вдали дымятся кручи сиреневых гор, и с них с шумом летят, разбиваясь в пыль, холодные водопады.

Чуть не каждый день Анфиса ходила в городскую библиотеку менять книги. Библиотека помещалась на главной улице городка, рядом с новым кино. Она занимала нижний этаж кирпичного дома. Здесь пахло чернилами. Крашеные полы были тусклы, истерты. На стене висели правила для посетителей и стенная газета, раскрашенная цветными карандашами.

Все это наводило скуку, но впечатление это было обманчивым. Анфиса знала, что на библиотечных полках запрятаны такие сокровища мысли и поэзии, что от одного представления о них у нее темнели глаза.

Она читала книги запоем, глотала страницу за страницей, прячась в отцовском саду, в темной беседке, похожей на шалаш и увитой диким виноградом.

— Анфиса, глаза испортишь! — кричал из сада Николай Никитич; он весь день возился со своими яблонями и сливами.

— Сейчас,— невнятно отвечала Анфиса.— Только дочитаю до новой главы.

— Да ты мне вовсе и не нужна,— примирительно говорил Николай Никитич.— Дурочка! Глаза бы свои пожалела. Выцветут и будут как оловянные плошки.

Но как ни боялся Николай Никитич, а глаза у Анфисы от чтения не только не выцвели, а, наоборот, от каждой интересной книги то наполнялись слезами и от этого становились блестящими и темными, то смеялись, то становились туманными, ничего не видящими вблизи, будто Анфиса вглядывалась во что-то далекое, ускользающее за краем земли.

«Мечтательница,— думал Николай Никитич.— Ох, и хлебнет же она горя в жизни. Подумать страшно. Ох, и хлебнет!»

Николай Никитич был обеспокоен будущим Анфисы и однажды пошел посоветоваться об этом к Нине Порфирьевне Евсеевой — городскому врачу, женщине пожилой, решительной и лишенной каких бы то ни было сантиментов.

Николай Никитич был старый садовод, человек, как он думал сам о себе, «практической складки». Ему хотелось уберечь Анфису от всего легковесного в жизни. А легковесным он считал ее стремление стать актрисой и увлечение стихами и романами. Все это казалось ему слишком пестрым, нарядным и быстро увядающим, как иные цветы, что осыпаются, не успев толком расцвесть. Например, мак. Чуть подует ветерок — и его лепестки уже сваливаются на землю. А глядишь, через какой-нибудь час они уже пожухли и валяются в пыли под забором. Ну, конечно, что говорить — внешность у Анфисы театральная: девушка стройная, тонкая, да и голос такой, что берет за душу. И косы до самой земли. Но не в этом же дело.

— Непонятно мне,— сказал Николай Никитич Нине Порфирьевне,— в кого Анфиса вышла. Мать у нее была домовитая, а я человек здравых мнений. Люблю ту человеческую деятельность, какая дает осязательный результат.

— В вас она и вышла! — сердито ответила Нина Порфирьевна.

— То есть как это? Не понимаю,— удивился Николай Никитич.— Я садовод, хочу и из нее садовода сделать, а она упирается. Заладила одно: в театр да в театр. А что в нем проку, в театре? Людей только тешить!

— Садовод-то вы садовод,— возразила Нина Порфирьевна,— а цветы-то зачем разводите? Полон сад цветов. Вот и сейчас мне букет принесли чудесный.

— Это для услаждения глаз,— неуверенно объяснил Николай Никитич.— Вы поглядите на эти колеры — от красного до голубого и золотистого. Редчайший цветок!

— Как называется? — строго спросила Нина Порфирьевна, разглядывая крупные и такие легкие цветы, что они трепетали от ветерка, проникавшего из сада в кабинет Нины Порфирьевны.

— Немезия. Африканский цветок. Я его прямо вымолил у одного старика цветовода, когда был в Москве. В ногах валялся. Вы поглядите хотя бы на этот лепесток. Голубой цвет переходит в фиолетовый, а фиолетовый в багряный.

— А какой же осязательный результат? — неожиданно спросила Нина Порфирьевна.

Николай Никитич растерялся:

— Не пойму, чего спрашиваете?

— Результат, говорю, какой от этих цветов? Вы же их не на продажу растите?

— В жизни ни единого цветка не продал! — торжественно ответил Николай Никитич.— Только дарю.

— Эх вы! — сказала Нина Порфирьевна и сняла пенсне. Тотчас глаза ее потеряли строгость и сделались усталыми и добрыми.— Гордитесь, что подружились с композитором Аренским, когда он здесь жил, а от искусства требуете немедленного практического результата! Искусство создает хороших людей, формирует человеческую душу. Для этого оно и существует.

— Так то искусство...— робко возразил Николай Никитич.

— А театр — не искусство? — спросила Нина Порфирьевна.— Как вы думаете?.. Анфиса правильно выбрала дорогу. Вы ей не мешайте. Я зайду как-нибудь вечерком, поговорю с ней.

Николай Никитич ушел не очень успокоенный.

Были уже сумерки. В городке зажигались огни, но гораздо ярче фонарей освещал тихие улицы свет ламп из открытых окон.

В доме у Николая Никитича было темно. «Ушла Анфиса, что ли?» — подумал он. Поохал, зажег фонарь и пошел в сад, надо было подставить подпорки под старую яблоню.

В саду сидела на скамейке Анфиса. Сидела так тихо, что Николай Никитич сразу ее и не заметил, а когда заметил, то испугался: сидит как неживая, сгорбилась, кутается в платок.

Николай Никитич подошел, сел рядом. Анфиса молчала.

— Что ты, дочка? — спросил Николай Никитич и положил руку на плечо Анфисе.— Никак, заболела?

— Нет,—ответила Анфиса и туже закуталась в платок.

— Что ж ты сидишь в темноте?

Анфиса повернулась к Николаю Никитичу и посмотрела ему в глаза. Фонарь стоял на земле, освещал снизу лицо Анфисы. Николай Никитич нахмурился. Что-то блеснуло на щеке у Анфисы, тусклым огоньком поползло по щеке и, погаснув, упало в темноту на песчаную дорожку.

— Что с тобой? — тихо сказал Николай Никитич.— Что это ты плачешь?

— Папа! — Анфиса обняла Николая Никитича за морщинистую шею, прижалась к плечу.— Старичок ты мой милый!

— Ну что ты...— растерянно бормотал Николай Никитич.— Полюбила кого-нибудь, что ли? Или скучно тебе?

Анфиса покачала головой:

— Нет, не полюбила. Я много хорошего сделать могу, папа. Много. Для всех. Я знаю свою силу. Отпусти меня в театральную школу, папа! Никогда не раскаешься.

— Поживем — увидим,— ответил Николай Никитич.— Не завтра же ехать, а к осени.

Сердце у него похолодело. Ясно, надо будет отпустить. Но как же он будет тут жить и копаться в саду без Анфисы? Уж лучше бросить все, уехать вместе с ней и жить там, в Москве.

— Непонятная нынче молодежь...— тихо сказал Николай Никитич.

Анфиса крепче прижалась к нему.

— Брось, дурочка,— сказал Николай Никитич строгим голосом, но голова у него затряслась.— Может, и я с тобой поеду.

Но Анфиса долго не могла успокоиться. Только когда из-за реки подул ветер и стало холодно, она встала и, крепко держась за Николая Никитича, пошла с ним в дом — надо было собрать старику ужин.

РАЗГОВОРЫ ЗА ЧАЙНЫМ СТОЛОМ

Когда поезд, лениво постукивая на стыках, проходил по мосту над рекой, Коля Евсеев, студент Лесного института, бросился к окну. С моста лучше всего был виден родной городок. В нем Коля не был уже около трех лет.

Первое, что он увидел,— это стадо коров. Они стояли по брюхо в воде и, задумавшись, жевали жвачку. На берегу лежал пастух и, закинув руки за голову, смотрел на небо. Он не обратил на поезд никакого внимания.

Позади пастуха поднимались крутые бугры, а на них врассыпную стояли дома. Почти все дома были одинаковые: первый этаж кирпичный, а второй деревянный. За кружевными занавесками цвели в вазонах комнатные цветы. Протертые стекла блестели от солнца.

Недаром про этот городок ходила поговорка: «Ливны своими хоромами дивны». Городские хозяйки изо всех сил поддерживали чистоту в домах. Они гордились этим перед жительницами пригородной Стрелецкой слободы. В слободе ни порядка, ни чистоты спокон веков не было. Слободские всегда жили «по-цыгански».

Городок показался Коле после жизни в Ленинграде очень маленьким, чуть выцветшим, но воздух был чистый, яркий, и далеко были видны из окон вагона золотые подсолнухи в огородах.

На вокзале, где слободские женщины набивались с вишней-скороспелкой и солеными огурцами, Колю встретила мать, Нина Порфирьевна, седая, решительная, в пенсне.

Доктора Нину Порфирьевну знал не только весь город, но и весь район. Многим великовозрастным людям она, по старой привычке, говорила «ты», так как лечила их еще в те времена, когда они были совсем «клопами» — мальчишками и девчонками.

Нина Порфирьевна крепко поцеловала Колю, сняла пенсне, вытерла покрасневшие близорукие глаза и сказала парнишке с кнутом, что стоял рядом и с восхищением глядел на Колю:

— Ну вот, Кузя, дождался. Посмотрел, какие из себя ленинградские?

Кузя покраснел и невнятно ответил:

— Да уж посмотрел...

— Тащи вещи на таратайку.

Таратайка запрыгала по булыжной мостовой. Мостовая была горбатая, и таратайка ехала боком, будто хотела повернуть обратно к вокзалу, несмотря на то что гнедые лошадки бежали шустро и старались тащить таратайку вперед.

Коля засмеялся, а Нина Порфирьевна сказала:

— Драндулет! На нем еще твой дед ездил по больным. А все держится. Ну ничего, осенью дадут мне машину, «эмку».

Нина Порфирьевна очень радовалась, что Коля наконец-то приехал. Помог случай. Местность вокруг городка была известна на весь Союз обилием оврагов. С каждым годом они отхватывали куски полей, разрушали дороги, и то и дело приходилось строить новые мосты вместо обвалившихся старых.

Как говорили, «овражность» была здесь резко выражена, и поэтому в городке открыли недавно овражно-опытную станцию.

Коле повезло: его назначили на эту станцию на летнюю практику. Если бы не это обстоятельство, то Нина Порфирьевна не увидела бы Колю и в этом году: опять бы уехал на лето в какую-нибудь глушь мерить леса.

— Я уж и надежду потеряла, что ты явишься,— говорила Нина Порфирьевна.— Специальность у тебя лесная, а в наших местах от лесов остались одни ошметки. Вот, думаю, глупо как получилось! Не видать мне теперь моего Коленьки никогда. Хоть переводись в лесные края. А вышло, что и для лесного специалиста нашлась здесь работа.

В это время из-под копыт лошадей взлетела, теряя пух, черная тощая курица. Она так пронзительно закричала, что лошади шарахнулись и прижали уши. Кузя погрозил курице кнутовищем:

— Вот я тебя! Нашла где рыться, старая дура!

Нина Порфирьевна жила на выезде из городка, на крутом берегу реки. Деревянный дом, построенный еще Колиным дедом, покосился, но сад разросся.

В саду щипал траву привязанный к дереву телок с белым пятном на лбу. Увидев таратайку, он поднял голову и так уставился на лошадей, что даже позабыл отмахиваться от прилипчивых мух.

Нина Порфирьевна накормила Колю и ушла на прием в амбулаторию. Она торопилась, и потому расспросы и разговоры пришлось отложить до вечера.

Коля прошел в свою комнатку. Все в ней оставалось на прежних местах, как в тот последний день, когда он уезжал из дому. Только стало темнее от разросшейся за окнами сирени.

Коля сел к старенькому столу, начал выдвигать ящики и перебирать уже позабытые вещи: школьные тетради, коллекцию уральских камней, развинченный на части старинный телефон, альбом с почтовыми марками, высушенные листья дуба, клена, березы, каштана... Все это уже пропылилось и показалось Коле таким давнишним, старым, что он даже рассмеялся. Будто это не заветные и когда-то любимые мальчишечьи вещи, а склад рухляди скряги Плюшкина.

И вместе с тем ему было бы жаль расстаться с этими вещами. Они, конечно, утратили свою былую значитель-

ность, но он оставался благодарен им за прошлые радости, за мечты, за игру воображения, которую они в нем вызывали.

Сейчас, встретившись с ними, он долго их рассматривал, а затем тщательно сложил в ящик стола в том же порядке, в каком они лежали там уже давным-давно.

Кто знает, если бы не эти вещи, то, может быть, он никогда не выбрал бы себе то занятие, к которому теперь так пристрастился. Может быть, никогда бы не стал лесоводом. Дело это требовало особых свойств: любви к природе, романтического отношения к действительности, выносливости. Человеку, лишенному воображения, нечего было делать в этой области. Нужно было обладать и сильным воображением, и большой любовью к человеку и земле, чтобы отдать все силы рассчитанной на десятилетия работе, окончания которой ты, может быть, не увидишь.

В доме было тихо. Коля отвык от такой тишины. Он прошел в столовую, поднял крышку рояля, сильно ударил по клавише. Тотчас за окном вскрикнул петух, рывшийся на грядке с огурцами, и, не оглядываясь, помчался на сухих жилистых ногах прочь, в глубину двора.

Коля зашел на кухню. Там старая нянька Марьевна чистила самовар. Марьевна совершенно оглохла. Разговаривать с ней было невозможно.

— Как здоровье, Марьевна? — прокричал Коля.

— Шибче говори,— отозвалась Марьевна.— Шибче! Я с летошнего года уже и грома не слышу.

Коля походил по саду. В саду жило множество муравьев, они повсюду проложили свои песчаные дорожки. Коля поглядел, как муравьи бегут друг за другом по клумбе между ползучих и сочных цветов портулака, и позавидовал муравьям: живут среди цветов, трав, всяких листиков, в уютных древесных дуплах, но, конечно, этого не понимают. Не ценят.

Коля вернулся в дом, захватил полотенце и пошел на реку купаться.

Река сильно обмелела. Противоположный берег был весь в оврагах. Даже с этого берега было слышно, как журчат по их дну родники.

Коля начал осторожно спускаться по крутой тропке. Навстречу ему подымалась загорелая девушка в сарафане, с льняными косами, уложенными вокруг головы.

— Анфиса! — крикнул Коля.— Неужто ты?

— Я,— низким голосом ответила Анфиса и улыбнулась.— Господи, как ты вырос!.. Надолго приехал?

— На все лето. Буду работать на овражной станции.

— А я этой весной окончила школу.

Они поздоровались. Рука Анфисы была холодная от купанья.

С Анфисой Коля учился в одной десятилетке. Анфиса была на два класса моложе его.

— Вот папа обрадуется! — сказала Анфиса.— Он у меня совсем стал старенький.

— А как сад?

— Беспокойство одно с садом. Вырастил яблоки новые. Назвал их в мою честь «анфис». Похоже на «анис».— Она засмеялась.— Пойдем сейчас к нам.

— Ну что ж,— согласился Коля.—Я только выкупаюсь.

— Ну, иди! Я наверху подожду.

Коля сбежал на берег, разделся, но, чтобы броситься вплавь, пришлось идти чуть ли не до середины реки. Коля взглянул в сторону железнодорожного моста: коровы все еще стояли в воде.

«Ну и жара,— подумал Коля.— Как хорошо, что я встретил Анфису!»

Она сидела далеко, на крутом берегу, под вязом, и красный ее сарафан пылал на солнце.

Коля выкупался и, свежий, с мокрыми волосами, вскарабкался по обрыву. Анфиса смотрела, как он легко взбирается к ней, и улыбалась.

В саду Николая Никитича, раскинутом над оврагом, среди низких и широких яблонь колебался под ветерком солнечный свет. Через полосы этого света пролетали пчелы.

Николай Никитич, уже совсем седенький, усохший, сидел на бревне в расстегнутой рубахе и подтяжках и строгал ножиком дощечку для улья. Он расцеловался с Колей, показал ему яблоню «анфис» и приказал дочери согреть самовар и накрыть под яблоней стол.

Коля еще с детства полюбил эти чаепития под деревьями за круглым дощатым столом, покрытым суровой скатертью с голубой каймой. Вместо сахара подавался сотовый мед в глиняной миске, а чай всегда был жидкий, но вкусный. На стол падали божьи коровки. На мед слетались осы. Коля давил их ножом. За это ему попадало от Нины Порфирьевны.

А какие только разговоры велись за чайным столом! Николай Никитич умел поговорить. Он многое знал — не только свое садоводство.

У себя в саду он устроил «цветочные часы». Об этих часах в городке было множество разговоров. Дело в том, что разные цветы точно раскрываются в разные часы утра и так же точно закрываются к вечеру. Николай Никитич засадил этими цветами клумбу и узнавал по ней время с ошибкой, по его словам, не больше чем на тридцать минут.

За этим же чайным столом Коля впервые услышал от Николая Никитича рассказы о Мичурине и Докучаеве, о дубравах — «засеках», которые росли когда-то по ту сторону реки и охранялись стрельцами — пращурами нынешних обитателей Стрелецкой слободы.

Эта сплошная полоса лесов спасала Русь от татарских набегов. В лесах прорубали с запада на восток широкие просеки. Лес рубили, или «засекали» так, чтобы вековые дубы своими вершинами падали к югу. Получался огромный вал из частых и крепких ветвей. Через него не могли пробраться не только всадники и пешие, но даже лесные звери.

— Теперь, конечно,— говорил Николай Никитич,— засеки повырубили, и от них остались, пожалуй, одни названия. Вот, например, Козлова Засека около Ясной Поляны, где обитал Лев Николаевич Толстой.

В этом саду и решилась Колина судьба после окончания школы.

В Ливнах жил в прежние времена композитор Аренский. Николай Никитич знал его и даже с ним подружился. Однажды Николай Никитич рассказал со слов Аренского историю о том, как Чайковский хотел спасти от вырубки сосновый лес вблизи усадьбы, где он в то время жил, как ничего из этого не вышло и в каком отчаянии был знаменитый композитор.

— Вот,— говорил Аренский,— дорогой Николай Никитич, какова игра жизни! Если бы не вырубили этот лес, Чайковский, пожалуй, подарил бы нам еще одну симфонию. Лес его всегда вдохновлял чрезвычайно. А тут все сорвалось. Невольно задумаешься: какую силу оказывают на талант столь разные по значительности вещи, как лес и любовь, рожок пастуха и деревенская песня. Вот и поди разберись!

Николай Никитич соглашался, что действительно чело-

век загорается новыми мыслями от вещей совершенно разных и на первый взгляд не имеющих отношения к предмету его занятий, или, как нынче принято выражаться, к его творчеству.

— Вот я, к примеру,— говорил Николай Никитич,— очень легко себя чувствую и получаю разнообразие мыслей, когда ловлю рыбу в нашей реке. Как будто занятие мальчишеское, а на поверку выходит, что оно и нервы успокаивает, и пищу дает для размышлений по любым вопросам, свойственным нашему уму.

Вспомнив об этом случае с Чайковским, Николай Никитич заговорил о лесах, о том, что они не только приносят великую пользу человеку, украшают и оздоровляют землю, но поддерживают самую жизнь на земле.

В степной полосе, где был расположен родной Колин городок, лесов не было. Может быть, поэтому они всегда казались мальчику чем-то таинственным, величественным и привлекательным. А Николай Никитич еще подогревал это представление своими разговорами. Поэтому Коля, подумав, решил идти после школы в Лесной институт.

У Николая Никитича висели в доме копии с картин художника Шишкина. И хотя Николай Никитич и говаривал, что Шишкин малость скучноват, но при долгом рассматривании эти картины все же действовали. Коля представлял себя в лесах, написанных Шишкиным, и представлял так ясно, что из этих лесов уже долетал до него запах смолистых пней и земляники.

А сейчас Николай Никитич затеял разговор о Курской магнитной аномалии. О ней в последнее время много писали в газетах.

Городок славился сильными грозами. Николай Никитич объяснял это тем, что городок расположен в области магнитной аномалии. Глубоко под землей лежат мощные залежи железной руды и притягивают грозы.

Коля улыбнулся, слушая объяснения Николая Никитича. Старик Колиной улыбки не заметил, а то бы, конечно, обиделся.

Николай Никитич обрадовался, узнав, что Коля будет работать по «овражному делу».

— Хвалю! — сказал он.— Ты выбрал чудесное занятие в жизни. А вот что с Анфисой делать, не знаю. Ей все в театр хочется, в театральную школу. Шла бы лучше по отцовским стопам. Сады бы разводила. Мало на земле рас-

тительности — от этого всякие беды. К примеру, овраги. Они по нашей области треть земли охватили за какие-нибудь сорок лет. На моей памяти. Как стали сводить лес — так и пошло!

После чая Анфиса проводила Колю. Они пошли к мостику через ручей, впадавший в реку. Ручей едва струился в темном овраге. Тропка к мостику была протоптана в высокой крапиве, и Коля обстрекал себе руки.

На мостике Анфиса остановилась:

— Ну, дальше я не пойду. Приходи к нам почаще.

Они попрощались. Анфиса медленно пошла обратно. Она несколько раз останавливалась, оглядывалась на Колю, и каждый раз случалось так, что в это же время оглядывался и Коля. Потом Анфиса помахала рукой и скрылась за поворотом.

— Прощай, Анфис! — крикнул Коля, но Анфиса не отозвалась.

На следующий день Коля пошел на овражную станцию и представился директору ее, Смышляеву. Это был низенький пожилой человек в желтоватых очках.

Овражная станция временно помещалась в приземистом доме на главной улице городка. Половину дома занимала аптека, половину — станция. Сотрудники станции ходили к себе через прихожую аптеки. Так им было удобнее, потому что вход на станцию был через двор, а двор всегда был заставлен телегами. Колхозники со всего района приезжали сюда за лекарствами.

Двор походил на базарную площадь — весь в конском навозе, в сенной трухе. Привязанные к телегам лошади упорно, без отдыха жевали сено и стегали себя жидкими хвостами.

Из-за этого двора происходили частые стычки с аптекарем Абрамом Борисовичем — подслеповатым, но деятельным старичком в просторном халате. Он так близко рассматривал рецепты, что казалось, будто он их не читает, а нюхает.

Когда Коля вошел, Смышляев как раз ссорился с Абрамом Борисовичем. Он разговаривал с ним через маленькую форточку, прорезанную в двери, что вела из его кабинета в аптеку. Такие форточки обычно устраивают в кассах.

— Абрам Борисович,— говорил Смышляев,— это же не постоялый двор! Надо что-то делать.

— Вы, очевидно, полагаете,— пронзительным голосом отвечал Абрам Борисович, взбалтывая склянку с мутной жидкостью и рассматривая ее одним глазом на свет,— что это образцовая аптека номер один в Москве? Где вы находитесь? Это же черно-зем! — крикнул он, со стуком поставил склянку на прилавок и яростно посмотрел на молодую смешливую колхозницу, дожидавшуюся лекарства.— Вот, извольте, поглядите на эту красавицу!

Молодайка закрылась локтем и фыркнула.

— Подойди сюда! — приказал Абрам Борисович.

— Ой, батюшки, страх какой! — сказала молодайка и бесстрашно подошла к прилавку.

— Вот капли, а вот полосканье! — сказал Абрам Борисович.— Смотри не напутай. Покажи, которые капли.

— Да что показывать-то! Уж вы всегда придумаете.

— Покажи, а то не выдам лекарство!

— Неужто не выдадите? — насмешливо спросила колхозница.— Человек старый, а молодок завсегда обижаете. Хоть в аптеку не ходи.

— Вот! — сказал Абрам Борисович и победоносно посмотрел на Смышляева.— Вы, надеюсь, слышали? Странно, как я столько лет работаю при таких обстоятельствах,— он показал па смешливую колхозницу,— и еще чувствую себя нормальным человеком.

— Уж вы всегда так! — пробормотала женщина, забрала лекарство и вышла, хлопнув дверью.

За дверью она прыснула от смеха и сказала кому-то:

— Нигде, молодайки, нету нам проходу из-за нашей неземной красоты.

Абрам Борисович посмотрел на Смышляева долгим, теперь уже возмущенным взглядом и сказал:

— Ну, знаете, это уже чересчур!

— Простите, Абрам Борисович,— пробормотал Смышляев, закрыл форточку в аптеку и обернулся к Коле: — Никогда раньше мне не приходилось работать в такой обстановке. Но в конце концов это соседство не мешает. Иногда даже веселит. А для работы это полезно. Как вы думаете?

Коля согласился.

— Работать полагается весело,— наставительно заметил Смышляев,— и любить те места, где работаешь. Я очень доволен, что вы родом из этого привлекательного

городка. Пока что займитесь обмером оврагов около Адамовской мельницы. Определите их годовой рост и выясните уровень грунтовых вод. Я подозреваю, что там овраги уже прорезали землю до водоносного горизонта и сильно отсасывают грунтовые воды. Очень что-то быстро сохнет земля...— Смышляев помолчал.— Кого бы дать вам в подручные?

— Я сам найду помощника,— ответил Коля.— У него ведь работа будет несложная: волочить по земле цепь да держать рейку. С этим каждый мальчишка справится.

— Ну и чудно! — согласился Смышляев.

Вечером Коля зашел к Николаю Никитичу. В сумерках летало много ночных бабочек. За рекой, в Стрелецкой слободе, пели, сидя на берегу, девушки:

Спускается солнце за степи,
Вдали золотится ковыль...

Коля сидел с Анфисой на пороге дома. Отсюда были видны весь сад, заречье и далекие поля.

Анфиса куталась в платок, хотя вечер был теплый и на яблонях не шевелился ни один листок.

— Тебе холодно? — спросил Коля.

— Нет. Это так...

— Загрустила?

— Нет... Или да. Загрустила. Вот ты уже третий год живешь в Ленинграде. А я один только раз и уезжала отсюда. В Курск. К тетке.

Они помолчали.

— Завтра начинаю работать,— сказал Коля.— Буду обмерять овраги. За Адамовской мельницей.

— Один?

— Нет. Хочу взять Кузю и еще какого-нибудь деревенского ребятенка. Они будут таскать цепь и рейку.

— Возьми вместо деревенского ребятенка меня,— предложила Анфиса.— Я справлюсь.

— Работа тяжелая.

— Я сильная. Вот, смотри! — Анфиса вытянула голую до плеча руку, казавшуюся в сумерках очень белой, потом медленно согнула ее в локте.— Потрогай!

Коля потрогал. Мускулы на руке были маленькие, но крепкие.

— Хорошо,— согласился Коля.— Заметано. Если Николай Никитич тебя отпустит.

— Отпустит.

Николай Никитич зажег в комнате лампу. Ее свет упал через окно в сад. Большой мир вдруг сузился, и от него остались только освещенный мягким светом уголок старого сада с забытой под деревом лейкой, белые пахучие звезды цветущего табака да отдаленная песня слободских девушек:

И вот повели, затянули,
Поют, заливаясь, они
Про Волги широкой раздолье,
Про даром минувшие дни.

Анфиса встала, пошла в глубину сада, остановилась над обрывом и долго стояла, слушала.

ОВРАГИ

Обмер оврагов оказался делом нелегким. Приходилось спускаться в овраги, взбираться по крутым глинистым склонам, делать большие обходы, набрасывать примерные карты.

За несколько дней Анфиса, Коля и Кузя сожглись на солнце до черноты, обветрились, пропахли полынью и пылью.

Это были удивительные дни — под жарким солнечным светом, среди трав и полей, где пробегал по дорогам, чуть пыля, ветерок.

К вечеру все так уставали, что с трудом добирались до городка. Тогда Коля решил брать с собой из дому кое-какие продукты, и по два-три дня они не возвращались домой, а ночевали в избе у мельничного сторожа Ивана Дмитриевича, тощего и рыжего. Командовала в избе его жена — веселая старуха Давыдовна. А Иван Дмитриевич только помалкивал, вздыхал, посасывал кислые папироски и неопределенно жаловался то на сухость, то на мокроту в груди.

В избе по вечерам при свете кухонной лампочки Анфиса помогала Коле чертить примерные карты оврагов. Бывало, Коля засыпал за столом от усталости. Тогда Анфиса силой поднимала его и вела в угол избы, где для Коли и Кузи было постлано сено.

Коля сваливался на сено, тотчас засыпал, а Анфиса еще долго сидела за столом, чертила, слушала, как шумит

у плотины вода. А потом, улегшись у себя в клетушке, где пахло пшеном, думала, что если Николай Никитич не отпустит ее в театральную школу, то она просто сбежит, а когда ее примут, будет просить у старика прощения.

Однажды Анфиса держала полосатую рейку, а Коля наводил на нее нивелир. Вдруг Анфиса опустила рейку и нагнулась к земле.

— Иди сюда! — крикнула она Коле.— Смотри, что за прелесть!

Коля подошел. Анфиса стала на колени, косы ее упали, концы их лежали на траве.

Анфиса протянула руки к чему-то еще невидимому, находившемуся на земле и, должно быть, очень маленькому. Казалось, Анфиса заслоняет язычок свечи, чтобы его не задуло ветром.

— Что такое? — спросил Коля шепотом.

Анфиса подняла на него счастливые глаза:

— Лиловый сон!

Меж ее ладоней цвели на земле покрытые густым серебряным пухом колокольчики лилового сна.

Глядя на Анфису, на ее руки и чуть приподнятые плечи, Коля подумал, что, конечно, Анфиса права, когда бредит театром. Очевидно, театр ее призвание,— столько легкости и простоты было в положении ее тела, в ее движениях.

Работа увлекала Колю. Разветвления оврагов были сложны, запутанны. Это была обширная и причудливая страна обвалов, глубоких балок, рытвин, водороев, пещер, родников, крутых красноватых склонов, кое-где поросших терновником и редкой травой, но большей частью глинистых и голых. Некоторые овраги тянулись на километры.

Более жестокой картины уничтожения плодородной почвы Коля еще не встречал. Он знал, что площадь оврагов в этой полосе России настолько велика, что урожай с нее мог бы легко прокормить такую густонаселенную страну, как Бельгия. Он знал, что половина земель здесь заброшена и негодна для сельского хозяйства из-за оврагов. Сознание, что склоны этих оврагов скоро будут превращены в террасы, засажены лесом, вишневыми и яблоневыми садами и что в этом будет часть его труда, наполняло Колю гордостью.

Вскоре они добрались и до того оврага, о котором говорил Смышляев. В нем уже был вскрыт водоносный слой.

Вода сочилась по склонам тонкими струйками. Она стекала на дно и немного подальше, вниз по оврагу, образовала чистое озерцо.

Они решили спуститься к этому озерцу, передохнуть на его берегу и напиться чаю.

Овраг был глубокий. Когда они очутились на дне, Анфиса посмотрела вверх, где переплывали через овраг облака, казалось задевая и покачивая на его краю сухую траву, и спросила:

— Как же мы теперь отсюда выберемся?

— Это что! — хвастливо сказал Кузя.— Тут есть такой овраг, что бросишь в него камень — и считай до двухсот, покуда тот камень доскочит до дна. Осенью там разбойники награбленное пропивают.

— Это ты брось,— заметил Коля.— Какие теперь разбойники!

— Сам я их не видал, врать не буду, а слыхать — слыхал. Ехал я как-то мимо того оврага ночью. И вдруг слышу — гармошка, наша ливенка, в овраге заливается. Прямо продрало меня по спине! Я как свистнул, кони как взялись — только меня и видели те разбойники. Один свист от меня остался.

— Ну и ладно, утешайся своими разбойниками!

День выдался жаркий. От зноя все стало желтым — и небо, и поля, и воздух. Как будто зной долго крепчал, томился и наконец приобрел этот тоскливый и зловещий оттенок. Костер из сухих стеблей быстро перегорал, а чайник все не хотел закипать.

Вдалеке раздался удар без отката, будто кто-то взял на рояле, нажав педаль, басовую струну и тотчас отпустил педаль.

— Что это? — испуганно спросил Кузя.— Никак, гром?

— Не похоже на гром,— неуверенно ответил Коля.— Это орудие. Тут где-нибудь стрельбище.

— Нету тут стрельбища. Надо бы полезть наверх, поглядеть.

Кузя начал карабкаться по откосу. Сухая глина комьями сыпалась из-под его ног.

Анфиса, подкладывая в костер сухие стебли, сказала:

— Хорошо, Коля, что у тебя есть мама!

Коля удивленно посмотрел на Анфису:

— А у тебя есть отец.

— Это не то,— промолвила Анфиса.— Отцу многого не расскажешь. Не с кем мне поговорить... обо всем...

— А со мной?

Анфиса покачала головой:

— С тобой как раз и нельзя.

Коля хотел спросить ее: «почему?» — но сверху хрипло закричал Кузя:

— Вылезайте! Гроза! Страсть какая!

— Анфиса, скорей! — быстро сказал Коля.

Он с облегчением вспомнил, что рейку и инструменты оставил наверху, на краю оврага.

Анфиса накинула на голову платок, начала торопливо его завязывать.

— Скорей! — умоляюще повторил Коля и схватил Анфису за руку.

Вдруг все померкло. Желтая пыль, сорванная с дорог и полей, завилась вверху, и в этой пыли исчез Кузя.

Коля тащил Анфису по крутому обрыву, хватался за колючий терновник, изодрал руки. Вверху уже все ревело. Взглядывая на край обрыва — далеко ли еще взбираться,— Коля один только раз увидел солнце. Но лучше бы он не видел его совсем. Оно было косматое и так дымилось, будто ветер запустил его, как волчок, с чудовищной скоростью и от солнца отрываются и улетают вместе с бурей клочья мрачного пламени.

Анфиса что-то сказала. Коля взглянул на нее. Лицо у Анфисы помертвело, только глаза — темные, напряженные — смотрели вверх, где бурьян рвался из стороны в сторону, цепляясь за землю.

— Что? — спросил Коля.

— Темно... как ночь! — крикнула Анфиса.— Мы успеем... до дождя. Не волнуйся!

«Что она кричит? — подумал Коля.— Какая ночь?.. Ах, да!» Там, наверху, в разъяренном небе, летела тьма. Последние остатки света ветер гнал впереди урагана. В полях они были, должно быть, еще видны, эти быстро меркнущие кровавые отблески во всклокоченных далях.

Лишь бы не начался сейчас дождь! Если хлынет ливень, тогда они пропали. Глина размякнет, поползет вниз, начнет обваливаться глыбами. Они не удержатся, сорвутся на дно оврага, а там уже будет мчаться, подымаясь все выше, грязный пенистый поток. Он их захлестнет и потопит.

Коля хорошо понимал опасность, захватившую их врасплох, и полную свою беспомощность. Но вместе с тем, может быть из-за этой внезапности, он временами не верил, что опасность так велика.

«Сон это, что ли?» — подумал он и застонал от досады: на руку упала первая теплая капля дождя.

— Что ты? — крикнула Анфиса.— Это не дождь. С тебя пот льет ручьями.

Тогда только Коля сообразил, что на руку ему упала капля пота.

Склон оврага стал более пологим. Над краем его показалась растрепанная голова Кузи. Кузя протянул руку и помог Анфисе и Коле выбраться наверх.

Коля вздохнул всей грудью и взглянул в ту сторону, откуда подходила гроза. Спасены! Но он не успел ничего сказать. Небо раскололось вдребезги ветвистой струей огня. Тяжелым взрывом грохнул весь горизонт.

— Тут шалаш, землянка! — прокричал Кузя и показал в поле.

Они подхватили рейку и инструменты, побежали к шалашу, навстречу свинцовой стене ливня, и успели спрыгнуть вниз, в землянку, когда отвесно падающая вода шумела, набегая уже рядом, в нескольких шагах.

Анфиса села на старое, перепрелое сено и закрыла глаза. Коля сел рядом с ней, несмело взял ее руку. Анфиса тихонько подышала на его пальцы, как бы стараясь приласкать и успокоить Колю.

— Какие молнии! — сказала Анфиса.— Я сижу с закрытыми глазами, а все равно слепит.

Ливень шумел, набирал силу. Запахло мокрой землей. Ветер стих, и теперь в ровный гул дождя вошел новый звук: рев и плеск потоков, мчавшихся по оврагам.

Потоки вспухали, подмывали склоны. Глина глыбами падала в воду. Вода несколько секунд переливалась через эти глыбы грязными каскадами, потом размывала их и, вертя в водоворотах, среди пузырей и пены, утонувшего черного галчонка, неслась дальше.

— Гроза будет затяжная или короткая? — неожиданно спросила Анфиса.

— Не знаю,— ответил Коля.

— А как бы ты хотел? Чтобы затяжная?

— Да!

Пусть этот проливной дождь длится хоть до утра, лишь бы сидеть здесь, в шалаше, и видеть, как уже обессиленные, медленные молнии освещают лицо Анфисы, ее темные узкие брови. А до городка можно добраться и ночью,— ночь будет лунная.

Дождь стих только в сумерки. Обратно шли разувшись. Глина прилипала к ногам. От промокшей земли тянуло холодком, и Анфиса продрогла в отсыревшем платье.

В обмытой траве наперебой кричали перепела. Туча уходила на север, еще лилась там черной стеной дождя на притихшие села, еще мигала зарницами, а на юге вечернее небо уже очистилось и сияло голубоватым светом.

Они вошли в городок поздним вечером. Река тяжело шумела в крутых берегах. На улицах блестели в мураве лужи, засыпанные сломанными ветками. Городок был растрепан бурей.

Зашли сначала к Нине Порфирьевне. Ее не было дома. Марьевна сказала, что Нина Порфирьевна ушла к Николаю Никитичу.

— Зачем? — испуганно спросила Анфиса.

Марьевна виновато посмотрела на Анфису и промолчала. Она не слышала.

Анфиса повернулась и выбежала на улицу. Коля бросился за ней. Кузя не решился идти следом за ними и поплелся домой.

«Ну и наломала гроза хворосту! — подумал он, отбрасывая ногой поломанные ветки.— Должно, опять повалило мамашин забор».

Каждый раз после грозы этот забор заваливался, и Кузе уже надоело его чинить.

На главной улице Кузя увидел вывернутые дождевыми потоками огромные булыжники, заржавленные кровельные листы на мостовой и засвистел,— дело было серьезное.

СТАРАЯ ЯБЛОНЯ

Дело действительно было серьезное. Когда Николай Никитич только что прилег отдохнуть, за рекой пробормотал первый гром. Николай Никитич нехотя встал. Что-то опять начала побаливать застарелая язва. Надо бы сходить к Нине Порфирьевне. Она вновь скажет, что не обойтись без операции. А какая операция, когда человеку перевалило

за шестьдесят! Лучше уж так дожить, без операции,— только беречься, не поднимать тяжестей, не надрываться.

Николай Никитич закрыл вьюшки в печах, вышел на крылечко, посмотрел на тучу и покачал головой. Много он видал гроз, но эта ему особенно не понравилась. Во всю длину тучи шло, дымясь, желтое облако, похожее на грязную вату.

«Низкая гроза,— определил Николай Никитич.— Ох, и будет же хлобыстать!»

Он оглянулся на город. Окна в домах хмуро поблескивали, как бы с неодобрением поглядывая на тучу. Из-за реки летели, разевая клювы, галки и прятались на чердаках. Около заборов перекликались встревоженные женщины.

За рекой, со стороны грозы, шел товарный поезд. Дым из паровоза рвался клубами вверх и казался на аспидном небе необыкновенно белым.

Николай Никитич посмотрел на сад. Его издавна тревожило одно обстоятельство: за последние три года овраг подошел к саду вплотную, в одном месте даже покосился забор. А когда Николай Никитич сажал этот сад, овраг был от забора не меньше чем в ста шагах.

«Как бы сад не подрыло!» — взволновался Николай Никитич.

Несколько раз за лето он обходил овраг, прикидывал, что бы можно сделать. И заметил, что водомоина, по которой дождевая вода стекала в овраг, проходила очень близко от другого оврага, который тянулся в сторону ручья. У Николая Никитича возник план — прокопать из водомоины канаву в этот соседний овраг, чтобы отводить туда во время ливней воду. Но было как-то совестно это делать: на краю соседнего оврага стояла чужая хибарка. Правда, в ней давно никто не жил, она была заколочена, но все-таки неудобно.

Пока Николай Никитич раздумывал над этим, туча закрыла солнце и переползла через реку. Вороватая молния опалила глаза. Хлынул ливень.

Николай Никитич попятился от порога. Ему почудилось, что в потоках воды, хлеставших с неба, мечется по саду что-то седое, будто скачут всё на одном и том же месте белые лошади.

Потом он услышал легкий треск и заметил, что забор медленно валится в сторону оврага.

— Подмывает! — крикнул Николай Никитич, нахлобучил кепку, натянул порыжелую кожаную куртку, схватил лопату и, нагибаясь под дождем, побежал через сад к водомоине.

По ней уже неслась грязная вода. Николай Никитич перепрыгнул через водомоину, упал, измазался в глине, поднялся и начал торопливо копать канаву к соседнему оврагу. Теперь, в такой проливень, никто не мог ему помешать.

Земля была вязкая, прилипала к лопате. Дело шло медленно, а до соседнего оврага оставалось еще шагов двадцать.

Вода лилась с кепки по лицу, мешала видеть. Внезапно Николай Никитич вспомнил об Анфисе и перестал копать. Ну, как ливень застанет их в поле, в этих проклятых Адамовских оврагах? Быть не может! Все-таки не дети. Где-нибудь спрячутся.

Николай Никитич провел мокрым рукавом по лицу, посмотрел на сад: забор весь уже повалился, и по ту сторону его вода размывала свежую землю.

Николай Никитич отшвырнул лопату. Он видел, как осел большой кусок земли за старой яблоней. Яблоня наклонилась, в обнаженной земле показались темные корни соседней молодой яблони; они старались удержать эту осевшую землю, но не осилили. Земля обрушилась, старая яблоня упала, вокруг ее вершины закипела вода, и яблоня, ныряя, показывая спутанные корни и вертясь, поплыла по оврагу. Она ударилась о берег, зацепилась, но вода оторвала ее и унесла вниз в реку.

— Анфис! — крикнул Николай Никитич и пошел, спотыкаясь, к дому, забыв на земле лопату.

Он вошел в свою комнатенку и лег, мокрый, весь в глине, на деревянный диван. Вверху живота ощущалась острая боль. Иногда она затихала, а потом снова схватывала. Сначала слабо, потом все сильнее и сильнее, чуть не до крика, и опять затихала.

Николаю Никитичу почему-то казалось, что боль возвращается, когда вода начинает подмывать новую яблоню, усиливается, когда она выворачивает ее из земли, доходит до предела, когда с треском рвутся корни, и затихает, когда вода наконец оторвет яблоню и унесет по оврагу. Но тут же вода начинала подмывать другую яблоню, и боль возобновлялась.

Когда ливень стих, соседка Николая Никитича, Антонина Васильевна, женщина сердобольная и любопытная, заглянула в сад — посмотреть, что натворила гроза, и только всплеснула руками. Половины сада как не бывало. Тотчас за клумбой с цветочными часами начинался провал.

Антонина Васильевна прошла в дом. Николай Никитич лежал на диванчике, черный, землистый. Судорога дергала его реденькую бороду.

Антонина Васильевна побежала к Нине Порфирьевне, не разбирая дороги, прямо по лужам, подобрав подол.

Когда прибежали Анфиса с Колей, в доме было пусто. Дверь была прикрыта, но не заперта на замок. Антонина Васильевна рассказала, что Николай Никитич заболел, что приходила Нина Порфирьевна, определила прободение язвы желудка и Николая Никитича тотчас увезли на операцию в больницу. Что с ним теперь, неизвестно.

В больнице было тихо. Тускло горела в коридоре лампа. Нина Порфирьевна вышла навстречу Анфисе и Коле из операционной в белом халате и шапочке, близорукими глазами строго посмотрела на Анфису, взяла ее за руку, сказала: «Пойдем сюда!» Ввела в свой кабинет и прикрыла дверь.

Коля остался в приемной. Он слышал, как вскрикнула Анфиса, хотел войти к матери, но не решился.

Появилась знакомая сиделка, кивнула Коле, достала из шкафа чистую простыню, развернула ее, прикинула длину и сказала про себя:

— Как раз по нему.

— Коля! — позвала из-за двери Нина Порфирьевна.

Она сидела на кожаном диване перед хирургическим столиком и держала за плечи Анфису. Анфиса сидела наклонившись, упершись руками в кожаный диван: косы ее упали. Одну косу она крепко зажала зубами, и Коля услышал тихий звук, похожий на стон: Анфиса сдерживалась, чтобы не разрыдаться.

— Коля,— спокойно сказала Нина Порфирьевна и показала глазами на Анфису,— пожалуйста, проводи Анфису к нам домой. Посмотри за ней...— Нина Порфирьевна помолчала.— Теперь Анфиса будет жить у нас.

— Не надо! — прошептала Анфиса, затрясла головой, но тотчас обняла Нину Порфирьевну за шею и прижалась к ней.

— Ну, ничего...— Нина Порфирьевна сняла пенсне и пригладила Анфисины волосы.— Ты же взрослая, сама все понимаешь. Утешать тебя я не буду. Для меня и для Коли ты родной человек. И мы, я думаю, для тебя тоже не чужие. Правда?

Анфиса не ответила, только крепче прижалась к Нине Порфирьевне.

Дома Коля сначала не знал, что делать, чтобы успокоить Анфису, но потом понял, что чем сильнее она будет плакать, тем для нее легче.

Коля ждал Нину Порфирьевну, но она все не шла. Анфиса, измучившись от слез, затихла в уголке дивана. Коля укрыл ее пледом, погасил лампу и вышел. Он сел в соседней комнате так, чтобы видеть за открытой дверью Анфису, и просидел почти до рассвета, до возвращения Нины Порфирьевны.

Хоронили Николая Никитича через день. Перед похоронами Анфиса пошла в размытый сад. Стараясь не глядеть на свежий обвал, она срезала все цветы с клумбы, где были цветочные часы, и принесла их на кладбище.

День похорон выдался пасмурный, теплый.

После похорон Нина Порфирьевна пригласила Смышляева и Абрама Борисовича выпить чаю. Оба охотно согласились. По дороге Смышляев сказал:

— Многое я испытал, но такой грозы еще не видел.

— Я хотя и привык,— добавил Абрам Борисович,— но, между прочим, каждый раз волнуюсь.

— Народ наш — мечтатель,— заметил Смышляев.— Вся история это доказывает. Возьмите переселенцев на Белые Воды, сказание о Китеже, все эти поиски справедливости и счастья — от Разина до наших дней, до революции. Вот, к примеру, Николай Никитич. Тоже ведь человек своей мечты. Овраги его погубили. Может быть, и к лучшему, что он умер. Трудно было бы ему пережить гибель сада.

— Дело всей жизни! — вздохнул Абрам Борисович.

— Да, овраги...— задумчиво сказал Смышляев.— Сколько этим ливнем погубило земли! Я уже выяснил, что здесь каждый год ливни смывают в овраги пять тонн плодородной земли с гектара. Это дает недобор хлеба с каждого гектара примерно в три центнера.

— Недурно! — рассердился Абрам Борисович.— Когда же это кончится?

— Скоро. Осенью начнем засаживать склоны оврагов. Через несколько лет они превратятся в рощи. Размывов больше не будет.

— Сказка Андерсена! — пробормотал Абрам Борисович, покачал головой и сказал: — Не могу выбить из себя скептицизм.

Чай пили на веранде. По углам стояли в кадках фикусы. Сквозь плотный слой облаков белым пятном проглядывало солнце.

Анфиса отказалась от чая и пошла в сад, в беседку. Она села на скамью, смотрела на поля за рекой и вытирала набегавшие изредка слезы.

— Пусть побудет одна,— вполголоса сказала Нина Порфирьевна Коле.— Посиди с нами.

За чаем Нина Порфирьевна говорила, как она рада, что Коля пристрастился к лесному делу — самому, по ее мнению, благородному и замечательному занятию,— и спросила, почему Смышляев выбрал себе эту профессию.

— Это у меня от матушки,— ответил Смышляев.— Отец мой был слесарем на одном из московских заводов. Жили мы в Лефортове, в бараках. Кругом — мусор, пыль, ни травинки. А мать у меня из-под Вологды. Раз в два-три года она ездила к своим старикам в деревню И меня с собой брала. Там леса. Бывало, приедем, отдохнем, потом мать наденет сарафан, заплетет косу, как девушка, и идет со мной в лес. Это у нее было как праздник. Сядет на полянке, перебирает стебельки, а сама смеется. Приходила в лес прямо как на свидание с любимым. С тех пор у меня особенное отношение к лесу. Я считаю, что лес — прекрасное выражение силы природы и самый ясный образчик ее совершенства.

Коля слушал плохо. Он все поглядывал в сад, где среди листвы виднелось черное платье Анфисы. Сейчас Анфиса казалась Коле необыкновенно печальной и прекрасной.

Коля ощущал присутствие Анфисы у себя в доме как нечто неправдоподобное. Страшно было подумать, что может наступить время, когда в комнатах уже не раздастся ее голос, не заскрипят ступеньки под ее ногами.

Просыпаясь по ночам, Коля напрягал слух, будто мог услышать за стеной Анфисино дыхание. Он поворачивался к окну и смотрел на небо. Одни и те же звезды светили в комнату и к нему и к Анфисе, и в этих звездах было не передаваемое никакими словами спокойствие ночи.

РЕЧНЫЕ ФОНАРИ

Писатель Леонтьев только что возвратился в Ленинград после десяти дней, проведенных на охоте в глухих, болотистых лесах около устья Свири. Он вдоволь надышался резким и холодным воздухом непролазных дебрей, продымился у костров и весь еще был во власти недавно пережитой тишины. Отсюда, из Ленинграда, она казалась неправдоподобной. Разная бывает тишина, но безмолвие тамошних лесов было, как казалось Леонтьеву, абсолютным.

Каждый звук, врывавшийся в это безмолвие, тотчас давал толчок воображению — будь то отдаленный гудок озерного парохода, или крик ястреба, или выстрел.

Особенно привлекали Леонтьева гудки пароходов. Он нарочно пошел к берегу Ладожского озера, чтобы посмотреть на пароходы, хотя это было очень далеко от той деревни, где он обосновался.

Вышел он на берег озера к концу весеннего дня, когда день уже меркнул и переходил в северную ночь. Все было чисто и невесомо — и песчаный берег, и гладь воды, и мгла, порождаемая каждым открытым пространством. По озеру шел пароход, и Леонтьев долго смотрел на его легкий корпус и на зажженные, несмотря на белую ночь, фонари.

Там, в этой лесистой и почти безлюдной местности, Леонтьев еще раз понял, что всю жизнь писал не то, что мог бы написать. Всю жизнь он мучился тем, что не в состоянии был с полной силой выразить себя, мучился сознанием, что может и должен написать замечательные и нужные людям вещи. Но каждая написанная книга, как только он ее заканчивал, казалась ничтожной, неудавшейся и непоправимо испорченной.

Он ругал себя за то, что у него хватало сил только на хорошие замыслы, но недоставало упорства, чтобы их выполнить.

Первое время после возвращения в Ленинград Леонтьев никак не мог усидеть в своей холостяцкой квартире. Его все тянуло на воздух, наружу, к Неве. Счастье его, что он жил именно в Ленинграде, где природа входила в самый город и сливалась с площадями, фронтонами зданий, набережными, с самим воздухом и перспективой ленинградских улиц.

Вот и сейчас Леонтьев бродил вечером по городу и думал о множестве разнообразных вещей.

Сначала он, конечно, в какой уж раз, изругал себя за то, что ленив и никогда не пишет книги во весь голос. Всегда они у него идут по «затухающей кривой». Это были неприятные мысли, и Леонтьев постарался поскорей от них избавиться.

Была поздняя весна, и чувство этой весны, завладевшей городом, и ожидание длинного лета было таким радостным, что Леонтьев скоро успокоился.

Он долго стоял на набережной, но смотрел не на Неву, а поверх нее, на тонущие в световой дымке строгие здания, на свет зари и на самое прекрасное, что украшало каждую ночь,— прозрачную, как капля воды, звезду, горевшую над купами темной зелени.

В небе прошел на большой высоте самолет и оставил после себя снежную полоску. Она долго не таяла. Она будто тянулась от шпиля Михайловского замка к этой звезде и казалась воздушной тропой, ведущей в мировое пространство.

Леонтьев всегда испытывал необъяснимую грусть, когда становился свидетелем чего-либо простого и прекрасного. Грусть эта пришла к нему и сейчас. Стараясь отыскать ее причину, он внезапно понял, что это не грусть, а какое-то необычное — очень светлое и плодотворное — состояние. Только по косности своей мы называем его грустью, не желая тратить силы и время, чтобы в нем разобраться. А разобраться бы надо давно.

Потом он подумал, что есть особая прелесть как раз в таких вот неясных человеческих состояниях. Из них-то и рождается поэзия.

Вот весна. В памяти возникают давно прочитанные слова. Вскоре они уже поют все настойчивее, их уже невозможно, нельзя позабыть, они утверждают свою власть над человеком и входят в его жизнь, как входит сама весна:

Ты счастие! Ты радость прежних лет!
Весна моей мечты далекой...

Прозаик — по самой своей сути человек медлительный, обстоятельный и простой. Поэзию же Леонтьев считал волшебством. Поэтам он завидовал и не уставал восхищаться их способностью всегда по-новому — неожиданно и броско — передавать давно знакомые ощущения.

Леонтьев медленно пошел через Петроградскую сторону. На северо-западе никак не могла погаснуть заря, а на востоке ее уже сменяла другая. Он, усмехаясь, думал, что вот идет навстречу заре, навстречу какой-то новой жизни, и это выражен , «навстречу заре» — вовсе не затасканная, старая метафора. Если вглядеться в чистоту неба, в его золотизну, то невольно начнешь волноваться, как будто впереди и вправду тебя ждет счастье. Это счастье скрыто и в прозрачности ночи, и в огнях речных фонарей, и в том, что где-то высоко, на четвертом этаже, слышен из открытого окна детский смех.

«Черт возьми! — подумал Леонтьев.— Как бы это все же собрать воедино свои мысли и привести их в полную ясность?!»

Единственное, что он сейчас ощущал,— это волнение, вызванное быстро меняющимися мыслями. Но в этих мыслях было что-то одно, главное, чего он еще не мог уловить, выразить словами.

Он знал, что в ту минуту, когда весь этот хаос как будто мимолетных мыслей и впечатлений станет совершенно отчетливым, наступит время писать. Наступит та жажда писать, когда каждая потерянная минута кажется катастрофой. Тогда весь этот поток разрозненных мыслей войдет в гранитные, строгие берега повествования.

Удивительнее всего, что окружающее было под стать этой ночи с ее сумрачным блеском: и тусклый отсвет адмиралтейской иглы, и слабый огонь зари в окнах, и приглушенные голоса, и даже внешность людей.

Вот прошел старик без шляпы, с заложенными за спину руками — известный ученый; остановился на берегу и долго смотрел на черные грузные баржи, стоявшие на якоре на Большой Невке. Он, должно быть, удивлялся тому, что баржи эти, сделанные из тяжелого темного дерева, казались сейчас, в свете ночи, совершенно невесомыми. Или вот девушка в темном скромном платье. Она сидит на каменном спуске к воде и, низко нагнувшись, читает при последнем, иссякающем свете какую-то книгу.

«Что она читает?» — подумал Леонтьев, остановился, хотел спросить об этом девушку, но та обернулась, посмотрела на Леонтьева раздосадованными глазами — такими большими, что вокруг блестящего зрачка был виден нежный белок,— и захлопнула книгу. Спрашивать не пришлось — на обложке Леонтьев прочел: «Алексей Толстой.

Хождение по мукам». Девушка поднялась, пошла по набережной, и Леонтьев, глядя ей вслед, увидел, что это совсем еще юное существо — тоненькое, со слабыми плечиками и детскими косами.

Всю ночь Леонтьев бродил по островам, долго сидел на бонах лодочной станции. Быстрое течение на Невке перебирало и расчесывало зеленые нити водорослей. Стало холодно. Туман серыми струйками начал осторожно выползать из садов и стлаться по воде. Никого вокруг не было.

И тут наконец Леонтьев понял, что все эти его такие разрозненные мысли, по существу, являются мыслями о родине и о нем самом как частице многомиллионного народа, частице своей страны. Ленинград был одним из лучших ее выражений, и все в нем, до последней мелочи, говорило о прошлом, о настоящем и будущем России.

Теперь Леонтьеву стало ясным, о чем он будет писать: о России. Она сейчас представлялась ему обширным миром поэзии, далеко еще не до конца исчерпанным поэтами, писателями и художниками. Да, полно, можно ли эту поэзию исчерпать до дна? Конечно, нет. Но он все-таки должен добавить ко всему, что писалось о России, свой вклад, свою любовь к ней, свое ощущение эпохи — небывалой и удивительной.

Как, каким путем он это сделает? Это в конце концов было не так уже важно. Он твердо знал, что сделает.

Он лег на боны, зачерпнул невской воды и умыл ею лицо. Вода пахла водорослями и немного железом.

Леонтьев встал, вытерся носовым платком. На лицо его упал луч только что взошедшего солнца, и он улыбнулся от ощущения утренней теплоты.

ДОРОЖНАЯ КНИГА

Пароход сел на мель на рассвете. Он долго работал то вперед, то назад, из-под колес буграми била вода, но сняться с мели не удалось.

Ока волочила грунт на перекате с такой силой, что было видно, как песчаное дно переливается вниз по течению.

Засели прочно. Пароход жалобно загудел, но всем было ясно, что гудеть бесполезно, и гудок вскоре затих. Оставалось ждать попутного или встречного буксира, ко-

торый мог бы стащить пароход с мели. Но река была пока что пустынна.

На гудок приехал с берега бакенщик. Он божился, что только вчера над этим местом прошел буксир «Кочегар» с четырьмя баржами-нефтянками и ни разу не коснулся дна.

— Шалит река! — виновато говорил бакенщик капитану.— Несет песок бесперечь второй год. Каждый день перекат меряю, переставляю бакены. Да за этой рекой разве угонишься! Чуть оглянулся, а она — пожалуйста! — завалила уже песком весь фарватер.

— Нарочно в Залесье задержались,— с отчаянием сказал капитан,— чтобы проскочить этот проклятый перекат засветло. И вот — на́ тебе! Проскочили!

Анфиса стояла на палубе, облокотившись о борт, и смотрела на крутой берег реки, заросший желтыми цветами. На берегу, на перевальном столбе, висели черные шары. Около столба сидел мохнатый пес и смотрел на пароход. Каждый раз, когда Анфиса на него взглядывала, пес начинал мотать пушистым хвостом и повизгивать, но подойти к обрыву не решался.

— Твоя собака? — спросил капитан бакенщика.

— Моя. Дамка. Пароходы она уважает. Будет так вот сидеть глядеть хоть целый день. А вот моторок не любит. Прямо сипнет от злости, как их увидит. И чего ей дались те моторки, не пойму!

— Что-нибудь да есть,— сказал капитан.— Не без причины.

— Известно, не без причины! — радостно согласился бакенщик.

Он охотно соглашался со всем, что говорил капитан, лишь бы оттянуть неприятный разговор о неправильно поставленных бакенах и посадке парохода на мель. В глубине души он сам не знал, виноват ли он, что пароход сидит на мели, или нет за ним никакой вины.

Пожалуй, скорее, вины нет. Не может же он каждые два часа мерить глубину на фарватере и переставлять бакены с места на место!

Река за последние годы совсем отбилась от рук. Кто его разберет, чего в ней теперь больше, воды или песку! Вот, месяц назад, села на мель беляна у Ближних Полян, а сейчас уже намыло вокруг нее целый остров, и с того острова мальчишки ставят закидные удочки, ловят рыбу.

— А вокруг беляны-то,— спросил капитан, и бакенщик даже поежился: вот он, старый разговор,— той, что у Ближних Полян, небось лоза уже выросла?

— Это верно, выросла! — с готовностью подтвердил бакенщик, хотя знал, что никакой лозы там еще нет.

Он помолчал и наконец спросил капитана о том, что его давно и больше всего беспокоило:

— Отец мой, бывший водолив, все серчает, что происходит такое обмеление. Это, говорит, инженеры виноваты. Городить должны реку плотинами, не упускать полую воду. Правильного распределения воды, говорит, нету. Надо думать, пустые это слова.

— Почему пустые?

— Я так полагаю, что не в распределении дело, а бесперечь сохнет земля. Вода куда-то девается, шут ее знает!

— Что ты путаешь! — рассердился капитан.— Старик твой верно говорит. Воды на земле не убавилось — и дожди те же и снега те же. А вот распределение воды в природе дурацкое. В мае размахнет разлив на десять километров, а через месяц нет воды, утки вброд переходят.

— Правильно!

— А почему такое явление? Не соображаешь? Потому что голо кругом,— капитан кивнул на песчаные берега.— Голо! Я по этой реке плаваю уже тридцать пять лет. Что тут было раньше, забыл?

— Лес, конечно, был,— ответил неуверенно бакенщик.— Ха-а-роший лес! Семь верст до небес — и все лесом.

— Вот то-то! Лес воду берег, притенял землю, питал реку весь год. Были бы леса — не надо нам никаких плотин. Понятно?

— Понятно,— пробормотал бакенщик.

Анфиса слушала этот разговор и думала о Коле Евсееве. Этим летом Коля проходил практику под Ленинградом, в пригородных парках. Анфиса плохо представляла, какая там может быть работа для будущего лесовода.

Зиму Анфиса прожила в Москве, училась в театральной студии. Поселилась она в студенческом общежитии на Гоголевском бульваре. Ей сразу же понравилась Москва: ее зимние туманы, огни, сутолока, театры, куда она научилась пробираться со своими подругами по пропускам, студия, где преподавание было поставлено очень интересно, жаркие, до слез, споры об искусстве, о последних спектаклях, непрерывная работа над собой, которой настойчиво

добивались преподаватели,— от постановки дыхания и голоса до умения фехтовать.

«Чтобы быть хорошим актером, надо много знать, понимать и прочувствовать» — таков был закон студии. Анфиса жадно читала, бегала по музеям.

Стипендии ей не хватало, и она кое-что подрабатывала: помогала писать декорации в мастерской одного из театров. Художник был невероятно ленивый и наваливал на Анфису гораздо больше работы, чем полагалось. Анфиса очень уставала.

Но всё искупали репетиции, когда декорации впервые ставились на сцене и на них пробовали освещение. Блеск красок, свет — то багровый, то золотой, то синий, шумное отчаяние режиссера и художника, их постоянные стычки, запах олифы, звуки оркестра, тут же разучивавшего музыкальные куски,— все это нравилось Анфисе. Особенно любила она пустой и неосвещенный зрительный зал. Нигде чувство приближающегося неизбежного праздника не было так сильно, как там. Пройдет еще несколько часов, и темный этот зал преобразится, засверкает огнями, позолотой и наполнится до самого купола пением оркестра. Легкий театральный ветер будет колебать занавес, и наконец начнется спектакль — то удивительное зрелище, к которому Анфиса все еще не могла привыкнуть.

С Колей Анфиса переписывалась редко.

Коля звал ее приехать на летние каникулы в Ленинград. Анфиса уже совсем было собралась, но передумала: решила поехать со своей подругой, студийкой Татой Базилевич, на две недели на пароходе от Москвы до Казани и обратно.

«Вернусь и, если останется свободное время, поеду в Ленинград»,— говорила она себе, хотя хорошо знала, что свободное время останется.

На палубу вышел плотный человек, лысоватый, загорелый, с седеющей бородкой и прищуренными спокойными глазами,— ленинградский писатель Леонтьев. Анфиса и Тата познакомились с ним, как только пароход отвалил от речного вокзала в Москве, и тотчас сдружились, хотя Леонтьев оказался великим молчальником. Говорил он редко — больше усмехался.

— Сидим? — спросил Леонтьев Анфису.

— Сидим!

— Люблю речное плавание,— хитро сказал Леонтьев.— От торопливости, говорят, жизнь сокращается.

Он сел в плетеное кресло на корме, закурил и, как всегда, углубился в чтение. Читал он все одну и ту же толстую книгу. Называлась она: «Россия. Полное географическое описание нашего отечества. Настольная и дорожная книга. Среднерусская черноземная область».

Леонтьев разложил на столике карту. Отрываясь от книги, он рассматривал ее, прищурив глаз, чтобы в него не попадал дым из трубки. Изредка он делал выписки в толстую зеленую тетрадь.

Он читал и работал на палубе так же спокойно, как, должно быть, у себя в холостяцкой квартире. Ничто ему не мешало — ни разговоры пассажиров, ни вечный смех Таты Базилевич, ни остановки на пристанях, ни встречные пароходы.

Леонтьев безмолвно участвовал во всей пароходной жизни. Он часто откладывал книгу и смотрел на берега. Вот на крутояре деревенские девушки наваливают на телегу сено из стогов, что-то задорно кричат вслед пароходу, и зубы их блестят на солнце. Потом стога и девушки пропадали за поворотом, и пароход гудел, сбавляя ход перед разводным мостом.

Мост торопливо разводили. Пароход проходил в узкий пролет. Пассажиры висели на бортах. Леонтьев вставал и тоже подходил к борту.

На мосту, засыпанном сухим сеном, дремали лошади, свистели в два пальца, мальчишки, махали платочками девушки. Бородатый паромщик с багром в руке кричал:

— «Рылеева» не видали?

— Следом идет! — отвечали с мостика.

— Там у меня зять механиком!

— Чего?

— Зять, говорю, механиком!

— С чем вас и поздравляем, папаша! — кричали с парохода.

Паромщик неодобрительно качал головой. Пароход проходил. Волны весело били по мосту, захлестывали на него; девушки с визгом подбирали платья, лошади пятились, прядая ушами; дружно качались привязанные к мосту дощаники, и пароход, широко разворачивая за кормой пенистый след, прибавлял ход до полного.

Все успокаивалось. Леонтьев возвращался в плетеное кресло. Монотонно работала машина. С лугов доносился запах клевера. Клонило в дремоту. Леонтьев засыпал на несколько минут, а когда просыпался, за излучиной реки в слюдяной дымке полудня виднелись вершины старых верб и деревянные шесты — антенны над крышами какого-то села. И страшно высоко, оставляя в синеве перистый след, проходил над рекой самолет.

Книга «Россия», которую так медленно читал Леонтьев, заслуживала изучения.

В конце XIX века петербургский издатель Девриен начал выпускать многотомное географическое описание России. Руководил этим изданием известный географ Семенов-Тян-Шанский. Каждый том был посвящен той или иной области страны и снабжен картами и множеством рисунков и фотографий.

Обширный этот труд был интересен тем, что, помимо общего описания каждой области, ее рек и озер, почвы, климата, растительного и животного мира, исторических судеб, быта и культуры, промыслов и занятий населения, в нем были еще подробно описаны не только все города, вплоть до самых ничтожных, «заштатных», но даже все села и деревни.

Это описание России, по мнению Леонтьева, не потеряло значения и теперь, хотя его трудолюбивые составители и отличались пристрастием к церковной старине, ярмаркам и помещичьим имениям.

Леонтьев смотрел сквозь пальцы на эти слабости авторов «России». Он находил в книге много полезного и неожиданного. В конце концов это была первая географическая энциклопедия страны. Она давала представление о ней в те времена, когда в России особенно бурно развивалась промышленность, строились железные дороги, начиналась каменноугольная горячка в Донецких степях.

Леонтьев выписывал из книги отдельные места, сам еще не зная, пригодятся ли они ему для работы. Просто эти места казались ему интересными.

«На реке Воронеже, при вступлении этой реки в обширное лесное пространство, расположенное в трех уездах (Козловском, Липецком и Раненбургском), находится село Старая Казинка, бывшая в начале XIX века во вла-

дении помещика Ивана Герасимовича Рахманинова. Этот Рахманинов был поклонником Вольтера и переводчиком его сочинений. В 1788—1789 годах Рахманинов, будучи конногвардейским офицером, издавал журнал «Утренние часы» и завел свою типографию, которую по выходе в отставку перевез в Казинку. В 1795 году по доносу козловского цензора типография была закрыта, а сам Рахманинов отдан под суд. Но вскоре типография и книжный склад сгорели, и Рахманинов был освобожден.

Племянник Ивана Герасимовича был замечательным ученым и профессором механики в Киевском университете.

В настоящее время семья Рахманиновых дала даровитого молодого композитора, автора оперы «Алеко» и ряда других произведений».

Леонтьев усмехнулся, перелистал несколько страниц и снова начал выписывать:

«В семи верстах выше устья реки Красивая Меча расположено село Троекурово, имеющее больше трех тысяч жителей, две церкви и лавки. Троекурово в конце XVII века, по свидетельству синодика, хранящегося в Лебедянском монастыре, принадлежало князю Ивану Троекурову, спутнику юности Петра Первого. Он был назначен начальником Стрелецкого приказа и в этом качестве должен был «вершать» разнообразные дела. Так, в 1695 году к Троекурову привели мужика, который закричал «караул» и сказал за собой «государево слово». Допрошенный Троекуровым, он заявил, что если ему помогут сделать крылья как он укажет, то он будет «летать, как журавль». Крылья были сделаны «по указу великих государей». Мужик надел их, перекрестился и приказал раздувать крылья мехами, но подняться все-таки не смог, ссылаясь на их тяжесть, а потому бил челом Троекурову, чтобы ему дозволили сделать другие крылья, которые обойдутся всего только в пять рублей. Но князь «раскручинился», приказал бить мужика-журавля батогами, а 18 рублей казенных издержек доправить на нем, продав его имущество».

Выписав это место, Леонтьев улыбнулся: до чего чудесный народ — неспокойный, талантливый, золотые руки! Как знать: если бы дали этому мужику еще пять рублей, то, может быть, и вышел бы толк.

Чтение «Географического описания» навело Леонтьева на мысль, что пришло время выпустить такое же издание о Советском Союзе — ряд книг, где были бы описаны все области, края, все города, и старые и только что возникшие к жизни, все колхозы, села, новые железные дороги, плотины, электростанции, автострады, заводы, каналы, заповедники, огромные, созданные руками человека озера — каждый уголок страны в его новом качестве, с новой историей, с новыми людьми, с новой, созданной после революции географией русской равнины. Это не исключало бы, конечно, и описания старины, памятников искусства и всей прошлой истории этих мест.

В предисловии к то́му «Среднерусской области» с гордостью перечислялись знаменитые уроженцы этой области: Баратынский, Тютчев, Лермонтов, Никитин, Фет, Тургенев, Лев Толстой, Лесков, Белинский, капитан Головнин, художник Крамской, актер Щепкин, генерал Ермолов и многие другие.

«А мы? — думал Леонтьев.— Плохо мы еще знаем биографии наших людей. Мы могли бы продолжить этот список именами наших ученых, политических деятелей, писателей, инженеров, военных, летчиков, путешественников — уроженцев этой же области».

Леонтьев начал вспоминать: академик Павлов, Циолковский, Мичурин, скульптор Голубкина, писатели Малышкин, Новиков-Прибой, Гайдар, Пришвин, Вересаев, поэты Асеев, Есенин, художник Архипов...

Для этой работы нужно создать содружество писателей, художников и ученых. Каждый из писателей изучил бы два-три района страны, а потом их описал.

Это была работа на много лет — захватывающая, новая, значительная. Леонтьев увлекся этой мыслью, но, как человек осторожный, пока что о ней никому не рассказывал. Зимой он разработал план издания, а летом решил проехать в какой-нибудь уголок поглуше, пожить там и посмотреть, как изучение страны будет выглядеть «в натуре».

Леонтьев был страстный охотник и рыболов. Поэтому он выбрал в средней полосе России самый лесистый район, где сохранились еще девственные боры с их озерами и болотами.

Сейчас он ехал туда на пароходе, и чем дальше, тем

больше эта поездка казалась ему и необходимой и заманчивой.

Всегда его тянуло в лесные края. Леса были его страстью, его увлечением. Может быть, потому, что раннее свое детство он провел в Заволжье, в безлесных, пыльных, перегоревших от постоянной засухи землях.

Однажды вечером, сидя на корме парохода вместе с Анфисой и Татой, он вдруг разговорился и рассказал им свою жизнь.

Никогда и никому он так подробно о ней не рассказывал. Даже когда у него попросили автобиографию для энциклопедического словаря, он написал всего несколько строк:

«Происхожу из крестьян бывшей Самарской губернии. С трех лет остался сиротой. Был взят на воспитание крестьянином-бобылем. Приемный мой отец с великим трудом дал мне среднее образование. А затем — с семнадцати лет — я жил самостоятельно, работал дорожным мастером, землемером. Писать начал в двадцать два года. Сначала печатался в приволжских газетах, а потом добрался до Москвы и Ленинграда».

Теперь, на пароходе, если бы Леонтьев не увидел в руках у Анфисы книгу Мельникова-Печерского «В лесах», он бы ничего, наверно, не рассказал. Книга эта вызвала у него воспоминания, и незаметно для себя он разговорился.

— Вы знаете, о каких лесах идет у Мельникова разговор? — спросил он Анфису.— О Керженских. В старые времена пояс дремучих лесов охватывал с севера русские степи. Теперь от него остались только острова — Черниговские леса, Брянские, Мещерские, Муромские, Керженские. В Керженских лесах народ был крепкий, строгий. Мой отчим был родом оттуда.

— А отец? — спросила Анфиса.

— Ни отца, ни матери я не помню. С трех лет остался сиротой. Жили в деревне Песчаное бывшей Самарской губернии. Взял меня к себе в избу один отставной солдат, георгиевский кавалер, бирюк и бобыль. Человек был хмурый, всем недовольный. Только и делал, что ругал мужиков за невежество. Бедняк был немыслимый. Но с воображением. Уважал науку. Говорил, что ученый человек, как дубовый клин, расколет самое вязкое полено.

— Как же он дал вам образование? — удивилась Тата.

— По крохам. Буквально вымолил. Обивал пороги. Даже в ногах валялся у попечителя учебного округа. С гордостью своей не посчитался. А старик был занозистый, прекословить себе не давал. Есть такие мужички: уж если что вобьет в голову, то ничем не выколотишь. Семью пустит по миру, последнюю коровенку продаст, в лаптях будет зиму ходить, всем осточертеет, всех изругает, шелуху от проса будет жевать, а со своего пути не сойдет. Древнее русское упорство. Мой отчим был с Керженца. Потому и прозвище у него было на деревне «Кержак». Детство, в общем, было у меня невеселое. Засухи, голод, «черные бури». Кончилось тем, что вся деревня снялась и ушла на запад, за Волгу, а там разбрелись кто куда. Мы с отчимом попали в Пензу. Там он сапожничал.

— Он умер? — спросила Анфиса.

— Давно. Но первые свои рассказы я напечатал еще при нем. Он их вырезал из газет и клеил на стенку: очень гордился. Надо было съездить к нему на могилу, да вот все некогда... Да,— повторил, помолчав, Леонтьев,— невеселое было детство. Когда я появился на свет, леса в Заволжье уже давно были сведены. Остались кругом только одни сухие равнины. И гуляли по тем равнинам горячие ветры. С тех пор я ветер не люблю; прямо заболеваю, когда начинается ветер. Засухи были жестокие. Суховеи. Хлеба сохли на корню. Пух от репейника летал, бывало, целыми облаками, набивался в рот, в нос, прилипал к лицу. Оводы гудели над каждой лошаденкой и коровой тучами. Черт знает что! Даже куры сидели на земле, разинув клювы, и тяжело дышали. А вода из нашей речонки все уходила. Оставался один грязный ручеек, да и тот затаптывали ногами и копытами. И весь день висело в небе солнце — красное, страшное. Мужики как поглядят на него, сейчас же ругаются. Но хуже всего было по вечерам. Каждый вечер в полях поднимались тучи, но никогда не доходили до нашей деревни. Останавливались на горизонте, полыхали зарницами, а к утру от этих туч не оставалось и следа. Иногда только от них налетал ветер, и, помню, шумели хлеба,— сухо, мертво, как жестяные.

Да... Однажды, в такую вот засуху, забрел к нам в деревню бродячий монах. Ходил он с железной кружкой, собирал на построение сгоревшего где-то в Тамбовской губернии храма. Худой был монах, носастый, и глаза такие,

что прожигали насквозь. Мужики и то от его взгляда отворачивались. «Не гляди! — говорили.— И так дыхать нечем». Помню, как монах все кричал: «Бога забыли! За грехи ваши господь постановил испепелить эту землю на пять аршин в глубину. Покайтесь! А не то задымятся хлеба и все погибнет. Спасутся, кричал, только птицы небесные, улетят в те губернии, где дождик моросит, землю мочит!»

Сначала мужички наши уперлись. «Чего нам каяться! — говорят.— Грехи наши обыкновенные, всеобщие. Мы хуже других, скажем парамоновских (а Парамоново от нас в шести верстах), не грешили». А монах все кричит, мол, надо отслужить молебствие о ниспослании дождя и опахать на бабах и ребятах вместо коней все село.

— Прямо средние века! — возмутилась Тата.

— Да,— ответил Леонтьев.— Мужички наши подумали и согласились: терять-то все равно нечего. Ночью опахали село. Запрягли в соху баб и нас, нескольких ребят. Меня отчим тоже заставил. Мы волочим соху, а монах идет рядом и покрикивает: «Помолимся, православные! Во избавление!» А сзади валит толпа. Пыль, пот, ночь мутная. И опять, как всегда, поднялась над полями туча. Передернуло ее бегучим огнем, и даже гром проворчал где-то за самым краем земли. Ну, бабы, конечно, на колени, бьют поклоны, крестятся. А зарницы все реже и реже. Потом взошел за этой тучей месяц, и видим мы: туча совсем прозрачная, месяц через нее просвечивает, как через сито. Тут Кержак плюнул и закричал, что никакая это не туча, а просто сбило пыль под небом, и нет там ни капли дождя.

Бросили соху, пошли в деревню, а наутро пришел из Парамонова поп с псаломщиком служить молебен о ниспослании дождя. Вышел весь народ с хоругвями на бугор среди полей,— с того бугра в ясную погоду был виден правый берег Волги. Поп пригладил руками волосы и завел: «Миром господу помолимся...» Кадит, искры из кадила сыплются в сухую траву, а она тлеет. Мужики и бабы приминают ее руками, с колен не встают.

Потом поп окропил крест-накрест поля святой водой. Бабы плачут, прижимают к себе ребят, просят: «Защити, батюшка! Не дай малым помереть голодной смертью!» Я тоже стою на коленках, крещусь. Вдруг слышу, хоругви

захлопали, зазвенели. Смотрю, поп простер руки с крестом к востоку, а оттуда несется черная туча. Несется прямо по земле и вся дымится. Поп говорит: «Вот, православные! Услышал господь моления наши. Подходите ко кресту, сестры и братия». Все стоят на коленях, как окаменели, и никто к кресту не подходит. Только Кержак встал с колен и говорит попу: «Ну и намолил ты нам, батюшка, дьявола! Спасибо!»

— А что же это было? — испуганно спросила Тата.

— Погодите. Я смотрю, десятки смерчей летят перед тучей — и прямо на нас. Солнце сразу померкло, и налетел на поля пыльный ураган. Черная буря. Хоругви все расшвыряло, в двух шагах от пыли ничего не видно — и ни единой капли дождя. Только песок бьет в глаза, и жара такая, будто открыли рядом огромную печь. Все упали лицом на землю. Дышать нечем. А как только первый вихрь прошел, кто-то вскочил, кричит: «Где монах? Народ замутил, накликал беду, косматый!» Кинулись искать монаха, да где там найдешь в такой пыли и урагане! Потом рассказывали, что видел его кто-то, как он, подобрав рясу, мчался от деревни к Волге. И кружкой брякал, как коренник бубенцом.

Тата засмеялась.

— Да!.. — вздохнул Леонтьев.— Все поля занесло песком, хлеба погорели, листва на деревьях пожухла и свернулась в трубочки. Мужики подумали — да и снялись с насиженных мест. И ушла наша деревня на правый берег Волги — искать счастья. Проклятые были места! Теперь там уж не то. Теперь наши места не узнаешь. Рассадили колхозники леса для защиты полей, повсюду пруды, свежесть...

Леонтьев замолчал и начал раскуривать трубку. Девушки тоже молчали и смотрели, как тонут во мраке тусклые перевальные огни на берегах.

«НЕ БОГИ ГОРШКИ ОБЖИГАЮТ»

Пароход сел на мель вблизи того городка, куда ехал Леонтьев. Эта задержка совершенно не огорчила Леонтьева, Анфису, Тату и еще одного пассажира — молодого лесничего. Все же остальные пассажиры волновались и брюзжали.

Лесничий ехал туда же, куда и Леонтьев. У лесничего были льняные волосы, белесые ресницы, серые глаза, и ходил он в светлом, стального цвета, костюме.

Больше всех был недоволен задержкой инженер с громовым голосом, в черепаховых очках. В числе многих других инженеров он работал над проектом Большой Волги. Затягиваясь табаком и удушливо кашляя, он рассказывал о плотине через Волгу длиной в десять километров, о гигантском искусственном озере и гидростанции, и временами слушателям не верилось, что Большая Волга — реальность.

«Работа исполинов!» — думал Леонтьев.

Все пассажиры сошлись в салоне за утренним чаем. Раньше всех заняла столик какая-то суетливая старушка. Она везла в Горький к своей дочери внука — толстощекого мальчика с сонным лицом

— Можете себе представить,— трещала старушка,— сколько у меня переживаний с этим пароходом! Я же везу ребенка. На всех пристанях я ему вынуждена покупать молоко от неизвестных коров. Если бы Соня знала, она сошла бы с ума. А эта мель меня прямо зарезала. Если мы опоздаем, то можете себе представить, что будет с Соней.

— Чего вы так волнуетесь? — заметил инженер.— Добро бы по делу ехали.

— Ну, знаете! — воскликнула старушка, и глаза ее загорелись боевым огнем. Видно, она только и ждала, чтобы вступить с кем-нибудь в перепалку.— Каждый думает, что его дело — самое важное. Ваша Волга тоже не остановится, если вы опоздаете на какой-нибудь день.

Инженер пожал плечами:

— Я совсем не собираюсь останавливать Волгу.

На палубе загудел гудок. Снизу, из-за переката, ему ответил другой, ленивый и низкий.

— Буксир! — крикнула Тата, вскочила и помчалась на палубу.

За ней поспешили остальные пассажиры. Всем было интересно посмотреть, как пароход будут стаскивать с мели.

Только старушка не могла уйти, потому что сонный мальчик, надув щеки, со свистом высасывал из стакана молоко от неизвестной коровы. Старушка смотрела на внука колючими глазами. Но мальчик не обращал на нее внимания и после каждого глотка долго, с наслаждением отдувался.

Когда пароход сняли с мели, оказалось, что у него поломаны плицы на колесах и погнут какой-то вал. В ближайшем городке пароход поставили на ремонт. Пассажирам объявили, что ремонт займет больше суток, и потому желающие могут пересесть на «Рылеева», который идет следом.

Почти все пассажиры перешли на «Рылеева». Леонтьев и лесничий попрощались с девушками и сошли совсем: оба они ехали только до этого городка. На пароходе остались Анфиса и Тата да еще две женщины — инженеры с текстильной фабрики.

Из затона Анфиса и Тата пошли побродить по городку. Он понравился им чистотой, садами, мощеными спусками, гостиным двором, где в прохладных лабазах висели хомуты и от них крепко пахло кожей.

Зашли в городской сад. Там целыми полями цвели анютины глазки. Обнаружили дощатый павильон, где продавали малиновое мороженое.

Когда доедали третью порцию, в павильон вошел Леонтьев. Девушки ему очень обрадовались. Леонтьев подсел к столику и заказал себе сразу пять порций: день был жаркий.

— Этот лесничий,— сказал наконец Леонтьев, заканчивая третью порцию,— совершенно замечательный человек! Предложил мне пожить у него в лесу. Отсюда тридцать километров. Через час туда пойдет грузовик. Я на него уже и вещи свои положил. Хотите поехать? Куда интереснее, чем сидеть здесь целые сутки.

— Ну как? — спросила Анфиса Тату и посмотрела на нее умоляющими глазами.

— Что «как»? — ответила Тата.— Конечно, поедем. Но только если нас завтра утром подбросят обратно.

— Подбросят,— пообещал Леонтьев.— Там лес, говорят, заповедный.

— Я толком и не видела настоящего леса...— грустно призналась Анфиса.— Наша область безлесная.

— А вы откуда?

— Я из-под Курска.

Вскоре действительно подошел грузовик. Из кабинки выскочил лесничий. Он был теперь уже в гимнастерке и сапогах. Сейчас только девушки узнали, что фамилия лесничего Баулин. Он, видимо, обрадовался, что Анфиса и

Тата поедут в лесничество, но только забеспокоился, где их уложить на ночь.

— Да у Марии Трофимовны! — подсказал пожилой шофер.— Она в отпуск уехала. Комната ее пустая.

Машина, пыля, пронеслась через городок, потом покатила по окраинным уличкам, заросшим муравой и мелкой ромашкой.

Гуси, гогоча и переваливаясь, поспешно отходили к заборам. Конопатые босые мальчишки изо всех сил бежали вслед за машиной, но цепляться боялись. Из дворов выносились собаки и, чихая от пыли, догоняли машину, с наигранной яростью заливаясь лаем.

Анфисе нравилось здесь все: и гуси, и мальчишки, и собаки, и глупый теленок. Он долго скакал перед машиной и отбрыкивался от нее, пока не догадался свернуть в переулок.

Потом пошли поля, задул горячий ветер, но никакого леса не было.

— Где же ваш лес? — поинтересовалась Анфиса у Баулина.

— А вон он синеет!

Баулин показал в сторону, где по горизонту тянулась темная полоса. Анфиса сразу ее и не заметила.

Въехали в пески. Машина заскрипела от натуги. Из радиатора начал бить пар. Пески делались глубже, поднимались по сторонам сыпучими буграми. Кое-где торчали редкие кусты лозняка.

Среди этих горячих и сухих песков стояла деревня. Только одинокая ракита у околицы давала жидкую тень, а дальше все избы, дворы и широкая улица были залиты таким нестерпимым светом, что больно было смотреть.

В деревне было пусто. Редко-редко высунется из окна женщина или подбежит к плетню и повиснет на нем, разинув от любопытства рот, мальчишка с измазанными ягодой щеками.

Остановились около колодца, чтобы налить воды в радиатор и дать остыть мотору. Высокая старуха доставала из колодца воду. Она вытаскивала не больше трети ведра и бережно переливала воду в другое ведро, стоявшее на земле.

— Что ж так? — спросил шофер.— Вода у вас будто по карточкам.

— Ох, деточка,— вздохнула старуха,— покуль наберешь воды, прямо измаешься! Безводное наше село.

— А где все? На работе?

— Ушли, милый. У нас поля далеко, за песками.

— Что ж вы пески такие развели! — шутливо попрекнул старуху Баулин.

— Ох, деточка,— опять запела старуха и заправила под платок седые волосы,— пески у нас великие! Как солнешный день, так продыху нет. Калятся они от солнца и все сушат, до самого корня. Вздохнуть нечем, деточка. А как ветер, так лучше не живи на свете. Все запорошит, в избу пыли набьет, песку полон рот — не отплюешься. А главное, заносит поля. Так и ползет и ползет — хоть переноси деревню на новое место.

— Сами виноваты,— сказал Баулин.— Сосняк рос на песках — вырубили. Начали скот на порушке пасти. Скот всю землю истолок — вот тебе и пошли пески. А теперь жди, покуда их остановят.

— Ты меня не вини,— испуганно сказала старуха,— это дело мужиковское. Кабы наши мужики знали, что стрясется такая беда, неужто хоть бы одну сосенку срубили? Нипочем. И скот бы пасли на другом месте. Это хорошо, что нынче всё разъясняют. А ране кто нам мог разъяснить? До Советской власти? Учительша совсем была хворая, а поп барышничал, лошадьми торговал по ярмаркам. И не служил, а прямо ржал — не разбери господи, чего и кричит. Такой уж нам попался.

От жары и пыли хотелось пить. Зашли в избу к старухе попить молока. В избе сидела на лавке девочка лет пяти и, затаив дыхание, во все глаза смотрела на Анфису и Тату.

Анфиса дала девочке конфету в цветастой обертке, но, пока девочка ее рассматривала и озабоченно сопела, из сеней осторожно вошла пестрая курица, не спеша подошла к девочке, выхватила у нее из рук конфету и тут же на полу начала было поспешно ее клевать. Девочка заревела, зажав кулаками глаза.

Конфета была спасена, и девочка успокоилась.

Поехали дальше. Вскоре начались пески, усаженные рядами сосенок и чернобыла.

— Наша работа,— сказал Баулин.— Закрепляем пески. Они здесь летучие.

Сосенки становились все выше. На песках уже зеленело сосновое мелколесье. Среди сосенок во множестве цвели лиловые колокольчики и бессмертники.

«Да! — думал Леонтьев.— Что может быть лучше, чем так вот скитаться из деревни в деревню, из города в город, среди этих лесов, полей, рек, луговин, огородов, под солнцем, в запахе созревающей ржи... Скитаться и утром, и днем, и по вечерам, когда поют на возах, возвращаясь с покоса, женщины и глаза их кажутся золотистыми от заката... И по ночам, когда выпь перекликается в сырой темноте с низкими огнистыми звездами. И все это такое родное, давно известное и любимое: и гудки пароходов, и лай собак, и мычанье коров, и далекий веселый голос гармоники около избы сельсовета».

«Обо всем этом я и буду писать,— думал Леонтьев.— О нашей земле, ее заботах, богатстве и красоте. О лесах и пастбищах, о тружениках, что живут на этой земле, о простой и значительной жизни народа».

— Головы! — внезапно крикнул Баулин.

Анфиса быстро наклонила голову и услышала, как обмахнула весь кузов густая листва. Листья растрепали ей волосы. Тотчас в лицо повеяло живительным холодком.

— Вот и лес! — сказал Баулин.

— Анфиса! — крикнула Тата.— Смотри, что делается!

Пригоршни солнечных пятен бежали по лицу. Анфиса встала, схватилась за крышу кабинки.

Дорога шла вверх среди столетних сосен. Подножия их прятались в кустарнике, а вершины качались среди облаков и ветра. И оттого, что дорога поднималась по увалу и лес становился все выше и выше, Анфисе казалось, что они, точно в сказке, несутся — летят в неизвестную страну.

— Как здорово! Ах, как здорово! — восхищалась Тата.

Анфиса наклонилась к окну кабинки и прокричала:

— Хорошо, Сергей Иванович!

Леонтьев улыбнулся и показал глазами на лес. Он делался все гуще. Солнечные лучи падали на цветущий подлесок, на его словно роящуюся листву.

На перевале машина остановилась около деревянной пожарной вышки.

— Перекур! — сказал шофер.— Мотор греется.

Баулин предложил подняться на вышку, чтобы оттуда посмотреть на леса. Он предупредил, что, поднимаясь по сквозным деревянным лестницам, нельзя смотреть вниз, а

только на ступеньку перед собой. Вышка была не меньше тридцати метров, выше самой высокой сосны.

Баулин полез первым, за ним — Леонтьев, позади — девушки.

Анфиса поднималась вслед за Татой, и чувство растворения в потоках воздуха, возникшее еще в машине, не оставляло ее и сейчас. Ветерок обдувал платье, ноги, все ее тело, и оно, казалось, теряло вес, дышало свежим теплом.

Вершины сосен покачивались теперь совсем рядом. До их блестящей хвои можно было дотянуться рукой. На одной из вершин суетилась, стараясь спрятаться от человеческих глаз, рыжая белка. На стволе сидел пестрый дятел. Он недовольно посмотрел на Анфису, будто спрашивал, что ей здесь нужно. Потом перебежал по стволу повыше и с размаху ударил клювом по коре. На самом краю тонких веток вертелись синицы.

На верхней площадке вышки их встретил объездчик — веснушчатый, с русой квадратной бородой. На шее у него висел на ремешке бинокль.

К дощатому столу была приколота кнопками карта лесного района. Тут же стояли кувшин с молоком, берестяная кошелка с малиной и на платке лежали коржи из ржаной муки.

— Угощайтесь,— предложил объездчик.— Малина наша, лесная.

— Спасибо, потом,— торопливо ответила Тата.— Сначала посмотрим.

Она подошла к перилам вышки, села на нестроганый пол, обхватила руками колени и замерла. До самого дальнего края земли, то поднимаясь на взгорья, то уходя в низины, где, должно быть, протекали речушки, важно шумел девственный лес.

Анфиса села рядом с Татой. Океан хвои колыхался вокруг. Парили ястребы.

— «И нет конца лесам сосновым...» — неожиданно сказал Леонтьев.— Не то я выбрал себе занятие. Мне бы объездчиком быть, лесовиком!

Объездчик засмеялся, а Баулин тотчас сказал:

— Ну что ж, пожалуйста! У нас временно есть свободное место.

— На девятом кордоне,— подсказал объездчик.— Заместо Прохора Стерлигова. Он на операцию лег. Только там, на кордоне, глухомань, болота...

— А что ж! — ответил Леонтьев.— Пожалуй, сговоримся?

— Сговоримся,— согласился Баулин.

Анфиса думала о Коле. Через год он окончит Лесной институт и будет работать в таких вот местах. И, может быть, она... Анфиса покраснела. Что она? Выйдет за него замуж? Во всяком случае, она будет ему завидовать. Любит ли она его? Она не знала этого. Ей было только грустно, что Коля не сидит сейчас рядом с ней и не видит всей этой красоты. Это была жгучая грусть, отравленная сознанием, что даже если она попадет когда-нибудь с Колей в эти места, то все равно день будет, может быть, и прекрасный, но уже не этот, а совсем другой. А этот день ничем нельзя остановить, вернуть, пережить сначала.

Шофер закричал снизу, что пора ехать. Объездчик заставил девушек взять на дорогу по ржаному коржу. Коржи были пригорелые, но необыкновенно вкусные.

Лесничество стояло на большой поляне на берегу реки. Течения в реке не было, и казалось, что темная ее вода остановилась и чего-то ждет.

Баулин повел Анфису и Тату в комнату к Марии Трофимовне. На самом деле это была вовсе не комната, а отдельный домик в одну комнату. Она была такой чистой, будто ее только что прострогали рубанком. Внутри пахло стружками.

Анфиса и Тата сбегали к колодцу, умылись, поливая друг другу на руки. Тотчас к колодцу подошла строгая курносая девочка с куклой, уложенной в котомку, и долго рассматривала Анфису и Тату. Потом, подумав, спросила:

— У вас мыло земляничное? Или детское?

— Детское,— ответила Тата.

— Дадите умыться?

— Бери, мойся.

Девочка тотчас положила куклу на бревно, шустро засучила рукава рубашонки и так ловко намылила все лицо, такую развела на нем пышную пену, что вся ее голова заиграла от солнца радужным блеском.

— Вот это девочка! — засмеялась Тата.

А девочка, не смущаясь, с азартом плескала себе в лицо колодезной водой, фыркала и отплевывалась.

— Эй, Манька! — раздался издали сердитый женский голос.— Утрись сейчас же, безобразница! Чего еще выдумала!

— Сейчас, маменька! — пискнула в ответ Манька. С ее счастливого красного и мокрого лица крупными каплями сбегала вода.— Вот спасибо! — поблагодарила она, крепко вытерлась, подобрала куклу и ушла.

— Слушай, Анфиса,— сказала Тата, все еще смеясь,— что кругом за прелесть! Умирать не надо.

В комнате у Марии Трофимовны, где девушки приводили себя в порядок, над столом висел портрет Чайковского, а под ним — фотография крестьянской избы. На скамейке около избы сидела старуха — очень стройная, с красивыми большими глазами, повязанная черным платком.

Анфиса почему-то подумала, что фотография этой старухи висит рядом с Чайковским неспроста.

За обедом у Баулина Анфиса спросила его, кто такая Мария Трофимовна и что означают эти два портрета — Чайковского и красивой старухи, висящие рядом в ее комнате.

— Мария Трофимовна —лаборантка в нашем лесничестве,— ответил Баулин.— А вы, оказывается, проницательная девушка! Сразу догадались, что тут кроется тайна. Да, собственно, тайны-то никакой и нет. Эта старуха — мать Марии Трофимовны, Аграфена Тихоновна Самойлова. Тверская крестьянка. Мария Трофимовна вся в нее: и глаза такие же, да и строгость, как она сама говорит, у нее материнская. Сейчас Аграфена — бригадирша у себя в колхозе, в Калининской области. А ей уже шестьдесят лет, не меньше. Она дочь лесника, да и ее муж, отец Марии Трофимовны, был тоже лесным объездчиком. Так что у Марии Трофимовны пристрастие к лесному делу наследственное. Сейчас Мария Трофимовна как раз там, у матери. Уехала в отпуск.

— А Чайковский при чем? — спросил Леонтьев.

— Это у них в семье вроде предания. Отец Аграфены служил лесником рядом с усадьбой, где Чайковский жил как-то летом. Чайковский часто заходил к отцу Аграфены. Тогда ее еще звали попросту Феней. Феня каждый день приносила Чайковскому кувшин, а то и два земляники. Заметили на фотографии сережки? Это Чайковский подарил Фене. Мария Трофимовна говорит, что в каждой сережке — по небольшому алмазу. Аграфена надевает эти серьги только по праздникам. Будто Чайковский увидел Феню во время слепого дождя... знаете, когда дождь при

солнце. На ушах у Фени блестели капли воды. Чайковскому это очень понравилось. Он пообещал подарить Фене такие же сережки, как эти дождевые капли. И выполнил свое обещание.

— Романтическая история! — заметил Леонтьев.

Анфиса вспомнила рассказ своего отца о том, как Чайковский пытался спасти от уничтожения лес. Может быть, это и случилось как раз в тех местах, где произошла история с Феней и сережками?

После обеда пошли в лес, в сторону девятого кордона, где собирался поселиться Леонтьев. И он и Баулин говорили об этом как о деле решенном, но девушки никак не могли поверить, что Леонтьев всерьез будет работать объездчиком. Леонтьев даже рассердился:

— Не боги горшки обжигают! Как-нибудь справлюсь.

Лес становился глуше и сумрачней. Кое-где сквозь чащу виднелись болотца. В колеях неезженой дороги росло много грибов. Дорога привела к ветхому мостику через канаву.

Баулин рассказал, что давным-давно здесь работала экспедиция по осушке болот — копала канавы, отводила болотную воду в озера. Сейчас все эти канавы позаросли, и болота решено впредь не трогать: они дают исток рекам и поддерживают грунтовые воды. И вообще в заповедном лесу нельзя вмешиваться в жизнь природы. Для этого и создан заповедник.

— Я все-таки не совсем понимаю,— сказала Тата,— в чем смысл заповедника.

Она сидела на низеньких перилах моста, покрытых желтыми лишаями. Вода в канале, коричневая, как кофейный настой, была покрыта ряской. По берегам разрослись высокие хвощи и кукушкин лен. А дальше в лесу так пышно раскинулся папоротник, что закрыл своей светлой зеленью даже высокие пни.

— В чем смысл? — удивился Баулин.— Прежде всего в том, чтобы сохранить нетронутой хотя бы небольшую часть природы, с ее растениями, зверями и птицами. Для изучения. А затем и для того, чтобы выяснить влияние девственного леса на окружающую среду: на поля, на питание водой рек, на высоту грунтовых вод, на влажность, состав и плодородие почвы. Вопросов множество. Но есть еще и другие заповедники. Их, правда, немного. Но будет много. И называются они странно.

— Как? — спросил Леонтьев.

— Вы удивитесь, конечно. Называются они «лесами эстетического значения». Это леса, которые украшают землю и тем самым повышают духовную энергию человека. Кроме того, есть заповедные леса, укрепляющие здоровье. Их государство тоже охраняет.

— Леса эстетического значения,— повторил Леонтьев.— Интересно!

Они помолчали. Луч солнца прорвался через чащу и осветил воду в канаве. Стало заметно, что вода чуть струится. В ней сверкнула золотым боком какая-то рыба.

— Тут карасей развелось видимо-невидимо,— заметил Баулин.

— Вы знаете,— сказал Леонтьев,— я не люблю насаженные леса. Деревья стоят по ниточке и все одинаковые. Как солдаты в строю.

— Старый спор! — усмехнулся Баулин.— Есть ученые, которые думают вот так же, как и вы. Они окружают девственные леса романтической дымкой. Они стоят за естественное возобновление леса. Человек, мол, не должен в это вмешиваться. Природа, по их мнению, умнее человека и его вмешательство приносит только вред.

— Я этого не говорю.

— Вы-то не говорите, а некоторые ученые говорят. Они утверждают, что человек не должен нарушать равновесие, существующее в природе. По их словам, девственные леса никогда не страдают от вредителей, а почва в этих лесах сохраняет плодородие тысячелетиями. Но опыт показал, что все это чепуха. Человек может, умело подобрав древесные породы, не только сохранить девственное плодородие лесной почвы, но и увеличить его до огромных размеров. Сто лет назад, когда люди в разведении лесов были еще младенцами, они заложили в виде исключения первые опытные леса под Москвой и Петербургом. Посмотрите теперь на них. Такой мощи стволов, такой красоты и ценности древесины вы не найдете ни в одном девственном лесу! Мы научились делать чудеса. Как можно отрицать искусственное разведение лесов, если без него мы не сможем исправить географию русской равнины? А ее необходимо исправить.

— Вот энтузиаст! — сказала Тата.— Разве человек может исправить географию?

— Не только может, а просто обязан.

Леонтьев тотчас представил себе будущее. Он едет в скором поезде Ленинград — Севастополь к морю, стоит у окна вагона где-то под Мелитополем и не узнает знакомые степи.

Поезд проносится через тенистые рощи. По склонам балок сбегают к прудам кудрявые заросли лещины. Потом встает впереди синий лес. Поезд мчится к нему, предчувствуя прохладную тень, и врывается в чащу листвы, цветов, трав и солнечного света, золотящего могучие стволы. Смолистый сосновый запах, к которому мы привыкли на севере — там он неотделим от хмурых пространств,— влетает в опущенные окна вагонов, смешавшись с воздухом близкого южного моря.

Это уже совсем не та Россия, что описана в толстых томах девриеновского издания.

— Да...— сказал Леонтьев.— Мне бы только дожить!

— До чего? — спросила Анфиса.

— До окончания одной книги. Понимаете?

— Не очень,— ответила Анфиса.

Но Леонтьев ничего ей не объяснил.

В лесу засиделись до сумерек. Солнце позолотило вершины деревьев, потом раскинуло во все небо нежный свет своей закатной зари и ушло за лесной край, в туманы.

В воде канавы острым огнем загорелся Юпитер. Анфиса подняла глаза от отражения Юпитера и нашла его в небе, как раз над вершиной тонкой сосны. Он посылал свой огонь земле через сотни световых лет, как безмолвный и прекрасный свидетель законов мироздания. Казалось, все вокруг существовало, чтобы внушить человеку ощущение красоты земли и сказать ему, как он должен быть счастлив своей судьбой.

На гибкую ветку ольхи села маленькая птица и закачалась, как на качелях. Качаясь, она то застилала свет Юпитера, то снова его открывала. Анфиса не могла отвести глаз от этого зрелища.

— Темнеет,— сказал Баулин.— Пора домой.

Анфиса подумала, что пора не домой, а пора остаться здесь, лицом к лицу с этой лесной ночью, с ее тишиной, россыпью звезд, все яснее проступавших на небе, с последними отблесками заката.

Но она только вздохнула и пошла вслед за всеми в лесничество.

МАТЬ И ДОЧЬ

Июль в этом году был похож на август. Перепадали частые дожди, и на березовых листьях появилась первая желтизна. С запада прояснилось, и чистая заря долго горела над лугами. Эти луга были далеко видны с бугра, где стояла деревня Бартенево — родина Марии Трофимовны.

Мария Трофимовпа ходила в луга вместе с матерью Аграфеной Тихоновной убирать сено. Сенокос запоздал из-за дождей. Надо было пользоваться каждым ясным днем, чтобы ворошить сено и сгребать его в копны.

Аграфена жаловалась, что вот, мол, в кои-то веки единственная дочь приехала в отпуск отдохнуть, а вместо этого мучит себя, изводит тяжелой работой.

Но Мария Трофимовна ничуть не уставала. В лугах всегда дул ветер, трепал пестрые подолы и платки, путал волосы. Марии Трофимовне нравилось идти с граблями вровень с товарками — колхозницами, замужними женщинами, перекликаться с ними, слушать их рассказы о своих бабьих делах. Женщины дружно завидовали Марии Трофимовне, ее красоте, легкому стану и, видимо, гордились ею, своей сверстницей. Со многими из этих женщин Мария Трофимовна бегала когда-то в сельскую школу.

По вечерам Мария Трофимовна часто сидела с Аграфеной на скамейке около своей избы. Изба стояла на самом юру. С него, по словам Аграфены, было видно «половину России». Действительно, вид был широкий: за лугами блестела извилистая речка, за ней желтели пологие пажити, стояли деревни, а за ними закрывал кругозор темный лес.

Всегда на скамейку кто-нибудь присаживался, и начинался неторопливый, спокойный разговор. Спокойствие это исходило, казалось, от бледных далей, примолкшего вечера и от луны, что косо поднималась над лесом и светила прямо в глаза.

В усадьбе, где жил когда-то Чайковский, невдалеке от Бартенева, сейчас был устроен дом отдыха для престарелых музыкантов. Раз в месяц старые музыканты устраивали в доме концерт и всегда приглашали на него Аграфену — единственную жительницу тех мест, знавшую и помнившую Чайковского. Один из таких концертов совпал с пребыванием Марии Трофимовны в родном селе, и Мария Трофимовна была на нем вместе с Аграфеной.

Аграфена начала волноваться за несколько дней до концерта, дольше обычного засиживалась на скамейке около избы, все вздыхала, плохо спала по ночам. Волнение это передалось и Марии Трофимовне. Она тоже просыпалась ночами и слышала, как Аграфена ворочалась на постели.

Ночь тускло светила в окна. От печки пахло теплой глиной. Сонно кричал сверчок. Мария Трофимовна легко вздыхала от ощущения покоя, долго лежала с открытыми глазами и думала. О чем? Чаще всего о счастье. Она перебирала в памяти все, что люди считают счастьем: любимую работу, дружную семью и многое другое, но ей казалось, что этого мало. Она была убеждена, что для полноты счастья нужно что-то еще, но это «что-то» все время ускользало из ее сознания. И только уже засыпая, когда трудно было разобрать, что происходит на самом деле, а что снится, она просто чувствовала это «что-то».

Это всегда оказывалось чем-то самым простым, привычным, но все же удивительным. Иногда это был слабый синий блеск на стекле, все время переливавшийся и падавший откуда-то издалека, пока Мария Трофимовна не догадывалась, что у оконного переплета спокойно горит звезда.

«Звезда полей,— думала она.— Путеводная звезда». И ей уже виделось сквозь сон, что она идет ночью под этой звездой по луговой дороге в маленький глухой городок и знает, хотя сама и не видит себя, что лицо у нее бледное от счастья, потому что идет она к самому любимому человеку, несет ему свое сердце, и если бы ей сказали, что он никогда не жил на свете, она бы упала и умерла от отчаяния.

Глухой городок. Там сторож отбивает на колокольне часы и в гостинице чадит в коридоре свеча. Но эта гостиница и этот городок сейчас для нее самые родные места на свете, потому что она знает: здесь, за темными окнами, спит он, избранник ее души, поэт, гонимый судьбой, перед которым будут преклоняться сотни поколений. Он загорелся и погас в русской ночи, как пламень падучей звезды.

Ведь это же ей, ей он сказал: «Я знал, что голова, любимая тобою, с твоей груди на плаху перейдет».

Она стоит ночью около гостиницы, гладит кирпичную холодную стену, и у нее разрывается сердце оттого, что он не знает и никогда не узнает всей силы ее любви. По-

тому что он давно умер, убит на дуэли под Пятигорском. Но если бы он был жив... Если бы он был жив...

Аграфена вполголоса спросила: «Ты что не спишь?» Но Мария Трофимовна не слышала старушечьего шепота. Сон вел ее все дальше, к далекому морскому гулу, и гул этот затихал в непроглядной темноте.

Мария Трофимовна проснулась с ощущением легкости на душе и, слушая пение пастушьего рожка, улыбнулась про себя. Она не могла вспомнить своих ночных мыслей, но главное от них осталось и наполнило все ее существо тем «что-то», что и было, должно быть, счастьем.

Утром того дня, когда был назначен концерт, Аграфена вынула из сундука свое лучшее платье темного старого шелка. Мария Трофимовна выгладила его, повесила пока что на стене избы, и вся изба от этого платья стала наряднее. Потом Аграфена достала с самого дна сундука синюю коробочку, где лежали в вате сережки, подаренные ей Чайковским.

Мария Трофимовна осторожно промыла и выполоскала сережки в теплой мыльной воде, вытерла их, и они засверкали так ярко, будто собрали в избу весь свет летнего дня.

Мария Трофимовна надела их, посмотрелась в маленькое зеркальце на стене и покраснела,— сережки ей очень шли.

— Вот помру,— сказала Аграфена,— останутся эти сережки тебе. И ты их носи, не снимай. Они как раз для тебя, для молодых твоих годов. Я бы их и сейчас тебе отдала, да нельзя: дареное при жизни дарить — обидно это тому, кто дарил!

На концерте Аграфена сидела тихая, спокойная. Изредка она теребила бахрому нарядной шали, черной с алыми розанами, и все смотрела на портрет Чайковского на стене, на его серые строгие глаза.

«Глаза строгие,— думала она,— а сам-то был такой уж добряк, что другого такого не сыщешь».

Мария Трофимовна изредка поглядывала на мать и любовалась ею. Аграфена помолодела, зарумянилась, сережки светло поблескивали в ее загорелых темных ушах.

Старый дом звенел от пения струн, похожего на дивный человеческий голос. И как ночь рождала сны, так и эти звуки вызывали из-под спуда видения, похожие на сны, но их рассказывал мужественный голос композитора. В голосе этом были сила, печаль, надежда, раздумье, любовь.

Постепенно одна мысль завладела Марией Трофимовной — мысль о том, как велик мир, как он разнообразен, как удивителен человек и как чудесно, что она существует именно сейчас и делает все, что в ее слабых силах, для украшения и обогащения земли, для того, чтобы людское существование становилось легче, разумнее, справедливее и прекраснее.

«Этого ты хотел? — спрашивала она про себя, глядя на портрет Чайковского.— Да? Этого? Значит, желание сбылось, и твое имя будет гореть сотни лет, не тускнея. Потому что ты затронул у человека самое лучшее, что ему дано,— стремление к совершенству».

С концерта возвращались поздно. Была, вся в звездной игре, холодная ночь. И этот край, где все было так знакомо, показался сейчас Марии Трофимовне совершенно иным — не то что загадочным, а новым.

Чуть белели песчаные косогоры в лесу, и с озера, со стороны Рудого Яра, долетел протяжный и непонятный звук, как будто там трубил лось.

— Никогда еще я так не отдыхала! — сказала Мария Трофимовна.— Тебе не холодно, мама?

— Неужто ж я не привыкла? — ответила Аграфена.— Я за тебя беспокоюсь. Очень ты от жизни волнуешься, Маша, хоть на вид ты и спокойная. А это, говорят, худо: от этого люди меньше положенного срока живут.

— А иначе и жить не стоит, мама,— ответила Мария Трофимовна.

— Да оно, пожалуй, и так,— засмеялась Аграфена.— Без интереса, без любви — куда уж хуже!

ГЛУХОМАНЬ

Леонтьев проснулся сразу, будто кто-то толкнул его в плечо. Несколько минут он пролежал, не открывая глаз.

«Так-так, так-так!» — торопливо стучали над головой ходики. Потом звонко, одним дыханием протрещал сверчок и замолк.

Эти звуки существовали рядом. А за стеной избы — где-то далеко-далеко — проходил непрерывный гул, медленный, похожий на рокотание моря. Там шумел лес.

Голова была совсем свежая, спать не хотелось.

«Ну вот,— подумал Леонтьев,— сбылось наконец то, о чем я мечтал!» А мечтал он о лесной хижине, о жизни в лесу, о том, чтобы испытать редкое для горожанина состояние затерянности среди природы.

Сбылось все очень просто. Баулин совсем не шутил, когда предложил Леонтьеву заменить на время болезни одинокого объездчика с девятого кордона, Прохора Стерлигова. Лесничий понимал, что со стороны Леонтьева желание поселиться на кордоне — никак не блажь. Слишком серьезен и добродушен был этот ленинградец, чтобы можно было заподозрить его в желании порисоваться. Баулина располагало к Леонтьеву еще и то, что писатель был, видимо, работяга, крепкий, широкоплечий, и обладал хорошими познаниями в лесном и охотничьем деле.

Даже в прищуренных глазах Леонтьева было то же выражение, что и у большинства лесников: соединение добродушия и проницательности, ума и лукавства. И говорил он мало, будто берег слова, копил их для настоящего дела, для книги, а не для пустого разговора.

Да, сбылось!

Когда телега, что привезла Леонтьева на кордон, скрылась, постукивая по корням, он посмотрел вокруг и вздохнул. С этим вздохом будто десятилетие свалилось с плеч. Ему захотелось долгой жизни, многих дней вот такого существования — без спешки, без постоянной мысли, что время идет, а жизнь стоит на месте.

В первый же день Леонтьев чисто-начисто вымыл сторожку. Вода была рядом в небольшом зарастающем озере. Он зачерпывал ее оттуда и таскал в сторожку тяжелые ведра. Он решил, что обязательно сколотит на берегу дощатый помост. С него легче будет доставать воду, полоскать белье. К нему можно будет причаливать старый челн,— Прохор загнал его в тростники, и до челна надо было добираться по колено в воде.

Леонтьев протер два небольших оконца, затопил печь. В сторожке сразу посветлело. Она казалась уже обжитой, уютной, добродушной.

Как только в печке затрещал огонь, неизвестно откуда появился серый худущий кот с желтыми глазами. Он тотчас начал тереться о ноги Леонтьева и вопросительно на него поглядывать.

Леонтьев дал ему кусочек сала. Кот хищно его съел, ворча на воображаемых врагов и завистников.

Леонтьев разобрал вещи. Продукты он спрятал в поставец в углу, книги разложил на дощатой полке. Новое жилище все больше ему нравилось.

Он почистил песком чугунок, выполоскал его, поставил вариться кулеш. И поймал себя на мысли, что удивительно приятно перемывать скользкое пшено, а каменную желтую соль надо будет растворить и потом выпарить: получится пушистая и белая столовая соль.

Пока варился кулеш, Леонтьев осмотрел все кордонное хозяйство. Дров было запасено много. В сарайчике лежали лопаты, грабли, плетенные из лозы вентеря, висели на стене пилы и две косы. Леонтьев снял косу, подержал в руке. «Какая почти невесомая и красивая вещь!» — подумал он. Снаружи к сарайчику были прислонены длинные березовые удилища. Все было исправно, сделано «на совесть». Хороший, должно быть, мужик этот Прохор Стерлигов!

Леонтьев вернулся в избу, почистил тертым кирпичом самовар с изображением медалей, полученных тульским самоварником Баташевым на Парижской выставке, и раздул самовар не в избе, а снаружи, где были вкопаны в землю столик и две скамейки.

Он накидал в самовар сосновых шишек. Тотчас из трубы вырвался алый язык пламени. Труба загудела.

Леонтьев вытащил из печи ухватом чугунок с готовым кулешом и вышел наружу умыться. Он долго обливал себя холодной водой и крякал от наслаждения.

Кот, поглядев на Леонтьева, тоже сел умываться. Изловчившись, он начал драть шершавым языком пушистый живот.

«Робинзон и Пятница!» — подумал Леонтьев и усмехнулся.

Вокруг была действительно глухомань. Особенно ясно Леонтьев почувствовал это вечером. Звезды одиноко горели над соснами.

Густой туман курился над болотцами. Он был так резко очерчен, что к нему можно было подойти вплотную, протянуть руку, и она тотчас тонула в этом тумане.

Все молчало кругом. Леонтьев вдруг представил себе весь этот лесной край, погруженный в ночную тишину, все эти дебри, заваленные буреломом и валежником, овраги, безымянные озера, пущи, отрезанные от мира туманами, сон птиц в густых кронах деревьев, где, наверно, гораздо теплее, чем на земле, тусклую воду болот, заброшенные

дороги — весь этот заповедный край, потерявший сейчас дневные краски и казавшийся ему надежной защитой, потому что все скрывала, все прятала тихая темнота.

Странно и удивительно было знать, что под ногами цветет розовый вереск, а на озере — желтые кувшинки, а еще дальше стоит непролазная гуща дикой малины, усыпанная ягодой. Ночь погасила цвета. Но на предрассветной заре деревья, травы и цветы опять оденутся в краски, гораздо более яркие, чем днем, потому что эту яркость придаст им роса.

В этот вечер впервые после многих лет Леонтьев сел за дощатый стол и раскрыл тетрадь с удивительным чувством, что сейчас он почти шутя напишет то главное, чего раньше не мог, как ни мучился, передать множеством слов.

Он подумал и написал:

«Я посвящаю эту книгу России. Мне выпало счастье родиться в ней и прожить полвека. Ничего нет в мире милее для меня, чем мой народ, его судьба, чем волшебный русский язык и трогающая сердце то силой, то грустью, то покоем и радостью наша природа. Только с годами начинаешь понимать силу этой любви и жалеешь единственно о том, что отпущено так мало времени для жизни. Век бы не умирать!»

Он остановился, задумался, пососал трубку. Кот вскочил на стол, сел на лист бумаги спиной к Леонтьеву, зевнул и задремал. Леонтьев усмехнулся и начал писать дальше. Строчки у него выходили кривые, так как приходилось писать не задевая кота. А прогнать кота он не решался.

Леонтьев вспомнил пароход, Анфису, Тату, вспомнил, как они загрустили, когда наутро им пришлось уезжать из лесничества. Было видно, что они с радостью остались бы здесь и не ездили бы ни в какую Казань.

Он подумал, что вот он пишет о своей стране, никем, по существу, не любимый, а это очень плохо. И, печально усмехнувшись, подумал еще, что если бы был молод и полюбил, то какую бы удивительную книгу наверняка создал.

На следующий день он обошел часть своего кордона. Лес потряс его дикостью и красотой.

С первого же дня он начал работать: прореживать и осветлять молодой сосняк, разросшийся по ту сторону озера. Покончив с этим, он принялся за просеку. На ней было много сухого хвороста.

Леонтьев стал очищать просеку, складывал хворост в большие кучи, окапывал их и сжигал.

Через несколько дней он пошел в лесничество на собрание лесников и объездчиков. Баулин созвал их в связи с тем, что лето стояло засушливое, влажность воздуха упала, можно было ждать сильных гроз,— и потому надо было зорко следить за лесом на случай пожара.

Баулин коротко рассказал о лесных пожарах. Одно обстоятельство в его словах поразило Леонтьева. Оказывается, дым от лесных пожаров резко уменьшает солнечный свет и задерживает вызревание хлебов. В 1915 году, когда в сибирской тайге был большой пожар, из-за сильного дыма хлеба созрели на месяц позже обычного срока.

Лесники с любопытством поглядывали на Леонтьева. Хоть и городской и, говорят, писатель, а обходительный человек и, глядя по рукам и комплекции, мужик сноровистый и здоровый.

Это безмолвное признание со стороны лесников Леонтьев почувствовал в том расположении, с каким они наперебой угощали его махоркой и жалели, что он сразу попал не на «светлый кордон», а на «самый глушняк». Но, угощая Леонтьева махоркой, лесники все же не упускали случая одолжить у писателя на одну самокрутку трубочного табачку,— больно уж он был духовитый.

Баулин выслушал рассказ Леонтьева о его первых работах в лесу и сказал:

— Да вас и учить нечему, Сергей Иванович. Все правильно. Только, боюсь, заскучаете.

— Ну вот,— чуть не рассердился Леонтьев,— уж и заскучаю!

Леонтьев вернулся на кордон, как в родной дом. Усталость от работы в лесу была легкая, совсем не похожая на городскую. Она не мешала Леонтьеву писать.

С каждым днем Леонтьев начал замечать в лесу все больше признаков ранней осени. На березах и осинах появились первые сухие листья. Роса по утрам была обильнее, чем раньше, а небо стало густым, глубоким, и в нем уже чувствовался холодок.

Как-то, возвращаясь днем из лесу, Леонтьев увидел у своего крылечка телегу. Спутанная лошадь паслась рядом. У него упало сердце. Неужели вернулся из города Прохор Стерлигов? Почему же его не предупредили?

Леонтьев подошел к дому.

На крылечке сидели низенький старичок, заросший до глаз бородой, и молодая женщина в дождевом плаще поверх черного платья.

Старик Леонтьев узнал: это был лесник с соседнего кордона, Евтей. А женщина была незнакомая. Но все же у Леонтьева отлегло на душе: Стерлигова с ними не было.

— Здорово, хозяин! — бодро сказал низенький старичок.— Все ходишь, а тут гости тебя дожидаются.

Женщина крепко пожала Леонтьеву руку.

— Я Мария Трофимовна. Вот приехала, привезла вам кое-какие продукты... и новые правила пожарной охраны.

— Спасибо, очень рад,— сказал Леонтьев и смутился.

— Кстати хотела познакомиться с вами. Я ваша читательница. И почитательница. Необыкновенный случай, что вы поселились здесь в качестве объездчика. Я думаю, это правильно.

— Я тоже так думаю.

— Скучаете?

— Нисколько.

— Что ж, это хорошо,— промолвила Мария Трофимовна и замолчала.

Леонтьев смотрел на нее. Действительно, она была похожа на ту красивую старуху на фотографии. Те же большие и светлые глаза, тот же мягкий овал лица и густые брови. Косы, связанные узлом на затылке, были, должно быть, густые и тяжелые. Все казалось, что они упадут и распустятся.

Надо было напоить гостей чаем. Леонтьев принес воды, поставил самовар.

— А мы, милок,— сказал Евтей, сидя за столом и высасывая горячий чай с блюдца,— несколько заплутались. Даже удивительно! Весь этот лес я насквозь знаю, а тут — такая оказия! Не иначе как леший запутал. Он любит с нашим братом побаловаться.

— Будет тебе врать, Евтей! — сказала Мария Трофимовна.

— Зачем врать! — обиделся Евтей.— Ежели бы ты лешего встрела...

— А ты встречал?

— Милая,— огорченно воскликнул Евтей,— да я их всех в лицо знаю!

Мария Трофимовна засмеялась.

— Это тебе хорошо смеяться, когда ты в лесничестве обитаешь! — сердито сказал Евтей.— А поживи у меня на кордоне, тогда я погляжу, как ты посмеешься. Ты, главное, не пугайся. У лешего наружность обыкновенная. Мужичок и мужичок. Вроде меня. Только у меня черный волос еще кой-где остался, а он весь сивенький.

Мария Трофимовна взглянула на Леонтьева и снова засмеялась.

— Они, лешие, любители ночью к кострам подходить,— спокойно объяснил Евтей.— Подойдет, обопрется на посошок, посмотрит, скажет: «Ты с огнем, дорогой товарищ, в лесу поаккуратнее. А то долго ли до беды!» Заботливый старичок! Так вот постоит, а иногда и присядет, покурит с тобой, пожалуется. Больше на ревматизм они жалуются.

— Что за прелесть старик, правда? — тихо спросила Леонтьева Мария Трофимовна.

— Кости, говорит, ноют, в плечо отдает, и надоело мне, милый человек, ваших баб по гущам пугать. Сказать тебе не могу, как надоело. Тут, конечно, спросишь его — вежливо, понятно, спросишь: «А зачем это вы, гражданин, баб пугаете? Какой в этом резон?» А он, понятно, отвечает: «Эх ты, а еще объездчик государственного лесхоза! Неужто не знаешь? Лес я от бабьей потравы стерегу. Бабам только дай волю — они все ягоды оберут, до последней, семечка не оставят». Ты, конечно, слухай его, но не прекословь. Я один раз посмеялся так-то над лешим, сказал ему: «У меня, говорю, как я есть человек, на руке пять пальцев. А вы, лешие, шестипалые. Что это означает?» А он говорит: «Это означает наше различие». А я говорю: «Спорить я с вами, гражданин, не буду. Может, это и для различия сделано, но только шестой палец вам ни к чему. Я со своими пятью управляюсь ловчее, чем вы с шестью». Он, конечно, рассерчал. Ка-а-ак ударит посошком по костру! Ка-ак загукает! Я вскочил — и давай лататы. С тех пор он на меня злобится. То с пути собьет, то лаптей старых на ветках понавешает невесть сколько, чтобы меня, значит, пугать. То шишкой запустит в загривок, то ночью вдруг начнет голосить, как младенец. Безобразничает, по-

нятно. А я виду не показываю, что серчаю. Его от этого еще пуще злость разбирает. Однако со мной он не совладает. Я тоже старик тертый.

— Да тебя, Евтей, записывать надо! — воскликнул Леонтьев.

— Меня записывать — бумаги не хватит. Я вот так погужу, порасскажу чего-нибудь, посмешу людей — и самому весело. Когда человек смеется, он зла не сделает.

— Это правильно,— сказал Леонтьев.

Евтей обернулся к Марии Трофимовне:

— Слышь, что человек говорит! А ты меня коришь: «будет врать-то» да «будет врать»! Иной человек правду скажет, так она горше небылицы. А иной соврет — гляди, и работа у тебя пошла веселее, и засмеялась ты, а то и задумалась насчет чего-нибудь путного. Отличать надо, что к чему.

После чая Мария Трофимовна взяла с полки томик Лермонтова, раскрыла, прочла: «И свежий лес шумит при звуке ветерка...» Захлопнула книгу и сказала:

— Как-нибудь дадите мне почитать? У меня с собой нет здесь Лермонтова.

— Конечно, когда захотите. Вы любите его?

— Больше всего на свете.

Леонтьев хотел расспросить Марию Трофимовну о ее матери, о Чайковском, но не решился, отложил этот разговор на то время, когда они познакомятся поближе.

ВСТРЕЧНЫЙ ОГОНЬ

День был знойный. В небе как застыли на одном месте, так и простояли до ночи тугие облака. Ближе к закату солнце вошло в лиловую мглу и раскаленным диском опустилось к земле.

Ночь не принесла прохлады. Почему-то не выпала роса. Наутро, выкупавшись в озере, Леонтьев почувствовал раздражение. «Заболел я, что ли?» — подумал он.

Днем над соснами появилось пепельное облако, похожее на исполинский гриб. Задул порывистый ветер, зашумел лес. Где-то высоко прогремел гром. Надвигалась гроза.

Гроза была сухая. Короткий гром гремел все чаще. Молнии не ударяли в землю зигзагами, а полыхали размытым розовым светом.

Лесные чащи напряженно гудели. С сухим треском обламывались сучья. Протяжно скрипели сосны. Потом в этот разноголосый гул вошел рокот мотора.

Самолет шел низко. Он вырвался из-за сосняка, снизился, густо заревел и сделал круг над сторожкой, ложась на крыло. Потом взмыл, ушел, а невдалеке от сторожки упал на землю маленький мешок с песком. К нему была привязана красная лента. Ветер подхватил ее, и она трепетала, как пламя.

Леонтьев подбежал к мешку. Сбоку, в кармане мешка, он нащупал листок бумаги, вытащил его, развернул и прочел:

«Немедленно сообщите в лесничество! На двенадцатом квартале пожар. Загорелось от молнии. Огонь верховой. Идет по ветру на северо-восток. Лечу на аэродром. Мешает гроза».

Леонтьев в первую минуту растерялся: бежать в лесничество или к месту огня? Пожар, по расчетам Леонтьева, шел стороной. Только в случае если ветер изменится, огонь может перебросить и к нему, на девятый кордон.

Леонтьев услышал свист крыльев, поднял голову: с лесных болот большими стаями летели дикие утки. «Спасаются»,— подумал Леонтьев.

Он снова перечитал записку и решил идти в лесничество. Он быстро пошел по заросшей дороге.

Ветер усиливался. По временам долетал уже запах гари. Леонтьев вышел на просеку, посмотрел вдоль нее, остановился, и сердце у него заколотилось: в конце просеки стремительно несло по земле густой желтый дым.

Леонтьев побежал. Он пробегал сто — двести шагов, останавливался, чтобы отдышаться, и бежал снова. С отчаянием он думал, что до лесничества еще далеко, а огонь под таким ветром идет, должно быть, со скоростью десяти километров в час.

Он услышал шум машин и остановился. Из-за поворота вынырнул грузовик с людьми, за ним — второй, третий...

Леонтьев закричал. Первый грузовик замедлил ход. Балин открыл дверцу кабины и крикнул:

— Скорее! В кузов!

Леонтьев схватился за борт. Несколько рук протянулось к нему, его втащили в машину.

В машине тесно сидели рабочие, лесники, были нава-

лены лопаты, пилы, топоры и метлы из толстой проволоки, чтобы гасить кусты и траву.

Леонтьев достал записку, протянул ее в окошко кабины Баулину. Баулин прочел и крикнул Леонтьеву:

— Пожар не верховой! Дым желтый. При верховом бывает черный.

«Тем лучше»,— подумал Леонтьев. Он знал, что самый страшный лесной пожар — это верховой, когда деревья горят целиком, от вершин до подножия. При таком ветре, как сейчас, верховой пожар так стремителен, что на языке лесников называется «ураганным огнем».

При низовом пожаре горят подлесок, подстилка, кусты и молодые деревья. У старых деревьев огонь только опаляет нижнюю часть стволов. И в такой сильный ветер низовой пожар менее опасен. Его лесники называют «беглым». Он идет быстро и оставляет нетронутыми целые куски леса. Огонь, подгоняемый по пятам ветром, не успевает их выжечь.

— Что ж так мало людей? — спросил Леонтьев знакомого лесника.

— Уже все колхозы поднялись, все население,— ответил лесник.— Они тут будут часа через два.

Машины остановились в перелеске, затянутом дымом. С последней машины соскочила Мария Трофимовна. Она была в сапогах, в короткой юбке и кожаной куртке. Она издали помахала рукой Леонтьеву.

Уже вечерело, и сумеречное небо подернулось багровым отсветом пожара. Ветер все не стихал.

Вышли на узкую просеку. Сначала Баулин распорядился расширить эту просеку. Люди начали быстро валить лес, но прискакал верховой объездчик, потный, весь в саже, и доложил, что огонь идет с таким напором, что просека его не остановит.

— Остается одно,— сказал, помолчав, Баулин,— встречный огонь.

Леонтьев заметил, как переглянулись лесники, когда услышали эти слова. Раньше он смутно представлял себе, что такое «встречный огонь», но не догадывался, что эта мера связана с опасностью для людей.

Баулин отдавал распоряжения коротко и спокойно.

Вместе со всеми Леонтьев начал рубить на просеке кустарник и небольшие деревья и сваливать их вместе с сухим валежником в высокий, во всю длину просеки вал.

В поздние сумерки, когда зарево осветило даже облака и залило красноватым светом все вокруг, появились крестьяне из окрестных деревень. Работа пошла быстрее. Баулин торопил. Вал быстро рос.

Взглянув вдоль просеки, Леонтьев увидел сотни работающих людей. Женщины собирали хворост и сносили на вал. Сверху набрасывали сухую хвою.

Потом сразу, одним ударом, из леса выдохнуло дым. Он несся низко по земле и перехлестнул через вал.

— Береги-ись! — протяжно закричали издали.

Баулин приказал надеть противогазы.

Женщин отослали в глубину леса, под защиту соседнего озера. Туда же ушло и большинство колхозников. Около вала остались одни лесники. Они стояли вдоль вала шагах в сорока друг от друга. Среди них стоял и Леонтьев. Все ждали.

Баулин подошел к Леонтьеву, стал спиной к ветру, оттянул противогаз и сказал:

— Уходите в лес, к озеру. Туда, где все. Вам здесь нечего делать.

Леонтьев отрицательно покачал головой.

— Нельзя рисковать. Если бы вы были обыкновенным человеком...

— Я и есть обыкновенный,— глухо ответил Леонтьев, не снимая противогаза.— Оставьте меня в покое.

Баулин ничего не ответил, повернулся и пошел вдоль просеки.

Огонь быстро приближался. Леонтьев со страхом и одновременно с каким-то непонятным восторгом смотрел на бьющую в небо с треском и гулом стену живого огня. Ливнем летели искры. Они прожигали одежду. Временами дым заволакивал небо. Потом его сбивало в сторону, и стена пламени появлялась снова, но уже ближе.

Леонтьев не мог отвести от нее глаз. Он понимал, что такой огонь нельзя остановить, что это стихия. Огонь сожжет их так же незаметно, как пламя костра сжигает мошкару.

Он подумал об этом, но не двинулся с места. На лице и руках он уже чувствовал палящее дыхание пожара. Он снова взглянул на огонь, но это было страшно, и он тотчас посмотрел выше, на небо, где летели горящие сучья и листья, а еще выше смутно виднелся сквозь дым молодой месяц.

Когда он опустил глаза, что-то изменилось. Несколько мгновений он не мог сообразить, что же это, пока не заметил, что ветер стих и весь огонь пошел вверх гудящим светоносным занавесом.

Потом он почувствовал, как его сильно качнуло током горячего воздуха. С верхушки вала понесло в огонь сухие листья. Баулин поднял руку, что-то закричал, и лесники сразу подожгли вал.

Вал как бы вздохнул, вымахнул от края до края жадное пламя. Оно слилось с огнем пожара и, ревя и треща, ударило в небо.

Люди начали отбегать в лес. Мария Трофимовна пробегала мимо Леонтьева. Она оттащила его от огня и тотчас куда-то исчезла.

Леонтьев оглянулся. Две стены пламени сшиблись, как два огромных бешеных зверя, тесно сливаясь, расшвыривая мириады искр. Казалось, вот-вот огонь двинется дальше и от него уже никому не спастись.

И вдруг Леонтьев вскрикнул от неожиданности. Огонь, как подрезанный, упал на землю и только низкими языками перебегал, затихая, вдоль вала. Люди кинулись к просеке и начали засыпать песком вялое пламя. Через несколько минут огня уже не было. Только едкий дым быстро струился к небу и застилал свет месяца. Все было кончено.

Стремительное исчезновение огня произвело на Леонтьева впечатление чуда. Что произошло? Почему пожар сразу погас?

Леонтьев разыскал Баулина. В лесу было темно. Лесники ходили с фонарями.

Баулин распорядился, чтобы вдоль границы пожара остались караульные. Нужно было следить за пожарищем, пока оно совершенно не погаснет.

— Сергей Иванович,— оживленно сказал Баулин Леонтьеву,— а огонь-то подходил и к вашему участку! Если бы не просека, та, что вы расчистили,— сгорел бы и девятый кордон. В общем, здорово справились!

— Не могу понять,— сказал Леонтьев,— почему встречный огонь погасил пожар. Раздули такой костер, что, кажется, пылал весь мир.

— Да весь смысл встречного огня в том, чтобы дать пожару огромную пищу, действительно раздуть его до невиданных размеров. Тогда в окружающем воздухе сразу

сгорает почти весь кислород, просека заполняется углекислотой и дымом, и огонь, естественно, гаснет... А теперь идите домой, отдыхайте.

— Сейчас. Вот покурю и пойду.

Только теперь Леонтьев почувствовал усталость. Глаза слезились. Кожа на лице саднила. Руки были в смоле и ожогах.

Около машин сидели на земле лесники, рассказывали, как перед встречным огнем через вал скакали зайцы, а вдоль вала промчалось несколько волков. И, говорят, огонь загнал в Линёвое озеро трех медведей; они еще сидят в воде и ревут от страха.

Леонтьев пошел к себе на кордон. Чем дальше от пожарища, тем воздух делался свежее. Уже слышался запах влажной травы. Только месяц был все же мутен, зловещ. Долетали голоса крестьян, возвращавшихся по домам после пожара.

Леонтьев догнал нескольких женщин. Среди них была Мария Трофимовна. Они шли вместе до межевого столба и молчали. Мария Трофимовна сказала всего несколько слов: похвалила его книги, спросила, как он себя чувствует в объездчиках и почему кашляет — не повредил ли на пожаре легкие. У межевого столба они расстались. Мария Трофимовна пожала Леонтьеву руку:

— Не прячьтесь, приходите. Я буду вам очень рада.

Леонтьев постоял, пока не стихли голоса женщин, и свернул к себе на кордон. Дома он умылся, тотчас лег и, засыпая, слышал, как кот осторожно топтался около его головы по подушке, потом свернулся у него на плече и запел.

«Так-так, так-так, так-так!» — стучали ходики, отмеряя время.

Леонтьеву приснился желтый по осени лесной край. Солнце и луна стояли рядом на небе над этим краем, и весь день по дворам голосисто пели петухи. Он шел по дороге среди березового мелколесья, очень торопился, почти бежал, и ему встретился офицер в пропыленном мундире, маленький, черный, с темными смеющимися глазами. Фуражку он держал в руке. Она была полна спелой брусники. Офицер высыпал бруснику на ладонь и подкидывал в рот пригоршнями.

— Куда идешь, дружище? — спросил офицер.

— В Пронск. А что?

— Да ничего,— ответил офицер.— Там у меня старики свой век доживают. Увидишь их — скажи, что я писать ленив, что полк в поход послали и чтоб меня не ждали.

Леонтьев остановился, во все глаза посмотрел на офицера, крикнул:

— Вы кто?

Офицер отступил, споткнулся, упал, брусника рассыпалась по траве, и почему-то рядом с офицером очутилась Мария Трофимовна. Она подняла его голову. Из груди офицера крупными, как спелая брусника, каплями стекала на песок кровь.

— Скорее! — закричала Мария Трофимовна.— Подымите его!

Они вдвоем подняли офицера — он был легкий, как мальчик,— и понесли по дороге. Мария Трофимовна умоляла идти скорее, потому что леса горят, пожар может пересечь дорогу, а этого человека надо спасти.

— Вы что ж, любите его? — спросил Леонтьев.

— Больше всего на свете!

Леонтьев проснулся. За окнами светало. Сон еще не прошел, сознание вернулось только наполовину, и Леонтьев все слышал голос: «Куда идешь, дружище?»

Леонтьев снова заснул, а утром, окончательно проснувшись, долго ходил под впечатлением этого сна, пока наконец не догадался, что встретился во сне с Лермонтовым.

Он достал с дощатой полки томик его стихов, открыл наугад и прочел:

Проселочным путем люблю скакать в телеге
И, взором медленным пронзая ночи тень,
Встречать по сторонам, вздыхая о ночлеге,
Дрожащие огни печальных деревень...

— Великан! — сказал Леонтьев и положил книгу на место.

К вечеру неожиданно приехала из лесничества вместе с Баулиным Мария Трофимовна.

— Проведать вас решили,— сказал, смущенно улыбаясь, Баулин.— Как вы тут после пожара? Мария Трофимовна говорит, что вы сильно кашляете.

— Пустяки. Немного горло першило. От дыма.

Баулин пошел на озеро выкупаться. Леонтьев сидел на ступеньках крылечка рядом с Марией Трофимовной. Она

задумчиво жевала травинку, потом повернулась к Леонтьеву, посмотрела ему в лицо строгими глазами и сказала:

— Я приехала за книгой... за Лермонтовым.

РОВНЫЕ СТРУЖКИ

К осени в лесничестве начали строить плотину для небольшой гидростанции. Строили ее на реке, в пяти километрах от девятого кордона. Леонтьев часто ходил на стройку.

Он несколько раз бывал на строительствах, привык к зрелищу изрытой земли, кучам щебня и глины, навалу бревен. Здесь же его удивляли порядок и забота о том, чтобы не повредить ни одного деревца. Баулин придирчиво следил за тем, чтобы рабочие берегли окрестный лес, чтобы материал подвозили к плотине по одной дороге, а не прокладывали для этого десятки дорог, как вздумается шоферам, и не обдирали без нужды деревья.

Леонтьев любил немного посидеть на стройке и полюбоваться работой плотников. Здесь он часто встречал Евтея.

Лучше всех плотников работал косматый пожилой Федор. В корявых его руках топор превращался в крылатое сказочное существо. Это было тем более удивительно, что самокрутку из махорки Федор сворачивал медленно, с натугой, чертыхаясь,— то рвалась газетная бумага, то самокрутка расклеивалась и махорка высыпалась на землю.

Уже издали, подходя к плотине, Леонтьев слышал дробный стук топоров. Евтей обычно сидел на бревнышке около плотников, покуривал. Он здоровался с Леонтьевым, подмигивал на плотников и говорил:

— Стучат наши дятлы!

— Стучат,— соглашался Леонтьев.

Чтобы стесать бревно, Федор сначала делал насечки. На топор он совсем не глядел, морщился от махорочного дыма, но насечки клал быстро и ровно. Потом Федор одним длинным ударом снимал толстый слой дерева, и в сторону отлетал смолистый пахучий горбыль.

— Здорово тешешь! — говорил Леонтьев.

— По-касимовски! — отвечал Федор.— Главное, хороший струмент надо иметь. А обтесать — дело десятое.

— Глазомер еще нужен,— замечал Леонтьев.

— Как и во всяком деле,— соглашался Федор.— В твоем занятии тоже без глазомера ни черта не получится.

— В каком это занятии?

— В письменном. Мне сын зимой книжки читает. Я этого дела большой любитель. Сразу видать, как книга притесана. Иная просто впритык, а иная заподлицо. Сколько ни гляди, а где швы, не отыщешь.

— Тоже труд великий! — вздыхал плотник Илларион — худой, болезненный, никогда не снимавший баранье́й шапки.— Кто топором, кто плугом, кто циркулем, а кто и словом. Каждый по-своему дает предназначение жизни.

— А в чем оно заключается,— хитро спросил Евтей,— предназначение жизни?

Плотники на минуту перестали тесать, вопросительно посмотрели на Евтея.

— То-то! — сказал Евтей.— Предназначение жизни! Каждое слово имеет свои рамки, а ты, Илларион, видать, мелешь — сам не понимаешь что. Какое, например, мое предназначение? Щи хлебать да махорку курить? Или есть во мне другой смысл?

— Тебе виднее,— пробормотал Илларион.

— Вот и видно мне,— сказал Евтей,— что человек не для себя существует, а для движения жизни. Ты что же полагаешь, что я за одну свою зарплату лес стерегу? Хватай выше! Я хоть и неученый, а котелок у меня варит. Ты скажешь, закон такой, чтобы лес стеречь. Правильно! А кто этот закон выдумал? Человек. Вот я тебя и спрашиваю: для чего?

— Каждому это известно,— сердито ответил Федор.— Любому дураку ясно. Что ты нас спозаранку учишь! — Он в сердцах ударил топором по бревну, косо срезал слой, отшвырнул топор, плюнул и закричал: — Не гуди под руку! Из-за тебя бревно покалечил, старый черт! Нам работа, а ему, видишь, побаски, развлечения! Профессор какой! Иди лес свой стереги. А мы и без тебя управимся, без твоей науки. Небось полено расколоть не может, а суется указывать!

— Это ты еще не подрос — так со мной разговаривать,— спокойно ответил Евтей, затоптал самокрутку и встал.— Я те покажу, как дрова умею колоть.

Он обернулся к Иллариону:

— Давай топор!

— Чего ты?

— Топор давай, говорю! Надо спесь с Федора малость сшибить.

— Это как? — спросил озадаченно Федор.

— А вот так! По часам. Часы есть? — спросил Евтей у Леонтьева.— Ты гляди, сколько кто из нас за полчаса стешет. А потом проверим по мерке и на глаз, у кого чище работа.

— Это ты брось, друг,— строго сказал Федор.— За каждое бревно я в ответе — не ты. Ты мне здесь игру не устраивай! Здесь не ярмарка.

— Значит, смущаешься? Не осилишь?

Федор мельком, но презрительно посмотрел на Евтея:

— Ох и распетушился ты, дед! Прямо наскакиваешь.

— Я не таких плотников, как ты, переплевывал,— сказал Евтей и снял старый пиджачок.— Знаменитости из себя не строй.

— Проучить тебя надо, вот что! — гневно ответил Федор.— Только потому и берусь. Ну, давай! Становись!

— Вот-вот! — закричал Евтей, засучивая рукава рубахи.— Давай!

Он поплевал на руки, подбросил топор, поймал его на лету и звонко ударил по дереву. Полетели смолистые щепки. В ту же минуту ударил и Федор.

Чем дальше, тем яростнее работали Евтей и Федор. Щепки летели все чаще. Одна из них больно ударила Леонтьева по руке. Он отступил. Илларион, приоткрыв рот, смотрел на Евтея.

Федор бил стремительно, нахмурившись, дышал трудно, со свистом. Евтей ухал и покрикивал:

— Так-то, касимовские! Так-то!

Леонтьев следил за этим стремительным состязанием. Стук топоров все учащался, сливался в тугую дробь. Леонтьев не сразу заметил, что позади собрались рабочие и подошли Баулин и Мария Трофимовна.

— Крой! — кричали рабочие.— Крой, Федя! Не отступай!

— Нас не перекроешь! — хрипел Евтей.

— Ну и чешет старик! Вроде мотор!

Рабочие хохотали.

Баулин потянул за руку Леонтьева, но тот только замотал головой,— он не отрываясь смотрел на часы.

— Стой! — закричал Леонтьев и поднял руку.— Стой! Время!

Стук топоров оборвался. Евтей тщательно вытер рукавом потный лоб и сплюнул. Федор отбросил топор и дрожащими пальцами начал свертывать самокрутку.

— Вот, товарищ начальник,— сказал, отдышавшись, Евтей и обернулся к Баулину,— глядите, кто больше да лучше стесал. Ваше слово решительное.

Все притихли.

— Чего там смотреть! — хрипло сказал Федор, ни на кого не глядя.— И так видно. Твоя взяла, дед. Удар у тебя верный.

— Давай руку! — воскликнул Евтей.— Я хоть и стар, а кое-чем располагаю.

Евтей и Федор протянули друг другу руки.

— Вот и хорошо! — засмеялся Евтей.— Я тебе отныне мешать не стану. Ни-ни! Ни капельки! Ты, Федор, своего дела, конечно, артист, только больно горяч.

— Ладно уж! — согласился Федор.— Приходи-ка к завтрему. Еще раз померимся.

— Прийти можно. Мне вот охота и с Илларионом схватиться.

— Куда уж там! — смущенно пробормотал Илларион.— Мне бы свою норму обтесать — и то спасибо.

— Неужто меня не осилишь? — спросил Евтей.

Илларион снял шапку, поскреб в затылке, подумал:

— Это как сказать... Может, и осилю.

— Куда тебе, Илларион! — снисходительно заметил Федор.— Против меня ты куда слабже. Не срамись.

— Это как сказать! — повторил Илларион.— Может, я и против тебя срамиться не соглашусь. Ты не суди, что я с наружности квелый. Я такой с малых лет.

— Растравил старик плотников,— сказал Баулин Леонтьеву, когда они вместе с Марией Трофимовной подошли к реке, чтобы посмотреть, как копер заколачивал в дно реки сваи.— Такой задиристый, черт, никому не даст покоя!

Поглядев, как работает копер, Мария Трофимовна пошла вниз по берегу реки. Евтей доложил вчера в лесничестве, что километрах в четырех ниже плотины, на девятом кордоне, есть свежие бобровые норы. Надо было их осмотреть и отметить.

Леонтьев отправился вместе с Марией Трофимовной. Стук топоров вскоре затих и сменился стуком дятлов и

журчанием воды около коряг. День был яркий, прохладный в тени. С листьев орешника брызгала роса. Река уходила в лес крутыми поворотами. На рудых песчаных ее берегах над омутами густо цвел меж сосен розовый вереск.

Долго шли молча — Мария Трофимовна впереди, Леонтьев сзади. Несколько раз Мария Трофимовна оглядывалась на Леонтьева, и он каждый раз усмехался про себя: вот он, простой объездчик, сопровождает Марию Трофимовну по своему кордону, и она каждую минуту может сделать ему замечание.

Так оно и случилось. Мария Трофимовна остановилась и сказала:

— Что ж это вы? Не заметили бобровых нор на своем участке? Евтей вас опередил. Вроде как Федора.

Леонтьев пожал плечами и промолчал.

— Посидим здесь на берегу,— неожиданно сказала Мария Трофимовна.— Какая тут теплота! И тишина...

— Сказочная река,— сказал Леонтьев, садясь рядом с Марией Трофимовной.

— Да... сказочная.

Мария Трофимовна помолчала.

— Вы скоро уедете?

— Недели через две. Стерлигов выздоровел, на днях возвращается.

— А почему бы вам не остаться? Поживите у нас в лесничестве.

— В Ленинграде дела.

— Странно,— промолвила Мария Трофимовна.— Совсем вы не похожи па делового человека.

— Да я и не деловой,— засмеялся Леонтьев.— Я не так выразился. Просто в Ленинграде у меня работа. Времени у меня впереди мало, а я не сделал еще и половины того, что хочу... и могу,— добавил он неуверенно.— В конце концов, писатели не принадлежат себе. Они принадлежат всем.

— Значит, и мне? — спросила Мария Трофимовна и улыбнулась.

— Отчасти и вам.

— А я думаю — наоборот,— ответила Мария Трофимовна, глядя ему прямо в лицо потемневшими глазами.

— Я не совсем вас понимаю,— сказал Леонтьев.— Что «наоборот»?

— Как же не понимаете? — вполголоса, почти шепотом, ответила Мария Трофимовна, все так же глядя на

Леонтьева.— Вы чуткий, хороший человек и не замечаете самых ясных вещей. Не вы принадлежите людям, а иные люди принадлежат вам. Вас, должно быть, много любили в жизни?

Мария Трофимовна ждала ответа, но Леонтьев промолчал.

— Конечно, любили,— сказала Мария Трофимовна.— Да и как вас не любить! — добавила она и покраснела.

— За что? — спросил Леонтьев, тут же понял, что не надо было спрашивать, и смутился.

— Ни за что. Просто за то, что вы есть на свете.

Мария Трофимовна быстро наклонилась к Леонтьеву, взяла его руки, прижалась к ним пылающим нежным лицом, вскочила и быстро пошла, не оглядываясь, вдоль берега.

Вечером Леонтьев возвратился к себе на кордон. На столе лежал томик Лермонтова, тот, что Мария Трофимовна взяла у него после лесного пожара. Значит, она приходила на кордон.

Леонтьев перелистал всю книгу по страницам, но ничего не нашел — ни записки, ни подчеркнутых у Лермонтова строк. Он подумал, что все равно эту книгу отдаст Марии Трофимовне насовсем.

«Вот и все! — сказал про себя Леонтьев.— Эх ты, чуткий, хороший писатель! Неласковый ты человек, вот что!»

Он подошел к столу, где лежала рукопись его нового, неоконченного рассказа, медленно изорвал ее на клочки и без всякого сожаления выбросил в печку. Ему стало легче на душе, будто, наказав самого себя, он снял со своей души великий грех непонимания чужого сердца.

ЛЕНИНГРАДСКИЕ ПАРКИ

Квартира профессора ботаники Петра Максимовича Багалея на Аптекарском острове, в Ленинграде, отличалась многими хорошими качествами. Она выходила окнами в Ботанический сад, в ту его часть, которая была закрыта для посетителей. Поэтому в квартире всегда было тихо и в комнатах стоял зеленоватый полусвет от листвы.

Комнаты были заставлены таким множеством вазонов с цветами, ящиков с рассадой, плошек, где выращивались редкие растения под стеклянными запотевшими колпака-

ми, что казалось, в квартире столько же зелени, сколько и в саду, за ее стенами.

Самой интересной комнатой был, пожалуй, кабинет Петра Максимовича, с низким потолком и множеством одинаково переплетенных книг. Петр Максимович любил поражать по вечерам гостей и студентов одним приемом. Он вводил гостя в полуосвещенный кабинет, приглашал садиться в кожаное кресло и незаметно зажигал ослепительную люстру.

Яркий свет превращал кабинет в уголок цветущего растительного мира. Вазоны с карликовыми соснами стояли прямо на полу. Тут же склонялись плакучими ветками карликовые ивы. На столе цвели оранжевые и белые цветы с мечевидными листьями. На стенах висели под стеклом высушенные травы, венчики цветов и листья, не потерявшие естественного цвета, очень яркие и самых причудливых форм.

Все краски, которыми природа в таком изобилии, с таким бесконечным числом оттенков и с таким безупречным вкусом наделила растения, были собраны здесь, как в волшебной шкатулке.

Петр Максимович, несмотря на свои годы и седину, был подвижной, бритый, в выпуклых очках, с несколько удивленными добрыми глазами. Страсть к ботанике соединялась у него со страстью к коллекционированию. Он собирал разные ботанические редкости.

Особенно гордился Петр Максимович отполированным срезом ствола восьмисотлетнего мамонтового дерева. Около слоев, нараставших в те годы, когда в мире происходили великие события, Петр Максимович прикрепил маленькие медные дощечки. На них было выгравировано: «Год открытия Америки», «Смерть Ньютона», «Правление Петра Первого», «Пожар Москвы в 1812 году» — и так далее, вплоть до таблички «Октябрьская революция». Дальше слоев уже не было, так как дерево было спилено в 1918 году.

Петр Максимович был вдовец. Детей у него не было. Хозяйством заведовала его сестра Полина Максимовна, совершенно незаметная горбатенькая старушка.

Этим летом Коля остался на практике в Ленинграде и работал с Петром Максимовичем над вопросом об озеленении городов и о создании вокруг городов,

заводов и рабочих поселков зеленых лесных поясов и парков.

Работе этой придавалось особенное значение. Социалистическое государство требовало превращения пыльных и душных городов в города-сады.

Новая планировка городов обязательно заключала в себе обширные сады, бульвары, парки, пруды и пригородные заповедные леса.

Петр Максимович всегда занимался со студентами по тщательно обдуманному плану.

Прежде всего надо было выяснить, как влияют на жизнь города сады, парки и пригородные леса. Мало было сказать, что они поглощают из воздуха убийственную для человека углекислоту, которая накапливается в огромных количествах в городах, и восстанавливают целительный кислород. Мало было сказать, что они уменьшают силу ветров, поглощают пыль и газы, усиливают солнечное сияние, дают отдых, радуют глаз, повышают тонус жизни. Все это надо было доказать.

Петр Максимович сейчас и занимался этим с помощью нескольких студентов, своих учеников. Каждому вновь найденному доказательству он радовался, но радость свою выражал обычно ядовитыми высказываниями по поводу неумения людей «жить по-человечески».

Коля никогда не встречал такого неумолимого противника городов. В этом отношении Петр Максимович явно преувеличивал. По его словам, ничего не могло быть вреднее, чем города, эти скучные и нездоровые гнезда для нескольких миллионов людей, теснящихся на ничтожном клочке земли, тогда как просторная и пригодная для жизни земля расстилается совсем рядом.

— Биологический возраст человека составляет в среднем полтораста лет,— говорил Петр Максимович,— а люди современных цивилизованных стран живут только половину этого времени. Вторую половину их жизни ворует город.

Петр Максимович всегда ссылался при этом на Лондон, как на самый «отвратительный» город в мире.

Тяжелый дым, висящий над Лондоном, приглушает солнечный свет. А кроме того, туманы! Установлено, что знаменитые лондонские туманы вызваны к жизни главным образом каменноугольным дымом. Чем больше дыма, тем чаще и гуще туманы. О чудовищном количестве дыма, за-

волакивающего Лондон, говорил простой подсчет количества сажи, сыпавшейся с неба на этот угрюмый город. Подсчет показал, что на каждый квадратный километр Лондона выпадает за год четыреста тонн сажи.

Легкие у лондонцев не розовые, а черные. Нигде в мире так не развиты туберкулез и рахит. Недаром эта болезнь и называется «английской».

Петр Максимович так убедительно говорил об оглушенном, отравленном, обреченном на преждевременное умирание человеке, тоскующем по воздуху лесов, по солнцу, что вчуже становилось страшно за этого человека.

У нас этого не должно больше быть и не будет. Петр Максимович знакомил студентов с проектами перепланировки старых и планировки новых городов, где зеленые рощи подходили вплотную к домам и заводам и вклинивались в жилые кварталы.

Он посвящал студентов не только в науку лесонасаждения, но и в необыкновенно сложное и увлекательное искусство разбивки садов и парков, когда деревья сажаются с таким расчетом, чтобы они давали разные планы освещения, чтобы многоцветная по оттенкам листва радовала глаз, чтобы осеннее золото одних деревьев оттеняло пурпур других, а лиловатость третьих создавала законченное обрамление.

Это было забытое дело, опыт его никто не обобщал. Благородство садового искусства чрезвычайно волновало Петра Максимовича.

Петр Максимович не ограничивался разговорами. В свободное время он ездил со студентами в парки Пушкина, Гатчины, Павловска.

Он показывал своим ученикам «в натуре» великолепие этих мест, созданных трудом и талантом человека, совершенство заранее обдуманных насаждений. Здесь все, вплоть до цвета коры, мощности стволов и обширности водных зеркал, удваивавших торжественный пейзаж, действовало с гармонической силой и вызывало душевный подъем — наилучшее, как говорил Пушкин, расположение для восприятия впечатлений и для передачи их окружающим,— иначе говоря, вызывало то вдохновенное состояние, которому мы обязаны появлением великих творений искусства.

Петр Максимович говорил, что в эти парки надо бы силой приводить тех консерваторов-ученых, которые до сих

пор твердят, что вмешательство человека в жизнь природы уродует ее и ослабляет ее естественные силы.

О каком уродстве может идти речь в этих блистательных парках — созданиях человека? Чем они хуже девственных, нетронутых лесов? Наоборот, они лучше их, здоровее, прекраснее. Их рост не подвержен случайностям, какие часто встречаются в природе.

Петр Максимович поручил этим летом Коле интересную работу. Нужно было выяснить, как леса и парки влияют на состав воздуха и чистоту его в городах. Прежде всего Коля занялся изучением лесов как заграждений против пыли. Ленинград окружен сосновыми лесами. Надо было начинать с сосны.

Студенческое общежитие при институте закрылось на ремонт, и Петр Максимович предложил Коле переехать пока к нему в комнатку, где хранились гербарии. Коля с радостью согласился.

Целые дни он проводил в городских парках и на островах, а иногда ездил за город в окрестные леса. Приходилось определять густоту хвои и листвы на деревьях, чтобы выяснить, как выражался Петр Максимович, «пылезащитные свойства разных древесных пород».

Работа была сложная, кропотливая, требовала расчетов и вычислений.

Приближалось время, когда могла приехать Анфиса. Стоило Коле подумать об этом, как тотчас начиналась путаница в вычислениях. Каждый день Коля ходил на почтамт, куда Анфиса обещала прислать телеграмму до востребования. Но телеграммы все не было.

Коля не мог придумать, как устроить Анфису в Ленинграде. Где она будет жить? В гостинице дорого, да и трудно получить место, а родственников ни у Анфисы, ни у Коли в Ленинграде не было. И, как назло, погода стояла холодная и сырая. Только изредка просвечивало солнце, согревало воздух, и тогда ленинградцы вспоминали, что лето еще не прошло.

Коля заканчивал свою работу. Он подсчитал, что площадь хвои, нависающей в воздухе над гектаром земли, равна тридцати гектарам.

Если всю хвою старой сосны разложить по земле в одну ниточку, то она протянется на двести километров. Эти цифры сами по себе говорили о том, каким непроницаемым для пыли пологом является хвоя сосны. А листва деревьев

и кустарников задерживала еще гораздо больше пыли, чем сосна.

Потом Коля занялся вычислением количества пыли в разных районах города — в тех, где совсем не было зелени, и в тех, где были сады. Он сравнивал эти цифры с количеством пыли в пригородных лесах. Оказалось, что на Елагином острове с его густыми садами пыли было в пятьдесят раз меньше, чем около Нарвской заставы, а в пригородных лесах — в тридцать раз меньше, чем на Елагином острове.

Наконец, когда работа уже близилась к завершению, Коле подали на почтамте телеграмму.

«Приехала десятого остановилась квартире писателя Леонтьева Фонтанка 28 жду *Анфиса*».

Откуда взялся этот писатель?

Коля зашел в парикмахерскую, побрился, посмотрел на себя в зеркало: худой, загорелый и почему-то все время улыбается.

Он отправился на Фонтанку. Ему не верилось, что сейчас, в этом ставшем ему родным городе, он увидит Анфису. Год назад, когда он проходил по этим улицам, Анфисы не было еще в его жизни, сердце его было пусто.

Коля разыскал в глубине третьего двора двухэтажный особняк, поднялся по мраморной лестнице и, немного помедлив, позвонил.

За дверью залаяла собака, послышались тяжелые мужские шаги. Дверь открыл плотный, с обветренным лицом, седоватый человек в коричневой фуфайке. Это был Леонтьев.

— А! — радостно сказал он, будто виделся с Колей уже сотни раз.— Наконец-то! Коля Евсеев? Анфиса вас второй день дожидается. Пойдемте.

Леонтьев отворил дверь в большую комнату, залитую дымным солнцем. В этом солнце стояла Анфиса, придерживаясь за притолоку. Она улыбалась, глядя на Колю. Сейчас она была гораздо тоньше и взрослее, чем год назад в Ливнах.

Они пожали друг другу руки, минуту молча смотрели в глаза, потом застенчиво поцеловались.

— Ну вот, видишь...— сказала Анфиса, и рдеющий румянец появился у нее на щеках.— Вот видишь, мы и встретились. Сядем здесь, поговорим.

Они сели на тахту, покрытую ковром. Леонтьев куда-то исчез и прикрыл за собой дверь.

— Ну как ты? — спросил Коля.

Анфиса хотела ответить, но тотчас за дверью заскреблась и заскулила собака — она требовала, чтобы ее впустили. Анфиса встала, открыла дверь. В комнату вошла, кляцая когтями по паркету, кривоногая такса с недовольной мордой.

— Я очень рада,— сказала Анфиса.

— Чему? — спросил Коля.

Такса чихнула, стукнулась мордой об пол, подошла к закрытой двери и опять начала скулить — проситься, чтобы ее выпустили. Анфиса встала, выпустила таксу и закрыла за ней дверь.

— Всему,— ответила, возвращаясь, Анфиса.— Ты знаешь, я все не решалась ехать в Ленинград.

Такса снова заскреблась в дверь, повизгивая и подвывая.

— О господи! — сказала с досадой Анфиса и опять впустила таксу.

Такса подошла к тахте, начала подпрыгивать, чтобы взобраться на нее, но это ей не удавалось. Тогда такса пронзительно заскулила. Коля взял ее за шиворот и посадил на тахту. Такса сердито заворчала.

— Почему же ты не решалась? — спросил Коля.— Я так тебя ждал!

— Правда? — радостно спросила Анфиса.

Такса тяжело спрыгнула с тахты и заковыляла к двери. Она ткнулась мордой в дверь, оглянулась на Анфису и заскулила.

— Ну и характер! — с отчаянием сказала Анфиса, порывисто встала, открыла дверь и вытолкнула таксу.

Обиженная такса начала отчаянно лаять. Тогда появился Леонтьев, взял ее за шиворот, унес в ванную и там запер. Такса тотчас начала выть.

— Ну, погоди! — пробормотал в коридоре Леонтьев.— Я с тобой еще посчитаюсь, чертовка!

— Знаешь что,— предложила Анфиса,— пойдем лучше побродим по улицам. Она нас замучит. Не понимаю, как только Сергей Иванович ее терпит!

В передней смущенный Леонтьев пытался их удержать, но не очень настаивал, так как понимал, что такса может вывести из себя даже влюбленных.

Он отпустил Анфису и Колю, но взял с них слово, что они вернутся к обеду.

А такса, сообразив, что гости уходят без нее, отчаянно скребла дверь в ванной и визжала.

На лестнице Анфиса и Коля остановились, посмотрели друг на друга и расхохотались.

— Нет,— сказал Коля,— здесь жить невозможно.

— Это только в первый день,— ответила Анфиса.— Потом она привыкнет.

Они прошли в Летний сад. Он был полон солнечным светом до вершин старых лип. Никто бы не поверил, что стоит уже конец августа, если бы на землю не слетали листья, покрытые слабой позолотой. Небо над городом было таким ярким, будто соседнее море отдало ему весь свой блеск, а само стало от этого блеклым и прозрачным, как и подобает северному морю. Осенняя дымка висела над Невой, и в этой дымке золоченой иглой мерцало легендарное Адмиралтейство.

Трудно передать, о чем они говорили. О театральной школе и поездке в Казань, о знакомстве с Леонтьевым, о родном городке, который казался сейчас таким далеким, как во сне, о Нине Порфирьевне, Петре Максимовиче, о Чайковском и старухе Аграфене Тихоновне, о лесничестве, о Колиной работе в будущем, пока Коля не сказал, что они никогда, никогда не должны надолго расставаться, а Анфиса ответила, что об этом не надо даже говорить.

Потом Анфиса искоса взглянула на Колю и спросила:

— Ты понимаешь?

— Да.

Есть минуты, когда сразу меняется значение слов. Так и теперь. Слова возникали, тонули, исчезали, сменялись другими, но каждое самое обыкновенное слово, такое, как «ветер», «улица», «да», «нет», говорило о любви. О том удивительном состоянии, когда неотделимы друг от друга и радость и грусть, а дрожание губ предвещает или смех, или счастливые слезы.

Только к вечеру Анфиса и Коля спохватились и на речном трамвае вернулись с Елагина острова на Фонтанку, к Леонтьеву.

Леонтьев давно их уже ждал. Всего пять дней назад он возвратился из лесничества, где его сменил Прохор Стерлигов, разговорчивый и покладистый старик.

В лесничестве его провожали как своего, звали обязательно приехать на будущий год, а Мария Трофимовна и Баулин даже проводили его до города и посадили на паро-

ход. Они долго стояли на высоком берегу, пока пароход не скрылся за поворотом реки.

Солнце садилось в лугах. Пыль, поднятая стадом, золотилась над берегом, и долго еще было слышно с палубы парохода требовательное мычание коров.

Мария Трофимовна стояла неподвижно, а Баулин долго махал кепкой.

Сейчас, в Ленинграде, Леонтьев никак не мог войти в колею городской жизни. Среди всяких занятий и забот он вдруг вспоминал свою работу в лесу, заросшую вереском дорогу, стук ходиков в сторожке, рассветный туман над болотцами, пожар, сон о Лермонтове, свой разговор с Марией Трофимовной на берегу реки — и его охватывала тоска. Все, что было связано с заповедным лесом, с лесничеством, казалось ему очень милым, родным. Мысли о Марии Трофимовне он сначала всячески гнал от себя, но вспоминал о ней все чаще, пока наконец не понял, что эта женщина вошла в его жизнь и уже никогда не уйдет.

Леонтьев почти до слез обрадовался неожиданному приезду Анфисы и первое время все не мог сообразить, как она разыскала его в Ленинграде, хотя сам дал ей на пароходе свой адрес.

Распоряжалась в доме Леонтьева чистенькая старушка родом с реки Свири. Он звал ее «нянюшкой» и подсмеивался над ней. А старушка очень его почитала, хотя и жаловалась Анфисе, что Леонтьев «не хочет входить в свои лета».

— Так вот весь свой век,— горестно говорила старушка,— чемодан то укладывает, то раскладывает. Ездит и ездит, бог с ним совсем! А теперь, к примеру, рассказывает, что служил в лесу объездчиком. Уж и не знаю — верить ай нет?

— Правда, служил,— подтвердила Анфиса.— Я там была, знаю.

— И к чему это мученье! Мало ему книги писать, так нет, во все надо соваться. А человеку уже шестой десяток.

На следующий день Коля с Анфисой и Леонтьевым пошли к Багалею.

Петр Максимович внимательно посмотрел на Анфису и сказал, что после знакомства с ней он прощает Коле некоторые ошибки в вычислениях площади поверхности хвои. Анфиса не совсем поняла, о чем говорит Петр Максимович, но смутилась.

Петр Максимович показал, конечно, все свои редкости

и был весьма доволен восхищением Леонтьева. Узнав, что тот служил объездчиком, он очень это одобрил и тут же завел разговор о том, что писатели зачастую делают совсем не то, что нужно, слишком возятся с психологией и пренебрегают другими удивительными явлениями жизни.

— Ведь психология, по существу, мало меняется,— говорил он, сердясь.— Любовь, ревность и все прочее повторяется из века в век. Получается рутина.

Леонтьев усмехнулся.

— Вы не согласны? — запальчиво спросил Петр Максимович.

— Конечно, нет. Психика людей меняется очень заметно. Но это ничуть не опровергает ваших слов о новых темах в литературе. О чем, по-вашему, следовало бы писать? Ну, хотя бы в том деле, которым занимаетесь вы.

— Да тысячи тем! Для всего. Для рассказов, повестей, романов. Даже для сказок.

— Вот не думал! — нарочно, чтобы подзадорить Петра Максимовича, сказал Леонтьев.

— Именно для сказок. Вы знаете, когда мы, лесоводы, сажаем сосновые леса, то кто для нас собирает самые отборные сосновые шишки, лучшие семена? Белки! Мы просто отыскиваем склады шишек, припрятанные белками на зиму, и отбираем их. Грабим, конечно, зверьков. Но зато есть полная уверенность, что лучших семян вы нигде не найдете.

Леонтьев так увлекся разговором с Петром Максимовичем, что засиделся до полуночи. По дороге домой он сказал Анфисе, что обязательно будет писать книгу о лесах и что перед этой темой «надо снимать шапку».

Перед отъездом из Ленинграда Анфиса поехала с Колей в Пушкин.

Коля хотел показать Анфисе тамошние парки.

День был прохладный, уже осенний — «в полсвета». Солнце не давало полного сияния. Тени на земле лежали неясные, размытые.

Приглушенное освещение накладывало на все сероватую дымку. Почему-то эта дымка, и увядающие сады, и побледневшее небо вызывали ощущение легкой печали.

Это чувство преследовало Колю и Анфису весь день, до тех пор, когда заходящее солнце наполнило сады золотым блеском. Сонная гладь прудов отразила этот блеск, придав ему вечернее неколебимое спокойствие.

До этого Коля с Анфисой долго сидели перед памятником юному Пушкину.

Анфиса облокотилась на скамью и, задумавшись, смотрела на поэта. А Пушкин, тоже опираясь на тонкую бронзовую руку, смотрел на Анфису, как бы обдумывая легкий мадригал в честь этой девушки, пришедшей его навестить.

К вечеру на фигуру Пушкина тоже лег закатный свет. Юношеский порыв его легкого тела говорил о мечтательной и шутливой молодости.

Казалось, что Пушкин вот-вот спрыгнет на землю, подойдет к Анфисе и Коле, сядет с ними рядом и заговорит о садах, Лицее, поэзии.

Весь этот день Анфиса чувствовала необыкновенное волнение.

Она спрашивала себя: что же это такое, почему она так волнуется, почему боится вечера, когда придется проститься с этими садами?

Она никак не могла определить свое состояние и знала только одно: что этот бронзовый Пушкин, и полукруглый фасад Лицея, и Камеронова галерея, меркнущая в багрянце листвы, и могучие стволы лип, к которым хотелось прижаться щекой, как прижимаются к лицу родного человека, и блеск воды, и сумерки, и первое простодушное мерцание звезд — все это связано чем-то общим, единым, и если исчезнет одно из этих явлений, то померкнет и все остальное.

Так, ощущая все это, но не находя своим ощущениям названия, она всем существом переживала совершенную гармонию окружающего.

Пришла ночь, но Анфиса и Коля не хотели уходить. Они еще долго прощались с парком, прошли несколько раз по глухим аллеям и мостикам над прудами.

Сады стояли как бы в оцепенении. Ночная их тишина хранила в своей глубине шуршание листа, слетающего на траву с вершины дерева, всплеск крытого фонтана, вздох спящей птицы, беззвучное течение знакомых строк, которое слышишь ты один: «Сады прекрасные, под сумрак ваш священный вхожу с поникшей головой...»

Где-то очень высоко еще угадывался последний — густой и лиловый — блеск небосклона. Но тьма уже завладевала садами окончательно и полновластно.

И в этой темноте остался наконец один только звук — звон воды, льющейся из разбитого кувшина бронзовой девушки.

ВСТРЕЧА С ЧИТАТЕЛЕМ

Зима прошла в трудах, в работе над книгой, а в июне Леонтьев решил снова поехать в лесничество, к Баулину.

Не было, пожалуй, такой области в стране — от Уссурийского края до Одессы и от Баренцева моря до Самарканда,— где бы Леонтьев не побывал за свою жизнь. Но лучшего места, чем заповедный лес и свой девятый кордон, он не встречал. Там все было ему мило, все успокаивало, все казалось таким родным, как материнский дом, когда мы возвращаемся в него уже взрослыми и искушенными жизнью.

У Леонтьева была обычная человеческая слабость — затягивать приближение того, что доставляло ему счастье. Ожидание хорошего всегда волновало его и уже само по себе давало ему радость. И на этот раз он скрывал от себя, что самую большую радость испытывал от ожидания встречи с Марией Трофимовной.

Поэтому он поехал в лесничество не по железной дороге — через Москву, а на пароходе — через Свирь, Мариинскую систему и Череповец.

В дорогу он взял несколько книг, которые мог читать и перечитывать бесконечно: письма Чехова и описание растительности Советского Союза. Эту последнюю книгу написал молодой талантливый ученый Кожевников. Леонтьев читал ее с таким же интересом, как мальчишки читают романы путешествий и приключений.

За Вытегрой пошли по берегам леса и переменились пассажиры. Исчезли последние горожане. Пароходом завладели лесные люди: заготовители живицы, лесорубы, охотники, медвежатники, землемеры. На палубе заговорили о подсочке, скипидаре, выволочке леса — трелевке, о том, что нынче рано зацвела сосна, о мелкослойности древесины, борьбе с майским хрущом, подгрызающим корни молодых сосен, и о прочих не менее интересных вещах.

В Белозерск пароход пришел утром. Над Белым озером лежал туман. Вся палуба и пристанские сооружения были покрыты обильной росой. Роса эта не высыхала, хотя солнце уже поднялось высоко.

В Белозерске стояли долго. Леонтьев пошел побродить по городу. Он дошел до самой окраины, где за последним бревенчатым домом начинался кочкарник, поросший березками, сел на лавочку у ворот, закурил. Тотчас из дома вы-

шел мальчик лет четырнадцати, белобрысый, без шапки, застенчиво одернул ситцевую рубаху, поздоровался с Леонтьевым и, искоса на него поглядывая, начал чинить развалившийся мостик через придорожную канаву, отдирать лезвием топора прогнившие доски.

— Учишься? — спросил Леонтьев.

— В шестом классе,— ответил мальчик, не оглядываясь.

— Много читаешь?

— Да как придется. Я летом больше читаю. Зимой некогда.

— А кого же ты из писателей любишь?

— Я всяких люблю.— Мальчик отложил топор и, улыбаясь, посмотрел на Леонтьева.— Пржевальского люблю. И Льва Толстого. И еще люблю французского писателя Гюго.

— А из теперешних?

— Горького,— ответил мальчик,— и Леонтьева.

— Кого?

— Леонтьева. Вы разве его не читали? Он про охоту пишет и про всякие наши области. Я как его книгу прочту, так мне сразу хочется сесть на пароход, да и поехать подальше. А вы не ленинградец?

— Да,— ответил Леонтьев,— ленинградец. Но что-то не слыхал я про такого писателя Леонтьева.

— А я вам сейчас покажу,— сказал мальчик и убежал в дом.

«Вот так случай! — сказал Леонтьев про себя и засмеялся.— Встреча с читателем!»

Леонтьев часто встречался с читателями, но эта встреча с мальчиком особенно его обрадовала и растрогала.

Мальчик вынес Леонтьеву зачитанную, пухлую его книгу, изданную давным-давно в Ленинграде.

— Прочтите непременно,— сказал он.— У нас все его читают. Даже бабушка, а ей семьдесят лет. Она у нас бывшая учительница. Ходить ей уже трудно. Она весь день сидит в саду и читает... Вы в Белозерске живете?

— Нет. Я проездом. С парохода.

— Жалко,— сказал мальчик.— А то бы я вам дал прочитать эту книгу. Здорово написано про растения. Мы ее в школе вслух читали с Петром Игнатьевичем и решили насадить школьный сад.

— И что же, насадили? — тихо спросил Леонтьев.

— А как же! И всю улицу засадили. Вон, смотрите! Березками. Карнауховские мальчишки две березы сломали. Футбольным мячом. Ну мы их и поколотили! Всем классом. Теперь они только на выгоне и играют.

Леонтьев посмотрел вдоль улицы. Молодые березки шелестели блестящей листвой, бросали легкую тень на деревянные тротуары. Леонтьев почувствовал теплый запах березовой коры.

Что-то сжалось у него в груди, он вздохнул, встал, протянул мальчику руку:

— Ну, спасибо! Мне надо идти. Живи хорошо.

Он пошел на пристань и так был взволнован этой встречей, что ничего по дороге не замечал. «Вот и награда,— думал он.— Лучшей мне, пожалуй, и не нужно».

Он был счастлив этой встречей и потому с недоумением остановился, увидев, как из маленького чистого дома с неизменной геранью на окнах выбежала плачущая молодая женщина с растрепанными волосами и, запахивая на груди кофту, начала стучать в дверь соседнего, такого же маленького дома. Она стучала неистово, всхлипывала и не вытирала слез,— они катились по ее щекам, падали на красную кофту и оставляли там темные пятна.

— Что случилось? — спросил Леонтьев.

Женщина обернулась к Леонтьеву, сердито посмотрела ему в лицо серыми заплаканными глазами и сказала:

— Да вы что ж, не знаете? Война началась!

— То есть как? — спросил Леонтьев, чувствуя, что на лице у него появилась напряженная и болезненная улыбка — признак растерянности.

— «Как, как»! — с сердцем крикнула женщина.— Только что Молотов говорил. По радио. Сегодня, на самом рассвете, немцы напали на нашу границу.

— Та-ак! — сказал Леонтьев, глядя на женщину.— Значит, из-за угла?

Он как-то сразу стал холоднее, спокойнее. Ему хотелось успокоить и эту женщину, но вместо всяких утешительных слов он неожиданно сказал:

— Пойдите умойтесь, причешитесь. Нельзя в такое время так...

— Господи! — сказала женщина и густо покраснела.— Я как услыхала, вовсе обеспамятела. Бросилась к тете Даше. У нее Миша в армии. Уж вы меня извините...

Леонтьев повернулся и продолжал путь к пристани. Все как-то сразу переменилось — даже солнечный свет и самый воздух. Все окружающее, внешнее воспринималось мимоходом, не задерживалось в сознании: и тихие улички, заросшие под забором крапивой, и встревоженные люди, куда-то торопившиеся по этим уличкам, и блеск утренней листвы, и мычание коров.

В Череповце Леонтьев сошел с парохода и возвратился поездом в Ленинград.

А через два дня ночью из Москвы приехала похудевшая, бледная Анфиса с незнакомой пожилой женщиной, Ниной Порфирьевной, матерью Коли. Леонтьев встретил их как родных, хотя и видел Нину Порфирьевну впервые. Он тотчас захлопотал со своей старушкой-нянюшкой, чтобы дать гостям умыться, накормить их и устроить им комнату.

Анфиса отвела Леонтьева в сторону, рассказала, что Нина Порфирьевна, как только узнала о войне, тотчас примчалась к Анфисе в Москву, и они обе решили сейчас же ехать в Ленинград к Коле. Его, должно быть, в ближайшие дни призовут в армию.

Потом Анфиса покраснела и извинилась за то, что она ворвалась к Леонтьеву. Но в гостиницах не оказалось ни одного свободного номера.

Леонтьев сначала ее не понял, а когда понял, рассердился.

— Вот не ожидал,— сказал он,— что вы с такими предрассудками! И вы и Коля для меня свои люди, хотя и знакомы мы — всего ничего. Этот дом — ваш дом. И чтобы вы мне больше об этом не смели заикаться!

Анфиса взяла руку Леонтьева и тихонько ее погладила.

Они стояли у открытого окна. Была уже поздняя ночь. В комнату тянуло речной сыростью. Призрачный свет лежал над городом. Гулко отдавались в пустынности улиц шаги патруля.

— Надо выстоять,— сказал Леонтьев.— И сберечь свое сердце. Тогда ничего не страшно.

— Да,— ответила Анфиса, глядя за окно светлыми большими глазами.— Да, Сергей Иванович,— повторила она и, взявшись за раму открытого окна, долго смотрела на белую ночь и на слабый свет зари над Невой и островами.

АГРАФЕНА

С годами случилось так, что Аграфена начала думать о Чайковском как о родном человеке. Ей все чаще хотелось поговорить о нем с кем-нибудь, вспомнить старое, но говорить было и некогда и не с кем.

«Дурная я, старая! — бранила себя Аграфена.— Он, может, через год, когда от нас уехал, позабыл даже, как меня звать. Вот уж верно: чем старее, тем дурее».

Пришла война. Престарелых музыкантов увезли куда-то на восток, дом закрыли, а ключи передали на сохранение Аграфене. Но за недосугом во время войны она в доме ни разу и не была.

Поздней осенью областной город заняли фашисты. Вскоре начала достигать до Аграфениного села отдаленная канонада.

Аграфена захворала: ноги ослабели, стали как ватные. А когда оправилась, начала ходить, уже пришли враги. Так Аграфена и осталась в селе с несколькими маломощными стариками.

Фашисты пришли на серых машинах, с черным оружием, будто они вымазали его болотной грязью. И говорили они по-болотному, будто квакали. Солдатские головы под разлатыми шлемами были похожи на лягушечьи: с тонкими желтоватыми губами и белыми ледяными глазищами. Сапоги у гитлеровцев были, как ведра,— широкие, низкие, гремели на ходу.

В первый же день они деловито повесили на березе свойственника Аграфены, лесника Онуфрия, за то, что застали его на мосту через лесную речушку, когда он подпиливал сваи. Но все равно вышла у фашистов задержка. Мост пришлось разобрать и строить на его месте новый. Для моста солдаты начали валить лес. А дальше — больше, уже валили его целыми кварталами, и так безобразно, что пни оставляли высотой с человеческий рост. Бревна тащили на блиндажи и укрытия. А потом привезли лесопильную машину, начали пилить доски и отправлять их в свой тыл, должно быть в Германию.

Был еще в деревне девятилетний мальчик Пашка. Он заболел, когда все уходили, и остался с Аграфеной. Он прикидывался дурачком, гундосил, приставал к солдатам, клянчил у них невесть что — коробки от сигарет, патроны, пуговицы. Пашка вошел к ним в такое доверие, что солда-

ты только похохатывали над ним, дергали за вздернутый нос и даже подарили ему зеленый старый мундир. Пашка лихо носил его внакидку на одном плече, как пиджак. Мальчонка целыми днями шастал по селу и лесу, все разузнавал и рассказывал Аграфене.

Стояло то время года, когда осень уже вылила все дожди, а ветер ободрал с деревьев последние листочки. По ночам уже подмораживало. Сухая земля потрескивала под ногами. Вот-вот начнет сыпать первый снежок.

Были сумерки. Аграфена сидела у окна, не вздувая огня. Очень было смутно жить на захваченной фашистами земле. Смутно и беспокойно. Только в такие поздние сумерки Аграфена отдыхала: темно, никто ее не видит, и так тихо, что слышно, как на краю села брешет собака.

Аграфена решила: если услышит близко топот немецких сапог, тихонько выйдет, прикрбет избу и спрячется в сарайчик, там отсидится. Лишь бы фашисты ее не трогали, ничего не клянчили и не приставали с расспросами.

Но на этот раз Аграфена так крепко задумалась, что очнулась, когда солдаты уже вошли в сени. Их было двое. Обоих Аграфена давно уже приметила. Один был худой, горбоносый — не то немец, не то румын. Он говорил по-русски, но чудно́, коротко, и, разговаривая, всегда держал руки в карманах шинели и смотрел на Аграфену посмеиваясь. Другой был плотный, в тесном мундире, в сапогах желтой кожи.

Солдаты пришли к Аграфене за самоваром. Переговариваясь и посмеиваясь, они объяснили, что самовар нужен для генерала, потому что у него сегодня праздник: генерал получил от фюрера награду — железный крест — и желает угостить своих гостей чаем из настоящего русского самовара.

— Да где же он, этот ваш генерал? — спросила Аграфена.— В нашем селе никаких генералов нету.

— В лесу,— сказал горбоносый немец.— В старой вилле, что есть в лесу. Там квартирует теперь генерал.

— Ой,— сказала Аграфена,— чегой-то вы все врете, путаете! Тот дом давно стоит заколоченный.

Солдаты ничего не стали объяснять, но снова потребовали самовар.

— Да вы его мне распаяете! — рассердилась Аграфена.— Небось сроду самовара не ставили.

Солдаты молчали.

— Я сама с вами пойду. Поставлю вашему этому генералу самовар. И обратно самовар заберу. Вам поверишь — наплачешься. Улетит самовар — ищи потом ветра в поле.

Солдаты были озадачены. Они о чем-то поговорили между собой, даже поспорили, а потом горбоносый сказал:

— Пожалуйста. Прошу. Генерал, будем думать, останется доволен. Старая русская женщина сама подает ему самовар. Как в кино.

Аграфена взяла с собой на всякий случай Пашку. Солдаты осторожно, держа за ручки, несли самовар.

— Пашка,— тихо спросила Аграфена,— неужто в том доме фашисты? Что ж ты мне ничего не сказал?

— В каком доме? В музыкантском?

— Ну да.

— Третьего дня въехали. Я сам только сегодня узнал. Там, должно, штаб. Генерал живет, весь седой, морда как у мерина. И офицеры при нем.

— Ладно,— сказала Аграфена.— Теперь помолчи.

Шли осиновым перелеском. Неизвестно откуда на землю падал серый свет, хотя ни звезд, ни месяца не было. В тишине слышался трепет одинокого уцелевшего на ветке осинового листка.

Потом серый свет вздрогнул, и над землей прокатился пушечный удар. Он долго затихал, закатывался в ночные дали. Солдаты остановились, поставили самовар на землю, прислушались.

— Зо! — сказал солдат в тесном мундире и покачал головой.

Горбоносый закурил, сложив ладони лодочкой, затянулся, сплюнул, но ничего не ответил.

— Смекаешь? — спросила Аграфена Пашку.

— Смекаю,— коротко ответил Пашка.

Дорога пошла вниз, в сыроватый лес, где белел туман. Через болотце был перекинут ветхий бревенчатый мосток.

Когда подошли к мостку, долетел второй пушечный удар. Он встряхнул сырую ночь. Застоявшийся в кустах холодноватый воздух ударил в лицо. По черной болотной воде пробежала мелкая рябь.

И в этом пушечном ударе, похожем на вздох облегчения, были неторопливость и сила.

Аграфена усмехнулась, вытерла рукой сухие губы, взглянула на солдат.

«Что за притча!» — подумала Аграфена. Все свое, знакомое: и низинка эта в тумане, где она девочкой пасла гусей, и мосток, что стоит здесь еще с тех времен, когда жил в лесном доме Петр Ильич и ходил по этой дороге к ним в село, и стог сена, почернелый от дождей,— все свое! И вот идут по этим местам, топочут своими сапогами-ведрами фашисты. «Далеко залетели, голубчики, да посмотрим, где сядут!»

Генерал Штумпф, высокий, с седыми, стриженными ежиком волосами и запудренными на щеках синими пятнами — следами неизлечимой прыщавости, был весьма доволен наградой фюрера. Он представлял себе, как в скором времени будет сидеть в имперской канцелярии в Берлине на совещании и крест на его груди отразится в полированной поверхности длинного стола. На стол нельзя было даже положить руку — тотчас на полировке появлялось влажное пятно. Оно долго не проходило.

Говорили, что фюрер не выносил этих пятен. Поэтому никто не осмеливался прикасаться к столу. Все сидели вытянувшись и, так как боялись смотреть на яростное, дергающееся лицо фюрера, смотрели на его отражение в столе. Это было безопаснее.

Генерал был доволен еще и тем, что в расположение его войск приехал из Берлина крупный лесопромышленник Бальцен. Сам генерал происходил из семьи почтового служащего и с молоком матери всосал почтение к людям высшего круга. Ему нравилось, что они никогда ничем не смущались, небрежно носили дорогую одежду и имели смелость относиться к некоторым поступкам фюрера с оттенком снисходительности, будто в глубине души знали, что он всего-навсего ефрейтор и главные силы, управляющие государством, находятся в руках не у него, а у них.

Генерал отвел Бальцену лучшую комнату в лесном доме, ту, где, по преданию, жил когда-то известный русский пианист Чайковский.

Бальцен приехал, как он говорил, с тремя целями: отдать дань уважения армии в обстановке войны, совершить несколько экстравагантную прогулку по России и кстати ознакомиться с качеством и размерами русских лесов в этой части страны в связи с тем, что он получил право на их эксплуатацию для Германии.

Генерал Штумпф знал, конечно, что это «кстати» было главной целью появления Бальцена.

Бальцен объехал всю Северо-Западную область, где уже начались валка и вывоз леса, и добрался наконец почти до передовой линии. Из этого генерал заключил, что Бальцен — человек не только деловой, но и храбрый.

В лесном деле Штумпф ничего не понимал и относился к дереву пренебрежительно. Он считал этот материал малопригодным для военного дела. Железо, алюминий, медь — это да! Это были военные материалы. А дерево только и годилось для ложи винтовок.

За обедом генерал слушал Бальцена вежливо, но равнодушно.

— Итак, мои господа,— говорил Бальцен, обводя круглыми глазами офицеров,— вы, оказывается, не подозревали — да, не подозревали! — какую пользу вам дает древесина. Да! На всякие взрывчатые штуки идут ацетон и метиловый спирт. Эти химикалии изготовляются из древесины. Да, из древесины, мои господа! Наши враги сейчас озабочены тем, чтобы сжечь и уничтожить немецкие леса. Да, все наши леса! Об этом они говорят и пишут открыто. Леса, где до сих пор живут гномы и поют Лорелеи, расчесывая свои волосы.

Бальцен засмеялся, а Штумпф сдержанно улыбнулся,— человеку в его ранге смеяться было неудобно.

— Они хотят лишить нас ацетона и метилового спирта, чтобы поставить па колени. Они забывают, что у нас в резерве есть русские леса. Мы их вырубим, если понадобится, до последнего дерева.

Генерал знал, что Бальцен может разглагольствовать о своем деле часами. Это было, конечно, утомительно, по с этим приходилось считаться.

Офицеры тоже были не очень довольны болтовней лесопромышленника в серых гетрах. Они перешептывались о предстоящем ужине и о том, что генералу привезли ящик венгерского коньяку.

Но и за ужином Бальцен снова затеял наскучивший разговор о лесной промышленности. По мнению подвыпивших офицеров, это было уже слишком. Лейтенант Кнюпфер, человек с пустыми опасными глазами, сказал:

— Я думаю, что вы прихвастнули, господин Бальцен, когда утверждали, что сведете все русские леса.

— Мы уже свели десять миллионов гектаров, молодой человек! — с достоинством ответил Бальцен.

— Не вы, а мы! — сказал с угрозой в голосе Кнюпфер.— Мы косим их снарядами и танками, как траву.

— Спокойно! — строго произнес Штумпф.

Всмотревшись по очереди в красные лица офицеров, он понял, что люди взвинчены и может произойти неприятность.

— Мы навалим сосновые бревна до самого неба,— прокричал Кнюпфер,— подожжем их и на этом костре поджарим для вас, господин Бальцен, чудовищную котлету!

— Из чего? — спросил майор с бегающими глазами. У него был такой вид, будто он все время ищет на столе самое вкусное кушанье.

— Из штатских мозгов!

— Вы плохо шутите,— сказал Бальцен и обернулся к генералу: — Не правда ли, мой генерал?

— Шутки не входят в обязанности моих офицеров,— ответил скрипучим голосом Штумпф.— Я не могу требовать от них искусства в этом деле. Каждый шутит, как может. Не обижайтесь, господин Бальцен. Фронт есть фронт: люди имеют право несколько отдохнуть от утомительных приличий.

Штумпф понимал, что говорит не то, что нужно, но в голове у него уже шумело и пятна на лице сделались совершенно лиловыми. К черту все! К черту этого Бальцена!

Поднялся шум. В разгар этого шума и подошла к дому Аграфена с солдатами, тащившими самовар.

Шум все время менялся. Сначала он походил на шум скандала. Было слышно, как офицеры вскочили, начали двигать стульями, кто-то кого-то удерживал, кто-то требовал: «Прочь руки! Пустите меня!» Бальцен несколько раз крикнул: «Обратите внимание, мой генерал!» Потом кто-то захохотал, зазвенело разбитое стекло, все закричали «хайль», и шум сразу перешел в беспорядочный гомон обычной офицерской пирушки.

Солдаты пошептались на кухне с денщиком генерала. Тот пошел доложить о самоваре и вернулся с ухмыляющимся лицом.

— О, генерал рад! — сказал он.

Солдаты притащили воды, долго и осторожно лили ее в самовар. Очевидно, вся эта история с самоваром казалась им необыкновенно забавной. Особенно после того, как денщик принес начатую бутылку коньяку и они выпили по стаканчику.

Аграфена развела самовар, села на табурет, поправила на голове платок, осмотрела кухню. Самовара ей, конечно, вовсе не было жаль — бог с ним, с самоваром! — а просто она хотела узнать, что натворили гитлеровцы в этом старом любимом доме.

С той минуты, как она узнала, что в нем стали постоем фашисты, у нее начало ныть сердце. А она-то думала, что дом стоит в стороне от дороги, заколоченный, тихий, и его не заметят, не тронут!.. Что тут поделаешь! Как бы еще не спалили спьяну. Ишь сколько понаставили керосиновых ламп. И как они пылают!

В кухне и во всем доме было жарко. Окна были наглухо завешены. Слоистый керосиновый чад висел под потолком. Дышать было почти нечем. Все полы замараны, затоптаны.

А бывало, при Петре Ильиче, Феня входила в этот дом боязливо, застенчиво. Каждый раз перед этим она мыла в бочке с дождевой водой загорелые ноги, исцарапанные колючками шиповника и малины. Половицы были чистые, поскрипывали. В тех местах, где на пол падало солнце, было приятно ступать босой ногой по теплому дереву.

День и ночь тогда окна были открыты. Слабый ветерок шевелил занавески на окнах и полевые цветы, расставленные на столах.

Почти каждый день Феня приносила Петру Ильичу землянику и цветы. Она ходила за цветами в заливные луга и рвала их долго, подбирала всегда одинаковые: то одну ромашку, то кипрей, то подмаренник.

А когда весна входила в полную силу и всю ночь над лесом не потухала заря, Феня пробиралась в усадьбу к Липецкому и рвала там для Петра Ильича сирень.

До чего она была холодная, пахучая, росистая! Прижмешь к лицу пышные ветки — будто умоешься. Принесешь цветы, Петр Ильич возьмет за подбородок, приподнимет зардевшееся лицо, скажет: «Эх ты, сероглазая!» — и обязательно чем-нибудь отдарит.

А потом сядет к роялю, заиграет. Сирень вся задрожит, и роса с нее польется прямо на рояль...

Но тут Аграфена очнулась. Вестовой тронул ее за плечо.

— Генерал лично хочет сказать вам спасибо,— торжественно сообщил горбоносый немец.— Он сильно доволен.

Аграфена запахнула шаль на груди, встала, побледнев. Она гнала от себя мысль, что фашисты пьянствуют как раз в том маленьком зальце, где стоял рояль, в любимой комнате Петра Ильича. Не может этого быть!

Но фашисты пьянствовали как раз в этом зальце. Аграфена вошла, остановилась в дверях и поклонилась, опустив глаза.

Офицеры захлопали в ладоши, закричали, затопали ногами, а вестовой поднес Аграфене на тарелке стаканчик коньяку. Кто-то заиграл на рояле туш.

Аграфена подняла глаза, быстро выпрямилась... Что ж это, господи!

Длинноногий офицер сидел за роялем в таком виде, что было совестно глядеть. Ноги он положил на рояль, раздвинул их, сколько мог, и играл между ног — колотил, изловчившись, длинными пальцами по клавишам.

— Ах ты охальник! — тихо сказала Аграфена и медленно пошла к офицеру, который все колотил по роялю, похохатывая и подмигивая.

Платок упал с головы Аграфены на плечи. Все увидели ее седые чистые волосы, светлые от гнева глаза, лицо, такое пылающее, будто кто-то дал ей пощечину.

Был у нее холод на сердце, словно шла она на верную смерть и сердце уже знало, что надо делать.

— Ах ты охальник! — громко повторила Аграфена и крепко взяла белобрысого офицера за потный ворот расстегнутого мундира.— Пащенок! Скотина фашистская!

Она рванула офицера за ворот. Офицер упал. Круглый табурет покатился по полу.

Фашисты вскочили, а Аграфена наклонилась над офицером, глядя ему в лицо ненавидящими глазами.

Офицер привстал и быстро шарил в кармане рейтуз, ругаясь сквозь зубы. Он вытащил маленький черный пистолет.

— Ах ты, скотина фашистская! — так же громко повторила Аграфена.

— Не здесь! — крикнул кто-то из гитлеровцев, но пистолет уже щелкнул резко и судорожно три раза подряд.

Аграфена охнула, отступила, схватилась за рояль, тяжело села на пол.

— Пашка! — крикнула она и захлебнулась.— Пашка, беги!

Аграфена прижала руки к ушам, будто трогала сереж-

ки, но их не было, и она застонала. Потом она упала головой на пол. Откуда-то со страшной силой начала валиться на нее горячая тьма, послышался запах гари, приближалась, должно быть, сама смерть. «А я вам, Петр Ильич, сирени нарвала»,— не то подумала, не то вслух в последний раз сказала Аграфена и затихла.

Когда Пашка услышал крик Аграфены: «Пашка, беги!» — он вскочил и, плохо соображая, что делает, смахнул со стола лампу и бросился к дверям. Он успел выскочить во двор, кинулся наугад в лес, в кусты, споткнулся, упал и притих. Весь дом гудел от криков.

Пашка оглянулся. В окнах кухни полыхал багровый огонь. Кто-то выбил раму, и черный дым уже валил наружу, перемешиваясь с языками пламени.

Солдаты вытащили из дома пьяного генерала, потом начали вытаскивать какие-то ящики. Все кричали, суетились, и только горбоносый солдат, тот, что нес самовар, стоял, засунув руки в карманы, смотрел на горящий дом и насвистывал. Потом в доме что-то начало взрываться — должно быть, гранаты.

Пашка отполз подальше от дома, тихо плача, вытирая глаза рукавом старого немецкого мундира. «Баушка,— шептал он и захлебывался слезами.— А баушка!»

Пашка лежал, уткнувшись лицом в палые листья. Земля была холодная, и что-то в ней шуршало — должно быть, жуки зарывались перед зимой поглубже, копали теплые норы.

Все чаще долетали пушечные удары. Пашка поднял голову, прислушался, осторожно встал. В небе загорался и гас смутный мгновенный блеск. Пашка постоял, подумал и решил в село не возвращаться: фашисты часто видели его вместе с Аграфеной, и если поймают, то обязательно убьют.

Лесной дом, должно быть, сгорел дотла — уж очень он был сухой и маленький. В том месте, где он стоял, лес чуть светился, будто там догорал костер.

Пашка выбрался в темноте на опушку, на высокий песчаный обрыв. В лесу было тихо, а на обрыв с лугов тянуло холодом. Прямо под ногами лежала тьма. Но в этой тьме Пашке чудилось движение. Оттуда изредка долетал торопливый грохот. Потом опять все стихало.

Пашка залез в яму от вывернутой ветром сосны. Там было теплее и как-то надежнее, будто в блиндаже. «Доси-

жу тут до утра, а там посмотрю»,— решил Пашка, сел, уткнулся носом в колени, натянул на уши шапку и затих. На руку ему пала снежинка, потом вторая,— уже шел реденький, мелкий снег. Пашка съежился сильнее, совсем втянул голову в воротник.

Он дремал, просыпался, снова задремывал, а удары орудий вскоре слились в сплошной гул. За стеной дальнего леса сотнями красных звезд поднялись и, повисев в воздухе, погасли ракеты. После этого вся даль начала вспыхивать непрерывным беглым огнем.

Разрывы приблизились. Снаряды ложились уже на большаке. Над лесом занялось зарево. Оно разгоралось, шло в стороны, потом поднялось в небо и осветило наконец угрюмую осеннюю равнину, лес и даже Пашкины руки.

«Чего это горит? — подумал Пашка.— Горит во всю ширь. Нет у нас таких больших сел».

Он вглядывался в пожар, соображая, что же это горит, и радуясь. Громыхание боя приближалось, становилось явственней. Может быть, наши прорвали гитлеровский фронт и к утру уже будут здесь?

Странно было лишь то, что бой шел как бы сам по себе. Никакого признака людей не было вокруг. Один лес да освещенные огнем корявые корни поваленной ветром сосны.

Зарево разгоралось, огонь уже поднимался высоко в черное небо. Пашка догадался, что горит лес. Должно быть, фашисты подожгли его, чтобы задержать наше наступление.

Земля тряслась, песок сыпался Пашке за шиворот.

Ближе к рассвету все небо заревело от мчавшихся с востока невидимых самолетов. Один снаряд ударил прямо под обрывом. Пашка лег на дно ямы, свернулся и долго ждал, но больше близких разрывов не было; очевидно, это прилетел случайный шальной снаряд.

Так Пашка пролежал до утра. На рассвете он увидел, как шли по дальней дороге прямо к их селу наши танки, а за ними бегом продвигалась пехота.

Фашисты огрызались. Изредка то тут, то там разрывался вражеский снаряд, выбрасывая веера желтого дыма. Но разрывы становились все реже, а к утру совсем затихли. Тогда Пашка вылез из ямы и начал осторожно пробираться в село.

Первое, что он увидел у околицы, была большая толпа пленных гитлеровцев — озябших, как будто высохших и угрюмых. Они понуро стояли на выгоне и ждали, пока наши автоматчики их пересчитывали.

На третий день после того, как выбили из Бартенева фашистов, Пашка, возвращаясь от околицы, где он вертелся около тягачей с тяжелыми орудиями, увидел около Аграфениной избы привязанного к заборчику гнедого коня под седлом. Конь нюхал мерзлую землю, позванивая стременами. В дверях избы пожилой офицер с темным лицом разговаривал с дряхлым сельским дедом, по прозвищу «Покуль». Дед любил повторять это слово, и потому его так и прозвали.

Дед завидел Пашку и сказал офицеру:

— Вот этот мальчонка, Пашка, жил у нее в избе, у Аграфены, покуль тут хозяевали фашисты. Его спросите.

Офицер посмотрел на Пашку прищуренными спокойными глазами.

— Здорово, Пашка!

— Здравствуйте,— неуверенно ответил Пашка.

— Где Аграфена Тихоновна?

— А вам зачем?

— Хочу ее повидать.

— Нету ее,— ответил Пашка и засопел.— Убили ее фашисты...

Офицер нахмурился и взял Пашку за плечо, а дед Покуль вдруг весь затрясся, снял шапку, и редкие его седые волосы зашевелились от ветра.

Офицер ввел Пашку в избу, сел на лавку, поставил Пашку перед собой и крепко встряхнул:

— Рассказывай, как было. Не бойся.

— А вы кто? — спросил Пашка и потянул носом.— Сродственник ей, что ли?

— Нет. Я дочку ее, Марию Трофимовну, хорошо знаю. Сам я ленинградский.

— Машу знаете? — спросил Покуль. Он тоже вошел в избу, сел поодаль, стащил шапку и пристально ее рассматривал, вертя в руке.— Быстроногая была девчонка. Сноровистая. Вся в мать. Да, покуль мы здесь землю ковыряли, покуль то да се, она высоко поднялась. Ученая, говорят, стала. Лесовод!

Пашка сбивчиво рассказал офицеру все, что случилось с бабкой Аграфеной: как забрали солдаты самовар; как

пошли они в лесной домик, и там бабку Аграфену застрелил фашистский офицер. А дом как занялся от упавшей лампы, так и сгорел, как свечка. Фашисты ничего и вытащить не успели.

Дед перекрестился, а офицер снял шапку и сидел молча.

— Да,— сказал он наконец,— простая русская женщина Аграфена Тихоновна...

И опять замолчал. Видно, было ему трудно говорить. Пашка понял это и с уважением смотрел на офицера.

Действительно, Леонтьеву трудно было говорить. Редко в жизни он плакал, но еще реже бывало так, как сейчас: будто комок застрял в горле и не дает вздохнуть.

«Есть женщины в русских селеньях...» — вспомнил он почему-то давно уже не читанные стихи.

— «Есть женщины в русских селеньях...» — повторил он, и эти слова преследовали Леонтьева весь день.

С самого начала войны, когда Леонтьев ушел в армию, и до этого дня он вспоминал лесничество. И решил про себя, что если выйдет живым из войны, то прежде всего съездит туда.

С болью в сердце Леонтьев следил за гибелью лесов. Он знал, что гитлеровцы начисто вырубили великолепные дубравы на Украине. Он видел леса, похожие на исполинские кладбища, где к небу поднимались обугленные стволы, лишенные ветвей.

В Смоленской области он видел опытный лес из лиственницы. Фашисты свели его весь, до последнего дерева. Это был, как выражались лесоводы, классический лес: необыкновенной мощи, чистоты и прелести.

Тогда, любуясь этим лесом, Леонтьев подумал, что термин «классический лес» точен и соответствует понятию классичности в литературе, живописи и музыке. Простота, совершенство формы, здоровая жизненная сила — все это было особенно ясно выражено в этом лесе.

Леонтьев вспоминал не только лесничество, но и людей, с которыми там подружился. Вспомнил Баулина, Евтея, Марию Трофимовну и рассказ о ее матери — красивой старухе, которой Чайковский подарил когда-то сережки.

Это воспоминание преследовало его как удивительная по чистоте, почти детская тема. Ему все казалось, что это тема для музыки, а не для прозы. Но все же он решил обязательно написать об этом после войны, попробовать силы

в небольшом лирическом рассказе, тогда как до сих пор считал себя только писателем-краеведом и втайне огорчался, считая это свойство ограниченностью.

Когда их часть перебросили на тот участок фронта, где была родина Марии Трофимовны, Леонтьеву захотелось обязательно повидать Аграфену, послушать ее рассказы о Чайковском и побывать в том стареньком доме, где жил когда-то композитор.

В записной книжке у Леонтьева был адрес Аграфены Тихоновны: село Бартенево.

Сейчас, когда он въехал в село, оно оказалось совсем не таким, каким он часто представлял его себе, а гораздо лучше. Оно все раскинулось по горе. По обочинам села прозрачной стеной стояли облетелые ветлы. Внизу, за рекой, тянулись луга, а по взгорью подымался лес.

Лес еще горел в глубине, и по серому небу тянулись ровные струи дыма.

Пашка проводил Леонтьева к пепелищу. Около дома валялись ящики, обрывки газет, грязные бинты, жестянки от консервов, патроны, рваные автомобильные шины. Вокруг было тихо, спокойно, и в глубине леса на ветках рябины с оранжевыми ягодами щелкали снегири.

Леонтьев постоял на пожарище, сняв шапку. Потом побродил немного по лесу и вернулся с Пашкой в село. Он рассказал Пашке о сережках Аграфены и добавил, что надо бы их найти и переслать Марии Трофимовне.

— Они в сундучке у нее,— охотно сообщил Пашка.— Я видел. А ключик за божницей.

В избе у Аграфены Леонтьев нашел за иконой ключ, открыл сундучок. В сундучке лежала черная шелковая шаль, под ней — чистые сорочки, потом ленты, фотография Аграфены с Машей — вихрастой девочкой с напряженными круглыми глазами, потом игральные карты, паспорт, а под ними в коробочке — серьги.

Леонтьев достал их и подошел к окну. В каждой серьге поблескивал маленький кристалл.

Леонтьев засунул коробочку с серьгами в боковой карман куртки, запер сундучок, а ключ положил на прежнее место. Потом он сел за иззубренный стол, достал из полевой сумки блокнот и написал три письма.

Первое письмо он написал председателю местного райисполкома. Он сообщал о смерти Аграфены и настоятельно просил разыскать ее останки и похоронить. А после

войны он приедет в эти места и сам займется памятником и могилой.

Второе письмо было для Марии Трофимовны. Он не знал, где она, но решил отправить письмо в лесничество. В нем он тоже сообщал о смерти Аграфены Тихоновны и оставлял ее дочери свой фронтовой адрес. Он хотел прибавить, что ждет ее писем, но почему-то не решился.

Третье письмо он написал Анфисе.

Когда Леонтьев ушел в армию, судьба Коли еще не выяснилась. Леонтьев так и уехал, оставив Анфису, Нину Порфирьевну и Колю в Ленинграде. Квартиру свою он поручил Нине Порфирьевне.

Сейчас он был уверен, что женщины застряли в Ленинграде, не успели выехать, и каждый раз, когда вспоминал об этом, только махал рукой и старался поскорее отвлечься от беспокойных мыслей.

В письме к Анфисе Леонтьев вновь подробно описал смерть Аграфены, почти ничего не сказал о своей боевой жизни и закончил словами:

«Берегите себя. Я привязался к вам всем, как старый дворовый пес. Если останемся живы, то, так и быть, я буду вашим посаженым отцом. Вам с Ниной Порфирьевной очень трудно и голодно, а чем помочь — не знаю. Где Коля? Вот дерусь, забросил свои писания, и все мне думается, как достойно сражаться за свою страну и ее людей, за молодежь — чтобы ничто не омрачало ее дни, чтобы она не потеряла доверия к жизни и способности радоваться каждой малости, если та наполняет смыслом и украшает существование. Целую вас, Нину Порфирьевну и Колю».

ЖЕЛЕЗНОЕ ВРЕМЯ

Между прошлой и настоящей жизнью будто встала непроницаемая грозовая туча. И как сквозь мглу этой тучи уже нельзя различить зеленые пригорки и легкие облака, так и за войной не было видно дней прошлого.

«Вернутся ли они? — думала Анфиса.— Конечно, вернутся. Но останется ли все таким, как было?»

От Коли с того дня, как он уехал на фронт, не пришло еще ни строчки. Страшно было вставать по утрам и отгонять от себя мысль, что с ним что-нибудь случилось.

И выживет ли Нина Порфирьевна? Она совсем высохла, лицо ее сделалось с кулачок, но глаза по-прежнему строго поблескивали из-за стекол пенсне.

А где Леонтьев? Что с ним? С некоторых пор Анфиса ощущала его отсутствие как потерю жизненной опоры. Этот медлительный человек неожиданно стал ей близким, нужным, и ей уже казалось, что без него ей будет трудно жить. Не с кем будет посоветоваться, некому будет пожаловаться и услышать в ответ, что все будет великолепно. И нельзя уже будет броситься ему на шею, повиснуть на ней и поцеловать колючую, небритую щеку.

Как только выяснилось, что выехать из Ленинграда не удастся, Нина Порфирьевна тотчас начала работать в госпитале, а Анфиса поступила в бригаду актеров, обслуживавшую Ленинградский фронт.

Во время одной из гастрольных поездок она простудилась так сильно, что ей пришлось вернуться в Ленинград.

Нина Порфирьевна, не ожидавшая увидеть Анфису так скоро, вдруг непривычно засуетилась. У Анфисы упало сердце. Она подумала, что, наверно, что-нибудь случилось с Колей, но оказалось, что Коля жив, прислал уже несколько писем, а волнуется Нина Порфирьевна оттого, что ей нечем накормить иззябшую и едва держащуюся на ногах Анфису.

— Смотреть на тебя не могу,— говорила Нина Порфирьевна,— какая ты стала худенькая. А у меня только и есть что хлеб и чай. Правда, и сахару немного.

Нина Порфирьевна поставила на чугунную плитку чайник. Он тотчас, совсем по-диккенсовски, засипел, запел, потом начал булькать, бурлить, выплескивать кипяток, будто радовался, что так быстро и хорошо сделал свое маленькое, но доброе дело. Анфиса, лежа на тахте, укутанная в три одеяла, смотрела на чайник. Он представлялся ей живым, добрым и дружеским существом.

...Пришла блокадная зима. Взрывы тяжело и привычно гремели по городу. Дома обледенели. Жизнь на первый взгляд только теплилась в людях. Но человек жил, и сопротивлялся, и побеждал наперекор всему.

Леонтьевская старушка-работница как-то уснула с утра и больше не проснулась. Лежала она чистенькая, прибранная, с выражением исполненного долга на лице.

Беспокойную таксу давно закопали во дворе и положили на ее могилу кирпич.

Анфису после выздоровления приняли в единственный оставшийся на время блокады в Ленинграде театр. Играли на ледяной сцене. Зрители сидели в тулупах и ватниках и аплодировали, не снимая варежек. Во время воздушной тревоги все спускались в обширный подвал, и актеры доигрывали пьесу прямо на цементном полу, без декораций.

Анфиса часто оставалась ночевать в театре, в маленькой артистической уборной. Всю ночь за стеной мыши грызли декорации. Особенно они любили выгрызать из пазов столярный клей.

Анфиса ложилась на вычурный диванчик с золочеными ножками, наваливала на себя вороха театральных костюмов и медленно согревалась. Иногда за стеной пианист Метнер играл среди ночи на рояле. Это значило, что Метнер замерзает и старается согреться самым доступным для него способом. Иногда Метнер даже пел. Это пение почему-то успокаивало Анфису, хотя он пел вещи, как будто совершенно неподходившие к обстоятельствам.

Музыка помогала думать. Анфиса думала, что она еще очень молода, а какая большая жизнь уже позади: родной городок, любовь к Коле, Москва, театральная студия, Леонтьев с его дымящейся трубкой и неожиданными поступками, осада, выступления перед бойцами, пожары, розовый от зарева снег, опухшие пальцы...

Она вспоминала прошлое и думала: удалось ли ей за это время одарить хоть кого-нибудь из людей настоящей помощью и радостью? Иначе жизнь теряла смысл, была похожа на безразличное прозябание...

Однажды она рассказала об этих своих мыслях Нине Порфирьевне. Та рассердилась, ответила, что все это чепуха, что в такое тяжелое время каждый должен делать свое дело и поменьше ковыряться в собственной душе. Даже удивительно, откуда у Анфисы берутся такие мысли!

Анфиса смутилась и дала себе слово никогда больше не предаваться этим бесплодным размышлениям.

Однажды утром, когда Нина Порфирьевна ушла в госпиталь, пришло коротенькое письмо от Коли, всего несколько слов. Он писал, что невредим, что сейчас у них некоторое затишье и что он все время думает об Анфисе и Нине Порфирьевне. В конце письма Коля сделал приписку: просил узнать о судьбе Петра Максимовича Багалея. Где он, куда эвакуировался?

Анфиса прочла письмо, быстро оделась и понесла письмо в госпиталь, к Нине Порфирьевне. Госпиталь находился на Аптекарском острове.

Стояло хмурое утро, падал снег. Изредка в стороне Васильевского острова и порта рвались снаряды. В прорубях на Неве закутанные изможденные люди брали воду. Тонкие стволы зениток смотрели наискось в небо из разных углов Марсова поля.

Вмерзшие в лед свинцовые корабли казались покинутыми: ни одного человека не было видно на палубах. Заиндевелые рваные провода звенели, когда прохожие их задевали.

Анфиса пошла по набережной Фонтанки. В Летнем саду на голых липах не было ни одной галки. Сад был пустынен, мертв. Сугробы снега лежали около желтого старинного павильона и Петровского дворца.

Если тревога заставала Анфису на улице, ее всегда тянуло укрыться в каком-нибудь живописном уголке — под колоннадой, под карнизом вот такого садового павильона или в подъезде, где стояли по сторонам входа шестигранные чугунные фонари с выбитыми стеклами.

Ей почему-то казалось, что самая прелесть, самая красота этих мест спасительна и надежна, что бомба не посмеет упасть здесь, как будто красота окружала эти колонны, портики и сады непроницаемой для взрывов средой.

Нина Порфирьевна прочла Колино письмо и спрятала его в карман халата. Ей было некогда, и Анфиса тотчас ушла. В театр Анфисе нужно было только к двум часам, и она решила зайти сейчас в дом, где жил Петр Максимович. Может быть, в доме кто-нибудь остался и удастся узнать, что случилось со старым профессором.

В квартире Петра Максимовича, видимо, кто-то жил. В форточку была выведена жестяная труба. Из нее валил дым.

Анфиса поднялась на крыльцо и постучала. Никто не открывал. Анфиса стучала долго, пока не услышала за дверью медленные шаги. Кто-то подошел к двери, остановился, прислушался, но дверей не открывал.

— Откройте,— сказала Анфиса.— Я к Петру Максимовичу.

— Тяните дверь к себе,— ответил глухой голос.

Анфиса потянула дверь, переступила порог и в полу-

тьме прихожей вгляделась в сутулого, закутанного в теплый длинный платок человека в меховой шапке и варежках.

— Петр Максимович! — вскрикнула Анфиса.— Да разве вы в Ленинграде?

— Не вижу кто,— сказал Петр Максимович.— Кто вы такая?

— Я невеста Коли Евсеева, Анфиса. Помните? Я была у вас с Колей.

— Пойдемте,— сказал Петр Максимович.— Только, будьте добры, возьмите меня под руку. Сестра ушла за хлебом, я уронил очки и почти ничего не вижу, а поднять не могу. С некоторых пор я не в силах наклониться — безбожно задыхаюсь... Я рад. Очень рад!

Анфиса осторожно провела Петра Максимовича в его кабинет, как раз в ту комнату, где топилась чугунная печурка и из форточки валил дым.

— Тут у нас тепло,— сказал Петр Максимович.— Топим сколько возможно. Иначе пропадут растения.

Анфиса огляделась. Все будто постарело в квартире, потускнело. Повсюду стояли цинковые ящики.

— А я не уехал,— сказал Петр Максимович.— Заболел крупозным воспалением легких и так и остался, представьте себе!.. Я вас совсем не вижу.

Анфиса спохватилась, осмотрела пол и нашла очки. Они лежали около вазона с высохшей карликовой ивой. Петр Максимович надел очки, подвел Анфису к окну.

— Да, теперь узнаю. Садитесь и рассказывайте... Сейчас придет Полина Максимовна, и мы напоим вас чаем. Правда, это один кипяток, но горячая вода очень поднимает жизнедеятельность организма.

Анфиса рассказала Петру Максимовичу о Коле и немного о себе.

— Так,— сказал он.— Значит, вы живете у Леонтьева. Жаль.

— Почему?

— Во-первых, Фонтанка гораздо опаснее в смысле обстрела. А во-вторых, мы с Полиной Максимовной часто говорим о том, что вокруг нас уже не осталось молодежи. Я всю жизнь провел с молодежью, люблю ее, знаете, всей душой и молодею с ней сам. И сестра тоже скучает. Переезжайте-ка лучше к нам. Места хватит. Из той комнаты все ящики можно будет убрать.

Анфиса объяснила, что это невозможно, и спросила Петра Максимовича, что в этих ящиках.

— Золото! — засмеялся Петр Максимович, и добрые его глаза весело сощурились за стеклами очков.— Пожалуй, нечто даже дороже золота: это семена.

— Какие семена?

— Быстрорастущих деревьев. Здесь,— Петр Максимович показал на ящики,— весь запас этих семян. Сейчас я, знаете, даже рад, что мне не удалось уехать из Ленинграда. Иначе семена бы пропали. А у меня они в сохранности. Я их забрал из института к себе, и когда подумаю, что в этих ящиках дожидаются своего часа будущие великолепные леса, я счастлив.

Стекла в окнах звякнули, и вскоре после этого дошел до комнаты полновесный удар.

— Всё по Васильевскому! — заметил Петр Максимович.— С утра палят и палят.

Петр Максимович начал шарить по столу, что-то искал.

— Представьте себе,— сознался он,— я начал понемножку курить. Во время осады. Все-таки легче. Папиросы кое-как достаю.

Он закурил, весь окутался дымом и спросил:

— Вы терпеливая?

— Очень.

— Так вот, слушайте. Потерпите. А когда надоест, вы мне скажете. А то мне, знаете, не с кем слова молвить.

Он помолчал.

— Война скоро окончится. Мы победим. Это бесспорно. Но вы представляете, что будет после войны? Разбитые города, села, мосты, дороги, одичалые земли, сорняки, лесные гари, взорванные плотины и заводы... И так далее и так далее. Начнется восстановление. Превосходно. Но это меня не устраивает.

— То есть как? — удивленно спросила Анфиса.

— Устраивает, конечно! Но не в полной мере. Потому что нужно возродить не только города и заводы, но и естественные силы земли. Они тоже подорваны войной. Восстановить то, без чего невозможна жизнь на земле, самое наше существование.

— Леса? — спросила Анфиса.

— Безусловно. Иначе у нас из года в год начнут падать урожаи, пересыхать реки, засухи и суховеи будут сжигать поля, а кое-где начнется и засоление почвы. Я боюсь по-

казаться парадоксальным, но, возможно, изменится и самый состав воздуха. И мы испытаем то, что называется кислородным голодом. Человеческий организм требует много времени, чтобы приспособиться к новой жизненной среде. Он будет мучительно переживать нехватку кислорода.

— Ну что вы! — сказала Анфиса.

— Да. Очень может быть, что это так. Мне хотелось бы доказать свою мысль, но я уже, извините, устал. Очень быстро устаю и засыпаю прямо здесь, за столом.

В это время вернулась Полина Максимовна. Она узнала Анфису, расцеловалась с ней, сказала:

— А я вас часто вспоминала. От Коли были письма? Были? Ну, слава богу!

— Вам очень, должно быть, трудно,— заметила Анфиса.

— Нет, не очень. Я еще и в детском интернате работаю. Сколько могу. Днем ничего, а вот ночей не люблю. Привычка у нас стариковская: по ночам спим мало, больше всё ходим, что-то делаем или лежим, разговариваем в темноте. Прислушиваемся, где рвутся снаряды. Вот видите...— она кивнула на Петра Максимовича, который уснул в кресле,— слабеет, а все горит, все со своими лесами. А пока дело дойдет до лесов, продержаться надо. Сберечь себя надо. А это у него не в обычае. Сам воду носит из Карповки, доски таскает на топку из разбомбленного дома и сидит за микроскопом. А как с микроскопом работать в варежках! Хоть и топим, а холодно... Да они все, старики, такие! — неожиданно заключила Полина Максимовна.— Про семена Петр Максимович вам рассказывал?

— Рассказывал.

— Тут семена есть наши, древесные,— почему-то шепотом заговорила Полина Максимовна,— а вон те, в той комнате,— это семена пшеницы. Лучших засухоустойчивых сортов. Тоже их теперь оберегаем. Хранил их с самого начала блокады наш большой друг, профессор Пахомов Николай Евгеньевич. Да вот умер месяц назад, и Петр Максимович тотчас перевез семена от него к себе. Это, знаете, какая ценность! Сколько выращивали, работали, берегли... А тут блокада, голод. Конечно, соблазн большой появляется съесть эти семена, спастись от смерти. Другой бы нипочем не устоял. Но Николай Евгеньевич святой человек, рыцарь. Зернышка не тронул. А что стоило вскрыть один-другой ящик! Остался бы жив. Но, говорит, рука не

подымается. Это, говорит, было бы величайшим преступлением перед народом, перед человечеством, перед совестью. А главное, скрывать надо, чтобы люди не дознались. Дверь у нас взрывом перекосило, плохо закрывается. Унести один-два ящика ничего не стоит. Вот мы никого к себе и не пускаем. Удивительно, как это Петр Максимович вас впустил!

— Не удержалась? — спросил, не открывая глаз, Петр Максимович.— Выболтала? Доживем мы с тобой до беды!

Полина Максимовна встала, торопливо вышла в соседнюю комнату.

— Я никому не скажу, Петр Максимович,— сказала Анфиса.— Поверьте мне.

— Я знаю,— ответил Петр Максимович и открыл глаза.— Ее тоже надо понять, Полину. Я плохой собеседник. Мы с ней обо всем уже переговорили. А душу отвести надо. Вот и дорвалась... Полина,— сказал он погромче,— не волнуйся, милая! Вскипяти нам лучше водицы... Так вот,— Петр Максимович обернулся к Анфисе, будто их разговор не прерывался и он совсем не засыпал,— минует война, надо будет восстанавливать леса, а это дело, вы знаете, длительное. Нужны годы и годы. А ждать некогда. Вот тут-то и появятся на сцену быстрорастущие деревья,— он показал на цинковые ящики,— пихта, конский каштан, серебристая ель, ива, канадский тополь, веймутова сосна. Канадский тополь, как выражаются лесники, самое «гонкое» дерево, растет со сказочной быстротой — по полтора, а то и по два метра в год. Тут у меня есть еще один сорт белой акации, так называемой мачтовой. Дает стройные и высокие стволы и никогда не гниет. А об эвкалипте, этом алмазе лесов, нечего и говорить. Вымахает за какие-нибудь двадцать лет на шестьдесят метров. Сосне для такого роста нужно двести лет. Тут-то старик Галилей здорово промахнулся. Он писал, что в природе не может быть деревьев выше ста метров, потому что не только их ветви будут обламываться от собственной тяжести, но и стволы не будут выдерживать чудовищного веса всего дерева.

— Петя,— сказала из соседней комнаты Полина Максимовна,— да не мучь ты ее, ради бога, своими лекциями! Какой там Галилей, когда, наверно, сосет под ложечкой. Идите, чай готов.

— Ничего, она будущая жена лесовода. Ей это нужно знать.

Анфиса напилась кипятку с кусочком сахару, разрумянилась и повеселела.

Распростившись со стариками, она вышла на улицу и подумала, что там, в квартире у Петра Максимовича, она как-то совсем позабыла о тяжелых днях, пустынном Ленинграде, голоде, блокаде. Почему? Наверно, потому, что там не умирали человеческая мысль и теплота. А может быть, еще и потому, что устоявшаяся жизнь с ее разумным бытом оказалась гораздо большей силой, чем можно было предполагать. Война могла ее убить, но не разрушить.

Анфиса вспомнила микроскоп Петра Максимовича — блестящий, протертый замшей, без единой пылинки. Этот микроскоп показался ей сейчас мощнее тяжелых орудий.

Она вышла к Бирже. Обстрела не было. Стояла такая тишина, что было слышно шуршанье снега, задевавшего на лету за рваные листы кровельного железа.

Она остановилась у гранитного парапета, посмотрела на город, подумала, что вот так же на него смотрели, задумываясь о его великой судьбе, многие люди на протяжении двух столетий. Может быть, тут стояли и Пушкин, и Герцен, и Чехов. А может быть, остановился на мгновение и стремительный Ленин, взглянул и подумал, что вот она, удивительная и непобедимая цитадель революции, город — провозвестник социалистических времен.

Сейчас в немых его далях все было смутно, приглушено снегом, сумраком, будто город вымер и она одна бредет по нему со своими не додуманными до конца думами, с упрямой верой в то, что придет избавление. Потому что нельзя же, чтобы вот здесь, сейчас, под этим снегом, в осажденном, обледенелом городе, начисто исчезло будущее и оборвалась жизнь. Не может этого быть!

Как бы подтверждая ее мысли, вмерзшие в Неву корабли вдруг опоясались ослепительными вспышками пламени. В снеговую муть с медным звоном помчались снаряды. Балтийский флот начал обстрел немецких позиций.

Тотчас, откликаясь на резкие удары корабельных орудий, загремели по всему кольцу обороны пушечные залпы. Бледные зарницы выстрелов начали разверзаться в пасмурности городских горизонтов. И вскоре весь город и все пригороды уже гремели непрерывным орудийным огнем.

В бесконечной дали со стороны Ладоги слух уловил частую и упорную канонаду — должно быть, по ту сторону

вражеского кольца. Раньше ее Анфиса никогда не слыхала.

«Неужели наши прорвали блокаду?» — подумала Анфиса и побежала, спотыкаясь, по Дворцовому мосту, поправляя на бегу сбившийся с головы платок и чувствуя, как жарко и радостно горят ее глаза.

Снег летел навстречу сухими мелкими хлопьями, будто канонада отряхивала с низкого неба обильный черемуховый цвет.

ОЖИДАНИЕ

В госпитале за Колей присматривала молчаливая молодая сестра. Руки у нее были всегда холодные. Каждое прикосновение ее пальцев будто сбавляло жар.

Сестру звали Марией Трофимовной.

Когда было очень трудно, Коля просил Марию Трофимовну положить ему руку на лоб. Она делала это, и свежесть сразу проникала глубоко в мозг, где билась, стараясь разорвать сосуды, перегретая кровь.

Боль быстро утихала. Коля засыпал, и снова один и тот же сон наплывал издалека, пока не заполнял все вокруг.

Один и тот же сон, такой знакомый, как в мамином доме была знакома каждая щелка в деревянном крашеном полу.

Коля не мог бы рассказать этот сон. В нем все было в тумане, будто весной в прелом обогревающемся саду, где из-под лиловых, слежавшихся за зиму прошлогодних листьев ползут стрелки молодой травы.

За роялем в маленьком доме сидел Кузя и тихонько ударял по одной и той же клавише. Постепенно звук начинал нарастать, превращался в резкий свист, в глаза ударяло пламя. Коля стонал и просыпался.

Да... в глаза ударяло пламя. Так вот оно ударило в глаза где-то под Стародубом, когда Коля шел в сумерки по дороге, заросшей по краям густым ольшаником. Он упал и очнулся в кузове грузовой машины.

На борту машины сидел боец с автоматом. Звезды над головой мелко дрожали от тряски машины. В груди была такая боль, что Коля сжал зубы, но не мог из-за толчков машины держать их сжатыми и невольно начал стонать.

В госпитале, когда Коля приходил в себя, он видел, что сестра сидела обычно около окна и читала одну и ту же

книгу — томик стихов Лермонтова. Она закладывала книгу какой-то запиской и подходила к Коле.

— Ну как? — спрашивала она.— Легче?

Коля кивал в ответ.

За окном орали галки, таяли сосульки. По унавоженному спуску лошади волочили розвальни с сеном. Начиналась весна.

Однажды сестру куда-то срочно позвали, и она второпях оставила томик Лермонтова на столике около Колиной постели. Коля осторожно вытянул руку, взял книгу.

На одеяло из книги выпало письмо. Пряча его обратно в книгу, Коля нечаянно прочел подпись: «Ваш С. Леонтьев».

«Уж не Сергей ли Иванович Леонтьев?» — подумал Коля. Да нет, мало ли Леонтьевых на свете. Но все-таки, когда сестра возвратилась, он сказал ей:

— Вы извините, я уронил письмо.

— Ничего,— ответила сестра и переложила письмо из книги в карман халата.

— Сергей Иванович Леонтьев,— сказал Коля.— Хороший человек, писатель. Это он?

— Вы его знаете? — Сестра быстро села на кровать, в ногах у Коли.— Откуда?

— Хорошо знаю. По Ленинграду. Я же студент Лесного института.

— Удивительно! — сказала сестра.— Я тоже лесовод.

— Почему же вы работаете сестрой?

— Это всего на один месяц. У нас в лесничестве сейчас работу свернули, почти нечего делать. Главный врач — знакомый. Взял меня, я его упросила. Скоро опять поеду в лесничество. Это отсюда недалеко, всего тридцать километров. А вы слышали, что Леонтьев работал у нас объездчиком? Два месяца.

— Слышал. Он лесной человек... Это при вас приезжали в лесничество две девушки?

— Нет. Я была в отпуску. Но мне рассказывали. Вы их тоже знаете?

— Одну знаю. Мы из одного города.

— А вот этого Лермонтова,— сказала без всякой связи сестра,— Сергей Иванович мне подарил перед отъездом.

— Извините,— сказал Коля,— но откуда вы получили письмо? Где он сейчас?

Сестра посмотрела за окно, где галки все сразу снялись со старых деревьев и со страшным гомоном полетели на другой берег реки.

— В армии. Был в Калининской области. Я сама из тех мест. Вот пишет — там у меня мать погибла.

— Да...— сказал Коля.— Тяжело.

— Знаете что,— сказала сестра,— не надо вам разговаривать. Рано еще. Вы лежите тихо, а я с вами посижу... Как удивительно, что вы его знаете!

— Только вы не уходите,— попросил Коля.

— Нет, не уйду,— ответила сестра, отвернулась к окну, задумалась и положила свою руку на Колин локоть, как бы предупреждая его, чтобы он не двигался.

Коля смотрел на Марию Трофимовну. Лицо ее точно светилось изнутри. Вдруг она улыбнулась, должно быть чему-то такому хорошему, что Коля, сам не зная почему, закрыл глаза.

Как только он их закрыл, в голове поплыли беспорядочные мысли.

«Что это? — подумал Коля.— Кажется, я засыпаю. Неужели выздоровел? И даже рана уже не болит, а только чуть ноет... Как кричат галки! Ведь это весна. Говорят, что лед на реке весь потемнел и потрескался. И уже стоят на столике около кровати ветки вербы с пушистыми барашками. А старая нянюшка сказала утром, что сегодня благовещенье и мальчишки в этот день выпускают на волю птиц, что сидели всю зиму в тесных клетках. Благовещенье. Благая весть...» Он ждал ее. От Анфисы.

Коля открыл глаза. Сестра наклонилась над ним, встревоженно смотрела ему в лицо.

— Что с вами? — спросила она.— Вам нехорошо?

— А что?

— Вы кричите во сне.

— Не знаю. Приснилось что-нибудь.

— Ну, спите,— сказала Мария Трофимовна.— Набирайтесь сил.

Она вышла из палаты. А Коля тут же крепко уснул.

Городок был в шестидесяти километрах от железной дороги. Летом, когда ходили пароходы, никто от этой его отдаленности особенно не страдал, но зимой было трудно, особенно сейчас, в военную зиму, когда раненых приходилось доставлять в городок со станции железной дороги на автобусах.

На следующий день после того, как Коле стало лучше, Мария Трофимовна уехала на станцию за ранеными. День был ветреный, пронизывающий. Раненых закутали в тулупы и одеяла.

Все шло хорошо, но на обратном пути в лесу машину встряхнуло на корнях, в одном из окон треснуло стекло, и небольшой его кусок вывалился наружу. Сразу же всю машину начало обдувать ледяным сквозняком. Под руками не оказалось ничего, чтобы закрыть разбитое стекло. Тогда Мария Трофимовна села к окну и прижалась к нему спиной. Так она просидела до самого городка, радуясь, что в машине снова тепло и раненые перестали беспокоиться.

В госпитале она сдала раненых, зашла к Коле, немного с ним поговорила, потом переоделась у себя в комнате и вышла на улицу.

Ложились сумерки, но огней нигде не было. Городок был еще в полосе затемнения. В узком разрыве между тучами истлевал желтый закат. Ручьи шумели по обочинам деревянных тротуаров.

Мария Трофимовна поднялась на крутой берег, откуда она в последний раз смотрела вслед пароходу, когда уезжал Леонтьев. Все это было, но повторится ли опять? Увидит ли она его?

Она ходила по городу до позднего вечера. Она очень озябла. Ох, уж эта весенняя сырость! Недаром говорят, что пока не прошла река, нельзя снимать шубы. А она сняла свою старую, надоевшую шубку и надела серое легкое пальто. В нем она сама себе нравилась.

Для кого надела — неизвестно. Кто ее мог увидеть? На что она надеялась? На чудо? На то, что вдруг в пустынной и тихой улице увидит его, идущего навстречу? А как было бы хорошо!

Она знала, что сегодня она какая-то особенная, полная нежности и любви, и что все это отражается в каждом ее взгляде, в каждом движении, слове. И все это для одного человека.

Мария Трофимовна вернулась к себе, легла, но никак не могла согреться. А тут еще разболелась голова. Она уснула ненадолго, а когда проснулась, часы пробили всего одиннадцать. Мария Трофимовна сжалась в комок, но резкий озноб вдруг прошел по всему телу. К утру она уже была без сознания.

Тяжелее всего были не боль и не слабость, а утомительное состояние полусна-полубодрствования, когда никак нельзя было разобрать, что происходит наяву, а что — во сне. Когда-то она уже испытывала это состояние, прошлым летом, в Бартеневе, но тогда оно давало радость, а теперь тяготило. Мария Трофимовна очень уставала от быстрой смены дня и ночи, света и темноты. Откроешь глаза — желтоватым огнем горит электрическая лампочка, а около постели сидит на стуле бледный юноша в халате, и почему он сюда попал — неизвестно. Должно быть, это Коля. Молчит, опустив голову, и, кажется, дремлет.

Закроешь глаза на минуту, снова откроешь — видно, как за окнами ветер качает ветку с набухшими почками, пролетают, куда-то торопясь, облака, и нянюшки гремят посудой. А через минуту снова ночь, и мать, Аграфена, стоит у кровати, берет ее за руку, накидывает на плечи старый тулупчик. От него холодно голым горячим плечам.

Аграфена ведет ее за руку в лес. Гул сосен оказывается вовсе не гулом, а музыкой, и в ее мелодию входит знакомая песня: «Во поле березонька стояла...» Аграфена закрывает концом платка рот. «Мама,— говорит Мария Трофимовна,— ну, мама же! Как это можно всю жизнь убиваться по человеку за то, что он подарил тебе эти сережки!» — «Дурочка ты,— шепчет Аграфена,— разве я сердце свое могу замкнуть на замок?»

А музыка становится все слышнее, и каждый звук вызывает перед глазами новые удивительные вещи: то поляну с вереском, то иволгу на ветке, то красноватый ствол сосны. «Великий лес!» — говорит Аграфена.

А где-то за этим великим лесом шумят города, кричат сотни автомобильных рожков, блестят миллионы окон, и в толпах людей, смешавшись с ними, Мария Трофимовна видит Леонтьева. Но он чужой. Он не слышит, как она зовет его. Он даже не оглядывается.

«Михаил Юрьевич,— тихо просит Мария Трофимовна,— помогите мне, милый! Подайте руку».

Кто-то подает ей маленькую загорелую, крепкую руку, но поздно: вокруг уже тьма и жар, и только с тоненьким скрипом, как вода в незаметную щель, медленно сочится, уходит сознание.

Мария Трофимовна умерла ночью. Утром, когда Коля вошел в ее палату, там уже стоял на столике стакан с ка-

ким-то розовым цветком и было чисто и тихо. Лицо Марии Трофимовны покрывала спокойная бледность. Живыми казались только ее темные ресницы.

Похоронили Марию Трофимовну в лесничестве, среди молодых сосен. Коля, уже оправившийся после болезни, ездил на эти похороны, и его поразил старый лесник Евтей. Он только крякал, закрыв лицо серой облезлой шапкой. Когда могилу засыпали, он сказал:

— Беспорядку много в этом деле... в смерти. Легкой души была женщина, а умерла молодой. А вот я скриплю, старый пень. Нет на меня управы! Я бы с ней обменялся в охотку, да меня, видишь, никто об этом и не спрашивает.

Коля познакомился с лесничим Баулиным, молчаливым, усталым человеком. Баулин был так подавлен смертью Марии Трофимовны, что ни с кем, в том числе и с Колей, не разговаривал.

В ТУМАНЕ СПРЯТАННОГО СОЛНЦА

Вскоре после смерти Марии Трофимовны Коля уехал в Ленинград. Пришла первая после блокады весна.

Под Любанью Коля проснулся, заглянул в окно вагона и выругался. До самого края земли тянулся горелый лес. Он был похож на частокол из огромных жердей. От косого утреннего солнца, освещавшего лоснящиеся обугленные стволы, изрытую землю, воронки с тухлой водой и ржавую проволоку, запутавшую все вокруг, этот лес казался совершенно неправдоподобным видением, горячечным бредом. Ветер раздувал пепел, застилал черную редину леса сизым угаром.

Сосед по вагону, бородатый солдат, долго глядел на лес, наморщив лоб, потом сказал:

— Иссобачили, измордовали фашисты нашу землю. На сотни лет.

— Ничего! — ответил Коля.— Вырастим леса и раньше.

— Это точно,— согласился солдат.— При теперешнем развитии нашей мысли.

В Любани было солнечно, а над Ленинградом лежал туман. Это был тот легкий голубоватый туман, за которым неясным пятном проступает утреннее солнце. То тут, то там его багряные отблески пробивались через туман, ло-

жились на воду, на стены домов. Было ясно, что этот туман очень непрочный, что его снесет первым же движением воздуха с залива и за ним откроется чистое небо и город в блеске росистых поутру садов.

Коля с бьющимся сердцем вышел из вагона на дощатую платформу Московского вокзала. Он ничего не написал о своем приезде ни Анфисе, ни Нине Порфирьевне. Они знали лишь, что он лежит на излечении в госпитале, что все идет хорошо и что, как только он поправится, сейчас же приедет в отпуск.

Город оживал на глазах. Жизнь брала свое. С утра до вечера по всем улицам был слышен стук топоров, голоса девушек, возившихся на лесах. С Невы опять долетали гудки катеров и пароходов. На окраинах уже мощно дымили и звенели станками заводы.

Даже пунцовые свечи кипрея, разросшегося в изобилии на стенах сгоревших домов, хотели, казалось, украсить этот город.

Коля шел на Фонтанку. Он был в старой шинели с мятыми, выгоревшими погонами, с почти пустым вещевым мешком, висевшим через плечо.

В тумане жужжали пилы на стройках. Воздух был наполнен запахом моря; с залива чуть тянуло утренним ветерком.

Коля вошел в знакомый двор на Фонтанке. Там было пусто. Пробивалась трава. Кучей лежали пустые гильзы от зенитных снарядов.

В углу двора, около кирпичной стены, какая-то женщина колола дрова. Коля прошел мимо нее к парадной двери, забитой фанерой, и оглянулся.

Женщина выпрямилась, откинула со лба прядь светлых волос, взглянула на Колю, вскрикнула, опустилась на кучу наколотых дров и закрыла лицо руками.

— Ты, Анфиса? — крикнул Коля и побежал к ней.

Она никак не могла встать. Она только схватила его руки и что-то шептала. Потом подняла на Колю счастливые глаза, и Коля увидел знакомые взлетающие брови и маленькую родинку на виске.

— Я сейчас встану. Милый ты мой, родной мой человек! Что же ты ничего не писал?

И она, как маленькая девочка, крепко обняла Колины колени и прижалась к его шершавой шинели пылающим худеньким лицом.

КОРОТКОЕ НАУЧНОЕ СООБЩЕНИЕ

Петр Максимович вышел из Кремля, спустился к Москве-реке и пошел по набережной. Ему захотелось пройтись. Он кивнул шоферу, и машина осторожно двинулась следом за ним.

Шофер поглядывал на старого профессора и усмехался,— тот, по мнению шофера, был чудак. Сев в машину, по дороге в Кремль он сразу же начал возмущаться духотой, опустил окна и устроил сквозняк. На него не произвели никакого впечатления ни две махровые гвоздики в стеклянной колбочке, прикрепленной около дверцы, ни электрическая зажигалка, хотя профессор заметно нервничал и выкурил по пути в Кремль две папиросы.

Шофер был обижен. Машиной восхищались все, а этот старик только фыркал, будто его везут на трясучей таратайке. Поэтому, подумав, шофер сказал:

— Эта машина легкая, послушная, не то что какой-нибудь муровый «бьюик».

— А что такое этот ваш «бьюик»? — сердито спросил Петр Максимович.

Шофер усмехнулся:

— Такая марка.

— Все эти марки одинаковы,— проворчал профессор.— Отравляют воздух. И портят людям нервы.

Шофер живо обернулся. Машина стояла перед закрытым светофором.

— Против этого я не возражаю,— сказал шофер.— Я сам любитель свежего воздуха. У меня на родине, в Калужской области, места привольные. Только так рассуждать, как вы, не совсем, по-моему, правильно.

— Это почему же?

— А потому, что если вы пожелаете, то я вас через два часа в эти места доставлю на своей машине. Съедем с шоссе, поставим машину под березу, вы дверцу откроете и — пожалуйста! — собирайте землянику под самыми колесами. Удобство! А поездом будете семь часов ехать. Да еще с пересадкой.

Профессор издал звук, похожий на легкий смешок, но промолчал. Шофер, не дождавшись ответа, с места рванул машину под открытый светофор. Презрительно прищурившись, он домчал ее до Кремля. Там он ловко остановил машину почти с полного хода, зашуршав новыми шинами.

Пока профессор находился в Кремле, шофер успокоился и даже вздремнул. А сейчас он, сидя в машине, смотрел, так же как и профессор, на сероватую мглу, что опускалась к вечеру на город, на вереницы белых огней, на речные трамваи, подгонявшие к гранитным берегам гладкие волны, на далекую зелень Ленинских гор и разноцветные фонари троллейбусов, проносившихся по длинному мосту. Окна в машине были опущены, и постепенно в нее начал проникать запах зацветающих лип.

— Хорошо! — вздохнул шофер.

Ему захотелось, чтобы профессор постоял на набережной подольше. Но профессор взглянул на часы, торопливо сел в машину и приказал ехать в театральную студию.

В студию так в студию! Шоферу это было безразлично. Но все-таки странно: какое отношение мог иметь этот ученый старик к театру.

Когда машина въехала во двор студии, навстречу ей бросилась девушка в разлетающемся от ветра платье. Волосы ее отливали медью. Она открыла дверцу, помогла профессору выйти, и они расцеловались.

Шофер поглядел им вслед, сдвинул на глаза кепку, почесал затылок, тихонько пропел: «Когда б имел златые горы и реки, полные вина, все отдал бы за эти взоры, за эти милые глаза...» Только после этого он неохотно выехал со двора.

— Ну, как в Кремле? — взволнованно спросила Анфиса.

— Превосходно! В общем, вашему Коле хватит работы на всю жизнь.

Анфиса засмеялась.

— Вы рады?

— Какое там рад! — ответил Петр Максимович.— Я не рад — я счастлив.

В вестибюле студии Петра Максимовича ждал режиссер — высокий, седой, с учтивыми движениями. Он провел Петра Максимовича к себе в кабинет, усадил за круглый столик, где стояли вазы с пирожными и мандаринами, и попросил подать чай.

— Я чрезвычайно рад такому счастливому случаю,— сказал режиссер.— От одной из наших учениц я узнал, что вы в Москве по важным делам, но все же осмелился вас побеспокоить.

— Какое же беспокойство! — возразил Петр Максимо-

вич.— Одно удовольствие. Я без молодежи жить, знаете, совсем не могу.

— Да? — спросил режиссер и сделал восхищенные глаза.— Это замечательно! Я побаивался, что вас удивит наша просьба. Слыханное ли дело: известный лесовод, крупнейший знаток этого дела в нашей стране...— Петр Максимович заерзал на кресле,— простите, но я говорю совершенно откровенно... ученый большого плана приезжает к нам, чтобы побеседовать с театральной молодежью о лесных делах. Я не знаю, сообщили ли вам, что мы работаем над чеховским «Дядей Ваней»?

Петр Максимович кивнул.

— Образ доктора Астрова, с его любовью к лесу, с его идеей облагораживающего влияния леса на психику человека, требует знакомства актеров, занятых в этом спектакле, со всем комплексом лесоводческих вопросов. Таков наш метод воспитания актера.

В это время Тата Базилевич внесла на подносе два стакана чаю. Петр Максимович взглянул на нее и удивился: что за глаза у этой девушки! Они были полны такого заразительного веселья, что Петр Максимович заулыбался. Легкое его раздражение на высокопарного режиссера сразу прошло. Тата, поставив поднос, слегка поклонилась, покраснела и выскользнула из кабинета.

— У меня прекрасная молодежь,— сказал режиссер таким тоном, будто все эти юноши и девушки были в некоторой мере его собственностью.

— Вижу, вижу,— пробормотал Петр Максимович.— Радуюсь.

Петр Максимович с наслаждением выпил стакан чаю.

Из открытого окна в разгоряченное его лицо подувал вечерний ласковый ветерок. Да, жизнь в общем хороша! Это бесспорно.

Петра Максимовича провели в длинный сумрачный зал. Он поднялся на сцену. Студийцы дружно встали. Петр Максимович замахал на них руками, подошел к краю сцены и начал говорить.

— Прежде всего,— сказал он,— я бы хотел познакомиться с тем юношей, который будет играть доктора Астрова.

Во втором ряду встал смущенный молодой человек.

— Вы бывали в наших лесах? — спросил его Петр Максимович.

— Да,— ответил юноша; звали его Женей Горбачовым.— Но, конечно, мало.

— Так вот,— сказал Петр Максимович,— я могу вам помочь, чтобы вы провели хотя два месяца в настоящем заповедном лесу.

Юноша вспыхнул, заулыбался.

— А как же мы? — испуганным шепотом, но так, что было слышно во всем зале, спросила Тата.

— Я думаю, что вам всем было бы полезно провести некоторое время в этих лесах. Но об этом мы поговорим потом. Пока же я только могу сказать, что тот юноша, который будет играть доктора Астрова, должен быть его достойным потомком. Он должен любить леса и хорошо понимать их значение в нашей жизни. Поэтому я собираюсь сказать вам и ему несколько слов о лесе как о мощном хозяйственном, биологическом и эстетическом факторе. Начну с последнего...

Чехов устами доктора Астрова выразил одну из своих совершенно удивительных по меткости мыслей о том, что леса учат человека понимать прекрасное. В лесах с наибольшей выразительностью предстают перед нами величавая красота и могущество природы, усиленные некоторой дымкой таинственности. Это сообщает им особую прелесть. Помните пушкинское: «лесов таинственная сень»? Я не могу умолчать о том, что в глубине наших лесов создавались подлинные жемчужины нашей поэзии, хотя бы такие, как «Подруга дней моих суровых...» или «Роняет лес багряный свой убор...». Извините, что цитирую только Пушкина: стихи позднейших поэтов с такой ясностью не удержались у меня в памяти.

Леса являются величайшими источниками вдохновения и здоровья. Это исполинские лаборатории. Они вырабатывают кислород и улавливают ядовитые газы и пыль. Представьте себе, что на леса обрушился пыльный ураган. Уже в километре от опушки вы будете ощущать его лишь как потоки чистого и свежего ветра. Каждый из вас, конечно, помнит воздух после грозы. Он душист, свеж, полон озона. Так вот, в лесах как бы бушует невидимая и неслышная вечная гроза и расточает по земле потоки озонированного воздуха.

Не знаю, слышали ли вы, что в больших городах в кубическом метре воздуха находится около сорока тысяч разных бактерий, а в лесах в каждом кубическом метре их

всего двести — триста, а то и меньше. Там вы дышите воздухом, который в двести раз чище и здоровее воздуха городов. Он целебен, он удлиняет жизнь, он повышает нашу жизненную силу, и, наконец, он превращает механический, а подчас и затруднительный для нас процесс дыхания в наслаждение. Кто испытал это на себе, кто знает, как дышится в прогретых солнцем сосновых лесах, тот вспомнит, конечно, удивительное состояние как бы безотчетной радости и силы, охватывающее нас, как только мы попадаем в леса из душных городских домов.

Но главное не в этом. Лес — это самый верный наш помощник в борьбе за урожай. У меня мало времени, чтобы рассказать со всей полнотой о том, в какой огромной мере лес способствует повышению урожаев. Он хранит почвенную влагу, смягчает климат, останавливает сухие и жаркие ветры, преграждает своими зелеными плотинами путь сыпучим пескам — лазутчикам пустыни. Он является конденсатором влаги: росы, тумана, инея. Из лесных болот берут начало реки. И, наконец, грунтовые воды в лесах и вблизи лесов стоят гораздо выше, чем в безлесных областях.

Места, где уничтожен лес, подвергаются жестоким размывам от талых вод и дождей. Довольно тонкий, как вы, конечно, знаете, слой плодородной земли зачастую смывается начисто, и реки уносят его в море. А то, что пощадили дожди, потом развевается ветром. Иногда ураганы поднимают на воздух целые материки плодородной почвы и уносят ее за тысячи километров. Это так называемые пыльные, или черные, бури.

Невозможно перечислить все бедствия, какие несет истребление лесов. Если бы вы знали о них, то у вас, должно быть, не поднялась бы рука даже на то, чтобы сломать для букета ветку цветущей липы.

В тех местах, где уничтожены леса, земля заболевает бесплодием и сухими язвами оврагов. Нет ничего безотраднее, чем зрелище пересыхающих грязных рек, порубок, гарей, всех этих пустошей, вызванных к жизни невежеством, нерадивостью и жадностью человека — теми его отталкивающими качествами, привитыми старым обществом, с которыми мы жестоко боремся и успешно их преодолеваем.

Напомню вам пророческие слова о роли лесов, сказанные Энгельсом:

«Людям, которые в Месопотамии, Греции, в Малой Азии и в других местах выкорчевывали леса, чтобы добыть таким путем пахотную землю, и не снилось, что они этим положили начало нынешнему запустению этих стран, лишив их, вместе с лесами, центров скопления и сохранения влаги».

— ...Сегодня я был в Кремле,— сказал, помолчав, Петр Максимович.— Там обсуждались работы по восстановлению лесов после войны. Во время войны у нас погибли леса на площади почти в двадцать миллионов гектаров. В одной только Белоруссии гитлеровцы сожгли, вырубили и обратили в пустыри пятьсот тысяч гектаров леса. В первую очередь фашисты уничтожили превосходные леса, созданные трудами человека, посадки лиственницы на Смоленщине и дубравы Украины. В Орловской области они вырубили все рощи, воспетые нашим Тургеневым.

Нам нужно сажать леса не только для восстановления природных сил земли, но и для нашего хозяйства. Нам нужно много древесины. В нашем народном хозяйстве существует не менее пяти тысяч способов ее применения.

Поэтому мы и работаем сейчас над разведением быстрорастущих лесов и над тем, чтобы ускорить рост и улучшить качество наших привычных деревьев: сосны, осины, тополя. Я уверен, что знаменитая проблема «преодоления времени», иначе говоря — ускорения роста деревьев, в самом недалеком будущем будет решена нашими учеными.

Мы можем гордиться именами Докучаева, Тимирязева, Вильямса, именами талантливых лесничих — таких, как покойный Высоцкий, как женщина-лесовод Колосова, прошедшая тысячи километров по лесам, гарям и ветровалу, обследуя северные лесные массивы.

Это всё подвижники лесного дела, великие труженики во имя будущего, во имя идущих нам на смену поколений. Сознание, что вся твоя работа является подарком будущему, что ты сам не всегда увидишь ее плоды, не ослабляет их силы. Эти люди лишены тщеславия и потому могут быть названы истинными творцами.

Таков был доктор Астров. Таков был и сам Чехов. Когда он говорил, что мы увидим небо в алмазах, то, может быть, он думал о необыкновенном блеске звезд в чистейшем воздухе лесной страны. Кто знает!

Мы идем через времена стройки и напряженного труда к совершенной жизни. Думая об этом, я представляю себе

человека, который, совершив путь через пески и гари, после изнурительного зноя, обветренный, сожженный солнцем, входит наконец в глубину торжественных и тихих лесов, и все его тело охватывает прохладой листвы. От бальзамических запахов лесных цветов, трав, хвои и коры исчезает усталость.

Великая сила жизни видна во всем: в колебании вершин, в пересвисте птиц, в мягком освещении. А к вечеру где-нибудь около лесных вод человек садится у костра, и рядом с ним садится тишина. Звезды, во сто крат более яркие, чем над пыльным пологом городов, загораются в небе.

При взгляде на них человек начинает понимать все величие мироздания, начинает понимать, что значат заслуженный отдых и душевный покой. Ночь поднимается над миром, полная свежих запахов, смутного света, росы, крика ночных птиц. А впереди сотни таких ночей, и рассветов, и дней, и вечеров, когда над Россией расстилается не то туман, не то дымок костров. Может быть, об этом и думал Чехов. Не знаю.

Позвольте мне закончить свое короткое сообщение старинной поговоркой, которая говорит, что каждый человек должен вырастить в своей жизни хотя бы одно дерево, иначе он — мертвец и сухое полено...

Аплодисменты не затихали очень долго, и долго еще раскрасневшиеся юноши и девушки не отпускали Петра Максимовича и просили, чтобы он рассказал еще что-нибудь о лесах. Если бы не Анфиса, то ему не скоро удалось бы уйти. Она взяла его под руку и увела в кабинет.

Режиссер долго благодарил Петра Максимовича, жал ему руку, а Анфиса шепнула:

— Как я за Колю рада, Петр Максимович, если бы вы только знали! Какое удивительное дело он себе выбрал!

Когда Петр Максимович вышел во двор, шофер на тяжелой лакированной машине уже вернулся и ждал его.

Петр Максимович усадил в машину Анфису, Тату и Женю Горбачова, сел сам и приказал шоферу везти всех на речной вокзал, в Химки.

Шофер тотчас сдвинул кепку на затылок, повеселел и, рисуясь своей сноровкой и небрежностью, помчал машину по узким улицам, пока не вырвался на Ленинградское шоссе. Там он «показал марку». Машина понеслась, как торпеда, лишь изредка приседая на рессорах.

На речном вокзале было просторно, пусто. Прошел небольшой дождь. Блестел мокрый асфальт. Из сада пахло туей, от воды — нефтью, а на открытой веранде ресторана горели матовые фонари.

Туча, пролившаяся коротким дождем, уходила на юг, а на западе уже открылось сияние летней зари. Цепь речных огней горела на этой заре. Издалека долетали звуки оркестра: должно быть, в Москву возвращался прогулочный пароход.

— Что играют? — спросила Тата.

Все прислушались. Оркестр играл так далеко, что незаметные воздушные токи перепутывали его звучание, и можно было только догадаться, что оркестр играет вальс. Он кружился над подмосковными рощами, постепенно приближался, словно выплывая из этой широкой зари.

Петр Максимович заказал ужин, вино, чай с пирожными.

Когда Женя Горбачов разлил в бокалы вино, кто-то осторожно тронул Анфису сзади за плечо. Она быстро откинула голову.

Позади Анфисы стоял Леонтьев, похудевший, спокойный, и, прищурившись, хитро смотрел на Анфису.

Она вскочила, обняла одной рукой Леонтьева за шею, коса ее упала, но она, не замечая этого, крепко прижалась щекой к колючей, как обычно, щеке Леонтьева и прошептала:

— Родной мой, как вы меня напугали! Откуда вы?

Петр Максимович торопливо протирал очки, чтобы рассмотреть этого странного человека. Протерев их, надел, узнал Леонтьева и сказал:

— Вас нам как раз и не хватало.

Леонтьев поздоровался со всеми, сел к столику, потребовал еще вина и сказал:

— Прямо из Берлина. Только что демобилизовался. Всю войну мечтал о встрече со всеми вами. И вот — можно поверить, что наша старушка Земля не без чудес,— все случилось так, как я думал.

Почему-то все замолчали. Слышнее стал оркестр, и как будто ярче загорелась заря.

— Кончено испытание,— промолвил Леонтьев.— Ну что ж! Выпьем, что ли, за хороших людей! И за леса, конечно!

ГОНКОЕ ДЕРЕВО

Выступая перед молодежью, Петр Максимович не рассказал о главном, что произошло в Москве: о том, что был принят проект постепенного восстановления знаменитых Брянских лесов.

Не рассказал он об этом из глубочайшего убеждения, что пока дело не начато, лучше о нем не болтать.

Петр Максимович был уверен, что у болтунов никогда ничего не выходит. «Терпеть не могу краснобаев! — говаривал он.— Ох уж эти мне златоусты! Наговорят с три короба, а как дойдет до дела, так туда-сюда, пыр-мыр — и ничего не получается».

Петр Максимович думал о себе, что он человек немногословный, почти молчаливый, не замечая того, что, даже оставаясь без собеседника, все время разговаривал сам с собой. Эту черту Петра Максимовича знали все его друзья и ученики. Она служила постоянной пищей для добродушных шуток над ним.

План восстановления Брянских лесов, жестоко пострадавших во время войны, был взвешен со всех сторон и настолько убедителен, что не встретил возражений.

Петр Максимович был сторонником восстановления лесов, как он выражался, «по-настоящему» — большими массивами, а не путем насаждения узких лесных полос.

С давних времен Брянские сосновые леса были лучшими в стране. Это были корабельные боры превосходного качества, самого высокого, говоря языком лесоводов, бонитета.

Объяснялось это тем, что в песчаных землях, на которых разрослись эти леса, много фосфоритов. Такая почва дает сосне могучий рост и крупную и красивую древесину.

До революции брянская сосна ценилась и на внутреннем и на европейском рынках дороже всякой другой. Весь безлесный юг России жил за счет Брянских лесов. Множество брянского леса вывозилось из черноморских портов за границу. Пароходы везли на палубах могучие сосновые кряжи, разнося по всему миру освежающий, удивительный запах вековых сосен.

Еще до революции на обширных порубках в Брянских лесах начали селиться крестьяне и превращать те земли, где исчез сосновый лес, в поля. Песчаная почва давала тощий хлеб. Овчинка не стоила выделки.

Поэтому Петр Максимович предложил восстановить сосновые брянские боры на всем их обширном пространстве, создать для страны богатейшие запасы прекрасной древесины, а под поля свести, если понадобится, те лиственные леса, что вклинивались в брянский сосняк и разрастались не на фосфоритных песках, а на земле, пригодной для земледелия.

План был принят, и с весны научные работы были перенесены из Ленинграда в одно из лесничеств в Брянских лесах.

Там же Петр Максимович заложил питомники скорорастущих деревьев.

Место для скорорастущих было удобное: средняя и теплая полоса России, где отсутствовали сильные ветры, была хорошая почва. Наиболее пострадавшие от войны лесные области, в которых предстояло вести посадки, находились поблизости.

Петр Максимович приехал в лесничество раньше всех, вместе с Колей.

Приехала и Полина Максимовна. За многие годы она впервые вырвалась из города и никак не могла надышаться и насмотреться на окружающую красоту.

Вблизи лесничества протекала река. Ее заливные луга еще не были скошены и цвели крупным клевером. На реке стояла до войны водяная мельница, но фашисты ее сожгли, и осталась только плотина — любимое место Полины Максимовны. Обугленный и обвалившийся мельничный сруб густо зарос лебедой.

Анфиса была еще в Москве. Она обещала приехать ближе к осени: студия готовилась к выпускному экзамену.

Нина Порфирьевна давно вернулась в Ливны и писала оттуда Коле и Анфисе короткие открытки, звала осенью хоть на две недели к себе. Звала, между прочим, и Леонтьева и Петра Максимовича. Последнего она соблазняла разросшимися посадками по склонам знаменитых оврагов.

Леонтьев остался в Ленинграде и засел за свою «дорожную книгу». В письмах к Коле он жаловался, что получается совсем не то, что он задумал, а какая-то лирическая поэма.

Он писал Коле, что завидует тем людям, которые умеют работать по плану. Для него точный план — нечто недостижимое. С первых же страниц план трещит, расползается, и сквозь щели этого хорошо пригнанного плана на-

чинает прорастать буйная поросль. Очевидно, художественная правда крушит план, и автор не в силах справиться с внутренней логикой вещи.

Особенно возмущали Леонтьева его герои. С непонятным упорством они сопротивлялись ему, делали совсем не то, что намечал он для них (и, очевидно, как раз то, что им и нужно было делать), и производили на Леонтьева впечатление хотя и хороших, но чрезвычайно несговорчивых людей. Иногда он умилялся упорству своих героев, иногда приходил в ярость и рвал целые страницы. Но это не помогало.

— Ну и профессия! — говорил в сердцах Леонтьев.— Чтоб ей пропасть!

Но он прекрасно знал, что дело свое не променяет ни на что в мире. «Все равно,— говорил он,— буду есть мякину, а литературу не кину».

Когда Леонтьев узнал от Коли о смерти Марии Трофимовны, он как-то весь сжался и несколько дней ходил подавленный. Потом внезапно уехал и возвратился лишь через две недели.

Выяснилось, что он побывал сначала в том селе, где была похоронена Аграфена, а оттуда ездил в лесничество, где работал объездчиком, провел там несколько дней и возвратился с томиком Лермонтова в кармане и фотографией Аграфены. Он повесил ее у себя над письменным столом.

Больше Леонтьев ничего никому не рассказывал, и Коля, естественно, его ни о чем не расспрашивал.

После поездки Леонтьев три дня не выходил из своей квартиры. Но после этих трех дней он вышел спокойный, как прежде. Перед этим он достал из письменного стола футляр с серьгами, долго, положив на ладонь, рассматривал их, потом снова спрятал в ящик стола.

Хотя Леонтьеву и очень хотелось поехать в лесничество, к Петру Максимовичу, но он решил до осени, пока хотя бы вчерне не окончит книгу, никуда не уезжать из Ленинграда.

В лесничестве было очень много работы с посадкой новых лесов и с закладкой питомников. Все разговоры вертелись вокруг семян, их всхожести и свойств скорорастущих деревьев. Лесники называли эти деревья «гонким деревом».

Петр Максимович волновался из-за посадок нашей сосны и «экзотов» — скорорастущих заморских деревьев: дугласовой пихты, канадского тополя и так называемой сосны Муррея.

Коля хорошо знал свойства этих деревьев, привык уже к ним, но изредка даже ему они казались фантастическими существами. Особенно сосна Муррея.

Ее прозвали «пожарной сосной» за ее свойство великолепно разрастаться на гарях. Это свойство объяснялось тем, что шишки такой сосны висели на дереве по пятнадцать — двадцать лет и раскрывались только в сильную жару. Легче всего эти шишки раскрывались во время лесных пожаров. Но семена высыпались из шишек только после того, как огонь прекращался. Семена «пожарной сосны» не теряли всхожести десятки лет.

Петр Максимович любил рассказывать, как однажды такая шишка вросла в ствол сосны, вокруг нее образовалось пятьдесят годовых слоев, а когда шишку выковыряли из глубины дерева и исследовали, то в ней нашли совершенно свежие семена.

Канадский тополь поражал скоростью роста, высотой и толщиной ствола. В Средней России этот тополь за шесть лет вытягивался в вышину на девять метров.

Но самым замечательным из «быстроходных» деревьев была, конечно, дугласова пихта. У себя на родине, в Канаде, она поднимается в высоту на семьдесят пять метров. Средний возраст дугласовой пихты доходил до тысячи лет.

Вскоре леса из этих деревьев должны были, по мысли Петра Максимовича, заполнить многие пустоши, оставленные войной.

Скорорастущие «экзоты» были в работе Петра Максимовича уже пройденным этапом. Он их просто разводил в питомниках для создания новых опытных лесов.

Сейчас он работал над выращиванием быстрорастущих деревьев из наших отечественных пород — ивы, сосны, ели. Это был смелый, но продуманный опыт. В этом деле наш ученый Яблоков добился уже удивительных результатов. Он вывел породу исполинской осины. За сорок лет она достигала сорока метров высоты. Древесина ее была крепкая, чистая и совершенно не загнивала, как древесина нашей обыкновенной осины.

Петр Максимович скрещивал наши деревья с заморскими исполинами и добивался их быстрого роста.

Эта кропотливая и сложная работа уже подходила к концу, и Петр Максимович был уверен в ее успехе.

Один небольшой участок питомника Коля засеял семенами из отборных сосновых шишек, заготовленных на зиму белками. Он решил посвятить молоденькие сосны, которые вырастут из этих семян, Леонтьеву. Могут же писатели посвящать книги друзьям и любимым людям! Почему же лесовод не может посвятить любимому человеку прекрасное дерево, на выращивание которого потратил много труда? Работа над ним требовала такого же напряжения, стольких же забот, как и работа над книгой.

Особенно ясно Коля почувствовал это, когда в питомнике появились первые, слабые побеги деревьев. Они были похожи на побеги травы. С ними было, пожалуй, столько же хлопот, как с детьми. В жаркие дни их надо было притенять еловыми ветками, а осенью, когда из низин начали наползать по ночам холодные туманы, приходилось разжигать вдоль питомника костры, окутывать посадки дымом, чтобы согреть их и не дать туману съесть побеги.

КИПРЕЙ

В начале августа в лесничество приехали Анфиса с Женей Горбачовым.

Коля поехал встречать их в городок на большой реке — туда подходила ветка железной дороги.

Машины все были заняты, и Коле дали телегу и лошадь. Коля даже обрадовался. Поездка в телеге была приятнее, чем тряска в машине по сосновым корням.

Городок был маленький, наполовину сгоревший во время войны. Улицы были так густо засыпаны сенной трухой, что телега катилась по ним бесшумно, как по ковру. От складов с пенькой тянуло сухим приятным запахом, напоминавшим запах вощины. В городском саду над рекой сварливо кричали и дрались на деревьях галки. Сад зарос чистотелом, крапивой. На круглой деревянной тумбе у входа была наклеена афиша: в кино «Аврора» шла новая картина «Машенька». Коля усмехнулся: подходящее название для кино в таком городке — «Аврора»! Богиня утренней зари!

Поезд должен был прийти только на следующее утро, и Коля переночевал в Доме колхозника.

Проснулся Коля на рассвете. Он вышел во двор умыться. Роса лежала на траве. Вокруг колодца ходил, гогоча, заспанный, недовольный гусь.

Дом колхозника стоял на юру. Вытираясь, Коля видел, как в туманах, в свежести, еще оставшейся от ночи, всходило за рекой солнце. Розовые лучи протянулись в вышину, где еще висел месяц, усталый и побледневший от ночного скитания по огромному небу.

Вокзала в городке не было, он сгорел. Вместо вокзала стоял пока товарный вагон.

Поезд подходил медленно и остановился далеко от товарного вагона. Коля побежал к нему навстречу, но опоздал — Анфиса уже спрыгнула на насыпь, а Женя вытаскивал из вагона и подавал ей чемодан и кошелку.

Анфиса крепко поцеловала Колю и сказала:

— Как все-таки мы много путешествуем, Коля!

— Никогда я не был в таких глубинных местах,— заметил, оглядываясь, Женя.— Очень все интересно.

Женя удивился телеге и еще больше удивился, когда узнал, что никакого возницы нет, а повезет их Коля.

— Доедем! — успокоил его Коля.— Садитесь. По дороге завернем в чайную на берегу, около плашкоута. Выпьем чаю, закусим.

В чайной было тепло, чисто. Девочка в красном ситцевом платье домывала полы. Сели за дощатый стол. Анфиса достала из кошелки бутерброды. Коля выложил на стол редиску; он купил ее около вокзала. Девочка внесла маленький самовар.

И Анфисе, и Коле, и особенно Жене это утро в чайной представлялось удивительным. Казалось, что они стали участниками неторопливого романа, действие которого происходит в безвестном городке с деревянными домами, с заглохшими садами, молодой любовью, дружбой,— романа, перенесенного из столиц в глубину страны, в лесные края, на проселочные дороги.

Было слышно, как по сырым оврагам тихонько бормотали родники. Женщины спускались к ним с ведрами и коромыслами. Ведра звякали в тишине.

Долго ехали лугами. В балках застоялись лужицы воды, заросшие по краям незабудками. Потом пошли гари с одинокими тонкими соснами. Гари сплошь были покрыты красным кипреем.

Солнце палило нещадно. Тучами налетали слепни. Лошадь часто останавливалась, отбиваясь от них головой и хвостом.

Когда гари окончились и телега въехала в большой лес, решили переждать жару.

Коля распряг мерина, завел его в гущу орешника. Мерин довольно фыркал и срывал листья серыми, замшевыми губами. Слепни исчезли.

Очень хотелось пить. Они напились воды из круглой ямки во мху, где вода стояла в уровень с землей и была холодная и чистая. Если приглядеться, то была видна тихая струйка воды, бившая откуда-то снизу, из мха. Она покачивала утонувшую в этой криничке высохшую ветку брусники.

Женя лежал на земле около старого пня и рассматривал его. Кора кое-где отвалилась. Виднелись запутанные ходы, проточенные лубоедом. По этим ходам бежали муравьи и тащили в хранилища внутри пня разные зернышки и сухую хвою. Сбоку на пне вырос древесный гриб — желтый, как сера. Потом прилетел бархатный шмель — черный, с золотой полоской на брюшке,— сел на цветы кипрея и деловито загудел.

— Как здорово! — промолвил Женя.— Такой пень можно рассматривать без конца.

— Этот старый, перегнивший пень,— сказал Коля,— при умении можно прочесть, как книгу. Он весь в иероглифах.

— Как это? Какую книгу?

— Книгу о круговороте жизни в природе. И еще о многом. Вот, смотрите, около пня растет кипрей. Но только около пня. На полянке его уже нет. Кипрей любит землю, богатую азотом, а такая почва всегда образуется около муравейников. Редкий цветок. Помните, на гарях целые поля кипрея. Он там разрастается тоже неспроста. Дело в том, что кипрей очень смягчает жару и не дает солнцу на гарях сжигать молодые побеги деревьев. Нигде, как на гарях, земля так сильно не раскаляется от солнца. И, кроме того, кипрей по ночам не подпускает к побегам холодный воздух. Бывает так, что все верхушки кипрея обмерзнут, но он не даст погибнуть всходам. Самоотверженный цветок. Но этого еще мало: кипрей влияет не только на температуру воздуха вблизи земли, но и на температуру почвы. Он охраняет не только побеги, но и их слабые корни.

— Слушай, Коля,— сказала Анфиса,— это похоже на какую-то сказку. Цветок-нянька! На месте Леонтьева я только бы и писала, что об этих травах и деревьях. Хватило бы на целую жизнь. Какую бы книгу он мог написать! Надо его растормошить.

— Каждый может это знать,— ответил Коля,— но передать по-настоящему может, конечно, только поэт.

Шмель торопливо вылез из цветка кипрея, почистил лапки, взлетел и сразу же набрал высоту.

— Вот Петр Максимович,— сказал, помолчав, Коля,— говорит, что в будущих лесах должно быть много пасек. Пчелы будут опылять деревья и кустарники. И, кстати, в лесах будут жить хорошие люди — пасечники. Пожалуй, нигде занятие так сильно не сказывается на человеке, как здесь. Пчелы не любят неряшливых и шумных людей.

...Жара начала спадать. Небо медленно заволоклось тучами, по лесу прошел ветер.

Коля запряг мерина, и они поехали дальше. Дорога заросла высоким папоротником. Он хлестал мерина по ногам и оставлял на них оранжевую пыльцу.

В лесу стало очень тихо. Потом в кустах послышался едва заметный шорох.

— Дождь! — сказала Анфиса и вытянула руку.

Тотчас на ладонь ей упали две теплые капли дождя. Потом, помедлив, упала третья.

Зашевелились от ударов капель листья, запахло прибитой пылью. Где-то далеко прогремел ленивый гром.

Потом вдруг дождь припустил и начал часто-часто сыпаться с неба быстрыми мелкими каплями. Деревья весело и торопливо зашумели, листва покрылась мокрым блеском, а от спины мерина повалил пар. Стащили с сена на телеге грубое полосатое рядно и накрылись им, как палаткой.

Дождь усиливался. Песок промок, потемнел. Кое-где в колеях уже налились лужицы, и капли, ударяя по ним, оставляли пузыри.

Коля свернул лошадь с большака на боковую дорогу.

— Ты куда? — спросила Анфиса.

— Тут лесная сторожка рядом. Надо переждать.

Около лесной сторожки их облаял взлохмаченный пес со смеющимися глазами. Лаял он, как потом выяснилось, от досады, что ему нельзя сразу же положить Анфисе лапы на плечи и лизнуть ее в лицо. Но он это сделал, как только Анфиса соскочила с телеги.

На крыльцо вышел худой лесник.

— Назад! — крикнул он на пса, но тот уже прыгал на Женю и в конце концов ухитрился лизнуть в лицо и его.

— Дождиком прихватило? — спросил лесник.— Похоже, обкладывает. Пожалуйте в избу.

Вошли в избу. В ней никого не было.

— Хозяйки у меня нету,— сказал лесник.— Померла еще до войны. Так один и верчусь. Сейчас я самоварчик поставлю. Молоко есть в подполе. Выпейте.

— А кто же у вас корову доит? — спросила Анфиса.

— Самому приходится,— неохотно ответил лесник.

Лесник делал все медленно, не спеша: достал чашки, деревянную солонку с крупной желтой солью, поставил самовар, потом полез в подпол.

Пока он возился там, Анфиса заметила за ситцевой занавеской на русской печке два серых испуганных глаза. Они смотрели на нее не мигая. Когда лесник вылез из подпола, Анфиса спросила:

— Кто это у вас там?

— Где? — встревоженно спросил лесник.

— На печке.

Лесник оглянулся на занавеску, ничего не ответил и начал раздувать самовар. Было видно, что вопрос Анфисы застал его врасплох и он этим недоволен. Наступило неловкое молчание.

Лесник сел на лавку около Анфисы, начал скручивать цигарку и, помолчав, сказал вполголоса:

— Дочка там у меня. Маша. Хворая.

— А что с ней? — так же тихо спросила Анфиса.

— Душевная у нее болезнь. Дикая она, пугливая. Людей боится. Ране я на людном кордоне служил, да вот из-за нее перевелся сюда, в самый глушняк. Тут потише. Прохожие люди ее не беспокоят.

— С чего же это она? — спросил Коля.

— Да-а...— сказал, не расслышав вопроса, лесник,— была девочка звонкая. Бывало, как побежит в лес по грибы — никаких тебе малиновок не надо! Как пришли фашисты, мы с ними, понятно, бились здесь, в своем лесу. Партизанили. Маша, понятно, при мне — куда ей деваться. Побегла она как-то на покров в соседнее село, а вернулась уже не в себе. Вся черная, заикается, ко мне жмется. А там, видишь, какое дело: фашисты при ней человека повесили. Значит, не все детский глаз видеть может. Не все!

Не выдержала. С тех пор так и пошло: от людей хоронится, как зверек какой-нибудь лесной. Так что вы не обижайтесь, ежели я неласково вас встретил. Все опасаюсь, как бы ей хуже от людей не было. Но, замечаю, теперь ей полегче. Ежели с ней тихо, ласково, она уже не боится.

Лесник обернулся к печке, сказал:

— Маша! А Маша! Ты выйди. Это люди хорошие. Они с добром к нам приехали.

— Здравствуйте,— прошептала из-за занавески девочка.

— Здравствуй, Маша,— ответила Анфиса.— Слезай, иди к нам. Будем чай пить вместе. У меня гостинцы для тебя есть.

— Я босая,— ответила девочка.

— Ну что ж, что босая? Я тоже разуться могу.

Девочка шире раздвинула занавеску и долго смотрела на Анфису.

— Вы ее больше не кличьте,— сказал лесник,— а то опять напугается. Она, может, сама придет.

Девочка действительно слезла с печки, подошла к столу, долго смотрела на Анфису жадными глазами, потом подошла к ней, тронула пальцем часики на руке у Анфисы и сказала:

— Там старичок сидит. Чего-то весь день пилит и пилит. Только ваш старичок махонький, а наш большой.

— Какой ваш?

— А вон тот! — Девочка показала на старые ходики.— Наш старичок кузнец. Он ножик кует. Как выкует — всех зарежет.

— Ты брось, дурочка, выдумывать! — строго сказал лесник.— Ни к чему это все!

Губы у девочки задрожали. Она с испугом посмотрела на отца, закрыла лицо ладонями и заплакала. Анфиса притянула девочку к себе, погладила ее плечи, растрепанные косицы. Девочка уткнулась горячим, мокрым лицом в грудь Анфисы и все плакала, никак не могла остановиться.

— Ну чего ты? — сказала Анфиса.— Он совсем не ножик кует, а стучит молотком, мастерит себе сапоги на зиму. Он добрый дед, глухой. Зачем же его обижать!

Девочка перестала плакать, судорожно вздохнула, искоса посмотрела на Анфису и еще теснее прижалась к ней.

— Отошла,— сказал лесник.— А со мной бы — нипочем. Вот беда!

— Лаской ее можно вылечить,— заметил Коля.

— Оно, конечно, так. Да на ласку, милый человек, времени много нужно. А где его взять? Я целый день в лесу, а она тут одна. Вот и выдумывает бог знает что.

— Я за ней дня через три приеду,— сказала Анфиса,— Возьму ее на время в лесничество. Может быть, там у нее все и пройдет... Поедешь со мной, Маша?

— Поеду,— едва слышно ответила девочка и еще крепче прижалась к Анфисе, к ее платью, от которого дивно пахло не то травами, не то цветами.

— Да...— сказал лесник.— Незнамо как и благодарить. Женское сердце — оно все одолеет. Это уж истинно!

Дождь прошел только к ночи. Туча ушла куда-то за леса. Низко, касаясь верхушек деревьев, взошла луна. Свет ее блестел в лужах.

Лесник запряг лошадь, навалил на телегу сухого сена.

Анфиса задремала в телеге от усталости. Изредка она открывала глаза и видела все то же: лес и лес и блеск лунного света на дуге. Она слышала обрывки разговоров Коли и Жени, снова начинала дремать, и ей казалось, что этому лесу не будет конца.

СТАРЫЕ СЕРЬГИ

Леонтьев сговорился в городке с веснушчатым шофером, что тот доставит на машине его вещи в лесничество, к Петру Максимовичу, а сам пошел пешком.

Леонтьев ожидал, что шофер удивится этому, но шофер отнесся к решению Леонтьева совершенно равнодушно. Это почему-то удивило и даже немного обидело Леонтьева. Так они и расстались, условившись завтра встретиться в лесничестве.

Освободившись от вещей, Леонтьев прошел через городок к реке. На наплавном мосту человек в гимнастерке с медалями за Сталинград и Берлин удил рыбу. Он покосился на Леонтьева и спросил:

— Огонька нету? Я свой коробок подмочил.

Леонтьев дал ему закурить и присел рядом на бревно. Когда позади проезжала телега, Леонтьева встряхивало.

В темной струящейся воде что-то поблескивало.

— Головли,— сказал человек с медалями.— Нету клева. Шут их разберет, какая им насадка нужна! Подойдут, понюхают и уйдут.

— Хорошо здесь у вас!

— Да,— согласился человек с медалями.— Это точно, хорошо... Далеко идете?

— В лесничество.

— Ну и развернулись там наши ученые! — с гордостью сказал человек с медалями.— Леса сажают по всей округе. Да как? Через двадцать лет тут будет рай сущий. Это точно!

Он наклонился, схватил воткнутое между бревен удилище и резко подсек. Леска натянулась и быстро пошла к берегу.

— Шалишь! — сказал человек с медалями и потащил из воды бьющуюся серебряную рыбу. Он ловко выбросил ее на настил моста. Рыба запрыгала, сверкая на солнце.

Женщина, ехавшая в телеге, остановила лошадь, сказала:

— Вот тебе, голубчик, и добыча. Хочешь меняться?

— На что?

— Сметанка у меня есть.

— Езжай! — сказал человек.— Привыкли меняться. Может, еще и кобылу выменяешь.

— Что ты! — ответила женщина.— Шутишь как несообразно. Кобыла колхозная. А мне ушицы охота попробовать. Я ее очень обожаю.

Женщина задергала вожжами и проехала. Леонтьев попрощался с человеком с медалями и пошел дальше.

Кончался август. В лугах облепляла лицо паутина, но летали те же бабочки, что и весной: крапивницы и лимонницы.

Леса по горизонту терялись в сухом розовом тумане. В ощущении простора, раскинутого во все концы земли, было что-то и праздничное и грустное, как в коротком возвращении детства.

Леонтьев прошел мимо поемного озерца, заросшего по берегам шиповником, нарвал оранжевых ягод и попробовал. Их сухая сладковатая мякоть ему очень понравилась.

За лугом пошли новые лесные посадки. Леонтьев остановился и засвистел: тысячи молодых сосенок зеленели в бороздах, поросших кипреем.

Вскоре начался нетронутый лес. Леонтьев лег на землю около молодой сосны. Рядом с ним под черным осиновым листком прятался клейкий маслюк. К нему прилипла

какая-то зеленая мушка и тонко жужжала, пытаясь освободиться. На травинку села лимонница, сложила молитвенно крылышки и уснула. От земли потягивало теплом. Леонтьев не заметил, как задремал.

Сквозь дремоту он думал о своей книге. Удалось ли ему передать в ней очарование этих просторов, весен, зим, полей, лесов? Кажется, удалось. Но, должно быть, нелегко будет читать эту книгу. Человек стал слишком тороплив, а такие книги надо читать медленно, стараясь увидеть внутренним взором все, что там написано.

...Он очнулся от ощущения, что на него кто-то смотрит.

На дороге стояла девочка лет десяти, русоволосая, немного растрепанная. Косицы ее были завязаны зелеными тесемками. В руке она держала кошелку с грибами.

— Тебя как звать? — спросил Леонтьев.— Феней?

— Нет. Я Настя. Я по грибы ходила. А вы зачем на солнце спите? Голову нажжете.

— Ты откуда?

— Из лесничества. А почему вы меня Феней назвали?

— Похожа ты на Феню. Потому и назвал.

— А откуда вы ее знаете, Феню?

— Знаю.

— Вот и неправда! — засмеялась девочка.— Она «сахар» сказать не может. Говорит «шахар». И вовсе на меня не похожа.

— Да ну! — удивился Леонтьев.— Значит, это не та Феня.

— Одна у нас Феня. У нее нос рыжий. От веснушек.

— Ну, пойдем,— сказал Леонтьев и поднялся.— Мне тоже в лесничество. Далеко еще идти?

— Часа два,— ответила Настя.— Я быстро хожу.

И она проворно двинулась по дороге, перебирая маленькими загорелыми ногами и немного наклонившись набок, чтобы легче было тащить тяжелую кошелку с грибами.

— У нас в лесничестве теперь новая девочка живет,— сказала Настя.— Маша, лесникова дочка. Она с отцом жила на кордоне. А ему трудно. Она больная, Маша. Будто немного безумная. Тут приехала из Москвы одна молодая тетенька и забрала ее к себе в лесничество.

— Зачем?

— Чтобы, значит, вылечить ее.

— Ну и как?

— Ничего. Полегчало. Маша с нами теперь даже играет. А ране, бывало, как увидит кого из нас, так и бежит, бежит — не догонишь.

— А кто же эта молодая тетенька?

— Артистка! — ответила с гордостью Настя.— Я вырасту, тоже пойду в артистки. Плясать буду.

«Анфиса! — подумал Леонтьев.— Конечно, она».

Вышли на порубку. Сосны были спилены высоко, на уровне человеческой груди. Местами завалы из стволов и высохших веток с рыжей хвоей казались непроходимыми. Из земли уже пробивалась березовая поросль.

Но во многих местах ветки и сушняк уже были убраны в большие кучи, а пни спилены под корень. В этих местах порубка уже не производила впечатления сплошного бурелома и хаоса.

— Это здесь фашисты лес валили,— сказала девочка.— Хотели наших остановить. Смотри, чего наломали. А нынче все это прибирают, и тут новый лес посадят из какого-то дерева — я забыла, как его зовут. Оно духовитое. И мы тоже лес сажаем.

— Кто это «мы»?

— Ребята. Мы старших иногда обгоняем.

Девочка шла все быстрее. Леонтьев за ней не поспевал. Да ему и не хотелось торопиться.

— Ты беги,— предложил он девочке.— Дорога прямая, я сам пойду.

— Ладно. А то мне поскорее надо.

Она кивнула Леонтьеву и уже через минуту была далеко, а потом и совсем исчезла за густой порослью.

Леонтьев остановился. Среди поваленных сосновых стволов лежал на боку заржавленный танк с запыленным фашистским крестом на башне.

Леонтьев подошел к нему. Башня была открыта. Из нее пахнуло нагретым воздухом. Серая ящерица, заметив Леонтьева, быстро побежала по броне и юркнула внутрь танка. Там было пусто. Виднелись острые зубцы развороченного взрывом металла.

Со свойственным ему любопытством Леонтьев пошарил вокруг танка, поискал, но ничего не нашел, кроме втоптанной в землю кожаной рукавицы. Леонтьев хотел поднять ее, но сквозь рваную рукавицу пророс подорожник, и ее можно было оторвать от земли только вместе с ним. Леонтьев пожалел подорожник и не тронул рукавицу.

Он потрогал на танке выбоины от осколков, усмехнулся, подумал, что вот этот сеятель смерти стал игрушкой для наших деревенских ребят и что никакие танки и бомбы не остановят движения нашей жизни. Никогда, ни при каких обстоятельствах.

Он пошел дальше. День был на исходе. Мошкара толклась в теплом воздухе. На землю спускалась предвечерняя дымка.

Вдали на дороге показались люди. Они шли навстречу Леонтьеву. Он остановился, пригляделся. Шли двое: мужчина и женщина. Кажется, это были Анфиса и Коля. Леонтьев замахал рукой, крикнул:

— Эге-гей!

Ему ответил голос Анфисы. Она и Коля уже бежали ему навстречу. Леонтьев остановился, засмеялся, и в уголках его прищуренных глаз заблестели слезинки.

— Черт знает что! — сказал он, когда они подбежали к нему.— Я сделался чувствительным, как старая дева. Стыд и срам!

Он расцеловался с Анфисой и Колей и, смеясь, потряс Колю за плечи.

Анфиса выбранила его за то, что он ничего не написал, и если бы Настя не прибежала в лесничество полчаса назад, то они бы его и не встретили.

Они сели на песчаный бугорок около дороги и никак не могли наговориться. Оказалось, что надо сейчас же рассказать друг другу очень много важного, но на это не хватит не то что часов, но целых дней, и потому все разговоры придется пока отложить на ближайшее будущее.

Солнце уже село за порубкой. Оно обрушило на землю столько червонного золота, что все вокруг пылало.

— Пора идти,— сказал, вставая, Коля.— Тут кругом болота. Будет туман.

Они встали.

— Ну как,— спросил Леонтьев,— вы поженились?

Анфиса и Коля переглянулись, потом Анфиса строго посмотрела на Леонтьева и молча кивнула.

Тогда Леонтьев достал из кармана пиджака маленький потертый футляр и раскрыл его. В нем лежали две простые на вид сережки. Но как только заходящее солнце бросило на них свой последний свет, в каждой серьге загорелась яркая капля воды.

— Это что? — тихо спросила Анфиса.

— Помните те серьги, что Чайковский подарил девочке Фене?

— Ну да, конечно, помню,— еще тише сказала Анфиса.

— Это они. Нагните голову.

Анфиса молча наклонила голову, и Леонтьев осторожно вдел серьги в мочки ее маленьких, зардевшихся от волнения ушей.

— Это вам,— сказал Леонтьев.— Не от меня. От Аграфены, от Марии Трофимовны. Потому что вы — одна из тех простых русских женщин, ради которых стоит делать всякие чудесные вещи.

Анфиса опустила голову. Румянец сошел с ее щек. Она была очень бледна.

Потом она подняла на Леонтьева испуганные глаза, обняла его одной рукой за шею, другой рукой притянула к себе Колю, крепко прижалась к их лицам своим горячим лицом, отвернулась и быстро пошла по дороге.

Леонтьев и Коля пошли за ней следом. Оба молчали. Коля взял Леонтьева за локоть и крепко его пожал.

— Ничего,— сказал Леонтьев.— Успокоится.

Сумерки густели, и в сумерках белело только платье Анфисы. Наконец Анфиса остановилась, подождала Леонтьева и Колю, а когда они подошли, взяла их под руки, и они пошли рядом.

Вечерняя заря догорала на небе. Леонтьев думал, что вот прошел отрезок его жизни, и как будто, на первый взгляд, ничего необыкновенного в ней не произошло.

Но на самом деле жизнь за это время так далеко ушла вперед, что трудно даже было все осмыслить и оценить. Он чувствовал, что жизнь еще больше приблизилась к тем временам, ради которых работали тысячи его соотечественников, ради которых жил и работал он сам.

«Может быть, золотой век уже рядом»,— подумал Леонтьев.

Перед этим сознанием меркнет все — все тяготы, неурядицы, неудачи, ошибки. Наш путь правильно продолжен на карте. Это главное.

И как за вечерней зарей неизбежно придет утренняя, во всей своей ясности, в кристаллическом блеске Венеры, в бодрости и тишине, так и за его жизнью, склонившейся за середину, придет жизнь молодежи — и Анфисы, и Коли, и тысячи других девушек и юношей.

Ради них стоит работать, преодолевать и побеждать, чтобы оставить им в наследство эту любимую землю, великие леса, этот чистейший воздух, богатые поля и города, талантливые книги, разумный, привлекательный труд — все, что наполняет жизнь смыслом и радостью.

В их руки мы отдаем все свершения своей жизни, отдаем свое сердце. И наша самая высокая награда — в сознании, что эти руки бережно пронесут все, чего мы добились, что выстрадали ради высокой справедливости, пронесут к новым поколениям и к новым, счастливым временам.

1948



Моему преданному другу
Татьяне Алексеевне Паустовской

Литература изъята из законов тления. Она одна не признает смерти.

Салтыков-Щедрин

Всегда следует стремиться к прекрасному.

Оноре Бальзак

Многое в этой работе выражено отрывочно и, быть может, недостаточно ясно.

Многое будет признано спорным.

Книга эта не является ни теоретическим исследованием, ни тем более руководством. Это просто заметки о моем понимании писательства и моем опыте.

Важные вопросы идейного обоснования нашей писательской работы не затронуты в книге, так как в этой области у нас нет сколько-нибудь значительных разногласий. Героическое и воспитательное значение литературы ясно для всех.

В этой книге я рассказал пока лишь то немногое, что успел рассказать.

Но если мне хотя бы в малой доле удалось передать читателю представление о прекрасной сущности писательского труда, то я буду считать, что выполнил свой долг перед литературой.

ДРАГОЦЕННАЯ ПЫЛЬ

Не могу припомнить, как я узнал эту историю о парижском мусорщике Жане Шамете. Шамет зарабатывал на существование тем, что прибирал мастерские ремесленников в своем квартале.

Жил Шамет в лачуге на окраине города. Конечно, можно было бы обстоятельно описать эту окраину и тем самым увести читателя в сторону от основной нити рассказа. Но, пожалуй, стоит только упомянуть, что до сих пор в предместьях Парижа сохранились старые крепостные валы. В то время, когда происходило действие этого рассказа,

валы были еще покрыты зарослями жимолости и боярышника и в них гнездились птицы.

Лачуга мусорщика приткнулась к подножию северного крепостного вала, рядом с домишками жестянщиков, сапожников, собирателей окурков и нищих.

Если бы Мопассан заинтересовался жизнью обитателей этих лачуг, то, пожалуй, написал бы еще несколько превосходных рассказов. Может быть, они прибавили бы новые лавры к его устоявшейся славе.

К сожалению, никто из посторонних не заглядывал в эти места, кроме сыщиков. Да и те появлялись только в тех случаях, когда разыскивали краденые вещи.

Судя по тому, что соседи прозвали Шамета «Дятлом», надо думать, что он был худ, остронос и из-под шляпы у него всегда торчал клок волос, похожий на хохол птицы.

Когда-то Жан Шамет знал лучшие дни. Он служил солдатом в армии «Маленького Наполеона» во время мексиканской войны.

Шамету повезло. В Вера-Крус он заболел тяжелой лихорадкой. Больного солдата, не побывавшего еще ни в одной настоящей перестрелке, отправили обратно на родину. Полковой командир воспользовался этим и поручил Шамету отвезти во Францию свою дочь Сюзанну — девочку восьми лет.

Командир был вдовцом и потому вынужден был всюду возить девочку с собой. Но на этот раз он решил расстаться с дочерью и отправить ее к сестре в Руан. Климат Мексики был убийственным для европейских детей. К тому же беспорядочная партизанская война создавала много внезапных опасностей.

Во время возвращения Шамета во Францию над Атлантическим океаном дымилась жара. Девочка все время молчала. Даже на рыб, вылетавших из маслянистой воды, она смотрела не улыбаясь.

Шамет, как мог, заботился о Сюзанне. Он понимал, конечно, что она ждет от него не только заботы, но и ласки. А что он мог придумать ласкового, солдат колониального полка? Чем он мог занять ее? Игрой в кости? Или грубыми казарменными песенками?

Но все же долго отмалчиваться было нельзя. Шамет все чаще ловил на себе недоумевающий взгляд девочки. Тогда он наконец решился и начал нескладно рассказывать ей свою жизнь, вспоминая до мельчайших подроб-

ностей рыбачий поселок на берегу Ла-Манша, сыпучие пески, лужи после отлива, сельскую часовню с треснувшим колоколом, свою мать, лечившую соседей от изжоги.

В этих воспоминаниях Шамет не мог найти ничего такого, чтобы развеселить Сюзанну. Но девочка, к его удивлению, слушала эти рассказы с жадностью и даже заставляла повторять их, требуя все новых подробностей.

Шамет напрягал память и выуживал из нее эти подробности, пока в конце концов не потерял уверенность в том, что они действительно существовали. Это были уже не воспоминания, а слабые их тени. Они таяли, как клочья тумана. Шамет, правда, никогда не предполагал, что ему понадобится возобновлять в памяти это давно ушедшее время своей жизни.

Однажды возникло смутное воспоминание о золотой розе. Не то Шамет видел эту выкованную из почернелого золота грубую розу, подвешенную к распятью в доме старой рыбачки, не то он слышал рассказы об этой розе от окружающих.

Нет, пожалуй, он однажды даже видел эту розу и запомнил, как она поблескивала, хотя за окнами не было солнца и мрачный шторм шумел над проливом. Чем дальше, тем яснее Шамет вспоминал этот блеск — несколько ярких огоньков под низким потолком.

Все в поселке удивлялись, что старуха не продает свою драгоценность. Она могла бы выручить за нее большие деньги. Одна только мать Шамета уверяла, что продавать золотую розу — грех, потому что ее подарил старухе «на счастье» возлюбленный, когда старуха, тогда еще смешливая девушка, работала на сардинной фабрике в Одьерне.

— Таких золотых роз мало на свете,— говорила мать Шамета.— Но все, у кого они завелись в доме, обязательно будут счастливыми. И не только они, но и каждый, кто притронется к этой розе.

Мальчик с нетерпением ждал, когда же старуха сделается счастливой. Но никаких признаков счастья не было и в помине. Дом старухи трясся от ветра, а по вечерам в нем не зажигали огня.

Так Шамет и уехал из поселка, не дождавшись перемены в старухиной судьбе. Только год спустя знакомый кочегар с почтового парохода в Гавре рассказал ему, что к старухе неожиданно приехал из Парижа сын-художник — бородатый, веселый и чудной. Лачугу с тех пор было уже

не узнать. Она наполнилась шумом и достатком. Художники, говорят, получают большие деньги за свою мазню.

Однажды, когда Шамет, сидя на палубе, расчесывал Сюзанне своим железным гребнем перепутанные ветром волосы, она спросила:

— Жан, а мне кто-нибудь подарит золотую розу?

— Все может быть,— ответил Шамет.— Найдется и для тебя, Сузи, какой-нибудь чудак. У нас в роте был один тощий солдат. Ему чертовски везло. Он нашел на поле сражения сломанную золотую челюсть. Мы пропили ее всей ротой. Это было во время аннамитской войны. Пьяные артиллеристы выстрелили для забавы из мортиры, снаряд попал в жерло потухшего вулкана, там взорвался, и от неожиданности вулкан начал пыхтеть и извергаться. Черт его знает, как его звали, этот вулкан! Кажется, Крака-Така. Извержение было что надо! Погибло сорок мирных туземцев. Подумать только, что из-за какой-то челюсти пропало столько людей! Потом оказалось, что челюсть эту потерял наш полковник. Дело, конечно, замяли,— престиж армии выше всего. Но мы здорово нализались тогда.

— Где же это случилось? — спросила с сомнением Сузи.

— Я же тебе сказал — в Аннаме. В Индокитае. Там океан горит огнем, как ад, а медузы похожи на кружевные юбочки балерины. И там такая сырость, что за одну ночь в наших сапогах вырастали шампиньоны! Пусть меня повесят, если я вру!

До этого случая Шамет слышал много солдатского вранья, но сам никогда не врал. Не потому, что он этого не умел, а просто не было надобности. Сейчас же он считал святой обязанностью развлекать Сюзанну.

Шамет привез девочку в Руан и сдал с рук на руки высокой женщине с поджатыми желтыми губами — тетке Сюзанны. Старуха была вся в черном стеклярусе и сверкала, как цирковая змея.

Девочка, увидев ее, крепко прижалась к Шамету, к его выгоревшей шинели.

— Ничего! — шепотом сказал Шамет и подтолкнул Сюзанну в плечо.— Мы, рядовые, тоже не выбираем себе ротных начальников. Терпи, Сузи, солдатка!

Шамет ушел. Несколько раз он оглядывался на окна скучного дома, где ветер даже не шевелил занавески. На тесных улицах был слышен из лавчонок суетливый стук

часов. В солдатском ранце Шамета лежала память о Сузи — синяя измятая лента из ее косы. И черт ее знает почему, но эта лента пахла так нежно, как будто она долго пробыла в корзине с фиалками.

Мексиканская лихорадка подорвала здоровье Шамета. Его уволили из армии без сержантского чина. Он ушел в гражданскую жизнь простым рядовым.

Годы проходили в однообразной нужде. Шамет перепробовал множество скудных занятий и в конце концов стал парижским мусорщиком. С тех пор его преследовал запах пыли и помоек. Он чувствовал этот запах даже в легком ветре, проникавшем в улицы со стороны Сены, и в охапках мокрых цветов — их продавали чистенькие старушки на бульварах.

Дни сливались в желтую муть. Но иногда в ней возникало перед внутренним взором Шамета легкое розовое облачко — старенькое платье Сюзанны. От этого платья пахло весенней свежестью, как будто его тоже долго держали в корзине с фиалками.

Где она, Сюзанна? Что с ней? Он знал, что сейчас она уже взрослая девушка, а отец ее умер от ран.

Шамет все собирался съездить в Руан навестить Сюзанну. Но каждый раз он откладывал эту поездку, пока наконец не понял, что время упущено и Сюзанна наверняка о нем позабыла.

Он ругал себя свиньей, когда вспоминал прощание с ней. Вместо того чтобы поцеловать девочку, он толкнул ее в спину навстречу старой карге и сказал: «Терпи, Сузи, солдатка!»

Известно, что мусорщики работают по ночам. К этому их понуждают две причны: больше всего мусора от кипучей и не всегда полезной человеческой деятельности накапливается к концу дня, и, кроме того, нельзя оскорблять зрение и обоняние парижан. Ночью же почти никто, кроме крыс, не замечает работу мусорщиков.

Шамет привык к ночной работе и даже полюбил эти часы суток. Особенно то время, когда над Парижем вяло пробивался рассвет. Над Сеной курился туман, но он не подымался выше парапета мостов.

Однажды на таком туманном рассвете Шамет проходил по мосту Инвалидов и увидел молодую женщину в бледносиреневом платье с черными кружевами. Она стояла у парапета и смотрела на Сену.

Шамет остановился, снял пыльную шляпу и сказал:

— Сударыня, вода в Сене в эту пору очень холодная. Давайте-ка я лучше провожу вас домой.

— У меня нет теперь дома,— быстро ответила женщина и повернулась к Шамету.

Шамет уронил свою шляпу.

— Сузи! — сказал он с отчаянием и восторгом.— Сузи, солдатка! Моя девочка! Наконец-то я увидел тебя. Ты забыла меня, должно быть. Я — Жан-Эрнест Шамет, тот рядовой двадцать седьмого колониального полка, что привез тебя к этой поганой тетке в Руан. Какой ты стала красавицей! И как хорошо расчесаны твои волосы! А я-то, солдатская затычка, совсем не умел их прибирать!

— Жан! — вскрикнула женщина, бросилась к Шамету, обняла его за шею и заплакала.— Жан, вы такой же добрый, каким были тогда. Я все помню!

— Э-э, глупости! — пробормотал Шамет.— Какая кому выгода от моей доброты. Что с тобой стряслось, моя маленькая?

Шамет притянул Сюзанну к себе и сделал то, на что не решился в Руане,— погладил и поцеловал ее блестящие волосы. Тут же он отстранился, боясь, что Сюзанна услышит мышиную вонь от его куртки. Но Сюзанна прижалась к его плечу еще крепче.

— Что с тобой, девочка? — растерянно повторил Шамет.

Сюзанна не ответила. Она была не в силах сдержать рыдания. Шамет понял: пока что не надо ее ни о чем расспрашивать.

— У меня,— торопливо сказал он,— есть логово у крепостного вала. Далековато отсюда. В доме, конечно, пусто — хоть шаром покати. Но зато можно согреть воду и уснуть в постели. Там ты сможешь умыться и отдохнуть. И вообще жить сколько хочешь.

Сюзанна прожила у Шамета пять дней. Пять дней над Парижем подымалось необыкновенное солнце. Все здания, даже самые старые, покрытые копотью, все сады и даже логово Шамета сверкали в лучах этого солнца, как драгоценности.

Кто не испытал волнения от едва слышного дыхания спящей молодой женщины, тот не поймет, что такое нежность. Ярче влажных лепестков были ее губы, и от ночных слез блестели ресницы.

Да, с Сюзанной все случилось имепно так, как предполагал Шамет. Ей изменил возлюбленный, молодой актер. Но тех пяти дней, какие Сюзанна прожила у Шамета, вполне хватило на их примирение.

Шамет участвовал в нем. Ему пришлось отнести письмо Сюзанны к актеру и научить этого томного красавчика вежливости, когда тот хотел сунуть Шамету несколько су на чай.

Вскоре актер приехал в фиакре за Сюзанной. И все было как надо: букет, поцелуи, смех сквозь слезы, раскаяние и чуть надтреснутая беззаботность.

Когда молодые уезжали, Сюзанна так заторопилась, что вскочила в фиакр, забыв попрощаться с Шаметом. Тут же она спохватилась, покраснела и виновато протянула ему руку.

— Раз уж ты выбрала себе жизнь по вкусу,— проворчал ей напоследок Шамет,— то будь счастлива.

— Я ничего еще не знаю,— ответила Сюзанна, и слезы заблестели у нее на глазах.

— Ты напрасно волнуешься, моя крошка,— недовольно протянул молодой актер и повторил: — Моя прелестная крошка.

— Вот если бы кто-нибудь подарил мне золотую розу! — вздохнула Сюзанна.— Это было бы наверняка к счастью. Я помню твой рассказ на пароходе, Жан.

— Кто знает! — ответил Шамет.— Во всяком случае, не этот господинчик поднесет тебе золотую розу. Извини, я солдат. Я не люблю шаркунов.

Молодые люди переглянулись. Актер пожал плечами. Фиакр тронулся.

Обыкновенно Шамет выбрасывал весь мусор, выметенный за день из ремесленных заведений. Но после этого случая с Сюзанной он перестал выбрасывать пыль из ювелирных мастерских. Он начал собирать ее тайком в мешок и уносил к себе в лачугу. Соседи решили, что мусорщик «тронулся». Мало кому было известно, что в этой пыли есть некоторое количество золотого порошка, так как ювелиры, работая, всегда стачивают немного золота.

Шамет решил отсеять из ювелирной пыли золото, сделать из него небольшой слиток и выковать из этого слитка маленькую золотую розу для счастья Сюзанны. А может быть, как говорила ему когда-то мать, она послужит и для

счастья многих простых людей. Кто знает! Он решил не встречаться с Сюзанной, пока не будет готова эта роза.

Шамет никому не рассказывал о своей затее. Он боялся властей и полиции. Мало ли что придет в голову судебным крючкотворам. Они могут объявить его вором, посадить в тюрьму и отобрать у него золото. Ведь оно было все-таки чужое.

До поступления в армию Шамет батрачил на ферме у сельского кюре и потому знал, как обращаться с зерном. Эти познания пригодились ему теперь. Он вспомнил, как веяли хлеб и тяжелые зерна падали на землю, а легкая пыль уносилась ветром.

Шамет построил небольшую веялку и по ночам перевеивал во дворе ювелирную пыль. Он волновался до тех пор, пока не увидел на лотке едва заметный золотящийся порошок.

Прошло много времени, пока золотого порошка накопилось столько, что можно было сделать из него слиток. Но Шамет медлил отдавать его ювелиру, чтобы выковать из него золотую розу.

Его не останавливало отсутствие денег — любой ювелир согласился бы взять за работу треть слитка и был бы этим доволен.

Дело заключалось не в этом. С каждым днем приближался час встречи с Сюзанной. Но с некоторых пор Шамет начал бояться этого часа.

Всю нежность, давно уже загнанную в глубину сердца, он хотел отдать только ей, только Сузи. Но кому нужна нежность старого урода! Шамет давно заметил, что единственным желанием людей, встречавшихся с ним, было поскорее уйти и забыть его тощее, серое лицо с обвисшей кожей и пронзительными глазами.

У него в лачуге был осколок зеркала. Изредка Шамет смотрелся в него, но тотчас же с тяжелым ругательством отшвыривал прочь. Лучше было не видеть себя — эту неуклюжую образину, ковылявшую на ревматических ногах.

Когда роза была накопец готова, Шамет узнал, что Сюзанна год назад уехала из Парижа в Америку — и, как говорили, навсегда. Никто не мог сообщить Шамету ее адрес.

В первую минуту Шамет даже испытал облегчение. Но потом все его ожидание ласковой и легкой встречи с Сюзанной превратилось непонятным образом в железный заржавленный осколок. Этот колючий осколок застрял у

Шамета в груди, около сердца, и Шамет молил бога, чтобы он скорее вонзился в это старое сердце и остановил его навсегда.

Шамет бросил прибирать мастерские. Несколько дней он пролежал у себя в лачуге, повернувшись лицом к стене. Он молчал и только один раз улыбнулся, прижав к глазам рукав старой куртки. Но никто этого не видел. Соседи даже не приходили к Шамету — у каждого хватало своих забот.

Следил за Шаметом только один человек — тот пожилой ювелир, что выковал из слитка тончайшую розу и рядом с ней, на одной ветке, маленький острый бутон.

Ювелир навещал Шамета, но не приносил ему лекарств. Он считал, что это бесполезно.

И действительно, Шамет незаметно умер во время одного из посещений ювелира. Ювелир поднял голову мусорщика, достал из-под серой подушки золотую розу, завернутую в синюю помятую ленту, и не спеша ушел, прикрыв скрипучую дверь. От ленты пахло мышами.

Была поздняя осень. Вечерняя темнота шевелилась от ветра и мигающих огней. Ювелир вспомнил, как преобразилось после смерти лицо Шамета. Оно стало суровым и спокойным. Горечь этого лица показалась ювелиру даже прекрасной.

«Чего не дает жизнь, то приносит смерть»,— подумал ювелир, склонный к шаблонным мыслям, и шумно вздохнул.

Вскоре ювелир продал золотую розу пожилому литератору, неряшливо одетому и, по мнению ювелира, недостаточно богатому, чтобы иметь право на покупку такой драгоценной вещи.

Очевидно, решающую роль при этой покупке сыграла история золотой розы, рассказанная ювелиром литератору.

Запискам старого литератора мы обязаны тем, что кое-кому стал известен этот горестный случай из жизни бывшего солдата 27-го колониального полка — Жана-Эрнеста Шамета.

В своих записках литератор, между прочим, писал:

«Каждая минута, каждое брошенное невзначай слово и взгляд, каждая глубокая или шутливая мысль, каждое незаметное движение человеческого сердца, так же как и летучий пух тополя или огонь звезды в ночной луже,— все это крупинки золотой пыли.

Мы, литераторы, извлекаем их десятилетиями, эти миллионы песчинок, собираем незаметно для самих себя, превращаем в сплав и потом выковываем из этого сплава свою «золотую розу» — повесть, роман или поэму.

Золотая роза Шамета! Она отчасти представляется мне прообразом нашей творческой деятельности. Удивительно, что никто не дал себе труда проследить, как из этих драгоценных пылинок рождается живой поток литературы.

Но, подобно тому как золотая роза старого мусорщика предназначалась для счастья Сюзанны, так и наше творчество предназначается для того, чтобы красота земли, призыв к борьбе за счастье, радость и свободу, широта человеческого сердца и сила разума преобладали над тьмой и сверкали, как незаходящее солнце».

НАДПИСЬ НА ВАЛУНЕ

> Для писателя полная радость наступает только тогда, когда он убеждается, что совесть его находится в соответствии с совестью ближних.
>
> *Салтыков-Щедрин*

Я живу в маленьком доме на дюнах. Все Рижское взморье в снегу. Он все время слетает с высоких сосен длинными прядями и рассыпается в пыль.

Слетает он от ветра и оттого, что по соснам прыгают белки. Когда очень тихо, то слышно, как они шелушат сосновые шишки.

Дом стоит у самого моря. Чтобы увидеть море, нужно выйти за калитку и немного пройти по протоптанной в снегу тропинке мимо заколоченной дачи.

На окнах этой дачи еще с лета остались занавески. Они шевелятся от слабого ветра. Должно быть, ветер проникает сквозь незаметные щели в пустую дачу, но издали кажется, что кто-то подымает занавеску и осторожно следит за тобой.

Море не замерзло. Снег лежит до самой кромки воды. На нем видны следы зайцев.

Когда на море подымается волна, то слышен не шум прибоя, а хрустенье льда и шорох оседающего снега.

Балтика зимой пустынна и угрюма.

Латыши называют ее «Янтарным морем» («Дзинтара юра»). Может быть, не только потому, что Балтика выбрасывает много янтаря, но еще и потому, что ее вода чуть заметно отливает янтарной желтизной.

По горизонту весь день лежит слоями тяжелая мгла. В ней пропадают очертания низких берегов. Только кое-где в этой мгле опускаются над морем белые косматые полосы — там идет снег.

Иногда дикие гуси, прилетевшие в этом году слишком рано, садятся на воду и кричат. Тревожный их крик далеко разносится по берегу, но не вызывает отклика — в прибрежных лесах зимой почти нет птиц.

Днем в доме, где я живу, идет привычная жизнь. Трещат дрова в разноцветных кафельных печах, приглушенно стучит пишущая машинка, молчаливая уборщица Лиля сидит в уютном холле и вяжет кружево. Все обыкновенно и очень просто.

Но вечером кромешная темнота окружает дом, сосны придвигаются к нему вплотную, и когда выходишь из ярко освещенного холла наружу, тебя охватывает ощущение полного одиночества, с глазу на глаз, с зимой, морем и ночью.

Море уходит на сотни миль в черно-свинцовые дали. На нем не видно ни одного огонька. И не слышно ни одного всплеска.

Маленький дом стоит, как последний маяк, на краю туманной бездны. Здесь обрывается земля. И поэтому кажется удивительным, что в доме спокойно горит свет, поет радио, мягкие ковры заглушают шаги, а на столах лежат раскрытые книги и рукописи.

Там, к западу, в сторону Вентспилса, за слоем мглы лежит маленький рыбачий поселок. Обыкновенный рыбачий поселок с сетями, сохнущими на ветру, с низкими домами и низким дымом из труб, с черными моторками, вытащенными на песок, и доверчивыми собаками с косматой шерстью.

В поселке этом сотни лет живут латышские рыбаки. Поколения сменяют друг друга. Светловолосые девушки с застенчивыми глазами и певучим говором становятся обветренными, кряжистыми старухами, закутанными в тяжелые платки. Румяные юноши в щегольских кепках превращаются в щетинистых стариков с невозмутимыми глазами.

Но так же, как и сотни лет назад, рыбаки уходят в море за салакой. И так же, как и сотни лет назад, не все возвращаются обратно. Особенно осенью, когда Балтика свирепеет от штормов и кипит холодной пеной, как чертов котел.

Но что бы ни случилось, сколько бы раз ни пришлось стаскивать шапки, когда люди узнают о гибели своих товарищей, все равно надо и дальше делать свое дело — опасное и тяжелое, завещанное дедами и отцами. Уступать морю нельзя.

В море около поселка лежит большой гранитный валун. На нем еще давно рыбаки высекли надпись: «В память всех, кто погиб и погибнет в море». Эту надпись видно издалека.

Когда я узнал об этой надписи, она мне показалась печальной, как все эпитафии. Но латышский писатель, рассказавший мне о ней, не согласился с этим и сказал:

— Наоборот. Это очень мужественная надпись. Она говорит, что люди никогда не сдадутся и несмотря ни на что, будут делать свое дело. Я бы поставил эту надпись эпиграфом к любой книге о человеческом труде и упорстве. Для меня эта надпись звучит примерно так: «В память тех, кто одолевал и будет одолевать это море».

Я согласился с ним и подумал, что этот эпиграф подходил бы и для книги о писательском труде.

Писатели не могут ни на минуту сдаться перед невзгодами и отступить перед преградами. Что бы ни случилось, они должны непрерывно делать свое дело, завещанное им предшественниками и доверенное современниками. Недаром Салтыков-Щедрин говорил, что если хоть на минуту замолкнет литература, то это будет равносильно смерти народа.

Писательство — не ремесло и не занятие. Писательство — призвание. Вникая в некоторые слова, в самое их звучание, мы находим их первоначальный смысл. Слово «призвание» родилось от слова «зов».

Человека никогда не призывают к ремесленничеству. Призывают его только к выполнению долга и трудной задачи.

Что же понуждает писателя к его подчас мучительному, но прекрасному труду?

Прежде всего — зов собственного сердца. Голос совести и вера в будущее не позволяют подлинному писателю

прожить на земле, как пустоцвет, и не передать людям с полной щедростью всего огромного разнообразия мыслей и чувств, наполняющих его самого.

Тот не писатель, кто не прибавил к зрению человека хотя бы немного зоркости.

Писателем человек становится не только по зову сердца. Голос сердца чаще всего мы слышим в юности, когда ничто еще не приглушило и не растрепало по клочкам свежий мир наших чувств.

Но приходят годы возмужалости — и мы явственно слышим, кроме призывного голоса собственного сердца, новый мощный зов — зов своего времени и своего народа, зов человечества.

По велению призвания, во имя своего внутреннего побуждения человек может совершать чудеса и выносить тягчайшие испытания.

Одним из примеров, подтверждающих это, была судьба голландского писателя Эдуарда Деккера. Он печатался под псевдонимом «Мультатули». По-латыни это означает «Многострадальный».

Возможно, что я вспомнил о Деккере именно здесь, на берегу сумрачной Балтики, потому, что такое же бледное северное море расстилается у берегов его родины — Нидерландов. О ней он сказал с горечью и стыдом: «Я — сын Нидерландов, сын страны разбойников, лежащей между Фрисландией и Шельдой».

Но Голландия, конечно, не страна цивилизованных разбойников. Их меньшинство, и не они выражают лицо народа. Это страна трудолюбивых людей, потомков мятежных «гезов» и Тиля Уленшпигеля. До сих пор «пепел Клааса стучит» в сердца многих голландцев. Стучал он и в сердце Мультатули.

Выходец из семьи потомственных моряков, Мультатули был назначен правительственным чиновником на остров Яву, а недолгое время спустя — даже резидентом одного из округов этого острова. Его ждали почести, награды, богатство, возможный пост вице-короля, но... «пепел Клааса стучал в его сердце». И Мультатули пренебрег этими благами.

С редким мужеством и упорством он пытался взорвать изнутри вековую практику порабощения яванцев голландскими властями и негоциантами.

Он всегда выступал в защиту яванцев и не давал их в обиду. Он жестоко карал взяточников. Он насмехался над вице-королем и его приближенными,— конечно, добрыми христианами,— ссылаясь, в объяснение своих поступков, на учение Христа о любви к ближнему. Ему ничего нельзя было возразить. Но его можно было уничтожить.

Когда вспыхнуло восстание яванцев, Мультатули принял сторону восставших, потому что «пепел Клааса продолжал стучать в его сердце». Он с трогательной любовью писал о яванцах, об этих доверчивых детях, и с гневом — о своих соотечественниках.

Он разоблачил военную гнусность, придуманную голландскими генералами.

Яванцы очень чистоплотны и не выносят грязи. На этом их свойстве и был построен расчет голландцев.

Солдатам приказали забрасывать яванцев во время атак человеческим калом. И яванцы, встречавшие, не дрогнув, ожесточенный ружейный огонь, не выдерживали этого вида войны и отступали.

Мультатули был смещен и отправлен в Европу.

Несколько лет он добивался от голландского парламента справедливости для яванцев. Он всюду говорил об этом. Он писал петиции министрам и королю.

Но тщетно. Его выслушивали неохотно и торопливо. Вскоре его объявили опасным чудаком, даже сумасшедшим. Он нигде не мог найти работы. Семья его голодала.

Тогда, повинуясь голосу сердца, иными словами, повинуясь жившему в нем, но до тех пор еще неясному призванию, Мультатули начал писать. Он написал разоблачительный роман о голландцах на Яве: «Макс Хавелаар, или Торговцы кофе». Но это была только первая проба. В этой книге он как бы нащупывал еще зыбкую для него почву литературного мастерства.

Но зато следующая его книга — «Письма любви» — была написана с потрясающей силой. Эту силу давала Мультатули исступленная вера в свою правоту.

Отдельные главы книги напоминают то горький крик человека, схватившегося за голову при виде чудовищной несправедливости, то едкие и остроумные притчи-памфлеты, то нежные утешения любимым людям, окрашенные печальным юмором, то последние попытки воскресить наивную веру своего детства.

«Бога нет, или он должен быть добр,— писал Мультатули.— Когда же наконец перестанут обкрадывать нищих!»

Он уехал из Голландии, надеясь заработать на кусок хлеба на стороне. Жена осталась с детьми в Амстердаме — у него не было лишней копейки, чтобы взять их с собой.

Он нищенствовал по городам Европы и писал, писал непрерывно, этот неудобный для благоприличного общества, насмешливый и замученный человек. Он почти не получал писем от жены, потому что у нее не хватало денег даже на марки.

Он думал о ней и о детях, особенно о маленьком мальчике с синими глазами. Он боялся, что этот маленький мальчик разучится доверчиво улыбаться людям, и умолял взрослых не вызывать у него преждевременных слез.

Книги Мультатули никто не хотел издавать.

Но вот наконец свершилось! Крупное издательство согласилось купить его рукописи, но с условием, что он нигде больше не будет их издавать.

Измученный Мультатули согласился. Он вернулся на родину. Ему даже дали немного денег. Но рукописи купили просто для того, чтобы обезоружить этого человека. Рукописи были изданы в таком количестве экземпляров и по такой недоступной цене, что это было равносильно их уничтожению. Голландские купцы и власти не могли чувствовать себя спокойно, пока эта пороховая бочка была не у них в руках.

Мультатули умер, так и не дождавшись справедливости. А он мог бы написать еще много превосходных книг,— тех книг, о каких принято говорить, что они написаны не чернилами, а кровью сердца.

Он боролся, как мог, и погиб. Но он «одолел море». И, может быть, вскоре на независимой Яве, в Джакарте, будет поставлен памятник этому бескорыстному страдальцу.

Такова была жизнь человека, слившего воедино два великих призвания.

По неистовой преданности своему делу у Мультатули был собрат, тоже голландец и его современник,— художник Винсент Ван-Гог.

Трудно найти пример большего отречения от себя во имя искусства, чем жизнь Ван-Гога. Он мечтал создать во

Франции «братство художников» — своего рода коммуну, где ничто не отрывало бы их от служения живописи.

Ван-Гог много перестрадал. Он опустился на самое дно человеческого отчаяния в своих «Едоках картофеля» и «Прогулке заключенных». Он считал, что дело художника — противостоять страданию всеми силами, всем своим талантом.

Дело художника — рождать радость. И он создавал ее теми средствами, какими владел лучше всего,— красками.

На своих холстах он преобразил землю. Он как бы промыл ее чудотворной водой, и она осветилась красками такой яркости и густоты, что каждое старое дерево превратилось в произведение скульптуры, а каждое клеверное поле — в солнечный свет, воплощенный во множестве скромных цветочных венчиков.

Он остановил своей волей непрерывную смену красок, чтобы мы могли проникнуться их красотой.

Разве можно утверждать после этого, что Ван-Гог был равнодушен к человеку? Он подарил ему лучшее, чем обладал,— свою способность жить на земле, сияющей всеми возможными цветами и всеми их тончайшими переливами.

Он был нищ, горд и непрактичен. Он делился последним куском с бездомными и хорошо узнал на собственной шкуре, что значит социальная несправедливость. Он пренебрегал дешевым успехом.

Конечно, он не был борцом. Героизм его заключался в фанатической вере в прекрасное будущее людей труда — пахарей и рабочих, поэтов и ученых. Он не мог быть борцом, но он хотел внести и внес свою долю в сокровищницу будущего — свои картины, воспевающие землю.

Из всех видов этой красоты Ван-Гог выбрал только один: цвет. Его всегда поражало свойство природы к безошибочному соотношению красок, неисчислимое множество их переходов, та раскраска земли, которая все время меняется, но одинаково хороша во все времена года и под всеми широтами.

Пора восстановить справедливость по отношению к Ван-Гогу, к таким художникам, как Врубель, Борисов-Мусатов, Гоген, и многим другим.

Нам нужно все, что обогащает внутренний мир человека социалистического общества, все, что возвышает его эмоциональную жизнь. Неужели нужно доказывать эту прописную истину?!

По существу, мы должны быть владетелями искусства всех времен и всех стран. Мы должны изгнать из своей страны ханжей, озлобленных против красоты за то только, что она существует независимо от их воли.

Прошу извинить меня за эти отступления из области литературы в живопись. Я считаю, что все виды искусства помогают писателю в усовершенствовании его мастерства. Но об этом будет особый разговор.

Нельзя терять чувство призвания. Его не заменить ни трезвым расчетом, ни литературным опытом.

В истинном писательском призвании совершенно нет тех качеств, какие ему приписывают дешевые скептики,— ни ложного пафоса, ни напыщенного сознания писателем своей исключительной роли.

Пришвин был человеком безусловного писательского призвания. Он подчинил ему жизнь. Но он же и сказал замечательные слова, что «величайшее счастье писателя — не считать себя особенным, одиноким, а быть таким, как все люди».

ЦВЕТЫ ИЗ СТРУЖЕК

Часто я спрашиваю себя, когда думаю о своих занятиях литературой: когда же это началось? И как это вообще начинается? Что впервые заставляет человека взять в руки перо, чтобы не выпускать его до конца жизни?

Труднее всего вспомнить, когда это началось. Очевидно, писательство возникает в человеке, как душевное состояние, гораздо раньше, чем он начинает исписывать стопы бумаги. Возникает еще в юности, а может быть, и в детстве.

В детстве и юности мир существует для нас в ином качестве, чем в зрелые годы. В детстве жарче солнце, гуще трава, обильнее дожди, ярче небо и смертельно интересен каждый человек.

Для детей каждый взрослый кажется существом немного таинственным — будь это плотник с набором инструментов, пахнущих стружкой, или ученый, знающий, почему трава окрашена в зеленый цвет.

Поэтическое восприятие жизни, всего окружающего нас — величайший дар, доставшийся нам от поры детства.

Если человек не растеряет этот дар на протяжении долгих трезвых лет, то он поэт или писатель. В конце концов разница между обоими невелика.

Ощущение жизни как непрерывной новизны — вот та плодородная почва, на которой расцветает и созревает искусство.

Когда я был гимназистом, я, конечно, писал стихи, такое множество стихов, что за месяц исписывал толстую общую тетрадь.

Стихи были плохие — пышные, нарядные и, как мне тогда казалось, довольно красивые.

Сейчас я забыл эти стихи. Помню только отдельные строфы. Например, такие:

О, срывайте цветы на поникших стеблях!
Тихо падает дождь на полях.
И в края, где горит дымно-алый осенний закат,
Пожелтелые листья летят...

Чем дальше, тем больше я нагромождал в стихах всяческие, даже бессмысленные, красивости:

И опалами блещет печаль о любимом Саади
На страницах медлительных дней...

Почему печаль «блещет опалами» — этого ни тогда, ни сейчас я объяснить не могу. Просто меня увлекало самое звучание слов. Я не думал о смысле.

Больше всего я писал стихов о море. В ту пору я его почти не знал.

Это не было какое-то определенное море — Черное, Балтийское или Средиземное,— а праздничное «море вообще». Оно соединяло в себе все разнообразие красок, всю безудержную романтику, далекую от подлинной жизни, времени и реального географического пространства. Тогда эта романтика окружала в моих глазах земной шар, подобно плотной атмосфере.

Это было нечистое, веселое море — родина крылатых кораблей и отважных мореплавателей. Изумрудами горели на его берегах маяки. В портах ключом бурлила беззаботная жизнь. Смуглые женщины неслыханной прелести были ввергнуты по моей авторской воле в кипение жестоких страстей.

Правда, с годами мои стихи делались менее нарядными. Из них постепенно начала выветриваться экзотика.

Но, честно говоря, детские и юношеские годы никогда не обходятся без экзотики, будь то экзотика тропических стран или гражданской войны.

Кто в детстве не осаждал старинные замки, не погибал на корабле с изодранными в клочья парусами у берегов Магелланова пролива или Новой Земли, не мчался в тачанке вместе с Чапаевым по зауральским степям, не искал сокровища, так ловко запрятанные Стивенсоном на таинственном острове, не слышал шума знамен в Бородинском бою или не помогал Маугли в непролазных дебрях Индостана?

Экзотика сообщает жизни ту долю необыкновенности, которая необходима каждому юному и впечатлительному существу.

Дидро был прав, когда говорил, что искусство заключается в том, чтобы найти необыкновенное в обыкновенном и обыкновенное в необыкновенном.

Во всяком случае, я ничуть не жалею о детском своем увлечении экзотикой.

Это увлечение, конечно, не исчезло у меня сразу. Оно держалось долго, как держится стойкий запах сирени в садах. Оно преображало в моих глазах знакомый, немного даже надоевший Киев. Золото закатов пылало в его садах. За Днепром мигали во мраке молнии. Мне казалось, что там раскинулась неведомая — грозовая и влажная — страна, наполненная бегущим шумом листьев.

Весна сыпала на город желтоватые цветы каштанов с красными крапинками на лепестках. Их было так много, что во время дождей плотины из опавших цветов задерживали сток дождевой воды и некоторые улицы превращались в мелкие озера.

А после дождей небо над Киевом светилось, как купол из лунного камня. И с неожиданной силой приходили на память стихи:

Царит весны таинственная сила
С звездами на челе.—
Ты, нежная! Ты счастье мне сулила
На суетной земле.

С этим временем у меня была связана первая влюбленность — то удивительное состояние, когда почти все девушки казались прекрасными. Любая черта девичества, мелькнувшая на мгновение на улице, в саду, в трамвае,—

застенчивый, но внимательный взгляд, запах волос, блеск зубов за полуоткрытыми губами, обнаженное ветром маленькое колено, прикосновение холодных пальцев — все это напоминало, что рано или поздно, но и меня настигнет в жизни любовь. Я был уверен в этом. Так мне хотелось думать, и так я думал.

Каждая такая встреча была для меня началом непонятной тоски.

В стихах и неясном волнении прошла большая часть моей бедной и, по существу, довольно горькой молодости.

Вскоре я бросил писать стихи. Я понял, что это мишура, цветы из хорошо раскрашенных стружек, сусальная позолота.

Вместо стихов я написал свой первый рассказ. У него была своя история. О ней я расскажу в следующей главе.

ПЕРВЫЙ РАССКАЗ

Я возвращался на пароходе по Припяти из местечка Чернобыль в Киев. Лето я прожил под Чернобылем, в запущенном имении отставного генерала Левковича. Мой классный наставник устроил меня в семью Левковича в качестве домашнего учителя. Я должен был подготовить генеральского сынка-балбеса к двум осенним переэкзаменовкам.

Старый помещичий дом стоял в низине. По вечерам курился вокруг холодный туман. Лягушки надрывались в окрестных болотах, и до головной боли пахло багульником.

Шалые сыновья Левковича били диких уток из ружей прямо с террасы во время вечернего чая.

Сам Левкович — тучный, сивоусый, злой, с вытаращенными черными глазами — весь день сидел на террасе в мягком кресле и задыхался от астмы. Изредка он хрипло кричал:

— Не семья, а шайка бездельников! Кабак! Всех выгоню к чертовой тетке! Лишу наследства!

Но никто не обращал внимания на его сиплые крики. Имением и домом заправляла его жена — «мадам Левкович»,— еще не старая, игривая, но очень скупая женщина. Все лето она проходила в скрипучем корсете.

Кроме шалопаев сыновей, у Левковича была дочь — девушка лет двадцати. Звали ее «Жанна д'Арк». С утра

до ночи она носилась верхом на бешеном караковом жеребце, сидя на нем по-мужски, и разыгрывала из себя демоническую женщину.

Она любила повторять, чаще всего совершенно бессмысленно, слово «презираю».

Когда меня знакомили с ней, она протянула мне с коня руку и, глядя в глаза, сказала:

— Презираю!

Я не чаял, как вырваться из этой оголтелой семьи, и почувствовал огромное облегчение, когда наконец сел в телегу, на сено, покрытое рядном, и кучер «Игнатий Лойола» (в семье Левковичей всем давали исторические прозвища), а попросту Игнат, дернул за веревочные вожжи, и мы шагом поплелись в Чернобыль.

Тишина, стоявшая в низкорослом полесье, встретила нас, как только мы выехали за ворота усадьбы.

В Чернобыль мы притащились только к закату и заночевали на постоялом дворе. Пароход запаздывал.

Постоялый двор держал пожилой еврей по фамилии Кушер.

Он уложил меня спать в маленьком зальце с портретами предков — седобородых старцев в шелковых ермолках и старух в париках и черных кружевных шалях.

От кухонной лампочки воняло керосином. Как только я лег на высокую, душную перину, на меня изо всех щелей тучами двинулись клопы.

Я вскочил, поспешно оделся и вышел на крыльцо. Дом стоял у прибрежного песка. Тускло поблескивала Припять. На берегу штабелями лежали доски.

Я сел на скамейку на крыльце и поднял воротник гимназической шинели. Ночь была холодная. Меня знобило.

На ступеньках сидели двое незнакомых людей. В темноте я их не мог разглядеть. Один курил махорку, другой сидел, сгорбившись, и будто спал. Со двора слышался мощный храп Игнатия Лойолы,— он лег в телеге, на сене, и я теперь завидовал ему.

— Клопы? — спросил меня высоким голосом человек, куривший махорку.

Я узнал его по голосу. Это был низенький хмурый еврей в калошах на босу ногу. Когда мы с Игнатием Лойолой приехали, он отворил нам ворота во двор и потребо-

вал за это десять копеек. Я дал ему гривенник. Кушер заметил это и закричал из окна:

— Марш с моего двора, голота! Тысячу раз тебе повторять!

Но человек в калошах даже не оглянулся на Кушера. Он подмигнул мне и сказал:

— Вы слышали? Каждый чужой гривенник не дает ему спать. Таки он подохнет от жадности, попомните мое слово!

Когда я спросил Кушера, что это за человек, он неохотно ответил:

— А, Иоська! Помешанный. Ну, я понимаю — если тебе не с чего жить, то по крайности уважай людей. А не смотри на них, как царь Давид со своего трона.

— За тех клопов,— сказал мне Иоська, затягиваясь, и я увидел щетину у него на щеках,— вы еще заплатите Кушеру добавочные гроши. Раз человек пробивается до богатства, он ничем не побрезгует.

— Иося! — неожиданно сказал глухим и злым голосом сгорбленный человек.— За что ты загубил Христю? Второй год нету у меня сна...

— Это ж надо, Никифор, не иметь ни капли разума, чтобы говорить такие поганые слова! — сердито воскликнул Иося.— Я ее загубил?! Пойдите до вашего святого отца Михаила и спросите, кто ее загубил. Или до исправника Сухаренки.

— Доня моя! — сказал с отчаянием Никифор.— Закатилось мое солнце по-за болотами на веки вечные.

— Хватит! — прикрикнул на него Иося.

— Панихиду по ней отслужить — и то не позволяют! — не слушая Иосю, сказал Никифор.— Дойду в Киеве до самого митрополита. Не отстану, пока не помилует.

— Хватит! — повторил Иося.— За один ее волос я бы продал всю свою паршивую жизнь. А вы говорите!

Он вдруг заплакал, сдерживаясь и всхлипывая. Оттого что он сдерживался, из горла у него вырывался слабый писк.

— Плачь, дурной,— спокойно, даже одобрительно, сказал Никифор.— Кабы не то, что Христя тебя любила, мишуреса несчастного, я бы разом кончил с тобой. Взял бы грех на душу.

— Кончайте! — крикнул Иося.— Пожалуйста! Может, я того и хочу. Мне же лучше гнить в могиле.

— Дурной ты был и остался дурной,— печально ответил Никифор.— Вот ворочусь из Киева, тогда и кончу тебя, чтобы ты не травил мне сердце. Забедовал я совсем.

— А на кого вы хату покинули? — спросил Иося, перестав плакать.

— Ни на кого. Заколотил — и годи! Нужна мне теперь та хата, как мертвому понюшка!

Я слушал этот непонятный разговор. Над Припятью стеной подымался туман. Сырые доски пахли лекарственно и резко. По местечку нехотя брехали собаки.

— Хоть бы знать, когда припрется та чертова макитра, тот пароход! — с досадой сказал Никифор.— Выпили бы мы, Иосиф, косушку. Оно бы на душе и полегчало. Да где ее теперь взять, косушку?

Я согрелся в шинели и задремал, прислонившись к стене.

Утром пароход не пришел. Кушер сказал, что он заночевал где-нибудь из-за тумана и беспокоиться нечего — все равно пароход простоит в Чернобыле несколько часов.

Я напился чаю. Игнатий Лойола уехал.

От скуки я пошел побродить по местечку. На главной улице были открыты лавчонки. Из них несло селедкой и стиральным мылом. В дверях парикмахерской с висевшей на одном костыле вывеской стоял в халате веснушчатый парикмахер и грыз семечки.

От нечего делать я зашел побриться. Парикмахер, вздыхая, намылил мне щеки холодной пеной и начал обычный в провинциальных парикмахерских деликатный допрос — кто я и зачем попал в это местечко.

Вдруг по дощатому тротуару мимо окна промчались, свистя и гримасничая, мальчишки, и знакомый голос Иоськи прокричал:

Не разбужу я песней удалою
Роскошный сон красавицы моей.

— Лазарь! — крикнул из-за дощатой перегородки женский голос.— Закрой на засов двери! Опять Иоська пьяный. Что ж это делается, боже мой!

Парикмахер закрыл дверь на засов и задернул занавеску.

— Как увидит кого в парикмахерской,— объяснил он со вздохом,— так сейчас же зайдет и будет петь, танцевать и плакать.

— А что с ним? — спросил я.

Но парикмахер не успел ответить. Из-за перегородки вышла молодая растрепанная женщина с удивленными, блестящими от волнения глазами.

— Слушайте, клиент! — сказала она.— Во-первых, здравствуйте! А во-вторых, Лазарь ничего не сообразит рассказать, потому что мужчина не в состоянии понять женское сердце. Что?! Не качай головой, Лазарь! Так слушайте и хорошо подумайте про то, что я вам скажу. Чтоб вы знали, на какой ад идет девушка от любви к молодым людям.

— Маня,— сказал парикмахер,— не увлекайся.

Иоська кричал где-то уже в отдалении:

Как умру, так приходите
На мою могилку,
Колбасы мне принесите
Да ханжи бутылку!

— Какой ужас! — сказала Маня.— И это Иоська! Тот Иоська, что должен был учиться на фельдшера в Киеве, сын Песи — самой доброй женщины в Чернобыле. Слава богу, она не дожила до такого позора. Вы понимаете, клиент, как надо женщине полюбить мужчину, чтобы пойти из-за него на пытку!

— Что ты такое говоришь, Маня! — воскликнул парикмахер.— Клиент же ничего от тебя не поймет.

— Была у нас ярмарка,— сказала Маня.— На ту ярмарку приехал вдовый лесник Никифор из-под Карпиловки со своей единственной дочерью Христей. Ох, если бы вы ее видели! Вы бы потеряли рассудок! Я вам скажу,— глаза были синие, как то небо, а косы светлые, будто она их мыла в золотой воде. А ласковая! А тонкая, как я не знаю что! Ну, Иоська увидел ее и потерял дар речи. Полюбил. Так в этом, я вам скажу, ничего удивительного я не нахожу. Сам царь, если бы ее встретил, тоже начал бы сохнуть. Удивительно то, что она его полюбила. Вы же его видели? Маленький, как тот мальчик, весь рыжий, голос писклявый, ничего не делает без причуд. Одним словом, кинула Христя отца и пришла до Иоськи в дом. Вы пойдите посмотрите этот дом! Полюбуйтесь! Козе в нем тесно было бы жить, не то что им втроем. Одно только, что чисто. И что же вы скажете — Песя ее приняла, как королевскую принцессу. И Христя жила с Иоськой, как жена,

и он был такой веселый, Иоська,— светился, как фонарь. А вы знаете, что это значит, когда еврей живет с православной? Их же нельзя повенчать. Все местечко закудахтало как сто квочек. Тогда Иоська решил выкреститься и пошел в церковь до отца Михаила. А тот ему говорит: «Раньше следовало бы выкреститься, а потом портить христианскую девушку. Ты сделал навыворот, и теперь без разрешения митрополита я тебя, иерусалимский дворянин, не окрещу». Иоська обозвал его нехорошим словом и ушел. Тогда вмешался наш раввин, наш ребе. Он узнал, что Иоська ходил креститься, и проклял его за это в синагоге до десятого колена. А тут еще приехал Никифор, валялся в ногах у Христи, просил, чтобы вернулась домой. Так она только плакала и ни за что не вернулась. Ну, конечно, мальчишек кто-то подговорил. Они как увидят Христю, так и кричат: «Эй, Христя, кошерная! Хочешь кусочек трефного мяса?» И показывают ей дули. На улице все оглядываются, смотрят ей вслед, смеются. А другой раз кто-нибудь возьмет да и кинет ей в спину из-за забора кусок навоза. Весь дом тети Песи измазали дегтем, вы представляете?

— Ой, тетя Песя! — вздохнул парикмахер.— Это была женщина!

— Постой, дай рассказать! — прикрикнула на него Маня.— Раввин позвал до себя тетю Песю и сказал: «Вы развели блуд в своем доме, уважаемая Песя Израилевна. Вы преступили закон. За это я прокляну ваш дом и Иегова покарает вас, как продажную женщину. Поимейте жалость к своей седой голове». Так вы знаете, что она ему ответила! «Вы не раввин,— сказала она.— Вы городовой! Люди любят друг друга, так какое ваше дело лезть до них со своими жирными от смальца лапами!» Плюнула и ушла. Тогда раввин и ее проклял в синагоге. Вот как у нас умеют мордовать людей. Только вы никому этого не передавайте. Все местечко только и жило, что этим делом. Наконец Иоську и Христю потребовал до себя исправник Сухаренко и сказал: «Тебя, Иоська, за кощунственное оскорбление иерея греко-российской церкви отца Михаила я отдаю под суд. И ты попробуешь у меня каторги. А Христю я силой верну отцу. Даю три дня на размышление. Вы мне взбаламутили весь уезд. Я за вас получу нагоняй от господина губернатора».

Тут же Сухаренко посадил Иоську в холодную,— говорил потом, что хотел только попугать. И что же случается, как вы думаете? Вы мне не поверите, но Христя умерла от горя. На нее было жалко смотреть. Прямо сердце останавливалось у добрых людей. Она плакала несколько дней, а потом у нее уже и слез не хватило, и глаза высохли, и она ничего не ела. Только просила, чтобы допустили ее до Иоськи. А в самый Иом-Кипур, в Судный день, она, как уснула вечером, так и не проснулась. И лежала такая белая и счастливая,— должно быть, благодарила бога, что он взял ее от этой паскудной жизни. Зачем ей такая кара, что она полюбила того Иоську? Скажите же мне: зачем?! Нету разве других людей на свете? Иоську Сухаренко тут же выпустил, но он сделался совсем психический и с того дня начал пить и выпрашивать у людей на хлеб.

— Я б на его месте предпочел умереть,— сказал парикмахер.— Пустил бы себе пулю в лоб.

— Ой, какие вы храбрецы! — воскликнула Маня.— А как дойдет до дела, то будете обходить смерть за сто верст. Вы же не имеете понятия, как любовь может спалить до пепла женское сердце.

— Что женское, что мужское сердце,— ответил парикмахер и пожал плечами,— какая разница!

Из парикмахерской я пошел на постоялый двор. Ни Иоськи, ни Никифора там не было. Кушер сидел в потертом жилете у окна и пил чай. В комнате жужжали жирные мухи.

Маленький пароход пришел только к вечеру. Он простоял в Чернобыле до ночи. Мне дали место в салоне на облезлом клеенчатом диване.

Ночью опять нанесло туман. Пароход приткнулся носом к берегу. Так он простоял до позднего утра, пока туман не рассеялся. Никифора я на пароходе не нашел. Должно быть, он запил вместе с Иоськой.

Я так подробно рассказал об этом случае потому, что, вернувшись в Киев, тотчас сжег тетради с первыми ранними своими стихами. Без всякой жалости я смотрел, как превращались в пепел изысканные фразы и гибли без возврата «пенные хрустали», «сапфирные небеса», таверны и пляски гитан.

Отрезвление пришло сразу. Любовь, оказывается, сопровождалась не «томлением умирающих лилий», а комья-

ми навоза. Его бросали в спину прекрасной, любящей женщине.

Думая об этом, я и решил написать свой первый, как я говорил себе, «настоящий рассказ» о судьбе Христи.

Я долго мучился над ним и не понимал, почему он выходит у меня вялым и бледным, несмотря на трагическое содержание. Потом я догадался. Во-первых, потому, что рассказ был написан с чужих слов, и, во-вторых, потому, что я увлекся любовью Христи и оставил в стороне изуверский быт местечка.

Я заново переписал рассказ. Меня самого удивляло, что в него никак «не ложились» изысканные и красивые слова. Он требовал правды и простоты.

Когда я принес этот свой первый рассказ в редакцию журнала, где раньше печатали мои стихи, редактор сказал:

— Зря тратили порох, молодой человек. Рассказ напечатать нельзя. За одного исправника нам пропишут кузькину мать. Но вообще рассказ сделан крепко. Принесите нам что-нибудь другое. И подписывайтесь, пожалуйста, только псевдонимом. Вы же гимназист. Вас за это выгонят из гимназии.

Я забрал рассказ и спрятал его. Только на следующую весну я достал его, прочел и понял еще одно обстоятельство: в рассказе не чувствовалось автора — ни его гнева, ни мыслей, ни преклонения перед любовью Христи.

Тогда я снова переделал рассказ и отнес его редактору — не для печатания, а для оценки.

Редактор прочел его при мне, встал, похлопал меня по плечу и сказал только одно слово:

— Благословляю!

Так впервые я убедился в том, что главное для писателя — это с наибольшей полнотой и щедростью выразить себя в любой вещи, даже в таком маленьком рассказе, и тем самым выразить свое время и свой народ. В этом выражении себя ничто не должно сдерживать писателя — ни ложный стыд перед читателями, ни страх повторить то, что уже было сказано (но по-иному) другими писателями, ни оглядка на критиков и редактора.

Во время работы надо забыть обо всем и писать как бы для себя или для самого дорогого человека на свете.

Нужно дать свободу своему внутреннему миру, открыть для него все шлюзы и вдруг с изумлением увидеть, что в

твоем сознании заключено гораздо больше мыслей, чувств и поэтической силы, чем ты предполагал.

Творческий процесс в самом своем течении приобретает новые качества, усложняется и богатеет.

Это похоже на весну в природе. Солнечная теплота неизменна. Но она растапливает снег, нагревает воздух, почву и деревья. Земля наполняется шумом, плеском, игрой капель и талых вод — тысячами признаков весны, тогда как, повторяю, солнечная теплота остается неизменной.

Так и в творчестве. Сознание остается неизменным в своей сущности, но вызывает во время работы вихри, потоки, каскады новых мыслей и образов, ощущений и слов. Поэтому иногда человек сам удивляется тому, что написал.

Писателем может быть только тот, у кого есть что сказать людям нового, значительного и интересного, тот человек, который видит многое, чего остальные не замечают.

Что касается меня, то очень скоро я понял, что могу сказать до обидного мало. И что порыв к творчеству может так же легко угаснуть, как и возник, если оставить его без пищи. Слишком небогат и узок был запас моих житейских наблюдений.

В то время книга стояла у меня над жизнью, а не жизнь над книгой. Нужно было наполнить себя жизнью до самых краев.

Поняв это, я совершенно бросил писать — на десять лет — и, как говорил Горький, «ушел в люди», начал скитаться по России, менять профессии и общаться с самыми разными людьми.

Но это не была искусственно созданная жизнь. Я не был профессиональным наблюдателем или сборщиком фактов.

Нет! Я просто жил, не стараясь хоть что-нибудь записывать или запоминать для будущих книг.

Я жил, работал, любил, страдал, надеялся, мечтал, зная только одно — что рано или поздно, в зрелом возрасте или, может быть, даже в старости, но я начну писать, вовсе не оттого, что я поставил себе такую задачу, а потому, что этого требовало мое существо. И потому, что литература была для меня самым великолепным явлением в мире.

МОЛНИЯ

Как рождается замысел?

Почти не бывает двух замыслов, которые бы возникали и развивались одинаково. Очевидно, ответ на вопрос, «как рождается замысел», надо искать не вообще, а в связи с каждым отдельным рассказом, романом или повестью.

Легче ответить на вопрос, что нужно для того, чтобы замысел появился, или, говоря более сухим языком, чем должно быть обусловлено рождение замысла. Появление его всегда бывает подготовлено внутренним состоянием писателя.

Возникновение замысла, пожалуй, лучше всего объяснить путем сравнения. Сравнение вносит иногда удивительную ясность в самые сложные вещи.

Астронома Джинса спросили однажды, каков возраст нашей Земли.

— Представьте себе,— ответил Джинс,— исполинскую гору, хотя бы Эльбрус на Кавказе. И вообразите единственного маленького воробья, который беспечно скачет и клюет эту гору. Так вот, этому воробью, чтобы склевать до основания Эльбрус, понадобится примерно столько же времени, сколько существует Земля.

Сравнение, которое дало бы понять возникновение замысла, гораздо проще.

Замысел — это молния. Много дней накапливается над землей электричество. Когда атмосфера насыщена им до предела, белые кучевые облака превращаются в грозные грозовые тучи и в них из густого электрического пастоя рождается первая искра — молния.

Почти тотчас же вслед за молнией на землю обрушивается ливень.

Замысел, так же как молния, возникает в сознании человека, насыщенном мыслями, чувствами и заметками памяти. Накапливается все это исподволь, медленно, пока не доходит до той степени напряжения, которое требует неизбежного разряда. Тогда весь этот сжатый и еще несколько хаотический мир рождает молнию — замысел.

Для появления замысла, как и для появления молнии, нужен чаще всего ничтожный толчок.

Кто знает, будет ли это случайная встреча, запавшее в душу слово, сон, отдаленный голос, свет солнца в капле воды или гудок парохода.

Толчком может быть все, что существует в мире вокруг нас и в нас самих.

Лев Толстой увидел сломанный репейник — и вспыхнула молния: появился замысел изумительной повести о Хаджи-Мурате.

Но если бы Толстой не был на Кавказе, не знал и не слышал о Хаджи-Мурате, то, конечно, репейник не вызвал бы у него этой мысли. Толстой был внутренне подготовлен к этой теме, и только потому репейник дал ему нужную ассоциацию.

Если молния — замысел, то ливень — это воплощение замысла. Это стройные потоки образов и слов. Это книга.

Но в отличие от слепящей молнии, первоначальный замысел зачастую бывает неясным.

«И даль свободного романа я сквозь магический кристалл еще неясно различал».

Лишь постепенно замысел зреет, завладевает умом и сердцем писателя, обдумывается и усложняется. Но это так называемое «вынашивание замысла» происходит совсем по-иному, нежели представляют себе иные наивные люди. Оно не выражается в том, что писатель сидит, стиснув голову руками, или бродит, одинокий и дикий, выборматывая свои думы.

Совсем нет! Кристализация замысла, его обогащение идут непрерывно, каждый час, каждый день, всегда и повсюду, во всех случайностях, трудах, радостях и горестях нашей «быстротекущей жизни».

Чтобы дать замыслу созреть, писатель никогда не должен отрываться от жизни и целиком уходить «в себя». Наоборот, от постоянного соприкосновения с действительностью замысел расцветает и наливается соками земли.

Вообще о писательской работе существует много предвзятых мнений и предрассудков. Некоторые из них могут привести в отчаяние своей пошлостью.

Больше всего опошлено вдохновение.

Почти всегда оно представляется невеждам в виде выпученных в непонятном восхищении, устремленных в небо глаз поэта или закушенного зубами гусиного пера.

Многие, очевидно, помнят кинокартину «Поэт и царь». Там Пушкин сидит, мечтательно подняв глаза к небу, потом судорожно хватается за перо, начинает писать, оста-

навливается, вновь возводит глаза, грызет гусиное перо и опять торопливо пишет.

Сколько мы видели изображений Пушкина, где он похож на восторженного маньяка!

На одной художественной выставке я слышал любопытный разговор около скульптуры кургузого и как бы завитого пермаментом Пушкина с «вдохновенным» взором. Маленькая девочка долго смотрела, сморщившись, на этого Пушкина и спросила мать·

— Мама, он мечту мечтает? Или что?

— Да, доченька, дядя Пушкин мечтает мечту,— разнеженно ответила мать.

Дядя Пушкин «грезит грезу»! Тот Пушкин, что сказал о себе: «И долго буду тем любезен я народу, что чувства добрые я лирой пробуждал, что в наш жестокий век восславил я свободу и милость к падшим призывал!»

А если «святое» вдохновение «осеняет» (обязательно «святое» и обязательно «осеняет») композитора, то он, вздымая очи, плавно дирижирует для самого себя теми чарующими звуками, какие, несомненно, звучат сейчас в его душе,— совершенно так, как на слащавом памятнике Чайковскому в Москве.

Нет! Вдохновение — это строгое рабочее состояние человека. Душевный подъем не выражается в театральной позе и приподнятости. Так же как и пресловутые «муки творчества».

Пушкин сказал о вдохновении точно и просто: «Вдохновение есть расположение души к живому приятию впечатлений, следственно, к быстрому соображению понятий, что и способствует объяснению оных». «Критики,— сказал он вдобавок,— смешивают вдохновение с восторгом». Так же как читатели смешивают иногда правду с правдоподобием.

Это было бы еще полбеды. Но когда иные художники и скульпторы смешивают вдохновение с «телячьим восторгом», то это выглядит как полное невежество и неуважение к тяжелому писательскому труду.

Чайковский утверждал, что вдохновение — это состояние, когда человек работает во всю свою силу, как вол, а вовсе не кокетливо помахивает рукой.

Прошу извинить меня за это отступление, но все, о чем я говорил выше,— совсем не пустяк. Это признак того, что жив еще пошляк и обыватель.

Каждый человек хотя бы и несколько раз за свою жизнь, но пережил состояние вдохновения — душевного подъема, свежести, живого восприятия действительности, полноты мысли и сознания своей творческой силы.

Да, вдохновение — это строгое рабочее состояние, но у него есть своя поэтическая окраска, свой, я бы сказал, поэтический подтекст.

Вдохновение входит в нас как сияющее летнее утро, только что сбросившее туманы тихой ночи, забрызганное росой, с зарослями влажной листвы. Оно осторожно дышит нам в лицо своей целебной прохладой.

Вдохновение — как первая любовь, когда сердце громко стучит в предчувствии удивительных встреч, невообразимо прекрасных глаз, улыбок и недомолвок.

Тогда наш внутренний мир настроен тонко и верно, как некий волшебный инструмент, и отзывается на все, даже самые скрытые, самые незаметные звуки жизни.

О вдохновении написано много превосходных строк у писателей и поэтов. «Но лишь божественный глагол до слуха чуткого коснется» (Пушкин). «Тогда смиряется души моей тревога» (Лермонтов). «Приближается звук. И, покорна щемящему звуку, молодеет душа» (Блок). Очень точно сказал о вдохновении Фет:

Одним толчком согнать ладью живую
С наглаженных отливами песков,
Одной волной подняться в жизнь иную,
Учуять ветр с цветущих берегов,

Тоскливый сон прервать единым звуком,
Упиться вдруг неведомым, родным,
Дать жизни вздох, дать сладость тайным мукам,
Чужое вмиг почувствовать своим...

Тургенев называл вдохновение «приближением бога», озарением человека мыслью и чувством. Он со страхом говорил о неслыханном мучении для писателя, когда он начинает претворять это озарение в слова.

Толстой сказал о вдохновении, пожалуй, проще всех: «Вдохновение состоит в том, что вдруг открывается то, что можно сделать. Чем ярче вдохновение, тем больше должно быть кропотливой работы для его исполнения».

Но как бы мы ни определяли вдохновение, мы знаем, что оно плодотворно и не должно исчезнуть бесследно, не одарив собою людей.

БУНТ ГЕРОЕВ

В старое время, когда люди переезжали с квартиры на квартиру, для переноски вещей нанимали иногда арестантов из местной тюрьмы.

Мы, дети, всегда ждали появления этих арестантов со жгучим любопытством и жалостью.

Арестантов приводили усатые надзиратели с огромными револьверами «бульдогами» на поясах. Мы во все глаза смотрели на людей в серой арестантской одежде и серых круглых шапочках. Но почему-то с особенным уважением разглядывали мы тех арестантов, у которых были подвязаны ремешком к поясу звенящие тонкие кандалы.

Все это было очень таинственно. Но самым удивительным представлялось то обстоятельство, что почти все арестанты оказывались обыкновенными усталыми людьми и до того добродушными, что никак нельзя было поверить, что они злодеи и преступники. Наоборот, они были не то что вежливы, а просто деликатны, и больше всего боялись кого-нибудь ушибить при переноске громоздкой мебели или что-нибудь поломать.

У нас, детей, по соглашению со взрослыми, был выработан хитрый план. Мама уводила надзирателей на кухню пить чай, а мы в это время торопливо засовывали в карманы арестантам хлеб, колбасу, сахар, табак, а иногда и деньги. Их нам давали родители.

Мы воображали, что это рискованное дело, и были в восторге, когда арестанты благодарили нас шепотом, подмигивая в сторону кухни, и перепрятывали наши гостинцы подальше, во внутренние потайные карманы.

Иногда арестанты незаметно давали нам письма. Мы наклеивали на них марки и потом шли всей гурьбой бросать в почтовый ящик. Перед тем как бросить письмо в ящик, мы оглядывались: нет ли поблизости пристава или городового? Как будто они могли догадаться, какое письмо мы отправляем.

Среди арестантов я помню человека с седой бородой. Его называли старостой.

Он распоряжался переноской вещей. Вещи, особенно шкафы и пианино, застревали в дверях, их трудно было развернуть, а иногда они никак не становились на предназначенное для них новое место, сколько арестанты с

ними ни бились. Вещи явно сопротивлялись. В таких случаях староста говорил по поводу какого-нибудь шкафа:

— Ставьте его там, где ему хочется. Что вы его мордуете! Я пять лет перевожу вещи и характер ихний знаю. Раз вещь стоять здесь не желает, так сколько на нее не жми — не уступит. Поломается, а не уступит.

Я вспомнил об этой сентенции старого арестанта в связи с писательскими планами и поступками литературных героев. В поведении вещей и этих героев есть что-то общее. Герои часто вступают в борьбу с автором и почти всегда побеждают его. Но разговор об этом еще впереди.

Конечно, почти все писатели составляют планы своих будущих вещей. Некоторые разрабатывают их подробно и точно. Другие — очень приблизительно. Но есть писатели, у которых план состоит всего из нескольких слов, как будто не имеющих между собой никакой связи.

И только писатели, обладающие даром импровизации, могут писать без предварительного плана. Из русских писателей таким даром обладал в высокой степени Пушкин, а из современных нам прозаиков — Алексей Николаевич Толстой.

Я допускаю мысль, что писатель гениальный тоже может писать без всякого плана. Гений настолько внутренне богат, что любая тема, любая мысль, случай или предмет вызывают у него неиссякаемый поток ассоциаций.

Молодой Чехов сказал Короленко:

— Вот у вас стоит на столе пепельница. Хотите, я напишу сейчас же о ней рассказ.

И он бы написал его, конечно.

Можно представить себе, что человек, подобрав на улице измятый рубль, начнет с этого рубля свой роман, начнет как бы шутя, легко и просто. Но вскоре этот роман пойдет и вглубь и вширь, заполнится людьми, событиями, светом, красками и начнет литься свободно и ровно, подгоняемый воображением, требуя от писателя все новых жертв, требуя, чтобы писатель отдавал ему драгоценные запасы образов и слов.

И вот уже в повествовании, начавшемся со случайности, возникают мысли, возникает сложная судьба людей. И писатель уже не в силах справиться со своим волнением. Он, как Диккенс, плачет над страницами своей рукописи, стонет от боли, как Флобер, или хохочет, как Гоголь.

Так в горах от ничтожного звука, от выстрела из охот-

ничьего ружья начинает сыпаться по крутому склону блестящей полоской снег. Вскоре он превращается в широкую снежную реку, несущуюся вниз, и через несколько минут в долину срывается лавина, сотрясая грохотом ущелье и наполняя воздух искристой пылью.

Об этой легкости возникновения творческого состояния у людей гениальных и к тому же обладающих даром импровизации упоминают многие писатели.

Недаром Баратынский, хорошо знавший, как работал Пушкин, сказал о нем:

...Пушкин молодой, сей ветреник блестящий,
Все под пером своим шутя животворящий...

Я упомянул о том, что некоторые планы кажутся набором слов.

Вот небольшой пример. У меня есть рассказ «Снег». Перед тем как ему появиться, я исписал лист бумаги, и из этих записей и родился рассказ. Как же выглядят эти записи?

«Забытая книга о севере. Основной цвет севера — фольга. Пар над рекой. Женщины полощут белье в прорубях. Дым. Надпись на колокольчике у Александры Ивановны: «Я вишу у дверей,— звони веселей!» «И колокольчик, дар Валдая, звенит уныло под дугой». Их зовут «дарвалдаями». Война. Таня. Где она, в каком глухом городке? Одна. Тусклая луна за облаками,— страшная даль. Жизнь сжата в небольшой круг света. От лампы. Всю ночь что-то гудит в стенах. Ветки царапают о стекла. Мы очень редко выходим из дома в самую глухую пору зимней ночи. Это надо проверить... Одиночество и ожидание. Старый недовольный кот. Ему ничем нельзя угодить. Все как будто видно — даже витые свечи (оливковые) на рояле, но пока что ничего больше нет. Искала квартиру с роялем (певица). Эвакуация. Рассказ об ожидании. Чужой дом. Старомодный, по-своему уютный, фикусы, запах старого табака Стамболи или Месаксуди. Жил старик и помер. Ореховый письменный стол с желтыми пятнами на зеленом сукне. Девочка. Золушка. Нянька. Больше пока никого нет. Любовь, говорят, притягивает на расстоянии. Можно написать рассказ только об ожидании. Чего? Кого? Она сама не знает этого. Это разрывает сердце. На пересечении сотен дорог случайно сталкиваются люди, не зная, что вся их про-

шлая жизнь была подготовкой к этой встрече. Теория вероятности. Применительно к человеческим сердцам. Для дураков все просто. Страна тонет в снегах. Неизбежность появления человека. От кого-то всё приходят на имя умершего письма. Их складывают стопкой на столе. В этом — ключ. Какие письма? Что в них? Моряк. Сын. Страх перед тем, что он приедет. Ожидание. Нет предела доброте ее сердца. Письма превратились в действительность. Снова витые свечи. В ином качестве. Ноты. Полотенце с дубовыми листьями. Рояль. Березовый дым. Настройщик,— все чехи хорошие музыканты. Закутанный до глаз. Все ясно!»

Вот то, что можно с большой натяжкой назвать планом этого рассказа. Если прочесть эту запись, не зная рассказа, то станет понятно, что это хотя и медленное и неясное, но упорное нащупывание темы и сюжета.

Что же происходит с самыми точными, продуманными и выверенными писательскими планами? Правду сказать, жизнь у них большей частью короткая.

Как только в начатой вещи появляются люди и как только эти люди по воле автора оживают, они тотчас же начинают сопротивляться плану и вступают с ним в борьбу. Вещь начинает развиваться по своей внутренней логике, толчок для которой дал, конечно, писатель Герои действуют в соответствии с их собственным характером, несмотря на то что творцом этих характеров является писатель.

Если же писатель заставит героев действовать вопреки внутренней логике, если он силой вернет их в рамки плана, то герои начнут мертветь, превращаясь в ходячие схемы, в роботов.

Эту мысль очень просто высказал Лев Толстой.

Кто-то из посетителей Ясной Поляны обвинил Толстого в том, что он жестоко поступил с Анной Карениной, заставив ее броситься под поезд.

Толстой улыбнулся и ответил:

— Это мнение напоминает мне случай с Пушкиным. Однажды он сказал какому-то из своих приятелей: «Представь, какую штуку удрала со мной Татьяна. Она замуж вышла. Этого я никак не ожидал от нее». То же самое и я могу сказать про Анну Каренину. Вообще герои и героини мои делают иногда такие штуки, каких я не желал

бы! Они делают то, что должны делать в действительной жизни и как бывает в действительной жизни, а не то, что мне хочется.

Все писатели хорошо знают эту неподатливость героев. «Я в самом разгаре работы,— говорил Алексей Николаевич Толстой,— не знаю, что скажет герой через пять минут. Я слежу за ним с удивлением».

Случается, что второстепенный герой вытесняет остальных, сам становится главным, поворачивает весь ход повествования и ведет его за собой.

Вещь по-настоящему, со всей силой, начинает жить в сознании писателя только во время работы над ней. Поэтому в ломке и крушении планов нет ничего особенного и ничего трагического.

Наоборот, это естественно и свидетельствует только о том, что подлинная жизнь прорвалась, заполнила писательскую схему и раздвинула и сломала своим живым напором рамки первоначального писательского плана.

Но это ни в коей мере не опорочивает и план, так как роль писателя далеко не сводится лишь к тому, чтобы записывать все по подсказке жизни. Ведь жизнь образов в его произведении обусловлена сознанием писателя, его памятью, воображением, опытом, всем строем его души.

ИСТОРИЯ ОДНОЙ ПОВЕСТИ

«ПЛАНЕТА МАРЦ»

Попытаюсь вспомнить, как возник замысел моей повести «Кара-Бугаз». Как все это произошло?

Во времена моего детства в Киеве, на Владимирской горке над Днепром, каждый вечер появлялся старик в пыльной шляпе со свисающими полями. Он приносил облезлый телескоп и долго устанавливал его на трех погнутых железных ногах.

Старика этого звали «Звездочетом» и считали итальянцем, потому что он нарочно коверкал русские слова на иностранный лад.

Установив телескоп, старик говорил заученным, монотонным голосом:

— Любезные синьоры и синьорины! Буона джиорно! За пять копеек вы уноситесь с Земли на Луна и разные

звезды. Особенно рекомендую смотреть зловещую планету Марц, имеющую тон человеческой крови. Кто родился под знаком Марца, может враз погибнуть на войне от фузильерской пули.

Однажды я был с отцом на Владимирской горке и смотрел в телескоп на планету Марс.

Я увидел черную бездну и красноватый шар, бесстрашно висевший без всякой опоры среди этой бездны. Пока я смотрел на него, шар начал подбираться к краю телескопа и спрятался за его медный ободок. Звездочет слегка повернул телескоп и вернул Марс на прежнее место. Но тот опять начал сдвигаться к медному ободку.

— Ну как? — спросил отец.— Ты видишь что-нибудь?

— Да,— ответил я.— Я даже вижу каналы.

Я знал, что на Марсе живут люди — марсиане — и что они выкопали, неизвестно для чего, на своей планете громадные каналы.

— Ну, положим! — сказал отец.— Не выдумывай! Никаких каналов ты не видишь. Их заметил только один астроном — итальянец Скиапарелли — и то в большой телескоп.

Имя соотечественника Скиапарелли не произвело на Звездочета никакого впечатления.

— И еще я вижу какую-то планету налево от Марса,— сказал я неуверенно.— Но она почему-то бегает по небу во все стороны.

— Да яка ж це планета! — добродушно воскликнул Звездочет.— То якась гадючка заскочила тебе в глаз.

Он крепко взял меня за подбородок и ловко вытащил у меня из глаза соринку.

От зрелища Марса мне стало холодно и жутко. Я с облегчением оторвался от телескопа, и киевские улицы с их неяркими огнями, грохотом извозчичьих пролеток и пыльным запахом отцветающих каштанов показались мне уютными и надежными.

Нет, в то время у меня не было никакой охоты унестись с Земли на Луну или Марс!

— Почему он красный? — спросил я отца.

Отец рассказал мне, что Марс — умирающая планета, что она была такой же прекрасной, как наша Земля,— с морями, горными кряжами и буйной зеленью, но постепенно моря и реки высохли, зелень умерла, горы выветрились до основания, и Марс превратился в исполинскую

песчаную пустыню. Должно быть, горы на Марсе были из красного камня, поэтому и песок на Марсе красноватый.

— Значит, Марс — шар из песка? — спросил я.

— Да, пожалуй,— согласился отец.— То, что случилось с Марсом, может случиться и с нашей Землей. Она превратится в пустыню. Но это будет через многие миллионы лет. Так что ты не пугайся. Да в конце концов люди что-нибудь придумают к тому времени и прекратят это безобразие.

Я ответил, что совершенно не пугаюсь. Но на самом деле мне было и страшно и обидно за нашу Землю. К тому же дома я узнал от старшего брата, что уже сейчас пустыни занимают чуть ли не половину всей площади на Земле.

С тех пор боязнь пустыни (хотя я ее еще тогда и не видел) приобрела у меня навязчивый характер. И хотя я и читал в журнале «Вокруг света» заманчивые рассказы о Сахаре, самумах и «кораблях пустыни» — верблюдах, но они меня не прельщали.

Вскоре мне пришлось испытать первое знакомство с пустыней. Это еще усилило мой страх перед ней.

На лето мы всей семьей поехали в деревню к деду Максиму Григорьевичу.

Лето было дождливое, теплое. Густо росли травы. Крапива около плетней вытянулась в человеческий рост. Жито колосилось на полях. От огородов тянуло сочным укропом. Все предвещало богатый урожай.

Но однажды, когда я сидел с дедом на берегу реки и удил пескарей, дед вдруг поспешно встал, прикрыл ладонью глаза от солнца, долго всматривался в поля за рекой, потом с досадой плюнул и сказал:

— Катится, кат. чертяка! Чтоб ему сгинуть навеки!

Я посмотрел в ту сторону, куда глядел дед, но ничего не увидел, кроме длинного мутного вала. Он быстро приближался. Я думал, что это подходит гроза, но дед сказал:

— Та то ж суховей! Пекло проклятое! Ветер из Бухары, с пустыни. Все попалит! От какое несчастье наближается, Костик. Не буде чем даже дыхаты.

Зловещий вал несся по земле прямо на нас. Дед торопливо сматывал свою длинную удочку из орешины и говорил мне:

— Тикай до хаты, а то забьет глаза пылью. А я поплетусь следом. Тикай!

Я побежал к хате, но суховей настиг меня в пути. Вих-

ри неслись, шурша песком и подымая к небу птичий пух и щепки. Тяжелая муть заволокла все вокруг. Солнце вдруг сделалось косматым и багровым, как Марс. Закачались и засвистели ракиты. Сзади дохнуло таким жаром, будто у меня на спине затлела рубашка. Пыль трещала на зубах и порошила глаза.

На пороге хаты стояла моя тетушка Феодосия Максимовна и держала в руках икону, завернутую в шитый рушник.

— Господи, спаси и помилуй! — испуганно бормотала она.— Пречистая богородица, пронеси краем!

На хату налетел, кружась, смерч. Зазвенели плохо замазанные стекла. Солома на стрехе задралась. Из-под нее, как черные пули, залпом вылетели воробьи.

Отца с нами в то время не было — он остался в Киеве. Мама была заметно встревожена.

Я помню, что тяжелее всего был нарастающий жар Я думал, что через час-два загорится солома на крыше, а потом и у нас затлеют волосы и платье. Поэтому я заплакал.

К вечеру листья на густых ракитах поникли и висели, как серые тряпки. У всех плетней ветер намел сугробы мелкой, как мошкара, черноватой пыли.

К утру листва пожухла и высохла. Сорванные листья можно было растереть пальцами в порошок Ветер усилился. Он начал срывать эту мертвую, грязную листву, и многие деревья стояли уже обнаженные и черные, как поздней осенью

Дед ходил на поля и вернулся растерянный и жалкий. Он никак не мог развязать завязку у ворота своей посконной рубахи, руки у него тряслись, и он говорил

— Когда за ночь не утихомирится, то чисто попалит все жито. И садочки и огороды.

Но ветер не утихомирился. Он дул две недели, потом немного стих и задул с новой силой Земля на глазах превращалась в серое пепелище.

По хатам голосили женщины. Мужики понуро сидели на завалинках, прячась от ветра, ковыряли палками-дрючками землю и изредка говорили:

— Каменюка, а не земля! Прямо смерть ухопила тебя за свитку, и некуда кинуться человеку.

Из Киева приехал отец и забрал нас в город. Когда я начал расспрашивать его про суховей, он неохотно ответил:

— Пропал урожай. Пустыня идет на Украину.

— А можно что-нибудь сделать? — спросил я.

— Ничего. Не выстроишь же высокую каменную стену в две тысячи верст длиной.

— Почему? — спросил я. — Построили ведь китайцы свою Великую стену.

— Так то китайцы, — ответил отец. — Они были великие мастера, да и когда это было.

Эти детские впечатления с годами как будто забылись. Но конечно, они продолжали жить в глубине моей памяти и изредка прорывались наружу. Чаще всего во время засух, всегда вызывавших у меня непонятное беспокойство.

К зрелым своим годам я полюбил Среднюю Россию. Возможно, что толчком к этой любви была свежесть ее природы, обилие чистых и прохладных вод, сырые лесные чащи, моросящие, пасмурные дожди.

Поэтому, когда засуха докатывалась до Средней России и врезалась в нее палящим клином, мое беспокойство сменялось бессильной яростью против пустыни.

ЛИВЕНСКИЕ ГРОЗЫ

Прошло много времени, и пустыня опять напомнила о себе.

В 1931 году я поехал на лето в город Ливны Орловской области. Я готовил тогда к печати мой первый, давно написанный роман, и меня тянуло в какой-нибудь маленький городок, где нет ни души знакомых, где можно сосредоточиться и никто и ничто не помешает работать.

В Ливнах я никогда не был. Городок понравился мне чистотой, множеством цветущих подсолнухов, своими мостовыми из цельных каменных плит и рекой Быстрая Сосна, вырывшей ущелье в толще желтого девонского известняка.

Я снял комнату на окраине, в деревянном ветхом доме. Он стоял на обрыве над рекой. Позади дома тянулся и переходил в береговые заросли наполовину высохший сад.

У пожилого и робкого хозяина — продавца газет в станционном киоске — была мрачная, тощая жена и две дочери: старшая — Анфиса и младшая — Полина.

Полина — слабенькая, прозрачная, — когда разговаривала со мной, все время расплетала и заплетала от смущения русую косу. Ей было семнадцать лет.

Анфиса была статная девушка лет девятнадцати, с бледным лицом, строгими серыми глазами и низким голосом. Она ходила в черном, как послушница, и почти ничего не делала по дому,— только часами лежала в саду на сухой траве и читала.

На чердаке у хозяина было свалено много тронутых мышами книг, главным образом сочинений иностранных классиков в издании Сойкина. Я тоже брал с чердака эти книги.

Несколько раз я замечал сверху, из сада, Анфису на берегу Быстрой Сосны. Она сидела под крутым обрывом, около куста боярышника, рядом с хилым подростком, лет шестнадцати, светловолосым, тихим, с большими пристальными глазами.

Анфиса приносила ему тайком на берег чего-нибудь поесть. Мальчик ел, а Анфиса смотрела на него с нежностью и иногда гладила его по волосам.

Однажды я видел, как она вдруг закрыла лицо ладонями и затряслась от рыданий. Мальчик перестал есть и смотрел на нее с испугом. Я незаметно ушел и долго старался не думать об Анфисе и мальчике.

А я-то наивно рассчитывал, что в тихих Ливнах никто не вырвет меня из круга тех людей и событий, о которых я писал в своем романе! Но жизнь тотчас же разбила вдребезги мои наивные надежды. Конечно, ни о какой сосредоточенности, ни о каком покое для работы не могло быть и речи, пока я не узнаю, что с Анфисой.

Еще до того, как я увидел ее с мальчиком, я подумал, глядя на ее измученные глаза, что в жизни у нее есть какая-то горькая тайна.

Так оно и оказалось.

Через несколько дней я проснулся среди ночи от раскатов грома. Грозы в Ливнах бывали очень часто. Жители объсняли это тем, что Ливны стоят на залежах железной руды и будто бы эта руда и «присасывает» грозы.

Ночь металась за окнами, то распахиваясь стремительным белым огнем, то сжимаясь в непроглядную тьму. За стеной были слышны взволнованные голоса. Потом я услышал, как Анфиса гневно крикнула:

— Кто это придумал? В каком это законе написано, что мне нельзя его полюбить? Покажите мне этот закон! Дали мне жизнь, так не отымайте. Он с каждым днем чах-

нет, как свечечка. Как свечечка! — крикнула она и задохлась.

— Мать, уймись! — неуверенно прикрикнул хозяин на жену.— Пусть живет, дура, по своему сердцу. С ней не сладишь. А денег я тебе, Анфиса, все одно не дам

— Не нужны мне ваши проклятые деньги! — крикнула Анфиса.— Я сама заработаю, увезу его в Крым. Может, там он хоть лишний год проживет. Уйду я от вас все равно. Сраму вам не миновать. Так и знайте!

Я начал догадываться, что происходит За дверью в коридорчике кто-то тоже плакал и сморкался.

Я открыл дверь и при воровском блеске молнии увидел Полину. Она стояла, прижавшись лбом к стене, закутанная в длинную шаль

Я тихо окликнул ее. Гром расколол небо и, казалось, одним ударом вогнал домишко в землю по самую крышу. Полина испуганно схватила меня за руку.

— Господи! — прошептала она.— Что же это будет? А тут еще такая гроза!

Она рассказала мне шепотом, что Анфиса полюбила всем сердцем Колю, сына вдовы Карповны. Карповна ходит по домам, занимается стиркой. Женщина она тихая, бессловесная. А Коля больной, у него туберкулез. Анфиса нравная, горячая, с ней никто не справится. Она или сделает по-своему, или наложит на себя руки.

Голоса за стеной неожиданно замолкли. Полина убежала к себе. Я лег, но долго прислушивался и не мог заснуть. У хозяев все было тихо. Тогда я задремал. Сквозь дремоту я слышал ленивые раскаты грома и лай собак. Потом я уснул.

Проспал я, должно быть, очень недолго. Разбудил меня сильный стук в дверь. Стучал хозяин.

— Беда у нас,— сказал он за дверью мертвым голосом.— Не взыщите, что обеспокоил.

— А что случилось?

— Анфиса убежала. В чем была. Я пойду на Слободку, к Карповне. Наверное, она туда кинулась. А вы уж, пожалуйста, побудьте с моими. Жена лежит без памяти.

Я торопливо оделся, отнес хозяйке валерьянку. Полина окликнула меня, и я вышел с ней на крыльцо. Не могу объяснить почему, но я знал, что сейчас случится несчастье.

— Пойдемте на берег,— тихо сказала Полина.

— Фонарь у вас есть?

— Есть.

— Несите скорей.

Полина принесла тусклый фонарь, и мы спустились по скользкому обрыву к реке.

Я был уверен, что Анфиса где-то здесь, рядом.

— Анфиса-а-а! — вдруг отчаянно закричала Полина, и этот крик почему-то напугал меня. «Напрасно она закричала! — подумал я.— Напрасно!»

Молнии полыхали за рекой, уже обессиленные и тихие. Гром едва докатывался. В кустах на обрыве шуршали капли.

Мы пошли вниз по течению реки. Фонарь чуть светил. Потом прямо над головой небо загорелось от запоздалой молнии, и в ее свете я увидел, что впереди на берегу что-то белеет.

Я подошел к этому белому и нагнулся над ним. Я увидел платье Анфисы и ее сорочку. Тут же валялись ее мокрые туфли.

Полина закричала и бросилась назад, к дому. Я добежал до парома, разбудил перевозчика. Мы сели в дощаник и поплыли, все время пересекая реку от одного берега к другому и вглядываясь в воду.

— Нешто ночью найдешь, да еще при таком дожде! — говорил перевозчик и зевал — сон у него еще не прошел.— Пока не всплывет, все равно не сыщешь. Знать, и красивых смерть не щадит. Вот оно как, милый мой. Разделась, значит, чтобы легче было ей помирать. Ну и девица!

Нашли Анфису на следующее утро около плотины

В гробу она лежала невыразимо прекрасная, со своими влажными, тяжелыми косами червонного золота и виноватой улыбкой на бледных губах

Какая-то старушка сказала мне:

— Ты на нее не гляди, милый. Нельзя. Ведь это ж красота такая, что сердце невзначай разорвется.

Но я не мог не смотреть на Анфису. Впервые в жизни я сам оказался свидетелем той безмерной женской любви, которая сильнее смерти. До тех пор я читал о ней только в книгах и слышал о ней. Почему-то мне тогда подумалось, что такой любви больше всего отпущено на долю русских женщин.

На похоронах было много народу. Коля шел далеко позади — боялся родных Анфисы. Я хотел было подойти

к нему, но он бросился от меня, свернул в переулок и исчез.

Все было перевернуто на сердце, и я не мог больше написать ни строчки. Пришлось переехать с окраины в город, вернее — не в город, а на станцию, в низкий, темноватый дом железнодорожного врача Марии Дмитриевны Шацкой.

Незадолго до смерти Анфисы я проходил через городской сад. Около летнего кино сидело па земле множество мальчишек. Они, видимо, чего-то дожидались и трещали, как воробьи.

Но вот из кино появился седой человек, роздал мальчишкам билеты, и они, теснясь и переругиваясь, ринулись в зал.

Судя по моложавому лицу, седому человеку было не больше сорока лет. Он добродушно прищурился, посмотрел на меня, помахал мне рукой и ушел.

Я решил разузнать у мальчишек, что это за чудак. Вошел в кино и просидел полтора часа на старой картине «Красные дьяволята», слушая свист, топанье, возгласы восторга и ужаса и сопенье мальчишек.

Когда сеапс окончился, я вышел вместе с ними и спросил, что это за седой человек покупал им билеты.

Тотчас вокруг меня собрался крикливый мальчишеский митинг, и все более или менее прояснилось.

Оказалось, что седой человек — брат железнодорожного врача Марии Дмитриевны Шацкой. Он больной, «тронутый мозгами». Получает от Советского правительства большую пенсию. А за что — неизвестно. Раз в месяц, в тот день, когда ему приносят пенсию, он собирает всех станционных мальчишек и ведет их в кино.

Мальчишки точно знали, когда придет пенсия. В этот день они с раннего утра толклись около дома Шацкого, сидели в привокзальном палисаднике и делали вид, что очутились там совершенно случайно.

Вот все, что мне удалось узнать от мальчишек. Не считая, конечно, подробностей, не имевших отношения к делу. Например, что мальчишки из Ямской слободы тоже хотели примазаться к Шацкому, но станционные дали им сокрушительный отпор.

Моя хозяйка после смерти Анфисы так и не вставала

с постели, все жаловалась на сердце. Однажды к ней пришел врач — Мария Дмитриевна Шацкая, и я с ней познакомился. Это была высокая, весьма решительная женщина в пенсне. До пожилых лет она сохранила внешность курсистки.

От нее я узнал, что брат ее геолог, что он психически болен и действительно получает персональную пенсию за свои научные труды, широко известные и у нас и в Европе.

— Незачем вам здесь жить,— тоном врача, не привыкшего к возражениям, сказала мне Мария Дмитриевна.— Скоро осень, польют дожди, тут будет непролазная слякоть. Да и обстановка мрачноватая, куда тут работать! Переезжайте ко мне. У меня мать-старушка, брат да я, а квартира при станции в пять комнат. Брат деликатный человек и мешать вам не будет.

Я согласился и переехал к Марии Дмитриевне. Так я познакомился с геологом Василием Дмитриевичем Шацким — одним из будущих героев моей повести «Кара-Бугаз».

В доме было действительно тихо, даже как-то сонно. Мария Дмитриевна весь день пропадала в амбулатории и по больным, старушка-мать сидела за пасьянсом, а геолог редко выходил из своей комнаты. С утра он прочитывал от доски до доски газеты, потом почти до ночи что-то быстро писал, исписывая за день толстую общую тетрадь.

Изредка с пустынной станции доносились гудки единственного маневрового паровоза.

Шацкий сначала дичился меня, потом привык и начал разговаривать. В этих разговорах выяснился характер его болезни. С утра, пока Шацкий не уставал, он был совершенно здоровым человеком и интересным собеседником. Он много знал. Но при малейшей усталости начинался бред. В основе этого бреда лежала маниакальная идея, но развивалась она с неумолимой логикой.

История болезни Шацкого описана в «Кара-Бугазе». Во время геологической экспедиции в Среднюю Азию он попал в плен к белым. Его вместе с остальными пленными каждый день выводили на расстрел. Но Шацкому везло. Когда расстреливали по счету каждого пятого, он оказывался третьим, когда каждого второго — он оказывался первым. Он уцелел, но сошел с ума. Сестра с трудом отыскала его в Красноводске, где он жил в разбитом товарном вагоне.

Каждый день к вечеру Шацкий ходил на ливенскую почту и сдавал заказное письмо в Совет Народных Комиссаров. По просьбе Марии Дмитриевны, начальник почты эти письма в Москву не отправлял, а возвращал ей, и она их сжигала.

Меня интересовало, что пишет Шацкий в этих своих донесениях. Вскоре я это узнал.

Как-то вечером он вошел ко мне, когда я лежал и читал. Мои туфли стояли около койки, носками к середине комнаты.

— Никогда так не ставьте туфли,— сердито сказал Шацкий.— Это опасно.

— Почему?

— Сейчас узнаете.

Он вышел и через минуту принес мне лист бумаги.

— Прочтите! — сказал он.— Когда кончите, то постучите мне в стенку. Я приду и, если вы чего-нибудь не поняли, объясню.

Он ушел. Я начал читать:

«В Совет Народных Комиссаров. Неоднократно я предупреждал Совет Народных Комиссаров о приближении грозной опасности, сулящей гибель нашей стране.

Всем известно, что в геологических пластах заключена мощная материальная энергия (как, например, в каменном угле, нефти, сланце). Человек научился освобождать эту энергию и использовать ее.

Но мало кто знает, что в этих же пластах спрессована и психическая энергия тех эпох, когда эти пласты слагались.

Город Ливны стоит на самых мощных в Европе толщах девонского известняка. В девонский период на земле только что зарождалось сумеречное сознание, жестокое, лишенное малейших признаков человечности. Тусклый мозг панцирных рыб был тогда преобладающим.

Эта зачаточная психическая энергия сконцентрировалась в моллюсках-аммонитах. Окаменелыми аммонитами буквально насыщены пласты девонского известняка.

Каждый аммонит — маленький мозг того периода и заключает в себе огромную и злую психическую энергию.

За много веков люди, к счастью, не научились освобождать психическую энергию геологических напластований. Я говорю «к счастью» потому, что эта энергия, если бы ее удалось вывести из состояния покоя, погубила бы всю ци-

вилизацию. Люди, отравленные ею, превратились бы в жестоких зверей и ими руководили бы только низменные, слепые инстинкты. А это означало бы гибель культуры.

Но, как я уже неоднократно сообщал Совету Народных Комиссаров, фашисты нашли способ развязывать психическую энергию девона и оживлять аммониты.

Поскольку самые богатые толщи девона лежат под нашими Ливнами, то именно здесь фашисты и собираются выпустить эту энергию. Если это удастся, то невозможно будет предотвратить моральную, а затем и физическую гибель всего человеческого рода.

План освобождения психической энергии девона в районе Ливен разработан фашистами до мельчайших подробностей. Как все сложнейшие планы, он легко уязвим. Стоит не предусмотреть пустую мелочь — и план сорвется.

Поэтому, помимо необходимости немедленно окружить Ливны крупными воинскими соединениями, следует дать строжайшее распоряжение жителям города, чтобы они отказались от привычных поступков (поскольку план фашистов рассчитан именно на привычное течение жизни в Ливнах) и совершали бы поступки как раз обратные тем, каких могли бы ожидать фашисты. Поясню это примером. Все граждане Ливен, ложась спать, ставят свою обувь около постели носками к середине комнаты. Впредь следует ставить ее носками к стене. Именно эта частность, возможно, не предусмотрена планом и от такого, в сущности, пустяка он будет сорван.

Должен добавить, что естественное (правда, ничтожное) просачивание психической заразы из пластов девона в Ливнах приводит к тому, что нравы этого города гораздо грубее, чем в других такого же размера и типа городах. Три города стоят на толщах девонского известняка: Кромы, Ливны и Елец. Недаром о них существовала старая поговорка: «Кромы — всем ворам хоромы, Ливны — ворами дивны, а Елец — всем ворам отец».

Эмиссаром фашистского правительства в Ливнах является местный аптекарь».

Теперь мне стало ясно, почему Шацкий повернул мои туфли носками к стене. Вместе с тем мне стало жутко. Я понял всю непрочность спокойствия в семье Шацких. Каждую минуту можно было ждать взрыва.

Вскоре я заметил, что эти взрывы случались не так уж редко, но мать Шацкого и Мария Дмитриевна умели скрывать их от посторонних.

На следующий вечер, когда все мы сидели за чайным столом и мирно разговаривали о гомеопатии, Шацкий взял крынку с молоком и спокойно вылил молоко в самоварную трубу. Старушка-мать вскрикнула. Мария Дмитриевна строго посмотрела на Шацкого и сказала:

— Ты чего чудишь?

Шацкий, виновато улыбаясь, начал объяснять, что именно такой дикий поступок с молоком и самоваром наверняка не предусмотрен фашистами в их плане и потому, конечно, разрушит этот план и спасет человечество.

— Иди к себе! — так же строго сказала Мария Дмитриевна, встала и с сердцем открыла настежь окна, чтобы выпустить из комнаты чад пригорелого молока.

Шацкий, опустив голову, покорно ушел к себе.

Но в свои «ясные часы» Шацкий охотно и много говорил. Тогда-то я и узнал, что он больше всего работал в Средней Азии и был одним из первых исследователей Кара-Бугазского залива.

Он обошел его восточные берега. В то время это считалось предприятием почти смертельным. Он описал их, нанес на карту и открыл в сухих горах вблизи залива присутствие каменного угля.

От Шацкого я впервые узнал о Кара-Бугазе — устрашающем и загадочном заливе Каспийского моря, о неисчерпаемых запасах мирабилита в его воде, о возможности уничтожения пустыни.

Пустыню Шацкий ненавидел так, как можно ненавидеть только живое существо,— страстно и неумолимо. Он называл ее сухой язвой, струпом, раком, разъедающим землю, непонятной подлостью природы.

— Пустыня умеет только убивать,— говорил он.— Это смерть. Человечество должно понять это. Если оно, конечно, не спятило с ума.

Странно было слышать такие слова от сумасшедшего.

— Ее надо скрутить в бараний рог, не давать ей дохнуть, бить ее непрерывно, смертельно, беспощадно. Бить без устали, пока она не сдохнет. И на ее трупе вырастить влажный тропический рай.

Он разбудил во мне дремавшую ненависть к пустыне — отголосок моих детских переживаний.

— Если бы люди,— говорил Шацкий,— потратили на истребление пустыни только половину средств и сил, какие они тратят на взаимное убийство, то пустыня давно бы исчезла. Войне отдают все народные богатства и миллионы человеческих жизней. И науку и культуру. Даже поэзию сумели сделать сообщницей массовой резни.

— Вася! — громко сказала из своей комнаты Мария Дмитриевна.— Успокойся! Войны больше не будет. Никогда.

— Никогда — это ерунда! — неожиданно ответил ей Шацкий.— Не дальше как сегодня ночью оживут аммониты. И знаете где? Около Адамовской мельницы. Пойдемте прогуляемся и проверим.

Начинался бред. Мария Дмитриевна увела брата, дала ему «бехтеревки» и уложила в постель.

Мне же хотелось поскорей закончить роман, чтобы начать новую книгу об уничтожении пустыни. Так появился еще неясный замысел «Кара-Бугаза».

Из Ливен я уехал поздней осенью. Перед отъездом я пошел к прежним хозяевам попрощаться.

Были сумерки. Лед трещал в колеях. Сады почти осыпались, но кое-где еще висели на яблонях сухие розовые листья. В застывшем небе гасло последнее облако, освещенное холодным закатом.

Полина шла рядом со мной и доверчиво держала меня за руку. От этого она казалась мне маленькой девочкой, и нежность к ней — одинокой и застенчивой — заполнила мое сердце.

Из городского кино долетала заглушенная музыка. В домах зажигались огни. Самоварный дымок висел над садами. За голыми ветками деревьев уже блестели звезды.

Непонятное волнение сжало мне сердце, и я подумал, что ради этой прекрасной земли, даже ради одной такой девушки, как Полина, нужно звать людей к борьбе за радостное и осмысленное существование. Все, что угнетает и печалит человека, все, что вызывает хотя бы одну слезу, должно быть вырвано с корнем. И пустыни, и войны, и несправедливость, и ложь, и пренебрежение к человеческому сердцу.

Полина дошла со мной до первых городских домов. Там я попрощался с ней. Она потупилась, начала расплетать свою русую косу и неожиданно сказала:

— Я буду много читать теперь, Константин Георгиевич.

Она подняла смущенные глаза, протянула мне руку и быстро пошла домой.

Я ехал в Москву в переполненном жестком вагоне.

Ночью я вышел покурить в тамбур, опустил окно и высунулся наружу.

Поезд несся по насыпи сквозь облетевшие леса. Их почти не было видно. Они больше угадывались по звуку — по тому торопливому эху, которое рождал в их чащах грохот колес. Воздух, будто остуженный на зернистом снегу, веял в лицо запахом подмерзшей листвы.

А над лесами мчалось, не отставая от поезда, дымясь от нестерпимо ярких звезд, осеннее полуночное небо. Коротко гремели мосты. Несмотря на быстрый ход поезда, можно было заметить под ними мгновенные отблески звезд в темной — не то болотной, не то речной — воде

Поезд грохотал, гремел, в пару, в дыму. Пылали, догорая, свечи в дребезжащих фонарях. За окнами пролетали по траектории багровые искры. Паровоз ликующе кричал, опьяненный собственным стремительным ходом.

Я был уверен, что поезд мчит меня к счастью. Замысел новой книги уже роился у меня в голове. Я верил в то, что напишу ее.

Я пел, высунувшись из окна, какие-то бессвязные слова о ночи, о том, что нет на свете милее края, чем Россия. Ветер щекотал лицо, как распустившиеся душистые девичьи косы. Мне хотелось целовать эти косы, этот ветер, эту холодную родниковую землю. Но я не мог этого сделать и только бессвязно пел, как одержимый, и удивлялся красоте неба на востоке, где проступала очень слабая, очень нежная синева.

Я удивлялся прелести неба на востоке, его чистому, слабому сиянию, пока не сообразил, что это занимается новая заря.

Все, что я видел за окном, и весь тот хаос радости, что бился в груди, соединились непонятным для меня образом в решении — писать, писать и писать!

Но о чем писать? В тот миг для меня было безразлично, вокруг чего соберутся, к какой теме будут притянуты, как магнитом, мои мысли о прелести земли, мое страстное желание оградить ее от истощения, чахлости и смерти.

Через некоторое время эти мысли вылились в замысел «Кара-Бугаза». А могли вылиться и в замысел какой-нибудь другой книги, но обязательно наполненной тем же главным содержанием, теми же чувствами, что владели мной в то время. Очевидно, замысел почти всегда исходит из сердца.

С тех пор началась новая полоса жизни — так называемое «вынашивание» замысла, вернее — наполнение его реальным содержанием.

ИЗУЧЕНИЕ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ КАРТ

В Москве я достал подробную карту Каспийского моря и долго странствовал (в своем воображении, конечно) по его безводным восточным берегам.

Еще в детстве у меня появилось пристрастие к географическим картам. Я мог сидеть над ними по нескольку часов, как над увлекательной книгой.

Я изучал течения неведомых рек, прихотливые морские побережья, проникал в глубину тайги, где маленькими кружочками были отмечены безыменные фактории, повторял, как стихи, звучные названия — Югорский Шар и Гебриды, Гвадаррама и Инвернесс, Онега и Кордильеры.

Постепенно все эти места оживали в моем воображении с такой ясностью, что, кажется, я мог бы написать вымышленные путевые дневники по разным материкам и странам.

Даже мой романтически настроенный отец не одобрял этого чрезмерного увлечения географическими картами.

Он говорил, что оно сулит мне много разочарований.

— Если жизнь сложится удачно,— говорил отец,— и ты сможешь путешествовать, то наживешь себе одни огорчения. Ты увидишь совсем не то, что выдумал. Например, Мексика может оказаться пыльной и нищей страной, а небо над экватором — серым и скучным.

Я не верил отцу. Я не мог представить, чтобы экваториальное небо бывало хоть когда-нибудь серым. По-моему, оно было таким густым, что даже снега на Килиманджаро приобретали его индиговый цвет.

Но как бы то ни было, я ничего не мог поделать с этим увлечением. А потом, в зрелом возрасте, для меня с очевидностью выяснилось, что отец был не совсем прав.

Когда я впервые попал, например, в Крым (его я до того вдоль и поперек изучил по карте), то, конечно, он оказался совсем другим, чем я о нем думал.

Но мое предварительное представление о Крыме заставило меня увидеть его с гораздо большей зоркостью, чем если бы я приехал в Крым без всякого понятия о нем.

На каждом шагу я находил то, чего не было в моем воображении, и эти новые черты Крыма особенно хорошо запоминались.

Мне кажется, что так же велика и роль нашего заочного «знакомства» с некоторыми людьми.

У каждого есть свое представление, скажем, о Гоголе. Но если бы могло случиться так, что мы увидели его в жизни, то заметили бы много черт, не совпадающих с нашим представлением о нем. И именно эти черты свежо и сильно врезались бы в память.

А если бы этого предварительного представления не было, то, может быть, мы многого и не заметили бы в Гоголе и он оставался бы для нас совершенно обычным человеком.

Мы привыкли представлять себе Гоголя несколько унылым, мнительным и флегматичным. Поэтому мы сразу заметили бы те его качества, которые далеки от этого образа,— блеск глаз, живость, даже некоторую вертлявость, смешливость, изящество одежды и сильный украинский акцент.

Эти мысли мне трудно выразить с полной убедительностью, но я думаю, что это именно так.

Привычка странствовать по картам и видеть в своем воображении разные места помогает правильно увидеть их в действительности.

На этих местах всегда остается как бы легчайший след вашего воображения, дополнительный цвет, дополнительный блеск, некая дымка, не позволяющая вам смотреть на них скучными глазами.

Итак, в Москве я уже странствовал по угрюмым берегам Каспийского моря и одновременно с этим читал много книг, научных докладов и даже стихов о пустыне — почти всё, что мог найти в Ленинской библиотеке.

Я читал Пржевальского и Анучина, Свена Гедина и Вамбери, Мак-Гахама и Грум-Гржимайло, дневники Шевченко на Мангышлаке, историю Хивы и Бухары, доклад-

ные записки лейтенанта Бутакова, труды путешественника Карелина, геологические изыскания и стихи арабских поэтов.

Великолепный мир человеческой пытливости и знаний открылся передо мной.

Наконец пришла пора ехать на Каспий, в Кара-Бугаз, но у меня не было денег.

Деньги я все же, хотя и с великим трудом, достал и поехал в Саратов, а оттуда спустился по Волге до Астрахани. Там я и застрял. Скудные мои средства кончились, и мне пришлось, чтобы двинуться дальше, написать в Астрахани несколько очерков для журнала «Тридцать дней» и для астраханской газеты.

Для того чтобы написать эти очерки, я ездил в Астраханскую степь и на Эмбу. Эти поездки также помогли мне написать книгу о Кара-Бугазе.

На Эмбу я плыл по Каспийскому морю вдоль берегов, заросших широкой полосой тростника. Старый колесный пароход назывался странно — «Гелиотроп». Как на всех старых пароходах, на нем было много красной меди. Поручни, компасы, бинокли, всякие приборы и даже высокие пороги кают — все это было медное. «Гелиотроп» напоминал начищенный кирпичом до яркого блеска бокастый дымящийся самовар, болтающийся на невысоких волнах мелкого моря.

Тюлени лежали в теплой воде этого моря вверх брюхом, как купальщики. Изредка они лениво шевелили пухлыми ластами.

На рыбачьих плавучих пристанях — рыбницах — свистели и хохотали вслед «Гелиотропу» белозубые девушки в синих матросских робах. Щеки у них были залеплены чешуей.

Белые облака и белые песчаные острова отражались в глянцевитой воде, и временами их было невозможно отличить друг от друга.

Городишко Гурьев курился кизячным дымком, а на Эмбу я ехал через безводную степь в только что пущенном моторном поезде.

В Доссоре на Эмбе сопели среди озер с ярко-розовой водой нефтяные насосы, пахло рассолом. В окнах домов не было стекол. Их заменяли частые металлические сетки. На них сидело снаружи столько гнуса, что в комнатах было темно.

При мне одного из инженеров укусила фаланга. Он через день умер.

Средняя Азия дышала зноем. Звезды по ночам светили сквозь пыль. Старые казахи ходили по улицам в широких коротких шароварах из набивного ситца с пестрым рисунком — по розовой ткани были разбросаны огромные черные пионы и зеленые листья.

Но из каждой поездки я возвращался в Астрахань, в деревянный домик одного из сотрудников астраханской газеты. Он затащил меня к себе, и я у него прижился.

Домик стоял на берегу Варвациева канала, в маленьком саду, где горами цвела настурция.

Я писал свои очерки в беседке — такой крошечной, что там мог поместиться только один человек. Там же я и ночевал.

Жена журналиста, болезненная и приветливая молодая женщина, весь день тайком плакала на кухне, перебирая распашонки,— у нее два месяца назад умер только что родившийся мальчик.

Из Астрахани я уехал в Махачкалу, Баку и Красноводск. Все дальнейшее описано у меня в «Кара-Бугазе».

Я возвратился в Москву, но через несколько дней мне опять пришлось уехать корреспондентом на Северный Урал — в Березники и Соликамск.

Из неправдоподобной азиатской жары я попал в край сумрачных елей, болот, покрытых лишаями гор и ранней зимы.

Там я начал писать «Кара-Бугаз» — в гостинице в Соликамске. Она помещалась в бывшем монастырском здании

В гостинице пахло XVII веком — ладаном, хлебом, кожами. По ночам сторожа в тулупах отбивали часы в чугунные доски. В мутном свете снегов белели древние алебастровые соборы времен «царствования Строгановых».

Ничто здесь не напоминало об Азии, и от этого мне было почему-то легче писать о ней.

Вот очень короткая, переданная скороговоркой, история «Кара-Бугаза». Нет возможности не только рассказать, но просто перечислить все встречи, поездки, разговоры и случаи, которые были связаны у меня с Кара-Бугазом.

Вы, конечно, заметили, что только часть — и то, пожа-

луй, небольшая — собранного материала вошла в повесть. Бо́льшая часть его осталась за бортом книги.

Но жалеть об этом не стоит. Этот материал в любое время может ожить на страницах новой книги.

Я писал «Кара-Бугаз» и не думал о правильном расположении материала. Я располагал его в той последовательности, в какой он накапливался во время поездки по берегам Каспийского моря.

После выхода «Кара-Бугаза» критики нашли в этой повести «композицию по спирали» и очень этому радовались. Но я в этом не виноват ни умом, ни сердцем.

Когда я работал над «Кара-Бугазом», я думал главным образом о том, что многое в нашей жизни наполнено лирическим и героическим звучанием, которое можно выразить живописно и точно. Будь то повесть о глауберовой соли или о постройке бумажной фабрики в северных лесах.

Все это способно с огромной силой ударить по сердцам, но при непременном условии, что человек, пишущий эти повести, стремится к правде, верит в силу разума, в спасительную власть сердца и любит землю.

ЗАРУБКИ НА СЕРДЦЕ

О, память сердца! Ты сильней
Рассудка памяти печальной

Батюшков

Читатели часто спрашивают людей пишущих, каким образом и долго ли они собирают материал для своих книг. И обыкновенно очень удивляются, когда им отвечают, что никакого нарочитого собирания материала нет и не бывает.

Сказанное выше не относится, конечно, к изучению материала научного и познавательного, необходимого писателю для той или иной книги. Речь идет только о наблюдениях живой жизни.

Жизненный материал — все то, что Достоевский называл «подробностями текущей жизни»,— не изучают. Просто писатели живут, если можно так выразиться, внутри этого материала,— живут, страдают, думают, радуются, участвуют в больших и малых событиях, и каждый день жизни оставляет, конечно, в их памяти и сердце свои заметы и свои зарубки.

Необходимо, чтобы у читателей (а кстати, и у иных молодых писателей) исчезло представление о писателе как о человеке, бродящем повсюду с неизменной записной книжкой в руках, как о профессиональном «записывателе» и соглядатае жизни.

Тот, кто будет заставлять себя накапливать наблюдения и носиться со своими записями («как бы чего не забыть»), конечно, наберет без разбору груды наблюдений, но они будут мертвыми. Иначе говоря, если эти наблюдения перенести из записной книжки в ткань живой прозы, то почти всегда они будут терять свою выразительность и выглядеть чужеродными кусками.

Никогда нельзя думать, что вот этот куст рябины или вот этот седой барабанщик в оркестре понадобятся мне когда-нибудь для рассказа, и потому я должен особенно пристально, даже несколько искусственно, их наблюдать. Наблюдать, так сказать, «по долгу службы», из чисто деловых побуждений.

Никогда не следует насильственно втискивать в прозу хотя бы и очень удачные наблюдения. Когда понадобится, они сами войдут в нее и станут на место. Писатель часто бывает удивлен, когда какой-нибудь давно и начисто позабытый случай или какая-нибудь подробность вдруг расцветают в его памяти именно тогда, когда они бывают необходимы для работы.

Одна из основ писательства — хорошая память.

Может быть, все эти мысли станут яснее, если я расскажу о том, как был написан мною рассказ «Телеграмма».

Я поселился поздней осенью в деревне под Рязанью, в усадьбе известного в свое время гравера Пожалостина. Там одиноко доживала свой век дряхлая ласковая старушка — дочь Пожалостина, Катерина Ивановна. Единственная ее дочь, Настя, жила в Ленинграде и совсем позабыла о матери — она только раз в два месяца присылала Катерине Ивановне деньги.

Я занял одну комнату в гулком, большом доме с почернелыми бревенчатыми стенами. Старушка жила на другой половине. К ней надо было проходить через пустые сени и несколько комнат со скрипучими, пыльными половицами.

Кроме старушки и меня, в доме больше никто не жил. Дом этот считался мемориальным.

Позади двора с обветшалыми службами шумел на ветру большой и такой же запущенный, как и дом, сырой и озябший сад.

Я приехал работать и первое время писал у себя в комнате с утра до темноты. Темнело рано. В пять часов надо было уже зажигать старую керосиновую лампу с абажуром в виде тюльпана из матового стекла.

Но потом я перенес работу на вечер. Было жаль просиживать немногие дневные часы в комнате, когда я мог в это время бродить по лесам и лугам, уже готовым к приходу зимы.

Я бродил подолгу и видел много примет осени. По утрам в лужах под стеклянной коркой льда были видны пузыри воздуха. Иногда в таком пузыре лежал, как в полом хрустальном шаре, багровый или лимонный лист осины или березы. Мне нравилось разбивать лед, доставать эти замерзшие листья и приносить их домой. Скоро у меня на подоконнике собралась целая куча таких листьев. Они отогрелись, и от них тянуло запахом спирта.

Лучше всего было в лесах. По лугам дул ветер, а в лесах стояла похрустывающая ледком сумрачная тишина. Может быть, в лесах было особенно тихо от темных облаков. Они так низко нависали над землей, что кроны сосен закутывались подчас туманом.

Иногда я ходил удить рыбу на протоки Оки. Там в зарослях от терпкого запаха ивовых листьев как будто сводило кожу на лице. Вода была черная, с глухим зеленоватым отливом. Рыба брала по осени редко и осторожно.

А потом полили дожди, растрепали сад, прибили к земле почернелую траву. В воздухе запахло водянистым снегом.

Много было примет осени, но я не старался запоминать их. Однако я знал твердо — что никогда не забуду этой осенней горечи, чудесным образом соединенной с легкостью на душе и простыми и ясными мыслями.

Чем угрюмее были тучи, волочившие по земле мокрые, обтрепанные подолы, чем холоднее дожди, тем свежее становилось на сердце, тем легче, как бы сами по себе, ложились на бумагу слова.

Важно было ощущение осени, тот строй чувств и мыслей, какой она вызывала. А все, что называется материа-

лом,— люди, события, отдельные частности и подробности,— это, как я знал по опыту, надежно спрятано до поры до времени где-то внутри этого ощущения осени. И как только я вернусь к этому ощущению в каком-нибудь рассказе, то все это тотчас появится в памяти и перейдет на бумагу.

Я не изучал тот старый дом, где жил, как материал для рассказа. Я просто полюбил его за угрюмость и тишину, за бестолковый стук ходиков, постоянный запах березового дыма из печки, старые гравюры на стенах (их осталось очень мало, так как почти все гравюры у Катерины Ивановны забрал областной музей): «Автопортрет» Брюллова, «Несение креста», «Птицелов» Перова и портрет Полины Виардо.

Стекла в окнах были старенькие и кривые. Они переливались радужным блеском, и язычок свечи отражался в них почему-то два раза.

Вся мебель — диваны, столы и стулья — была сделана из светлого дерева, блестела от времени и пахла кипарисом, как иконы.

В доме было много смешных и уже ненужных вещей: медные ночники в виде факелов, замки с секретом, фарфоровые пузатые флакончики с окаменелыми кремами и надписью на этикетках «Париж», запыленный букетик камелий, сделанный из воска (он висел на огромном заржавленном костыле), круглая щеточка, чтобы стирать с ломберного стола записанные мелком карточные взятки.

Было три толстых календаря — за 1848, 1850 и 1852 годы. Там в списках придворных дам я нашел Наталью Николаевну Ланскую — жену Пушкина — и Елизвету Ксаверьевну Воронцову — женщину, связанную с Пушкиным любовью. И почему-то мне стало грустно от этого. До сих пор не понимаю: почему? Может быть, оттого, что в доме было мертвенно-тихо. Далеко на Оке, около Кузьминского шлюза, кричал пароход, и неотступно вспоминались стихи:

> Ненастный день потух; ненастной ночи мгла
> По небу стелется одеждою свинцовой;
> Как привидение, за рощею сосновой
> Луна туманная взошла...

По вечерам я приходил к Катерине Ивановне пить чай.

Она сама уже плохо видела, и к ней прибегала раза два-три за день для всяких мелких хозяйственных поде-

лок соседская девочка Нюрка, по характеру своему угрюмая и всем недовольная.

Нюрка ставила самовар и пила с нами чай, громко высасывая его из блюдечка. На все тихие речи Катерины Ивановны Нюрка отзывалась только одними словами:

— Ну вот еще! Чего выдумали!

Я ее стыдил, но она и мне говорила:

— Ну вот еще! Будто я ничего не понимаю, будто я совсем серая!

Но на деле Нюрка, пожалуй, единственная любила Катерину Ивановну. И вовсе не за то, что иногда Катерина Ивановна дарила ей то старую бархатную шляпу с чучелом птицы колибри, то стеклярусовую наколку или желтое от времени кружевце.

Катерина Ивановна жила когда-то с отцом в Париже, знала Тургенева, была на похоронах Виктора Гюго. Она рассказывала мне об этом, а Нюрка говорила:

— Ну вот еще! Чего выдумали!

Но Нюрка долго не засиживалась и уходила домой укладывать спать «своих младшеньких».

Катерина Ивановна никогда не выпускала из рук старенькую атласную сумочку. Там у нее хранились все ее богатства: письма Насти, скудные деньги, паспорт, фотография той же Насти — красивой женщины с тонкими изломанными бровями и затуманенным взглядом — и пожелтевшая фотография самой Катерины Ивановны, когда она была еще девушкой,— воплощение нежности и чистоты.

Катерина Ивановна никогда ни на что не жаловалась, кроме как на старческую слабость. Но я знал от соседей и от бестолкового доброго старика Ивана Дмитриевича, сторожа при пожарном сарае, что у Катерины Ивановны не жизнь, а одно горе горькое. Настя вот уже четвертый год как не приезжает,— забыла, значит, мать, а дни у Катерины Ивановны считанные. Не ровен час, так и умрет она, не повидав дочери, не приласкав ее, не погладив ее русые волосы «очаровательной красоты» (так говорила о них Катерина Ивановна).

Настя присылала Катерине Ивановне деньги, но и то, бывало, с перерывами. Как Катерина Ивановна жила во время этих перерывов — никому не известно.

Однажды Катерина Ивановна попросила меня проводить ее в сад,— в нем она не была с ранней весны, все не пускала слабость.

— Дорогой мой,— сказала Катерина Ивановна,— уж вы не взыщите с меня, со старой. Хочется мне напоследок посмотреть сад. В нем я еще девушкой зачитывалась Тургеневым. Да и кое-какие деревья я посадила сама.

Она одевалась очень долго. Надела старый теплый салопчик, теплый платок и, крепко держась за мою руку, медленно спустилась с крылечка.

Уже вечерело. Сад облетел. Палые листья мешали идти. Они громко трещали и шевелились под ногами. На зеленеющей заре зажглась звезда. Далеко над лесом висел серп месяца.

Катерина Ивановна остановилась около обветренной липы, оперлась о нее рукой и заплакала.

Я крепко держал ее, чтобы она не упала. Плакала она, как очень старые люди, не стыдясь своих слез.

— Не дай вам бог, родной мой,— сказала она мне,— дожить до такой одинокой старости! Не дай вам бог!

Я осторожно повел ее домой, а вечером Катерина Ивановна дала мне почитать связку желтых от старости писем, оставшихся от отца.

Там были письма художника Крамского и гравера Иордана из Рима. Иордан писал о своей дружбе со знаменитым датским скульптором Торвальдсеном, об удивительных мраморных статуях Латерана.

Я читал эти письма, как всегда, ночью. Ветер проносился за стеной, шумел в мокрых голых кустах, и лампа потрескивала, как бы разговаривая от скуки сама с собой. Почему-то странно и хорошо было читать эти письма из Рима именно здесь, в ненастную ночь, слушая, как деревенский сторож стучит у околицы в колотушку.

Тогда я заинтересовался Торвальдсеном, достал потом в Москве все, что можно было прочесть о нем, узнал о его дружбе со сказочником Христианом Андерсеном и несколько лет спустя написал об Андерсене рассказ. Этим рассказом я тоже был обязан старому деревенскому дому.

А еще через несколько дней Катерина Ивановна слегла и уже не вставала. У нее ничего не болело. Жаловалась она только на усталость.

Я послал телеграмму Насте в Ленинград. Нюрка перебралась в комнату Катерины Ивановны, чтобы на всякий случай быть поближе.

Однажды ночью Нюрка сильно застучала ко мне в стенку и крикнула испуганным голосом:

— Идите! Бабка помирает!

Катерина Ивановна лежала без сознания и только чуть заметно дышала. Я попробовал пульс — он не бился, а тихо дрожал, тоненький, как паутина.

Я оделся, зажег фонарь и пошел в сельскую больницу за доктором. Больница стояла далеко в лесу. Черный ветер нес с порубки запах опилок. Была поздняя ночь, даже не лаяли собаки.

Врач впрыснул Катерине Ивановне камфору, повздыхал и ушел, сказав напоследок, что это агония, но длиться она будет долго, потому что у Катерины Ивановны хорошее сердце.

Умерла Катерина Ивановна к утру. Мне пришлось закрыть ей глаза. Я, должно быть, никогда не забуду, как я осторожно прижал ее полузакрытые веки и неожиданно из-под них скатилась тусклая слеза.

Нюрка, задыхаясь от плача, дала мне помятый конверт и сказала:

— Тут Катерина Ивановна велела, в чем ее хоронить.

Я вскрыл конверт, прочел несколько слов, написанных дрожащей старческой рукой,— пожелание о том, что надеть на нее после смерти,— и отдал записку женщинам, что пришли утром приготовить Катерину Ивановну в последний ее путь.

Потом я пошел на кладбище выбрать место для могилы, а когда вернулся, Катерина Ивановна уже лежала, прибранная, на столе, и я остановился, пораженный.

Она лежала тоненькая, как девушка, в старинном бальном платье золотистого цвета, со шлейфом. Шлейф был свободно обернут вокруг ее ног. Из-под него были видны маленькие черные замшевые туфли. На руках, державших свечу, были туго натянуты до локтя белые лайковые перчатки. Букет из шелковых алых роз был приколот к корсажу.

Лицо было закрыто фатой, и если бы не сухие, сморщенные локти, видневшиеся между рукавом и краем белых перчаток, можно было бы подумать, что это лежит молодая и стройная женщина.

Настя опоздала на три дня и приехала уже после похорон.

Все рассказанное выше — это и есть тот писательский житейский материал, из которого рождается проза.

Характерно, что все обстоятельства, все подробности, самая обстановка деревенского дома и осени — все это было в полном соответствии с состоянием Катерины Ивановны, с той тяжелой душевной драмой, какую она переживала в последние свои дни.

Но, конечно, далеко не все увиденное и передуманное мною тогда вошло в «Телеграмму». Многое осталось за рамками рассказа, как это обычно и происходит.

Сплошь и рядом для короткого рассказа нужно, как говорится на писательском языке, «поднять» большой материал, чтобы выбрать из него самое ценное.

Мне не раз пришлось наблюдать работу хороших актеров, игравших второстепенные роли. У героя, которого играл такой актер, было всего две-три фразы на протяжении всей пьесы, но актер придирчиво расспрашивал автора не только о характере и внешности этого человека, но и о его биографии, о той среде, из которой он вышел.

Это точное знание нужно было актеру, чтобы правильно произнести свои две-три фразы

То же самое происходит и с писателями. Запас материала должен быть гораздо больший, чем то количество его, которое понадобится для рассказа.

Я рассказал о «Телеграмме». Но у каждого рассказа своя история и свой материал.

Однажды зимой я жил в Ялте. Когда я открывал окна, в комнату залетали сухие дубовые листья. Они ползали от ветра по полу и шуршали. Это были листья не вековых дубов, а того низкорослого кустарникового дубняка, каким зарастают склоны крымской Яйлы.

По ночам холодный ветер дул с гор, присыпанных снегом. Снег магически сверкал в свете шевелящихся звезд

Поэт Асеев, живший рядом, писал стихи о героической Испании (это было во время испанских событий), о «древнем небе Барселоны».

Поэт Владимир Луговской пел своим мощным басом старинные песни английских матросов:

Прощай, земля! Корабль уходит в море,
И чайки след остался за кормой...

По вечерам мы собирались около радио и слушали сводки о боях в Испании.

Мы ездили в Симеизскую обсерваторию Седой астроном показывал нам звездное небо — сияние редких и головокружительно далеких огней в необъятных провалах неба.

Изредка до Ялты доносилась учебная стрельба кораблей Черноморского флота. Тогда вздрагивала в графинах вода, тихий гул перекатывался по Яйле, запутывался в сосновой хвое и затихал.

Ночью в небе рокотали невидимые самолеты.

Я читал книгу немецкого писателя Бруно Франка о Сервантесе. Книг было мало, и потому я прочел ее несколько раз

В то время четырехлапая свастика начала быстро расползаться по Европе. Генрих Манн, Эйнштейн, Ремарк, Стефан Цвейг — благородные люди Германии — покинули свою родину, не желая быть сообщниками «коричневой чумы» и бесноватого негодяя Гитлера. Изгнанники унесли в своих сердцах непоколебимую веру в победу гуманизма

Гайдар привел в наш дом огромную лохматую овчарку со смеющимися желтыми глазами. Он говорил, что это пастушеская горная собака.

Гайдар прикидывался, что ничего не понимает в литературе. Он вообще любил прикидываться простаком.

Черное море заунывно шумело по ночам Шумело оно и днем, но тогда его не было так хорошо слышно. Под шум моря было легче писать.

Вот целый ряд подробностей тогдашней «текущей жизни». Из них сложился рассказ «Созвездие Гончих Псов». В этом рассказе вы найдете почти все, о чем я упоминал выше сухие дубовые листья, седого астронома, гул канонады, Сервантеса, людей, непоколебимо верящих в победу гуманизма, горную овчарку, ночной полет и многое другое.

Все это спаяно, конечно, в определенном соотношении и вошло в определенный сюжет.

Когда я писал этот рассказ, я все время старался сохранить в себе ощущение холодного ветра с ночных гор. Это было как бы лейтмотивом рассказа.

АЛМАЗНЫЙ ЯЗЫК

> Дивишься драгоценности нашего языка: что ни звук, то и подарок; все зернисто, крупно, как сам жемчуг, и, право, иное название еще драгоценнее самой вещи.
>
> *Гоголь*

РОДНИК В МЕЛКОЛЕСЬЕ

Многие русские слова сами по себе излучают поэзию, подобно тому как драгоценные камни излучают таинственный блеск.

Я понимаю, конечно, что ничего таинственного в их блеске нет и что любой физик легко объяснит это явление законами оптики.

Но все же блеск камней вызывает ощущение таинственности. Трудно примириться с мыслью, что внутри камня, откуда льются сияющие лучи, нет собственного источника света.

Это относится ко многим камням, даже к такому скромному, как аквамарин. Цвет его нельзя точно определить. Для него еще не нашли подходящего слова.

Аквамарин считается по своему имени (аквамарин — морская вода) камнем, передающим цвет морской волны. Это не совсем так. В прозрачной его глубине есть оттенки мягкого зеленоватого цвета и бледной синевы. Но все своеобразие аквамарина заключается в том, что он ярко освещен изнутри совершенно серебряным (именно серебряным, а не белым) огнем.

Кажется, что если вглядеться в аквамарин, то увидишь тихое море с водой цвета звезд.

Очевидно, эти цветовые и световые особенности аквамарина и других драгоценных камней и вызывают у нас чувство таинственности. Их красота все же кажется нам необъяснимой.

Сравнительно легко объяснить происхождение «поэтического излучения» многих наших слов. Очевидно, слово кажется нам поэтическим в том случае, когда оно передает понятие, наполненное для нас поэтическим содержанием.

Но действие самого слова (а не понятия, которое оно выражает) на наше воображение, хотя бы, к примеру, та-

кого простого слова, как «зарница», объяснить гораздо труднее. Самое звучание этого слова как бы передает медленный ночной блеск далекой молнии.

Конечно, это ощущение слов очень субъективно. На нем нельзя настаивать и делать его общим правилом. Так *я* воспринимаю и слышу это слово. Но я далек от мысли навязывать это восприятие другим.

Бесспорно лишь то, что большинство таких поэтических слов связано с нашей природой.

Русский язык открывается до конца в своих поистине волшебных свойствах и богатстве лишь тому, кто кровно любит и знает «до косточки» свой народ и чувствует сокровенную прелесть нашей земли.

Для всего, что существует в природе: воды, воздуха, неба, облаков, солнца, дождей, лесов, болот, рек и озер, лугов и полей, цветов и трав,— в русском языке есть великое множество хороших слов и названий.

Чтобы убедиться в этом, чтобы изучить емкий и меткий наш словарь, у нас есть, помимо книг таких знатоков природы и народного языка, как Кайгородов, Пришвин, Горький, Алексей Толстой, Аксаков, Лесков, Бунин и многие другие писатели, главный и неиссякаемый источник языка — сам народ: крестьяне, паромщики, пастухи, пасечники, охотники, рыбаки, старые рабочие, лесные объездчики, бакенщики, кустари, сельские живописцы, ремесленники и все те бывалые люди, у которых что ни слово, то золото.

Особенно ясными для меня стали эти мысли после встречи с одним лесником.

Мне кажется, что я где-то уже рассказывал об этом. Если это верно, то прошу простить меня, но придется повторить старый рассказ. Он имеет значение для разговора о русской речи.

Шли мы с этим лесником по мелколесью. В незапамятные времена здесь было большое болото, потом оно высохло, заросло, и сейчас о нем напоминал только глубокий, вековой мох, небольшие окна-колодцы в этом мху да обилие багульника.

Я не разделяю распространенного пренебрежения к мелколесью. В мелколесье много своеобразной прелести. Юные деревца всех пород — ель и сосна, осина и береза — растут дружно и тесно. Там всегда светло и чисто, как в прибранной к празднику крестьянской горнице.

Каждый раз, когда я попадаю в мелколесье, мне кажется, что именно в этих местах художник Нестеров нашел многие черты своего пейзажа. Здесь каждый стебелек и веточка живут своей отдельной живописной жизнью и потому особенно заметны и хороши.

Кое-где по мху, как я уже говорил, попадались маленькие круглые окна-колодцы. Вода в них казалась неподвижной. Но если приглядеться, то можно было увидеть, как из глубины оконца все время подымается тихая струя и в ней вертятся сухие листики брусники и желтые сосновые иглы.

Мы остановились у одного такого оконца и напились воды. Она попахивала скипидаром.

— Родник! — сказал лесник, глядя, как из оконца всплыл и тотчас пошел на дно неистово барахтавшийся жук.— Должно, Волга тоже начинается из такого оконца?

— Да, должно быть,— согласился я.

— Я большой любитель разбирать слова,— неожиданно сказал лесник и смущенно усмехнулся.— И вот скажи на милость! Бывает же так, что пристанет к тебе одно слово и не дает покоя.

Лесник помолчал, поправил на плече охотничье ружье и спросил:

— Вы, говорят, вроде книги пишете?

— Да, пишу.

— Значит, соображение слов у вас должно быть обдуманное А я вот как ни прикидываю, а редко какому слову найду объяснение. Идешь по лесу, перебираешь в голове слово за словом,— и так их прикинешь и этак: откуда они взялись? Да ничего не получается. Познаний у меня нет. Не обучен. А бывает, найдешь слову объяснение и радуешься. А чему радоваться? Мне не ребят учить. Я лесной человек — простой обходчик.

— А какое слово к вам привязалось сейчас? — спросил я.

— Да вот этот самый «родник». Я это слово давно приметил. Все его обхаживаю. Надо думать, получилось оно оттого, что тут вода зарождается. Родник родит реку, а река льется-течет через всю нашу матушку-землю, через всю родину, кормит народ. Вы глядите, как это складно выходит,— родник, родина, народ. И все эти слова как бы родня между собой. Как бы родня! — повторил он и засмеялся.

Простые эти слова открыли мне глубочайшие корни нашего языка.

Весь многовековой опыт народа, вся поэтическая сторона его характера заключались в этих словах.

ЯЗЫК И ПРИРОДА

Я уверен, что для полного овладения русским языком, для того чтобы не потерять чувство этого языка, нужно не только постоянное общение с простыми русскими людьми, но также общение с пажитями и лесами, водами, старыми ивами, с пересвистом птиц и с каждым цветком, что кивает головой из-под куста лещины.

Должно быть, у каждого человека случается свое счастливое время открытий. Случилось и у меня одно такое лето открытый в лесистой и луговой стороне Средней России — лето, обильное грозами и радугами.

Прошло это лето в гуле сосновых лесов, журавлиных криках, в белых громадах кучевых облаков, игре ночного неба, в непролазных пахучих зарослях таволги, в воинственных петушиных воплях и песнях девушек среди вечереющих лугов, когда закат золотит девичьи глаза и первый туман осторожно курится над омутами.

В это лето я узнал заново — на ощупь, на вкус, на запах — много слов, бывших до той поры хотя и известными мне, но далекими и непережитыми. Раньше они вызывали только один обычный скудный образ. А вот теперь оказалось, что в каждом таком слове заложена бездна живых образов.

Какие же это слова? Их так много, что трудно решить даже, с каких слов начинать Легче всего, пожалуй с «дождевых».

Я, конечно, знал, что есть дожди моросящие, слепые, обложные, грибные, спорые, дожди, идущие полосами — полосовые, косые, сильные окатные дожди и, наконец, ливни (проливни).

Но одно дело — знать умозрительно, а другое дело — испытать эти дожди на себе и понять, что в каждом из них заключена своя поэзия, свои признаки, отличные от признаков других дождей

Тогда все эти слова, определяющие дожди, оживают, крепнут, наполняются выразительной силой. Тогда за каждым таким словом видишь и чувствуешь то, о чем го-

воришь, а не произносишь его машинально, по одной привычке.

Между прочим, существует своего рода закон воздействия писательского слова на читателя.

Если писатель, работая, не видит за словами того, о чем он пишет, то и читатель ничего не увидит за ними.

Но если писатель хорошо видит то, о чем пишет, то самые простые и порой даже стертые слова приобретают новизну, действуют на читателя с разительной силой и вызывают у него те мысли, чувства и состояния, какие писатель хотел ему передать.

В этом, очевидно, и заключается тайна так называемого подтекста.

Но вернемся к дождям.

С ними связано много примет. Солнце садится в тучи, дым припадает к земле, ласточки летают низко, без времени голосят по дворам петухи, облака вытягиваются по небу длинными туманными прядями — все это приметы дождя. А незадолго перед дождем, хотя еще и не натянуло тучи, слышится нежное дыхание влаги. Его, должно быть, приносит оттуда, где дожди уже пролились.

Но вот начинают крапать первые капли. Народное слово «крапать» хорошо передает возникновение дождя, когда еще редкие капли оставляют темные крапинки на пыльных дорогах и крышах.

Потом дождь расходится. Тогда-то и возникает чудесный прохладный запах земли, впервые смоченной дождем. Он держится недолго. Его вытесняет запах мокрой травы, особенно крапивы.

Характерно, что независимо от того, какой будет дождь, его, как только он начинается, всегда называют очень ласково — дождиком. «Дождик собрался», «дождик припустил», «дождик траву обмывает».

Разберемся в нескольких видах дождя, чтобы понять, как оживает слово, когда с ним связаны непосредственные впечатления, и как это помогает писателю безошибочно им пользоваться.

Чем, например, отличается спорый дождь от грибного?

Слово «спорый» означает — быстрый, скорый. Спорый дождь льется отвесно, сильно. Он всегда приближается с набегающим шумом.

Особенно хорош спорый дождь на реке. Каждая его капля выбивает в воде круглое углубление, маленькую

водяную чашу, подскакивает, снова падает и несколько мгновений, прежде чем исчезнуть, еще видна на дне этой водяной чаши. Капля блестит и похожа на жемчуг.

При этом по всей реке стоит стеклянный звон. По высоте этого звона догадываешься, набирает ли дождь силу или стихает.

А мелкий грибной дождь сонно сыплется из низких туч. Лужи от этого дождя всегда теплые. Он не звенит, а шепчет что-то свое, усыпительное, и чуть заметно возится в кустах, будто трогает мягкой лапкой то один лист, то другой.

Лесной перегной и мох впитывают этот дождь не торопясь, основательно. Поэтому после него начинают буйно лезть грибы — липкие маслята, желтые лисички, боровики, румяные рыжики, опенки и бесчисленные поганки.

Во время грибных дождей в воздухе попахивает дымком и хорошо берет хитрая и осторожная рыба — плотва.

О слепом дожде, идущем при солнце, в народе говорят: «Царевна плачет». Сверкающие на солнце капли этого дождя похожи на крупные слезы. А кому же и плакать такими сияющими слезами горя или радости, как не сказочной красавице царевне!

Можно подолгу следить за игрой света во время дождя, за разнообразием звуков — от мерного стука по тесовой крыше и жидкого звона в водосточной трубе до сплошного, напряженного гула, когда дождь льет, как говорится, стеной.

Все это — только ничтожная часть того, что можно сказать о дожде. Но и этого довольно, чтобы возмутиться словами одного писателя, сказавшего мне с кислой гримасой:

— Я предпочитаю живые улицы и дома вашей утомительной и мертвой природе. Кроме неприятностей и неудобств, дождь, конечно, ничего не приносит. Вы просто фантазер!

Сколько превосходных слов существует в русском языке для так называемых небесных явлений!

Летние грозы проходят над землей и «заваливаются» за горизонт. В народе любят говорить, что туча не прошла, а свалилась.

Молнии то с размаху бьют в землю прямым ударом, то полыхают на черных тучах, как вырванные с корнем ветвистые золотые деревья.

Радуги сверкают над дымной, сырой далью Гром перекатывается, грохочет, ворчит, рокочет, встряхивает землю.

Недавно в деревне один маленький мальчик пришел во время грозы ко мне в комнату и, глядя на меня большими от восторга глазами, сказал:

— Пойдем смотреть грома́!

Он был прав, сказав это слово во множественном числе· гроза была обложная, и гремело сразу со всех сторон.

Мальчик сказал «смотреть грома», и я вспомнил слова из «Божественной комедии» Данте о том, что «солнца луч умолк». И тут и там было смещение понятий. Но оно придавало слову необычайную выразительность.

Я уже упоминал о зарнице.

Чаще всего зарницы бывают в июле, когда созревают хлеба. Поэтому и существует народное поверье, что зарницы «зарят хлеб» — освещают его по ночам,— и от этого хлеб наливается быстрее. В Калужской области зарницы называют «хлебозар».

Рядом с зарницей стоит в одном поэтическом ряду слово «заря» — одно из прекраснейших слов русского языка.

Это слово никогда не говорят громко Нельзя даже представить себе, чтобы его можно было прокричать Потому что оно сродни той устоявшейся тишине ночи, когда над зарослями деревенского сада занимается чистая и слабая синева. «Развидняет», как говорят об этой поре суток в народе.

В этот заревой час низко над самой землей пылает утренняя звезда. Воздух чист, как родниковая вода.

В заре, в рассвете, есть что-то девическое, целомудренное На зорях трава омыта росой, а по деревням пахнет теплым парным молоком. И поют в туманах за околицами пастушьи жалейки.

Светает быстро. В теплом доме тишина, сумрак. Но вот на бревенчатые стены ложатся квадраты оранжевого света, и бревна загораются, как слоистый янтарь Восходит солнце.

Осенние зори иные — хмурые, медленные Дню неохота просыпаться: все равно не отогреешь озябшую землю и не вернешь улыбающийся солнечный свет.

Все никнет, только человек не сдается. С рассвета уже горят печи в избах, дым мотается над селами и стелется по земле. А потом, глядишь, и ранний дождь забарабанил по запотевшим стеклам.

Заря бывает не только утренняя, но и вечерняя. Мы часто путаем два понятия — закат солнца и вечернюю зарю.

Вечерняя заря начинается, когда солнце уже зайдет за край земли. Тогда она овладевает меркнущим небом, разливает по нему множество красок — от червонного золота до бирюзы — и медленно переходит в поздние сумерки и в ночь.

Кричат в кустах коростели, и бьют перепела, гудит выпь, горят первые звезды, а заря еще долго дотлевает над далями и туманами.

Северные белые ночи, летние ночи Ленинграда — это непрерывная вечерняя заря или, пожалуй, соединение двух зорь, вечерней и утренней.

Никто не сказал об этом с такой поразительной точностью, как Пушкин:

Люблю тебя, Петра творенье,
Люблю твой строгий, стройный вид,
Невы державное теченье,
Береговой ее гранит,
Твоих оград узор чугунный,
Твоих задумчивых ночей
Прозрачный сумрак, блеск безлунный,
Когда я в комнате моей
Пишу, читаю без лампады,
И ясны спящие громады
Пустынных улиц, и светла
Адмиралтейская игла,
И, не пуская тьму ночную
На золотые небеса,
Одна заря сменить другую
Спешит, дав ночи полчаса.

Эти строки — не только вершины поэзии. В них не только точность, душевная ясность и тишина. В них еще все волшебство русской речи.

Если бы можно было представить, что исчезла бы русская поэзия, что исчез бы самый русский язык, а остались от него только эти несколько строк, то и тогда богатство и певучая сила нашего языка были бы ясны каждому. Потому что в этих стихах Пушкина собраны, как в магическом кристалле, все необыкновенные качества нашей речи.

Тот народ, который создал такой язык, — поистине великий и счастливый народ.

Не только лесник искал объяснения слов. Ищут их многие люди. И не успокаиваются, пока не находят.

Я помню, как меня поразило однажды слово «свей» в стихах у Сергея Есенина:

И меня по ветряному свею,
По тому ль песку,
Поведут с веревкою на шее
Полюбить тоску.

Я не знал, что значит «свей», но чувствовал, что в этом слове заложено поэтическое содержание. Это слово как бы само по себе излучало его.

Я долго не мог узнать значение этого слова, а все догадки ни к чему не приводили. Почему Есенин сказал «ветряной свей»? Очевидно, это понятие было как-то связано с ветром. Но как?

Узнал я смысл этого слова от писателя-краеведа Юрина.

Юрин был придирчиво-любопытен ко всему, что имело хотя бы малейшее отношение к природе, укладу жизни и истории Средней России.

Этим он напоминал тех знатоков и любителей своего края, кропотливых исследователей и собирателей по зернышкам и по капелькам всяких интересных черт из краевой, а то и из районной, географии, флоры, фауны и истории, что еще сохранились по маленьким российским городам.

Юрин приехал ко мне в деревню, и мы пошли с ним в луга, за реку. Мы шли к мостушкам по чистому речному песку. Накануне был ветер, и на песке, как всегда бывает после ветра, лежала волнистая рябь.

— Вы знаете, как это называется? — спросил меня Юрин и показал на песчаную рябь.

— Нет, не знаю.

— Свей,— ответил Юрин.— Ветер свевает песок в эту рябь. Потому и такое слово.

Я обрадовался, как, очевидно, радовался лесник, когда находил разъяснение слову.

Вот почему Есенин написал «ветряной свей» и упомянул про песок («по тому ль песку...»). Больше всего я был рад, что это слово выражало, как я и предполагал, простое и поэтическое явление природы.

Родина Есенина — село Константиново (теперь Есенино) находилось недалеко за Окой.

В той стороне всегда садилось солнце. И мне с тех пор поэзия Есенина кажется наилучшим выражением широких закатов за Окой и сумерек в сырых лугах, когда на них ложится не то туман, не то синеватый дымок с лесных гарей.

В этих, как будто безлюдных, лугах было у меня много всяких случаев и неожиданных встреч.

Однажды я ловил рыбу на небольшом озере с высокими крутыми берегами, заросшими цепкой ежевикой. Озеро обступили старые ивы и осокори. Поэтому на нем всегда было безветренно и сумрачно, даже в солнечный день.

Сидел я у самой воды, в таких крепких зарослях, что сверху меня совершенно не было видно. По краю берега цвели желтые ирисы, а дальше в иловатой, но глубокой воде все время струились со дна пузырьки воздуха,— должно быть, караси копались в иле, отыскивали пищу.

Наверху, надо мной, где по пояс стояли цветы, деревенские дети собирали щавель. Судя по голосам, там было три девочки и маленький мальчик.

Две девочки изображали в разговорах между собой многодетных деревенских женщин. Каждая, должно быть, подражала своей матери. Это у них была такая игра. Третья девочка все помалкивала и только запевала тоненьким голосом:

Так во время воздушной трявоги
Народилась красавица дочь...

Дальше она слов не знала и, помолчав, снова заводила свою песню о «воздушной трявоге».

— Трявога, трявога! — сердито сказала девочка с хрипловатым голосом.— Маешься цельный день, чтобы в школу их определить, всю эту ораву, всю братию, а чему они в школе научаются? Слово сказать и то не умеют по-людски! «Тревоги» надо говорить, а не «трявоги»! Вот скажу отцу, он тебя проучит.

— А мой Петька анадысь,— сказала другая девочка,— двойку приволок. По арифметике. Уж я его утюжила-утюжила. Аж руки замлели.

— Врешь ты все, Нюрка! — сказал басом маленький мальчик.— Петьку маменька утюжила. И то чуть.

— Ишь сопливый! — прикрикнула Нюрка.— Разговаривай у меня!

— Слушайте, девочки! — радостно воскликнула хрипловатая.— Ой, что я вам сейчас расскажу! Где-то тут около Птичьего брода растет куст. Как ночь, так он весь, до самой макушки, как почнет гореть синим огнем! Как почнет! И так горит и не сгорает до самой зари. А подойти к нему страшно.

— А чего ж он горит, Клава? — испуганно спросила Нюрка.

— Клад показывает,— ответила Клава.— Клад под ним закопан. Золотой карандашик. Кто возьмет тот карандашик, напишет свои горячие желания — они тут же и сбудутся.

— Дай! — требовательно сказал мальчик.

— Чего тебе дать?

— Карандашик!

— Отвяжись ты от меня!

— Дай! — крикнул мальчик и неожиданно заревел противным, оглушительным басом.— Дай карандашик, дурная!

— Ах, ты так? — крикнула Нюрка, и тотчас же раздался звонкий шлепок.— Несчастье мое! На что только я тебя породила!

Мальчик непонятно почему, но сразу затих.

— А ты, милая,— сказала Клава притворным, сладеньким голосом,— не бей ребятишек своих. Недолго и наморки отбить. Ты вот, как я, действуй — учи их разуму. А то вырастут обалдуи — ни себе, ни людям никакой корысти.

— Чему его учить-то? — с сердцем ответила Нюрка.— Попробуй поучи его! Он те даст!

— Как не поучить! — возразила Клава.— Их всему надо учить. Вот увязался за нами, скулит, а кругом, гляди, один цвет не похож на другой. Их тут сотни, этих цветов. А что он знает? Ничегошеньки он не знает. Даже как зовется вот этот цвет — и то не знает.

— Курослеп,— сказал мальчик.

— Да не курослеп это, а медуница. Сам ты курослеп!

— Мядуница! — даже с некоторым восхищением повторил мальчик.

— Да не «мядуница», а «медуница». Скажи правильно.

— Мядуница,— поспешно повторил мальчик и тут же спросил: — А это какой, розовый?

— Это мята. Повтори за мной: мята!

— Ну, мята! — согласился мальчик.

— Ты не нукай, а чисто за мной повторяй А вот это таволга. Такая пахучая-пахучая! Такая нежная-пренежная! Хочешь, сорву?

Мальчику, видимо, понравилась эта игра. Он, посапывая, добросовестно повторял за Клавой названия цветов. А она так ими и сыпала:

— Вот глянь, это подмаренник. А это купава. Вот та, с белыми колокольцами. А это кукушкины слезки.

Я слушал и только удивлялся. Девочка знала множество цветов. Она называла дрему, ночную красавицу, гвоздику, пастушью сумку, копытень, мыльный корень, шпажник, валерьяну, чабрец, зверобой, чистотел и много других цветов и трав.

Но этот удивительный урок ботаники был неожиданно сорван

— Я обстрекалси-и-и! — вдруг опять густо заревел мальчик — Куды вы меня завели, дурные?! В самые колючки! Теперь я домой не дойду!

— Эй, девчонки! — крикнул издали стариковский голос — Вы чего малого обижаете?

— Да он, дед Пахом, сам обстрекалси! — крикнула в ответ поборница чистого произношения Клава и добавила вполголоса. — У-у-у, бессовестный! Ты сам всякого изобидишь!

Слышно было, как к детям подошел старик. Он заглянул вниз, на озеро, увидел мои удочки и сказал:

— Тут человек рыбу лавит, а вы калган подняли на весь свет. Мало вам, что ли, лугов!

— Где лавит? — поспешно спросил мальчик — Пусть мне дасть поудить!

— Куда полез? — крикнула Нюрка.— Еще сорвешься в воду, неслух окаянный!

Дети вскоре ушли, и я их так и не видел. А старик постоял на берегу, подумал, деликатно покашлял и спросил неуверенным голосом:

— У вас, гражданин, покурить не найдется?

Я ответил, что найдется, и старик со страшным шумом, цепляясь за петли ежевики, срываясь на откосе и чертыхаясь, спустился ко мне за папиросной.

Старик оказался щуплый, маленький, но с огромным ножом в руке. Нож был в кожаном футляре. Сообразив, что я, чего доброго, обеспокоюсь из-за этого ножа, старик поспешно сказал:

— Я лозу пришел резать. Для корзин да вентерей. Плету помаленьку.

Я сказал старику, что вот какая тут была замечательная девочка — знает все цветы и травы.

— Это Клавка-то? — спросил он.— Да это колхозного конюха Карнаухова дочка. А чего ж ей не знать, когда у нее бабка первая травница на всю область! Вы с бабкой поговорите. Заслушаетесь. Да,— сказал он, помолчав, и вздохнул.— У каждого цвета свое наименование... Паспортизация, значит.

Я с удивлением взглянул на него. Старик попросил еще папироску и ушел. Вскоре ушел и я.

Когда я выбрался из зарослей на луговую дорогу, то увидел далеко впереди трех девочек. Они несли огромные охапки цветов. Одна из них тащила за руку маленького босого мальчика в большом картузе.

Девочки шли быстро. Было видно, как мелькают их пятки. Потом донесся тоненький голосок:

Так во время воздушной трявоги
Народилась красавица дочь...

Солнце уже садилось за Окой, за селом Есениным, и освещало косым красноватым светом тянувшиеся стеной на востоке леса.

СЛОВАРИ

Всякие мысли приходят иногда в голову. Например, мысль о том, что хорошо бы составить несколько новых словарей русского языка (кроме, конечно, уже существующих общих словарей).

В одном таком словаре можно, предположим, собрать слова, имеющие отношение к природе, в другом — хорошие и меткие местные слова, в третьем — слова людей разных профессий, в четвертом — мусорные и мертвые

слова, всю канцелярщину и пошлость, засоряющие русский язык.

Этот последний словарь нужен для того, чтобы отучить людей от скудоумной и ломаной речи.

Мысль о том, чтобы собрать слова, имеющие отношение к природе, пришла мне в голову в тот день, когда на луговом озерце я услышал, как хрипловатая девочка перечисляла разные травы и цветы.

Словарь этот будет, конечно, толковым. Каждое слово должно быть объяснено, и после него следует помещать несколько отрывков из книг писателей, поэтов и ученых, имеющих научное или поэтическое касательство к этому слову.

Например, после слова «сосулька» можно напечатать отрывок из Пришвина:

«Повислые под кручей частые длинные корни деревьев теперь под темными сводами берега превратились в сосульки и, нарастая больше и больше, достигли воды. И когда ветерок, даже самый ласковый, весенний, волновал воду и маленькие волны достигали под кручей концов сосулек, то волновали их, они качались, стуча друг о друга, звенели, и этот звук был первый звук весны, эолова арфа».

А после слова «сентябрь» хорошо бы напечатать отрывок из Баратынского:

И вот сентябрь! замедля свой восход,
Сияньем хладным солнце блещет,
И луч его, в зерцале зыбком вод,
Неверным золотом трепещет.

Думая об этих словарях, особенно о словаре «природных» слов, я делил его на разделы: слова «лесные», «полевые», «луговые», слова о временах года, о метеорологических явлениях, о воде, реках и озерах, растениях и животных.

Я понимал, что такой словарь нужно составить так, чтобы его можно было читать, как книгу. Тогда он давал бы представление как о нашей природе, так и о неисчерпаемых богатствах языка.

Конечно, эта работа была бы не под силу одному человеку. У него не хватило бы на нее всей жизни.

Каждый раз, когда я думал об этом словаре, мне хотелось сбросить со счета лет двадцать, чтобы, конечно, не

самому составлять такой словарь — для этого у меня не было необходимых познаний,— но хотя бы участвовать в работе над ним.

Я даже начал делать кое-какие записи для этого словаря, но, как водится, растерял. Восстановить же их по памяти почти невозможно.

Однажды почти все лето я занимался сбором трав и цветов. Я узнавал их названия и свойства по старому определителю растений и заносил все это в свои записи. Это было увлекательное занятие.

Никогда до тех пор я не представлял себе так отчетливо целесообразности всего, что происходит в природе, всей сложности и совершенства каждого листка, цветка, корня или семени.

Эта целесообразность напоминала иногда о себе чисто внешне и даже болезненно.

Как-то осенью я со своим другом провел несколько дней на рыбной ловле на глухом, старом русле Оки. Оно потеряло связь с рекой несколько столетий назад и превратилось в глубокое и длинное озеро. Его окружили такие заросли, что пробраться к воде было трудно, а в иных местах и невозможно.

Я был в шерстяной куртке, и к ней пристало много колючих семян череды (похожих на плоские двузубцы), репейника и других растений.

Дни стояли ясные, холодные. Мы спали в палатке, не раздеваясь.

На третий день прошел небольшой дождь, куртка моя отсырела, и среди ночи я почувствовал в нескольких местах у себя на груди и руках резкую боль, будто от уколов булавки.

Оказалось, что круглые плоские семена какой-то травы, пропитавшись влагой, задвигались, начали разворачиваться спиралью и ввинчиваться в мою куртку. Они провинтили ее насквозь, потом прокололи рубашку и среди ночи добрались наконец до моей кожи и начали осторожно покалывать ее.

Это был, пожалуй, один из самых ярких примеров целесообразности. Семя падало на землю и лежало там неподвижно до первых дождей. Ему не было смысла пробиваться в сухую почву. Но как только земля становилась влажной от дождя, семя, скрученное спиралью, набухало,

оживало, ввинчивалось в землю, как бурав, и начинало в назначенный ему срок прорастать.

Я опять отвлекся от «основной нити повествования» и заговорил о семенах. Но пока я писал о семенах, мне вспомнилось еще одно удивительное явление. Я не могу не упомянуть о нем. Тем более что оно имеет некоторое, хотя и очень отдаленное, я бы сказал — чисто сравнительное, отношение к литературе, в частности к вопросу о том, какие книги будут жить долго, а какие не выдержат испытания временем и умрут, как тот сентиментальный цветок, что «не расцвел и отцвел в утре пасмурных дней».

Дело идет о пряном запахе цветов обыкновенной липы — романтического дерева наших парков.

Этот запах слышен только на отдалении. Вблизи дерева он почти неощутим. Липа стоит как бы окруженная на большом расстоянии замкнутым кольцом этого запаха.

В этом, очевидно, есть своя целесообразность, но она нами еще не разгадана.

Настоящая литература — как липовый цвет.

Часто нужно расстояние во времени, чтобы проверить и оценить ее силу и степень ее совершенства, чтобы почувствовать ее дыхание и неумирающую красоту.

Если время может погасить любовь и все другие человеческие чувства, как и самую память о человеке, то для подлинной литературы оно создает бессмертие.

Следует вспомнить слова Салтыкова-Щедрина, что литература изъята из законов тления. И слова Пушкина: «Душа в заветной лире мой прах переживет и тленья убежит». И слова Фета: «Этот листок, что иссох и свалился, золотом вечным горит в песнопенье».

Можно привести много других таких же высказываний писателей, поэтов, художников и ученых всех времен и народов.

Эта мысль должна побуждать нас к «усовершенствованию любимых дум», к постоянному непокою, к завоеванию новых вершин мастерства. И к сознанию неизмеримого расстояния, лежащего между подлинными творениями человеческого духа и той серой, вялой и невежественной литературой, что совершенно не нужна живой душе человеческой.

Да, вот как далеко может завести разговор о свойствах липового цвета!

Очевидно, все может быть пособником человеческой мысли и ничем нельзя пренебрегать. Ведь рождаются же сказки при скромной помощи таких незначительных и даже ненужных вещей, как сухая горошина или горлышко от разбитой бутылки.

После этих отступлений я все же попытаюсь вкратце восстановить по памяти некоторые из тех записей, какие я делал для предполагаемых (почти фантастических) словарей.

У некоторых наших писателей, насколько я знаю, есть такие «личные» словари. Но они никому их не показывают и упоминают о них неохотно.

То, что я недавно говорил о роднике, дождях, грозах, заре, «свее» и именах разных трав и цветов,— тоже возобновленные в памяти «записи для словаря».

Первые мои записи были о лесах. Я вырос на безлесном юге, и потому, может быть, больше всего в среднерусской природе полюбил леса.

Первое «лесное» слово, какое меня совершенно заворожило, было — глухомань. Правда, оно относится не только к лесу, но я впервые услышал его (так же как и слово «глушняк») от лесников. С тех пор оно связано в моем представлении с дремучим, замшелым лесом, сырыми чащами, заваленными буреломом, с йодистым запахом прели и гнилых пней, с зеленоватым сумраком и тишиной. «Сторона ли моя, ты сторонушка, вековая моя глухомань!»

А затем уже шли настоящие лесные слова: корабельная роща, осинник, мелколесье, песчаный бор, чапыга, мшары (сухие лесные болота), гари, чернолесье, пустошь, опушка, лесной кордон, березняк, порубка, корье, живица, просека, кондовая сосна, дубрава и много других простых слов, наполненных живописным содержанием.

Даже такой сухой технический термин, как «лесной межевой столб» или «пикет», полон неуловимой прелести. Если вы знаете леса, то согласитесь с этим.

Невысокие межевые столбы стоят на пересечении узких просек. Около них всегда есть песчаный бугор, заросший подсохшей высокой травой и земляникой. Этот бугор образовался из того песка, который выбрасывали из ямы, когда копали ее для столба. На стесанной верхушке столба выжжены цифры — номер «лесного квартала».

Почти всегда на этих столбах греются, сложив крылья, бабочки, и озабоченно бегают муравьи.

Около этих столбов теплее, чем в лесу (или, может быть, так только кажется). Поэтому здесь всегда садишься отдохнуть, прислонившись к столбу спиной, слушая тихий гул вершин, глядя на небо. Оно хорошо видно над просеками. По нему медленно плывут облака с серебряными краями. Должно быть, можно просидеть так неделю и месяц и не увидеть ни одного человека.

В небе и облаках — тот же полуденный покой, что и в лесу, в склонившейся к подзолистой земле синей сухой чашечке колокольчика, и в вашем сердце.

Иногда через год-два узнаешь старый знакомый столб. И каждый раз думаешь, сколько воды утекло, где ты за это время побывал, сколько пережил горя и радости, а этот столб стоит здесь и ночи и дни, и зиму и лето, будто дожидается тебя, как верный и безропотный друг. Только больше появилось на нем желтых лишаев да повилика заплела его до самой макушки. Она цветет и горьковато пахнет миндалем, разогревшись от лесной теплоты.

Лучше всего смотреть на леса с пожарных вышек. Тогда хорошо видно, как они уходят за горизонт, подымаются на увалы, спускаются в лощины, стоят крепостными стенами над песчаными ярами. Кое-где поблескивает вода — зеркало тихого лесного озера или омут лесной речки с красноватой «суровой» водой.

С вышки можно охватить взглядом все дремучее полесье, весь торжественный лесной край — неизмеримый и неведомый, властно зовущий человека в свои загадочные чащи.

Этому зову невозможно противиться. Нужно тотчас брать рюкзак, компас и уходить в леса, чтобы затеряться в этом зеленом хвойном океане.

Так мы и сделали однажды с Аркадием Гайдаром. Шли мы лесами весь день и почти всю ночь без дорог, под звездами, светившими сквозь кроны сосен одним только нам (потому что все вокруг спало непробудным сном), пока перед рассветом не вышли к извилистой лесной речке. Она была плотно закутана в туман.

Мы развели на берегу костер, сели около него и долго молчали, слушали, как где-то бормотала вода под корягой, а потом печально протрубил лось. Мы сидели, молчали и курили, пока на востоке не заголубела нежнейшая заря.

— Вот так бы сто лет! — сказал Гайдар. — Тебе бы хватило?

— Вряд ли.

— И мне бы не хватило. Давай котелок. Поставим чай.

Он пошел в темноту к реке. Я слышал, как он чистил котелок песком и ругал его за то, что у того отвалилась проволочная ручка. Потом он тихо замурлыкал незнакомую мне песню:

Лес дремучий, разбойничий
Темен с давних времен.
Нож булатный за пазухой
Горячо наточен.

От его голоса было спокойно на душе. Лес стоял безмолвно, тоже слушал пение Гайдара, и только река все бормотала, ворчала, сердясь на мешавшую ей корягу.

Есть еще много слов и не лесных, но они с такой же силой, как и лесные, заражают нас скрытым в них очарованием.

Очень богат русский язык словами, относящимися к временам года и к природным явлениям, с ними связанным.

Возьмем хотя бы раннюю весну. У нее, у этой еще зябнущей от последних заморозков девочки-весны, есть в котомке много хороших слов.

Начинаются оттепели, ростепели, капели с крыш. Снег делается зернистым, ноздреватым, оседает и чернеет. Его съедают туманы. Постепенно развозит дороги, наступает распутица, бездорожье. На реках появляются во льду первые промоины с черной водой, а на буграх — проталины и проплешины. По краю слежавшегося снега уже желтеет мать-и-мачеха.

Потом на реках происходит первая подвижка льда (именно подвижка, а не движение), когда лед начинает косо надкалываться и смещаться, и из лунок, продухов и прорубей выступает наружу вода

Ледоход начинается почему-то чаще всего темными ночами, после того как «пойдут овраги» и полая, талая вода, звеня последними льдинками — «черепками», сольется с лугов и полей.

Невозможно перечислить приметы всех времен года. Поэтому я пропускаю лето и перехожу к осени, к первым ее дням, когда уже начинает «сентябрить».

Увядает земля, но еще впереди «бабье лето» с его последним ярким, но уже холодным, как блеск слюды, сия-

нием солнца, с густой синевой небес, промытых прохладным воздухом, с летучей паутиной («пряжей богородицы», как кое-где называют ее до сих пор истовые старухи) и палым, повялым листом, засыпающим опустелые воды. Березовые рощи стоят, как толпы девушек-красавиц, в шитых золотым листом полушалках. «Унылая пора! очей очарованье!»

Потом — ненастье, обложные дожди, ледяной северный ветер «сиверко», бороздящий свинцовые воды, стынь, стылость, кромешные ночи, ледяная роса, темные зори.

Так все и идет, пока первый мороз не схватит, не скует землю, не выпадет первая пороша и не установится первопуток. А там уже и зима с вьюгами, метелями, поземкой, снегопадом, седыми морозами, вешками на полях, скрипом подрезов на розвальнях, серым, снеговым небом.

Много у нас слов связано с туманами, ветрами, облаками и водами.

Особенно богато представлены в русском словаре реки с их плесами, бочагами, паромами и перекатами, где в межень с трудом проходят пароходы и, чтобы не сесть на мель, надо держать только по «главной струе».

Я знал нескольких паромщиков и перевозчиков. Вот у кого нужно учиться русскому языку!

Паром — это шумный деревенский базар. Он заменяет собой народные сборища и деревенские чайные.

Где и поговорить, как не на пароме, пока женщины, притворно ругая лодырей мужиков, медленно перебирают проволочный трос, пока косматые и покорные своей судьбе лошаденки дергают с соседних возов сено и торопливо жуют его, косясь на грузовик, где предсмертно визжат и барахтаются в мешках поросята, пока не докурены до ногтей цигарки из ядовитого зеленого самосада!

Чтобы узнать все деревенские — и не только деревенские — новости, чтобы наслушаться всяких мудрых и неожиданных сентенций и невероятных рассказов, надо пойти именно на заваленный сенной трухой щелястый паром и только посиживать там, покуривать да слушать, переправляясь с берега на берег.

Почти все паромщики — люди словоохотливые, острые на язык и бывалые. Особенно они любят поговорить к вечеру, когда народ перестает валандаться взад-вперед через реку, когда спокойно опускается солнце за крутояром — высоким берегом — и толчется в воздухе и зудит мошкара.

Тогда, сидя на лавочке около шалаша, можно деликатно взять загрубевшими от канатов пальцами папироску у залетного человека, который никуда не торопится, сказать, что, конечно, «легкий табак — одно баловство, не доходит он до нашего сердца», но все же с наслаждением закурить, прищуриться на реку и начать разговор.

Вообще вся шумная и разнообразная жизнь на речных берегах, на пристанях (их зовут дебаркадерами или «конторками»), около наплавных мостов-плашкоутов со множеством толкущегося там речного народа, с его особыми нравами и традициями, дает богатую пищу для изучения языка.

Необыкновенно богаты в языковом отношении Волга и Ока. Мы не можем представить себе жизнь нашей страны без этих рек, как не можем представить ее без Москвы, без Кремля, без Пушкина и Толстого, Чайковского и Шаляпина, без Медного всадника в Ленинграде и Третьяковской галереи в Москве.

Языков, обладавший, по словам Пушкина, удивительным огнем языка, в одном из своих стихотворений великолепно описал Волгу и Оку. Особенно хорошо изображена Ока.

Языков приносит здесь поклон Рейну от великих русских рек, в том числе и от Оки:

.. поемистой, дубравной,
В раздолье муромских песков
Текущей царственно, блистательно и плавно
В виду почтенных берегов...

Ну что ж, запомним «почтенные берега» и будем благодарны за это Языкову.

Не менее чем «природными» словами, богата наша страна местными речениями и диалектами.

Злоупотребление местными словами обычно говорит о незрелости и недостаточной художественной грамотности писателя. Слова берутся без разбора, мало понятные, а то и вовсе непонятные широкому читателю, берутся больше из щегольства, чем из желания придать живописную силу своей вещи.

Существует вершина — чистый и гибкий русский литературный язык. Обогащение его за счет местных слов

требует строгого отбора и большого вкуса. Потому что есть немало мест в нашей стране, где в языке и произношении, наряду со словами — подлинными перлами, есть много слов корявых и фонетически неприятных.

Что касается произношения, то, пожалуй, больше всего режет слух произношение с выпадением гласных — все эти «быват» вместо «бывает», «понимат» вместо «понимает». И пресловутое «однако». Писатели, пишущие о Сибири и Дальнем Востоке, считают это слово священной принадлежностью речи почти всех своих героев.

Местное слово может обогатить язык, только если оно образно, благозвучно и понятно.

Для того чтобы оно стало понятным, совсем не нужно ни скучных объяснений, ни сносок. Просто это слово должно быть поставлено в такой связи со всеми соседними словами, чтобы значение его было ясно читателю сразу, без авторских или редакторских ремарок.

Одно непонятное слово может разрушить для читателя самое образцовое построение прозы.

Нелепо было бы доказывать, что литература существует и действует лишь до тех пор, пока она понятна. Непонятная, темная или нарочито заумная литература нужна только ее автору, но никак не народу.

Чем прозрачнее воздух, тем ярче солнечный свет. Чем прозрачнее проза, тем совершеннее ее красота и тем сильнее она отзывается в человеческом сердце. Коротко и ясно эту мысль выразил Лев Толстой: «Простота есть необходимое условие прекрасного».

Из многих местных слов, которые я услышал, к примеру, во Владимирской и Рязанской областях, часть, конечно, малопонятна и малоинтересна. Но попадаются слова, превосходные по своей выразительности,— например, старинное, до сих пор бытующее в этих областях слово «окоём» — горизонт.

На высоком берегу Оки, откуда открывается широкий горизонт, есть сельцо Окоемово. Из Окоемова, как говорят его жители, «видно половину России».

Горизонт — это все то, что способен охватить наш глаз на земле, или, говоря по-старинному, все то, что «емлет око». Отсюда и происхождение слова «окоём».

Очень благозвучно и слово «Стожары»,— так в этих областях (да и не только в них) народ называет созвездие Ориона.

Это слово, по созвучию, вызывает представление о холодном небесном пожаре (Плеяды и впрямь очень яркие, особенно осенью, когда они полыхают в темном небе действительно как серебряный пожар).

Такие слова украсят и современный литературный язык, тогда как, например, рязанское слово «уходился» вместо «утонул» невыразительно, малопонятно и потому не имеет никакого права на жизнь в общенародном языке. Так же как и очень интересное в силу своего архаизма слово «льзя» вместо «можно».

По рязанским деревням вы еще и теперь услышите примерно такие укоризненные возгласы:

— Эй, малый, да нешто льзя так баловаться! Совершенно даже нельзя.

Все эти слова — и окоем, и Стожары, и льзя, и глагол «сентябрит» (о первых осенних холодах) — я услышал в обыденной речи от старика с совершенно детской душой, истового труженика и бедняка, но не по бедности, а потому, что он довольствовался в своей жизни самым малым,— от одинокого крестьянина села Солотчи Рязанской области Семена Васильевича Елесина. Он умер зимой 1954 года.

Дед Семен был чистейшим образцом русского характера — гордого, благородного и щедрого, несмотря на внешнюю скудость своей жизни.

Обо всем он говорил по-своему и так, что это запоминалось на всю жизнь. Он любил рассказывать о трактирах, где «мужики кипели до утра» в спорах, чаепитии и махорочном дыму. Колхозную чайную он долго не признавал, потому что там кормят «по квитанции» (по чеку). Это ему казалось диким: «На што она мне, эта квитанция! Я заплатил,— значит, давай мне закуску, и все!»

У деда Семена была своя заветная и несбывшаяся мечта — стать столяром, но таким великим артистом-столяром, чтобы весь свет дивился на его волшебную работу.

Но на деле мечта эта сводилась к продолжительным и горячим спорам о том, как надо пригнать «заподлицо» оконный наличник или поправить сломанную ступеньку. Тут шла в ход такая замысловатая терминология, что запомнить ее было невозможно.

Как человек озаряет те места, где он живет! Семен умер, и с тех пор эти места потеряли так много своей прелести, что трудно собраться с духом, чтобы

поехать туда, где на песчаном кладбищенском бугре над рекой, среди плакучих ветел, лежит, говорят, на его могиле зернистый серый жернов.

В поисках слов нельзя пренебрегать ничем Никогда не знаешь, где найдешь настоящее слово

Изучая море, морское дело и язык моряков, я начал читать лоции — справочные книги для капитанов В них были собраны все сведения о том или ином море: описание глубин, течений, ветров, берегов, портов, маячных огней, подводных скал, мелей и всего, что необходимо знать для благополучного плавания. Существуют лоции всех морей.

Первая лоция, попавшая мне в руки, была лоция Черного и Азовского морей. Я начал читать ее и был поражен великолепным ее языком, точным и неуловимо своеобразным.

Вскоре я узнал причину этого своеобразия: безыменные лоции издавались с начала XIX века через равные промежутки лет, причем каждое поколение моряков вносило в них свои поправки. Поэтому вся картина языковых изменений больше чем за сто лет с полной наглядностью отражена в лоции. Рядом с современным языком мирно сосуществует язык наших прадедов и дедов.

По лоции можно судить, как резко изменились некоторые понятия. Например, о самом жестоком и разрушительном ветре — новороссийском норд-осте (боре) — в лоции говорится так:

«Во время норд-оста берега покрываются густою мрачностью».

Для наших прадедов «мрачность» означала черный туман, для нас она — наше душевное состояние.

Вся морская терминология, так же как и разговорный язык моряков, великолепна Почти о каждом слове можно писать поэмы, начиная от «розы ветров» и кончая «гремящими сороковыми широтами» (это не поэтическая вольность, а наименование этих широт в морских документах).

А какая крылатая романтика живет во всех этих фрегатах и баркантинах, шхунах и клиперах, вантах и реях, кабестанах и адмиралтейских якорях, «собачьих» вахтах, звоне склянок и лагах, гуле машинных турбин, сиренах, кормовых флагах, полных штормах, тайфунах, туманах,

ослепительных штилях, плавучих маяках, «приглубых» берегах и «обрубистых» мысах, узлах и кабельтовых — во всем том, что Александр Грин называл «живописным трудом мореплавания».

Язык моряков крепок, свеж, полон спокойного юмора. Он заслуживает отдельного исследования, так же как и язык людей многих других профессий.

СЛУЧАЙ В МАГАЗИНЕ АЛЬШВАНГА

Зимой 1921 года я жил в Одессе, в бывшем магазине готового платья «Альшванг и компания». Я занял явочным порядком примерочную на втором этаже.

В моем распоряжении были три большие комнаты с зеркалами из бемского стекла. Зеркала так крепко были вмурованы в стены, что все попытки — и мои и поэта Эдуарда Багрицкого — выломать эти зеркала, чтобы обменять их на продукты на Новом базаре, ни к чему не привели. Ни одно зеркало даже не треснуло.

В примерочной не было никакой мебели, кроме трех пустых ящиков с гнилой стружкой. Хорошо еще, что стеклянная дверь легко снималась с петель. Каждый вечер я снимал ее, клал на два ящика и устраивал на этой двери свою постель.

Стеклянная дверь была очень скользкая, и потому по нескольку раз за ночь старый тюфяк сползал с нее вместе со мной и сваливался на пол.

Как только тюфяк начинал двигаться, я тотчас просыпался и лежал не дыша, боясь пошевелить даже пальцем, глупо надеясь, что, может быть, тюфяк остановится. Но он сползал медленно и неумолимо, и моя хитрость не помогала.

Это было совсем не смешно. Зима стояла свирепая. Море замерзло от порта до Малого Фонтана. Жестокий норд-ост полировал гранитные мостовые. Снег не выпал ни разу, и от этого холод казался гораздо холоднее, чем если бы на улицах лежал снег.

В примерочной стояла маленькая жестяная печка «буржуйка». Топить ее было нечем. Да и невозможно было согреть этой жалкой печуркой три огромные комнаты. Поэтому на «буржуйке» я только кипятил морковный чай. Для этого хватало нескольких старых газет.

На третьем ящике был устроен стол. На нем по вечерам я зажигал коптилку.

Я ложился, наваливал на себя все теплое, что у меня было, и читал при свете коптилки стихи Хосе Мариа Эредиа в переводе Георгия Шенгели. Стихи были изданы в Одессе в этот голодный год, и я могу засвидетельствовать, что они не ослабили нашего мужества. Мы чувствовали себя стойкими, как римляне, и вспоминали стихи того же Шенгели: «Друзья, мы римляне, мы истекаем кровью...»

Кровью мы, конечно, не истекали, но все же и нам, молодым и веселым людям, бывало иногда чересчур холодно и голодно. Но никто не роптал.

Внизу, в первом этаже магазина, развертывала суетливую и несколько подозрительную деятельность некая художественная артель. Во главе этого предприятия стоял старый ворчливый живописец, известный в Одессе под кличкой «Король вывесок».

Артель принимала заказы на вывески, шитье женских шапочек, изготовление «деревяшек» (женских туфель, производство которых отличалось античной простотой: к деревянной подошве приколачивалось всего несколько тесемок!) и на рисование реклам для кино (их писали клеевыми красками на кривой фанере).

Но однажды мастерской повезло, и она получила заказ на так называемое «носовое украшение» для единственного в то время черноморского парохода «Пестель». Он собирался идти первым рейсом в Батум.

Сооружение это сделали из листового железа, а затем расписали по черному фону золотым растительным орнаментом.

Эта работа увлекла всех, и даже милиционер Жора Козловский отлучался иной раз с соседнего поста, чтобы посмотреть на нее.

Я работал тогда секретарем в газете «Моряк». В ней вообще работало много молодых писателей, в том числе Катаев, Багрицкий, Бабель, Олеша и Ильф. Из старых, опытных писателей часто заходил к нам в редакцию только Андрей Соболь — милый, всегда чем-нибудь взволнованный, неусидчивый человек.

Однажды Соболь принес в «Моряк» свой рассказ, раздерганный, спутанный, хотя и интересный по теме и, безусловно, талантливый.

Все прочли этот рассказ и смутились: печатать его в таком небрежном виде было нельзя. Предложить Соболю исправить его никто не решался. В этом отношении Соболь был неумолим — и не столько из-за авторского самолюбия (его-то как раз у Соболя почти не было), сколько из-за нервозности: он не мог возвращаться к написанным своим вещам и терял к ним интерес.

Мы сидели и думали: что делать? Сидел с нами и наш корректор, старик Благов, бывший директор самой распространенной в России газеты «Русское слово», правая рука знаменитого издателя Сытина.

Это был неразговорчивый человек, напуганный своим прошлым. Всей своей солидной фигурой он совершенно не вязался с оборванной и шумной молодежью нашей редакции.

Я забрал рукопись Соболя с собой в магазин Альшванга, чтобы прочесть ее еще раз.

Поздним вечером (было не больше десяти часов, но город, погруженный в темноту, пустел уже в сумерки, и только ветер злорадно выл на перекрестках) милиционер Жора Козловский постучал в дверь магазина.

Я свернул тугой жгут из газеты, зажег его и пошел с ним, как с факелом, открывать тяжелую магазинную дверь, заложенную ржавым куском газовой трубы. Коптилку брать с собой было нельзя — она гасла не только от самого слабого колебания воздуха, но даже от пристального взгляда.

— К вам гражданин просится,— сказал Жора.— Удостоверьте его личность, тогда я его впущу. Тут мастерские. Одних красок, говорят, на триста миллионов рублей.

Конечно, если принять во внимание, что я, например, получал в «Моряке» миллион рублей в месяц (по базарным ценам их хватало на сорок коробков спичек), то эта сумма была не такой уж баснословной, как казалось Жоре.

За дверью стоял Благов. Я удостоверил его личность. Жора впустил его в магазин и сказал, что часа через два он придет к нам погреться и попить кипятку.

— Вот что,— сказал Благов.— Я все думаю об этом рассказе Соболя. Талантливая вещь. Нельзя, чтобы она пропала. У меня, знаете, как у старого газетного волка, привычка не выпускать из рук хорошие рассказы.

— Что же поделаешь! — ответил я.

— Дайте мне рукопись. Клянусь честью, я не изменю в ней ни слова. Я останусь здесь, потому что возвращаться домой, на Ланжерон, невозможно,— наверняка разденут. И при вас я пройдусь по рукописи.

— Что значит «пройдусь»? — спросил я.— «Пройтись» — это значит выправить

— Я же вам сказал, что не выброшу и не впишу ни одного слова.

— А что же вы сделаете?

— А вот увидите.

В словах Благова я почувствовал нечто загадочное. Какая-то тайна вошла в эту зимнюю штормовую ночь в магазин Альшванга вместе с этим спокойным человеком. Надо было узнать эту тайну, и поэтому я согласился.

Благов вынул из кармана огарок необыкновенно толстой церковной свечи. Золотые полоски вились по ней спиралью. Он зажег этот огарок, поставил его на ящик, сел на мой потрепанный чемодан и склонился над рукописью с плоским плотницким карандашом в руке.

Среди ночи пришел Жора Козловский. Я как раз вскипятил воду и заваривал чай, но на этот раз не из сушеной моркови, а из мелко нарезанных и поджаренных кусочков свеклы.

— Поимейте в виду,— сказал Жора,— что издали вы похожи на вылитых фальшивомонетчиков. Чего это вы тут делаете?

— Исправляем рассказ,— ответил я — Для очередного номера.

— Поимейте в виду,— снова сказал Жора,— что не каждый работник милиции поймет, чем вы занимаетесь Благодарите бога, которого, конечно, нет, что тут я стою на посту, а не какой-нибудь другой тютя. Для меня культура выше всего. А что касается фальшивомонетчиков, то это такие артисты, что из одного и того же куска навоза сделают доллары и удостоверение на право жительства. В музее Лувр в Париже лежит, говорят, на черной бархатной подушке мраморная рука неописуемой красоты. Так то не рука Сары Бернар, Шопена или Веры Холодной. То слепок с руки самого знаменитого фальшивомонетчика в Европе. Забыл, как его звали. В свое время ему отрубили голову, а руку выставили, как будто он был скрипач-виртуоз. Поучительная история?

— Не очень,— ответил я.— У вас есть сахарин?

— Есть,— ответил Жора.— В таблетках. Могу поделиться.

Благов кончил работу над рукописью только к утру. Мне он рукописи не показал, пока мы не пришли в редакцию и машинистка не переписала ее начисто.

Я прочел рассказ и онемел. Это была прозрачная, литая проза. Все стало выпуклым, ясным. От прежней скомканности и словесного разброда не осталось и тени. При этом действительно не было выброшено или прибавлено ни одного слова.

Я посмотрел на Благова. Он курил толстую папиросу из черного, как чай, кубанского табака и усмехался.

— Это чудо! — сказал я.— Как вы это сделали?

— Да просто расставил правильно все знаки препинания. У Соболя с ними форменный кавардак. Особенно тщательно я расставил точки. И абзацы. Это великая вещь, милый мой. Еще Пушкин говорил о знаках препинания. Они существуют, чтобы выделить мысль, привести слова в правильное соотношение и дать фразе легкость и правильное звучание. Знаки препинания—это как нотные знаки. Они твердо держат текст и не дают ему рассыпаться.

Рассказ был напечатап. А на следующий день в редакцию ворвался Соболь. Он был, как всегда, без кепки, волосы его были растрепаны, а глаза горели непонятным огнем.

— Кто трогал мой рассказ? — закричал он неслыханным голосом и с размаху ударил палкой по столу, где лежали комплекты газет. Пыль густым облаком взлетела над столом.

— Никто не трогал,— ответил я.— Можете проверить текст.

— Ложь! — крикнул Соболь.— Брехня! Я все равно узнаю, кто трогал!

Запахло скандалом. Робкие сотрудники начали быстро исчезать из комнаты. Но, как всегда, на шум примчались, стуча «деревяшками», обе наши машинистки — Люсьена и Люся.

Тогда Благов сказал спокойным и даже унылым голосом:

— Если вы считаете, что правильно расставить в вашем рассказе знаки препинания — это значит тронуть его, то извольте: трогал его я. По своей обязанности корректора.

Соболь бросился к Благову, схватил его за руки, крепко потряс их, потом обнял старика и троекратно, по-московски, поцеловал его.

— Спасибо! — сказал взволнованно Соболь.— Вы дали мне чудесный урок. Но только жалко, что так поздно. Я чувствую себя преступником по отношению к своим прежним вещам.

Вечером Соболь достал где-то полбутылки коньяка и принес в магазин Альшванга. Мы позвали Благова, пришли Багрицкий и Жора Козловский, сменившийся с поста, и мы выпили коньяк во славу литературы и знаков препинания.

После этого я окончательно убедился, с какой поразительной силой действует на читателя точка, поставленная в нужном месте и вовремя.

КАК БУДТО ПУСТЯКИ

Почти у каждого из писателей есть свой вдохновитель, свой добрый гений, обыкновенно тоже писатель.

Стоит прочесть хотя бы несколько строк из его книги — и тотчас же захочется писать самому. Как будто бродильный сок брызжет из некоторых книг, опьяняет нас, заражает и заставляет браться за перо.

Удивительно, что нередко такой писатель, добрый гений, бывает далек от нас по характеру своего творчества, по манере и по темам.

Я знаю одного литератора — крепкого реалиста, бытовика, человека трезвого и спокойного. Для него таким добрым гением является безудержный фантаст Александр Грин.

Гайдар называл своим вдохновителем Диккенса. Что касается меня, то любая страница из «Писем из Рима» Стендаля вызывает желание писать, хотя я пишу вещи, настолько далекие от прозы Стендаля, что это удивляет даже меня самого. Однажды осенью, читая Стендаля, я написал рассказ «Кордон 273» — о заповедных лесах на реке Пре. Ничего общего со Стендалем в этом рассказе найти совершенно нельзя.

Признаться, я не задумывался над этим случаем. Упомянул же о нем лишь для того, чтобы поговорить о мно-

жестве незначительных, на первый взгляд, обстоятельств и привычек, помогающих писателям работать.

Всем известно, что Пушкин лучше всего писал осенью. Недаром «Болдинская осень» стала синонимом поразительной творческой плодовитости.

«Осень подходит,— писал Пушкин Плетневу.— Это — любимое мое время — здоровье мое обыкновенно крепнет, пора моих литературных трудов настает».

Догадаться, в чем тут дело, пожалуй, легко.

Осень — это прозрачность и холод, «прощальная краса» с ее четкостью далей и свежим дыханием. Осень вносит в природу скупой рисунок. Багрец и золото лесов и рощ редеют с каждым часом, усиливая резкость линий, оставляя обнаженными ветви.

Глаз привыкает к ясности осеннего пейзажа. Эта ясность постепенно завладевает сознанием, воображением, рукой писателя. Ключ поэзии и прозы бьет чистой ледяной водой, в ней изредка лишь позванивают льдинки. Голова свежа, сердце стучит сильно и ровно. Только немного зябнут пальцы.

К осени созревает урожай человеческих дум. Об этом хорошо сказал Баратынский: «И спеет жатва дорогая, и в зернах дум ее сбираешь ты, судеб людских достигнув полноты».

Пушкин, по его собственным словам, каждой осенью расцветал вновь. Каждую осень он молодел. Очевидно, прав был Гете, когда утверждал, что у гениев на протяжении жизни бывает несколько возвратов юности.

В один из таких осенних дней Пушкин написал стихи, выражающие необычайно наглядно сложный процесс поэтического творчества:

И забываю мир, и в сладкой тишине
Я сладко усыплен моим воображеньем,
И пробуждается поэзия во мне:
Душа стесняется лирическим волненьем,
Трепещет, и звучит, и ищет, как во сне,
Излиться наконец свободным проявленьем —
И тут ко мне идет незримый рой гостей,
Знакомцы давние, плоды мечты моей.

И мысли в голове волнуются в отваге,
И рифмы легкие навстречу им бегут,
И пальцы просятся к перу, перо к бумаге,
Минута — и стихи свободно потекут,

Это поразительный по тонкости анализ творчества. Его можно было сделать только в порыве высокого душевного подъема.

У Пушкина была еще одна особенность. Те места в своих вещах, которые ему не давались, он просто пропускал, никогда на них не задерживался и продолжал писать дальше. Потом он возвращался к пропущенным местам, но лишь в минуты вдохновенья, которое он никогда не старался вызвать насильственно.

Я видел, как работал Гайдар. Это было совсем не похоже на то, как обычно работают писатели.

Мы жили тогда в мещорских лесах, в деревне. Гайдар поселился в большом доме, выходившем на сельскую улицу, а я — в бывшей баньке, в глубине сада.

В то время Гайдар писал «Судьбу барабанщика». Мы сговорились честно работать с утра до обеда и не соблазнять в это время друг друга рыбной ловлей.

Однажды я писал в баньке около открытого окна. Не успел я написать и четверти страницы, как из большого дома вышел Гайдар и прошел мимо моего окна с совершенно независимым и равнодушным видом.

Я притворился, что не замечаю его. Гайдар походил по саду, что-то ворча про себя, потом опять прошел мимо окна, но теперь уже явно стараясь задеть меня. Он насвистывал и притворно кашлял.

Я молчал. Тогда Гайдар прошел мимо в третий раз и посмотрел на меня с раздражением. Я все молчал.

Гайдар не выдержал.

— Слушай,— сказал он,— не валяй дурака! Все равно ты пишешь так быстро, что тебе ничего не стоит оторваться. Подумаешь, какой Боборыкин! Если бы я так писал, то у меня уже было бы полное собрание сочинений в ста восемнадцати томах.

Ему очень понравилась эта цифра. Он с удовольствием повторил:

— В ста восемнадцати томах! Ни томом меньше!

— Ну,— сказал я,— выкладывай: что тебе нужно?

— А мне нужно, чтобы ты послушал, какую я чу́дную фразу придумал.

— Какую?

— Вот, слушай: «Пострадал старик, пострадал!» — говорили пассажиры». Хорошо?

— Откуда я знаю! — ответил я.— Смотря по тому, где она стоит и к чему относится.

Гайдар рассвирепел.

— «К чему относится», «к чему относится»! — передразнил он меня.— К тому, к чему надо, к тому и относится! Ну, черт с тобой! Сиди, выписывай свои сочинения. А я пойду запишу эту фразу.

Но долго он не выдержал. Через двадцать минут он опять ходил у меня под окном.

— Ну, какую еще гениальную фразу ты придумал? — спросил я.

— Слушай,— сказал Гайдар,— раньше я только смутно подозревал, что ты размагниченный интеллигент и насмешник. А теперь я в этом убедился. И притом — с горечью.

— Иди ты знаешь куда! — сказал я.— Честью прошу, не мешай!

— Подумаешь, какой Лажечников! — сказал Гайдар, но все-таки ушел.

Через пять минут он возвратился и еще издали прокричал мне новую фразу. Она, правда, была неожиданной и хорошей. Я похвалил ее. Гайдару только этого было и надо.

— Вот! — сказал он.— Теперь я к тебе больше не приду. Никогда! Как-нибудь напишу и без твоей помощи.

И вдруг добавил на ужасающем французском языке:

— О ревуар, месье л'экривен рюс совьетик! [1]

Он очень увлекался в то время французским языком и только что начал его изучать.

Гайдар еще несколько раз возвращался в сад, но мне не мешал, а ходил по дальней дорожке и что-то бормотал про себя.

Так он и работал — придумывал на ходу фразы, потом записывал их, потом опять придумывал. Весь день он ходил из дома в сад. Я удивлялся и был уверен, что повесть у Гайдара едва-едва движется. Но потом оказалось, что он хитрил и записывал гораздо больше, чем по одной фразе.

Недели через две он окончил «Судьбу барабанщика», пришел ко мне в баньку веселый, довольный и спросил:

— Хочешь, я прочту тебе повесть?

Я, конечно, очень хотел послушать ее.

— Так вот, слушай! — сказал Гайдар, остановился посреди комнаты и засунул руки в карманы.

---

[1] До свидания, господин русский советский писатель!

— Где же рукопись? — спросил я.

— Только никудышные дирижеры,— наставительно ответил Гайдар,— кладут перед собой на пюпитр партитуру. Зачем мне рукопись! Она отдыхает на столе. Ты будешь слушать или нет?

И он прочел мне повесть наизусть, от первой до последней строчки.

— Ты где-нибудь чего-нибудь все-таки здорово напутал,— сказал я с сомнением.

— На пари! — крикнул Гайдар.— Не больше десяти ошибок! Если ты проиграешь, то завтра же поедешь в Рязань и купишь мне на барахолке старинный барометр. Я его уже присмотрел. У той старухи,— помнишь? — которая во время дождя надевает на голову абажур. Сейчас я принесу рукопись.

Он принес рукопись и второй раз прочел повесть наизусть. Я следил по рукописи. Только в нескольких местах он ошибся, да и то незначительно. Из-за этого у нас несколько дней шла распря, выиграл ли Гайдар пари или нет.

В общем, я купил, к великой его радости, барометр. Мы решили сообразовать с этим медным громоздким сооружением свою рыболовную жизнь, но сразу же попали в дурацкое положение и промокли до костей, когда барометр предсказал «великую сушь», а на самом деле три дня лил дождь.

То было чудесное время непрерывных шуток, «розыгрышей», споров о литературе и рыбной ловли по озерам и старицам. Все это каким-то неуловимым образом помогало нам писать.

Мне пришлось быть при том, когда Федин начал писать свой роман «Необыкновенное лето».

Да простит меня Федин, что я пишу об этом. Но мне кажется, что манера работы каждого писателя, особенно такого мастера, как Федин, интересна и полезна не только для писателей, но и для всех людей, любящих литературу.

Жили мы в Гаграх, в небольшом доме на самом берегу моря. Дом этот, похожий на дореволюционные дешевые «меблирашки», представлял из себя порядочную трущобу.

Во время бурь он трясся от ветра и ударов волн, скрипел, трещал и, казалось, разваливался на глазах. От сквозняков двери с вырванными замками сами по себе медленно

и зловеще отворялись и, постояв неподвижно несколько секунд и подумав, вдруг захлопывались с таким звоном, что с потолка сыпалась штукатурка.

Все бродячие псы из Новых и Старых Гагр ночевали под террасой этого дома. Иногда, пользуясь временным отсутствием хозяев, они залезали в комнаты, ложились на кровати и мирно похрапывали.

Входить в свою комнату надо было с опаской, независимо от характера пса, захватившего вашу кровать Пес совестливый и робкий вскакивал и с отчаянным визгом бросался вон. Если вы попадались ему под ноги, то он со страха мог вас укусить.

Если же пес попадался нахальный и опытный, то он, лежа на кровати и следя за вами ненавидящим глазом, начинал так страшно рычать, что приходилось вызывать на подмогу соседей.

Окно из комнаты Федина выходило на террасу над морем. Во время штормов плетеные кресла с террасы сваливали в кучу около этого окна, чтобы они не намокали от брызг. На этой куче кресел всегда сидели собаки и смотрели сверху на Федина, писавшего за столом. Псы подвывали от желания попасть в его освещенную и теплую комнату.

Сначала Федин жаловался, что псы его просто бросают в дрожь. Стоило ему оторваться от рукописи и, задумавшись, посмотреть на окно, как десятки горящих ненавистью собачьих глаз впивались в него Он чувствовал от этого даже некоторую неловкость, как будто был виноват, что живет в тепле и занимается явно бессмысленным делом, водя пером по бумаге.

Это, конечно, в какой-то мере мешало Федину работать, но он скоро привык и перестал считаться с собаками.

Мне думается, что простота и неустроенность нашей жизни напомнили ему молодость, когда мы могли писать на подоконнике, при свете коптилки, в комнате, где замерзали чернила,— при любых условиях.

Большинство писателей пишут по утрам, некоторые пишут и днем и очень немногие — ночью.

Федин мог работать, и зачастую работал, в любой час суток. Лишь изредка он отрывался, чтобы передохнуть.

Он писал по ночам под немолчный гул моря Этот привычный шум не только не мешал, но даже помогал ему. Мешала, наоборот, тишина.

Однажды поздней ночью Федин разбудил меня и взволнованно сказал:

— Ты знаешь, море молчит. Пойдем послушаем на террасу.

Глубокая, казалось, космическая тишина остановилась над берегом. Мы затихли, чтобы уловить в темноте хотя бы слабый плеск волны, но ничего не могли услышать, кроме звона в ушах. Это звенела наша кровь. В высокой, тоже какой-то космической мгле тускло светили звезды. Мы, привыкшие к беспрерывному морскому шуму, были даже подавлены этой тишиной. Федин в ту ночь не работал.

Невольно наблюдая за Фединым, я узнал, что он садился писать только в том случае, если очередная глава была строго обдумана, выверена, обогащена размышлениями и воспоминаниями, если она складывалась в сознании вплоть до отдельных фраз.

Федин писал только о том, что ясно видел, и притом в законченной связи с целым.

Ясный, твердый ум и строгий глаз Федина не могли мириться с зыбкостью замысла и его воплощения. Проза должна была быть, по мнению Федина, отработана до предельной точности и закалена до твердости алмаза.

Флобер провел всю жизнь в мучительной погоне за совершенством слога. В своем стремлении к кристальности прозы он порой не мог остановиться, правка рукописей делалась для него в некоторых случаях не дорогой к совершенствованию прозы, а самоцелью. Он терял способность верной оценки, уставал, приходил в отчаяние и явно засушивал и омертвлял свои вещи, или, как говорил Гоголь, «рисовал, рисовал, да и зарисовался».

Федин всегда умеет остановиться вовремя. Критик в нем никогда не дремлет, но и не подавляет писателя.

Флоберу в высокой степени было присуще то свойство писателя, которое теоретики литературы называют «персонификацией», а говоря проще — способностью перевоплощаться в своих героев с такой силой, что все происходящее с ними (по воле писателя) переживается самим писателем необыкновенно живо.

Известно, что, описывая смерть Эммы Бовари от яда, Флобер почувствовал все признаки отравления и ему пришлось прибегнуть к помощи врача.

Флобер был истинным мучеником. Он писал так медленно, что с отчаянием говорил: «Стоит самому себе набить морду за такую работу».

Для Бальзака все его герои были тоже живыми и близкими людьми. Он то хрипел от ярости, обзывая их негодями и дураками, то посмеивался и одобрительно похлопывал по плечу, то неуклюже утешал их в несчастье.

Вера в реальность своих героев и в непреложность того, что он о них написал, была у Бальзака поистине фантастической. Об этом свидетельствует любопытный случай из его жизни.

В одном из рассказов Бальзака есть молодая монахиня (имя ее я не помню, но предположим, что звали ее Жанной). Настоятельница монастыря послала кроткую Жанну в Париж по каким-то монастырским делам. Молодая монахиня была потрясена блестящей, суетной, ослепительной жизнью столицы. В свете газовых рожков она часами рассматривала неслыханные богатства в витринах магазинов. Она видела женщин в тончайших и душистых платьях. Эти платья как бы раздевали этих красавиц и подчеркивали всю прелесть их тонких спин, высоких ног, маленьких острых грудей.

Она слышала странные, опьяняющие слова признаний, намеков, вкрадчивый шепот мужчин. Она была молода и красива. Ее преследовали на улицах. Ей говорили такие же странные слова. У нее дико колотилось сердце. Первый поцелуй, вырванный у нее силой в густой тени платана в каком-то саду, был оглушителен, как гром, и лишил ее рассудка.

Она осталась в Париже. Она истратила все монастырские деньги на то, чтобы превратиться в обольстительную парижанку.

Через месяц она пошла на панель.

В этом рассказе Бальзак упомянул название одного из существовавших в то время женских монастырей. Книга Бальзака случайно попала к его настоятельнице. В монастыре как раз была молоденькая монахиня Жанна. Настоятельница вызвала ее к себе и грозно спросила:

— Вы знаете, что пишет о вас господин Бальзак?! Он опозорил вас! Он очернил нашу обитель. Он клеветник и богохульник. Читайте!

Девушка прочла рассказ и разрыдалась.

— Немедленно! — сказала громовым голосом настоятельница.— Немедленно собирайтесь, поезжайте в Париж, разыщите там господина Бальзака и потребуйте, чтобы он сообщил всей Франции, что это клевета и что он унизил чистую девушку, никогда даже не бывавшую в Париже. Он оскорбил монастырь и всю нашу паству. Пусть он покается в этом своем безумном грехе. Вы должны добиться этого. В противном случае лучше не возвращайтесь.

Жанна уехала в Париж. Она отыскала Бальзака и с трудом добилась, чтобы он принял ее.

Бальзак сидел в старом халате, задыхающийся, как боров. Дым табака наполнял его комнату. Стол был завален горами торопливо исписанных листов бумаги.

Бальзак хмурился. Ему было некогда — жизнь заранее была рассчитана так, чтобы успеть написать не меньше пятидесяти романов. Но глаза Бальзака остро блестели. Он не спускал их с Жанны.

Жанна потупилась, покраснела и, призывая на помощь имя божье, рассказала господину Бальзаку всю историю в монастыре и попросила снять с нее позорную тень, которую господин Бальзак неизвестно зачем бросил на ее целомудрие и святость.

Бальзак явно не понимал, чего от него хочет эта красивая и нежная монахиня.

— Какую позорную тень? — спросил он.— Все, что я пишу, всегда святая правда.

Жанна повторила свою просьбу и тихо добавила:

— Сжальтесь надо мной, господин Бальзак. Если вы не захотите помочь мне, то я не знаю, что делать.

Бальзак вскочил. Глаза его гневно сверкнули.

— Как?! — закричал он.— Вы не знаете, что делать? У меня же совершенно ясно написано все, что случилось с вами! Совершенно ясно! Какие же могут быть сомнения?

— Неужели вы хотите сказать, чтобы я осталась в Париже? — спросила Жанна.

— Да! — закричал Бальзак.— Да, черт возьми!

— И вы хотите, чтобы я...

— Нет, черт возьми! — снова закричал Бальзак.— Я только хочу, чтобы вы сняли этот черный балахон. Чтобы ваше молодое тело, прекрасное, как живой жемчуг, узнало, что такое радость и любовь. Чтобы вы научились смеяться. Идите же! Идите! Но не на панель!

Бальзак схватил Жапну за руку и потащил к выходной двери.

— У меня ведь все там написано,— говорил он.— Идите! Вы очень милы, Жанна, но из-за вас я уже потерял три страницы текста. И какого текста!

Жанна не могла вернуться в монастырь, так как господин Бальзак не снял с нее позорного пятна. Она осталась в Париже. Говорят, что через год ее видели среди молодежи в студенческом кабачке, который назывался «Серебряный вьюк». Она была весела, счастлива и прелестна.

Сколько писателей — столько же и навыков работы.

В том деревенском доме под Рязанью, о котором я уже упоминал, я нашел письма нашего известного гравера Иордана к граверу Пожалостину (об этих письмах я тоже упоминал).

В одном из писем Иордан пишет, что потратил два года на то, чтобы выгравировать копию одной из итальянских картин. Работая, он все время ходил вокруг стола с гравировальной доской и протер в кирпичном полу заметный след.

«Я уставал,— пишет Иордан.— Но я все-таки ходил, двигался. Как же должен был уставать Николай Васильевич Гоголь, привыкший писать стоя за конторкой! Вот уж истинно мученик своего дела».

Лев Толстой работал только по утрам. Он говорил, что в каждом писателе сидит и свой собственный критик. Злее всего этот критик бывает по утрам, а ночью он спит, и потому по ночам писатель всецело предоставлен самому себе, работает без острастки и пишет много дурного и лишнего. Толстой ссылался при этом на Руссо и Диккенса, работавших только по утрам, и считал, что Достоевский и Байрон, любившие работать ночью, грешили этим против своего таланта.

Тягость писательской работы Достоевского была, конечно, не только в том, что он работал по ночам и при этом беспрерывно пил чай. Это в конце концов не так уж сильно отражалось на качестве его работы.

Тягость была в том, что Достоевский не выходил из безденежья и долгов и потому вынужден был писать очень много и всегда наспех.

Он садился писать, когда времени оставалось в самый обрез. Ни одну из своих вещей он не написал спокойно, в полную силу. Он комкал свои романы (не по количеству написаппых страниц, а по широте повествования). Поэтому они выходили у него хуже, чем могли бы быть, чем были задуманы. «Гораздо лучше мечтать о романе, чем писать его»,— говорил Достоевский.

Он всегда старался подольше жить со своим ненаписанным романом, все время изменяя и обогащая его. Поэтому он всеми силами оттягивал писание,— ведь каждый день и час могла родиться новая идея, а ее задним числом в роман, конечно, не вставишь.

Долги заставляли его торопиться, хотя он часто сознавал, садясь писать, что роман еще не дозрел. Сколько мыслей, образов, подробностей пропадало зря только потому, что они пришли в голову слишком поздно, когда роман или был уже окончен, или, по мнению писателя, непоправимо испорчен!

«От бедности,— говорил о себе Достоевский,— я принужден торопиться и писать для дела, следовательно — непременно портить».

Чехов в молодости умел писать на подоконнике в тесной и шумной московской квартире. А рассказ «Егерь» он написал в купальне. Но с годами эта легкость в работе исчезла.

Лермонтов писал свои стихи на чем попало. Все кажется, что они сразу слагались у него в сознании, пели у него в душе и он потом только наспех записывал их без всяких поправок.

Алексей Толстой мог писать, если перед ним лежала стопа чистой, хорошей бумаги. Он признавался, что, садясь за письменный стол, часто не знал, о чем будет писать. У него в голове сидела одна какая-нибудь живописная подробность. Он начинал с нее, и она постепенно вытаскивала за собой, как за волшебную нитку, все повествование.

Рабочее состояние, вдохновение Толстой называл посвоему — накатом. «Если накатит,— говорил он,— то я пишу быстро Ну, а если не накатит, тогда надо бросать».

Конечно, Толстой был в значительной степени импровизатором. Мысль у него опережала руку.

Все писатели, должно быть, знают то замечательное состояние во время работы, когда новая мысль или картина появляются внезапно, как бы прорываются, как вспышки, на поверхность из глубины сознания. Если их тут же не записать, то они могут так же бесследно исчезнуть.

В них свет, трепет, но они непрочны, как сны. Те сны, которые мы помним только какую-то долю секунды после пробуждения, но тут же забываем. Сколько бы мы ни мучились и ни старались вспомнить их потом, это не удается. От этих снов сохраняется только ощущение чего-то необыкновенного, загадочного, чего-то «дивного», как сказал бы Гоголь.

Надо успеть записать. Малейшая задержка — и мысль, блеснув, исчезнет.

Может быть, поэтому многие писатели не могут писать на узких полосках бумаги, на гранках, как это делают журналисты. Нельзя слишком часто отрывать руку от бумаги, потому что даже эта ничтожная задержка на какую-то долю секунды может быть гибельной. Очевидно, работа сознания совершается с фантастической быстротой.

Французский поэт Беранже писал свои песенки в дешевых кафе. И Эренбург, насколько я знаю, тоже любил писать в кафе. Это понятно. Потому что нет лучшего одиночества, как среди оживленной толпы, если, конечно, никто и ничто непосредственно не отрывает тебя от мыслей и не покушается на твою сосредоточенность.

Андерсен любил придумывать свои сказки в лесах. У него было хорошее, очень сильное зрение. Поэтому он мог рассматривать кусок коры или старую сосновую шишку и видеть на них, как сквозь увеличительную линзу, такие подробности, из которых легко составлялась сказка.

Вообще всё в лесу — каждый замшелый пень и каждый рыжий муравей-разбойник, который тащит, как похищенную прелестную принцессу, маленькую мошку с прозрачными зелеными крылышками,— все это может обернуться сказкой.

Мне не хотелось бы говорить о своем собственном литературном опыте. Это вряд ли прибавит что-либо существенное к тому, что уже сказано. Но все же несколько слов от себя я добавлю.

Если мы хотим добиться наивысшего расцвета нашей литературы, то надо понять, что самая плодотворная форма общественной деятельности писателя — это его творческая работа. Скрытая от всех до выхода книги работа писателя превращается после ее выхода в общечеловеческое дело.

Нужно беречь время, силы и талант писателей, а не разменивать их на изнурительную окололитературную возню и заседания.

Писателю, когда он работает, нужны спокойствие и, по возможности, отсутствие забот. Если впереди ждет какая-нибудь, даже отдаленная, неприятность, то лучше не браться за рукопись. Перо будет валиться из рук или из-под него поползут вымученные пустые слова.

Я несколько раз в своей жизни работал с легким сердцем, сосредоточенно и неторопливо.

Однажды я плыл зимой на совершенно пустом теплоходе из Батума в Одессу. Море было серое, холодное, тихое. Берега тонули в пепельной мгле. Тяжелые тучи, будто в летаргическом сне, лежали на хребтах отдаленных гор.

Я писал в каюте, иногда вставал, подходил к иллюминатору, смотрел на берега. Тихо пели в железной утробе теплохода могучие машины. Пищали чайки. Писать было легко. Никто не мог оторвать меня от любимых мыслей. Ни о чем, совершенно ни о чем не надо было думать, кроме как о рассказе, который я писал. Я ощущал это как величайшее счастье. Открытое море защищало меня от всяких помех.

И еще очень помогало работать сознание движения в пространстве, смутное ожидание портовых городов, куда мы должны были заходить, предчувствие, может быть, каких-то неутомительных и коротких встреч.

Теплоход резал стальным форштевнем бледную зимнюю воду, и мне казалось, что он несет меня к неизбежному счастью. Так мне казалось, очевидно, потому, что удавался рассказ.

И еще я помню, как легко было работать в мезонине деревенского дома, осенью, в одиночестве, под потрескиванье свечи.

Темная и безветренная сентябрьская ночь окружала меня и так же, как море, защищала от всяких помех.

Трудно сказать почему, но очень помогало писать сознание, что за стеной всю ночь напролет облетает старый

деревенский сад. Я думал о нем, как о живом существе. Он был молчалив и терпеливо ждал того времени, когда я пойду поздним вечером к колодцу за водой для чайника. Может быть, ему было легче переносить эту бесконечную ночь, когда он слышал бренчанье ведра и шаги человека.

Но, во всяком случае, ощущение одинокого сада и холодных лесов, тянущихся за околицей на десятки километров, лесных озер, где в такую ночь, конечно, не может быть и нет ни единой человеческой души, а только звезды отражаются в воде, как отражались сто и тысячу лет назад,— это ощущение помогало мне. Пожалуй, я могу сказать, что в эти осенние вечера я был действительно счастлив.

Хорошо писать, когда впереди тебя ждет что-нибудь интересное, радостное, любимое, даже такой пустяк, как рыбная ловля под черными ивами на отдаленной старице реки.

СТАРИК В СТАНЦИОННОМ БУФЕТЕ

Худой старик с колючей щетиной на лице сидел в углу станционного буфета в Майори. Над Рижским заливом свистящими полосами проносились зимние шквалы. У берегов стоял толстый лед. Сквозь снежный дым было слышно, как грохочет прибой, налетая на крепкую ледяную закраину.

Старик зашел в буфет, очевидно, погреться. Он ничего не заказывал и понуро сидел на деревянном диване, засунув руки в рукава неумело заплатанной рыбачьей куртки.

Вместе со стариком пришла белая мохнатая собачка. Она сидела, прижавшись к его ноге, и дрожала.

Рядом за столиком шумно пили пиво молодые люди с тугими, красными затылками. Снег таял у них на шляпах. Талая вода капала в стаканы с пивом и на бутерброды с копченой колбасой. Но молодые люди спорили о футбольном матче и не обращали на это внимания.

Когда один из молодых людей взял бутерброд и откусил сразу половину, собачка не выдержала. Она подошла к столику, стала на задние лапы и, заискивая, начала смотреть в рот молодому человеку.

— Пети! — тихо позвал старик.— Как же тебе не стыдно! Зачем ты беспокоишь людей, Пети?

Но Пети продолжала стоять, и только передние лапы у нее все время дрожали и опускались от усталости. Когда они касались мокрого живота, собачка спохватывалась и подымала их снова.

Но молодые люди не замечали ее. Они были увлечены разговором и то и дело подливали себе в стаканы холодное пиво.

Снег залеплял окна, и дрожь пробегала по спине при виде людей, пьющих в такую стужу совершенно ледяное пиво.

— Пети! — снова позвал старик.— А Пети! Ступай сюда!

Собачка несколько раз быстро мотнула хвостом, как бы давая понять старику, что она его слышит и извиняется, но ничего с собой поделать не может. На старика она не взглянула и даже отвела глаза совсем в другую сторону. Она как бы говорила: «Я сама знаю, что это нехорошо. Но ты же не можешь купить мне такой бутерброд».

— Эх, Пети! Пети! — шепотом сказал старик, и голос его чуть дрогнул от огорчения.

Пети снова вильнула хвостом и вскользь, умоляюще посмотрела па старика. Она как бы просила его больше ее не звать и не стыдить, потому что у нее самой нехорошо на душе и она, если бы не крайность, никогда бы, конечно, не стала просить у чужих людей.

Наконец один из молодых людей, скуластый, в зеленой шляпе, заметил собаку.

— Просишь, стерва? — спросил оп.— А где твой хозяин?

Пети радостно вильнула хвостом, взглянула на старика и даже чуть взвизгнула.

— Что же это вы, гражданин! — сказал молодой человек.— Раз собаку держите, так должны кормить. А то некультурно получается. Собака у вас милостыню выпрашивает. Нищенство у нас запрещено законом.

Молодые люди захохотали.

— Ну и отмочил, Валька! — крикнул один из них и бросил собачке кусок колбасы.

— Пети, не смей! — крикнул старик. Обветренное его лицо и тощая, жилистая шея покраснели.

Собачка сжалась и, опустив хвост, подошла к старику, даже не взглянув на колбасу.

— Не смей брать у них ни крошки! — сказал старик.

Он начал судорожно рыться в карманах, достал немного серебряной и медной мелочи и пересчитывал ее на ладони, сдувая мусор, прилипший к монетам. Пальцы у него дрожали.

— Еще обижается! — сказал скуластый молодой человек.— Какой независимый, скажи пожалуйста.

— А, брось ты его! На что он тебе сдался! — примирительно произнес один из его товарищей, наливая всем пиво.

Старик не проронил ни слова. Он подошел к стойке и положил несколько монет на мокрый прилавок.

— Один бутерброд! — сказал он хрипло.

Собачка стояла рядом с ним, поджав хвост.

Продавщица подала старику па тарелке два бутерброда.

— Один! — сказал старик.

— Берите! — тихо сказала продавщица.— Я на вас не разорюсь...

— Палдиес! — сказала старик.— Спасибо!

Он взял бутерброды и вышел на платформу. Там никого не было. Один шквал прошел, второй подходил, но был еще далеко на горизонте. Даже слабый солнечный свет упал на белые леса за рекой Лиелупа.

Старик сел на скамейку, дал один бутерброд Пети, а другой завернул в серый носовой платок и спрятал в карман.

Собачка судорожно ела, а старик, глядя на нее, говорил:

— Ах, Пети, Пети! Глупая собака!

Но собачка не слушала его. Она только ела. Старик смотрел на нее и вытирал рукавом глаза — верно, они слезились у него от ветра.

Вот, собственно, и вся маленькая история, случившаяся на станции Майори на Рижском взморье.

Зачем я ее рассказал?

Размышляя о значении подробностей в прозе, я вспомнил эту историю и понял, что если передать ее без одной главной подробности — без того, что собака всем своим видом извинялась перед хозяином, без этого заискивающего жеста маленького существа, то история эта станет грубее, чем она была на самом деле.

А если выбросить и другие подробности — неумело залатанную куртку, свидетельствующую о вдовстве или

одиночестве, капли талой воды, падавшие со шляп молодых людей, ледяное пиво, мелкие деньги с прилипшим к ним сором из кармана да, наконец, даже шквалы, налетавшие с моря белыми стенами, то рассказ от этого стал бы значительно суше и бескровнее.

В последние годы подробности начали исчезать из нашей беллетристики, особенно в вещах молодых писателей.

Но без подробности вещь не живет. Любой рассказ превращается тогда в ту сухую палку от копченого сига, о какой упоминал Чехов. Самого сига нет, а торчит одна тощая щепка.

Смысл подробности заключается в том, чтобы, по словам Пушкина, мелочь, которая обычно ускользает от глаз, мелькнула бы крупно, стала видной всем.

С другой стороны, есть писатели, страдающие утомительной и скучной наблюдательностью. Они заполняют свои сочинения грудами подробностей — без отбора, без понимания того, что подробность имеет право жить и необходимо нужна только в том случае, если она характерна, если она может сразу, как лучом света, вырвать из темноты любого человека или любое явление.

Например, чтобы дать представление о начавшемся крупном дожде, достаточно написать, что первые его капли громко щелкали по газете, валявшейся на земле под окном.

Или, чтобы передать страшное ощущение смерти грудного ребенка, достаточно сказать об этом так, как сказал Алексей Толстой в «Хождении по мукам»:

Измученная Даша уснула, а когда проснулась, ее ребенок был мертв.

«Схватила его, развернула,— на высоком черепе его светлые и редкие волосы стояли дыбом.

...Даша сказала мужу:

— Покуда спала, к нему пришла смерть... Пойми же — у него волосики стали дыбом... Один мучился... Я спала...

Никакими уговорами нельзя было отогнать от нее видения одинокой борьбы мальчика со смертью».

Эта подробность (легкие детские волосы, вставшие дыбом) стоит многих страниц самого точного описания смерти.

Обе эти подробности верно бьют в цель. Только такой и должна быть подробность — определяющей целое и, кроме того, обязательной.

В рукописи одного молодого писателя я наткнулся на такой диалог:

«*Здорово, тетя Паша!* — сказал входя, Алексей. (Перед этим автор говорит, что Алексей открыл дверь в комнату тети Паши рукой, как будто дверь можно открыть *головой.*)

— *Здравствуй, Алеша,*— приветливо воскликнула тетя Паша, оторвалась от шитья и посмотрела на Алексея.— Что долго не заходил?

— Да все некогда. Собрания всю неделю проводил.

— *Говоришь, всю неделю?*

— *Точно, тетя Паша! Всю неделю. Володьки нету? — спросил Алексей, оглядывая пустую комнату.*

— *Нет. Он на производстве.*

— *Ну, тогда я пошел. До свиданьица, тетя Паша. Бывайте здоровы.*

— *До свидания, Алеша,— ответила тетя Паша.— Будь здоров.*

Алексей *направился к двери, открыл ее* и вышел. Тетя Паша посмотрела ему вслед и покачала головой.

— Бойковитый парень. Моторный».

Весь этот отрывок состоит, помимо небрежностей и разгильдяйской манеры писать, из совершенно необязательных и пустых вещей (они подчеркнуты). Все это ненужные, нехарактерные, ничего не определяющие подробности.

В поисках и определении подробностей нужен строжайший отбор.

Подробность теснейшим образом связана с тем, что мы называем интуицией.

Интуицию я представляю себе как способность по отдельной частности, по подробности, по одному какому-либо свойству восстановить картину целого.

Интуиция помогает авторам исторических произведений воссоздавать не только подлинную картину жизни прошедших эпох, но самый их неповторимый колорит, чувствования людей, их психику, которая, по сравнению с нашей, была, конечно, несколько иной.

Интуиция помогла Пушкину, никогда не бывшему в Испании и в Англии, написать великолепные испанские сти-

хи, написать «Каменного гостя», а в «Пире во время чумы» дать картину средневековой Англии, не худшую, чем это могли бы сделать Вальтер Скотт или Бернс — уроженцы этой туманной страны.

Хорошая подробность вызывает и у читателя интуитивное и верное представление о целом — о человеке и его состоянии, о событии или, наконец, об эпохе.

БЕЛАЯ НОЧЬ

Старый пароход отвалил от пристани в Вознесенье и вышел в Онежское озеро.

Белая ночь простиралась вокруг. Я впервые видел эту ночь не над Невой и дворцами Ленинграда, а среди северных лесистых пространств и озер.

На востоке низко висела бледная луна. Она не давала света.

Волны от парохода бесшумно убегали вдаль, покачивая куски сосновой коры. На берегу, должно быть в каком-нибудь древнем погосте, сторож пробил на колокольне часы — двенадцать ударов. И хотя до берега было далеко, этот звон долетел до нас, миновал пароход и ушел по водной глади в прозрачный сумрак, где висела луна.

Я не знаю, как лучше назвать томительный свет белой ночи. Загадочным? Или магическим?

Эти ночи всегда кажутся мне чрезмерной щедростью природы — столько в них бледного воздуха и призрачного блеска фольги и серебра.

Человек не может примириться с неизбежным исчезновением этой красоты, этих очарованных ночей. Поэтому, должно быть, белые ночи и вызывают своей непрочностью легкую печаль, как все прекрасное, когда оно обречено жить недолго.

Я впервые ехал на север, но все казалось мне здесь знакомым, особенно груды белой черемухи, отцветавшей в ту позднюю весну в заглохших садах.

Много этой холодной и пахучей черемухи было в Вознесенье. Никто здесь ее не обрывал и не ставил на столы в кувшинах.

Я ехал в Петрозаводск. В то время Алексей Максимович Горький задумал издавать серию книг под рубрикой «История фабрик и заводов». К этому делу он при-

влек многих писателей, причем было решено работать бригадами,— тогда это слово впервые появилось в литературе.

Горький предложил мне на выбор несколько заводов. Я остановился на старинном Петровском заводе в Петрозаводске. Он был основан Петром Первым и существовал сначала как завод пушечный и якорный, потом занимался бронзовым литьем, а после революции перешел на изготовление дорожных машин.

От бригадной работы я отказался. Я был уверен тогда (как и сейчас), что есть области человеческой деятельности, где артельная работа просто немыслима, в особенности работа над книгой. В лучшем случае может получиться собрание разнородных очерков, а не цельная книга. В ней же, по-моему, несмотря на особенности материала, все равно должна была присутствовать индивидуальность писателя со всеми качествами его восприятия действительности, его стиля и языка.

Я считал, что как нельзя одновременно играть вдвоем или втроем на одной и той же скрипке, так же невозможно писать сообща одну и ту же книгу.

Я сказал об этом Алексею Максимовичу. Он насупился, побарабанил, по своему обыкновению, пальцами по столу, подумал и ответил:

— Вас, молодой человек, будут обвинять в самоуверенности. Но, в общем, валяйте! Только оконфузиться вам нельзя — книгу обязательно привозите. Всенепременно!

На пароходе я вспомнил об этом разговоре и поверил, что книгу напишу. Мне очень нравился север. Это обстоятельство, как мне тогда казалось, должно было значительно облегчить работу. Очевидно, я надеялся протащить в эту книгу о Петровском заводе пленившие меня черты севера — белые ночи, тихие воды, леса, черемуху, певучий новгородский говор, черные челны с изогнутыми носами, похожими на лебединые шеи, коромысла, расписанные разноцветными травами.

Петрозаводск был в то время тихим и пустынным. На улицах лежали большие мшистые валуны. Город был весь какой-то слюдяной — должно быть, от несильного блеска, исходившего от озера, и от белесого, невзрачного, но милого неба.

В Петрозаводске я засел в архивах и библиотеке и начал читать все, что относилось к Петровскому заводу. Ис-

тория завода оказалась сложной и интересной. Петр Первый, шотландские инженеры, наши крепостные талантливые мастера, карронский способ литья, водяные машины, своеобычные нравы — все это давало обильный материал для книги.

Прежде всего я набросал ее план. В нем было много истории и описаний, но мало людей.

Я решил писать книгу тут же, в Карелии, и потому снял комнату у бывшей учительницы Серафимы Ионовны — совершенно опростившейся старушки, ничем не похожей на учительницу, кроме очков и знания французского языка.

Я начал писать книгу по плану, но, сколько ни бился, книга просто рассыпалась у меня под руками. Мне никак не удавалось спаять материал, сцементировать его, дать ему естественное течение.

Материал расползался. Интересные куски провисали, не поддержанные соседними интересными кусками. Они одиноко торчали, не подкрепленные тем единственным, что могло бы вдохнуть жизнь в эти архивные факты,— живописной подробностью, воздухом времени, близкой мне человеческой судьбой.

Я писал о водяных машинах, о производстве, о мастерах, писал с глубокой тоской, понимая, что пока у меня не будет своего отношения ко всему этому, пока хотя бы самое слабое лирическое дыхание не оживит этот материал, ничего из книги не получится. И вообще никакой книги не будет.

(Кстати, в то время я понял, что писать о машинах нужно так же, как мы пишем о людях,— чувствуя их, любя их, радуясь и страдая за них. Не знаю как кто, но я всегда испытываю физическую боль за машину, хотя бы за «Победу», когда она, напрягаясь, берет из последних сил крутой подъем. Я устаю от этого, пожалуй, не меньше, чем машина. Может быть, этот пример не очень удачен, но я убежден, что к машинам, если хочешь написать о них, надо относиться как к живым существам. Я заметил, что хорошие мастера и рабочие так к ним и относятся.)

Ничего нет отвратительнее и тяжелее беспомощности перед материалом.

Я чувствовал себя человеком, взявшимся не за свое дело, как если бы мне пришлось выступать в балете или редактировать философию Канта.

А память нет-нет да и колола меня словами Горького: «Только оконфузиться вам нельзя — книгу обязательно привозите».

Я был подавлен еще и тем, что рушилась одна из основ писательского мастерства, которую я свято чтил. Я считал, что писателем может быть только тот, кто умеет легко и не теряя своей индивидуальности овладевать любым материалом.

Это мое состояние кончилось тем, что я решил сдаться, ничего не писать и уехать из Петрозаводска.

Мне не с кем было поделиться своей бедой, кроме Серафимы Ионовны. Я было уже совсем собрался рассказать ей о своей неудаче, но оказалось, что она сама это почувствовала, должно быть, каким-то своим особым учительским чутьем.

— Вы как, бывало, мои дуры гимназистки перед экзаменом,— сказала она мне.— Так забьют себе головы, что ничего не видят и не могут понять, что важно, а что ерунда. Просто переутомились. Я вашего дела писательского не знаю, но думается мне, что тут напором ничего не возьмешь. Только перетянете себе нервы. А это и вредно и просто опасно. Вы сгоряча не уезжайте. Отдохните. Поездите по озеру, погуляйте по городу. Он у нас славный, простой. Может, что и получится.

Но я все же решил уехать. Перед отъездом я пошел побродить по Петрозаводску. До тех пор я его как следует и не видел.

Я побрел к северу вдоль озера и вышел на окраину города. Домишки кончились. Потянулись огороды. Среди них то тут, то там виднелись кресты и могильные памятники.

Какой-то старик полол грядки моркови. Я спросил его, что это за кресты.

— Тут ране кладбище было,— ответил старик.— Вроде иностранцев здесь погребали. А сейчас эта земля пошла под огороды, памятники поубирали. А что осталось, так это ненадолго. До будущей весны постоят, не дольше.

Памятников, правда, было мало — всего пять-шесть. Один из них был обнесен чугунной оградой великолепного тяжелого литья.

Я подошел к нему. На гранитной сломанной колонке виднелась надпись на французском языке. Высокий репейник закрывал почти всю эту надпись.

Я сломал репейник и прочел: «Шарль-Евгепий Лонсевиль, инженер артиллерии Великой армии императора Наполеона. Родился в 1778 году в Перпиньяне, скончался летом 1816 года в Петрозаводске, вдали от родины. Да снизойдет мир на его истерзанное сердце».

Я понял, что передо мной была могила человека незаурядного, человека с печальной судьбой, и что именно он выручит меня.

Я вернулся домой, сказал Серафиме Ионовне, что остаюсь в Петрозаводске, и тотчас пошел в архив.

Там работал совершенно высохший, даже как будто прозрачный от худобы старичок в очках, бывший преподаватель математики. Архив не был еще целиком разобран, но старичок прекрасно управлялся в нем.

Я рассказал ему, что со мной произошло. Старичок страшно разволновался. Он привык выдавать, да и то редко, скучные справки, главным образом выписки из церковных метрических книг, а сейчас нужно было произвести трудный и интересный архивный розыск — найти все, что касалось загадочного наполеоновского офицера, умершего почему-то в Петрозаводске больше ста лет назад.

И старичок и я — мы оба беспокоились. Найдутся ли в архиве хоть какие-нибудь следы Лонсевиля, чтобы по ним можно было с большей или меньшей вероятностью восстановить его жизнь? Или мы ничего не найдем?

В общем, старичок неожиданно заявил, что не пойдет ночевать домой, а будет рыться в архиве всю ночь. Я хотел остаться с ним, но оказалось, что посторонним в архиве находиться нельзя. Тогда я отправился в город, купил хлеба, колбасы, чаю и сахару, принес все это старичку, чтобы он мог ночью поесть, и ушел.

Поиски длились девять дней. Каждое утро старичок показывал мне список дел, где, по его догадкам, могли быть какие-нибудь упоминания о Лонсевиле. Против наиболее интересных дел он ставил «птички», но называл их, как математик, «радикалами».

Только на седьмой день была найдена запись в кладбищенской книге о погребении при несколько странных обстоятельствах пленного капитана французской армии Шарля-Евгения Лонсевиля.

На девятый день были найдены упоминания о Лонсевиле в двух частных письмах, а на десятый — оборванное, без подписи донесение олонецкого губернатора о кратко-

временном пребывании в Петрозаводске жены «означенного Лонсевиля Марии-Цецилии Тринитэ, приезжавшей из Франции для установки памятника на его могиле».

Материалы были исчерпаны. Но и того, что нашел сиявший от этой удачи старичок-архивариус, было достаточно, чтобы Лонсевиль ожил в моем воображении.

Как только появился Лонсевиль, я тотчас засел за книгу — и весь материал по истории завода, что еще недавно так безнадежно рассыпáлся, вдруг лег в нее. Улегся плотно и как бы сам собой вокруг этого артиллериста, участника французской революции и наполеоновского похода в Россию, взятого в плен казаками под Гжатском, сосланного на Петрозаводский завод и умершего там от горячки.

Так была написана повесть «Судьба Шарля Лонсевиля».

Материал был мертв, пока не появился человек.

Кроме того, весь заранее составленный план книги разлетелся вдребезги. Теперь повествование уверенно вел за собой Лонсевиль. Он как магнит притянул к себе не только исторические факты, но и многое из того, что я видел на севере.

В повести есть сцена оплакивания умершего Лонсевиля. Слова женского плача над ним я взял из подлинных причитаний. Этот случай заслуживает того, чтобы о нем упомянуть.

Я ехал на пароходе вверх по Свири, из Ладожского озера в Онежское. Где-то, кажется в Свирице, на нижнюю палубу внесли с пристани простой сосновый гроб.

В Свирице, оказывается, умер старейший и самый опытный на Свири лоцман. Его друзья-лоцманы решили провезти гроб с его телом по всей реке — от Свирицы до Вознесенья, чтобы покойный как бы простился с любимой рекой. И кроме того, чтобы дать возможность береговым жителям попрощаться с этим очень уважаемым в тех местах, своего рода знаменитым человеком.

Дело в том, что Свирь порожистая и стремительная река. Пароходы без опытного лоцмана не могут проходить свирские стремнины. Поэтому на Свири с давних пор существовало целое племя лоцманов, очень тесно связанных между собой.

Когда мы проходили стремнины — пороги, наш пароход тащили два буксира, несмотря на то что он сам работал полным ходом.

Вниз по течению пароходы шли в обратном порядке — и пароход и буксир работали задним ходом против течения, чтобы замедлить спуск и не налететь на пороги.

О том, что на нашем пароходе везут умершего лоцмана, дали телеграмму вверх по реке. Поэтому на каждой пристани пароход встречали толпы жителей. Впереди стояли старухи-плакальщицы в черных платках. Как только пароход подваливал к пристани, они начинали оплакивать умершего высокими, томительными голосами.

Слова этого поэтического плача никогда не повторялись. По-моему, каждый плач был импровизацией.

Вот один из плачей:

«Пошто отлетел от нас в смертную сторону, пошто покинул нас, сиротинушек? Нешто мы тебя не привечали, не встречали добрым да ласковым словом? Погляди на Свирь, батюшка, погляди в останний раз,— кручи запеклись рудой кровью, течет река из одних наших бабьих слез. Ох, за что же это смерть к тебе пришла не ко времени? Ох, чего ж это по всей Свири-реке горят погребальные свечечки?»

Так мы и плыли до Вознесенья под этот плач, не прекращавшийся даже ночью.

А в Вознесенье на пароход взошли суровые люди — лоцманы — и сняли с гроба крышку. Там лежал седой могучий старик с обветренным лицом.

Гроб подняли на льняных полотенцах и понесли на берег под звонкий плач. За гробом шла молодая женщина, прикрыв шалью бледное лицо. Она вела за руку белоголового мальчика. За ней в нескольких шагах позади шел средних лет мужчина в форме речного капитана. Это были дочь, внук и зять умершего.

На пароходе приспустили флаг, и, когда гроб понесли на кладбище, пароход дал несколько протяжных гудков.

И еще одно впечатление отразилось в этой повести. Ничего значительного в этом впечатлении не было, но почему-то оно в моей памяти накрепко связано с севером. Это необыкновенный блеск Венеры.

Никогда я еще не видел блеска такой напряженности и чистоты. Венера переливалась, как капля алмазной влаги на зеленеющем предрассветном небе.

Это была действительно посланница небес, предвестница прекрасной утренней зари. В средних широтах и на юге я как-то никогда не замечал ее. А здесь казалось — она

одна сверкает в своей девственной красоте над пустошами и лесами, одна властвует в предутренние часы над всей северной землей, над Онегой и Заволочьем, над Ладогой и Заонежьем.

ЖИВОТВОРЯЩЕЕ НАЧАЛО

Однажды Золя в обществе нескольких друзей заметил, что воображение совершенно ненужно писателю. Работа писателя должна быть основана только на точном наблюдении Как у него, у Золя.

Бывший при этом Мопассан спросил:

— Как же тогда объяснить, что вы пишете свои огромные романы на основании какой-нибудь одной газетной заметки и при этом месяцами не выходите из дому?

Золя промолчал.

Мопассан взял шляпу и вышел. Его уход мог быть истолкован как оскорбление. Но он не боялся этого. Никому, даже Золя, он не мог позволить отрицать воображение.

Мопассан, как и каждый писатель, глубоко дорожил воображением — великолепной средой для расцвета творческой мысли, золотоносной землей поэзии и прозы.

Оно было животворящим началом искусства, его, как выражались восторженные поэты из Латинского квартала, «вечным солнцем и богом».

Но это ослепительное солнце воображения загорается только от прикосновения к земле. Оно не может гореть в пустоте. В ней оно гаснет.

Что такое воображение? Легче всего было бы ответить, как отвечал на такие каверзные вопросы Гайдар. Он подозрительно смотрел на собеседника и спрашивал:

— Опять ты меня решил подловить? Черта с два! Все равно не скажу.

Чтобы нам самим стали более или менее ясны некоторые понятия, лучше всего разобраться в них так, как делают это в разговорах с детьми взрослые.

Дети спрашивают: «А что это?», «А зачем это?», «А почему это?» Они не успокаиваются, пока не вынудят нас отыскать на все эти вопросы хотя бы сносные ответы.

Если бы у нас нашелся маленький собеседник, который мог бы выговорить слово «воображение», разговор, очевидно, происходил бы так:

— А что такое воображение?

И если бы мы в этом случае заговорили о «солнце искусства» или его «святая святых», то забрались бы в такие заумные чащи, что из них оставался бы только один выход — бегство от своего собеседника.

Дети требуют ясности. Поэтому мы будем вынуждены ответить предполагаемому собеседнику, что воображение — это свойство человеческой натуры.

— Какое?

— Это свойство человека, пользуясь запасом жизненных наблюдений, мыслей и чувств, создавать наряду с действительностью вымышленную жизнь, с вымышленными людьми и событиями. (Конечно, это надо сказать значительно проще.)

— А для чего? — спросит нас собеседник. — Есть же настоящая жизнь. Зачем же выдумывать другую?

— А затем, что настоящая жизнь большая и сложная и человеку никогда не удастся узнать ее целиком и во всем разнообразии. Да многое он и не может увидеть и пережить. Например, он не может перенестись на триста лет назад и стать учеником Галилея, быть участником взятия Парижа в тысяча восемьсот четырнадцатом году или, сидя в Москве, прикоснуться рукой к мраморным колоннам акрополя. Или беседовать с Гоголем, бродя по улицам Рима. Или заседать в Конвенте и слышать речи Марата. Или смотреть с палубы на Тихий океан, усеянный звездами. Хотя бы потому, что этот человек никогда в жизни не видел даже моря. А человек хочет знать, видеть и слышать все, хочет пережить все. И вот воображение дает ему то, что не успела или не может ему дать действительность. Воображение заполняет пустоты человеческой жизни.

Тут вы, конечно, забудете о своем собеседнике и начнете говорить вещи, для него непонятные.

Кто может провести резкую границу между воображением и мыслью? Ее нет, этой границы.

Воображение создало закон притяжения, бином Ньютона, печальную повесть Тристана и Изольды, расщепление атома, здание Адмиралтейства в Ленинграде, «Золотую осень» Левитана, «Марсельезу», радио, электрический свет, принца Гамлета, теорию относительности и фильм «Бемби».

Человеческая мысль без воображения бесплодна, равно как бесплодно и воображение, оторванное от действительности.

Есть французское выражение: «Великие мысли исходят из сердца». Пожалуй, вернее было бы сказать, что великие мысли исходят из всего человеческого существа. Сердце, воображение и разум — вот та среда, где зарождается то, что мы называем культурой.

Но есть одна вещь, которую даже наше могучее воображение не может себе представить. Это — исчезновение воображения и, значит, всего, что им вызвано к жизни. Если исчезнет воображение, то человек перестанет быть человеком.

Воображение — великий дар природы. Оно заложено в натуре человека.

Воображение, как я уже говорил, не может жить без действительности. Оно питается ею. С другой стороны, воображение очень часто в какой-то мере влияет на течение нашей жизни, на наши дела и мысли, на наше отношение к людям.

Об этом, как я уже упоминал, хорошо сказал Писарев. Если бы человек, говорил он, не мог представить себе в ярких и законченных картинах будущее, если бы человек не умел мечтать, то ничто бы не заставило его действовать во имя этого будущего, вести упорную борьбу, даже жертвовать жизнью.

Случайно на ноже карманном
Найти пылинку дальних стран —
И мир опять предстанет странным,
Закутанным в цветной туман!

Это — из Блока. А другой поэт сказал:

В каждой луже — запах океана.
В каждом камне — веянье пустынь...

Пылинка дальних стран и камень на дороге! Часто с таких вот пылинок и камней начинается неукротимая работа воображения. В связи с этим мне вспомнилась история одного старого испанского гидальго.

Возможно, что этот гидальго знал лучшие дни, но ко времени нашего рассказа он скудно жил в своем поместье в Кастилии. Поместье — клочок земли с угрюмым каменным домом, похожим на крепостной каземат,— досталось ему в наследство от предков.

Гидальго был одинок. В доме у него жила только старуха нянька. Она с трудом готовила самую простую еду и

ничего уже не помнила. Бесполезно было даже разговаривать с ней.

Гидальго целыми днями сидел в потертом кресле около стрельчатого окна и читал книги. Тишину нарушал только треск пересохшего клея в корешках книг.

Изредка гидальго смотрел за окно. Там торчало сухое дерево, черное, как железо, и тянулось по горизонту скучное плоскогорье. Эта область Испании была пустынна и неприветлива, но гидальго к ней привык.

Он был уже не молод, чтобы покидать свой дом ради утомительных и долгих путешествий с их возможными неприятностями. Да и для чего путешествовать, если во всем королевстве у него не было ни родных, ни друзей!

Какова была прошлая жизнь гидальго, мало кто знал. Говорили, что у него была жена и красавица дочь, но они умерли в один и тот же год и месяц от моровой язвы. С тех пор он заперся в своем доме и неохотно пускал к себе даже случайных путников, застигнутых ночью или непогодой.

Однажды в дом постучался обветренный человек в грубом плаще. Он привязал к черному дереву старого осла. За ужином у пылающего очага он рассказал гидальго, что — благодарение мадонне! — вернулся невредимым из опасного плавания на запад, куда король, соблазненный речами некоего итальянца Колумба, послал несколько каравелл.

Они плыли через океан несколько недель и слышали голоса морских женщин — сирен. Женщины вкрадчиво просили поднять их на каравеллы, чтобы они могли согреться на палубах, закутав свои обнаженные тела, как в покрывала, в собственные длинные волосы.

Капитан приказал не отвечать на просьбы сирен. Матросы негодовали. Они истомились по любви, по крутым и упругим женским бедрам.

Все это окончилось неудачным бунтом. Троих вожаков повесили на рее.

Они плыли дальше и увидели небывалое море, покрытое морской травой. В траве цвели большие синие цветы. Тогда отслужили мессу и начали огибать это море, пока на горизонте внезапно не открылась новая земля — неведомая и прекрасная. Ветер с ее берегов приносил ласковый шум леса и одуряющий запах растений.

Капитан поднялся на мостик, вынул шпагу, поднял ее к небу, и на острие клинка вспыхнул золотой огонь — знак

того, что они открыли наконец страну Эльдорадо, где горы полны драгоценных камней, золота и серебра.

Гидальго молча слушал этот рассказ.

Уезжая, человек достал из кожаной сумки розовую морскую раковину из страны Эльдорадо и подарил ее старому гидальго в благодарность за ужин и ночлег. Это была безделица, и потому гидальго ее принял.

Человек уехал, а ночью пришла гроза. Молнии медленно загорались и гасли над каменистой равниной.

Раковина лежала на столе около постели гидальго.

Он проснулся и увидел ее, озаренную вспышкой небесного огня. В глубине раковины сверкнуло и погасло видение волшебной страны, созданной из розового света, пены и облаков.

Молния погасла. Гидальго дождался следующей вспышки и снова увидел страну в раковине, еще более отчетливо, чем в первый раз. С отвесных ее берегов лились в море, пенясь и сверкая, широкие каскады воды. Что это было? Должно быть, реки. Он даже как будто почувствовал свежесть этих рек. Лицо ему запорошила водяная пыль.

Он приписал это ощущение непрошедшему сну, встал, придвинул кресло к столу, сел против раковины, нагнулся к ней и с непонятно отчего бьющимся сердцем старался рассмотреть всё новые подробности страны, заключенной внутри раковины. Но молнии сверкали все реже, а вскоре и совсем погасли.

Гидальго боялся зажечь свечу, чтобы при ее грубом свете не убедиться, что все это обман зрения и никакой страны в раковине нет.

Так он просидел до утра. В лучах рассвета раковина оказалась ничем не замечательной. В ее глубине не было ничего, кроме чуть заметного дымчатого сияния, будто загадочная страна отодвинулась за ночь на тысячи лье.

В тот же день гидальго уехал в Мадрид и преклонил колени перед королем, умоляя как о великой милости дать королевское соизволение снарядить за свой счет каравеллу и отплыть на запад для поисков неведомой страны.

Король был милостив и разрешил ему это. После ухода гидальго он сказал своим приближенным:

— Этот гидальго явный безумец! Чего он может достигнуть на единственной жалкой каравелле? Но бог руководит даже путями безумных. Чего доброго, этот старик присоединит к нашей короне новые земли.

Гидальго плыл на запад несколько месяцев. Он пил только воду и ел очень мало. Волнение высушило его тело. Он старался не думать о волшебной стране, боясь, что никогда до нее не доплывет. А если и увидит ее, то она окажется скучной равниной с колючей травой, и ветер будет гнать по ней серые столбы пыли.

Гидальго молился мадонне, чтобы она избавила его от этого разочарования.

Грубо вырезанная из дерева мадонна была прикреплена к носу каравеллы. Она неслась, покачиваясь, впереди корабля по волнам. Ее выпуклые синие глаза неподвижно смотрели в морскую даль. На волосах со стертой позолотой и на выцветшем пурпуре ее плаща блестели брызги.

— Веди нас! — заклинал ее гидальго.— Не может быть, чтобы этой страны не существовало. Я так ясно вижу ее и наяву и во сне.

Однажды вечером матросы выловили в воде сломанную ветку. Это означало близость земли.

Ветка была покрыта большими листьями, похожими на перья страуса. Листья пахли сладко и освежающе.

В эту ночь никто на корабле не спал.

И вот наконец в блеске утренней зари от одного края моря до другого открылась страна, сияющая разноцветными стенами гор. Прозрачные реки низвергались с этих гор в океан. Над зеленью лесов летали стаи веселых птиц. Листва была так густа, что птицы не могли проникнуть внутрь леса и потому кружились над его вершинами.

Блаженный запах цветов и плодов долетел с берега. Казалось, что каждый глоток этого запаха вливает в грудь бессмертие.

Взошло солнце, и страна, окруженная пеленой водяной пыли от водопадов, вдруг вспыхнула всеми красками, какие дарит солнечный свет, когда он преломляется в граненых хрустальных сосудах.

Страна блистала, как алмазный пояс, забытый на краю моря девственной богиней неба и света.

Гидальго упал на колени, протянул трясущиеся руки к неведомой земле и сказал:

— Благодарю тебя, провидение! В конце жизни ты поселило во мне тоску по новизне и заставило мою душу томиться видением благословенной страны. Иначе я никогда бы не отыскал ее и глаза мои высохли бы и ослепли от

однообразного зрелища плоскогорий. Эту счастливую землю я хочу назвать именем моей дочери Флоренсии.

От берега навстречу каравелле бежали десятки маленьких радуг. От них у гидальго закружилась голова. Солнце зажгло эти радуги в пене водопадов, но не они бежали к каравелле, а она быстро приближалась к ним.

На мачтах торжественно гудели паруса и, ликуя, хлопали поднятые командой праздничные знамена.

Гидальго упал лицом на теплую, влажную палубу и замолк. Усталое его сердце не выдержало единственной и великой радости, ниспосланной ему в этот день. Он умер.

Так, говорят, была открыта страна, названная впоследствии Флоридой.

Вряд ли нужно истолковывать этот рассказ. Но все же следует наметить его основные узлы, чтобы стала совершенно ясной мысль, что воображение, рожденное жизнью, в свою очередь получает иной раз власть и над жизнью.

Толчок воображению гидальго дал человек в грубом плаще. С этой минуты воображение завладело старым гидальго, и только потому он увидел в глубине раковины необыкновенную страну.

Одно из замечательных свойств воображения заключается в том, что человек ему верит. Без этой веры оно было бы пустой игрой ума, бессмысленным детским калейдоскопом.

Эта вера в воображение и есть та сила, что заставляет человека искать воображаемое в жизни, бороться за его воплощение, идти на зов воображения, как это сделал старый гидальго, наконец — создавать воображаемое в действительности.

Но прежде всего и сильнее всего воображение связано с искусством, с литературой, с поэзией.

Воображение основано на памяти, а память — на явлениях действительности. Запасы памяти не представляют из себя чего-то хаотического. Есть некий закон — закон ассоциаций, или, как называл его Ломоносов, «закон совоображения», который весь этот хаос воспоминаний распределяет по сходству или по близости во времени и пространстве — иначе говоря, обобщает — и вытягивает в непрерывную последовательную цепь. Эта цепь ассоциаций — путеводная нить воображения.

Богатство ассоциаций говорит о богатстве внутреннего мира писателя. При наличии этого богатства любая мысль и тема тотчас обрастают живыми чертами.

Есть очень насыщенные минеральные источники Стоит положить в такой источник ветку или гвоздь, что угодно, как через короткое время они обрастут множеством белых кристаллов и превратятся в подлинные произведения искусства. Примерно то же происходит и с человеческой мыслью, погруженной в источник нашей памяти, в насыщенную среду ассоциаций. Мысль превращается в произведение искусства.

Можно взять любой пример ассоциации. При этом надо помнить, что у каждого из нас ассоциации связаны с его жизнью, биографией, с его воспоминаниями. Поэтому ассоциации одного человека могут быть совершенно чужды другому. Одно и то же слово вызывает разные ассоциации у разных людей. Дело писателя состоит в том, чтобы передать или, как говорится, донести свои ассоциации до читателя и вызвать у него подобные же ассоциации.

Простейший пример ассоциации приводит Ломоносов в своей «Риторике». Ассоциация, по словам Ломоносова, «есть душевное дарование с одной вещью, уже представленною, купно воображать другие, как-нибудь с ней сопряженные, например: когда представив в уме корабль, с ним воображаем купно и море, по которому он плавает, с морем — бурю, с бурею — волны, с волнами — шум в берегах, с берегами — камни и так далее».

Это, так сказать, «хрестоматийная» ассоциация. Часто ассоциации бывают гораздо сложнее.

Вот, к примеру, одна из них.

Я пишу сейчас в маленьком доме на дюнах на берегу Рижского залива. В соседней комнате читает вслух свои стихи веселый человек — латышский поэт. Он носит красный вязаный свитер. Такой же свитер я видел давно, еще во время войны, на режиссере Эйзенштейне. Я встретил Эйзенштейна на улице в Алма-Ате. Он тащил пачку только что купленных книг. Подбор книг был несколько странный: «Руководство для игры в волейбол», хрестоматия по истории средних веков, учебник алгебры и «Цусима» Новикова-Прибоя.

— Режиссеру полагается знать все,— сказал Эйзенштейн.— И для всего находить зрительное выражение.

— Даже для алгебраических формул? — спросил я.

— Безусловно! — ответил Эйзенштейн.

Поэт Владимир Луговской писал в то время большую поэму. В ней была глава об Эйзенштейне под названием «Алма-Ата — город снов». В поэме были описаны мексиканские маски, висевшие в комнате у Эйзенштейна. Он привез их из поездки в Центральную Америку.

Вообще вся история завоевания Америки — это история человеческой подлости. Ее так и нужно озаглавить. Хорошее название для исторического романа: «Подлость». Оно звучит как пощечина.

О, эти постоянные мучительные поиски названий!

Выдумывание названий — особый талант. Есть люди, которые хорошо пишут, но не умеют давать названия своим вещам. И наоборот. Так же как есть люди, которые превосходно рассказывают, но плохо пишут. Они просто выбалтываются. Нужен сильный талант, такой, как у Горького, чтобы многократно рассказывать одну и ту же историю, а потом написать ее свежо и по-иному, чем сложился словесный рассказ! А рассказывал Горький великолепно. Подлинный случай сейчас же обрастал у него подробностями. При каждом новом рассказывании одного и того же случая подробности разрастались, менялись, становились все интереснее. Его устные рассказы были, по существу, подлинным творчеством. Поэтому Горький нестерпимо скучал среди людей пресных и точных, позволявших себе сомневаться в подлинности его рассказов. Он хмурился, замолкал и, казалось, говорил: «Скучно жить с вами на этом свете, товарищи!»

Этой способностью к прекрасному устному рассказу на основании подлинных фактов обладали многие писатели. Например, Марк Твен. Один критик, боровшийся за мелкую правду, уличил Марка Твена во лжи. Марк Твен рассвирепел. «Как вы можете судить, соврал я или нет,— сказал ему Марк Твен,— если сами вы не умеете даже бездарно соврать и не имеете никакого представления о том, как это делается? Чтобы так смело утверждать, нужен большой опыт в этом деле. А у вас его нет и быть не может. В этой области вы невежда и профан».

Ильф рассказывал, что в маленьком городке на родине Марка Твена он видел памятник Тому Сойеру и Гекльберри Финну. Финн на этом памятнике держит за хвост дохлую кошку. Правда, почему и у нас не ставить памятников литературным героям? Например, Дон-Кихоту или

Гулливеру, Павлу Корчагину, Татьяне Лариной, Тарасу Бульбе, Пьеру Безухову, чеховским трем сестрам, лермонтовскому Максиму Максимычу или Бэле.

Все написанное выше — цепь ассоциаций. Число их может быть бесконечным. Если поставить рядом первое и последнее звено этой ассоциации — красный свитер и памятник Бэле,— то весь, вполне естественный, ход ассоциации покажется бредом

Я много говорю об ассоциациях лишь потому, что они теснейшим образом участвуют в творчестве.

Из длинного этого разговора о воображении ясно только одно — без воображения нет подлинной прозы и нет поэзии.

Пожалуй, лучше всех сказал о воображении Бестужев-Марлинский:

«Хаос — предтеча творения чего-нибудь истинного, высокого и поэтического. Пусть только луч гения пронзит этот мрак. Враждующие, равносильные доселе пылинки оживут любовью и гармонией, стекутся к одной сильнейшей, слепятся стройно, улягутся блестящими кристаллами, возникнут горами, разольются морем, и живая сила испишет чело нового мира своими исполинскими гиероглифами».

Приходит ночь, и постепенно оживает сила души,— ей нет пока имени. Как назвать ее? Воображением, фантазией, проникновением в мельчайшие поры человеческого сознания, вдохновением? Душевным восторгом или спокойствием? Радостью или печалью? Кто знает!

Я гашу лампу, и ночь начинает медленно светлеть. Темнота пропитывается отсветом снега. Морской залив во льду. Как огромное тусклое зеркало, он подсвечивает ночь и превращает ее в прозрачный сумрак.

Видны черные вершины балтийских сосен. С мерно нарастающим гулом проходят вдали электрички. И снова тишина, такая тишина, что кажется, слышно малейшее шуршание хвои за окном и непонятное легкое потрескивание. Оно совпадает с вспышками звезд. Может быть, это иней слетает с них и осторожно потрескивает и позванивает.

В доме пусто. Я один. Рядом — море на сотни миль. За дюнами обширные болота и низкие леса... Никого нет око-

ло. Но стоит зажечь лампу, сесть к столу и начать писать о чем бы то ни было, как ощущение одиночества пропадает. Я не один. Из этой тесной комнаты я могу говорить с тысячами людей, со всем миром. Я могу им рассказывать всяческие истории, смешить их и печалить, вызывать раздумие и гнев, любовь и сострадание, вести их за руку, как поводырь, по жизни. Она создана здесь, в этих четырех стенах, но прорывается во вселенную.

Вести их за руку навстречу заре. Она придет неизбежно. Она уже чуть заметно приподняла на востоке темный полог ночи и осветила край неба еще пока что очень далекой, едва заметной голубизной.

Пока еще я сам не знаю, что буду писать. Мысль существует во мне, как волнение, как желание передать другим все то, что наполняет сейчас мой разум, мое сердце, все мое существо. Мысль живет во мне, но во что она выльется, какие найдет пути для своего выражения, мне неясно еще самому. Но я знаю, для кого я буду писать. Я буду говорить со всем миром. Трудно, почти невозможно зрительно представить себе это понятие — весь мир.

Всегда думаешь о ком-нибудь одном, хотя бы о девочке с нестерпимо сияющими глазами, что когда-то бежала ко мне навстречу по лугам, чтобы, добежав, схватить меня за локоть и сказать, задыхаясь от бега:

— А я вас давно здесь жду. Уже набрала целый сноп цветов и девять раз прочла наизусть вторую главу из «Евгения Онегина». И все вас ждут дома, потому что нам одним скучно. И вы сейчас расскажете всем, что с вами случилось на озере, и, пожалуйста, выдумайте что-нибудь интересное. Или нет, не выдумывайте, а расскажите все, как было, потому что и так в лугах такая прелесть и второй раз зацвел шиповник! И вообще хорошо!

А может быть, для женщины, чья жизнь связана с моею многими годами тяжести, радости и нежности так крепко, что теперь уже ничто нас не страшит.

А может быть, для друзей. В моем возрасте их становится с каждым годом меньше.

Но в конце концов я пишу для всех, кто захочет прочесть написанное мной.

Я не знаю, о чем буду писать. Может быть, потому, что слишком много хочу рассказать и пока еще не выбрал из мыслей именно ту одну, что, как магнит, притянет остальные и заставит их стройно лечь в границы повествования.

Это состояние знакомо всем пишущим.

«Поэты,— сказал Тургенев,— недаром говорят о вдохновении. Конечно, муза не сходит к ним с Олимпа и не приносит им готовых песен, но у них бывает особенное настроение, похожее на вдохновение. Те стихи Фета, над которыми так смеялись, где он говорит, что не знает сам, что будет петь, но «только песня зреет», прекрасно передают это настроение. Находят минуты, когда чувствуешь желание писать,— еще не знаешь, что именно, но чувствуешь, что будешь писать. Это настроение поэты и называют «приближением бога». Эти минуты составляют единственное наслаждение художника. Если бы их не было, никто бы и писать не стал. После, когда приходится приводить в порядок все то, что носится в голове, когда приходится излагать все это на бумаге,— тут-то и начинается мучение».

Внезапно среди ночи возникает звук. Это отдаленный пароходный гудок. Откуда он здесь, во льдах?

Вчера в рижской газете писали, что из Ленинграда вышел в залив ледокол. Очевидно, это гудок ледокола.

Неожиданно мне приходит на память рассказ штурмана одного из ледоколов о том, что, пробиваясь сквозь Финский залив, он увидел на льду замерзшую охапку простых полевых цветов. Они были присыпаны снегом. Кто потерял их здесь, в ледяной пустыне? Очевидно, их уронили с какого-нибудь парохода, когда он ломал первый, тонкий лед.

Образ возник. С непонятной силой он начинает вести к еще неясной сказке.

Нужно разгадать тайну этих замерзших цветов. В разгадке участвуют все. У каждого, видевшего эти цветы, есть соображения по этому поводу.

Есть они и у меня, хотя я цветов и не видел. Не те ли это цветы, что собирала в лугах девочка, прибежавшая ко мне навстречу? Должно быть, это те же цветы. Но как они попали на лед? Это могло случиться только в сказке, не ведающей преград ни во времени, ни в пространстве.

Тут же возникает мысль об особом, чисто женском отношении к цветам. Оно разнится от нашего, мужского. Для нас цветы — это украшение. Для женщин — это живые существа, гости из мира, который мы, взрослые и деловые люди, замечаем только мимоходом и относимся к нему со снисходительным пренебрежением.

Досадно, что так быстро разгорается заря. Дневной свет может прогнать эти мысли, сделать их просто смешными в глазах серьезных людей.

От солнечного света многие сказки сжимаются и прячутся, как улитки в свою скорлупу.

Да, но сказка — пока еще туманная — родилась. Остановить сказку, рассказ, повесть, когда они появляются на свет, почти невозможно. Это равносильно убийству живого существа. Они начинают расцветать в нашем сознании как бы сами по себе

И наконец наступает тот час, когда сказка ложится на бумагу. Писать ее большей частью так же трудно, как передать словами слабый запах травы. Сказку пишешь почти не дыша — чтобы не сдуть тончайшую пыльцу, которой она покрыта. И пишешь быстро, потому что мелькание света, теней и отдельных картин происходит стремительно и легко. Нельзя опоздать, нельзя отстать от бега воображения.

Сказка окончена. И хочется с благодарностью еще раз взглянуть в те сияющие глаза, где она живет постоянно.

НОЧНОЙ ДИЛИЖАНС

Я хотел написать отдельную главу о силе воображения и его влиянии на нашу жизнь. Но, подумав, я написал вместо этой главы рассказ о поэте Андерсене. Мне кажется, что он может заменить эту главу и даст более ясное представление о воображении, чем общие разговоры на эту тему.

В старой и грязной венецианской гостинице нельзя было допроситься чернил. Да и зачем было держать там чернила? Чтобы писать дутые счета постояльцам?

Правда, когда Христиан Андерсен поселился в гостинице, то в оловянной чернильнице оставалось еще немного чернил. Он начал писать ими сказку. Но с каждым часом сказка бледнела на глазах, потому что Андерсен несколько раз разбавлял чернила водой. Так ему и не удалось окончить ее — веселый конец сказки остался на дне чернильницы.

Андерсен усмехнулся и решил, что следующую сказку он так и назовет: «История, оставшаяся на дне высохшей чернильницы».

Он полюбил Венецию и называл ее «увядающим лотосом».

Над морем клубились низкие осенние тучи. В каналах плескалась гнилая вода. Холодный ветер дул на перекрестках. Но когда прорывалось солнце, то из-под плесени на стенах проступал розовый мрамор, и город появлялся за окном, как картина, написанная старым венецианским мастером Каналетто.

Да, это был прекрасный, хотя и несколько печальный город. Но пришло время покинуть его ради других городов.

Поэтому Андерсен не чувствовал особого сожаления, когда послал гостиничного слугу купить билет на дилижанс, отправлявшийся вечером в Верону.

Слуга был под стать гостинице — ленивый, всегда навеселе, нечистый на руку, но с открытым, простодушным лицом. Он ни разу не прибрал в комнате у Андерсена, даже не подмел каменный пол.

Из красных бархатных портьер золотистыми роями вылетала моль. Умываться приходилось в треснувшем фаянсовом тазу с изображением полногрудых купальщиц. Масляная лампа была сломана. Взамен ее на столе стоял тяжелый серебряный канделябр с огарком сальной свечи. Его, должно быть, не чистили со времен Тициана.

Из первого этажа, где помещалась дешевая остерия, разило жареной бараниной и чесноком. Там весь день оглушительно хохотали и ссорились молодые женщины в потертых бархатных корсажах, кое-как затянутых порванными тесемками.

Иногда женщины дрались, вцепившись друг другу в волосы. Когда Андерсену случалось проходить мимо дерущихся женщин, он останавливался и с восхищением смотрел на их растрепанные косы, рдеющие от ярости лица и горящие жаждой мести глаза.

Но самым прелестным зрелищем были, конечно, гневные слезы, что брызгали у них из глаз и стекали по щекам, как алмазные капли.

При виде Андерсена женщины затихали. Их смущал этот худой и элегантный господин с тонким носом. Они считали его заезжим фокусником, хотя и называли почтительно «синьор поэт». По их понятиям, это был странный поэт.

В нем не бурлила кровь. Он не пел под гитару раздирающие сердце баркаролы и не влюблялся по очереди в каждую из женщин. Только один раз он вынул из петлицы алую розу и подарил ее самой некрасивой девочке — судомойке. Она была к тому же хромая, как утка.

Когда слуга пошел за билетом, Андерсен кинулся к окну, отодвинул тяжелый занавес и увидел, как слуга шел, насвистывая, вдоль канала. Он походя ущипнул за грудь краснолицую продавщицу креветок и получил оглушительную оплеуху.

Потом слуга долго и сосредоточенно плевал с горбатого моста в канал, стараясь попасть в пустую половинку яичной скорлупы. Она плавала около свай.

Наконец он попал в нее, и скорлупа утонула. После этого слуга подошел к мальчишке в рваной шляпе. Мальчишка удил. Слуга сел около него и бессмысленно уставился на поплавок, дожидаясь, когда клюнет какая-нибудь бродячая рыба.

— О боже! — воскликнул с отчаянием Андерсен.— Неужели я сегодня не уеду из-за этого болвана?

Андерсен распахнул окно. Стекла задребезжали так сильно, что слуга услышал их звон и поднял голову. Андерсен воздел руки к небу и яростно потряс кулаками.

Слуга сорвал с мальчишки шляпу, восторженно помахал ею Андерсену, снова нахлобучил ее на мальчишку, вскочил и скрылся за углом.

Андерсен рассмеялся. Он ничуть не был рассержен. Его страсть к путешествиям усиливалась изо дня в день даже от таких забавных пустяков

Путешествия всегда сулили неожиданности. Никогда ведь не знаешь, когда блеснет из-под ресниц лукавый женский взгляд, когда покажутся вдали башни незнакомого города и закачаются на горизонте мачты тяжелых кораблей, какие стихи придут в голову при виде грозы, бушующей над Альпами, и чей голос пропоет тебе, как дорожный колокольчик, песенку о нераспустившейся любви.

Слуга принес билет на дилижанс, но не отдал сдачу. Андерсен взял его за шиворот и вежливо вывел в коридор. Там он шутливо хлопнул слугу по шее, и тот помчался вниз по шаткой лестнице, перепрыгивая через ступеньки и распевая во все горло.

Когда дилижанс выехал из Венеции, начал накрапывать дождь. На болотистую равнину опустилась ночь.

Возница проворчал, что сам сатана придумал, должно быть, отправлять дилижансы из Венеции в Верону по ночам.

Пассажиры ничего не ответили. Возница помолчал, в сердцах сплюнул и предупредил пассажиров, что, кроме огарка в жестяном фонаре, свечей больше нет.

Пассажиры и на это не обратили внимания. Тогда возница выразил сомнение в здравом рассудке своих пассажиров и добавил, что Верона — глухая дыра, где порядочным людям нечего делать.

Пассажиры знали, что это не так, но никто не захотел возразить вознице.

Пассажиров было трое — Андерсен, пожилой угрюмый священник и дама, закутанная в темный плащ. Она казалась Андерсену то молодой, то пожилой, то красавицей, то дурнушкой. Все это были шалости огарка в фонаре. Он освещал даму каждый раз по-иному — как ему приходило в голову.

— Не погасить ли огарок? — спросил Андерсен.— Сейчас он не нужен. Потом, в случае необходимости, нам нечего будет зажечь.

— Вот мысль, которая никогда бы не пришла в голову итальянцу! — воскликнул священник.

— Почему?

— Итальянцы не способны что-либо предвидеть. Они спохватываются и вопят, когда уже ничего нельзя исправить.

— Очевидно,— спросил Андерсен,— ваше преподобие не принадлежит к этой легкомысленной нации?

— Я австриец! — сердито ответил священник.

Разговор оборвался. Андерсен задул огарок. После некоторого молчания дама сказала:

— В этой части Италии лучше ездить ночью без света.

— Нас все равно выдает шум колес,— возразил ей священник и недовольно добавил: — Путешествующим дамам следует брать с собой кого-нибудь из родственников. В качестве провожатого.

— Мой провожатый,— ответила дама и лукаво засмеялась,— сидит рядом со мной.

Она говорила об Андерсене. Он снял шляпу и поблагодарил свою спутницу за эти слова.

Как только огарок погас, звуки и запахи усилились, как будто они обрадовались исчезновению соперника.

Громче стал топот копыт, слышнее шорох колес по гравию, дребезжание рессор и постукивание дождя по крыше дилижанса. И гуще потянуло в окна запахом сырой травы и болота.

— Удивительно! — промолвил Андерсен.— В Италии я ожидал услышать запах померанцевых рощ, а узнаю воздух своей северной родины.

— Сейчас все переменится,— сказала дама.— Мы подымаемся на холмы. Там воздух теплее.

Лошади шли шагом. Дилижанс действительно подымался на отлогий холм.

Но ночь от этого не посветлела. Наоборот, по сторонам дороги потянулись старые вязы. Под их раскидистыми ветвями темнота стояла плотно и тихо, чуть слышно перешептываясь с листьями и дождевыми каплями.

Андерсен опустил окно. Ветка вяза заглянула в дилижанс. Андерсен сорвал с нее на память несколько листьев.

Как у многих людей с живым воображением, у него была страсть собирать во время поездок всякие пустяки. Но у этих пустяков было одно свойство — они воскрешали прошлое, возобновляли то состояние, какое было у него, Андерсена, именно в ту минуту, когда он подбирал какой-нибудь осколок мозаики, лист вяза или маленькую ослиную подкову.

«Ночь!» — сказал про себя Андерсен.

Сейчас ее мрак был приятнее, чем солнечный свет. Темнота позволяла спокойно размышлять обо всем. А когда Андерсену это надоедало, то она помогала выдумывать разные истории, где он был главным героем.

В этих историях Андерсен представлял себя неизменно красивым, юным, оживленным. Он щедро разбрасывал вокруг себя те опьяняющие слова, которые сентиментальные критики называют «цветами поэзии».

На самом же деле Андерсен был очень некрасив и хорошо это знал. Он был долговяз и застенчив. Руки и ноги болтались у него, как у игрушечного человечка на веревочке. Таких человечков у него на родине дети зовут «хампельманами».

С этими качествами нечего было надеяться на внимание женщин. Но все же каждый раз сердце отзывалось обидой, когда юные женщины проходили мимо него, как около фонарного столба.

Андерсен задремал.

Когда он очнулся, то прежде всего увидел большую зеленую звезду. Она плыла над самой землей. Очевидно, был поздний час почи.

Дилижанс стоял. Снаружи доносились голоса. Андерсен прислушался. Возница торговался с песколькими женщинами, остановившими дилижанс в пути.

Голоса женщин были такими вкрадчивыми и звонкими, что весь этот мелодичный торг напоминал речитатив из старинной оперы.

Возница не соглашался подвезти женщин до какого-то, очевидно, очень маленького городка или местечка за ту плату, какую они предлагали. Женщины наперебой уверяли, что они сложились втроем и больше денег у них нет.

— Довольно! — сказал Андерсен вознице.— Я приплачу вам до той суммы, которую вы нагло требуете. И прибавлю еще, если вы перестанете грубить пассажирам и болтать вздор.

— Ладно, красавицы,— сказал возница женщинам,— садитесь. Благодарите мадонну, что вам попался этот иностранный принц, который сорит деньгами. Он просто не хочет задерживать из-за вас дилижанс. А вы-то сами ему нужны, как прошлогодние макароны.

— О Иисусе! — простонал священник.

— Садитесь рядом со мной, девушки,— сказала дама.— Так нам будет теплее.

Девушки, тихо переговариваясь и передавая друг другу вещи, влезли в дилижанс, поздоровались, робко поблагодарили Андерсена, сели и затихли.

Сразу же запахло овечьим сыром и мятой. Андерсен смутно различал, как поблескивали стекляшки в дешевых серьгах девушек.

Дилижанс тронулся. Снова затрещал гравий под колесами. Девушки начали шептаться.

— Опи хотят знать,— сказала дама, и Андерсен догадался, что она усмехается в темноте,— кто вы такой. Действительно ли вы иностранный принц? Или обыкновенный путешественник-форестьер?

— Я предсказатель,— ответил, не задумываясь, Андерсен.— Я умею угадывать будущее и видеть в темноте. Но я пе шарлатан. И пожалуй, я своего рода бедный принц из той страны, где некогда жил Гамлет.

— Да что же вы можете увидеть в этакой темноте? — удивленно спросила одна из девушек.

— Хотя бы вас,— ответил Андерсен.— Я вижу вас так ясно, что мое сердце наполняется восхищением перед вашей прелестью.

Он сказал это и почувствовал, как у него холодеет лицо. Приближалось то состояние, какое он всякий раз испытывал, выдумывая свои поэмы и сказки.

В этом состоянии соединялись легкая тревога, неизвестно откуда берущиеся потоки слов, внезапное ощущение своей поэтической силы и власти над человеческим сердцем.

Как будто в одной из его историй отлетела со звоном крышка старого волшебного сундука, где хранились невысказанные мысли и дремлющие чувства, где было спрятано все очарование земли,— все ее цветы, краски и звуки, душистые ветры, просторы морей, шум леса, муки любви и детский лепет.

Андерсен не знал, как называется это состояние. Одни считали его вдохновением, другие — восторгом, третьи — даром импровизации.

— Я проснулся и услышал среди ночи ваши голоса,— помолчав, спокойно сказал Андерсен.— Для меня этого было довольно, милые девушки, чтобы узнать вас и — даже больше того — полюбить, как своих мимолетных сестер. Я хорошо вас вижу. Вы девушки с легкими светлыми волосами. Вы хохотушки и так любите все живое, что даже дикие дрозды садятся вам на плечи, когда вы работаете на огороде.

— Ой, Николина! Это же он говорит про тебя! — громким шепотом сказала одна из девушек.

— У вас, Николина, горячее сердце,— так же спокойно продолжал Андерсен.— Если бы случилось несчастье с вашим любимым, вы бы пошли, не задумываясь, за тысячи лье через снежные горы и сухие пустыни, чтобы увидеть его и спасти. Правду я говорю?

— Да уж пошла бы...— смущенно пробормотала Николина.— Раз вы так думаете.

— Как вас зовут, девушки? — спросил Андерсен.

— Николина, Мария и Анна,— охотно ответила за всех одна из них.

— Что ж, Мария, я бы не хотел говорить о вашей красоте. Я плохо говорю по-итальянски. Но еще в юности я

поклялся перед богом поэзии прославлять красоту повсюду, где бы я ее ни увидел.

— Иисусе! — тихо сказал священник.— Его укусил тарантул. Он обезумел.

— Есть женщины, обладающие поистине потрясающей красотой. Это почти всегда замкнутые натуры. Они переживают наедине сжигающую их страсть. Она как бы изнутри опаляет их лица. Вот вы такая, Мария. Судьба таких женщин часто бывает необыкновенной. Или очень печальной, или очень счастливой.

— А вы встречали когда-нибудь таких женщин? — спросила дама.

— Не далее как сейчас,— ответил Андерсен.— Мои слова относятся не только к Марии, но и к вам, сударыня.

— Я думаю, что вы говорите так не для того, чтобы скоротать длинную ночь,— сказала дрогнувшим голосом дама.— Это было бы слишком жестоко по отношению к этой прелестной девушке. И ко мне,— добавила она вполголоса.

— Никогда я еще не был так серьезен, сударыня, как в эту минуту.

— Так как же? — спросила Мария.— Буду я счастлива? Или нет?

— Вы очень много хотите получить от жизни, хотя вы и простая крестьянская девушка. Поэтому вам нелегко быть счастливой. Но вы встретите в своей жизни человека, достойного вашего требовательного сердца. Ваш избранник должен быть, конечно, человеком замечательным. Может быть, это будет живописец, поэт, борец за свободу Италии... А может быть, это будет простой пастух или матрос, но с большой душой. Это в конце концов все равно.

— Сударь,— застенчиво сказала Мария,— я вас не вижу, и потому мне не стыдно спросить. А что делать, если такой человек уже завладел моим сердцем? Я его видела всего несколько раз и даже не знаю, где он сейчас.

— Найдите его,— воскликнул Андерсен,— и он вас полюбит!

— Мария! — радостно сказала Анна.— Так это же тот молодой художник из Вероны...

— Замолчи! — прикрикнула на нее Мария.

— Верона не такой большой город, чтобы человека нельзя было отыскать там,— сказала дама.— Запомните

мое имя. Меня зовут Елепа Гвиччиоли. Я живу в Вероне. Каждый веронец укажет вам мой дом. Вы, Мария, приедете в Верону. И вы будете жить у меня, пока не произойдет тот счастливый случай, какой предсказал наш милый попутчик.

Мария нашла в темноте руку Елены Гвиччиоли и прижала к своей горячей щеке.

Все молчали. Андерсен заметил, что зеленая звезда погасла. Она зашла за край земли. Значит, ночь перевалила за половину.

— Ну, а что же вы мне ничего не посулили? — спросила Анна, самая разговорчивая из девушек.

— У вас будет много детей,— уверенно ответил Андерсен.— Они будут выстраиваться гуськом за кружкой молока. Вам придется терять много времени, чтобы каждое утро их всех умывать и причесывать. В этом вам поможет ваш будущий муж.

— Уж не Пьетро ли? — спросила Анна.— Очень он мне нужен, этот пентюх Пьетро!

— Вам еще придется тратить много времени, чтобы несколько раз за день перецеловать всех этих крошечных мальчиков и девочек в их сияющие любопытством глаза.

— В папских владениях были бы немыслимы все эти безумные речи! — сказал раздраженно священник, но никто не обратил внимания на его слова.

Девушки опять о чем-то пошептались. Шепот их все время прерывался смехом. Наконец Мария сказала:

— А теперь мы хотим знать, что вы за человек, сударь. Мы-то не умеем видеть в темноте.

— Я бродячий поэт,— ответил Андерсен.— Я молод. У меня густые волнистые волосы и темный загар на лице. Мои синие глаза почти все время смеются, потому что я беззаботен и пока еще никого не люблю. Мое единственное занятие — делать людям маленькие подарки и совершать легкомысленные поступки, лишь бы они радовали моих ближних.

— Какие, например? — спросила Елена Гвиччиоли.

— Что же вам рассказать? Прошлым летом я жил у знакомого лесничего в Ютландии. Однажды я гулял в лесу и вышел на поляну, где росло много грибов. В тот же день я вернулся на эту поляну и спрятал под каждый гриб то конфету в серебряной обертке, то финик, то маленький букетик из восковых цветов, то наперсток и шелковую ленту.

На следующее утро я пошел в этот лес с дочерью лесничего. Ей было семь лет. И вот под каждым грибом она находила эти необыкновенные вещицы. Не было только финика. Его, наверное, утащила ворона. Если бы вы только видели, каким восторгом горели глаза малютки. Я уверил ее, что все эти вещи спрятали гномы.

— Вы обманули невинное создание! — возмущенно сказал священник.— Это великий грех!

— Нет, это не было обманом. Она-то запомнит этот случай на всю жизнь. И, уверяю вас, ее сердце не так легко очерствеет, как у тех, кто не пережил этой сказки. Кроме того, замечу вам, ваше преподобие, что не в моих привычках выслушивать непрошеные наставления.

Дилижанс остановился. Девушки сидели не двигаясь, как зачарованные. Елена Гвиччиоли молчала, опустив голову.

— Эй, красотки! — крикнул возница.— Очнитесь! Приехали!

Девушки опять о чем-то пошептались и встали.

Неожиданно в темноте сильные руки обняли Андерсена за шею и горячие губы прикоснулись к его губам.

— Спасибо! — прошептали эти горячие губы, и Андерсен узнал голос Марии.

Николина поблагодарила его и поцеловала осторожно и ласково, защекотав волосами лицо, а Анна — крепко и шумно. Девушки соскочили на землю. Дилижанс покатился дальше по мощеной дороге. Андерсен выглянул в окно. Ничего не было видно, кроме черных вершин деревьев на едва зеленеющем небе. Начинался рассвет.

Верона поразила Андерсена великолепными зданиями. Торжественные фасады соперничали друг с другом. Соразмерная архитектура должна была способствовать спокойствию духа. Но на душе у Андерсена спокойствия не было.

Вечером Андерсен позвонил у дверей старинного дома Гвиччиоли, в узкой улице, подымавшейся к крепости.

Дверь ему открыла сама Елена Гвиччиоли. Зеленое бархатное платье плотно облегало ее стан. Отсвет от бархата падал на ее глаза, и они показались Андерсену совершенно зелеными, как у валькирии, и невыразимо прекрасными.

Она протянула ему обе руки, сжала его широкие ладони холодными пальцами и, отступая, ввела его в маленький зал.

— Я так соскучилась,— сказала она просто и виновато улыбнулась.— Мне уже не хватает вас.

Андерсен побледнел. Весь день он вспоминал о ней с глухим волнением. Он знал, что можно до боли в сердце любить каждое слово женщины, каждую ее потерянную ресницу, каждую пылинку па ее платье. Он понимал это. Оп думал, что такую любовь, если он даст ей разгореться, пе вместит сердце. Она принесет столько терзаний и радости, слез и смеха, что у него не хватит сил, чтобы перенести все ее перемены и неожиданности.

И кто знает, может быть, от этой любви померкнет, уйдет и никогда не вернется пестрый рой его сказок. Чего он будет стоить тогда!

Все равно его любовь окажется в конце концов безответной. Сколько раз с ним уже так бывало. Такими женщинами, как Елена Гвиччиоли, владеет каприз. В один печальный день она заметит, что он урод. Он сам был противен себе. Он часто чувствовал за своей спиной насмешливые взгляды. Тогда его походка делалась деревянной, он спотыкался и готов был провалиться сквозь землю.

«Только в воображении,— уверял он себя,— любовь может длиться вечно и может быть вечно окружена сверкающим нимбом поэзии. Кажется, я могу гораздо лучше выдумать любовь, чем испытать ее в действительности».

Поэтому он пришел к Елене Гвиччиоли с твердым решением увидеть ее и уйти, чтобы никогда больше не встречаться.

Он не мог прямо сказать ей об этом. Ведь между ними ничего не произошло. Они встретились только вчера в дилижансе и ничего не говорили друг другу.

Андерсен остановился в дверях зала и осмотрелся. В углу белела освещенная канделябрами мраморная голова Дианы, как бы побледневшая от волнения перед собственной красотой.

— Кто обессмертил ваше лицо в этой Диане? — спросил Андерсен.

— Канова,— ответила Елена Гвиччиоли и опустила глаза. Она, казалось, догадывалась обо всем, что творилось у него на душе.

— Я пришел откланяться,— пробормотал Андерсен глухим голосом.— Я бегу из Вероны.

— Я узнала, кто вы,— глядя ему в глаза, сказала Елена Гвиччиоли.— Вы Христиан Андерсен, знаменитый сказочник и поэт. Но, оказывается, в своей жизни вы боитесь сказок. У вас не хватает силы и смелости даже для короткой любви.

— Это мой тяжкий крест,— сознался Андерсен.

— Ну что ж, мой бродячий и милый поэт,— сказала она горестно и положила руку на плечо Андерсену,— бегите! Спасайтесь! Пусть ваши глаза всегда смеются. Не думайте обо мне. Но если вы будете страдать от старости, бедности и болезней, то вам стоит сказать только слово — и я приду, как Николина, пешком за тысячи лье, через снежные горы и сухие пустыни, чтобы утешить вас.

Она опустилась в кресло и закрыла руками лицо. Трещали в канделябрах свечи.

Андерсен увидел, как между тонких пальцев Елены Гвиччиоли просочилась, блеснула, упала на бархат платья и медленно скатилась слеза.

Он бросился к ней, опустился на колени, прижался лицом к ее теплым, сильным и нежным ногам. Она, не открывая глаз, протянула руки, обняла его голову, наклонилась и поцеловала в губы.

Вторая горячая слеза упала ему на лицо. Он почувствовал ее соленую влагу.

— Идите! — тихо сказала она.— И пусть бог поэзии простит вас за все.

Он встал, взял шляпу и быстро вышел.

По всей Вероне звонили к вечерне колокола.

Больше они никогда не виделись, но думали друг о друге все время.

Может быть, поэтому незадолго до смерти Андерсен сказал одному молодому писателю:

— Я заплатил за свои сказки большую и, я бы сказал, непомерную цену. Я отказался ради них от своего счастья и пропустил то время, когда воображение, несмотря на всю его силу и весь его блеск, должно было уступить место действительности.

Умейте же, мой друг, владеть воображением для счастья людей и для своего счастья, а не для печали.

ДАВНО ЗАДУМАННАЯ КНИГА

Довольно давно, больше десяти лет назад, я решил написать трудную, но, как я тогда думал, да думаю и сейчас, интересную книгу.

Книга эта должна была состоять из биографий замечательных людей.

Биографии должны были быть короткие и живописные.

Я начал даже составлять для этой книги список замечательных людей.

В эту книгу я решил вставить и несколько жизнеописаний самых обыкновенных людей, с которыми я встречался,— людей безвестных, забытых, но мало, в сущности, уступавших тем людям, что стали известными и знаменитыми. Просто им не повезло и они не смогли оставить после себя хотя бы слабый след в памяти потомков. Большей частью это были бессребреники и подвижники, охваченные какой-нибудь всепоглощающей страстью.

Среди них был речной капитан Оленин-Волгарь — человек поистине феерической жизни. Он вырос в музыкальной семье и учился пению в Италии. Но ему захотелось обойти пешком всю Европу, он бросил учение и действительно обошел Италию, Испанию и Францию как уличный певец. В каждой стране он пел под гитару песни на ее родном языке.

Я познакомился с Олениным-Волгарем в 1924 году в редакции одной из московских газет. Однажды после работы мы попросили Оленина-Волгаря спеть нам несколько песенок из его уличного репертуара. Достали где-то гитару, и сухощавый невысокий старик в форме речного капитана вдруг преобразился в виртуоза, в удивительного актера и певца. Голос у него был совершенно молодой.

Мы, замерев, слушали, как свободно лились итальянские кантилены, как отрывисто гремели песни басков, как ликовала, вся в звоне труб и пороховом дыму, «Марсельеза».

После скитаний по Европе Оленин-Волгарь работал матросом на морских пароходах, выдержал экзамен на штурмана дальнего плавания, прошел много раз вдоль и поперек Средиземное море, потом вернулся в Россию и служил капитаном на Волге. В то время, когда я познакомил-

ся с ним, он водил пассажирские пароходы из Москвы в Нижний Новгород.

Он первый на свой страх и риск провел через узкие и ветхие москворецкие шлюзы большой волжский пассажирский пароход. Все капитаны и инженеры уверяли, что это невозможно.

Он первый предложил выпрямить русло Москвы-реки в знаменитых Марчугах, где река петляла так сильно, что даже от одного вида на карте ее бесчисленных поворотов могла закружиться голова.

Оленин-Волгарь написал много превосходных статей о реках России. Теперь эти статьи потеряны и забыты. Он знал все омуты, перекаты и карчи на десятках рек. У него были свои простые и неожиданные планы, как улучшить судоходство на этих реках.

В свободное время он переводил на русский язык «Божественную комедию» Данте.

Это был строгий, добрый и беспокойный человек, считавший, что все профессии одинаково почетны, потому что служат делу народа и дают каждому возможность проявить себя «хорошим человеком на этой хорошей земле».

И еще был у меня один простой и милый знакомый — директор краеведческого музея в маленьком городке Средней России.

Музей помещался в старинном доме. Помощников у директора не было, кроме жены. Они вдвоем не только держали музей в образцовом порядке, но сами ремонтировали дом, заготовляли дрова и делали всякую черную работу.

Однажды я их застал за странным занятием. Они ходили по уличке около музея — тихой уличке, заросшей муравой,— и подбирали все камни и битый кирпич, какие валялись вокруг.

Оказывается, мальчишки выбили камнем в музее окно. Чтобы впредь у мальчишек не было под рукой метательных снарядов, директор решил собрать все камни с улички и снести их во двор.

Каждая вещь в музее — от старинного кружева или редкого плоского кирпича XIV века до образцов торфа и чучела аргентинской водяной крысы — нутрии, недавно выпущенной для размножения в окрестные болота,— была изучена и тщательно описана.

Но этот скромный человек, говоривший всегда вполголоса, покашливая от смущения, совершенно расцветал, ко-

гда показывал картину художника Переплетчикова. Он нашел ее в закрытом монастыре.

Правда, это был превосходный пейзаж, написанный из глубокой амбразуры окна,— белый северный вечер с уснувшими молодыми березками и светлой, как олово, водой небольшого озера.

Работать этому человеку было трудно. С ним мало считались. Работал он в тишине, никому не надоедал. Но даже если бы его музей и не приносил большой пользы, то разве самое существование такого человека не было для местных людей, особенно для молодежи, примером преданности делу, скромности и любви к своему краю?

Недавно я нашел список замечательных людей, который составлял для этой книги. Он очень велик. Вряд ли стоит приводить его полностью. Выберу из него наугад только несколько писательских имен.

Рядом с каждым именем я делал короткие заметки о тех ощущениях, какие были связаны у меня с тем или иным писателем.

Приведу здесь некоторые из этих записей. Я упорядочил их и несколько расширил.

ЧЕХОВ

У многих из нас есть плохая привычка записывать в двух-трех словах свои мысли, впечатления и номера телефонов на папиросных коробках. Потом, как правило, коробки эти теряются, а с ними исчезают из памяти целые дни нашей жизни.

День жизни — это совсем не так просто и не так мало, как может показаться. Попробуйте вспомнить любой свой день минута за минутой: все встречи, разговоры, мысли, поступки, все события и душевные состояния, свои и чужие,— и вы убедитесь, что восстановить весь этот поток времени можно, только написав целую книгу, если не две, а то и все три!

Однажды биограф Чехова А. И. Роскин предложил нам, собравшимся зимой в ялтинском Доме писателей, заняться этой, как он шутя говорил, «работкой».

Мы с радостью встретили идею Роскина. Каждый начал писать свою «Книгу одного дня», но вскоре все бросили это занятие. «Работка» оказалась труднейшей, почти непосильной даже для опытных и работоспособных масте-

ров. Она требовала непрерывного напряжения памяти и брала уйму времени, несмотря на то что при ней отпадали тяжелые для писателя заботы о теме, сюжете и композиции — все предлагала нам сама жизнь.

Я тоже привык записывать свои мысли на чем попало, в частности на папиросных коробках. Я всегда рассчитывал, что сохраню их, но тотчас же терял.

Эти небрежные свои записи я оправдывал тем, что Эдуард Багрицкий читал мне свои стихи «По рыбам, по звездам проносит шаланду...», считывая их с затрепанной папиросной коробки «Герцеговины Флор».

Но несколько коробок у меня все же уцелело. Одна из них имеет отношение к Чехову и чеховскому дому в Ялте. Я попытаюсь расшифровать сохранившиеся на этой коробке полустертые и короткие записи.

Я обещал одной газете написать статью о Чехове. Но, начав ее, тут же убедился, что писать сейчас о Чехове в том жанре, какой мы определяем словом «статья», очень трудно и, пожалуй, почти невозможно. Кажется, что все слова в русском языке, которые можно отнести к Чехову, уже сказаны, уже истрачены. Любовь к Чехову переросла наши словарные богатства. Она, как и каждая большая любовь, быстро исчерпала запас наших лучших выражений. Возникает опасность повторений и общих мест.

О Чехове сказано как будто все. Но пока еще мало сказано о том, что оставил Чехов нам в наследство в наших характерах и как Чехов своим существованием определил сегодня жизнь тех, кому он дорог.

Почти ничего не сказано о «чувстве Чехова» — всегда живого и милого нам человека, о чувстве сильном и благодарном.

И вот я решил статьи не писать, а обратиться к своим записям на папиросной коробке. Может быть, там где-нибудь и проскользнет то «чувство Чехова», которое я не могу еще точно определить.

Записи эти, как я уже говорил, очень короткие. Например: «1950 год. Я один в доме. Мохнатая собачка лает внизу. По традиции ее зовут Каштанкой».

Память получила легкий толчок и начинает восстанавливать прошлое.

Это было осенью 1950 года. Я пришел в ялтинский дом Чехова к Марии Павловне. Ее не было, она ушла куда-то

по соседству, а я остался ждать ее в доме. Старуха работница провела меня на террасу.

Стояла та обманчивая и удивительная ялтинская осень, когда нельзя понять, доцветает ли весна или расцветает прозрачная осень. За балюстрадой горел на солнце во всей своей девственной белизне куст каких-то цветов.

Цветы уже осыпáлись от каждого веяния или, вернее, дыхания воздуха. Я знал, что этот куст был посажен Антоном Павловичем, и боялся прикоснуться к нему, хотя мне и хотелось сорвать на память пусть самую ничтожную веточку. Наконец я решился, протянул руку к кусту и тотчас же отдернул ее,— снизу, из сада, на меня залаяла мохнатая рыжая собачка по имени Каштанка. Она отбрасывала задними лапами землю и лаяла совершенно так, как описывал это Чехов:

— Р-р-р... нга-нга-нга! Р-р-р... нга-нга-нга!

Я невольно рассмеялся. Собачка села, расставила уши и прислушалась. Солнце просвечивало ее желтые добрые глаза.

Было тихо, тепло. Синий солнечный дым подымался к небу со стороны моря, как широкий занавес, и за этим занавесом мощно и мужественно, в три тона, протрубил теплоход.

Я услышал в комнатах голос Марии Павловны, и вдруг у меня сердце сжалось с такой силой, что я с трудом сдержал слезы. О чем? О том, что жизнь неумолима, что хотя бы некоторым людям, без которых мы почти не можем жить, она должна бы дать если не бессмертие, то долгую жизнь, чтобы мы всегда ощущали у себя на плече их легкую руку.

Я тут же постарался отогнать эти мысли, но горечь не проходила. Разум говорил одно, а сердце — другое. Мне казалось, что в то мгновение я отдал бы половину своей жизни, чтобы услышать за дверью спокойные шаги и покашливание давным-давно ушедшего отсюда хозяина этого дома. Давным-давно! Со дня его смерти прошло сорок шесть лет. Этот срок казался мне одновременно и ничтожным, и невыносимо огромным.

Цветы за балюстрадой тихонько опадали. Я смотрел на порхание легчайших лепестков, боялся, чтобы Мария Павловна не вошла раньше времени и не заметила моего волнения, и успокаивал себя нарочитыми мыслями о том, что в каждой ветке этого куста есть нечто вечное, постоян-

ное движение соков под корой — такое же постоянное, как и ночное движение светил над тихо шумящим морем.

Пришла Мария Павловна, заговорила о Левитане, рассказала, что была влюблена в него, и, рассказывая, покраснела от смущения, как девочка.

Сам не зная почему, но, выслушав Марию Павловну, я сказал:

— У каждого, должно быть, была своя «Дама с собачкой». А если не было, то обязательно будет.

Мария Павловна снисходительно улыбнулась и ничего не ответила.

После этого я много раз навещал чеховский дом в разные времена года. Внутрь я входил редко. Чаще всего я прислонялся к ограде и, постояв немного, уходил.

Особенно притягательным был этот дом зимой. Низкая тьма висела над морем. В ней тускло проступали бортовые огни парохода, и я, по рассказам моряков, знал, что с палубы парохода иногда можно увидеть в бинокль освещенное лампой с зеленым абажуром окно чеховского кабинета.

Странно было думать, что огонь этой лампы был зажжен на самом краю страны, что здесь обрывалась над морем Россия, а там, дальше, уже лежат в ночи древние малоазиатские страны.

Я разобрал еще одну запись: «Зима в Ялте, снег на Яйле, его свет над Ауткой». Да. Зимой на Яйле лежала кромка легкого снега. Он отсвечивал в блеске луны. Ночная тишина спускалась с гор на Ялту.

Чехов все это видел вот так же, как мы, все это знал. Иногда, по словам Марии Павловны, он гасил лампу и долго сидел один в темноте, глядя за окна, где неподвижно сияли снега.

Иногда он выходил в сад, но тайком, чтобы не разбудить и не напугать мать и сестру. Мучила бессонница, и он долго бродил в ночной темноте один, как бы забытый всеми, несмотря на то что слава его уже жила во всем мире. Но в такие вечера она не тяготила его.

А рядом белел дом, ставший приютом русской литературы. Давно замолкли в нем голоса Куприна, Горького, Мамина-Сибиряка, Станиславского, Бунина, Рахманинова, Короленко, но отголосок их как бы жил в доме. И дом ждал их возвращения. Ждал и хозяин, тревожившийся только наедине с собой, по ночам, когда никто не мог этого

заметить, когда его болезнь, тоска и тревога никого не могли взволновать.

В огромной мемуарной литературе о Чехове почти нет упоминаний о том, что Чехов когда-нибудь плакал.

Но все же его слезы видел, например, писатель Тихонов (Серебров), когда Чехов незадолго до смерти приезжал с Саввой Морозовым на Урал. То были скрытые от всех ночные слезы одинокого, по существу, брошенного и умирающего человека.

И слезы свои, и свои страдания Чехов скрывал по своей доброте, по огромному своему мужеству и благородству — чтобы не омрачать жизнь близких, чтобы не причинять окружающим даже тени неприятности.

Я разобрал еще одну запись: «Россия всегда мало» — и сразу же вспомнил вечер, когда мы с поэтом Луговским стояли в кабинете Чехова перед камином и смотрели на левитановские «Стога».

Серые сумерки и бледная луна над мглистыми болотами, крик дергачей, огромные пространства лесов, простоявших этой ночью и сотнями других ночей втуне. Потому, что никто не видел их сырой и поблескивающей березовой листвы и не слышал их загадочных шорохов.

Леса были покинуты, пустынны. Ночь одиноко и напрасно шла над ними к отдаленному рассвету. И у Чехова болело сердце оттого, что он тратил время здесь, в Крыму, ничего не видя, когда ему нужно, до зарезу нужно было быть там, в России, на севере, чтобы следить за отблесками ночи на тесовой крыше избы или в омутах родных притихших озер.

Он рвался в Россию, он мучился и сгорал от досады, от горечи, от того, что не видел, а только угадывал всю ее нерассказанную и нераскрытую красоту.

Сожаление о жизни, очень короткой и, по его мнению, почти бесплодной и только слегка задевшей его своим быстрым крылом, мучило его в этом уютном доме.

И не только его. Почему-то почти каждый человек, попавший в этот дом, начинал думать о своей судьбе, особенно если он проглядел свою жизнь и только сейчас спохватился.

Очевидно, гармоничность и содержательность чеховской жизни заставляли людей проверять по ней свою собственную жизнь.

Запись «Цепь фотографий» напомнила один вечер, когда мне удалось достать сразу много карточек Чехова.

Я разложил их по годам — от гимназических до последней карточки, сделанной перед смертью.

Ничего более поучительного я не видел. Весь путь Чехова — от бездумного обывателя и пустоватого шутника с легкой пошлинкой до человека удивительной внутренней красоты, благородства и спокойного мужества — был поразительно нагляден.

Он сам себя воспитал и дал нам суровый урок порядочности по отношению к людям и к своему писательскому делу.

Две последние записи очень коротки, только по одному слову. Первая запись — «гений», а вторая — «доброта».

Но ничего неясного в этих записях для меня нет.

Чехов — писатель гениальный. Это бесспорно. Но из уважения к его исключительной скромности никто из людей, писавших о нем, не сказал об этом прямо. Даже после смерти Чехова мы стесняемся об этом говорить, чтобы не рассердить его. Сам Чехов наложил запрет на это слово.

Чехов был скромен, как может быть скромным только подлинно великий человек. Он не терпел чванства, спеси, хвастовства.

Он писал, что самое характерное качество бездарного писателя заключается в том, что он ведет себя надуто и спесиво, как первосвященник. Скромность — одна из величайших черт русского народа. Скромными были все простые и замечательные русские люди. Ни один из них не занимался самохвальством, не улюлюкал на чужаков, не ставил себя в пример всем.

В скромности — моральная сила и чистота народа, в бахвальстве — его ничтожность и недостаток ума.

Относительно записи «доброта» можно сказать очень много.

Можно говорить о доброте самого Чехова как человека, но гораздо важнее то обстоятельство, что Чехов был добр и гуманен как писатель. Пожалуй, нет в нашей литературе другого человека, который бы с бо́льшим доброжелательством относился к людям, страдал за них и стремился им помочь.

Да, он был добр, но беспощаден. Он умел ненавидеть, он не был мягкотелым проповедником всепрощения. Но он знал глубину человеческого горя и ужас людского песча-

стья, знал, как врач и писатель, и требовал от людей милосердия друг к другу.

Влияние Чехова в этом отношении было и остается огромным. Почти все передовое итальянское кино в лучших своих образцах — таких, как «Рим в одиннадцать часов», «Похитители велосипедов», «Машинист», «Полицейские и воры», «Мечты на дорогах»,— вышло из чеховского гуманизма.

Этой чеховской доброты, его взыскательного гуманизма не хватает некоторым произведениям нашей литературы. Это обедняет их и лишает одного из важнейших качеств — силы воздействия на душу читателя.

Вот расшифровка записей, какие я нашел на своей старой папиросной коробке. Благодаря им я смог поделиться своими мыслями о Чехове, обаятельном человеке и замечательном писателе.

Самое его существование напоминает нам о возможности и достижимости подлинного человеческого счастья, ради которого мы работаем, боремся и побеждаем.

АЛЕКСАНДР БЛОК

Нет более трудной задачи, чем рассказать о запахе речной воды или о полевой тишине. И притом рассказать так, чтобы собеседник явственно услышал этот запах и почувствовал тишину.

Как передать «хрустальный (по выражению Блока) звон» пушкинских стихов, возникающих в нашей памяти совершенно внезапно при самых разных обстоятельствах.

Есть в мире сотни замечательных явлений. Для них у нас еще нет слов, нет выражения. Чем удивительнее явление, чем оно великолепней, тем труднее рассказать о нем нашими омертвевшими словами.

Одним из таких прекрасных и во многом необъяснимых явлений нашей русской действительности является поэзия и жизнь Александра Блока.

Чем больше времени проходит со дня трагической смерти Блока, тем труднее верится в самый факт существования среди нас этого гениального человека.

Он слился для многих из нас с необыкновенными людьми, с поэтами Возрождения, с героями общечеловеческих мифов. В частности, для меня Блок стоит в ряду любимей-

ших полулегендарных, а то и вовсе легендарных людей, таких, как Орланд, Петрарка, Абеляр, Тристан, Леопарди, Шелли или до сих пор не понятый Лермонтов — мальчик, успевший сказать за время своей короткой жизни о жаре души, растраченном в пустыне.

Блок сменил Лермонтова. О нем он сказал печальные и точные слова: «В томленьях его исступленных — тоска небывалой весны».

Одной из больших потерь своей жизни я считаю то обстоятельство, что никогда не видел и не слышал Блока.

Я не слышал Блока, не знаю, как он читал стихи, но я верю поэту Пясту, написавшему маленькое исследование об этом

Тембр голоса у Блока был глухой, отдаленный, равномерно спокойный Его голос доходил даже до его современников, как голос из близкой дали. Было в нем нечто магическое, настойчивое, как гул долго не затихающей струны.

Тот Блок, о котором я говорю, прочно существует в моем сознании, в моей жизни, и я никогда не смогу думать о нем иначе. Я провел с ним в молчании много ночей, у меня так часто падало сердце от каждой наугад прочитанной и поющей его строки. «Этот голос — он твой, и его непонятному звуку жизнь и горе отдам».

Таким он вошел в мою жизнь еще в далекой трудной юности, таким он остался для меня и сейчас, когда, по словам Есенина, «пора уже в дорогу бренные пожитки собирать»

Среди «бренных пожитков» никогда не будет стихов Блока. Потому что они не подчиняются законам бренности, законам тления и будут существовать, пока жив человек на нашей земле и пока не исчезнет «чудо из божьих чудес» — свободное русское слово.

Да, я жалею о том, что не знал Блока. Он сам сказал: «Сознание того, что чудесное было рядом с нами, приходит слишком поздно».

Оборванная жизнь необратима. Блока-человека мы не воскресим и никогда уже не увидим в нашей повседневной жизни. Но в мире есть одно явление, равное чуду, попирающее часто жестокие законы природы и потому утешительное. Это явление — искусство.

Оно может создать в нашем сознании все и воскресить все! Перечитайте «Войну и мир», и я ручаюсь, что вы

ясно услышите за своей спиной смех спрятавшейся Наташи Ростовой и полюбите ее, как живого, реального человека.

Я уверен, что любовь к Блоку и тоска по Блоку так велики, что рано или поздно он возникнет в какой-нибудь поэме или повести, совершенно живой, сложный, пленительный, испытавший чудо своего второго рождения. Я верю в это потому, что страна не оскудела талантами и сложность человеческого духа еще не свелась к одному знаменателю.

Простите, но здесь мне придется сказать несколько слов о себе.

Я начал писать автобиографическую повесть и дошел в ней до середины своей жизни. Это не мемуары, но именно повесть, где автор волен отступать от подлинных событий. Но в главном я более или менее придерживаюсь этих событий.

В автобиографической повести я пишу о своей жизни, какой она была в действительности. Но есть, должно быть, у каждого, в том числе и у меня, вторая жизнь, вторая биография. Она, как говорится, «не вышла» в реальной жизни, не случилась. Она существует только в моих желаниях и в моем воображении.

И вот про эту-то вторую жизнь я и хочу написать. Написать свою жизнь такой, какой она бы непременно была, если бы я создавал ее по своей воле, вне зависимости от всяких случайностей.

Вот в этой второй «автобиографии» я хочу и могу вплотную встретиться с Блоком, даже подружиться с ним и написать о нем все, что думаю, с той великой признательностью и нежностью, какую я к нему испытываю. Этим я хочу как бы продлить жизнь Блока в себе.

Вы вправе спросить у меня, зачем это нужно.

Нужно для того, чтобы моя жизнь была гармонически закончена, и для того, чтобы показать на примере своей жизни силу поэзии Блока. Повторяю, я не видел Блока. В последние годы его жизни я был далеко от Петербурга. Но сейчас я стараюсь хотя бы косвенно наверстать эту потерю.

Быть может, это выглядит несколько наивно, но я ищу встречи со всем, что было связано с Блоком,— с людьми, обстановкой, петербургским пейзажем. Он почти не изменился после смерти поэта.

Уже давно меня начало мучить непонятное мне самому желание найти в Ленинграде дом, где жил и умер Блок, но найти непременно одному, без чьей бы то ни было помощи, без расспросов и изучения карты Ленинграда. И вот я, смутно зная, где находится река Пряжка (на набережной этой реки на углу теперешней улицы Декабристов жил Блок), пошел на Пряжку пешком и при этом не спрашивал никого о дороге. Почему я так поступил, я сам не совсем понимаю. Я был уверен, что найду дорогу интуитивно, что сила моей привязанности к Блоку, подобно поводырю, приведет меня за руку к порогу его дома.

Первый раз я не дошел до Пряжки. Начиналось наводнение, и были закрыты мосты.

Я только, продрогнув, смотрел в глухую аспидную муть на западе. Там была Пряжка. Оттуда бил в лицо сырой ветер, нес мглу, и в этой мгле, как каменные корабли в шторме, вздымались неясные громады домов.

Я знал, что дом Блока стоял у взморья и, очевидно, первым принимал на себя удары балтийской бури.

И только во второй раз я дошел до дома на Пряжке. Я шел не один. Со мной была моя девятнадцатилетняя дочь, юное существо, сиявшее грустью и радостью просто от того, что мы ищем дом Блока.

Мы шли по набережной Невы, и почему-то весь путь я запомнил с необыкновенной ясностью.

Был октябрьский день, мглистый, с кружащейся опадающей листвой. В такие дни кажется, что редкий туман над землей лег надолго. Он слегка моросит, наполняя свежестью грудь, покрывая мельчайшей водяной пылью чугунные решетки.

У Блока есть выражение: «Тень осенних дней». Так вот, был день, наполненный этой тенью — темноватой и холодной. Слепо блестели стекла особняков, израненных во время блокады осколками снарядов. Пахло каменноугольным дымом — его, должно быть, наносило из порта.

Мы шли очень медленно, часто останавливались, долго смотрели на все, что открывалось вокруг. Почему-то я был уверен, что Блок чаще возвращался домой именно этим путем, а не по скучной Офицерской улице.

Сильно пахло тинистой водой и опилками. Тут же, у берега пустынной в этом месте Невы, какие-то девушки в ватниках пилили циркулярной пилой березовые дрова.

Опилки летели длинными фейерверками, но всегда раздражающий визг пилы звучал здесь почему-то мягко, приглушенно. Пила как бы пела под сурдинку.

За темным каналом — это и была Пряжка — подымались стапели судостроительных заводов, трубы, дымы, закопченные фабричные корпуса.

Я знал, что окна квартиры Блока выходили на запад, на этот заводской пейзаж, на взморье.

Мы вышли на Пряжку, и я тотчас увидел за низкими каменными строениями единственный большой дом — кирпичный и очень обыкновенный. Это был дом Блока.

— Ну вот мы и пришли,— сказал я своей спутнице.

Она остановилась. Глаза ее вспыхнули радостью, но тотчас же к этому радостному сиянию прибавился блеск слез. Она старалась сдержаться, но слезы не слушались ее, все набегали и маленькими каплями скатывались с ресниц. Потом она схватилась за мое плечо и прижалась лицом к моему рукаву, чтобы скрыть слезы.

В окнах дома блестел ленинградский слепой свет, но для нас обоих и это место, и этот свет казались священными.

Я подумал о том, как счастлив поэт, которому юность отдает свою первую любовь — застенчивую и благодарную. Юность отдает свое признание юному поэту. Потому что Блок в нашем представлении всегда был и всегда останется юным. Таков удел почти всех трагически живших и трагически погибших поэтов.

Даже в свои последние годы, незадолго до смерти, Блок, измученный никому не высказанной внутренней тревогой, так и оставшейся неразгаданной, сохранил внешние черты молодости.

Здесь следует сделать одно маленькое отступление.

Широко известно, что есть писатели и поэты, обладающие большой заражающей силой творчества.

Их проза и стихи, попавшие в ваше сознание, даже в самых маленьких дозах, взбудораживают вас, вызывают поток мыслей, роение образов, заражают непреодолимым желанием закрепить все это на бумаге.

В этом смысле Блок безошибочно воздействовал на многих поэтов и писателей. Воздействовал не только стихами, но и обстоятельствами своей жизни. Я приведу здесь один, может быть, не очень характерный, но пришедший мне на память пример.

У писателя Александра Грина есть посмертный и еще не опубликованный роман «Недотрога». Обстановка и многие детали этого романа совпадают с рассказами Блока о его жизни в Бретани, в маленьком порту Абервраке.

Там Блок впервые приобщился к морской жизни. Она вызвала у него почти детское восхищение. Все было сказочно интересным.

Он пишет матери: «Мы живем, окруженные морскими сигналами. Главный маяк освещает наши стены, вспыхивая через каждые пять секунд. В порту стоит разоруженный фрегат 20-х годов (прошлого века), который был в Мексиканской войне, а теперь отдыхает на якорях. Его зовут «Мельпомена». На носу — белая статуя, стремящаяся в море».

Еще один характерный отрывок из письма: «Недавно на одном из вертящихся маяков умер старый сторож, не успев приготовить машину к вечеру. Тогда его жена заставила двух маленьких детей вертеть машину руками всю ночь. За это ей дали орден Почетного легиона».

«Я думаю,— замечает Блок,— русские сделали бы то же».

Так вот, вблизи Аберврака на острове был расположен старый форт Саизон. Французское правительство очень дешево продавало его за полной старостью и ненадобностью.

Блоку, видимо, очень хотелось купить этот форт. Он даже подсчитал, что покупка его вместе с обработкой земли, разбивкой сада и ремонтом обойдется в двадцать пять тысяч франков.

В этом форте все было романтично: и полуразрушенные подъемные мосты, и казематы, и пороховые погреба, и старинные пушки.

Родные отговорили Блока от покупки. Но он много рассказывал друзьям и знакомым о старом форте,— мечта не так легко уступала трезвым соображениям.

Грин услышал этот рассказ и написал роман, где некий старый человек с молодой красавицей дочерью, прозванной «Недотрогой», покупает у правительства старый форт, поселяется в нем и превращает заброшенные валы в душистые заросли и цветники

В романе происходят всякие события, но, пожалуй, лучше всего написан сам форт — добрый (давно разоруженный), мирный, романтический. Прекрасно также описание

сада с живописными определениями деревьев, кустов и цветов.

Должен признаться, что некоторые стихи Блока натолкнули и меня на странную на первый взгляд идею — написать несколько рассказов, связанных с этими стихами общностью настроения.

Эта мысль не оставляет меня и сейчас. Пока же я написал рассказ «Дождливый рассвет», целиком вышедший из стихотворения Блока «Россия».

И невозможное возможно,
Дорога долгая легка,
Когда блеснет в дали дорожной
Мгновенный взор из-под платка...

Я не хочу и не могу давать свое толкование жизни и поэзии Блока. Я не очень постигаю пророческий и мистический ужас Блока перед грядущими испытаниями России и человечества; мне чуждо его ощущение рокового одиночества, безвыходные сомнения и катастрофические падения, слишком усложненное восприятие им революции.

Меня в Блоке привлекает и захватывает совершенно конкретная поэзия его зрелых стихов и его жизни. Туманы символизма, нарочитые, лишенные живых образов, живой крови, бесплотные — это только затянувшееся гимназическое увлечение.

Иногда я думаю, что многое в Блоке непонятно для людей последнего поколения, для новой молодежи.

Непонятна, например, его любовь к нищей России. Как можно было, с точки зрения нынешней молодежи, любить ту страну, где «низких нищих деревень не счесть, не смерить оком, и светит в потемневший день костер в лугу далеком».

Это трудно понять молодежи потому, что такой России уже нет. Нет именно в том ее качестве, в каком ее знал и любил Блок. Если еще и остались глухие деревни, гати, дебри, то человек в этих деревнях и дебрях уже другой Сменилось поколение, и внуки уже не понимают дедов, а порой и сыновья отцов.

Внуки не понимают и не хотят понять нищету, оплаканную песнями, украшенную поверьями и сказками, глазами робких бессловесных детей, опущенными ресницами испуганных девушек, встревоженную рассказами странников и калек, постоянным чувством живущей рядом — в

лесах, в озерах, в гнилых колодах, в плаче старух, в заколоченных избах — томительной тайны и столь же постоянным ощущением чуда. «Дремлю, и за дремотой — тайна, и в тайне ты почиешь, Русь».

Нужно было большое и выносливое сердце и великая любовь к своему народу, чтобы полюбить эти серые избы, причитанья, запах золы, бурьяна и увидеть за всей этой скудостью бледную красоту России, опоясанной лесами и окруженной дебрями. Ее видели и многие предшественники Блока. Но эта Русь умирала. Блок оплакал ее и отпел:

Не в богатом покоишься гробе
Ты, убогая финская Русь!

Новая Россия, «Новая Америка» встает для Блока в южных степях.

Нет, не вьются там пó ветру чубы,
Не пестреют в степях бунчуки...
Там чернеют фабричные трубы,
Там заводские стонут гудки.

Для людей старшего поколения почти в равной степени знакома и старая и новая Русь. В таком обширном знании России — богатство этого поколения.

Нельзя знать новую Россию, не зная старой, не зная всего, что «чудь начудила и меря намерила», не зная старой деревни, не зная очарованных странников, бродивших по всей стране, не увидев заката в крови над полем Куликовым.

Стихи Блока о любви — это колдовство. Как всякое колдовство, они необъяснимы и мучительны. О них почти невозможно говорить. Их нужно перечитывать, повторять, испытывая каждый раз сердцебиение, угорать от их томительных напевов и без конца удивляться тому, что они входят в память внезапно и навсегда.

В этих стихах, особенно в «Незнакомке» и «В ресторане», поэтическое мастерство доходит до предела. Оно даже пугает, кажется непостижимым. Вероятно, думая об этих стихах, Блок сказал, обращаясь к своей музе:

И коварнее северной ночи,
И хмельней золотого аи,
И любови цыганской короче
Были страшные ласки твои...

Стихи Блока о любви только крепнут от времени, томят людей своими образами. «И веют древними поверьями ее упругие шелка», «Я вижу берег очарованный и очарованную даль», «И очи синие, бездонные цветут на дальнем берегу».

Это не столько стихи о вечно женственном, сколько порыв огромной поэтической силы, берущей в плен и искушенные и неискушенные сердца.

Какая-то «неведомая сила» превращает стихи Блока в нечто высшее, чем одна только поэзия, в органическое слияние поэзии, музыки и мысли, согласованное с биением каждого человеческого сердца, в то явление искусства, которое не нашло еще своего сколько-нибудь удачного определения.

Достаточно прочесть одну всем известную строфу, чтобы убедиться в этом:

Ты рванулась движеньем испуганной птицы,
Ты прошла, словно сон мой, легка...
И вздохнули духи, задремали ресницы,
Зашептались тревожно шелка.

Блок прошел в своих стихах и прозе огромный путь российской истории от безвременья 90-х годов до первой мировой войны, до сложнейшего переплетения философских, поэтических, политических и религиозных школ, наконец, до Октябрьской революции «в белом венчике из роз». Он был хранителем поэзии, ее менестрелем, ее чернорабочим и ее гением.

Блок говорил, что гений излучает свет на неизмеримые временны́е расстояния. Эти слова целиком относятся и к нему. Его влияние на судьбу каждого из нас, писателя и поэта, может быть, не сразу заметно, но необычайно значительно.

Еще в юности я понял смысл его величайших слов и поверил им:

Сотри случайные черты.
И ты увидишь — жизнь прекрасна...

Я стремился следовать этому совету Блока. И я ему глубоко благодарен. Мы живем в светоносном излучении его гения, и оно дойдет, быть может только более ясным, до будущих поколений нашей страны.

ГИ ДЕ МОПАССАН

Он таил от нас свою жизнь.

Ренар о Мопассане

У Мопассана была на Ривьере яхта «Милый друг». На этой яхте он написал самую горькую и потрясающую свою вещь — «На воде».

На «Милом друге» у Мопассана служили двое матросов. Старшего звали Бернар.

Матросы ни словом, ни жестом не выдавали Мопассану своей тревоги за него, хотя и видели, что с «хозяином» в последнее время творится что-то неладное и он может сойти с ума не то что от мыслей, а от одних только невыносимых головных болей.

Когда Мопассан умер, матросы прислали в редакцию одной из парижских газет короткое и неумелое письмо, полное большого человеческого горя. Может быть, только двое этих простых людей и знали, вопреки общему предвзятому мнению о Мопассане, что у их хозяина было чуткое и стыдливое сердце.

Что они могли сделать в память Мопассана? Только стараться изо всех сил, чтобы его любимая яхта не попала в чужие, равнодушные руки.

И матросы старались. Они оттягивали ее продажу, сколько могли. А они были бедные люди, и один лишь бог знает, как это было им трудно.

Они обращались к друзьям Мопассана, к писателям Франции, но тщетно. Так яхта и перешла к богачу и бездельнику графу Бартелеми.

Когда Бернар умирал, он сказал окружающим:

— Думаю, что я был неплохой моряк.

Нельзя с большей простотой выразить мысль о благородстве прожитой жизни. К сожалению, очень немногие могут с полным правом сказать о себе такие слова.

Эти слова — завещание, которое устами своего матроса оставил нам Мопассан.

Он прошел поразительно быстрый и блестящий писательский путь. «Я вошел в литературную жизнь, как метеор,— говорил он,— и выйду из нее, как молния».

Беспощадный наблюдатель человеческой скверны, анатом, называвший жизнь «клиникой для писателей», неза-

долго до своего конца он потянулся к чистоте, к прославлению любви-страдания и любви-радости.

Даже в последние часы, когда ему казалось, что его мозг изъеден какой-то ядовитой солью, он с отчаянием думал о том, сколько сердечности он отшвырнул от себя в своей торопливой и утомительной жизни.

Куда он звал? Куда он вел за собою людей? Что он им обещал? Помог ли он им своими сильными руками лодочного гребца и писателя?

Он понимал, что этого он не сделал и что, если бы к его разоблачениям прибавилось сострадание, он мог бы остаться в памяти человечества гением добра.

Он тянулся к нежности, как брошенный ребенок, хмурясь и стесняясь. Он поверил наконец в то, что любовь не только вожделение, но и жертва, и скрытая радость, и поэзия этого мира. Но было уже поздно, и на его долю остались одни укоры совести и напрасные сожаления.

И он жалел, он глубоко досадовал на себя за небрежно отброшенное и осмеянное счастье. Ему вспоминалась русская художница Башкирцева, почти девочка. Она была влюблена в него. Он ответил на эту любовь насмешливой, даже несколько кокетливой перепиской. Его тщеславие мужчины было удовлетворено. Большего он не хотел.

Но что Башкирцева! Гораздо сильнее он жалел о молодой работнице одной из парижских фабрик.

Случай с этой работницей описал Поль Бурже. Мопассан негодовал. Кто дал право этому салонному психологу непрошено врываться в подлинную человеческую трагедию? Конечно, он сам, Мопассан, виноват в этом. Но чем поможешь, что поделаешь, когда уже нет сил и соль слоями оседает у него в голове! Он даже слышит по временам треск ее маленьких острых кристаллов, когда они вонзаются в мозг.

Работница! Наивная, прелестная девушка! Она начиталась его рассказов, один только раз в жизни видела Мопассана и полюбила его со всем пылом своего сердца — такого же чистого, как и ее сияющие глаза.

Наивная девушка! Она узнала, что Мопассан не женат и одинок, и безумная мысль отдать ему свою жизнь, заботиться о нем, быть его другом, женой, рабой и служанкой зародилась у нее с такой силой, что она не могла ей противиться.

Она была бедна и плохо одета. Целый год она голодала и откладывала сантим за сантимом, чтобы сшить себе изящный туалет и появиться в нем перед Мопассаном.

Наконец туалет был готов. Она проснулась ранним утром, когда Париж еще спал, когда сны заволакивали его, как туман, и сквозь этот туман неярко светило только что вставшее солнце. Это был тот единственный час, когда в аллеях лип на бульварах можно было услышать пение птиц.

Она облилась холодной водой и медленно и осторожно, как невесомые и душистые драгоценности, начала надевать на себя тончайшие чулки и маленькие блестящие туфли и наконец прекрасное платье. Она посмотрелась в зеркало и не поверила своему отражению. Перед ней стояла искрящаяся радостью и волнением тонкая, прелестная женщина с темными от любви глазами и нежным алым ртом. Да, такой она появится перед Мопассаном и признается ему во всем.

Мопассан жил на даче за городом. Она позвонила у калитки. Ей открыл один из друзей Мопассана, жуир, циник и ловелас. Он, усмехаясь и раздевая ее глазами, сказал, что господина Мопассана нет дома, что он уехал на несколько дней со своей любовницей в Этрета.

Девушка вскрикнула и быстро пошла прочь, хватаясь маленькой рукой в слишком тугой лайковой перчатке за прутья железной ограды.

Друг Мопассана догнал ее, усадил в фиакр и отвез в Париж. Она плакала, бессвязно говорила о мести и в тот же вечер, назло себе, назло Мопассану, отдалась этому жуиру.

Через год она уже была известна в Париже как одна из молодых куртизанок. А Мопассан, узнав тогда об этом от своего друга, не выгнал его, не дал ему пощечину, не вызвал его на дуэль, а только усмехнулся: история с девушкой показалась ему довольно забавной. Да, пожалуй, это был неплохой сюжет для рассказа.

Как страшно, что сейчас нельзя было вернуть то время, когда эта девушка стояла за калиткой его дома, как благоухающая весна, и доверчиво держала в протянутых к нему маленьких ладонях свое сердце!

Он даже не знал ее имени и называл ее теперь самыми ласковыми именами, какие мог придумать.

Он извивался от боли. Он готов был целовать следы ее ног и умолял о прощении, он, недоступный, великий Мопассан. Но ничем уже нельзя было помочь. Вся эта история послужила лишь поводом для того, чтобы Бурже мог написать еще один забавный анекдот из области малопонятных человеческих чувств.

Малопонятных? Нет, очень понятных теперь для Мопассана! Они благословенны, эти чувства! Они — святая святых нашего несовершенного мира! И он написал бы сейчас об этом со всей силой своего таланта и мастерства, если бы не соль. Она съедала его, несмотря на то что он выплевывал ее целыми горстями. Целыми большими горстями.

ИВАН БУНИН

Как ни грустно в этом непонятном мире, но он все же прекрасен.

И. Бунин

Еще в гимназии я начал зачитываться Буниным. В то время я мало знал о нем. Кое-что я узнал из автобиографической заметки, написанной самим Буниным для «Словаря писателей» Венгерова. Там было сказано, что Бунин провел свое детство в деревне где-то между Ельцом и городком Ефремовом (в тогдашней Тульской губернии), а потом учился в елецкой гимназии.

В холодном апреле 1916 года я впервые приехал в Ефремов к родственнице — одинокой старушке. Она звала меня погостить у нее и отдохнуть после моих скитаний по югу.

Старушка учительствовала в ефремовской городской школе. Как все учительницы, она часто болела ангиной. Лечилась она всякими способами, даже по «знахарскому методу Бунина».

— Какого Бунина? — спросил я удивленно.

— Евгения Алексеевича. Брата писателя. Он служит у нас в Ефремове в акцизе. Открыл способ лечить ангину. Натирает шею сухой шкуркой, и ангина тотчас проходит. Только мне не помогла эта шкурка. А Евгений Бунин — деловой и довольно неприятный господин. Вот брат его, писатель, говорят, человек чудесный, замечательный. Он иногда сюда приезжает.

С той минуты, как я узнал, что здесь бывает Бунин, Ефремов сразу преобразился для меня, хотя вообще-то был городком достаточно унылым. Теперь же он представлялся мне воплощением российского провинциального уюта.

Почти все наши захолустные города были схожи друг с другом. Все они, по словам Чехова, были типичными Ефремовами — с запущенными монастырскими подворьями, с землистыми ликами угодников над каменными вратами церквей, с заливистыми колокольцами на тройке исправника, с острогом на выгоне, земским собранием — единственным домом, где у подъезда горел калильный фонарь, с крикливыми галками на кладбищенских липах и глубокими оврагами. Летом в них стенами стояла глухая крапива, а зимой на сером от золы снегу сизо чадили головешки, выброшенные из печей и самоваров.

Тогда, в Ефремове, вошла в меня бунинская Россия и завладела мной надолго.

Елец был рядом. Я решил съездить туда, чтобы посмотреть этот бунинский город.

С ранней юности у меня была неистребимая страсть посещать места, связанные с жизнью любимых писателей и поэтов. Лучшим местом на земле я считал (и считаю до сих пор) холм под стеной Святогорского монастыря в Псковщине, где похоронен Пушкин. Таких далеких и чистых далей, какие открываются с этого холма, мало в России.

Из Ефремова до Ельца ходил рабочий поезд, так называемый «Максим Горький». Я поехал на нем в Елец.

Холодный рассвет застал меня в дребезжащем, старом вагоне. Я сидел под мигающей свечой и читал в растрепанной старой книжке журнала «Современный мир» бунинский рассказ «Илья Пророк».

По своей пронзительной горечи этот рассказ — один из лучших в русской литературе. Каждая подробность, каждая черта этого рассказа (даже «бледные, как саван, овсы») щемила сердце предчувствием неизбежной беды, нищенством, сиростью, ставшими уделом тогдашней России.

От этой России временами хотелось бежать без оглядки. Но редко кто на это решался. Ведь нищенку мать любят и в горьком ее унижении.

Бунин тоже ушел от своей единственной любимой страны. Но ушел только внешне. Человек необыкновенно гор-

дый и строгий, он до конца своих дней тяжело страдал по России и пролил по ней много скрытых слез в чужих ночах Парижа и Граса, слез человека, добровольно изгнавшего себя из отечества.

Я ехал в Елец. Тощие зеленя тянулись за окнами вагона. Ветер посвистывал в жестяных вентиляторах, гнал низкие тучи. Я перечитывал «Илью Пророка», перечитывал скорбную историю Семена Новикова, крестьянина Елецкого уезда Предтеченской волости. И старался понять: как, какими словами, каким волшебством достигнуто это подлинное чудо? Чудо создания короткого и сильного, горестного и великолепного рассказа.

В Ельце я не останавливался в гостинице. Для этого я был тогда слишком беден. Весь день до позднего вечера, когда отходил обратный поезд на Ефремов, я бродил по городу и очень, конечно, устал.

Был серый высокий день. Пошел неожиданный запоздалый снежок. Ветер сдувал его с мостовых, обнажая каменные, избитые подковами, белые плиты.

Город был весь каменный. Чудилось в этом его каменном обличии что-то от крепости. Оно чувствовалось и в пустынности улиц, и в их тишине. Я слышал, что Елец всегда был шумным торговым городом, и удивлялся этому городскому покою, пока не понял, что тишина и малолюдство — следствие войны.

Елец действительно был крепостью. Бунин в «Жизни Арсеньева» говорил о нем:

«...Город... гордился своей древностью и имел на то полное право: он и впрямь был одним из самых древних русских городов, лежал среди великих черноземных полей Подстепья на той роковой черте, за которой некогда простирались «земли дикие, незнаемые», а во времена княжеств Суздальского и Рязанского принадлежал к тем важнейшим оплотам Руси, что, по слову летописцев, первые вдыхали бурю, пыль и хлад из-под грозных азиатских туч...»

Почти каждое слово в этом отрывке доставляет наслаждение своей простотой, точностью, образностью. Чего стоят одни только слова о том, что эти древние города вдыхали бурю и хлад азиатских набегов! Эти слова воскрешают тревожный свист караульных, грохот колотушек по чугунным доскам, призыв всех жителей на городские валы.

Я долго простоял около здания мужской гимназии с

каменным двором. В этой гимназии учился Бунин. Внутри было тихо, за окнами шли уроки.

Потом я прошел через базарную площадь, удивляясь обилию запахов. Пахло укропом, конским навозом, старыми сельдяными бочками, ладаном из открытых дверей церкви, где кого-то отпевали; пахло палым, уже перебродившим листом из садов за высокими серыми заборами.

Я напился чаю в трактире. Там было пусто и холодновато. Из трактира я пошел на окраину города. До поезда оставалось еще много времени.

На окраине — уходящем в низину длинном и голом выгоне — чадили и звенели от ударов по наковальням черные кузницы. Над выгоном белело небо. Рядом тянулась кладбищенская стена.

Я зашел на кладбище. Чуть позванивали и скрипели от ветра побитые фарфоровые розы и жестяные заржавленные листья на погребальных венках.

Кое-где на железных с витиеватыми завитушками и облупившейся масляной краской крестах виднелись коричневые, смятые дождями фотографии в металлических медальонах.

К вечеру я пришел на вокзал. В своей жизни я часто бывал одинок, но редко испытывал такое горькое ощущение неприкаянности, как в тот вечер в Ельце.

Где-то рядом, за стенами домов, в теплых комнатах, шла жизнь, может быть, веселая и светлая, а может быть, скудная и молчаливая. Но я был вне этих теплых стен. Я сидел в тускло освещенном зале третьего класса, где воняло керосином и дуло холодом по ногам.

У каждого в жизни бывали странные, порой приятные, порой печальные совпадения. Были они и у меня. Такое удивительное совпадение случилось в этот вечер на елецком вокзале.

Я купил в газетном киоске сырой номер «Русского слова». В зале третьего класса из-за темноты читать было трудно. Я пересчитал свои деньги. Их хватало на то, чтобы напиться чаю в ярко освещенном вокзальном буфете и даже дать какую-то мелочь подвыпившему официанту.

Я сел в буфете за стол около пустого мельхиорового ведра для шампанского и развернул газету...

Опомнился я только через час, когда вокзальный швейцар, мотая колокольчиком, прокричал нарочито гнусавым голосом: «Второй звонок на Ефремов, Волово, Тулу!»

Я вскочил, бросился в вагон и просидел, забившись в угол около темного окна, до самого Ефремова.

Все внутри меня дрожало от печали и любви. К кому?

К дивной девушке, к убитой вот на этом вокзале гимназистке Оле Мещерской. В газете был напечатан рассказ Бунина «Легкое дыхание».

Я не знаю, можно ли назвать эту вещь рассказом. Это не рассказ, а озарение, самая жизнь с ее трепетом и любовью, печальное и спокойное размышление писателя, эпитафия девичьей красоте.

Я был уверен, что проходил на кладбище мимо могилы Оли Мещерской и ветер робко позванивал в старом венке, как бы призывая меня остановиться.

Но я прошел, ничего не зная. О, если бы я знал! И если бы я мог! Я бы усыпал эту могилу всеми цветами, какие только цветут на земле. Я уже любил эту девушку. Я содрогался от непоправимости ее судьбы.

За окнами дрожали, погасая, редкие и жалкие огни деревень. Я смотрел на них и наивно успокаивал себя тем, что Оля Мещерская — это бунинский вымысел, что только склонность к романтическому приятию мира заставляет меня страдать из-за внезапной любви к этой погибшей девушке.

Пожалуй, в эту ночь в холодном вагоне среди черных и серых полей России, среди шумящих от ночного ветра, еще не распустившихся березовых рощ я впервые до конца, до последней прожилки понял, что такое искусство и какова его возвышающая и вечная сила.

Я несколько раз разворачивал газету и перечитывал при умирающем огне свечи, а потом при водянистом свете бездомной зари все одни и те же слова о легком дыхании Оли Мещерской, о том, что «теперь это легкое дыхание снова рассеялось в мире, в этом облачном небе, в этом холодном весеннем ветре».

* * *

Второй съезд советских писателей встретил овацией слова о том, что Бунин должен быть возвращен русской литературе.

И он был возвращен. Были возвращены на родину драгоценнейшие бунинские вещи, и в их числе повесть «Жизнь Арсеньева».

Об этой повести писать трудно, почти невозможно, так же как и о самом Бунине. Он так богат, так щедр, так многообразен, так беспощадно и точно видит любого человека от господина из Сан-Франциско до плотника Аверкия, видит каждый малейший жест и каждое душевное движение так удивительно ясно, одновременно строго и нежно, говорит о природе, неотделимой от течения человеческих дней, что писать об этом, как говорится, «из вторых рук» бесполезно и почти бессмысленно.

Бунина надо читать и навсегда отказаться от жалких попыток рассказывать обыденными, не бунинскими словами о том, что написано им с классической силой и четкостью.

Нельзя рассказать своими словами «Ненастный день потух...» Пушкина, «Над вечным покоем» Левитана или «Воздушный корабль» Лермонтова. Это так же бесполезно, как поверять сухой алгеброй гармонии Моцарта и других великих композиторов. Поэтому я не буду делать напрасных попыток пересказывать Бунина и толковать его вещи применительно к «злобе дня».

«Злоба дня», иными словами, понятие современности, не может существовать без теснейшей связи со всем, что предшествовало нашему времени и что в какой-то мере его определило.

Книги Бунина тем и замечательны, что они целиком — в своем времени и вместе с тем связаны живой связью с прошлым нашего народа.

В прозе и поэзии Бунина явственно присутствует ощущение жизни как длительного и в основе своей прекрасного пути от рождения человека до его смерти. Особенно сильно это ощущение выражено в «Жизни Арсеньева».

Эта повесть — не только славословие России, не только итог жизни Бунина, не только выражение глубочайшей и поэтической его любви к своей стране, выражение печали и восторга перед ней, изредка блещущего со страниц книги скупыми слезами, похожими на редкие ранние звезды на небосклоне. Это еще нечто другое.

Это не только вереница русских людей — крестьян, детей, нищих, разорившихся помещиков, прасолов, студентов, юродивых, художников, прелестных женщин,— многих людей, присутствовавших на всех путях и перепутьях писателя и написанных с резкой, порой ошеломляющей силой.

«Жизнь Арсеньева» в каких-то своих частях напоминает картины художника Нестерова «Святая Русь» и «На Руси». Эти полотна — наилучшее выражение своей страны и народа в понимании художника.

Перелески и взгорья, почернелые бревенчатые церкви, позабытые погосты и деревеньки. И на их фоне — вся Русь! Древний царь в тяжелой парче и литом золоте, робкие сермяжные мужички, подпаски с длинными кнутами, странники и странницы в скуфейках, девушки с опущенными, будто насурмленными ресницами, что бросают нежную тень на их бледные лица, озаренные каким-то целомудренным внутренним светом. Юроды, побирушки, истовые старухи, грозные старцы с посохами, белоголовые дети.

В толпе — Лев Толстой, а невдалеке от него — Достоевский. Они вместе со своим ищущим правды народом идут в ясные, но пока еще далекие дали, о которых они не уставали говорить всю жизнь.

Что-то общее у этих картин с книгами Бунина. С тем только отличием, что родная страна у Бунина еще скромнее и беднее, чем у Нестерова.

Срединная наша Россия предстает у Бунина в прелести серых дней, покое полей, дождях и туманах, а порой в бледной лучезарности, в тлеющих широких закатах.

Здесь уместно будет сказать, что у Бунина было редкое и безошибочное ощущение красок и освещения.

Мир состоит из великого множества соединений красок и света. И тот, кто легко и точно улавливает эти соединения,— счастливейший человек, особенно если он художник или писатель.

В этом смысле Бунин был очень счастливым писателем. С одинаковой зоркостью он видел все: и среднерусское лето, и пасмурную зиму, и «скудные, свинцовые, спокойные дни поздней осени», и море, «которое из-за диких лесистых холмов вдруг глянуло на меня всей своей темной громадной пустыней».

В записках Бунина есть одна короткая фраза. Она относится к началу лета 1906 года. «Начинается пора прелестных облаков»,— записал Бунин и этим как бы открыл нам одну из тайн своей писательской жизни. Это слова о приближении неизбежного и милого труда, связанного у Бунина с летней порой, «порой облаков», «порой дождей», «порой цветения».

Этими четырьмя словами Бупин отмечает начало своей работы по наблюдению за небом, по изучению облаков, всегда таинственных и притягательных.

Каждый раз, когда читаешь бунинские строки о лете, вспоминаешь эту его запись. Слова о лете у него всегда томительны, даже если и занимают всего две строки.

«Отцвел и оделся сад, целый день пел соловей в саду, целый день были подняты нижние рамы окон...»

Бунин одинаково остро и тонко видел все, что привелось ему увидеть в жизни. А видел он очень много, с юных лет заболев скитальчеством, непокоем, жаждой непременно увидеть все, до той поры не виданное.

Он признавался, что никогда не чувствовал себя так счастливо, как в те минуты, когда ему предстояла большая дорога.

Есть некая крепкая связь между такими явлениями, как свет, запах, звук и цвет.

В чем эта связь? Хотя бы в том, что, глядя на неизвестные, похожие на огромные крокусы, цветы, на картине Ван-Гога, глядя на плотный свет, напоминающий прозрачный сок каких-то не наших плодов, неожиданно вдыхаешь сладковатый дразнящий запах этих плодов и свежее и слабое дыхание сырого морского песка. Этот запах как бы доносит от картинной галереи равномерный ветер с чужих островов.

Читая Бунина, часто ловишь себя на ощущениях такого же рода. Краска рождает запах, свет — краску, а звук восстанавливает ряд удивительно точных картин. Все это вместе рождает особое душевное состояние то сосредоточенности и печали, то легкости и радости жизни с ее теплыми ветрами, шумом деревьев, беспредельным гулом океана, милым смехом детей и женщин.

О своем чувстве красок, об отношении к цвету в природе Бунин говорит в «Жизни Арсеньева»:

«Я весь дрожал при одном взгляде на ящик с красками, пачкал бумагу с утра до вечера, часами простаивал, глядя на ту дивную, переходящую в лиловое, синеву неба, которая сквозит в жаркий день против солнца в верхушках деревьев, как бы купающихся в этой синеве,— и навсегда проникся глубочайшим чувством истинно божественного смысла и значения земных и небесных красок. Подводя итоги того, что дала мне жизнь, я вижу, что это один из

важнейших итогов. Эту лиловую синеву, сквозящую в ветвях и листве, я и умирая вспомню...»

Слегка приглушенные краски, характерные для Средней России, сразу же приобретают зной и густоту, когда Бунин говорит о юге, тропиках, Малой Азии, о Египте и Палестине.

Осенью 1912 года Бунин жил на Капри и подолгу в то время беседовал со своим племянником Николаем Алексеевичем Пушешниковым.

Сохранились записки Пушешникова об этих беседах. Они очень простые, эти записки. Они показывают нам Бунина — человека очень сдержанного — в часы редкой его откровенности.

Все эти записи говорят о неистовой любви Бунина к жизни. Глядя из окна вагона на тень от паровозного дыма, таявшую в воздухе, Бунин сказал:

— Какая радость — существовать! Только видеть, хотя бы видеть лишь один этот дым и этот свет. Если бы у меня не было рук и ног и я бы только мог сидеть на лавочке и смотреть на заходящее солнце, то я был бы счастлив этим. Одно нужно только — видеть и дышать. Ничто не дает такого наслаждения, как краски. Я привык смотреть. Художники научили меня этому искусству... Поэты не умеют описывать осень, потому что они не описывают красок и неба. Французы — Эредиа, Леконт де Лиль — достигли необычайного совершенства в описаниях.

В записках Пушешникова есть место удивительное, раскрывающее «тайну» бунинского мастерства.

Бунин говорил, что, начиная писать о чем бы то ни было, прежде всего он должен «найти звук». «Как скоро я его нашел, все остальное дается само собой».

Что это значит — «найти звук»? Очевидно, в эти слова Бунин вкладывал гораздо большее значение, чем кажется на первый взгляд.

«Найти звук» — это найти ритм прозы и найти основное ее звучание. Ибо проза обладает такой же внутренней мелодией, как стихи и музыка.

Это чувство ритма прозы и ее музыкального звучания, очевидно, органично и коренится также в прекрасном знании и тонком чувстве родного языка.

Даже в детстве Бунин остро чувствовал этот ритм. Еще мальчиком он заметил в прологе к пушкинскому «Русла-

ну» кругообразное легкое движение стихов («ворожбу кругообразных, непрестанных движений»):

«И днем — и ночью — кот — ученый — все ходит — по цепи — кругом».

В области русского языка Бунин был мастером непревзойденным.

Из необъятного числа слов он безошибочно выбирал для каждого рассказа слова наиболее живописные, наиболее сильные, скрепленные какой-то незримой и почти таинственной связью с повествованием и единственно для этого повествования необходимые.

Каждый рассказ и каждое стихотворение Бунина подобны магниту, который притягивает отовсюду все частицы, нужные для этого рассказа.

Существуй сейчас сказочник, подобный Христиану Андерсену, он, может быть, написал бы сказку о том, как слетаются к писателю, обладающему волшебным магнитом, всякие неожиданные вещи вплоть до солнечного луча в кустарнике, покрытом инеем, лохмотьев туч в сизых траурных ризах, а писатель располагает их в своем особом, ему одному ведомом порядке, обрызгивает живой водой, и вот в мире уже живет новое произведение — поэма, стихи или повесть,— и ничто не сможет убить его. Оно бессмертно, пока жив на земле человек.

Язык Бунина прост, почти скуп, чист и живописен. Но вместе с тем он необыкновенно богат в образном и звуковом отношениях — от кимвального пения до звона родниковой воды, от размеренной чеканности до интонаций удивительно нежных, от легкого напева до гремящих библейских обличений, а от них — до меткого, разящего языка орловских крестьян.

Я только упомянул о «Жизни Арсеньева». А между тем эта повесть требует пристального чтения.

Я назвал «Жизнь Арсеньева» повестью. Это, конечно, неверно. Это не повесть и не роман. Это вещь нового, еще не названного жанра. Жанр этот изумительный, единственный, берущий человеческое сердце в мучительный и вместе с тем светлый плен.

Принято думать, что «Жизнь Арсеньева» — автобиография. Бунин отрицал это. Для автобиографии «Жизнь Арсеньева» была написана слишком свободно.

Это не автобиография. Это — слиток из многих земных горестей, очарований, размышлений и радостей. Это — уди-

вительный свод событий одной человеческой жизни, скитаний, стран, городов, морей, но среди этого многообразия земли на первом месте всегда наша Средняя Россия. «Зимой безграничное снежное море, летом — море хлебов, трав и цветов... И вечная тишина этих полей, их загадочное молчание...»

Бунину удалось в «Жизни Арсеньева» собрать свою жизнь в некоем магическом кристалле, но, в отличие от пушкинского кристалла, даль этой повести, даль жизни писателя очень резко очерчена, просвечена до самого дна.

Я продолжаю называть «Жизнь Арсеньева» повестью, хотя с таким же правом мог бы назвать ее поэмой или сказанием.

«Жизнь Арсеньева» — это одно из замечательнейших явлений мировой литературы. К великому счастью, оно в первую очередь принадлежит литературе русской.

В этой удивительной книге поэзия и проза слились воедино, слились органически, создав новый замечательный жанр.

В этом слиянии поэтического восприятия мира с внешне прозаическим его выражением есть нечто строгое, подчас суровое. Есть в самом стиле этой вещи нечто библейское.

В этой книге нельзя уже отличить поэзию от прозы, и многие ее слова ложатся на сердце, как раскаленная печать.

Достаточно прочесть несколько строк о матери, чтобы понять, что Бунин нашел для всего, о чем он хотел сказать, единственно нужное и единственно возможное выражение.

Эти строки нельзя читать без душевного потрясения:

«В далекой родной земле, одинокая, навеки всем миром забытая, да покоится она в мире и да будет вовеки благословенно ее бесценное имя. Ужели та, чей безглазый череп, чьи серые кости лежат теперь где-то там, в кладбищенской роще захудалого русского города, на дне уже безыменной могилы, ужели это она, которая некогда качала меня на руках?»

Сила языка, сила точного образа в «Жизни Арсеньева» таковы, что рождают грусть, волнение и даже слезы. Те редкие слезы, которые вызывает прекрасное.

Новизна «Жизни Арсеньева» еще и в том, что ни в одной из бунинских вещей не раскрыто с такой полнотой то явление, которое мы, по скудости своего языка, называем «внутренним миром» человека. Как будто есть ясная граница между внутренним и внешним миром? Как будто внешний мир не являет собой одно целое с миром внутренним?

Все, о чем говорит Бунин в этой книге, очень видно, слышно, осязаемо, вещно и надолго радует или печалит нас. Я приведу из этой книги несколько отрывков. Вот, например, первая встреча маленького мальчика с городом:

«Всего... поразительнее оказалась в городе вакса. За всю мою жизнь не испытывал я от вещей, виденных мною на земле,— а я видел много! — такого восторга, такой радости, как на базаре в этом городе, держа в руках коробочку ваксы. Круглая коробочка эта была из простого лыка, но что это было за лыко и с какой несравненной художественной ловкостью была сделана из него коробочка! А сама вакса! Черная, тугая, с тусклым блеском и упоительным спиртным запахом».

Описание родного нищего края сделано Буниным со скупой выразительностью.

«Где я родился, рос, что видел? Ни гор, ни рек, ни озер, ни лесов,— только кустарники в лощинах, кое-где перелески и лишь изредка подобие леса, какой-нибудь Заказ, Дубровка, а то всё поля, поля, беспредельный океан хлебов... Это... Подстепье, где поля волнисты, где всё буераки да косогоры, неглубокие луга, чаще всего каменистые, где деревушки и лапотные обитатели их кажутся забытыми богом,— так они неприхотливы, первобытно-просты, родственны своим лозинам и соломе».

У писателей есть термин, заимствованный у скульпторов,— «лепка людей». У немногих писателей такая безошибочно верная и порой то безжалостная, то трогательная «лепка людей», как у Бунина. Вот, к примеру, подпасок:

«Мальчишка-подпасок... был необыкновенно интересен: посконная рубашонка и коротенькие портчонки были у него дыра на дыре, ноги, руки, лицо высушены, сожжены солнцем и лупились, губы болели, потому что вечно жевал он то кислую ржаную корку, то лопухи, то эти самые козельчики, разъедавшие губы до настоящих язв, а острые глаза воровски бегали: ведь он хорошо понимал всю преступность нашей дружбы с ним, и то, что он подбивал и

нас есть бог знает что. Но до чего сладка была эта преступная дружба! Как заманчиво было все то, что он нам тайком, отрывисто, поминутно оглядываясь, рассказывал. Кроме того, он удивительно хлопал, стрелял своим длинным кнутом и бесовски хохотал, когда пробовали и мы хлопать, пребольно обжигая себя по ушам концом кнута...»

Русский пейзаж с его мягкостью, застенчивыми веснами, с его невзрачностью, которая через короткое время оборачивается тихой печальной красотой, нашел наконец своего выразителя, никогда не пытавшегося его приукрасить. Не было в русском пейзаже даже самой малой малости, которую бы не заметил и не описал Бунин.

«Миновали глинистый пруд, жарко и скучно блестевший своей удлиненной поверхностью в лощине среди выбитых скотиной косогоров. На них кое-где как-то бесприютно на юру в раздумье сидели грачи».

В «Жизни Арсеньева» есть небольшая глава. Она начинается словами:

«Очень русское было все то, среди чего жил я в мои отроческие годы». Дальше Бунин говорит о большой дороге вблизи деревни Становая, о разбойниках, страхе, ночах, но какая удивительная картина недавней России набросана здесь:

«Большая дорога возле Становой спускалась в довольно глубокий лог, по-нашему, верх, и это место всегда внушало почти суеверный страх всякому запоздавшему проезжему... И не раз испытал в молодости этот чисто русский страх и я сам, проезжая под Становой... Все представлялось: глядь, а они и вот они — не спеша идут наперерез тебе, с топориками в руках, туго и низко, по самым кострецам, подтянутые, с надвинутыми на зоркие глаза шапками, и вдруг останавливаются, негромко и преувеличенно-спокойно приказывают: «Постой-ка, минутку, купец...»

Великолепных мест в этой книге великое множество. Я не нахожу в нашей прозе такого описания зимы, какое я приведу ниже:

«А еще помню я много серых и жестких зимних дней, много темных и грязных оттепелей, когда становится особенно тягостна русская уездная жизнь, когда лица у всех делались скучны, недоброжелательны,— первобытно подвержен русский человек природным влияниям! — и все на

свете, равно как и собственное существование, томило своей ненужностью...

Помню, как иногда по целым неделям несло непроглядными азиатскими метелями, в которых чуть маячили городские колокольни. Помню крещенские морозы, наводившие мысль на глубокую древнюю Русь, на те стужи, от которых земля на сажень трескалась»: тогда над белоснежным городом, совершенно потонувшим в сугробах, по ночам грозно горело на черно-вороненом небе белое созвездие Ориона, а утром зеркально, зловеще блистало два тусклых солнца и в тугой и звонкой недвижности жгучего воздуха весь город медленно и дико дымился алыми дымами из труб и весь скрипел и визжал от шагов прохожих и санных полозьев...»

Говоря о Бунине, невольно делаешься человеком навязчивым. Все время хочется показать собеседнику-читателю прекрасные места бунинских книг одно за другим. Все кажется, вот это — последнее. Но оказывается, что дальше — еще лучшее место, и нет сил промолчать о нем. Вот, например, слова о юности и почти детской любви. Каждый думает о минувшей юности с грустью. Тогда мы любили любовь и все, что она приносила нам: и «семицветную звезду, тихо мерцавшую на востоке, далеко за садом, за деревней, за летними полями, откуда иногда чуть слышно и потому особенно очаровательно доносился далекий бой перепела», и дыхание спящей любимой девушки,— «как же передать те чувства, с которыми смотрел я, мысленно видя там, в этой комнате, Лизу, спящую под лепет листьев, тихим дождем струящихся за открытыми окнами, в которые то и дело входит и веет этот теплый ветер с полей, лелея ее полудетский сон, чище, прекраснее которого не было, казалось, на всей земле!»

* * *

Чем больше я читаю Бунина, тем яснее становится, что Бунин почти неисчерпаем.

Во всяком случае, нужно много времени, чтобы узнать все им написанное и узнать бунинскую бурную, несмотря на элегичность автора, неспокойную и стремительную в своем движении жизнь.

Часть своей жизни Бунин рассказал сам (в «Жизни Арсеньева» и во многих рассказах, которые почти все в той

или иной мере связаны с его биографией), часть рассказала его жена Вера Николаевна Муромцева-Бунина, выпустившая в 1958 году в Париже свою книгу «Жизнь Бунина» — очень ценный свод воспоминаний и материалов о Бунине.

Жизнь Бунина вся до последних дней была отдана скитаниям и творчеству.

Бунин был смел, честен в своих убеждениях. Он один из первых в своей «Деревне» развенчал сладенький миф о русском крестьянине-богоносце, созданный кабинетными народниками.

У Бунина, кроме блестящих, совершенно классических рассказов, есть необычайные по чистоте рисунка, по великолепной наблюдательности и по ощущению далеких стран путевые очерки об Иудее, Малой Азии, Турции, Греции и Египте.

Бунин — первоклассный поэт чистой, если можно так выразиться, «кастальской» школы. Его стихи до сих пор не оценены. Среди них встречаются подлинные шедевры по выразительности и передаче трудноуловимых вещей.

Всю жизнь Бунин ждал счастья, писал о человеческом счастье, искал путей к нему. Он нашел его в своей поэзии и прозе, в любви к жизни и к своей родине и сказал великие слова о том, что счастье дано только знающим.

Бунин прожил сложную, иногда противоречивую жизнь. Он много видел, знал, много любил и ненавидел, много трудился, не раз ошибался, но всю жизнь величайшей, нежнейшей, неизменной его любовью была родная страна, Россия.

И цветы, и шмели, и трава, и колосья,
И лазурь, и полуденный зной...
Срок настанет — господь сына блудного спросит:
«Был ли счастлив ты в жизни земной?»

И забуду я все — вспомню только вот эти
Полевые пути меж колосьев и трав —
И от сладостных слез не успею ответить,
К милосердным коленам припав.

МАКСИМ ГОРЬКИЙ

Об Алексее Максимовиче Горьком писали так много, что если бы не его огромность, можно было бы легко смутиться, отступить и не прибавить к тому, что уже написано о нем, ни одной строчки.

Горький занимает большое место в жизни каждого из нас. Я даже решусь сказать, что существует «чувство Горького», ощущение его постоянного присутствия в нашей жизни.

Для меня в Горьком — вся Россия. Как я не могу представить себе Россию без Волги, так не могу подумать, что в ней нет Горького.

Он был полномочным представителем бесконечно талантливого русского народа. Он любил и досконально знал Россию, знал, как говорят геологи, во всех «разрезах» — и в пространстве и во времени. Не было ничего, чем бы он пренебрегал в этой стране и что бы он не увидел по-своему, по-горьковски.

Это был человек, определяющий эпоху. От таких людей, как Горький, можно начинать летосчисление.

При первом знакомстве меня прежде всего поразило в нем необыкновенное его внешнее изящество, несмотря на легкую сутулость и глуховатый говор. Он был в той стадии духовной зрелости и расцвета, когда внутреннее совершенство накладывает неизгладимый отпечаток на внешность, на жест, манеру говорить, на одежду — на весь облик человека.

Это изящество, соединенное с уверенной силой, было заметно в широких кистях его рук, во внимательном взгляде, в походке и в костюме, который он носил свободно и даже несколько артистически небрежно.

Я часто мысленно вижу его таким, как об этом рассказывал мне один писатель, живший у Горького в Крыму, в Тессели.

Писатель этот проснулся однажды очень рано и подошел к окну. По морю катился разгонистый шторм. С юга дул напряженный, упругий ветер, шумел в садах и скрипел флюгерами.

Невдалеке от домика, где жил писатель, рос огромный тополь. Поднебесный тополь, сказал бы о нем Гоголь. И вот писатель увидел, что около тополя стоит Горький и, подняв голову и опираясь на трость, пристально смотрит на могучее дерево.

Вся тяжелая и густая листва тополя дрожала и шумела от шторма. Все листья были напряженно вытянуты по ветру, запрокинувшись серебряной изнанкой. Тополь гудел, как исполинский орга́н.

Горький очень долго стоял неподвижно и смотрел на тополь, сняв шляпу. Потом он что-то сказал и пошел в глубину сада, но несколько раз останавливался и оглядывался на тополь.

За ужином писатель осмелел и спросил Горького, что он сказал тогда, около тополя. Горький не удивился и ответил:

— Ну, раз вы за мной подглядели, то так и быть, сознаюсь. Я сказал — какое могущество!

Однажды я был у Алексея Максимовича в его загородном доме в Горках. Стоял летний день, весь в кудрявых, легких облаках, пестривших прозрачной тенью цветущие зеленые взгорья за Москвой-рекой. По комнатам дуло теплым ветром.

Горький говорил со мной о моей последней повести — «Колхиде» — так, как будто я был знатоком субтропической природы. Это меня сильно смущало. Но, несмотря на это, мы поспорили о том, болеют ли собаки малярией, и Горький в конце концов сдался и даже вспомнил, добродушно улыбаясь, случай из своей жизни, когда он видел около Поти больных малярией, взъерошенных и стонущих кур.

Говорил он так, как сейчас уже никто из нас говорить не умеет,— выпуклым, сочным языком.

Тогда я только что прочел очень редкую книгу одного нашего моряка, капитана Гернета. Называлась она «Ледяные лишаи».

Гернет был одно время советским морским представителем в Японии, там написал эту книгу, сам набрал ее в типографии, так как не нашел среди японцев наборщика, знающего русский язык, и отпечатал всего пятьсот экземпляров этой книги на тонкой японской бумаге.

В книге капитан Гернет изложил свою остроумную теорию возвращения в Европу миоценового субтропического климата. Во времена миоцена по берегам Финского залива, и даже на Шпицбергене, росли магнолиевые и кипарисовые леса.

Я не могу здесь подробно рассказать о теории Гернета — для этого понадобилось бы слишком много места. Но Гернет неопровержимо доказал, что если бы удалось растопить ледяной панцирь Гренландии, то в Европу вернулся бы миоцен и в природе наступил золотой век.

Единственной слабостью этой теории была полная невозможность растопить гренландский лед. Сейчас, после открытия атомной энергии, об этом можно было бы, пожалуй, подумать.

Я рассказал Горькому о теории Гернета. Он барабанил пальцами по столу, и мне показалось, что он слушает меня только из вежливости. Но оказалось, что он был захвачен этой теорией, ее стройной неопровержимостью и даже какой-то торжественностью.

Он долго обсуждал ее, все больше оживляясь, и попросил прислать ему эту книгу, чтобы переиздать ее большим тиражом в России. И долго говорил о том, сколько умных и хороших неожиданностей подкарауливают нас на каждом шагу.

Но издать книгу Гернета Алексей Максимович не успел — он вскоре умер.

ВИКТОР ГЮГО

На острове Джерсее в Ла-Манше, где Виктор Гюго жил в изгнании, ему сооружен памятник.

Памятник поставлен на обрыве над океаном. Постамент у памятника очень невысокий, всего в двадцать или тридцать сантиметров. Он весь зарос травой. Поэтому кажется, что Гюго стоит прямо на земле.

Гюго изображен идущим против сильного ветра. Он согнулся, плащ на нем развевается. Гюго придерживает шляпу, чтобы ее не снесло. Он весь в борьбе с напором океанской бури.

Памятник поставлен в местности дикой и пустынной, откуда видна скала, где погиб матрос Жиллиат из «Тружеников моря».

Вокруг, насколько хватает глаз, гудит неспокойный океан, лижет тяжелыми волнами подножия утесов, вздымая и раскачивая заросли морской травы, и с тяжелым грохотом врывается в подводные пещеры.

Во время туманов слышно, как мрачно ревут сирены на далеких маяках. А по ночам маячные огни лежат по горизонту на самой поверхности океана. Они часто окунаются в воду. Только по этому признаку можно понять, какие огромные валы, застилая огни маяков, катит океан на берег Джерсея.

В годовщину смерти Виктора Гюго жители Джерсея кладут к подножию памятника несколько веток омелы. Чтобы положить омелу к ногам Гюго, выбирают самую красивую девушку на острове.

У омелы очень плотные овальные листочки оливкового цвета. Омела, по местным поверьям, приносит счастье живым и долгую память умершим.

Поверье сбывается. И после смерти мятежный дух Гюго бродит по Франции.

Это был неистовый, бурный, пламенный человек. Он преувеличивал все, что видел в жизни и о чем писал. Так было устроено его зрение. Жизнь для него складывалась из великих страстей, приподнято и торжественно выраженных.

Это был великий дирижер словесного оркестра, состоявшего из одних духовых инструментов. Ликующая медь труб, грохот литавр, пронзительный и заунывный свист флейт, глухие крики гобоев. Таков был его музыкальный мир.

Музыка его книг была такой же могучей, как гром океанских прибоев. От нее содрогалась земля. И содрогались слабые человеческие сердца.

Но он не жалел их. Он был неистов в своем стремлении заразить все человечество своим гневом, восторгом и своей шумной любовью.

Он был не только рыцарем свободы. Он был ее глашатаем, ее вестником, ее трубадуром. Он как бы кричал на перекрестках всех земных дорог: «К оружью, граждане!»

Он ворвался в классический и скучноватый век, как ураган, как вихрь, что несет потоки дождя, листья, тучи, лепестки цветов, пороховой дым и сорванные со шляп кокарды.

Этот ветер называется Романтикой.

Он просквозил застоявшийся воздух Европы и наполнил его дыханием неукротимой мечты.

Я был оглушен и очарован этим неистовым писателем еще в детстве, когда прочитал пять раз подряд «Отверженных». Я кончал этот роман и в этот же день принимался за него снова.

Я достал карту Парижа и отмечал на ней все те места, где происходило действие романа. Я как бы сам стал его участником и до сих пор в глубине души считаю Жана Вальжана, Козетту и Гавроша друзьями детства.

Париж с тех пор стал не только родиной героев Виктора Гюго, но и моей. Я полюбил его, еще никогда не видев. С годами это чувство все крепчало.

К Парижу Виктора Гюго присоединился Париж Бальзака, Мопассана, Дюма, Флобера, Золя, Жюля Валлеса, Анатоля Франса, Роллана, Доде, Париж Вийона и Рембо, Мериме и Стендаля, Барбюса и Беранже.

Я собирал стихи о Париже и выписывал их в отдельную тетрадь. К сожалению, я ее потерял, но многие строчки из этих стихов запомнил наизусть. Разные строчки — и пышные и простые.

Вы увидите сказочный город,
О котором молились века,
И душа позабудет укоры,
И усталая дрогнет рука.
В Люксембургском саду у фонтана
Вы пройдете по дальней меже
Под широкой листвою платанов,
Как Мими из романа Мюрже...

Гюго внушил многим из нас эту первую любовь к Парижу, и за это мы благодарны ему. Особенно те, кому не посчастливится воочию увидеть этот великий город.

МАЛЕНЬКАЯ РОЗА В ПЕТЛИЦЕ

(Юрий Олеша)

У меня было много встреч с Юрием Карловичем Олешей. Каждая встреча оставалась в памяти надолго. Об одной из этих встреч я и расскажу сейчас.

Это было в самом начале войны, в июле 1941 года. Я приехал в Одессу с фронта, из-под Тирасполя, на военном грузовике, соскочил с него около вокзала и пошел в «Лондонскую гостиницу».

Я шел по безлюдной Пушкинской улице. Начинало светать. Лил дождь.

В первые дни войны одесские жители закрасили белые южные дома густо разведенной сажей. Считалось, что черные дома не так заметны с воздуха, как белые.

Сложное предприятие с окраской домов, носившее звонкое имя «камуфляж», оказалось совершенно бесполезным. Лето выдалось дождливое. После первого же дождя дома облезли и покрылись потеками грязи.

Я шел по Пушкинской улице и не узнавал давно знакомый и милый город. Это была Одесса и вместе с тем совсем не она. Будто я видел город одновременно и наяву и во сне.

Из водосточных труб хлестала какая-то зловещая вода. Ни единого звука не слышалось вокруг, кроме торопливого стука дождя по железным крышам. Пожалуй, только запах промокшей листвы акаций напоминал недавние солнечные летние дни.

В то время я был почему-то уверен, что война принесла с собой новый воздух. Она сорвала с земли старый воздушный слой — мягкий, теплый, временами туманный — и заменила его воздухом жестким, пустым, изменившим вид всех мест и предметов. Новый воздух был похож на жидкий нитроглицерин. Запах его напоминал гарь, смешанную с пронзительным лекарством.

Должно быть, от этого чужого воздуха, от вымерших улиц и дождевой сырости я чувствовал полное одиночество, будто приехал в совершенно обезлюдевший город.

Поэтому я с облегчением вздохнул, когда в сумрачном вестибюле «Лондонской гостиницы» увидел старого небритого человека в лиловых подтяжках и измятой рубахе.

Он сидел за конторкой и читал «Королеву Марго» Александра Дюма.

Желтый огарок неподвижно горел перед ним. Едва заметный синий угар завивался над пламенем, как кудель.

— Вы портье? — спросил я неуверенно.

— Предположим, что я.

— Можно у вас переночевать?

— Странный вопрос! — рассердился старик.— В гостинице нет ни души. Выбирайте любой номер. С альковом или без алькова. Если у вас широкая натура, то можете жить один в двух номерах. Или в трех. И при этом совершенно бесплатно. Гратис!

Портье сказал старомодное слово купцов и коммивояжеров,— слово «гратис», обозначавшее, что товар отпускается бесплатно.

— Гратис! — повторил старик.— Платить абсолютно некому. «Интурист» эвакуировали. Я здесь за сторожа.

— Неужели в гостинице нет ни души? — спросил я, прислушиваясь, как по коридорам позванивают битые стекла.

— Как нет?! — возмущенно воскликнул старик.— А Юрия Карловича Олешу вы не считаете?

— Он здесь?

— Безусловно. Где же ему быть, скажите, как не в Одессе. Я знаю Юрия Карловича давно. Он вырос здесь и жил, когда Одесса крутилась цельные сутки, как карусель. Все скакало перед глазами: пароходы, Уточкины, шикарные женщины, фраеры, капитаны, налетчики, итальянские примадонны, знаменитые доктора и скрипачи. И я знаю, кто еще! Теперь на Одессу навалилась беда. Тогда Олеша был тут, но и теперь он тут. Он — чистый одессит, вы понимаете! Сейчас он сидит в номере один. После болезни. Каждый раз, когда начинается тревога, я иду к нему, чтобы уговорить его сойти в подвал. Но он ни за что не сходит, а с места в карьер начинает шутить. «Соломон Шаевич,— говорит он,— поглядывайте, чтобы во время бомбежки фрицы не побили те фонари, которые я описал в сказке «Три толстяка». Что я могу ответить? И я тоже, знаете, шучу. Я говорю, что если бы моя воля, то я бы те фонари посеребрил, чтобы Одесса всегда помнила про эту книгу.

Я поднялся в комнату к Олеше. Он сидел, нахохлившись, за столом и что-то писал своим крупным и вольным почерком.

Мы расцеловались. Олеша был безнадежно небрит, страшно худ — он только что перенес дизентерию. Сухая желтизна покрывала его щеки. Но глаза смотрели, как всегда, проницательно, с доброй усмешкой. И, как всегда, были готовы тотчас загореться огнем выдумки, схваченного на лету вдохновения, блеском метких и неожиданных сопоставлений. Когда он начинал говорить, жизнь сразу становилась интересной и как бы сияющей. Чем? Огнем его юмора, поэзии и мгновенного и точного понимания человеческих сердец.

Мне всегда казалось (а может быть, это было и вправду так), что Юрий Карлович всю жизнь неслышно беседовал с гениями и детьми, с веселыми женщинами и добрыми чудаками.

Спорил он смело и стремительно. Свои возражения он вонзал в собеседника беспощадно и победоносно.

Вокруг Олеши существовала, то сгущаясь, то разрежаясь, особая жизнь, тщательно выбранная им из окружающей реальности и украшенная его крылатым воображе-

нием. Эта жизнь шумела вокруг него, как описанная им в «Зависти» ветка дерева, полная цветов и листьев.

В Олеше было что-то бетховенское, грозовое, мощное. Даже в его голосе. Его зоркие глаза видели вокруг много великолепных и утешительных вещей. Он писал о них коротко, точно, хорошо зная закон, что два слова могут быть неслыханно сильными, а четыре слова — уже вчетверо слабее.

В углу комнаты стояла самодельная палка. На ее набалдашнике висела клетчатая котомка.

— Вот,— сказал Олеша и кивнул на палку и котомку,— когда придет последний час, последняя минута, я уйду пешком на Николаев, а потом на Херсон. Чтобы дойти, нужно ни о чем не думать, а только идти, идти, идти, пока держат ноги... Кстати, достаньте мне какую-нибудь карту, хотя бы из школьного атласа. Без карты мне будет трудно идти.

Я слушал его и засыпал сидя. Надо было лечь хоть на час, отдохнуть. Олеша пошел вместе со мной по пустым коридорам гостиницы выбрать самую лучшую комнату.

Почти все окна были выбиты взрывной волной. По гостинице, вздувая пыльные бордовые портьеры, носились сквозняки. Вслед им трещали засохшими листьями пальмы.

Сон у меня уже прошел. Мы ходили по комнатам и привередничали, бракуя одну комнату за другой. Одну за то, что в ней пахнет земляничным мылом, другую — за разбитое трюмо, третью — за картину «Боярский пир», запыленную известкой от недавнего взрыва.

Наконец мы выбрали самую маленькую и темную комнату. Окна ее выходили на внутренний дворик. Там росли вековые платаны.

— Блиндаж! — сказал Олеша.— Самая безопасная комната в гостинице.

Я тотчас уснул, не раздеваясь. Проснулся я от далекого гула уходящих бомбардировщиков. Закатный свет золотился в чешуйчатом от старости стекле открытого окна.

Я вскочил и пошел к Олеше. В номере его не было. Я нашел его в узком и темном зале ресторана при гостинице.

То был исторический ресторан. Как принято говорить в газетных отчетах, «его стены видели» многих знаменитых людей. Недавно еще этот зал сверкал хрусталями, сереб-

ром, фаянсом и мельхиором. Твердые синеватые скатерти на столиках трещали, как пергамент. Люстры в виде виноградных кистей горели под вычурным лепным потолком. В серебряных ведерках хрустел лед, и меню было таинственным и роскошным.

Сейчас зал был пуст, темен, под потолком болезненно светилась единственная лампочка военного времени. Ее никогда не гасили. Два старых, как сама Одесса, официанта в помятых белых куртках, приятели Олеши, бродили по залу и подавали редким посетителям пустой чай и черную скользкую вермишель.

Олеша сидел за столом с печальным молчаливым негром — актером Одесской киностудии.

— Только что был налет,— сказал мне Олеша.— Вы его проспали. Ну, что вы скажете «за Одессу»?

Я ответил, что город изменился с начала войны, замер, и одесситы как будто потеряли свою традиционную живость.

— Че-пу-ха! — сказал Олеша раздельно и внятно.— Одесситы не сдаются и не умирают. Их остроумие замешано на бесстрашии. Их храбрость расцветает от острых слов. У вас предвзятое представление об одесситах. Такое же, как, скажем, и о Диогене.

Я, конечно, понимал, что я здесь ни при чем, что свое мнение о Диогене я никогда при Олеше не высказывал хотя бы просто потому, что у меня его не было. Диоген был поводом для какой-нибудь острой выдумки.

— Вот,— сказал Олеша,— все, в том числе и вы, считают Диогена главой циников. А какой он циник! Он робкий бестолковый старик. Жил, между прочим, в бочке. Тоже от бестолковости. А бочка все-таки какая-никакая, а жилплощадь. За нее надо платить. У Диогена, понятно, никогда не было ни копейки, ни драхмы. Хозяин бочки постоянно грозился выбросить старика на улицу за долги. Тогда Диоген шел к друзьям и начинал, краснея, бормотать: «Дайте денег на бочку». Боже мой, какой тогда подымался визг и крик: «Деньги на бочку?», «Нахал!», «Рвач!», «Циник!»

Молчаливый негр неожиданно захохотал. Олеша метнул на него быстрый взгляд и сказал:

— Одесситы и сейчас, во время войны, такие же мужественные, веселые и смешливые, как и всегда. Пойдемте

походим по городу, и я могу поручиться, что где-нибудь мы увидим старых, ни перед чем не сдающихся одесситов. А это тоже своего рода героизм.

Мы вышли из гостиницы. Прозрачный воздух розовел от заката. Бульвар шумел.

Над морем шли в сторону Очакова фашистские эскадрильи. Их веско и гулко обстреливали морские зенитки.

Мы пошли на Греческий базар. Там, по словам Олеши, еще доживала последние часы чайная, где подавали настоящую молдавскую брынзу.

Но мы не дошли до Греческого базара. Нас настигла воздушная тревога. Милиционеры открыли ожесточенную пистолетную пальбу в воздух (очевидно, для тех, кто не слышал тревоги по радио). Кроме того, они загоняли всех прохожих во дворы.

Мы вошли в первый же двор. То был типичный греческий двор. Описать такой двор почти невозможно, его надо видеть или даже пожить в нем несколько дней, чтобы понять всю его прелесть.

Это — прямоугольные дворы, окруженные со всех сторон старыми двухэтажными домами. Единственный выход из этих дворов — ворота на улицу. Все комнаты и квартиры изо всех этажей греческих домов выходят на старые наружные деревянные террасы и на такие же старые лестницы.

Террасы тянутся вдоль всех стен дома, шатаются и скрипят. Они служат самым оживленным и любимым придатком к комнатам и квартирам.

На террасах жарят на керосинках скумбрию или камбалу, готовят знаменитую икру из «синеньких», купают детей, стирают, ссорятся (этаж с этажом), слушают патефоны и даже танцуют.

Мы вошли в такой двор. Он был пуст.

Немецкие бомбардировщики пикировали с железным визгом и воем. Грохотали взрывы. По камням двора щелкали осколки зенитных снарядов.

Мы стали под навесом верхней террасы, чтобы укрыться от осколков. Рядом с нами сидел на ящике и спал старый дворник с рваным противогазом на плече. Он так и не проснулся, несмотря на грохот, свист и пыль. Ее вдувало во двор с улицы целыми залпами.

Прямо напротив нас мы увидели крыльцо с массивной дверью. Она вела, очевидно, в отдельную квартиру. К две-

ри была привинчена медная дощечка с выгравированной надписью «Зубной врач И. С. Вайнтраубъ».

Твердый знак в конце фамилии свидетельствовал, что Вайнтрауб поселился здесь в незапамятные времена.

— Еще до революции! — заметил Олеша.— Это звучит сейчас, как «еще до рождества Христова» или «еще до всемирного потопа».

Рядом с крыльцом было венецианское окно с задернутыми занавесками. За ними просвечивали черные листья фикусов.

Завыл самолет. Загремели железными обвалами взрывы и залпы зениток.

Тогда мы увидели простое и ничем не примечательное зрелище. Я, между прочим, до сих пор не понимаю, почему мы с Олешей долго потом хохотали, вспоминая о нем.

Кто-то гневно отдернул занавески на венецианском окне, ударил ладонью в раму, и она с треском распахнулась. Створки окна отлетели к стене.

В окно высунулся старый, плохо выбритый еврей в спущенных подтяжках и мятой рубахе. Это был, очевидно, сам доктор Вайнтрауб. В руке он держал газету. Он, должно быть, спал и прикрывался этой газетой от мух. Взрывы и вой самолетов разбудили его.

Он высунулся в окно, упираясь ладонями в подоконник. Красными от раздражения склеротическими глазами он посмотрел на промахнувший низко над двором с сатанинским воем самолет и крикнул с негодованием:

— Что? Опьять? Босяки!!

Он яростно плюнул вслед самолету, с треском захлопнул окно и задернул занавеску.

Тогда дворник, не просыпавшийся даже от взрывов, сразу очнулся, зевнул и печально сказал:

— Самый отчаянный жилец на весь наш двор: Наполеон!

Налет окончился. Мы вышли на улицу. Уже стемнело.

— Видите,— сказал Олеша,— я был прав. Вот она — старая, ни перед чем не сдающаяся Одесса.

— Вам просто повезло,— ответил я.

Мы пошли в «Лондонскую гостиницу». Около Оперного театра лежала вырванная с корнями акация. Корни ее застряли на втором этаже старинного дома, зацепившись за решетку балкона.

Около подъезда стояла карета Скорой помощи. С подоконника на втором этаже медленно капала на тротуар очень яркая кровь.

Над морем полосами тянулся дым. На Пересыпи где-то горело. А может быть, там за лиманами всходила луна.

Фонари из «Трех толстяков» уцелели, и я обрадовался этому не меньше, чем Олеша.

Я мог бы еще многое рассказать об Олеше, но пока еще это трудно. Он умер недавно, и никак нельзя забыть прекрасное его лицо — лицо человека, спокойно задумавшегося перед нами. И нельзя забыть маленькую красную розу в петлице его старенького пиджака. Этот пиджак я видел на нем много лет.

МИХАИЛ ПРИШВИН

Если бы природа могла чувствовать благодарность к человеку за то, что он проник в ее жизнь и воспел ее, то прежде всего эта благодарность выпала бы на долю Михаила Пришвина.

Михаил Михайлович Пришвин — это было имя для города, а в тех местах, где Пришвин чувствовал себя дома — в избах объездчиков, в затянутых туманом речных поймах, под тучами и звездами полевого русского неба,— звали его просто «Михалычем». И, очевидно, огорчались, когда этот человек исчезал в городах, где только ласточки, гнездившиеся под железными крышами, напоминали ему о его «журавлиной родине».

Жизнь Пришвина — пример того, как человек отрешился от всего наносного, навязанного ему средой, и начал жить только «по велению сердца». В таком образе жизни заключается величайший здравый смысл. Человек, живущий «по сердцу», в согласии со своим внутренним миром,— всегда созидатель, обогатитель и художник.

Неизвестно, что сделал бы в своей жизни Пришвин, если бы он остался агрономом (это была его первая профессия). Во всяком случае, он вряд ли открыл бы миллионам людей русскую природу, как мир тончайшей и светлой поэзии. На это у него просто не хватило бы времени. Природа требует пристального глаза и непрерывной внутренней работы по созданию в душе писателя как бы «второго мира» этой природы, обогащающего нас мыслями и облагораживающего нас увиденной художником ее красотой.

Если внимательно прочесть все написанное Пришвиным, то остается убеждение, что он не успел рассказать нам и сотой доли того, что превосходно видел и знал.

Для таких мастеров, как Пришвин, для тех мастеров, что могут написать целую поэму о каждом слетающем с дерева осеннем листе, мало одной жизни. А этих листьев падает множество. Сколько же листьев упало, унося с собой невысказанные мысли писателя — те мысли, о каких Пришвин говорил, что они падают, как листья, без всяких усилий!

Пришвин происходил из старинного русского города Ельца. Из этих же мест вышел и Бунин, точно так же как и Пришвин, умевший наделять природу окраской человеческих дум и настроений.

Чем это объяснить? Очевидно, тем, что природа восточной части Орловщины, природа вокруг Ельца,— очень русская, очень простая и небогатая. И вот в этом ее свойстве, даже в некоторой ее суровости, и лежит разгадка писательской зоркости Пришвина. На простоте яснее видна прелесть родной земли, острее делается взгляд и собраннее мысль.

Простота говорит сердцу сильнее и больше, чем ослепительный блеск,— богатство красок, бенгальский огонь закатов, кипение звездного неба и лакированная растительность тропиков, напоминающая мощные водопады, целые Ниагары листьев и цветов.

О Пришвине писать трудно. Сказанное им нужно выписывать для себя в заветные тетрадки, перечитывать, открывая всё новые ценности в каждой строке, уходя в его книги, как мы уходим по едва заметным тропинкам в дремучий лес с его разговором ключей и благоуханием трав,— погружаясь в разнообразные мысли и состояния, свойственные этому чистому разумом и сердцем человеку.

Пришвин думал о себе как о поэте, «распятом на кресте прозы». Но он ошибался. Его проза гораздо сильнее наполнена соком поэзии, чем многие стихи и поэмы.

Книги Пришвина, говоря его же словами,— это «бесконечная радость постоянных открытий».

Несколько раз я слышал от людей, только что отложивших прочитанную пришвинскую книгу, одни и те же слова: «Это настоящее колдовство!»

Из дальнейшего разговора выяснялось, что под этими словами люди понимали трудно объяснимое, но явное, присущее только Пришвину, очарование.

В чем его тайна? В чем секрет этих книг? Слова «колдовство», «волшебность» относят обыкновенно к сказкам. Но ведь Пришвин не сказочник. Он человек земли, «матери сырой земли», свидетель всего, что совершается вокруг него в мире.

Секрет пришвинского обаяния, его колдовства — как раз в этой его зоркости.

Это та зоркость, что в каждой малости открывает интересное, что под прискучившим покровом окружающих явлений видит глубокое содержание.

Все у Пришвина сверкает поэзией, как трава от росы. Самый ничтожный листок осины живет своей жизнью.

Я беру книгу Пришвина, открываю ее и читаю:

«Ночь прошла под большой чистой луной, и к утру лег первый мороз. Все было седое, но лужи не замерзали. Когда явилось солнце и разогрело, то деревья и травы обдались такой сильной росой, такими светящимися узорами глянули из темного леса ветки елей, что на эту отделку не хватило бы алмазов всей нашей земли».

В этом поистине алмазном кусочке все просто, точно и полно неумирающей поэзией.

Присмотритесь к словам в этом отрывке, и вы согласитесь с Горьким, когда он говорил, что Пришвин обладал «совершенным умением придавать гибким сочетанием простых слов почти физическую ощутимость всему».

Но этого мало. Язык Пришвина — язык народный. Он мог сложиться лишь в тесном общении русского человека с природой, в труде, в простоте и мудрости народного характера.

Несколько слов: «Ночь прошла под большой чистой луной» — совершенно ясно передают молчаливое и величавое течение ночи над спящей страной. И «лег мороз», и «деревья обдались сильной росой» — все это народное, живое, никак не подслушанное или взятое из записной книжки, а собственное, свое. Потому что Пришвин был человеком народа, а не только наблюдателем этого народа со стороны в качестве «материала для своих писаний», как это, к сожалению, часто случается с писателями.

У ботаников есть термин — разнотравье. Он обычно относится к цветущим лугам. Разнотравье — это сплетение

сотен разнообразных и веселых цветов, раскинувшихся сплошными озерами по поймам рек.

Прозу Пришвина можно с полным правом назвать разнотравьем русского языка. Слова у Пришвина цветут, сверкают. Они то шелестят, как травы, то бормочут, как родники, то пересвистываются, как птицы, то позванивают, как первый лед, то, наконец, ложатся в нашей памяти медлительным строем, подобно течению звезд.

Колдовство пришвинской прозы именно и объясняется его обширными познаниями. В любой области человеческого знания заключается бездна поэзии. Поэтам давно надо было бы это понять.

Насколько более величественной стала бы любимая поэтами тема звездного неба, если бы они хорошо знали астрономию.

Одно дело — ночь с безыменным и потому недостаточно выразительным небом, и совсем другое дело — та же ночь, когда поэт знает законы движения звездной сферы и когда в воде озер отражается не какое-то созвездие вообще, а блистательный Орион.

Примеров того, как даже самое незначительное знание открывает для нас новые области красоты, можно привести много. У каждого в этом отношении свой опыт.

Но сейчас мне вспоминается случай, когда одна лишь строчка Пришвина объяснила мне явление, которое до тех пор казалось мне случайным. И не только объяснила, но и наполнила его, я бы сказал, закономерной прелестью.

Я давно заметил в заливных лугах на Оке, что цветы местами как бы собраны в отдельные пышные куртины, а местами среди обычных трав вдруг тянется извилистая лента сплошных одинаковых цветов. Особенно хорошо это видно с маленького самолета У-2, который прилетает в луга опылять от комарья мочажины и болотца.

Я годами наблюдал эти высокие и душистые ленты цветов, восхищался ими, но не знал, чем объяснить это явление. Да, признаться, и не задумывался над этим.

И вот у Пришвина во «Временах года» я наконец нашел объяснение этому всего в одной строке, в крошечном отрывке под названием «Реки цветов»:

«Там, где мчались весенние потоки, теперь везде потоки цветов».

Я прочел это и сразу понял, что полосы цветов вырастали именно там, где весной проносилась полая вода, оставляя после себя плодородный ил. Это была как бы цветочная карта весенних потоков.

Невдалеке от Москвы протекает река Дубна. Она обжита человеком в течение тысячелетий, хорошо известна, нанесена на карты. Она спокойно течет среди подмосковных рощ, заросших хмелем, среди синеющих взгорий и полей, мимо старинных городов и сел — Дмитрова, Вербилок, Талдома. Тысячи людей перебывали на этой реке. Были среди них писатели, художники и поэты. И никто не заметил в Дубне ничего особенного, достойного описания. Никто не прошел по ее берегам, как по неоткрытой стране.

Сделал это Пришвин. И скромная Дубна засверкала под его пером среди туманов и тлеющих закатов, как географическая находка, как открытие, как одна из интереснейших рек страны — со своей особой жизнью, растительностью, единственным, свойственным только ей ландшафтом, бытом приречных жителей и своей историей.

У нас были и есть ученые-поэты, такие, как Тимирязев, Ключевский, Кайгородов, Ферсман, Обручев, Мензбир, Арсеньев, как умерший в молодых годах ботаник Кожевников, написавший строго научную и увлекательную книгу о весне и осени в жизни растений.

И у нас были и есть писатели, сумевшие ввести науку в свои повести и романы, как необходимейшее качество прозы,— Мельников-Печерский, Аксаков, Горький, Пинегин и другие.

Но Пришвин занимает среди этих писателей особое место. Его обширные познания в области этнографии, фенологии, ботаники, зоологии, агрономии, метеорологии, истории, фольклора, орнитологии, географии, краеведения и других наук органически входят в его писательскую жизнь. Они не лежат мертвым грузом. Они живут в нем, непрерывно обогащаясь его опытом, его наблюдательностью, его счастливым свойством видеть научные явления в самом их поэтическом выражении, на малых и больших, но одинаково неожиданных примерах.

Пришвин пишет о человеке, как бы чуть прищурившись от своей проницательности. Его не интересует наносное. Его занимает та мечта, что живет в сердце каждого, будь он лесоруб, сапожник, охотник или знаменитый ученый.

Вытащить из человека наружу его сокровенную мечту — вот в чем задача. А сделать это трудно. Ничто человек так глубоко не прячет, как мечту. Может быть, потому, что она не выносит самого малого осмеяния, даже шутки и, уж конечно, прикосновения равнодушных рук.

Только единомышленнику можно безнаказанно поверить мечту. Таким единомышленником безвестных наших мечтателей и был Пришвин. Вспомните хотя бы его рассказ «Башмаки» о сапожниках-«волчках» из Марьиной рощи, задумавших сделать самую изящную и легкую в мире обувь для женщины коммунистического общества.

После Пришвина осталось большое количество записей и дневников. В этих записях заключено много размышлений Михаила Михайловича о писательском мастерстве. В этом деле он был так же проницателен, как и в своем отношении к природе.

Мне кажется образцовым по верности мысли рассказ Пришвина о простоте прозы. Называется он «Сочинитель». В рассказе идет разговор писателя с мальчишкой-подпаском о литературе.

Вот этот разговор. Подпасок говорит Пришвину:

«— Если бы ты по правде писал, а то ведь, наверно, все выдумал?

— Не все,— ответил я,— но есть немного.

— Вот я бы так написал!

— Все бы по правде?

— Все. Вот взял бы и про ночь написал, как ночь на болоте проходит.

— Ну, как же?

— А вот как! Ночь. Куст большой, большой у бочага. Я сижу под кустом, а утята — свись, свись, свись.

Остановился. Я подумал — он ищет слов или дожидается образов. Вот очнулся, вынул жалейку и стал просверливать на ней седьмую дырочку.

— Ну, а дальше-то что? — спросил я.— Ты же по правде хотел ночь представить.

— А я же и представил,— ответил он,— все по правде. Куст большой, большой! Я сижу под ним, а утята, всю ночь — свись, свись, свись.

— Очень уж коротко.

— Что ты, коротко,— удивился подпасок,— всю-то ночь напролет: свись, свись, свись.

Соображая этот рассказ, я сказал:

— Как хорошо!

— Неуж плохо,— ответил он».

В своем писательском деле Пришвин был победителем. Невольно вспоминаются его слова: «...Если даже дикие болота одни были свидетелями твоей победы, то и они процветут необычайной красотой,— и весна останется тебе навсегда, одна весна, слава победе».

Да, весна пришвинской прозы останется навсегда в жизни наших людей и нашей советской литературы.

АЛЕКСАНДР ГРИН

Во времена моей юности все мы, гимназисты, зачитывались выпусками «Универсальной библиотеки». Это были маленькие книжечки в желтой бумажной обложке, напечатанные петитом.

Стоили они необыкновенно дешево. За десять копеек можно было прочесть «Тартарена» Доде или «Мистерии» Гамсуна, а за двадцать — «Давида Копперфильда» Диккенса или «Дон-Кихота» Сервантеса.

Русских писателей «Универсальная библиотека» печатала только в виде исключения. Поэтому, когда я купил очередной выпуск со странным названием «Синий каскад Теллури» и увидел на обложке имя автора — Александр Грин, то, естественно, подумал, что Грин иностранец.

В книге было несколько рассказов. Помню, я открыл книгу, стоя около киоска, где я ее купил, и прочел наугад:

«Нет более бестолкового и чудесного порта, чем Лисс... Разноязычный город определенно напоминает бродягу, решившего наконец погрузиться в дебри оседлости. Дома рассажены как попало среди неясных намеков на улицы, но улиц, в прямом смысле слова, не могло быть в Лиссе уже потому, что город возник на обрывках скал и холмов, соединенных лестницами, мостами и... узенькими тропинками. Все это завалено сплошной густой тропической зеленью, в веерообразной тени которой блестят детские, пламенные глаза женщин. Желтый камень, синяя тень, живописные трещины старых стен; где-нибудь на бугрообразном дворе — огромная лодка, чинимая босоногим, трубку покуривающим нелюдимом; пение вдали и его эхо в овра-

ге; рынок на сваях, под тентами и огромными зонтиками; блеск оружия, яркое платье, аромат цветов и зелени, рождающий глухую тоску, как во сне — о влюбленности и свиданиях; гавань — грязная, как молодой трубочист; свитки парусов, их сон и крылатое утро, зеленая вода, скалы, даль океана; ночью — магнетический пожар звезд, лодки со смеющимися голосами — вот Лисс».

Я читал, стоя в тени цветущего киевского каштана, читал не отрываясь, пока не прочел до конца эту причудливую, как сон, необыкновенную книгу.

Внезапно я ощутил тоску по блеску ветра, по солоноватому запаху морской воды, по Лиссу, по его жарким переулкам, опаляющим глазам женщин, шершавому желтому камню с остатками белых ракушек, розовому дыму облаков, стремительно взлетающему в синеву небосвода.

Нет! Это была, пожалуй, не тоска, а страстное желание увидеть все это воочию и беззаботно погрузиться в вольную приморскую жизнь.

И тут же я вспомнил, что какие-то отдельные черты этого блещущего мира я уже знал. Неизвестный писатель Грин только собрал их на одной странице. Но где я все это видел?

Я вспоминал недолго. Конечно, в Севастополе, в городе, как бы поднявшемся из зеленых морских волн на ослепительное белое солнце и перерезанном полосами теней, синих, как небо. Вся веселая путаница Севастополя была здесь, на страницах Грина.

Я начал читать дальше и наткнулся на матросскую песенку:

Южный Крест там сияет вдали.
С первым ветром проснется компас.
Бог, храня корабли,
Да помилует нас!

Тогда я еще не знал, что Грин сам придумывал песенки для своих рассказов.

Люди пьянеют от вина, солнечного сверкания, от беззаботной радости, щедрости жизни, никогда не устающей открывать нам блеск и прохладу своих заманчивых уголков, наконец — от «чувства высокого».

Все это существовало в рассказах Грина. Они опьяняли, как душистый воздух, что сбивает нас с ног после чада душных городов.

Так я познакомился с Грином. Когда я узнал, что Грин русский и что зовут его Александр Степанович Гриневский, то не был этим особенно удивлен. Может быть, потому, что Грин был для меня к тому времени явным черноморцем, представителем в литературе того племени авторов, к которому принадлежали и Багрицкий, и Катаев, и многие другие писатели-черноморцы.

Удивился я, когда узнал биографию Грина, узнал его неслыханно тяжкую жизнь отщепенца и неприкаянного бродяги. Было непонятно, как этот замкнутый и избитый невзгодами человек пронес через мучительное существование великий дар мощного и чистого воображения, веру в человека и застенчивую улыбку. Недаром он написал о себе, что «всегда видел облачный пейзаж над дрянью и мусором невысоких построек».

Он с полным правом мог бы сказать о себе словами французского писателя Жюля Ренара: «Моя родина — там, где проплывают самые прекрасные облака».

Если бы Грин умер, оставив нам только одну свою поэму в прозе «Алые паруса», то и этого было бы довольно, чтобы поставить его в ряды замечательных писателей, тревожащих человеческое сердце призывом к совершенству.

Грин писал почти все свои вещи в оправдание мечты. Мы должны быть благодарны ему за это. Мы знаем, что будущее, к которому мы стремимся, родилось из непобедимого человеческого свойства — умения мечтать и любить.

ЭДУАРД БАГРИЦКИЙ

Можно заранее предупредить биографов Эдуарда Багрицкого, что им придется хлебнуть много горя или, как говорят, «узнать, почем фунт лиха», потому что биографию Багрицкого установить трудно.

Багрицкий столько рассказывал о себе удивительных небылиц, они в конце концов так крепко срослись с его жизнью, что порой невозможно распознать, где здесь истина, а где легенда. Невозможно восстановить правду, «одну только правду и ничего, кроме правды».

К тому же я не уверен в том, стоит ли вообще заниматься этим неблагодарным трудом. Выдумки Багрицкого были характерной частью его биографии. Он сам искренне верил в них.

Без них нельзя представить себе этого поэта с серыми смеющимися глазами и задыхающимся, но певучим голосом.

На побережье Эгейского моря живет живописное племя «левантийцев» — веселых и деятельных людей. Это племя объединяет представителей разных народов — греков и турок, арабов и евреев, сирийцев и итальянцев.

И у нас в Советском Союзе есть свои «левантийцы». Это «черноморцы» — тоже люди разных народов, но одинаково жизнерадостные, насмешливые, смелые и влюбленные без памяти в свое Черное море, в сухое солнце, портовую жизнь, в «Одессу-маму», в абрикосы и кавуны, в пестрое кипение береговой жизни.

К этому племени принадлежал Эдуард Багрицкий.

Он напоминал то ленивого матроса с херсонского дубка, то одесского «пацана»-птицелова, то забубенного бойца из отряда Котовского, то Тиля Уленшпигеля.

Из этих как будто несовместимых черт, если прибавить к ним самозабвенную любовь к поэзии и огромную поэтическую эрудицию, слагался цельный и обаятельный характер этого человека.

Впервые я встретился с Багрицким на волноломе в одесском порту. Он только что написал стихи об арбузе — настоящую поэму, удивительную по сочности ощущений и слов, как бы забрызганную штормовой черноморской волной.

Мы ловили на длинные шнуры-самоловы, закинутые в море, бычков и барабульку. Мимо нас проходили на заплатанных парусах черные дубки из Очакова с горами полосатых арбузов. Задувал свежак, и дубки качались и до бортов садились в воду, разбрасывая вокруг себя пену.

Багрицкий облизал соленые губы и, задыхаясь, начал читать нараспев «Арбуз».

Девушка находит на берегу выброшенный прибоем арбуз с нарисованным сердцем — очевидно, с погибшей шаланды.

И некому здесь надоумить ее,
Что в руки взяла она сердце мое!..

Он охотно читал на память стихи любого поэта. Память у него была феноменальная. В его чтении даже в хорошо знакомых стихах неожиданно появлялась новая певучая мелодия. Ни до Багрицкого, ни после него я не слыхал больше такого чтения.

Все звуковые качества каждого слова и строфы поднимались до своего полного, томительного и щемящего выражения. Был ли то Бернс с его песней о Джоне Ячменное Зерно, блоковские «Шаги командора» или пушкинское «Для берегов отчизны дальной...»,— что бы ни читал Багрицкий, его нельзя было слушать без сжимающего горло волнения.

С раннего утра мы ничего не ели. И потому прямо из порта пошли на Греческий базар. Там была чайная, где выдавали к чаю сахарин, ломтик черного хлеба и брынзу.

В Одессе в то время жил старый нищий. Он наводил страх на весь город тем, что просил милостыню не так, как это обыкновенно делается. Он не унижался, не протягивал дрожащую руку и не пел гнусаво: «Господа милосердные! Обратите внимание на мое калецтво!»

Нет! Высокий, седобородый, с красными склеротическими глазами, он ходил только по чайным. Еще не переступив порога, он начинал посылать хриплым, громовым голосом проклятья на головы посетителей.

Самый жестокий библейский пророк Иеремия, прославленный как непревзойденный мастер проклятий, мог бы, как говорят одесситы, «сойти на нет» перед этим нищим.

— Где ваша совесть, люди вы или не люди?! — кричал этот старик и тут же сам отвечал на свой риторический вопрос: — Какие же вы люди, когда сидите и кушаете хлеб с жирной брынзой без всякого внимания, а старый человек ходит с утра голодный и пустой, как бочонок! Узнала бы ваша мамаша, на что вы стали похожи, так, может, она бы радовалась, что не дожила видеть такое нахальство. А вы чего отворачиваетесь от меня, товарищ? Вы же не глухой? Лучше успокойте свою черную совесть и помогите старому голодному человеку!

Все подавали этому нищему. Никто не мог вынести его натиска. Говорили, что на собранные деньги старик крупно спекулировал солью.

В чайной нам подали чай и чудесную острую брынзу, завернутую в мокрую полотняную тряпочку. От этой брынзы болели десны.

В это время вошел нищий и уже с порога закричал свои проклятья.

— Ага! — зловеще сказал Багрицкий.— Он, кажется, попался. Пусть он только подойдет к нам. Пусть он только попробует подойти! Пусть он только осмелится подойти!

— Что же тогда будет? — спросил я.

— Худо ему будет,— ответил Багрицкий.— Ой, худо! Только бы он подошел к нашему столику.

Нищий надвигался неумолимо. Наконец он остановился около нас, несколько секунд смотрел на брынзу бешеными глазами, и что-то клокотало в его горле,— может быть, это была настолько сильная ярость, что старик задыхался и не мог ее высказать. Но все-таки он прокашлялся и закричал:

— Когда наконец у этих молодых людей проснется совесть! Это же надо посмотреть со стороны, как они торопятся скушать брынзу, чтобы не отдать хоть четверть ее,— я не говорю половину,— несчастному старику.

Багрицкий встал, прижал руку к сердцу и тихо и проникновенно начал говорить, не спуская глаз со склеротического старика,— говорить с дрожью в голосе, со слезой, с трагическим надрывом:

Друг мой, брат мой, усталый, страдающий брат,
Кто б ты ни был, не падай душой...

Нищий осекся. Он уставился на Багрицкого. Глаза его побелели. Потом он начал медленно отступать и при словах: «Верь, настанет пора и погибнет Ваал» — повернулся, опрокинул стул и побежал на согнутых ногах к выходу из чайной.

— Вот видите,— сказал Багрицкий серьезно,— даже одесские нищие не выдерживают Надсона!

Вся чайная гремела от хохота.

Целыми днями Багрицкий пропадал в степи за Сухим лиманом и ловил там силками птиц.

В беленной известкой комнате Багрицкого на Молдаванке висели десятки клеток с облезлыми птицами. Он ими очень хвастался, особенно какими-то необыкновенными джурбаями. Это были невзрачные степные жаворонки, такие же растрепанные, как и все остальные птицы.

Из клеток все время сыпалась на голову гостям и хозяину шелуха от расклеванных семян.

На корм для этих птиц Багрицкий тратил последние деньги.

Одесские газеты платили ему гроши: по пять — десять рублей за великолепные стихи. Спустя несколько лет эти стихи знала и заучивала наизусть вся молодежь.

Багрицкий, очевидно, считал, что это справедливо. Он не знал себе настоящей цены и в практических делах был робок. Когда он в первый раз приехал в Москву, то никогда не ходил в издательства и редакции один, а брал с собой «для храбрости» кого-нибудь из друзей. Переговоры вел главным образом друг, а Багрицкий помалкивал и улыбался.

В Москве он остановился у меня в подвале на Обыденском переулке. За целый месяц он вышел в город только два раза, а все остальное время просидел на тахте, поджав по-турецки ноги, задыхаясь от астматического кашля.

Он был обложен книгами, рукописями чужих стихов и пустыми коробками от папирос. На них он записывал свои стихи. Иногда он терял их, но огорчался этим очень недолго.

Вскоре он совсем переехал в Москву и вместо птиц завел теперь огромные аквариумы с рыбами. Его комната была похожа на подводный мир. Он мог часами сидеть на диване, думать и смотреть на разноцветных рыб.

Примерно такой же загадочный подводный мир был виден с одесского волнолома — так же качались стебли серебряной подводной травы, похожие на кораллы, и медленно проплывали голубые медузы, толчками разрывая морскую воду.

Багрицкий умер рано, еще не перебродив, не готовый к тому, чтобы взять, как он говорил, еще несколько трудных вершин поэзии.

За его гробом шел, звонко цокая подковами по гранитной мостовой, кавалерийский эскадрон. И вспоминалась «Дума про Опанаса», конь Котовского, что «сверкает белым рафинадом», широкая степная поэзия, которая ходила вместе с Багрицким, держась за его руку, по пыльным горячим шляхам, поэзия — наследница «Слова о полку Игореве» и Тараса Шевченко, крепкая, как запах чабреца, загорелая, как приморская девчонка, веселая, как свежий ветер левант над родным Черноморьем.

ИСКУССТВО ВИДЕТЬ МИР

Живопись учит смотреть и видеть (это вещи разные и редко совпадающие). Благодаря этому живопись сохраняет живым и нетронутым то чувство, которым отличаются дети.

Александр Блок

Человек останавливается, пораженный, перед такими вещами, какие не могут играть никакой роли в его жизни: перед отражениями, которые нельзя схватить, перед отвесными скалами, которые нельзя засеять, перед удивительным цветом неба.

Джон Рескин

Есть неоспоримые истины, но они часто лежат втуне, никак не отзываясь на человеческой деятельности, из-за нашей лени или невежества.

Одна из таких неоспоримых истин относится к писательскому мастерству, в особенности к работе прозаиков. Она заключается в том, что знание всех смежных областей искусства — поэзии, живописи, архитектуры, скульптуры и музыки — необыкновенно обогащает внутренний мир прозаика и придает особую выразительность его прозе. Последняя наполняется светом и красками живописи, емкостью и свежестью слов, свойственными поэзии, соразмерностью архитектуры, выпуклостью и ясностью линий скульптуры и ритмом и мелодичностью музыки.

Все это добавочные богатства прозы, как бы ее дополнительные цвета.

Я не верю писателям, не любящим поэзию и живопись. В лучшем случае это люди с несколько ленивым и высокомерным умом, в худшем — невежды.

Писатель не может пренебрегать ничем, что расширяет его видение мира, конечно, если он мастер, а не ремесленник, если он создатель ценностей, а не обыватель, настойчиво высасывающий благополучие из жизни, как жуют американскую жевательную резинку.

Часто бывает, что после прочитанного рассказа, повести или даже длинного романа ничего не остается в памяти, кроме сутолоки серых людей. Мучительно стараешься

увидеть этих людей, но не видишь, потому что автор не наделил их ни одной живой чертой.

И действие этих рассказов, повестей и романов происходит среди какого-то студенистого дня, лишенного красок и света, среди вещей только названных, но не увиденных автором и потому нам, читателям, не показанных.

Несмотря на современность темы, беспомощностью веет от этих вещей, написанных зачастую с фальшивой бодростью. Ею пытаются подменить радость, в особенности радость труда.

Причина этой тоскливости не только в эмоциональной глухоте и неграмотности автора, но в его вялом, рыбьем глазе.

Такие повести и романы хочется разбить, как наглухо заклеенное окно в душной и пыльной комнате, чтобы со звоном полетели осколки и сразу же хлынули снаружи ветер, шум дождя, крики детей, гудки паровозов, блеск мокрых мостовых — ворвалась бы вся жизнь с ее беспорядочной на первый взгляд и прекрасной пестротой света, красок и шумов.

У нас немало книг, написанных как будто слепыми. А предназначены они для зрячих, и в этом заключается вся нелепость появления таких книг.

Для того чтобы прозреть, нужно не только смотреть по сторонам. Нужно научиться видеть. Хорошо может видеть людей и землю только тот, кто их любит. Стертость и бесцветность прозы часто бывают следствием холодной крови писателя, грозным признаком его омертвения. Но иногда это простое неумение, свидетельствующее о недостатке культуры. Тогда это дело, как говорится, поправимое.

Как видеть, как воспринимать свет и краски — этому могут научить нас художники. Они видят лучше нас. И они умеют помнить увиденное.

Когда я был еще юным писателем, знакомый художник сказал мне:

— Вы, мой милый, еще не совсем ясно видите. Несколько мутновато. И грубо. Судя по вашим рассказам, вы замечаете только основные цвета и сильно окрашенные поверхности, а переходы и оттенки сливаются у вас в нечто однообразное.

— Что же я могу поделать! — ответил я, оправдываясь.— Такой уж глаз.

— Ерунда! Хороший глаз — дело наживное. Поработайте, не ленитесь, над зрением. Держите его, как говорится, в струне. Попробуйте месяц или два смотреть на все с мыслью, что вам это обязательно надо написать красками. В трамвае, в автобусе, всюду смотрите на людей именно так. И через два-три дня вы убедитесь, что до этого вы не видели на лицах и десятой доли того, что заметили теперь. А через два месяца вы научитесь видеть, и вам уже не надо будет понуждать себя к этому.

Я послушался художника, и действительно — и люди и вещи оказались гораздо интереснее, чем раньше, когда я смотрел на них бегло и торопливо.

И меня охватило сожаление о невозвратимом и глупо потраченном времени. Сколько бы я мог увидеть за прошлые годы превосходных вещей! Сколько интересного ушло, и его уже не воскресишь!

Это был первый урок, который я получил от художника. Второй урок был еще нагляднее.

Однажды осенью я ехал из Москвы в Ленинград, но не через Калинин и Бологое, а с Савеловского вокзала — через Калязин и Хвойную.

Многие москвичи и ленинградцы даже не подозревают о существовании этого пути. Он хотя и дальше, но интереснее, чем привычный путь на Бологое. Интереснее тем, что дорога проходит по пустынным и лесистым краям.

Моим попутчиком оказался маленький, мешковато одетый человек с узенькими, но очень живыми глазами. Человек этот вез большой ящик с масляными красками и рулоны загрунтованного холста. Нетрудно было догадаться, что это художник.

Мы разговорились. Мой попутчик рассказал, что едет под город Тихвин, где у него приятель-лесник, будет жить у него на кордоне и писать осень.

— А почему же вы забираетесь так далеко, под Тихвин? — спросил я.

— Там у меня облюбовано одно место,— доверительно ответил художник.— Всем местам место! Такого второго нигде не найдете. Чистый осиновый лес! Кое-где только попадаются редкие ели. Осина дает осенью такой нарядный убор, как ни одно дерево. Лист у нее чистой раскраски. Пурпурный, лимонный, лиловый и даже черный с золотым

крапом. Под солнцем получается великолепный костер. Поработаю там до зимы, а зимой подамся на берег Финского залива, за Ленинград. Там, вы знаете, самый лучший иней в России. Нигде я такого инея не видел.

Я сказал, конечно шутя, что при таких познаниях мой спутник мог бы составить ценный путеводитель для художников, где что писать.

— А что же вы думаете! — серьезно ответил художник.— Составить нетрудно. Но только нет смысла. Все набьются в одно место, тогда как сейчас каждый ищет себе красоту в отдельности. А это не в пример лучше.

— Почему?

— Разнообразнее раскрывается страна. В русской земле столько прелести, что всем художникам хватит на тысячи лет. Но знаете,— добавил он с тревогой,— что-то человек начал очень уж затаптывать и разорять землю. А ведь красота земли — вещь священная, великая вещь в нашей социальной жизни. Это одна из конечных наших целей. Не знаю, как вы, но я в этом убежден. Без понимания этого какой же может быть передовой человек!

Днем я уснул, но вскоре мой сосед разбудил меня.

— Вы уж не сердитесь на меня,— говорил он смущенно,— но лучше встаньте. Разворачивается удивительная картина — гроза в сентябре. Поглядите!

Я взглянул за окно. С юга подымалась тяжелая и высокая, вполнеба, туча. Ее передергивало вспышками молний.

— Мать честная! — воскликнул художник.— Какая уйма красок! Такое освещение никак не напишешь, будь ты хоть сам Левитан.

— Какое освещение? — спросил я растерянно.

— Господи! — с отчаянием сказал художник.— Куда же вы смотрите? Вон видите — там лес совершенно темный, глухой; это на нем легла тень от тучи. А вон подальше, на нем бледные желтые и зеленоватые пятна: это от приглушенного солнечного света из-за облаков. А вдали он весь в солнце. Видите? Весь как отлитый из красного золота. И весь сквозной. Точно золотая узорчатая стена. Или вроде как протянули по горизонту плат, что вышили мастерицы в наших тихвинских золотильнях. Теперь смотрите ближе, на полосу елей. Видите бронзовый блеск на хвое? Это от золотой стены леса. Она обдает ели своим светом. Отраженный свет. Писать его трудно — легко загрубить. А вон, видите, там только слабое сияние, я бы

сказал — такая нежность освещения, что нужна, конечно, очень спокойная и верная рука, чтобы его передать.

Художник посмотрел на меня и засмеялся.

— Какая сила все-таки у света, отраженного от осенних лесов! Все купе как в зареве. И, в частности, ваше лицо. Вот бы так вас написать. Но, к сожалению, все это мимолетно.

— В этом и дело художников,— сказал я,— чтобы останавливать на столетия мимолетные вещи.

— Стараемся,— ответил художник.— Если это мимолетное не застанет нас врасплох, как сейчас. В сущности говоря, художник никогда не должен расставаться с красками, холстом и кистью. Вам лучше, писателям. Вы эти краски носите в памяти. Смотрите, как все это быстро меняется. Ишь как лес пышет то светом, то темнотой!

Впереди грозовой тучи бежали на нас рваные облака и своим стремительным движением действительно перемешали на земле все краски. Путаница багреца, червонного и белого золота, малахита, пурпура и синей тьмы началась в лесных далях.

Изредка солнечный луч, прорвавшись сквозь тучи, падал на отдельные березы, и они вспыхивали одна за другой, как золотые факелы, но тотчас гасли. Предгрозовой ветер налетал порывами и усиливал эту сумятицу красок.

— А небо, небо какое! — закричал художник.— Смотрите! Что оно только творит!

Грозовая туча курилась пепельным дымом и быстро опускалась к земле. Вся она была однообразного аспидного цвета. Но каждая вспышка молнии открывала в ней желтоватые зловещие смерчи, синие пещеры и извилистые трещины, освещенные изнутри розовым мутным огнем.

Пронзительный блеск молний сменялся в глубине тучи полыханием медного пламени. А ближе к земле, между тучей и лесами, уже опустились полосы проливного дождя.

— Каково! — кричал возбужденный художник.— Такую чертовщину не часто увидишь!

Мы переходили с ним от окна в купе к окну в коридоре. Занавески трепетали от ветра и усиливали мелькание света.

Хлынул ливень. Проводник торопливо поднял окна. Косые шнуры дождя заструились по стеклам. Свет померк, и только страшно далеко, у самого горизонта, сквозь пелену дождя еще светилась последняя позолоченная полоска леса.

— Вы что-нибудь запомнили? — спросил художник.

— Кое-что.

— И я только кое-что,— с огорчением сказал он.— Вот пройдет дождь, тогда краски будут крепче. Понимаете, солнце заиграет на мокрой листве и стволах. Между прочим, в пасмурный день перед дождем приглядитесь к свету. До дождя он один, во время дождя — другой, а после дождя — совершенно особый. Потому что мокрые листья придают воздуху слабый блеск. Серый, мягкий и теплый. Вообще изучать краски и свет, милый вы мой,— наслаждение. Я свою долю художника ни на что не променяю.

Художник сошел ночью на маленькой станции. Я вышел на платформу попрощаться с ним. Светил керосиновый фонарь. Впереди тяжело дышал паровоз.

Я позавидовал художнику и вдруг рассердился на всякие дела, из-за которых должен был ехать дальше и не мог остаться хотя бы на несколько дней в северной стороне. Здесь каждая ветка вереска могла вызвать столько мыслей, что их хватило бы на несколько поэм в прозе.

Сейчас особенно обидным показалось мне то обстоятельство, что на протяжении жизни я, как и многие, не позволял себе жить по велению своего сердца, а был занят только неотложными и обязательными делами.

Краски и свет в природе надо не столько наблюдать, сколько ими попросту жить. Для искусства годится только тот материал, который завоевал прочное место в сердце.

Живопись важна для прозаика не только тем, что помогает ему увидеть и полюбить краски и свет. Живопись важна еще и тем, что художник часто замечает то, чего мы совсем не видим. Только после его картин мы тоже начинаем видеть это и удивляться, что не замечали этого раньше.

Французский художник Моне приехал в Лондон и написал Вестминстерское аббатство. Работал Моне в обыкновенный лондонский туманный день. На картине Моне готические очертания аббатства едва выступают из тумана. Написана картина виртуозно.

Когда картина была выставлена, она произвела смятение среди лондонцев. Они были поражены, что туман у Моне был окрашен в багровый цвет, тогда как всем известно, что цвет тумана серый.

Дерзость Моне вызвала сначала возмущение. Но возмущавшиеся, выйдя на лондонские улицы, вгляделись в туман и впервые заметили, что он действительно багровый.

Тотчас начали искать этому объяснение. Согласились на том, что красный оттенок тумана зависит от обилия дыма. Кроме того, этот цвет туману сообщают красные кирпичные лондонские дома.

Но как бы там ни было, Моне победил. После его картины все начали видеть лондонский туман таким, каким его увидел художник. Моне даже прозвали «создателем лондонского тумана».

Если обращаться к примерам из собственной жизни, то я впервые увидел все разнообразие красок русского ненастья после картины Левитана «Над вечным покоем».

До тех пор ненастье было окрашено в моих глазах в один унылый цвет. Вся тоскливость ненастья и вызывалась, как я думал, именно тем, что оно съедало краски и заволакивало землю мутью.

Но Левитан увидел в этом унынии некий оттенок величия, даже торжественности, и нашел в нем много чистых красок. С тех пор ненастье перестало угнетать меня. Наоборот, я даже полюбил его за чистоту воздуха, холод, когда горят щеки, оловянную рябь рек, тяжелое движение туч. Наконец, за то, что во время ненастья начинаешь ценить самые простые земные блага — теплую избу, огонь в русской печи, писк самовара, сухую солому на полу, застланную грубым рядном для ночлега, усыпительный шум дождя по крыше и сладкую дремоту.

Почти каждый художник, к какому бы времени и к какой бы школе он ни принадлежал, открывает нам новые черты действительности.

Мне посчастливилось несколько раз побывать в Дрезденской галерее.

Помимо «Сикстинской мадонны» Рафаэля, там есть много картин старых мастеров, перед которыми просто опасно останавливаться. Они не отпускают от себя. На них можно смотреть часами, может быть, сутками, и чем дольше смотришь, тем шире нарастает непонятное душевное волнение. Оно доходит до той черты, когда человек уже с трудом удерживает слезы.

В чем причина этих непроливающихся слез? В том, что в этих полотнах — совершенство духа и власть гения, за-

ставляющие нас стремиться к чистоте, силе и благородству собственных помыслов.

При созерцании прекрасного возникает тревога, которая предшествует нашему внутреннему очищению. Будто вся свежесть дождей, ветров, дыхания цветущей земли, полуночного неба и слез, пролитых любовью, проникает в наше благодарное сердце и навсегда завладевает им.

Импрессионисты как бы залили свои полотна солнечным светом. Они писали под открытым небом и иногда, может быть, нарочно усиливали краски. Это привело к тому, что земля на их картинах предстала в каком-то ликующем освещении.

Земля стала праздничной. В этом не было никакого греха, как нет его ни в чем, что прибавляет человеку хотя бы немного радости.

Импрессионизм принадлежит нам, как и все остальное богатое наследие прошлого. Отказываться от него — значит сознательно толкать себя к ограниченности. Ведь не отказываемся мы от «Сикстинской мадонны» Рафаэля, хотя эта гениальная картина написана на религиозную тему. Чем же опасны для нас новатор Пикассо, импрессионисты Матисс, Ван-Гог или Гоген? Тот, который, кстати говоря, вступил в борьбу с колониальными французскими властями за независимость таитян?

Что опасного или дурного в творчестве этих художников? В каких завистливых или приспособленческих мозгах может появиться мысль о необходимости вычеркнуть из человеческой и, в частности, нашей русской культуры плеяду блистательных художников?

После встречи в поезде с художником я приехал в Ленинград. Снова открылись передо мной торжественные ансамбли его площадей и пропорциональных зданий.

Я подолгу всматривался в них, стараясь разгадать тайну их архитектуры. Она заключалась в том, что эти здания производили впечатление величия, на самом же деле были не велики. Одна из самых замечательных построек — здание Главного штаба, вытянутое плавной дугой против Зимнего дворца, по своей высоте не превышает четырехэтажного дома. А между тем оно гораздо величественнее любого высотного дома Москвы.

Разгадка была проста. Величественность зданий зависела от их соразмерности, гармонических пропорций и от

небольшого числа украшений — оконных наличников, картушей и барельефов.

Всматриваясь в эти здания, понимаешь, что хороший вкус — это прежде всего чувство меры.

Я уверен, что эти же законы соразмерности частей, простоты, при которой видна и доставляет истинное наслаждение каждая линия,— все это имеет некоторое отношение и к прозе.

Писатель, полюбивший совершенство классических архитектурных форм, не допустит в своей прозе тяжеловесной и неуклюжей композиции. Он будет добиваться соразмерности частей и строгости словесного рисунка. Он будет избегать обилия разжижающих прозу украшений — так называемого орнаментального стиля.

Композиция прозаической вещи должна быть доведена до такого состояния, чтобы ничего больше нельзя было выбросить и ничего прибавить, не нарушая смысл повествования и закономерное течение событий.

Как всегда в Ленинграде, больше всего времени я провел в Русском музее и Эрмитаже.

Легкий сумрак эрмитажных залов, тронутый темной позолотой, казался мне священным. Я входил в Эрмитаж, как в хранилище человеческого гения. В Эрмитаже я впервые, еще юношей, почувствовал счастье быть человеком. И понял, как человек может быть велик и хорош.

Первое время я терялся среди пышного шествия художников. У меня кружилась голова от обилия и густоты красок, и, чтобы отдохнуть, я уходил в зал, где была выставлена скульптура.

Там я сидел очень долго. И чем больше я смотрел на статуи безвестных эллинских ваятелей или на едва заметно улыбавшихся женщин Кановы, тем яснее понимал, что вся эта скульптура — зов к прекрасному в самом себе, что она предвестница чистейшей утренней зари человечества. Тогда поэзия будет властвовать над сердцами и социальный строй — тот строй, к которому мы идем через годы труда, забот и душевного напряжения,— будет основан на красоте справедливости, красоте ума, сердца, человеческих отношений и человеческого тела.

Наша дорога — в золотой век. Он наступит. Досадно, конечно, что мы не доживем до него. Но мы должны быть счастливы тем, что ветер этого века уже шумит вокруг нас и заставляет сильнее биться наши сердца.

Недаром Гейне приходил в Лувр, часами просиживал около статуи Венеры Милосской и плакал.

О чем? О поруганном совершенстве человека. О том, что путь к совершенству тяжел и далек и ему, Гейне, отдавшему людям яд и блеск своего ума, уж конечно, не дойти до той обетованной земли, куда его всю жизнь звало беспокойное сердце.

В этом — сила скульптуры, та сила, без внутреннего огня которой немыслимо передовое искусство, особенно искусство нашей страны. А тем самым немыслима и полновесная проза.

Прежде чем перейти к влиянию поэзии на прозу, я хочу сказать несколько слов о музыке, тем более что музыка и поэзия подчас неразделимы.

Этот короткий разговор о музыке придется ограничить только тем, что мы называем ритмом и музыкальностью прозы.

У подлинной прозы всегда есть свой ритм.

Прежде всего ритм прозы требует такой расстановки слов, чтобы фраза воспринималась читателем без напряжения, вся сразу. Об этом говорил Чехов Горькому, когда писал ему, что в сознании читателя «беллетристика должна укладываться сразу, в секунду».

Читатель не должен останавливаться над книгой, чтобы восстановить правильное движение слов, соответствующее характеру того или иного куска прозы.

Вообще писатель должен держать читателя в постоянном напряжении, вести его за собой и не допускать в своем тексте неясных или неритмичных мест, чтобы читатель не рисковал споткнуться на этих местах и не вышел тем самым из-под власти писателя.

В этом напряжении, в овладении читателем, в том, чтобы заставить его думать и чувствовать одинаково с автором, и заключается задача писателя и действенность прозы.

Я думаю, что ритмичность прозы никогда не достигается искусственным путем. Ритм прозы зависит от таланта, от чувства языка, от хорошего «писательского слуха». Этот хороший слух в какой-то мере соприкасается со слухом музыкальным.

Но больше всего обогащает язык прозаика знание поэзии.

Поэзия обладает одним удивительным свойством. Она возвращает слову его первоначальную, девственную свежесть. Самые стертые, до конца «выговоренные» нами слова, начисто потерявшие для нас свои образные качества, живущие только как словесная скорлупа, в поэзии начинают сверкать, звенеть, благоухать!

Чем это объяснить, я не знаю. Предполагаю, что слово оживает в двух случаях.

Во-первых, когда ему возвращают его фонетическую (звуковую) силу. А сделать это в певучей поэзии значительно легче, чем в прозе. Поэтому и в песне и в романсе слова действуют на нас сильнее, чем в обычной речи.

Во-вторых, даже стертое слово, поставленное в стихах в мелодический музыкальный ряд, как бы насыщается общей мелодией стиха и начинает звучать в гармонии со всеми остальными словами.

И, наконец, поэзия богата аллитерациями. Это одно из ее драгоценных качеств. На аллитерацию имеет право и проза.

Но главпое пе в этом.

Главное в том, что проза, когда она достигает совершенств, является, по существу, подлинной поэзией.

Чехов считал, что лермонтовская «Тамань» и пушкинская «Капитанская дочка» доказывают родство прозы с сочным русским стихом.

«Где граница между прозой и поэзией,— писал Лев Толстой,— я никогда не пойму». С редкой для него горячностью он спрашивает в своем «Дневнике молодости»:

«Зачем так тесно связана поэзия с прозой, счастье с несчастьем? Как надо жить? Стараться ли соединить вдруг поэзию с прозой или насладиться одною и потом пуститься жить на произвол другой?

В мечте есть сторона, которая лучше действительности; в действительности есть сторона, которая лучше мечты. Полное счастье было бы соединение того и другого».

В этих словах, хотя и сказанных наспех, заключена верная мысль: самым высоким, покоряющим явлением в литературе, подлинным счастьем может быть только органическое слияние поэзии и прозы, или, точнее, проза, наполненная сущностью поэзии, ее животворными соками, прозрачнейшим воздухом, ее пленительной властью.

В этом случае я не боюсь выражения «пленительный» (иными словами — «берущий в плен»). Потому что поэзия берет в плен, пленяет и незаметным образом, но с непреодолимой силой, возвышает человека и приближает его к тому состоянию, когда он действительно становится украшением земли, или, как простодушно, но искренне говорили наши предки, «венцом творения».

Прав отчасти был Владимир Одоевский, когда сказал, что «поэзия есть предвестник того состояния человечества, когда оно перестанет достигать и начнет пользоваться достигнутым».

В КУЗОВЕ ГРУЗОВОЙ МАШИНЫ

В июле 1941 года я ехал на военной грузовой машине из Рыбницы-на-Днестре в Тирасполь. Я сидел в кабине рядом с молчаливым водителем.

Бурая пыль, раскаленная солнцем, взрывалась клубами под колесами машины. Всё вокруг — хаты, подсолнухи, акации и сухая трава — было покрыто этой шершавой пылью.

Солнце дымилось в обесцвеченном небе. Вода в алюминиевой фляге нагрелась и пахла резиной. За Днестром гремела канонада.

В кузове ехали несколько молодых лейтенантов. Иногда они начинали стучать кулаками по крыше кабины и кричали: «Воздух!» Водитель останавливал машину, мы выскакивали, отбегали подальше от дороги и ложились. Тотчас со злорадным воем на дорогу пикировали черные немецкие «мессеры».

Иногда они замечали нас и били из пулеметов. Но, к счастью, никто не пострадал. Пули подымали смерчи пыли. «Мессеры» исчезали, и оставался только жар во всем теле от раскаленной земли, гул в голове и отчаянная жажда.

После одного из таких налетов водитель неожиданно спросил меня:

— Вы о чем думаете, когда лежите под пулями? Вспоминаете?

— Вспоминаю,— ответил я.

— И я вспоминаю,— сказал, помолчав, водитель.— Леса наши вспоминаю костромские. Останусь жив, вернусь на родину — буду проситься в лесники. Возьму с собой

жену — она у меня спокойная, красивая — и девочку, и будем жить в сторожке. Поверите ли, как подумаю об этом, так с сердцем делаются перебои. А водителям это не положено.

— Я тоже,— ответил я.— Вспоминаю свои леса.

— А ваши хороши? — спросил водитель.

— Хороши.

Водитель натянул пилотку на лоб и дал газ. Больше мы не разговаривали.

Пожалуй, никогда я не вспоминал с такой остротой любимые места, как на войне. Я ловил себя на том, что нетерпеливо жду ночи, когда где-нибудь в сухой степной балке, лежа в кузове грузовой машины и укрывшись шинелью, можно будет вернуться мыслью к этим местам и пройти по ним медленно и спокойно, вдыхая сосновый воздух. Я говорил себе: «Сегодня я пойду на Черное озеро, а завтра, если буду жив, на берега Пры или на Требутино». И у меня замирало сердце от предчувствия этих воображаемых походов.

Вот так однажды я лежал под шинелью и представлял в мельчайших подробностях путь на Черное озеро. Мне казалось, что не может быть в жизни большего счастья, чем опять увидеть эти места и пройти по ним, забыв обо всех заботах и невзгодах, слушая, как легко стучит в груди сердце.

В этих своих мечтах я всегда выходил из деревенского дома ранним утром и шел по песчаной улице мимо старых изб. На подоконниках в жестянках от консервов цвел огненный бальзамин. Его в тамошних местах зовут «Ванька мокрый». Должно быть, потому, что толстый ствол бальзамина просвечивает против солнца зеленым соком и в этом соке иногда даже видны пузырьки воздуха.

Возле колодца, где весь день гремят ведрами босоногие болтливые девочки в ситцевых выгоревших платьях, надо свернуть в проулок, или, по-местному, в «прожог». В этом проулке, в крайней избе, живет известный на всю округу красавец петух. Он часто стоит на одной ноге на самом солнцепеке и пылает своим оперением, как груда рдеющих углей.

За петухом избы кончаются, и тянется, заворачивая плавной дугой в дальние леса, игрушечное полотно узкоколейки. Удивительно, что по откосам этого полотна растут совсем не те цветы, что вокруг. Нигде нет таких

зарослей цикория, как около горячих от солнца узеньких рельсов.

За полотном узкоколейки непроходимым частоколом стоит молодой сосняк. Непроходимым он кажется только издали. Сквозь него всегда можно продраться, но, конечно, маленькие сосенки исколют вас иглами и оставят на пальцах липучие пятна смолы.

Между сосенок на песчаной земле растет высокая сухая трава. Середина каждой травинки седая, а края темно-зеленые. Эта трава режет руки. Тут же цветет много желтых, шуршащих под пальцами чешуйчатых бессмертников — иммортелей и белой пахучей гвоздики с красноватыми пятнышками на растрепанных лепестках. А под соснами полно молочных маслюков. Их ножки облеплены чистым серым песком.

За сосняком начинается высокий бор. По его краю идет заросшая дорога.

Под первой же раскидистой сосной хорошо прилечь и отдохнуть от духоты молодой чащи. Лечь на спину, почувствовать сквозь тонкую рубашку прохладную землю и смотреть на небо. И может быть, даже уснуть, потому что белые, сияющие своими краями облака нагоняют дремоту.

Есть хорошее русское слово «истома». За последнее время мы совсем позабыли о нем и почему-то даже стесняемся произносить его. Но никаким другим словом нельзя лучше определить то спокойное и немного сонное состояние, какое охватывает вас, когда вы лежите в теплом утреннем лесу и смотрите на бесконечные цепи облаков. Они рождаются где-то в синеватой дали и непрерывно уплывают неведомо куда.

Лежа на этой лесной опушке, я часто вспоминал стихи Брюсова:

...Быть вольным, одиноким,
В торжественной тиши раскинутых полей
Идти своим путем, бесцельным и широким,
Без будущих и прошлых дней.
Срывать цветы, мгновенные, как маки,
Впивать лучи, как первую любовь,
Упасть, и умереть, и утонуть во мраке,
Без горькой радости воскреснуть вновь и вновь!

В этих стихах, несмотря на упоминание о смерти, была заключена такая полнота жизни, что ничего не хотелось

иного, как только вот так лежать часами и думать, глядя в небо.

Заросшая дорога ведет через старый сосновый лес. Он растет на песчаных холмах, сменяющих друг друга с равномерностью широких морских валов. Эти холмы — остатки ледниковых напосов. На вершинах их цветет много колокольчиков, а низины сплошь заросли папоротником. Листья его с изнанки покрыты спорами, похожими на красноватую пыль.

Лес на холмах светлый. В нем далеко видно. Он залит солнцем.

Лес этот тянется неширокой полосой (километра на два, не больше), а за ним открывается песчаная равнина, где зреют, поблескивая и волнуясь под ветром, хлеба. За этой равниной простирается, насколько хватает глаз, дремучий бор.

Над равниной плывут особенно пышные облака. Может быть, так кажется потому, что широко видно все небо.

Пересекать равнину нужно по меже между хлебов, заросшей репейником. Кое-где на меже большими разливами синеют твердые колокольчики приточной травы.

Все, что я мысленно представил сейчас,— только преддверие настоящих лесов. В них, в эти леса, входишь, как в огромный, полный тени, громадный собор. Надо сначала идти по узкой просеке мимо пруда, покрытого ряской, как твердым ярко-зеленым ковром. Если остановиться около пруда, то можно услышать тихое чавканье — это пасутся в подводной траве караси.

Потом начинается небольшой участок сырого березового леса с блестящим, как изумрудный бархат, мхом. Там всегда пахнет палым листом, оставшимся на земле от прошлой осени.

(Я думаю обо всем этом, лежа в кузове грузовой машины. Поздняя ночь. Со стороны станции Раздельной ухают взрывы — там идет бомбежка. Когда взрывы затихают, слышен робкий треск цикад — они испуганы взрывами и пока что трещат вполголоса. Над головой падает трассирующим снарядом голубоватая звезда. Я ловлю себя на том, что невольно слежу за ней и прислушиваюсь: когда же она взорвется? Но звезда не взрывается, а безмолвно гаснет над самой землей. Как далеко отсюда до знакомого березового перелеска, до торжественных лесов! Там теперь тоже ночь, но беззвучная, пылающая огнями созвездий, пахну-

щая не бензиновым чадом и пороховыми газами,— может быть, следует говорить «взрывными» газами,— а устоявшейся в лесных озерах глубокой водой и хвоей можжевельника.)

За березовым перелеском дорога круто подымается на песчаный обрыв. Сырая низина остается позади, но легкий ветер изредка доносит и сюда, в сухой и жаркий лес, йодистый воздух этих низин.

На пригорке второй привал. Я сажусь на горячую хвою. Все, к чему ни прикоснешься,— сухое и теплое: старые и давно уже пустые сосновые шишки, желтые, прозрачные и трескучие, как пергамент, пленки молодой сосновой коры, пни, прогретые до сердцевины, каждая ветка, шершавая и пахучая. Даже листочки земляники — и те теплые.

Старый пень можно разломать просто руками и насыпать себе на ладонь горсть коричневой горячей трухи.

Зной, тишина. Безмятежный день созревшего до соломенной спелости лета.

Маленькие стрекозы с красными крылышками спят на пнях. А на лиловатых и твердых зонтичных цветках сидят шмели. Они сгибают своей тяжестью эти цветы до самой земли.

Я сверяюсь по самодельной карте — до Черного озера осталось еще восемь километров. На эту карту нанесены все приметы — сухая сосна у дороги, межевой столб, заросли бересклета, муравьиная куча, снова низинка, где всегда цветут незабудки, а за ней сосна с вырезанной па коре буквой «О» — озеро. От этой сосны надо свернуть прямо в лес и идти по зарубкам, сделанным еще в 1932 году. Каждый год они зарастают и заплывают смолой. Их надо подновлять.

Когда найдешь зарубку, то обязательно остановишься и проведешь рукой по ней, по застывшему на пей янтарю. А иной раз отломишь затвердевшую каплю смолы и рассматриваешь раковистый излом. В нем играет желтоватыми огоньками солнечный свет.

Ближе к озеру начинаются среди леса глухие, глубокие впадины, так густо заросшие ольхой, что нечего и думать пробраться в глубь этих впадин. Должно быть, это бывшие маленькие озера.

Потом снова подъем в зарослях можжевельника с черными сухими ягодами. И наконец, последняя примета — ссохшиеся лапти, повешенные на ветку сосны. За лапт-

ми тянется узкая травянистая прогалина, а за ней — крутой обрыв.

Лес кончается. Внизу высохшие болота — мшары, поросшие мелким лесом: березняком, осинами и ольхой.

Здесь последний привал. День уже перевалил за половину. Он густо звенит, как рой невидимых пчел. Тусклый блеск волнами ходит по мелколесью от каждого, даже самого слабого ветерка.

Где-то там, в двух километрах отсюда, среди мшар, скрывается Черное озеро — государство темных вод, коряг и огромных желтых кувшинок.

Идти по мшарам надо осторожно: в глубоком мху торчат обломленные и заостренные временем, как пики, стволы березок — колки. О них можно жестоко поранить ноги.

В мелколесье душно, пахнет прелью, хлюпает под ногами черная торфяная вода. От каждого шага качаются и дрожат деревья. Нужно идти и не думать о том, что у тебя под ногами, под слоем торфа и перегноя толщиной только в метр,— глубокая вода, подземное озеро. В нем, говорят, живут совершенно черные, как уголь, болотные щуки.

Берег озера немного выше и потому суше мшар, но и на нем нельзя долго стоять на одном месте — след обязательно нальется водой.

К озеру лучше всего выйти в поздние сумерки, когда все вокруг — слабый блеск воды и первых звезд, сияние гаснущего неба, неподвижные вершины деревьев,— все это так прочно сливается с настороженной тишиной, что кажется рожденным ею.

Сесть у костра, слушать треск сучьев и думать о том, что жизнь необыкновенно хороша, если ее не бояться и принимать с открытой душой...

Так я бродил в воспоминаниях по лесам, потом по набережным Невы или по голубым от льна холмам суровой псковской земли.

Я думал обо всех этих местах с такой саднящей болью, как будто я потерял их навсегда, как будто больше никогда в жизни их не увижу. И очевидно, от этого чувства они приобретали в моем сознании необыкновенную прелесть.

Я спрашивал себя, почему я не замечал этого раньше, и тут же догадывался, что, конечно, я все это видел и чувствовал, но только в разлуке черты родного пейзажа возникли перед моим внутренним взором во всей своей захватывающей сердце красоте. Очевидно, в природу надо

входить, как входит каждый, даже самый слабый звук в общее звучание музыки.

Природа будет действовать на нас со всей своей силой только тогда, когда мы внесем в ощущение ее свое человеческое начало, когда наше душевное состояние, наша любовь, наша радость или печаль придут в полное соответствие с природой и нельзя уже будет отделить свежесть утра от света любимых глаз и мерный шум леса от размышлений о прожитой жизни.

Пейзаж — не довесок к прозе и не украшение. В него нужно погрузиться, как если бы вы погрузили лицо в груду мокрых от дождя листьев и почувствовали их роскошную прохладу, их запах, их дыхание.

Проще говоря — природу надо любить, и эта любовь, как и всякая любовь, найдет верные пути, чтобы выразить себя с наибольшей силой.

НАПУТСТВИЕ САМОМУ СЕБЕ

На этом я кончаю первую книгу своих заметок о писательском труде с ясным ощущением, что работа только начата и впереди ее — непочатый край. Нужно сказать еще об очень многом — об эстетике нашей литературы, глубочайшем ее значении как воспитательницы нового человека с его богатым и высоким строем мыслей и чувств, о сюжете, юморе, лепке человеческих характеров, изменениях русского языка, о народности литературы, романтизме, хорошем вкусе, правке рукописей — всего не перечтешь.

Работа над этой книгой напоминает путешествие по малознакомой стране, когда на каждом шагу открываются новые дали и дороги. Они ведут неведомо куда, но сулят много неожиданного, дающего пищу для размышлений. Поэтому заманчиво и просто необходимо хотя бы и неполно, как говорится, начерно, но все же разобраться в сложном переплетении этих дорог.

1955—1964


Маленькие
повести

СУДЬБА ШАРЛЯ ЛОНСЕВИЛЯ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Шарль Лонсевиль, инженер по литью пушек, был взят в плен во время отступления из Москвы наполеоновской армии. У Лонсевиля была отморожена нога. Старый мундир пропах гарью пожарищ, глаза слезились от блеска снегов.

Несколько раз за время жизни в России Лонсевиль упоминал, что был когда-то бонапартистом.

Он был благодарен Бонапарту, бросавшему его как незаметную частицу своей армии из Ломбардии в Моравию и из Пруссии в Россию.

Произнося слово «бонапартизм», Лонсевиль вспоминал вечера Венеции, каналы на окраинах, где артиллеристы купали лошадей, дубовые леса Германии, горячую кровь, капавшую в сырую траву, дым сражений, застилавший полевые дороги и реки...

В плену Лонсевиль понял, что прошлое убито окончательно и возврата к нему нет.

В 1810 году Лонсевиль встретил в почтовом дилижансе по пути в Гренобль высокую и тонкую женщину с живыми глазами. Ее сопровождал кавалерийский офицер в пыльном мундире и мягких сапогах, обшитых мехом. Была зима. Дилижанс поминутно застревал в грязи. Ночью ехать стало невозможно. Остановились в ближайшей деревне, где в кабачке нашлось чудесное вино. Офицер топил камин можжевельником и хвалил сырой ветер, дувший с Альп. Женщина дремала. Почти всю ночь офицер болтал с Лонсевилем. Потом Лонсевиль уснул и сквозь сон слы-

шал, как офицер сказал женщине суровым тоном наставника:

— Мой молодой друг, пределом глупости является желание повторить вчерашний день.

Утром Лонсевиль вспомнил во всех мелочах ночную болтовню, и она показалась ему блестящей и увлекательной. Расставаясь со своими спутниками, Лонсевиль узнал их имена Женщина оказалась молодой поэтессой Марией Трините. Имя офицера он забыл.

Год спустя Лонсевиль посетил Марию Трините в Париже. Она читала ему стихи о подорожнике и звоне колоколов над Луарой. Через три месяца девица Трините стала женой Лонсевиля. С ней он прожил всего две недели, потом начались походы.

Изредка он получал от нее письма и читал их в пыльных палатках. Жена писала о жестоком времени, одиночестве, вытоптанной солдатскими конями Европе. Лонсевиль улыбался — за тягостью походов он видел победы. Но они не пришли. Пришли разгром и плен.

Лонсевиль сначала жил в Калуге. Затем его отправили на пушечный завод в Петрозаводск.

Путь был уныл. У Лонсевиля осталась память о тусклых реках и молчаливых людях, глядевших на француза с покорностью и удивлением.

Приезд его в Петрозаводск совпал с посещением завода императором Александром. Царь медленно обошел закоптелые низкие мастерские. Он взял молот у кузнеца, три раза ударил по раскаленному стволу пушки и помахал в воздухе бледной рукой с длинными, будто искусственно оттянутыми, пальцами. Потом он вышел во двор, где у пруда толпой стояли рабочие, лениво вынул золотую монету и швырнул ее в пруд. Тотчас несколько рабочих бросились в воду в одежде, и один из них вынырнул с монетой в зубах.

— Молодец! — внятно сказал царь, вытирая руки мягким фуляром: на пальцы попали брызги прудовой тухлой воды.

— Рад стараться, ваше величество! — хрипло прокричал рабочий.

Лонсевиль смотрел на царя с отвращением и гневом. Так вот каков этот «брат», а потом соперник Бонапарта, метавшийся по своей стране, как мечется рыба с порванным плавательным пузырем!

ГЛАВА ВТОРАЯ

Вскоре после переезда в Петрозаводск Лонсевиль был вызван к начальнику завода, обер-берггауптману [1], англичанину Адаму Армстронгу.

Стояла осень. Черные реки — Неглинка и Лососинка — проносили через город желтые березовые листья и нагромождали их в пышные кучи около зеленых от гнили плотин.

Столбы тусклого пламени из доменных печей озаряли по ночам мертвый город, и в освещении этом он чудился Лонсевилю бредом. Зарево выхватывало из кромешной темноты куски незнакомой и угнетавшей Лонсевиля жизни: страшные усы будочника, поломанные мосты, мокрый нос пьяного, оравшего песню: «Не знаешь, мать, как сердцу больно, не знаешь горя ты мово», обрывки афишек, извещавших, что в знак посещения завода государем с рабочих будут отчислять по две копейки с заработанного рубля на сооружение церкви в слободе Голиковке.

Армстронг жил в губернаторском доме, построенном двумя полукружьями по обочинам площади, заросшей травой. Дом был благороден и прекрасен, как и все творения зодчего Растрелли.

Лонсевиль долго не мог припомнить, в каком городе он видел подобное здание. Потом вспомнил и улыбнулся. Конечно, в Веймаре, куда они входили июньским утром. Как можно забыть запах воды и лип и росу, падавшую с ветвей па сукно серых мундиров! Как можно забыть дым жаровен и золотую пену — ее приходилось с силой сдувать с тяжелых пивных кружек! Как можно забыть дом Гете, где в тишине, среди бальзаминов, рождались мысли, волновавшие лучшие умы Европы!

Воспоминание о Веймаре являлось, пожалуй, последней вспышкой детского бонапартизма. Портрет императора был потерян во время отступления, и новые мысли волновали Лонсевиля — мысли об удивительной стране, где он находился.

Армстронг принял Лонсевиля в темном кабинете, загроможденном, как старая кузница, образцами изделий завода — ядрами, кандалами, гирями и моделями пушек.

---

[1] Обер-берггауптман — высший чин инженера по горному делу в XVIII веке. (Здесь и далее подстрочные примечания принадлежат автору.)

Армстронг был толст и сумрачен. Губы его подергивались неопределенной усмешкой.

Разговор пришлось вести через старичка-переводчика, гувернера детей Армстронга,— англичанин плохо знал французский язык.

— Я докладывал императору о вас,— пролаял Армстронг, не глядя на Лонсевиля.— Его величество повелел оставить вас на заводе до окончания войны и, буде вы покажете старания и опыт в своем деле, заключить с вами контракт на работу в дальнейшем. Вы назначаетесь в литейную мастерскую помощником пушечного мастера Кларка.

— Я пленный,— горячо ответил Лонсевиль.— До окончания войны я принужден жить и работать здесь, но ничто в дальнейшем не заставит меня остаться в этой жестокой стране.

Армстронг поднял темные веки и тяжело взглянул на Лонсевиля. Тот невольно отвернулся. Все в этом англичанине — вплоть до припухлых век и редких бакенбард — казалось отлитым из чугуна. С чугунной усмешкой Армстронг порылся в ящике стола, вынул горсть мелких бляшек и разложил их перед собой.

— Последствия свободы, равенства и братства столь очевидны и отвратительны,— сказал он, перебирая бляшки,— что жестокость необходима. Вы — джентльмен, и я хочу говорить с вами свободно. Россию можно назвать страной не столь жестокой, сколь несчастной. Беззаконие господствует сверху донизу — от приближенных венценосца до последнего городничего. Вот небольшой тому пример: в разгар войны, когда ядра были нужнее хлеба, я получил приказ изготовлять в числе прочих вещей железные пуговицы с гербами всех губерний Российской империи.

Армстронг придвинул бляшки Лонсевилю. Рука его тяжело прошла по столу, точно он толкал стальную отливку.

Лонсевиль рассеянно взглянул на пуговицы с орлами, секирами и летящими на чугунных крылышках архистратигами и потер лоб,— разговор с англичанином раздражал его и вызывал утомление. Этим утром в литейном цехе он видел обнаженного до пояса старика рабочего, со спиной, исполосованной синими шрамами.

То были следы порки.

— Вы — британец. Вы — сын страны, кричащей на всех перекрестках об уважении к человеку,— Лонсевиль

взглянул на крутой лоб Армстронга,— как можете вы терпеть порку?

Армстронг встал, давая понять, что разговор, принявший острый характер, окончен.

— Мне нет дела до чужих законов,— промолвил он сухо.— Я думаю, что в армии Бонапарта тоже было принято хлестать плетьми лошадей, чтобы заставить работать, а не кормить их сахаром. Мой знаменитый предшественник, начальник завода, шотландский инженер и кавалер Гаскойн, потребовал у царского правительства полной независимости от русских властей. Только благодаря этому он создал завод и ввел самый удобный карронский способ литья чугуна [1] в воздушных печах.

Армстронг проводил Лонсевиля до дверей кабинета и пригласил в ближайшее воскресенье к себе на бал. Балы Армстронга славились по Олонецкому краю обилием еды, пышностью и скукой.

Лонсевиль вышел. Ветер с Онежского озера доносил запах мокрой сосновой коры. По черной озерной воде плавала мертвая карта северного звездного неба.

Только к рассвету, когда озеро покрылось редкими хлопьями чаек и рыбачьих парусов, Лонсевиль уснул. Тоска по Франции, по ветру с Альп мучила его в эту ночь с особой силой.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Гувернера детей Армстронга звали Филипп Бараль. Он был француз, родом из Эльзаса. Подружившись с Лонсевилем, старичок выболтал ему невеселую историю своей жизни.

В 1765 году его старший брат, негоциант, получил от императрицы Екатерины разрешение возвести на месте закрытого чугунолитейного завода в Петрозаводске, построенного еще при Петре, небольшую жестяную фабрику. Брат вызвал Филиппа из Эльзаса и поручил ему вести счетоводство. Фабрика изготовляла из сибирской руды жестяную посуду, серпы, наперстки и стальные кирасы.

Бараль с восхищением вспоминал парады кирасирских полков в Петербурге в новеньких баралевских кирасах.

[1] Карронский способ литья чугуна — плавка руды горячим воздухом. Впервые был введен на Карронском литейном заводе в Шотландии.

— Мы зажгли на этой холодной стали солнце Прованса! — кричал он пронзительно, как все глуховатые люди, и утирал остренький нос коричневым платком.

Через несколько лет фабрика пришла в упадок: русское правительство отказалось отпускать Баралю сибирскую руду. Бараль-старший вернулся во Францию, где был убит во время революции. Бараль-младший остался распродавать фабричное имущество. Связь с Францией была потеряна, и старик поступил конторщиком на Александровский завод. В то время его восстанавливали, и адмирал Грейг привез на завод из Шотландии множество инженеров, мастеров и художников во главе с кавалером Гаскойном.

Гаскойн умер несколько лет назад, но до сих пор Бараль с ужасом вспоминал этого «бесноватого англичанина». По его словам, Гаскойн был груб, жаден и нетерпим. Не было такого порока, которого бы старик не приписал Гаскойну. Он даже считал его виновником своей глухоты. Помилуйте, разве можно производить такие дикие пробы новых пушек, какие придумал Гаскойн?!

Пробы эти назывались «тягчайшим аглицким коронным испытанием». В пушку забивали порох, пыжи и пять ядер — последнее ядро торчало из дула — и стреляли, полагаясь на милосердие святой девы. Иные пушки разлетались в куски. Во время одного из взрывов погибло трое рабочих, а Бараль оглох на левое ухо. И во всем этом был виноват Гаскойн.

Лонсевиль заинтересовался Гаскойном. Имя его повторялось на заводе непрестанно.

Болтовне пустого и раздражительного гувернера Лонсевиль доверял очень мало, особенно после того, как узнал, что Бараль — роялист. Когда пришло известие о битве при Ватерлоо, в страшный день падения Бонапарта, Бараль устроил для себя праздник. Он надел шелковый камзол, кружевной галстук с вышитыми серебром королевскими лилиями и пошел гулять на набережную. Он постукивал палкой по мшистым валунам и размышлял о плеяде Людовиков, создавших из Франции рай для легкомысленных вельмож и прелестных женщин.

Если бы Лонсевиль не был артиллерийским инженером, он занялся бы составлением биографий замечательных людей. Любимой его книгой всегда оставался Плутарх.

Лонсевиль любил распутывать историю чужих существований, как клубок свалявшихся ниток. Он справедливо считал, что нет ни одной, даже самой ничтожной, человеческой жизни, где не отражалась бы эпоха, то блистательная, то грубая и жестокая, как империя Александра.

Склонность Лонсевиля к изучению биографий вызывала симпатии к нему среди окружающих. Следуя своему влечению, Лонсевиль любил беседовать с людьми различных общественных ступеней и молча выслушивать исповеди, давая каждому право считать себя его мимолетным другом и наперсником. В свободные часы Лонсевиль думал над всем услышанным, и лицо его приобретало холодное и острое выражение. Он совсем не был так человеколюбив без разбора, как то могло показаться на первый взгляд.

На Александровском заводе из трех занимавших его людей — Гаскойна, квартирного хозяина, литейщика Мартынова, и чернорабочего, старика Костыля,— Лонсевилю удалось узнать кое-что лишь о Гаскойне и Мартынове. От Костыля Лонсевиль ничего не мог добиться.

На лбу и щеках у Костыля были выжжены три буквы: В, О и З. В ответ на расспросы Лонсевиля Костыль поглядывал испуганно и дико.

Мартынов же побаивался посвятить Лонсевиля в тайну Костыля, мало пока доверяя французскому офицеру.

Гаскойн оказался совсем не таким, каким он чудился жалкому гувернеру. Этот спокойный светлоглазый шотландец был по натуре реформатором и воротилой-дельцом. Он создал на развалинах Петровского завода лучший пушечный завод в России, названный Александровским. Он ввел карронский способ литья в воздушных печах и начал работать на английском угле.

Он добился больших прав и не терпел ни малейшего вмешательства в дела завода. Он холодно третировал немудрых олонецких губернаторов и окружил себя армией соотечественников — англичан. Он потребовал для себя две тысячи пятьсот фунтов стерлингов в год и крупной доли из прибылей завода. Берг-коллегия[1] согласилась. Гаскойн стал неограниченным правителем завода и почти всего Олонецкого края.

Доходы завода росли с неслыханной быстротой. Это

---

[1] Берг-коллегия — ведомство, управлявшее горной промышленностью в XVIII веке; была учреждена Петром I.

объяснялось просто. Гаскойн ввел много новых производств, а рабочим платил нищенские деньги — от двадцати пяти до ста рублей в год.

Бараль подарил Лонсевилю отлитый из чугуна тончайшей работы барельеф — «Тайную вечерю» Леонардо да Винчи. Литье это было исполнено по распоряжению Гаскойна. Лонсевиль повесил барельеф над койкой. Разглядывая его, он вспоминал фрески итальянских церквей, как бы просвечивавшие через мутную воду.

Лонсевиль всегда чувствовал склонность к архитектуре и считал, что единственное свойство, достойное уважения в «бесноватом англичанине»,— его любовь к литью барельефов, бюстов, балюстрад и садовых решеток.

Но Гаскойн относился к художественному литью как к забаве и отдыху. Он начал изготовлять на Александровском заводе земледельческие и прядильные машины и отлил огненную (паровую) машину для Воицкого золотого рудника. Это было настоящее дело, достойное английского инженера. Серьезные работы задерживались из-за пустяков: от Гаскойна требовали отливки садовых скамеек, перил для петербургских дворцов и бронзовых ваз для дворцовых парков.

Гаскойн пожимал плечами, соглашался: «Ну что ж, рабская страна взамен машин требует украшений — будем ее украшать!»

То было время, когда великие зодчие — Растрелли, Кваренги, Камерон и Воронихин — создавали каменный величественный ансамбль императорской России. Его густо обкуривал нищий дым деревень. Порфир блестел над Невой, как бы омытый слезами безвестных строителей. Россия боязливо кряхтела, скрывая под отрепьями сизые рубцы от плетей. Блистательные фейерверки взлетали над навозом крепостных погостов, и огненный вензель императрицы — громадная буква *Е* — высовывал насмешливый язык в ответ на проклятья.

Гаскойн добросовестно отливал цветочные вазы, дельфинов и нимф, бюсты Павла с вздернутыми ноздрями и кандалы для каторжан. Вазы принимались по внешнему виду, кандалы — по звону. Лучшими считали те, что звенели от малейшего прикосновения.

Но главной работой была отливка морских пушек, лафетов, бомб, гранат и брандкугелей. Принимать их приезжали чины адмиралтейства — очень схожие друг с другом

красноносые старички, пившие в изобилии наливки и нечистые на руку.

Пушки принимали на глаз, грузили на баржи-галиоты и отправляли в Кронштадт.

Незадолго до смерти Гаскойн был назначен директором Кронштадтского и Луганского пушечных заводов. Он приобрел облик русского вельможи: стал ленив, тяжеловат, грубо шутил, толкал палкой в затылок ямщиков и ходил по заводу в халате.

Воспоминания о туманной Шотландии, о танцах под звуки волынки, песнях Оссиана и реках, полных форели, приходили к Гаскойну все реже. Только по старой привычке он изредка вздыхал и приговаривал:

— Чу́дно живется в веселом городке Эдинбурге!

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Лонсевиль не любил англичан и всего английского. Завод работал на английской глине и английском угле. Только руда шла местная, озерная, но в ней было столько воды, что в доменных печах постоянно случались взрывы.

Лонсевиль решил заменить английскую глину олонецкой. Говорили, что на южном берегу озера, около Вытегры, есть превосходная глина, годная для литейного дела. Лонсевиль получил разрешение от Армстронга поехать в Вытегру. Он взял с собой Мартынова и четырех чиновников заводской конторы.

Три дня они плыли по свинцовому озеру. Изредка оно серебрилось от ряби. Стояло бабье лето. Лонсевиль читал Плутарха и Руссо и беседовал с Мартыновым, коверкая русские слова. Чиновники пили водку. Они условились пить, не произнося самого слова «водка». Каждое утро начинался один и тот же разговор.

— Не плохо бы, а? — спрашивал один из чиновников.

— Да, не вредно бы,— отзывался другой.

— Пожалуй, стоит, как полагаешь?

— Так в чем дело? Я сбегаю в каюту и принесу.

Днем чиновники, напившись, спали на палубе и храпели так, что Лонсевиль не находил себе места. Матросы пинали их сапогами и грозили выбросить в воду. Матросы были раскольники из «поморского согласия» и не погребляли ни водки, ни табаку.

Шкипер, тощий мужик с ястребиными глазами, тяжело икал и хватался за низ живота. Он рассказал Лонсевилю, что у него «вывалилась кишка», и случилось это все из-за того же «подлого англичанина» Гаскойна. Гаскойн отлил несколько икон из чугуна весом по пяти пудов. Шкипер пытался один поднять такую икону во время крестного хода, но в животе лопнула таинственная «жила» и «хряснул мосолок».

На корабле Лонсевиль написал письмо Марии Трините:

«Дорогой друг, я не решаюсь просить вас приехать сюда хотя бы на месяц. Разрешение вы могли бы получить у русского посланника в Париже, но дорога утомительна и угрюма. Я не хочу подвергать ваше воображение столь тяжким испытаниям.

До сих пор я живу подобно пленному и знаю, что отсюда меня не выпустят. Начальник завода англичанин Армстронг в ответ на мою просьбу отпустить меня во Францию рассказал много интересных подробностей о Шлиссельбургской тюрьме, находящейся невдалеке отсюда. Туда царь заточает людей на всю жизнь, и имена их раньше смерти заносятся в списки мертвых.

Я устал. Я часто болею лихорадкой.

Любовь моя к вам прошла ряд тяжких испытаний в ошибках, сражениях и одиночестве. Я берегу ее как последнее ощущение юности. Прошло два года, но я не имею никаких известий от вас».

В Вытегре остановились в подворье женского монастыря. Пахло кислым хлебом и болиголовом. На горах белели церкви и березы. У плотин шумела зеленая вода. Монахини-белички с черным флером, свисавшим до пят, семенили по дорожкам и опускали перед Лонсевилем глаза. Их пухлые щеки покрывала больная монастырская бледность.

В Вытегре Лонсевиль купался вместе с чиновниками и Мартыновым. Когда чиновники разделись, Лонсевиль вздрогнул от отвращения: на их ягодицах синели тонкие злые шрамы.

— Неужто в России бьют плетьми даже чиновников? — спросил Лонсевиль Мартынова.

— Да ведь они заводские чиновники, сироты,— ответил Мартынов равнодушно.— К нам на завод привозят сирот из Рязани и Тулы, учат счету и письму, потом они и служат здесь до самой смерти. У нас почитай вся контора из сирот. Их, конечно, порют: они не дворяне.

В нескольких верстах от Вытегры Лонсевиль нашел глину. Чиновники были оставлены для добычи глины и отправки ее на завод. Лонсевиль же с Мартыновым выехали обратно в Петрозаводск.

Опять на озере стояло безветрие, и солнце погружалось в серый пепел туч. Лонсевиля трепала жестокая лихорадка. Мартынов сидел рядом с Лонсевилем и вполголоса рассказывал о своей жизни.

— Меня тоже секли, ваше высокородие. Дали мне пятьдесят ударов. Год хворал, все нутро рудой запеклось. Пороли меня за нашего деревенского попа. Пьяница-поп, охальник-поп всю деревню держал в трепете.

Работал я в тогдашнее время на заводе шйшельником[1]. Сталь мы делали знаменитую, даже в Англию ее отсылали. При царице Екатерине приезжали за этой сталью аглицкие морские офицеры. Солидные, бело-русые, в синих тонких камзолах, при серебряных шпагах.

Работали мы круглый год без отдыха. Только на рождество да на пасху давали нам на неделю выход. Платили, милок, плохо, как и сейчас платят. Мне назначили сорок рублей серебром в год да на малых ребят по двадцать рублей в год,— у меня их двое. Считай, восемьдесят рублей.

Повиновение у нас на заводе военное. Шагнул не так — получай вычет. Аккуратно надо было себя держать. Особливо с аглицкими мастерами. Вы — человек французского звания, доходчивый к простому народу,— вам не обидно такие слова слышать.

Приехал я как-то на пасху и слышу — поп похваляется по деревне, что женку мою себе забрал. Встретил я его пьяного и плюнул в рыжее рыло. Он — в кулаки. Я, как замечаете, был парень крепкий. Пришлось попу плохо.

Взяли меня в наручники, привезли на завод, судили. И вышла во время суда такая история, ваше высокородие, что почитай по всей Руси другой такой не было.

Суд у нас помещался в губернаторском доме,— сгорел теперь тот дом,— а рядом через прихожую жил и сам губернатор, его превосходительство господин Державин. Гимны писал, но человек был тихий. Завел он себе медвежонка по имени Яша.

---

[1] Шйшельник — рабочий, изготовляющий из глины формы для литья.

Судят меня. Поговорили то да се. Поп на суде сидит трезвый и кроткий, как овца, только волос рыжий злым огнем горит. Начали читать приговор, и вдруг — шасть — медвежонок в присутственный зал вкатился, прямо к столу. Схватил лапами красное сукно и со всеми делами, и стаканами, и колокольчиками, и чернильницами — грох на пол. Зачал рвать на мелкие части. Рычит. Зерцало разбил. Писарю руку окровенил. Едва солдаты Яшу поймали.

Судьи объявили: поелику зерцало разбито неосмысленным зверем, приговор силу теряет, и надо, мол, судить сызнова, а на господина Державина послать жалобу в Санкт-Петербург.

Пошло дело в сенат, потом к самой императрице, и повелела она дать мне безо всякого суда пятьдесят плетей, а медвежонка того убить.

Однако отсидел я в остроге, дожидаясь царской милости, лишний годок. Да до суда отсидел год пять месяцев. Вот и сочтите, ваше высокородие, сколько выйдет. Ежели правду сказать, то доля моя счастливая. Иные прочие, дожидаясь суда, по десять лет гниют в цепях да в царских ямах. Ко времени суда никакой вины не остается. Вся вина в воздух уходит, и остаются от человека одни вши да смрад.

Рассвет зеленел над туманным озером. На далеком берегу горели костры. Над ними переливалась блеском ключевой воды утренняя звезда Венера.

— Судьбина наша чугунная, а сами мы царские да барские,— промолвил Мартынов.— И вам назначено царской волей помереть на Александровском заводе.

Лонсевиль глухо застопал. Ему приснился фрегат, быстро резавший мутные волны.

В каюте капитана блестел лакированный ларец. В нем лежал пакет — письмо от Марии.

— Зачем вы отправили письмо морем? — спросил Лонсевиль и открыл глаза.

— А-а-ай, а-а-ай! — кричали над ним испуганные чайки. На лбу выступила обильная испарина.

Мартынов отошел на цыпочках и сел покурить у борта.

Озеро уже шумело. Начиналась предрассветная качка.

— Судьбина наша чугунная,— пробормотал Мартынов,— и конца ей никак не сыщешь. Вот, милок француз, ваше высокородие, какие наши дела.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Балы у Армстронга поражали Лонсевиля не меньше, чем порка. То были длинные и вялые балы, где надоевшие друг другу люди приправляли провинциальную скуку жареной медвежатиной и острой сплетней. Балы устраивались по любому поводу. На этот раз балом было ознаменовано открытие на заводе мастерских для сверления пушечных жерл по английскому способу.

В официальной переписке новые мастерские назывались «свиреленными», рабочие же звали их попросту «свирельными». Четыре исполинских сверла, вращаемых водой, медленно врезались в пушечные стволы. Работа в «свирельных» мастерских почиталась самой тяжелой Было трудно почти на глаз, без точных приборов, определить середину ствола и просверлить его до назначенного предела.

В день пуска мастерских на Абрамовском мосту по нащению городничего устроили кулачный бой. Голиковка вышла стенкой на Гористую улицу. Рабочие дрались с купеческими молодцами.

Дым слоился над крышами, закрывая угрюмое солнце.

Посмотреть на бой пришли даже англичане. Русские способы праздновать технические победы казались им занимательными. Но бой начался вяло и разгорелся лишь к темноте, когда гости не могли видеть крови, разъедавшей красными проталинами истоптанный снег.

Победили купеческие молодцы. Рабочие дрались неохотно, лишь бы не ссориться с начальством, пожелавшим отпраздновать пуск новых машин крупным «кулачным делом».

Лонсевиль подошел близко и видел кровь. Он видел сизое от сокрушительных ударов лицо молотобойца Степана, слышал, как выл, катаясь по снегу, десятилетний мальчишка. Мартынов, пытаясь успокоить Лонсевиля, объяснял, что мальчишку нечаянно ударили «под душу», мучиться он будет недолго и вскорости отойдет.

На бал Лонсевиль приехал бледный от неизлитого раздражения.

Чиновники губернских учреждений совместно с женами ставили любительский спектакль. Шла опера под названием «Олонецкая русалка».

То была грубая пародия на «Энеиду», сплошная дичь, усилившая раздражение Лонсевиля. Карфагенские министры пили романеечку, а Дидона плясала «барыню», помахивая платочком. При этом она визгливо пела:

В нашем зеленом саду
Девка рвала лебеду.
Она рвала,
В фартук клала,
Приговаривала.

Припев подхватывали все карфагенские министры:

Кому тошно по нам,
Тот пускай придет сам.
Кому хочется,
Тот сволочится.

Зрители искренне хлопали в ладоши, но после спектакля Лонсевиль слышал, как седовласый толстяк, держа за пуговицу губернера Бараля, громко возмущался, называя оперу якобинской.

— Что означает сия пьеска? — Старик задыхался и поводил желтыми глазами, будто ожидая сочувствия от потемневших портретов. Лицо его вздрагивало при каждом треске нагоравших свечей.— Министры возносятся друг перед другом своей сонливостью и выражаются самыми подлыми речами, как они спокойно почивают при воплях подданных. Не есть ли это самая колкая критика на министерства?

Лонсевиль отошел. Казалось, скука воплотилась в чад свечей и мерцание грубой позолоты приземистых и жарких зал. Декабрьская ночь черным камнем давила на сердце.

«Опять лихорадка»,— подумал Лонсевиль и вытер лоб холодным белоснежным платком.

Но испарина не проходила.

— Где я? — спросил Лонсевиль почти вслух. По привычке одиноких людей он часто говорил сам с собой.— Откуда столько пьяных англичан и русских? Какая тяжелая ночь! Как болит голова от дыма канделябров и сладкой вони жареных уток! Сейчас я должен уйти.

Он оглянулся на залы, откуда доносило тошный запах пачулей.

— Ах, не то, не то! — поморщился Лонсевиль и пошел к выходу.

Кровь! Он видел ее очень много в боях, еще во время революции. То была чистая артериальная кровь. На политой ею земле, как говорила ему мать, расцветают гвоздики. То была кровь борьбы, кровь изорванных в клочья, но победоносных армий санкюлотов, кровь марсельезы, высыхающая мгновенно от палящих пожаров. Наконец, то была благородная кровь мщения. А здесь? Здесь он видел густую венозную кровь унижений, порок, драк в угоду начальству.

А балы? Как еще памятны балы Гренобля, где девушки прикалывали к корсажам букеты полевых ромашек, а легкое вино, выпитое за счастье товарищей, напоминало по цвету солнечный день.

У выхода Лонсевиля задержал секретарь Армстронга Юрий Ларин. С живостью двадцатилетнего юноши он взял Лонсевиля под руку и мягко, но сильно повел обратно к столу, болтая без умолку. Ларин говорил шепотом, глаза его блестели.

— Ну, какова пьеса? Это наше общее сочинение, наша посильная сатира на министерства. Не правда ли, забавно? Великая революция владеет умами и находит отклик даже в таких медвежьих углах, как наш завод.

Лицо Лонсевиля покрылось бледностью. Они подошли к столу, где, погромыхивая креслами, рассаживалась к ужину петрозаводская знать.

— Сударь,— сказал Лонсевиль,— вы позволяете себе оскорблять великую революцию моей родины, считая жалкую эту пьеску детищем революционных идей. Вы не знаете революции. Ее дыхание кроваво и беспощадно. Я благодарен небу за то, что был ее участником и очевидцем. Вы, полагающие себя чуть ли не монтаньярами, знаете ли вы, что в новых английских машинах, пущенных сегодня на заводе, в тысячу крат больше революционного пороху, чем в десятке таких глуповатых спектаклей?

Лонсевиль сознавал, что мысли его не совсем ясны от начинавшейся лихорадки. Во время горячечных припадков он начинал плохо видеть и слышать. Иначе он заметил бы тяжелую и грозную тишину, воцарившуюся в зале. Иначе он увидел бы рядом с собой голубую ленту губернаторского мундира и шелковый камзол гувернера Бараля.

— Чем вы ознаменовали начало работ новых машин? — продолжал Лонсевиль.— Кулачным боем и балом, где лишь глупость и жирная пища вызывают веселье гостей. Сегод-

ня я узнал, что в здешнем суде лежит три тысячи нерассмотренных дел. Остроги переполнены. На заводе секут плетьми рабочих. Все это требует жесточайшего конца.

Лонсевиль остановился, пытаясь собрать разбегавшиеся мысли. Треск свечей походил на отдаленную ружейную пальбу.

— Если вы располагаете временем и охотой,— Лонсевиль слегка поклонился Ларину,— я готов в свободное время подробно посвятить вас в ход революции. Тогда вы поймете ее истинные задачи и способы осуществления.

Лонсевиль вышел. Губернатор взглядом подозвал адьютанта и промолвил, почти не шевеля губами:

— Надлежит немедленно поставить в известность канцелярию его величества.

Звон шпор подтвердил, что приказ услышан и будет исполнен.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

В конце зимы на завод приехал принимать пушки величественный генерал Ламсдорф.

Мартынов рассказал Лонсевилю, что этот генерал, будучи еще молоденьким офицером, участвовал в подавлении восстания крестьян, приписанных к Александровскому заводу.

Восстание? Это слово звучало неправдоподобно. Полно, не горячечный ли это сон олонецких пустошей?

Неверие Лонсевиля раздосадовало Мартынова. Он посвятил француза в историю мятежа, длившегося три года.

Народное возмущение! Что может быть благодарнее этой темы для исследователя, каким был по натуре Лонсевиль?

С некоторых пор Лонсевиль переживал странное ощущение времени — оно как бы ускорило свой бег. Эпохи сменяли друг друга, подобно картинам, освещенным короткими вспышками молний. Будущее, порожденное прошедшим, надвигалось с неясным гулом, а прошедшее таяло безвозвратно.

Лонсевиль решил записывать, хотя бы наспех, все, что касалось переплетения эпох, на переломе которых ему суждено было жить.

Первый толчок к записям дала встреча Ламсдорфа с Костылем.

На пробе пушек присутствовало все заводское начальство. Падал пухлый и теплый мартовский снег. Он был настолько непрочен, что от самого ничтожного звука — от удара кувалды по наковальне и великопостного звона колоколов — слетал с деревьев и падал хлопьями на серые плащи офицеров. Костыль был приставлен сметать снег с бронзовых орудийных стволов. Вензель императора Александра блестел на них самоварной медью.

Ламсдорф пристально взглянул на Костыля и сделал знак, чтобы тот подошел.

Генеральские баки и глаза ничем не отличались от цвета пасмурного неба. Костыль понуро стоял перед Ламсдорфом и смотрел на острые носки генеральских сапог. По привычке ему хотелось нагнуться и смахнуть пыль с черного лака.

Ламсдорф шагнул к Костылю, величественным жестом выпростал руку из-под плаща — золотое шитье мундира тускло блеснуло в глаза окружающим — и сдернул с Костыля шапку. Армстронг поморщился: он ждал грубой вспышки генеральского гнева на непочтительного холопа. Но Ламсдорф улыбнулся сухими губами и спросил:

— Меня знаешь?

— Как не знать, знаю.— Костыль поглядел на шапку: генерал бросил ее в снег около орудий.

— Вот, государи мои,— Ламсдорф положил на голову Костыля тяжелую руку в кожаной перчатке,— вот пример подлинного монаршего благоволения к заблудшим подданным. Глядите сюда.

Ламсдорф взял Костыля за волосы, откинул его голову и медленно обвел пальцами шрамы на его щеках и лбу — клейма В, О и З.

— Сии знаки выжжены по приговору императорского сената.

Он поворачивал голову Костыля решительно и умело, точно показывал собравшимся ручного зверя. Костыль и вправду стал похож на ярмарочного медведя. Он топтался, глядя в снег, и багровая кровь неторопливо растекалась от его шеи к ушам.

— В Кижах был?

— Так точно, был,— тихо ответил Костыль.

— Климку Соболева помнишь?

— Запамятовал, ваша светлость.

— То-то, запамятовал!

Ламсдорф, забыв о том, что рука его крепко дежит Костыля за взъерошенные волосы, взглянул на почтительную толпу, окружавшую его, и медленно заговорил:

— Вот один из девяти тысяч мятежников, возмутившихся против императрицы Екатерины. Приписные к вашему заводу холопы, пользуясь дикостью окрестных лесов и отсутствием гарнизона, безнаказанно буйствовали три года, остановили завод и лишили государство оружия, потребного для войны с турками. Роте Зюдерманландского полка, в коем я служил в то время в малом чине, посчастливилось окружить мятежников в погосте Кижи и принудить к покорности орудийной пальбой. История сия поучительна. О ней надлежало бы рассказывать более пространно вечерком за фараоном и бутылкой рейнвейна.

Армстронг хмуро поклонился, выражая согласие на вечер с фараоном и бутылкой рейнвейна.

Ламсдорф вспомнил, что держит Костыля за волосы, оттолкнул его и отряхнул перчатки.

Торжественный и прямой, он двинулся вперед под унылый перезвон колоколов и шепот инженеров, поспешавших сзади.

Громыхнула первая пушка — началась проба. Солдаты стояли у лафетов, не смея шелохнуться. Талый снег щекотал их лица, капал с носов и стекал по рыжим усам на мокрые мундиры.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

О приписных крестьянах Лопсевиль занес в свою тетрадь все, что удалось узнать от Мартынова.

При Петре I к заводу приписали крестьян Вытегрской, Белозерской, Олонецкой и Петрозаводской вотчин. Приписка означала худший вид рабства. Только лопарей, признанных царским правительством ни к чему не годными людишками, освободили от приписки. За это с них драли неслыханные налоги и взятки.

Приписные вместо подушной подати должны были работать на заводе. Расценка для них была в четыре раза меньше, чем для вольных.

Отработка подати требовала непосильного напряжения. Никто из приписных толком не знал расценок. Они менялись с хитрым расчетом, чтобы заставить крестьян ра-

ботать круглый год, даже в горячую пору пахоты и жатвы.

Приписной получал примерно пять копеек в день. За этот пятак надо было пропитаться самому и задать корм коню.

Приписные возили лес, выжигали уголь, добывали руду, клали заводские здания и плотины, мяли глину и жгли известь.

Зачастую приписных гнали на завод за триста — четыреста верст для работы на два дня. Измываться над приписными вошло в обычай. Этим занимались все — от начальника завода до последнего рыластого писца.

Жалоб не слушали. В ответ на жалобы поминали первого начальника завода голландца Генина[1], поровшего приписных, и грозили цепями и каторгой.

Зипунное горе настаивалось крепко, подобно кислому хлебу. От приписных за версту несло тоской и беспомощностью. Лошаденки их ходили в кровавых подтеках.

Жить было обидно и подло. И день и ночь над головой свистели батоги. И день и ночь — тоска бесконечных обозов с мокрыми бревнами, урчащие от голода животы, окрики. В 1769 году приписные восстали.

«Память моя ослабевает,— писал Лонсевиль в своей тетради. Метель свирепела над озером и выла в холодных боровах. Этот заунывный звук напоминал ему отдаленные сигналы трубачей к атаке.— Я в упор смотрю в глаза истории и замечаю, как быстро иссякает время великих общих дел. Вопреки этому даже здесь, в России, я переживаю одушевление, присущее смелым и свободным мыслям. Такое состояние напоминает предчувствие далекого рассвета, неизбежного и в этой стране.

Россия имеет свои способы возмущения, называемые бунтами. Примечательно, что поводом для бунтов весьма часто являются подлинные или подложные царские указы.

[1] Генин в числе других иностранных инженеров и техников поступил на русскую службу при Петре I, был назначен начальником олонецких заводов, способствовал там большим техническим достижениям. Впоследствии был назначен Петром I начальником всех уральских заводов. Построил город Екатеринбург (ныне Свердловск).

Пятьдесят лет назад императрица Екатерина подписала указ об увеличении подушной подати с крестьян на один рубль. Слух об этом с непостижимой быстротой дошел до деревень — раньше, чем фельдъегеря прискакали с указом в губернские города, и вызвал бунт, длившийся несколько лет.

Я убедился, что Россия живет ожиданием чуда. О чуде гнусаво бормочут монахини, оплакивая мертвых. О чуде возглашают в церквах спившиеся певчие. Чудо предсказывают нищие, чья одежда блестит от лампадного масла,— их здесь почитают святыми и называют странниками. Наконец, о чудесных капризах царей любят рассказывать старые солдаты, облысевшие от тяжелых париков.

Иногда я ловлю себя на глупой мысли, что действительно только чудо может спасти этих крестьян, скребущих липкую глину полей и хлебающих щи, столь же соленые, как слезы. Наивная вера в милосердие царя до сих пор существует в народе.

В России, так же как и всюду, царская воля получает осуществление в указах, написанных языком торжественным и непонятным.

Указов ждут, но, когда они появляются, их почти никто не читает — нет грамотных людей. Немногочисленным чтецам верят на слово и толкуют указы так, как желательно каждому.

Когда был издан указ 1769 года, приписные решили, что царица отменила приписку и взамен работы на Александровском заводе можно вносить в государственное казначейство по семьдесят копеек с души.

Заводское начальство объявило, что царица отнюдь не отменяла приписку и, наоборот, впредь придется отрабатывать вдвое больше. Приписные этому не поверили. Впрочем, возможно, что и поверили, но прикинулись дурачками и упорно толковали указ по-своему.

Приписной Емельян Каллистратов поехал по вотчинам. Он собирал приписных и призывал их не выходить на работу.

Мартынов знавал Каллистратова. Насколько я понял его боязливый рассказ о восстании, Каллистратов был угрюмый и насмешливый мужик. Но он, как и многие в те времена, верил, что в золоченых залах дворца живет, подобно райской птице, нетленная и прекрасная правда, и только министры не дают ей дойти до народа.

На сходах Каллистратов кричал короткие и взволнованные речи. Он называл вельмож захребетниками (людьми, живущими на чужой шее), ругал приписных за робость последними словами и требовал отправки выборных людей в столицу.

Я не могу отказаться от искушения записать речь Каллистратова совершенно так, как передавал ее мне Мартынов:

«Работу кидай! Ни единого коня не ставить, ни единого бревна, ни единой меры руды! Правду спрятали от нас захребетники, как золотое колечко в навоз. Правду надо достать. Царица живет за семью дверьми. Министры и гвардия вокруг нее стенкой стоят. Стенку надо сломать, поднести челобитную,— пусть льется горе мужицкое к царским ногам. Гляди, какие мы. Гляди, чего с нами делают, с верноподданными, с людьми в державе твоей, богом хранимой. Обману положим конец! Правду взыщем. Министрам тем вырвут языки, сгноят их в Пелымских острогах [1]. За что сгноят, пытаешь? За бездолье твое, за раннюю твою смерть, вот за что. Терпежом всю жизнь жили, теперь от терпежа одни крохи остались».

По приписным вотчинам стоял гул. Гудел весь полуостров Заонежье, где начался бунт. Кричали люди, гудели набаты, сзывая крестьян на сходы, плакали от радости женщины. Работы на заводе остановились. Заводское начальство растерялось. Каллистратов с прошением за пазухой уехал в Петербург.

Он присылал оттуда короткие и радостные письма. Он ждал приема у царицы и требовал присылки в Петербург ста выборных крестьян, чтобы вместе с ними подать жалобу Екатерине.

«Чем боле будет нас, мужиков,— писал он,— тем боле горе мужицкое встрянет в глаза царице».

(Смысл слова «встрянет» мне никто не мог объяснить. Остается предположить, что это слово соответствует словам «вонзится», «вопьется» или хотя и имеет иное значение, но близко к указанным выше.)

Вскоре письма прекратились. По Заонежью прошел слух, что Каллистратова заковали в цепи и бросили в страшные подвалы Петропавловской крепости.

---

[1] Пелым — город в Западной Сибири, к северу от Тобольска; место ссылки в XVIII веке.

Слух скоро подтвердился. Подтвердил его сам Каллистратов, выпущенный из заключения.

Он приехал худой и пристыженный. Он снова созывал приписных и говорил, что из столицы едет чрезвычайная комиссия, назначенная царицей, и комиссия эта найдет наконец настоящую правду. Но Каллистратова слушали плохо. Воздух освобождения проветрил головы.

В деревне Кондопоге молодой парень крикнул Каллистратову дерзкие слова:

— Хорошо поет твоя царица, райская птица, только здорово гадит на голову. Что ж не показываешь языки, у министров отрезанные?

Каллистратов погрозил ему кулаком. Приписные зароптали:

— Ты не грози. «Мы «кулаченные и перекулаченные». (Эти слова Лонсевиль написал по-русски.) Ты правду про царицу скажи. Много вас, царских угодников!

В июле 1770 года на Александровский завод действительно приехала чрезвычайная следственная комиссия.

По вотчинам разослали гонцов с приказом всем приписным выбрать старост и прислать на завод.

Тогда выступил новый главарь восстания, приписной Клим Соболев.

Он занимал Лонсевиля гораздо больше, чем угрюмый и неуравновешенный Каллистратов.

По словам Мартынова и Костыля, Соболев был весельчак и балагур. Он хорошо знал грамоту. Он составил от имени приписных заявление обо всех беззакониях и подал его председателю комиссии — беззубому и пышному вельможе, распространявшему сладкий запах ландышевых капель.

В заявлении в числе прочих обид было указано, что за последние сорок лет заводское начальство незаконно взыскало с приписных пятьсот тысяч рублей якобы неотработанных денег.

Это же подтвердили все старосты. Они излагали свои жалобы неясно и торопливо. Они стояли перед столом комиссии, как перед церковным аналоем, и дурели от могильного запаха ландышевых капель. Вельможа слушал, закрыв глаза. Когда он открывал их, что означало нежелание слушать дальше, секретарь обрывал допрашиваемого

и вызывал следующего. Вельможа зевал и говорил добродушно:

— О-хо-хо! Сие совершенно верно, но польза государственная двулика, как бог Янус. Токмо таковым соображением надлежит комиссии руководствоваться. Понятно вам, государи мои?

Члены комиссии наклоняли головы в белоснежных столичных париках.

Опросив старост, комиссия уехала. Сенат, приславший комиссию, был обескуражен ее работой: вместо крутых мер беззубый вельможа — председатель комиссии — ограничился сонным докладом. Тогда на завод был послан генерал Лыкошин. Он, ознакомившись с делом, вызвал войска. Пока рота солдат и артиллерия под командой подпоручика Ламсдорфа двигалась к заводу, приписные по-прежнему не выходили на работу — ждали вестей из столицы.

Настало затишье, какое часто бывает в разгар народных волнений.

«Дальнейший ход событий не совсем ясен,— записал Лонсевиль.— Следует расспросить о нем не только Мартынова и Костыля, но и Ларина — в его руках находятся все документы, имеющие касательство к восстанию.

Отныне я пишу не биографию великого человека, как предполагал ранее, но биографию крестьянского возмущения».

На этом запись Лонсевиля обрывалась. Дальнейшие события не дали ему возможности закончить начатую работу по изучению мятежа приписных крестьян.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Вечеринки у Юрия Ларина носили иногда таинственный характер. Собирались молодые чиновники губернских учреждений. Они играли в фараон, пели песни, пили водку и под шумок вели вольнодумные разговоры. Сборища эти получили наименование «парижского парламента».

Лонсевиль несколько раз бывал у Ларина, стремясь изучить русские нравы и получить новые сведения о Климе Соболеве и конце крестьянского восстапия.

Особенно памятным для Лонсевиля был последний вечер, совпавший с приездом Ламсдорфа.

С утра шел снег, падавший густо и совершенно отвесно. В зимнем пейзаже господствовали две краски — серая и белая. Белой была земля, а серым и темным — небо. Поэтому свет, вопреки обычным законам, падал не с неба, а подымался с земли, что придавало редкую причудливость садам, превращенным инеем в гигантские кружевные видения, городу и лицам людей, освещенным снизу.

У Ларина пахло угаром, дымили шандалы, и собравшиеся молодые люди пели излюбленную песенку «парижского парламента»:

Наше вечное согласье
Нам подаст веселы дни.
Насадим народам счастье
Мира сладкого в тени.

На этот раз среди чиновников сидел грузный старик с бегающими глазами вора и льстивым голосом.

Он тер ноги, обутые в меховые сапоги, и охал.

— Вот осколок екатерининского века, бывший полковник Тарновский.— Ларин подвел Лонсевиля к старику.— Очевидец многих событий, вас интересующих. При императоре Павле он был сослан к нам на завод писарем, но до сих пор не получил помилования. Отсюда вы можете судить, как жестоки наши российские законы и как беспощадна Тайная экспедиция.

— За что вы сосланы? — спросил Лонсевиль.

«Явный мошенник»,— подумал он про себя и пожал плечами: неразборчивость Ларина начинала его удивлять.

— Я без водки рассказывать не согласен! — прокричал старец сипло и весело.

Лонсевиль пристально смотрел на Тарновского.

Фамилия эта всплывала в глубине памяти. Она была связана с чем-то давно забытым, от нее осталось одно только ощущение противности и смрада.

Наконец Лонсевиль вспомнил — да, эту фамилию он слышал в городе Кале, где сооружал помосты для погрузки пушек на корабли. Там ему рассказывали об английской авантюристке герцогине Кингстон, жившей в Кале, и об управителе ее имениями и водочными заводами в Рос-

сии полковнике Тарновском. Так вот кто сидел перед ним! Беседа обещала быть занимательной.

— Кстати,— промолвил Ларин,— вы осведомлялись о значении букв В, О и З, выжженных на лице у Костыля? Они составляют слово «Возмутитель».

— Это что! Холопам жгут лбы за дело,— пробормотал Тарновский.— А вот у герцогини Кингстон выжгли позорное клеймо на левой руке за двоемужество, и с тех пор она не могла носить бальных туалетов. То холоп, а то герцогиня несравненной красоты. Разницу постигаете?

Лонсевиль промолчал.

— Юрий Петрович сообщил мне, что вы, будучи историком, интересуетесь бунтом здешних холопов.— Тарновский икнул.— Ну что ж, история — вещь почтенная, хотя и малосовместимая со званием инженера. История — это я.— Старик ударил себя в грудь. Он заметно пьянел.— Я был управителем богатейшей женщины в Европе, затмившей блеском своих брильянтов императриц. Я привел из Лондона в Петербург корабль с картинами, подаренными матушке Екатерине герцогиней Кингстон. Целый фрегат, батенька, одних Рембрандтов. Мы пили чай на ящиках с творениями Рафаэля. Это надо понимать! В этом есть проявление широкой русской натуры!

Когда леди Кингстон прибыла в Петербург на собственной яхте, вся столица заполнила набережную и приветствовала красавицу криками и бросанием цветов. Леди Кингстон блистала на всех балах и, выражаясь фигурально, была летней розой на всех зимних праздниках и парадах. А чего стоил тот зимний парад, когда холоп Клим Соболев, приписной к Александровскому заводу, подал царице челобитную... Стой, не мешай, дай рассказать по порядку. Я рассказчик отменный.

Было это зимой тысяча семьсот семидесятого года. Слышал я стороной о мятеже на заводе и о посылке следственной комиссии, но делом сим не интересовался.

Говаривали, что восстание стихло и что мятежники сидят, мол, и ждут царицына решения. Ждали, ждали, да заждалися. Прислали в столицу Соболева. День выдался морозный, золотой, солнце блистало, батенька мой, не хуже, чем сабли гвардейцев.

Старик выпил.

— Ты не гляди на меня, Юрий Петрович, точно я бро-

дяга. Когда выпью, во мне поэзия возгорается. Недаром я Державину сказал обидные стишки:

За счастье поруки нету,
И чтоб твой свет светил нетленно свету,
Не бейся об заклад.

— А не тебе ли Державин сказал их? — спросил юноша в грязном малиновом фраке.

— Замолкни, птенец! Слушай, что будет. День был трескучий и снежный. Царица ехала в золоченой карете на полозьях, а за нею невдалеке следовала в открытых санях леди Кингстон.

Внезапно к карете императрицы подбежал молодой холоп в чистом армяке, пал на колени в снег и крикнул весело и требовательно: «Царица-матушка, примай челобитную на великие наши обиды!»

Царица подняла веки,— а надлежит помнить, что подымать их было трудно, ибо они тяжелели от сурьмы,— светлые ее глаза блеснули улыбкой. Улыбку ту она изучила в совершенстве и могла вызывать на устах в любое мгновение.

Лошади остановились. Граф Орлов подъехал к челобитчику. Я заметил, как в гневе тряслась, сжимая повод, его рука с синим родимым пятном на пальце. Признаться, я был напуган.

«Ну, что ты? — спросила царица протяжно, что означало приветливость.— Подай сюда. Кто ты таков?»

Холоп, впоследствии оказавшийся Климом Соболевым, подполз на коленях, протягивая перед собой сложенную вчетверо бумагу.

На оную бумагу глядели все: и Екатерина, и Орлов, и герцогиня Кингстон, и шпалеры солдат, что застыли могучим покоем вокруг кареты матушки-царицы, и офицеры, вздымавшие к небу стальные клинки, и тысячное скопление горожан, пестревшее шелковыми салопами щеголих... Эх, пышность! — Старик потер ноги и помолчал.— Вот будто сейчас помню. Поверите ли, стало слышно, как скрипнул снег под ногой покачнувшегося солдата. Даже тяжко стало от безмолвия, пока Клим Соболев не крикнул хриплым голосом, ровно из могилы:

«Мы, мол, приписные твоего величества холопы с Александровского завода. Спаси, голубушка, от министров-собак!»

Тут точно ветер прошел по шеренгам солдат — штыки дрогнули. Орлов, натурально, смял челобитчика конем, и карета тронулась. Ударили барабаны, дабы заглушить крик Соболева, схваченного гвардейцами и связанного по рукам.

Дальнейшего я не видел, но рассказываю со слов приятеля — дворцового офицера. Будто поздней ночью прискакал от генерала Лыкошина фельдъегерь и привез донесение, в коем Лыкошин сообщал, что все Заонежье вооружилось и выступило против властей. Посланный отряд под начальством подпоручика Ламсдорфа мятежники привели в расстройство, Ламсдорф отступил к заводу. То было тогда, а сейчас — каким орлом глядит!

Говаривали, что императрица, получив донесение, отложила свою книгу под титлом «Опровержение аббата Дидерота», распорядилась послать Лыкошину подкрепление, дабы бунт прекратить немедленно, и притом добавила: «Народ — точно дети. Решив воспитать в нем добрые начала, его надлежит изредка сечь».

Лонсевиль, чтобы поощрить старика к рассказу, выпил с ним немного водки. Ее подавали в черных бутылках с надписью «Чудлейская мыза».

Рюмки покрылись потом. За окнами тлел закат, придавленный к снегам облачным небом. Галки кружились вокруг церковных крестов.

Вольнодумных разговоров никто не вел: опасались Тарновского и хотели поскорее его выпроводить. С минуты на минуту должен был приехать Ламсдорф в сопровождении Армстронга — игра в фараон была назначена у Ларина.

Тарновскому сунули в карман бутылку рому и двое чиновников подняли и повели его домой. Остальные притихли, а кое-кто незаметно исчез: встреча с Ламсдорфом и Армстронгом не сулила удовольствия.

Лонсевиль собрался уходить, но вспомнил, что Ламсдорф обещал рассказать о восстании, и замешкался. Воспоминание о Кале неожиданно приобрело ясность,— ну конечно, он знает очень многое о леди Кингстон.

— Имя леди Кингстон,— сказал Лонсевиль, ни к кому не обращаясь,— является напоминанием об одной из самых удушливых и бесплодных эпох. Кстати, известно ли вам, что Александровский завод отливал статуи для ее

дома в Петербурге? Но не в том дело. Будучи в Кале с армией Бонапарта, я слышал от обитателей этого города рассказы о герцогине Кингстон.

Весь город трепетал перед ней. Женщины осыпали ее цветами. Мэр приказал покрыть мостовую около ее дома соломой, дабы стук колес не тровожил покоя этой авантюристки и отравительницы. Она хотела поселиться в Кале навсегда.

Благосостояние города зависело от капризов надменной женщины. Ежели бы она стала гражданкой Кале, это обстоятельство сулило бы городу неслыханное благополучие: богатства Кингстон почитались баснословными. Богатства эти приобретались отравлениями, подлогами, спаиванием крестьян и дворцовыми интригами.

То было время, когда города преклонялись перед низостью, усыпанной алмазами. Что может быть позорнее этого зрелища! Что может быть позорнее почета, воздававшегося Кингстон всеми европейскими дворами! Она кричала на королей и била туфлей по лицу придворных дам.

Когда Кингстон находилась в гостях у польского князя Радзивилла, он сжег ей на потеху деревню со всем нищим скарбом своих крепостных. В пламени погибли дети. И все потому, что герцогине наскучили фейерверки непревзойденного пиротехника генерала Мелессино. Ей хотелось более величественного и жизненного зрелища.

Радзивилл устроил в честь герцогини ночную охоту на кабанов при свете факелов. Чтобы попасть на охоту, герцогиня ехала из Риги в Литву, и по всему ее пути согнали крестьян — жечь костры и застилать хворостом дороги. Однажды лошади понесли, и герцогиня едва не была убита перевернувшейся коляской. Вне себя от злобы, она выдумала гнусную историю, что некий холоп швырнул в коней горящей головешкой. Радзивилл приказал засечь двадцать крестьян. Кингстон наградила его за это одной из своих фальшивых улыбок.

Неужто мы можем забыть, что жизнь тысяч людей была отдана на произвол взбалмошных и злых куртизанок? Неужто мы можем без содрогания вспоминать черные времена абсолютизма?

Как примириться с тем, что Европе снова наступил на горло императорский каблук и народами руководят короли, злые и нечистоплотные, как обезьяны?

Лонсевиль сжал голову руками. Потом он встал и стремительно вышел. Ларин взглянул на его бледный профиль, промелькнувший в багровом пламени задрожавших свечей, и прошептал соседу:

— Как он похож на Руже де Лиля!

Он настолько растерялся, что позабыл проводить Лонсевиля до дверей.

Лонсевиль быстро шел по улицам. Сырой ветер шумел в садах, и было явственно слышно, как хрустит и оседает снег. В порывах ветра Лонсевиль улавливал похожий на рыданье и радостный крик напев отдаленной «Марсельезы». Он усмехнулся, вспомнив о выпитом вине.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Лонсевиль не слышал рассказа Ламсдорфа о подавлении восстания приписных крестьян.

Расспросив Ларина и двух смущенных юношей, присутствовавших при рассказе генерала, он составил ясную картину последних дней восстания.

Поздней осенью 1770 года Соболев бежал из арестного дома в Петербурге и появился в Великой Губе.

Лыкошин, предпочитавший отсиживаться на заводе в надежде, что восстание погаснет само по себе, получил из Петербурга приказ арестовать мятежника.

Лыкошин отправил в Великую Губу солдат, но мятежники разоружили их. Вернувшись, солдаты рассказывали, что крестьяне вооружены, кроме самопалов, рогатинами и пестами.

Лыкошин понял, что дальнейшее бездействие будет стоить чинов, орденов и даже свободы. Он двинул в гнездо восстания — деревню Кижи — крупные силы. После жестокого боя войска опять отступили. Ламсдорф донес, что мятежники идут сражаться, соблюдая все правила военного искусства. Когда солдаты подходили к Кижам, утопая в снегах, отряды лыжников-крестьян окружили их и нанесли сокрушительный удар с тыла.

Численность мятежников Ламсдорф определил в девять тысяч человек. Он высказал предположение, что во главе восставших стоит умелый и упорный руководитель.

— Климка Соболев, не иначе,— заметил Лыкошин, выслушав донесение.

К тому времени обстановка складывалась для Лыкошина благоприятно. В Москве началась чума, и Екатерина как бы забыла о мятеже в Олонецком крае. Можно было выждать еще малость, благо на заводе от безделья шла картежная игра и гремели балы.

Лыкошин во всем, кроме военных дел, был человеком азарта. То был полководец второго ранга, ленивый и хитроватый. Военной славе он предпочитал славу бальных зал, где блеск вышитого мундира не требовал изнурительной погони за наглым холопом.

Губернатор торопил Лыкошина. Он опасался, что в Заонежье воскресли нравы Великого Новгорода и крепнет крестьянская республика, грозящая всему краю жакерией.

— Полноте, ваше сиятельство,— отвечал благодушно Лыкошин,— вот снежок растает, тогда мы и подпалим зад у ваших новгородцев. Воины, как говаривал Юлий Цезарь, даже бездействуя, бывают ужасны врагам.

В начале лета 1771 года пришло известие о возмущении яицких казаков, и Лыкошин получил предписание, где было сказано:

«Поелику олонецкие мятежники могут обнадежиться преступным возмущением яицкого люда, надлежит их разбить тотчас же с силой и решимостью, не медля, подобно прежнему, и не боясь причинить огорчительность государыне великим пролитием мужицкой крови».

Тогда Лыкошин послал в Кижи с пехотой и артиллерией князя Урусова, Ламсдорфу он уже не доверял. Мятежники так привыкли к лености и бездеятельности войск, что допустили их войти в деревню и засели за церковной оградой.

Начались хитроумные переговоры о сдаче. Клим Соболев отвечал князю резко и весело. Урусов багровел от гнева, чувствуя, что этот смерд находчивее его, князя, чье острословие стало притчей игорных домов.

Дабы внести раздор в ряды мятежников, Урусов подослал к ним Каллистратова, окончательно раскаявшегося и перешедшего на сторону начальства. Мятежники Каллистратова избили и прогнали.

Воспользовавшись сумятицей с Каллистратовым, Урусов подвез пушки и навел их на церковный двор. Мятежники смеялись и показывали артиллеристам кукиши.

В церкви шла беспрерывная служба — Соболев был уверен, что офицеры не решатся стрелять по храму во время богослужения. Он ждал предательства, но не допускал мысли о кощунстве,— такова была дикая логика екатерининских времен.

Урусов снял шляпу с плюмажем и махнул артиллеристам.

Ударил первый залп. Мятежники смешались. Раздались крики, брань, потом одиночные выстрелы.

— Картечь, картечь! — кричал в исступлении Урусов, и залпы били в упор, в толпу крестьян.

Три часа мятежники сопротивлялись, прячась в церкви и среди могильных плит. Убитых сносили в алтарь. После каждого залпа от церкви отлетали щепки. Свинец дымился и распространял кислый дым. Кровь, густая как слюна, капала в пыльную крапиву.

К вечеру мятежники сдались. Восемьдесят человек во главе с Соболевым были согнаны на завод, закованы в цепи и отправлены в Петербург.

Всем им, по приговору сената, вырвали ноздри, выжгли на лице знаки: на лбу букву В, на правой щеке — О, на левой — З, и погнали на каторгу в Пелым.

Клейма для знаков отлили на Александровском заводе.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Ранней весной Лонсевиль был арестован и отправлен под конвоем в Петербург.

Везли его небритые солдаты, охрипшие от бессонницы и водки. В возке было тесно. Угловатые тесаки били по ногам. От солдат несло сырым табачищем и потом. На ночлегах конвоиры били вшей, поили Лонсевиля жидким чаем и безо всякого успеха любезничали со злыми хозяйками, пытаясь выклянчить у них вареной картошки и каши.

В Петербурге Лонсевиль был доставлен к начальнику жандармской команды.

Лонсевилю предъявили обвинение в распространении на Александровском заводе крайних мыслей, подрывающих устои империи.

— Я офицер французской армии.— Лонсевиль посмотрел в глаза жандармского генерала, напоминавшие по цве-

ту спитой чай.— Я имею право высказывать любые мысли. Вам известно, что в вашей стране я нахожусь помимо своей воли. Неразумно требовать, чтобы человек, подчинившийся жестокой судьбе и живущий в обстановке враждебной, оправдывал варварство, столь же ему чуждое, как вам чужды идеи революции.

Лонсевиль замолчал. В кабинете стояла густая тишина. За высокими окнами, за туманом серенького денька во дворе казарм, желтых и величественных до скуки, глухо гремел барабан.

— Да, вы офицер, но бывшей армии Бонапарта,— язвительно ответил генерал, потер сапогами один о другой и вздрогнул от пронзительного скрипа голенищ. Лицо его передернула гримаса отвращения. Обдуманный ответ был сорван. Он вылетел из головы от этого омерзительного скрипа. Генерал никак не мог припомнить ответ и заключить его в полные изящества французские периоды. Он молчал. Молчание длилось так долго, что становилось тягостным и неприличным.

Лонсевиль сказал требовательно:

— Вы не можете карать меня, как подданного иностранной державы. Империя Бонапарта разгромлена. Война окончена. Лучшим исходом из неприятной истории было бы высочайшее разрешение вернуться мне во Францию.

Генерал поднял глаза от сапог. Хотелось поскорее избавиться от изможденного и скупого на слова французского офицера, пойти переменить сапоги и упечь в яму негодяя сапожника.

— Я представлю вашу просьбу на благоусмотрение императора.— Генерал встал, и сапоги, зацепившись один за другой, снова взвизгнули зло и оглушительно.

Лонсевиль посмотрел на ноги генерала. Тот покраснел и пробормотал быстро и резко:

— Вы свободны. Разрешительные бумаги будут вскорости высланы на Александровский завод, где вам надлежит их дожидаться.

Как передать чувство облегчения, охватившее Лонсевиля после этих слов? Оно было подобно порыву соленого ветра с моря. Сбегая по каменной, веющей холодом лестнице, Лонсевиль взглянул на себя в зеркало. Его глаза и волосы молодо блестели. Лонсевиль быстро накинул шинель и вышел на набережную.

Под мостами шуршал зернистый ладожский лед. Величие тумана, песшегося над гранитной столицей, напоминало океан, берега Бискайского залива, где Лонсевиль провел часть детства.

У Лонсевиля в Петербурге не было друзей. Единственным знакомым был архитектор Воронихин, приезжавший на Александровский завод заказывать чугунные базы для колонн Казанского собора. Лонсевиль пошел к нему.

Перспектива величественного города разворачивалась перед ним, смягченная мглой. О чугунные решетки мостов и бронзовые плечи памятников ударялись капли дождя. Они падали с черных ветвей. Сады источали запах лежалой листвы, сбрызнутой спиртом.

Воронихина Лонсевиль застал за чертежной доской. Сухой и седоватый архитектор заканчивал постройку Казанского собора.

Обстоятельства встречи с Воронихиным Лонсевиль почти забыл,— от утомления у него началась лихорадка. Он запомнил лишь утреннюю прогулку по городу в сопровождении архитектора, рассказ Воронихина о своей жизни — здесь Лонсевиль в последний раз отдал дань склонности к изучению биографий,— строгие мосты и садовые решетки, украшавшие Петербург и изготовленные на Александровском заводе.

Они долго стояли у моста через Мойку, отлитого Гаскойном. Воронихин восхищался изгибом арки и обработкой мельчайших деталей, напоминавших нагромождение индийских плодов. Налет на перилах моста был зеленоват, как цвет петербургского воздуха.

Беседуя с Воронихиным, Лонсевиль вспомнил почему-то о Моцарте, Байроне, Гете, о всех людях, живших блистательно и мудро и возвеличивших эпоху своим неповторимым существованием.

Рассказ о жизни Воронихина, выслушанный Лонсевилем с величайшим вниманием, несколько примирил его с Россией. Прощаясь с архитектором, он даже почувствовал сожаление, что покидает эту страну. Он сравнивал ее с петербургскими туманами,— за грязной их пеленой нет-нет да и проглянет светлое золото адмиралтейской иглы.

Воронихин был крепостным графа Строганова, владетеля Пермского края. Архитектор родился в городе Усолье — диком и сером, как волчья шкура, окруженном болотами, лесами и соляными ва́рницами. Он прожил детст-

во, ничем не отличное от детства других крестьянских детей.

В отрочестве способности к рисованию выделили его из среды неуклюжих и запуганных товарищей. Его послали в ученье. Он жил в Петербурге, Риме, Флоренции, и багряная итальянская осень, гравюры Пиранези [1] и мраморы Рима создали из курносого усольского мальчишки величайшего русского архитектора Он научился воплощать в бронзе и граните чужие мысли о славе. Он строил величественный Казанский собор, точно невесомый на первый взгляд,— настолько соразмерны были его объемы.

Из Петербурга Лонсевиль уехал на рассвете холодного апрельского дня. В двух верстах от столицы, когда был еще виден шпиль адмиралтейства, возок застрял в грязи.

Грязь и нищета снова окружили Лонсевиля, сменив холодное великолепие петербургских проспектов.

Лонсевиль закутался в шинель, откинулся в глубину возка и уснул. Небо побрызгивало частым дождем.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

В селе Подпорожье, на Свири, жила знаменитая плакальщица, бабка Анфиса. Изба ее стояла над рекой. По реке несло онежский лед, громыхавший в каменных порогах. Конец апреля выпал жаркий. Березовые рощи качались в зеленом дыму маслянистых почек. Синий ветер раздувал по небу клочья облаков.

Рыжий ямщик Лихарев пришел к бабке с великой просьбой отпеть проезжего, умершего от горячки. Бабка накинула шаль и пошла на почтовую станцию.

Проезжий лежал в амбаре в длинном гробу, сколоченном из неструганых досок.

— Где же его хоронить-то? — спросила бабка.

— Да, надо быть, повезу на завод.

— А какой он веры?

— Французской. Больно строгий до себя человек. Надысь вызвал меня, сам чуть дышит. Письмо дал. Отправь, говорит, с завода на родину. Велел мне достать из баула

---

[1] Пиранези (1720—1778) — итальянский художник-гравер, прославившийся гравюрами, изображавшими архитектурные памятники Италии.

значок военный, приколол его к вороту шинели, накрылся той самой шинелью и помер.

— Говорил чего?

— Да чего-то говорил не по-нашему. Смотрительша с им была.

Бабка Анфиса вошла в амбар, откинула платок с лица покойника и ахнула — до чего ж похож! Похож на сына Ивана, убитого на германской земле, вот как похож! Бабка обняла тело Лонсевиля, прижалась головой к медному значку на вороте серой шинели — номеру наполеоновского полка, где служил француз,— и запела звенящим томительным голосом.

Анфиса никогда не пела обыкновенных причитаний. Она их придумывала около каждого гроба, и почему-то каждый покойник был ей жалок и мил, как родной.

— Вот весна пришла, за окном стоит, а ты лежишь, соколик милый, ничего не надобно тебе — ни слезы материнской, ни жалости девичьей. Причалила ладья к последнему небесному плоту. Сам господь к тебе идет, сам господь подымает тебя — знает, помер на далекой сторонушке.

Лихарев утер армяком нос — больно жалостливо пела старуха.

— Горе великое ходило за тобой по земле. Сердце кровавое носил, боль сиротскую. Нешто можно жить одному па чужих глазах, помереть в пути да в распутицу?

Только три человека плакали над трупом инженера по литью пушек Шарля Лонсевиля — бабка Анфиса, ямщик и жена смотрителя почтовой станции, молодая приглядная женщина с насурмленными бровями.

Прощаясь, она поцеловала Лонсевиля в лоб, и крупная слеза упала на мертвое лицо и запуталась в ресницах.

Лихарев перекрестился, закрыл гроб крышкой и увязал мокрой веревкой.

В деревне Роп-ручей, вблизи Петрозаводска, тележку Лихарева остановили жандармы. Они отобрали у Лихарева все вещи Лонсевиля. Только письмо Лихарев скрыл у себя на груди.

Жандармы открыли гроб, осмотрели умершего и приказали Лихареву везти тело в Петрозаводск, на немецкое кладбище, да поменьше болтать в дороге. Лихарев повздыхал и поехал. Дорогой он выпил и беседовал со своим немым спутником, бахвалясь, что перехитрил жандармов и

не отдал письма, за что будет ему, Лихареву, богатая мзда на небесах.

— Родимый,— бормотал Лихарев, икая на ухабах,— ты на меня надейся. Я все постигаю. В свой срок ты, видать, помер. Не в смерть бы я тебя завез, так в острог, а он, надо быть, горше смерти.

Через сутки тело Лонсевиля лежало в холодной часовне на немецком кладбище в Петрозаводске.

Письмо Лонсевиля Лихарев передал по начальству, и оно попало к Армстронгу.

Армстронг вызвал Бараля, запер кабинет на ключ, вскрыл пакет и потребовал перевести письмо на английский язык.

— Было бы недостойно джентльмена,— сказал он,— вскрывать частные письма, но мы имеем дело с человеком, заподозренным в якобинстве. Прямой долг повелевает мне узнать содержание пакета.

— Письмо на имя женщины... Марии Трините,— тихо промолвил Бараль.

— Все равно, читайте!

— «Я был арестован, отвезен в Петербург, но после допроса получил свободу и разрешение вернуться во Францию.

Впервые за годы сердечных лишений и одиночества я испытал ощущение полного счастья. Но напрасно. На обратном пути в Петрозаводск я заболел тягчайшей лихорадкой.

Я лежу на почтовой станции в деревне Подпорожье, в трех днях пути от Петербурга.

Не пугайтесь, если на этом листе вы найдете следы крови. Невежественный здешний лекарь поставил мне пиявки к вискам, и все лицо у меня залито кровью. Я очень слаб, часто впадаю в беспамятство. Я умру не позже чем ночью.

Я вспоминаю свою жизнь и заклинаю вас: любите память обо мне, иначе мысль о смерти становится невыносимой. Вы знаете, что я был честен, ненавидел рабство и варварство и любил свободу, мудрость и веселье. Всю глубину человеческого несчастья я узнал только в России на Александровском заводе.

Я бы вернулся во Францию иным — не офицером победоносной армии, пахнущим пылью походов и сиренью рейнских садов, а мстителем и солдатом. Я жил бы во имя воз-

мездия, во имя мудрости и блеска человеческого ума, задушенного королевским режимом.

Я любил и люблю вас. Здесь, в черном мраке этой ужасной страны, я готов кричать от отчаяния и плакать по вас, как плачет ребенок по убитой на его глазах матери.

Я поступил предусмотрительно. Прежде всего я написал адрес на конверте, чтобы отправить письмо, даже если оно не будет закончено

Опять вечер. Над черными елями там, далеко, где Париж, заходит луна. Я прислушиваюсь к собственным стонам. Почему я не умер под Бородином или на Висле? Комната залита заревом луны. Светило ночи восходит над обширной страной очень медленно, и столь же медленно иссякают мои последние силы. Я хотел бы дождаться солнца...»

— Всё,— сказал Бараль.— Письмо не дописано.

— «Светило ночи»,— пробурчал Армстронг, и кривая усмешка сползла с его губ и исчезла в дыму коротенькой трубки.

— Astre de nuit,— повторил он по-французски.— Господин Бараль, для чего нужны на земле поэты?

— Для усовершенствования в языке, сударь.

— Но не для литья пушек, я полагаю. Каждая страна прекрасно обошлась бы без поэтов. К сожалению, закон разрешает оплачивать человеческую болтовню. Письмо этого поэта отправьте по адресу и сообщите от себя обстоятельства его смерти. Надо уважать чувства близких.

Армстронг выколотил трубку о кандалы, издавшие мелодический звон.

Бараль поклонился и вышел. Он нес письмо, брезгливо держа его за уголок кончиками пальцев. Так выносят в мусорное ведро убитую мышь...

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

«Получив наисекретнейшее предписание вашей светлости, я тотчас же выехал с двумя жандармами на ближайшую к Петрозаводску почтовую станцию Роп-ручей, где и дожидался проезда бывшего офицера французской армии, инженера Александровского завода Шарля-Евгения Лонсевиля.

На четвертые сутки, когда я потерял всяческую надежду задержать оного Лонсевиля, полагая, что он, предупрежденный неизвестными лицами, скрылся, в Роп-ручей приехал ямской крестьянин Лихарев, доставивший сосновый гроб, обвязанный веревками, и вещи, принадлежавшие Лонсевилю.

Вещи были отобраны и препровождены в канцелярию его высокопревосходительства господина олонецкого губернатора.

Гроб был вскрыт, и в нем обнаружено тело упомянутого Лонсевиля, завернутое в военную французского образца шинель с номерным знаком 37-го Савойского полка.

Из опроса ямского крестьянина Лихарева, равно как и из обозрения тела, оказалось, что Лонсевиль умер от горячки в селе Подпорожье.

Тело по моему приказанию было немедленно отправлено в Петрозаводск и предано земле без всякой огласки.

Ввиду вышеизложенных обстоятельств мною не мог быть выполнен приказ вашей светлости о тайном задержании государственного преступника Лонсевиля на пути его из Петербурга в Александровский завод и препровождении оного Лонсевиля в Шлиссельбургскую крепость для пожизненного заключения, дабы содержать его там без фамилии под номером 26.

О последующем жду распоряжений.

Вашей светлости покорнейший слуга ротмистр *Тучков*.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

В двадцатых годах прошлого столетия, через несколько лет после смерти Лонсевиля, в Петрозаводск приехала французская гражданка Мария Трините, назвавшая себя женою Шарля Лонсевиля.

Узнав о смерти Лонсевиля, Трините решила ехать в Россию, чтобы видеть те места, где он жил, и поговорить с людьми — свидетелями его последних дней. Готовясь к поездке в течение нескольких лет, Трините изучила русский язык и изъяснялась на нем довольно свободно.

Она прожила в Петрозаводске с весны до поздней осени. Очень часто она отправляла письма во Францию, своей подруге Рашель Мартисон.

Судя по письмам, Мария Трините обладала острой проницательностью и склонностью к меланхолии. Многие места из ее писем заслуживают лучшей участи, нежели медленное тление в пахнущих сухим жасмином семейных архивах Мартисон.

«Сегодня начальник завода мистер Фуллон,— писала Трините,— был настолько любезен, что сам вызвался показать мне мастерские.

Представь себе, Рашель, грязную кузницу в Руане, увеличенную в двадцать раз,— это и будет тот завод, где страдал и умер Шарль.

Помещения блестят от окаменелой копоти. Рабочие похожи на бородатых негров. Едкий дым выжигает глаза. Люди работают молча и безо всякой спешки.

Здесь всё из дерева. Весь завод приводится в движение водой, и шум ее господствует над маленьким городом.

Фуллон — весьма просвещенный англичанин. Он лично знал шотландского писателя Вальтера Скотта.

Он рассказал мне историю этого завода со времен царя Петра, добавив, что не удивительно, если твердую копоть на стенах я приму за окаменелую кровь.

— Этот завод,— сказал мне Фуллон,— олицетворяет режим своей страны.

Слова эти были произнесены около исполинской плющильной машины. Вообрази себе стальные плиты. Они сдавливают с чудовищной силой раскаленные шведские пушки, превращая их в куски чугуна.

Фуллон показал тонкой рукой в черной перчатке на эту машину и сравнил ее с Россией. Мы говорили по-французски, и никто нас не мог понять.

— В противоположность своим соотечественникам, английским директорам завода,— добавил Фуллон,— я стремлюсь поскорее покинуть Россию и вернуться в Англию. Я не ощущаю особого удовольствия от мысли о всех своих предшественниках. Завод этот насчитывает свыше ста лет существования. Он был построен еще при Петре. Начальником завода в те времена был голландец Вильям Генин.

Он рассказал мне историю Генина. Она заслуживает того, чтобы передать ее тебе.

Генин отличался суетливостью и добродушием. Еще в молодости, в Голландии, он изводил старушку мать лю-

бовью к кошкам. Он подбирал на улицах котят и приносил их домой в карманах камзола. Котята пачкали полы, и старушка весь день затирала кошачьи следы лавандовым маслом.

Однажды Генин привел вместо котенка неотесанного русского парня. Парень заблудился в ночном Амстердаме. Он спал очень неспокойно, тяжело дышал и вскрикивал во сне.

За утренним кофе старушка хотела сказать русскому, что у него в носу полипы, но Генин строго посмотрел на нее и промолвил, что их скромный дом осчастливлен пребыванием русского царя. Тогда старушка пролила кофе, а царь похлопал ее по плечу. Старушка сделала книксен и скрылась на кухне.

Через год Генин уехал с русским царем в Москву. Сначала он обучал боярских сыновей артиллерийскому делу, потом был назначен начальником Петровского пушечного завода.

Завод работал скверно. Управители погрязли в лихоимстве. Рабочие и рекруты разбегались сотнями. Тогда добродушный Генин выпустил кошачьи когти — он не хотел рисковать своей головой. Он порол рабочих, ходил по заводу, охал, кричал и жаловался на жестокость Петра.

Слух об этом дошел до царя, и на завод прислали следить за Гениным фискала Ижорина.

Генин обиделся. Он заваливал Петербург жалобами на несносные притеснения Ижорина.

Он хвастал своими успехами и угрожал бросить завод, если фискал немедленно не будет отозван.

Царь молчал.

Сообщения Генина, что из отлитой им тысячи пушек разорвалось только три, что шпажные клинки с Петровского завода не хуже золингенских, что ружья завод изготовляет по лучшему, штеттинскому способу, оставались без ответа.

Царь молчал, а Генин пугался и учащал порки.

Вокруг завода по топким дорогам были выставлены караулы, ловившие беглых рабочих.

Рабочий завода Рябоев открыл вблизи Кончозера источник целебной воды. Генин дал Рябоеву три рубля и приказал молчать. Он поставил около источника камень с

надписью, что воды открыты им, Вильямом Гепиным, и отправил в Петербург донесение, где именовал новые воды марциальными и звал царя попользоваться ими.

Тотчас же пришло повеление построить около источника летний дворец. Царь приехал с царицей и принял несколько ванн. Воды помогли. Генин в благодарность был произведен в генералы.

Я вполне согласилась с Фуллоном — не очень весело иметь за спиной таких предшественников.

Ты знаешь, только здесь, на заводе, я поняла, отчего умер Шарль. Возвращение во Францию его не спасло бы. Как может радостно смотреть на небо человек, видевший, как истязают людей!

Ты представь себе наглые бакенбарды военных инженеров, невежественных и пьющих водку целыми ведрами, картежную игру, где нет места даже азарту, рабочих, обреченных быть скотами, и скотов, обреченных работать до последнего издыхания, муштровку солдат — их бьют по щекам за дрогнувший носок сапога,— полную невозможность протеста, рассказы о Сибири, плетях и каторге, злых женщин и тоску этих неописуемых непролазных дорог, где ямщики хрипнут от самой подлой брани,— представь все это в сиянии чистейшего неба, в свежем ветре с озер, в душистом молчании лесов, и ты поймешь, как прекрасна эта страна и как терпелив народ, ее населяющий.

На заводе отливают надгробный памятник Шарлю. Я поставлю его и уеду во Францию. Но я привезу землю с могилы Шарля, землю этой страны, и посажу в нее в нашем саду лучшие цветы, какие мне даст отец. Пусть хоть эта холодная земля радуется их благоуханию».

«Третьего дня, наконец,— писала Трините,— поставили над могилой Шарля чугунный памятник и ограду, похожую по тонкости работы на кружево.

Теперь мне здесь больше нечего делать. На днях я уезжаю. Меня пугает обратный путь. Какая предстоит горечь от зрелища плоских и бесцветных озер под таким же плоским и сереньким небом...

Мне придется ехать водой. Как передать тебе монотонность этого пути по каналам на скрипучих и медленных баржах, простаивающих сутками около безлюдных деревень?

Все будет пропитано смрадом воды, гниющей в трюмах, и едким табаком — его курят здешние рабочие.

Необходимо брать пищу до Петербурга. В дороге ничего нельзя купить, кроме чая, постного сахара, пахнущего салом, и черствого хлеба. Когда я вижу этот хлеб, колючий от соломы, я почему-то вспоминаю слезящиеся глаза мужиков и их растрепанные ветром рыжие бороденки — одно из самых ярких впечатлений моего путешествия по России

Да, путь будет печален, как возвращение с похорон. Здесь я оставляю свое сердце. Здесь умер Шарль, который так жестоко и наивно страдал в силу своего чистосердечия и жажды высшей справедливости».

«Вчера я пережила первый радостный день в России.

Не помню, писала ли я тебе, что мистер Фуллон посоветовал мне познакомиться с его секретарем Юрием Лариным. По словам Фуллона, Ларин, человек весьма начитанный и обладающий живым умом, был искренним другом Шарля.

Но, к несчастью, незадолго до моего приезда в Россию Ларин был послан в Англию, чтобы завербовать там для завода несколько литейных мастеров, и возвратился в Петрозаводск только третьего дня.

Вчера, 15 августа, завод не работал по случаю праздника успения, и я совершила большую бестактность: я пошла к Ларину, даже не предупредив его о своем визите. Я уверена, что ты меня не осудишь. Ты знаешь, как мне дорога память о каждом слове и каждом поступке Шарля. Кто лучше Ларина мог рассказать о его последних днях?

Я очень волновалась. Меня встретил высокий приветливый человек с пытливыми и несколько насмешливыми глазами.

— Чем могу служить вам, сударыня? — спросил он меня по-русски.

Я назвала себя. Спазмы сжимали мое горло.

— Так это вы жена Лонсевиля? — тихо спросил Ларин по-французски.— Бог мой, какую радость вы принесли мне своим приездом!

Он волновался не меньше меня. Он нервно ходил по комнате и непрерывно говорил. Он вспоминал день за днем жизнь Шарля, передавал его рассказы, его гневные речи. Он говорил о любви к Шарлю простых людей и рабочих, о неожиданном аресте, о том, что только смерть спасла Шарля от пожизненного заключения и что, может быть, толь-

ко благодаря этой смерти он избавился от потери рассудка в глухих казематах Шлиссельбургской крепости.

— Лонсевиль был человеком прекрасных душевных порывов,— сказал он, остановившись и глядя в окно, где золотые березы осторожно сбрасывали на землю легкие листья.— Ему я обязан тем, что перестал быть глупым юнцом, вздыхающим о революции, как о любимой женщине. Он зажег меня ненавистью к тирании и холодной решимостью. Он вложил в меня мысль, что освобождение невозможно без жестокого уничтожения угнетателей. Он заставил меня изучить историю французской революции и творения великих мыслителей. Вскоре после знакомства с ним я с дрожью в сердце понял, что этот человек любит наш народ умной и горячей любовью борца, тогда как мы только и делаем, что проливаем слезы над жалкой долей холопов в армяках лишь за бутылкой водки.

Ларин быстро отошел от окна и засмеялся, всплеснув руками.

— Сударыня, мы попали с вами в поповскую мышеловку. Сегодня праздник. По нашим обычаям, священники с причтом ходят по домам и служат молебны. Вон, видите, отец Серафим направляется ко мне, и мы уже не успеем скрыться. Утешительно лишь то, что эта церемония продлится две минуты, ибо отец Серафим изрядно пьян.

Отец Серафим вошел в дом в сопровождении дьякона с таким шумом, точно в залу впустили стадо слонов. Покричав и покадив две минуты около иконы, он сунул в губы Ларину и мне холодный серебряный крест и торопливо сел к столу.

Слуга подал вино и закуску. Выпив рюмку водки, отец Серафим начал несносно хвастаться своим дедом, священником Семеном, жившим в селе Кижи. Он рассказал, что некогда царь Петр на пути в Петербург остановился в этой деревне и зашел в церковь. Он рассеянно слушал торжественную службу и ковырял пальцем иконы, отлитые из чистой меди.

После службы царь подошел к Семену,— по словам Серафима, то был черный поп с дикими глазами,— и спросил, указывая на иконы:

— Кто отливал?

Семен ответил, что иконы и кресты отлил голландец Бутенат, державший при царе Алексее медный завод в Кижах.

Бутенат был лютеранин, и поп Семен не мог этого снести. Несколько раз собирал крестьян, бил в колокола и устраивал на заводе погромы. Бутенат не выдержал войны с попом и бежал в Голландию, а завод крестьяне разворовали по бревнам.

— Поп,— сказал Петр тихо,— про тебя мне доносили многое. Кожу сдеру!

Поп воздел руки, вытаращил глаза и крикнул:

— Еретиков изведу заодно с их семенем — царя не побоюся!

Петр сплюнул и вышел.

— Каков прадед, таков и правнук,— сказал мне Ларин по-французски. Он был раздосадован хвастовством и нечистоплотностью священника, евшего мясо руками.

Отец Серафим вытер бороду, где застряли кусочки вареной моркови, попрощался и ушел, сотрясая прихожую топотом глубоких кожаных калош.

— Я не могу выносить дым ладана,— поморщился Ларин,— он напоминает мне похороны и вызывает мигрени. Ежели вы не устали, то не лучше ли нам пройти на набережную.

Я с радостью согласилась.

Мы ходили по набережной до позднего вечера. Свечи в редких фонарях горели неподвижно и тускло — над озером установилось безветрие. В темной воде отражались печальные звезды. Из заброшенных садов был слышен запах вянувших листьев.

— Вы не должны ненавидеть нашу страну,— говорил мне вполголоса Ларин.— Жажда освобождения терзает лучшие умы. Молодые люди, совершившие поход во Францию, привезли оттуда не только зажившие раны и обветренные лица, но и порох революционных надежд. Россия охвачена предрассветным холодом и тревогой. Не принимайте этот холод за дыхание смерти. Разве иначе, как не предвозвестником зари, мы можем назвать нашего поэта Пушкина? Известны ли вам его стихи о карающем кинжале? «Как адский луч, как молния богов, немое лезвие злодею в очи блещет, и, озираясь, он трепещет среди своих пиров». Пушкин — это поистине молния богов.

Над озером блеснула тусклая зарница, и лишь минуту спустя прокатился далекий гром. Ларин засмеялся.

— Осенняя гроза,— промолвил он и остановился.— Прекрасное будущее приближается неотвратимо. Когда оно

наступит, нам не дано знать. Ради него жил последние годы ваш муж, беспощадно вырвавший из своего сердца все черты наивности и благодушия. Не впадайте в отчаяние. Какая беда в том, что он страдал нашими горестями? Неужто вы склонны к мысли, что революции достоин лишь народ французский?

— Сударыня,— продолжал, помолчав, Ларин и показал мне на небо,— звезды светят с неизмеримо меньшей яркостью, чем солнце, но в наши зимние ночи они освещают путь и служат путеводными знаками. Нет великих и малых дел, ежели человек всем сердцем стремится к великому и справедливому, ибо в этом случае все дела имеют великие вес и последствия.

В город мы вернулись через темный и облетевший сад. Листья шумно пересыпались под нашими ногами. Я как бы выпила легкого вина,— внезапно Россия показалась мне страной, любимой до боли в сердце».

«Завтра я уезжаю. Безоблачные дни сменились ненастьем. С Белого моря дует неровный ветер и несет снег вперемежку с дождем. Как говорят русские, «дождь сечет». Какое иное сравнение мог придумать народ, привыкший к тому, что его секут постоянно?

Дождь сечет.

Пейзаж за моими окнами приобрел вид картины, косо повешенной на стене. Косые струи дождя, косой дым из низких заводских труб, косые деревья, наклонившиеся люди, пробивающиеся через дождь и ветер, наконец косой полет ворон, зловеще каркающих над пустырями.

Перед отъездом я видела забавное зрелище — богослужение под дождем, панихиду по императрице Екатерине.

Шеренги солдат стояли в жидкой грязи. Генералы кутались в черные плащи. С желтых волос отца Серафима вода текла на черную ризу, и певчие пели уныло и хрипло, прикрывая рты посиневшими руками.

Рабочие стояли поодаль, глядя в землю и крестясь быстро и машинально. Они все были в черном, в тяжелых сапогах и напоминали толпу галерников, слушающих напутствие перед отправкой на каторжные работы.

Потом запели «вечную память». Генералы, солдаты, рабочие, чиновники и женщины в кринолинах опустились на колени в желтую от навоза грязь. Хоругви склонились до земли от налетевшего ветра. Повалил серый липкий снег.

У меня болит сердце от сострадания к этому народу.

Я прошла на кладбище и положила на могилу Шарля несколько белых астр.

Ветер тотчас же унес их, будто Шарль отбросил их рукой, протестуя против моего отъезда.

Я расплакалась. Боже, что мне делать? В этой стране я оставляю свою душу. Мне не следовало приезжать сюда».

«Ларин, провожая меня, дал мне несколько писем своим друзьям в Петербурге.

Рашель, я впервые увидела людей, столь же полных первическим ощущением нашего грозного времени, как полон им был Шарль. Я встретила русских, соединявших в себе гражданскую доблесть с самой привлекательной мягкостью славянской натуры.

Один из них,— я не буду называть тебе его имени,— выслушав горестную историю Лонсевиля, сказал мне:

— Сударыня, придет время, когда наши потомки вычеканят новую надпись на надгробном памятнике Лонсевиля. Благородные его стремления не получили развития. Императорская Россия убила его, как убивает лучших детей народа. Отныне он наш.

— Какую надпись? — спросила я.

— Вы владеете русским языком?

Я утвердительно наклонила голову. Он понизил голос и прочел, волнуясь:

Товарищ, верь: взойдет она,
Звезда пленительного счастья,
Россия вспрянет ото сна,
И на обломках самовластья
Напишут наши имена!

Мы стояли на набережной Невы около Летнего сада. Я подняла голову и сквозь слезы увидела в лунной голубой полночи корабль, который должен был увезти меня во Францию. Матросы зажигали на его бортах фонари. Облака, подобные низкому дыму, быстро неслись со стороны моря.

— Он наш,— повторил русский, и я поняла, что отныне эта прекрасная и несчастная страна так же близка мне, как Франция».

1932

ОЗЕРНЫЙ ФРОНТ

Капитан Тренер пожевал жареную репу и вздохнул. Вкус репы отдавал горечью, как воздух лесистого и холодного Заонежья, где стояла флотилия.

Кончался май. Грязный лед все еще таял на берегах Онежского озера. По ночам казалось, что озеро превращается в море,— запах льда напоминал запах сырых приморских песков.

Лес шумел за окнами избы, нагоняя сон. Канонерские лодки кланялись берегу, поблескивая огнями. То были старые буксирные пароходы, приплюснутые, как клопы. В Петрозаводске их выкрасили в цвет мокрого полотна и поставили им на палубы орудия.

— О чем вздыхаешь, старик? — спросил Тренера штурман Ерченко, прозванный «Сарвингом».

На морском языке сарвингом называют старую, истлевшую парусину. Наступили жестокие дни. Лучшим напитком считался спитой чай, великолепной едой — болтушка из затхлой муки. Толстый штурман лишился своего объема и посерел, подобно видавшему виды рыбачьему парусу. «Сарвинг» — сказал о нем Тренер. Прозвище немедленно было узаконено всей Онежской озерной флотилией.

— Погано! — ответил Тренер.— Сиди в этой дыре и дожидайся английских истребителей. Жуй репу и любуйся на «консервные банки»,— он кивнул за окно, где огни канонерок продолжали качаться с монотонностью маятников.— К тому же холодно. Наступает второй ледниковый период.

Комиссар Мартайнен неодобрительно ухмыльнулся.

Хозяйка избы, старуха Кузьминишна, поставила на стол тарелку с вареной ряпушкой. Тренер ковырнул вилкой перепрелую кашу из рыбы и рассердился.

— Что вы хмыкаете? Надо наконец научиться уважать науку. Флотилия на собственной шкуре испытывает приближение льдов.

Сарвинг заскрипел стулом.

Тренер гневно взглянул на штурмана.

— Не лезь в пузырь, Эдуард,— прохрипел Сарвинг.— Я тебя всегда с удовольствием слушаю.

— Надо иметь голову на плечах,— сказал Тренер.— Почему англичане устроили в Медвежьей Горе базу? Почему поставили на берегу судовые орудия и спустили на озеро истребители? Если бы не лед в мае, в половине мая, было бы это или нет? Я тебя спрашиваю, старый обалдуй. Конечно, нет. Наши коробки от сардин не могли форсировать лед. Мы бегали около кромки льда и грызли собственные кулаки. Май, видите ли, чудесный месяц май, стоял над этим чертовым озером, и лед таял с такой же скоростью, с какой растет борода у флагмана.

(Было известно, что флагман брился раз в неделю не из-за отсутствия времени, а за полной ненадобностью делать это чаще.)

— Холодная весна,— согласился Мартайнен.

— Холодная весна? — язвительно переспросил Тренер.— Вы в этом уверены? А вы знаете, что здесь в доисторические времена был климат Сицилии?

— Все может быть,— согласился Мартайнен. Ему хотелось спать. Сарвинг уже всхрапывал.

— Да, все может быть,— ответил Тренер и оглянулся. Из темного угла избы, где стояла кровать, послышался тихий плач.

Мартайнен смотрел за окно, где между сосен дрожали звезды. Сарвинг проснулся и встал.

— Опять! — сказал он испуганно и начал застегивать рваную шинель, похожую на больничный халат.— Пора на канонерку. В пять часов снимаемся в дозор к Мэг-острову. Хоть бы часика три поспать.

— Мертвого не воротишь,— пробормотал Мартайнен.— Идемте, штурман.

Тренер остался. Еще третьего дня он забрел в избу Кузьминишны в поисках молока. В избе он застал старуху и молодую плачущую женщину. Пока старуха кормила Тренера простоквашей, женщина не переставала плакать.

Тренер торопливо глотал простоквашу, не чувствуя ее вкуса, потом тихо спросил старуху, кто эта женщина.

— Учительша,— прошептала старуха.— Беда у нее случилась. Девочку убили.

Тренер больше ничего не спрашивал. У себя, на канонерской лодке «Номер два», он рассказал о необыкновенной избе, где кормят густой простоквашей. В избу началось паломничество.

Старуха притворно негодовала, но в простокваше не отказывала.

Когда простокваша иссякала, Кузьминишна кормила моряков жареной репой и ряпушкой.

Избу прозвали «Кафе Колдунчик». Каждый вечер там можно было застать посетителей, отдаленно напоминавших моряков. Об их профессии можно было догадаться по случайно уцелевшим признакам: фуражкам с золочеными «крабами», рваным клешам, пуговицам с якорями, татуировке под рукавами ватных телогреек и старомодных пиджаков, но больше всего — по обветренным и озябшим лицам.

Сарвинг и Мартайнен ушли. Тренер остался. Он был любопытен. Жгучее любопытство преследовало его все время. Несмотря на свои сорок лет, он увлекался множеством вещей. Он походил на мальчика, старающегося во что бы то ни стало сломать игрушку, чтобы заглянуть внутрь. Жизнь была для Тренера подобна этой игрушке. Он любил разбирать механизмы, расспрашивать людей, читать научные исследования, спорить. Из накопленных за долгие годы наблюдений он делал ошеломляющие выводы. Это занятие его радовало. Потому, может быть, через всю жизнь Тренер прошел легко, точно посвистывая, и заслужил кличку чудака.

Тренеру не давала покоя учительница. Он хотел узнать причину ее слез. На этот раз им меньше всего руководило любопытство. Он испытывал несвойственную ему досадную жалость.

— Как это случилось? — спросил он Кузьминишну.

Рассказ старухи не успокоил Тренера. Откровенно говоря, он ничего не понял. Ясно было одно — дочь учительницы, двухлетняя девочка, погибла от взрыва ручной гранаты.

Необходимо оговориться. Дело происходило в 1919 году в селе Толвуе, на полуострове Заонежье. С севера на Петрозаводск наступали две белые армии. Олонецкая добровольческая армия, состоявшая из финнов, пробивалась из

Финляндии к Лодейному Полю. Северная добровольческая — густая смесь из английских, сербских, американских и русских белых отрядов — двигалась из Мурманска вдоль железной дороги. Последнюю армию называли «англичане».

В мае 1919 года англичане заняли Медвежью Гору — самый северный пункт на Онежском озере. Они укрепились там и послали в Заонежье отряды с продовольствием и оружием — поднять восстание среди хозяйственных заонежских рыбаков.

Восстание началось в Толвуе и Шуньге, но было быстро подавлено.

Сарвинг на своей канонерской лодке доставил в Толвуй из Петрозаводска музыкантскую команду. Этого оказалось достаточно, чтобы восставшие подняли белый флаг и сдались.

В то время на Карельском фронте не было войск и винтовок. Каждые десять вооруженных людей считались хорошей боевой частью. Довольно того, что единственный батальон целый месяц сдерживал натиск превосходящих сил белых вдоль Мурманской дороги, яростно защищая каждую шпалу и каждый телеграфный столб В конце концов этот потрепанный и голодный батальон остановил наступление белых.

Все главные силы были оттянуты против Юденича.

Сарвинг заслуженно гордился «толвуйским делом». Барабанщики и трубачи, умевшие с грехом пополам сыграть «Интернационал», оказались надежными бойцами.

Правда, после этого Сарвингу долго не давали покоя. Каждый раз, когда его канонерка, прозванная «Музыкантом», вползала, шлепая колесами, в петрозаводскую гавань, команды сторожевых катеров встречали ее варварским маршем. Его наигрывали на гребенках, жестяных кружках и попросту хлопая себя кулаками по падутым щекам.

На это развлечение командующий флотилией смотрел сквозь пальцы. Сарвинг багровел и ругался.

Несчастье с учительницей случилось в день высадки музыкантского десанта.

Сарвинг внезапно открыл по селу огонь из кормового орудия. Началась паника. Отряд из нескольких американских солдат во главе с лейтенантом Шервудом бежал в лес, не сделав ни одного выстрела.

Шервуд бежал впереди. В узком переулке он натолкнулся на учительницу. Она спешила с девочкой в единственный каменный амбар, чтобы спрятаться от обстрела. Шервуд задел учительницу плечом и отскочил. Раздался взрыв. Шервуд бросился дальше. Солдаты бежали за ним. Один из них перепрыгнул через упавшую девочку, остановился, показал себе на голову, что-то яростно прокричал по-английски и побежал дальше.

Девочка была убита осколком ручной гранаты в висок. Очевидно, Шервуд уронил гранату, наткнувшись на учительницу.

— Непонятно,— пробормотал Тренер.— Чтобы граната взорвалась, необходимо сбить кольцо, а для этого надо остановиться. Тут что-то не так.

Учительница взяла убитую на руки и ушла в лес. Она ходила до утра, баюкала посиневшую девочку и пела ей песни.

Утром сигнальщик, матрос Федор Гущин, привел учительницу в деревню. Вот все, что удалось узнать Тренеру.

Тренер надвинул форменную кепку на глаза и пошел на канонерку. В туманном озере плескались мелкие волны. Над ними в теплом воздухе, опровергавшем опасения Тренера о нашествии льдов, подымалась опухшая луна.

Тренер поморщился. В лунные ночи он спал тревожно. Значит, опять бессонница.

Учительница напомнила ему молодость, когда он гардемарином приехал к себе на родину, в Псков. Тогда у него был еще свежий голос. Каждый вечер он выезжал в лодке на реку Великую, становился под мостом и пел. Мост давал гулкий резонанс. Тренер пел старинный романс. Теперь он его забыл, в памяти осталась только одна строчка:

Кто ты, певунья, я не знаю...

Вокруг Тренера толпой собирались лодки. Он запомнил одну, выкрашенную в белый цвет. В ней приезжала девушка, удивительно похожая на эту учительницу — те же зеленоватые, немного косые глаза, тот же застенчивый взгляд. Такая же милая дурнушка.

«Вот молодость! — подумал Тренер.— Пенье до рассвета, холодная вода Великой, запах цветущих лип...»

У себя в каюте он сейчас тоже тихо запел: «Кто ты, певунья, я не знаю», но прислушался и осекся. Начало сердито стрекотать радио. Через несколько минут радист принес синий бланк — зашифрованный приказ командующего немедленно сниматься и идти из Онежского озера в Ладожское, к пристани Свирице.

Тренер сказал про себя: «Есть идти в Свирицу». Он не знал тогда, что присутствует при начале смелой и блестящей видлицкой операции.

В три дня флотилия прошла несколько сот миль из Онежского озера в Ладогу и отдала якоря в Свирице, вблизи впадения Свири в Ладожское озеро.

Путь был совершен в глубочайшей тайне. Готовился быстрый удар в тыл финнам — удар на Видлицу, главную базу Олонецкой добровольческой армии.

Финны ничего не подозревали. На Ладожском озере советских судов не было. Переброска их из Онежского озера казалась невероятной. По законам стратегии это было равносильно безумию, ибо фронт против англичан оказывался обнаженным. К тому же петрозаводская газета печатала успокоительные сообщения, что Онежская флотилия до последней крайности будет защищать город от англичан и жители могут спокойно предаваться своим занятиям.

Финские шпионы доставляли номера газеты в штаб Олонецкой армии, где большевистской газете верили беспрекословно и наивно.

В Свирице Тренер поднялся на мостик. Холодные луга лежали вокруг. В прибрежном тальнике шумел ладожский ветер. Глыбами лакированного серого льда застыли на воде эскадренные миноносцы «Уссуриец» и «Амурец», пришедшие из Балтики.

Медные поручни на миноносцах были надраены до той степени блеска, какая носит у моряков название «чертова глаза». Закат рассыпал по меди десятки маленьких угрюмых солнц.

Над рекой дымилось тяжелое небо. Солнце прорвало в тучах окровавленную щель.

Мартайнен принес на мостик приказ командующего флотилией Панцержанского. Он был передан с посыльного судна, где командующий держал свой флаг.

Тренер читал приказ с нескрываемым удовольствием. Он любил язык приказов, короткий, будто блеск световых сигналов, которыми перекликаются боевые корабли во время ночных походов.

— «Общая задача,— читал Тренер,— сбить неприятельские батареи у посада Видлица и высадить десант в устье реки.

Корабли собираются в Свирице. По моему сигналу все снимаются с якоря и вступают в строй кильватера. В Видлице эсминцы подходят к берегам севернее реки и начинают обстрел батарей на правом ее берегу, стараясь створить батареи и имея их на норд-ост от себя. Затем миноносцы переносят огонь на Видлицкий Посад. Заградитель «Яуза» обстреливает батареи южнее реки и прекращает огонь не ранее, чем батареи замолчат.

Дивизиону сторожевых судов держаться на вест от заградителя «Яуза» и по сигналу последнего идти в устье реки. Подойдя к устью, открыть огонь и остановиться у пристани».

— Это нам,— сказал Тренер.— Будет шумно.

«После высадки десанта с транспортов всякая артиллерийская стрельба прекращается. Корабли остаются на местах и ждут моего распоряжения.

Миноносцы имеют трехфлажную сигнальную книгу. Для пароходов средство связи — только голос».

— Всё? — спросил Мартайнен.

— Всё,— ответил Тренер и повторил: — «Для пароходов средство связи — только голос».

— Собственно говоря, одним голосом и воюем. И, между прочим, бьем. Под островом Мэг на Онежском озере — это было еще до вас — налетели английские гидро. Летчики хамили, почти цепляли за мачты. А у нас ни одного зенитного орудия. Пулеметы вверх не бьют из-за перекоса лент. Пришлось отстреливаться из винтовок и грозить кулаками. Но зато мы идеально научились увертываться на своих консервных банках. У англичан не было ни одного попадания.

— Бывает,— промолвил Мартайнен.

Комиссар принадлежал к породе людей, разговаривающих глазами. Он даже редко говорил «да» или «нет». Обычно о согласии или отказе Тренер узнавал по его взгляду. На Тренера он смотрел одобрительно, целиком ему доверял, на только что присланного из Петрограда старшего артиллериста — со скукой, считал его безвредным шаркуном.

Мартайнен никогда не ругался. В тех случаях, когда надлежало сказать крепкое слово, у него краснел затылок и белели глаза.

Выход в озеро был назначен ночью. Тренер приказал разбудить себя в полночь и спустился в каюту. Он лег и укрылся шинелью.

— «Сражения — это дым»,— пробормотал он сквозь дремоту. «Кто это сказал? Какая чепуха! Должно быть, кто-нибудь из английских военачальников. По старым английским традициям, каждый боевой генерал, умирая, говорил какую-нибудь глупость, вроде того, что «война. как и все явления в мире, необходима». «Англия надеется, что каждый исполнит свой долг» — это самое неудачное из выражений Нельсона.

Кстати, почему Нельсон выиграл Трафальгарскую битву? В маневрировании парусных линейных кораблей не было правильного расчета. Нельсоном руководили каприз, полет фантазии, безрассудная смелость.

У нас — иное. Мы выигрываем благодаря простому плану, скрепленному мужеством и верой в дело».

— Трафальгар,— промолвил Тренер и натянул шинель на голову.

Дремоту Тренера прервал короткий стук в дверь. Пришел Мартайнен. Он сел в ногах Тренера, скрутил папиросу и будто невзначай обронил:

— Артиллерист дрейфит.

— Я проверял дальномеры и крепления. Всё в порядке.

— Да, но человек не в порядке.

— Будем следить.

Тренер поморщился и сел на койке. Болела голова. Перед боем это было совсем напрасно.

— А я здесь лежал, думал.

— Мечты о магнолиях в Петрограде? — усмехнулся Мартайнен.

— Да, все те же мечты о магнолиях,— вздохнул Тренер.

Его беспокоил артиллерист. Маленький, черный, очень вежливый, он выдавал свое сухопутное происхождение бледным лицом и множеством угрей на щеках. В боях он еще не был.

Артиллерист сам стриг себе усы по-английски. В каюте у него пахло филодермином и парикмахерской. На стенах веерами висели открытки золотоволосых девушек с розовыми носами и глазками цвета капусты. С матросами артиллерист говорил вкрадчиво, но мало. Команда его невзлюбила и прозвала «пассажиром».

— Ему бисером вышивать, а не плавать,— проворчал Тренер и натянул шинель. Пора было подыматься на мостик.— Что с ним происходит?

— Он дрожит,— ответил Мартайнен, и затылок его побагровел.

Тренер крякнул, выругался и застегнул шинель. Внезапно лицо его стало каменным, глаза похолодели. Он засунул руку в карман и вынул старые кожаные перчатки. Мартайнену показалось, что этим незаметным жестом Тренер небрежно спрятал в карман недавние мечты о магнолиях. Тренер сказал резко:

— Сейчас снимаемся.

— Есть! — невольно ответил Мартайнен и пропустил Тренера вперед.

Ветер с Ладоги пересчитывал редкие огни флотилии. Гулкий пар рвался вверх из труб миноносцев. После дремоты бледная северная ночь показалась Тренеру сном. Речные волны шумели в прибрежных кустах. Над болотами скрипели коростели.

В эту минуту старый буксирный пароход «Сильный» — ныне канонерская лодка «Номер два» — показался Тренеру грозным истребителем. Корабль затих. Люди говорили шепотом. Только машина, разогреваясь, посапывала паром.

На посыльном судне замигал сигнал. Все вздрогнули, хотя ждали его именно в этот час. Сигнал был дан строго в назначенное время.

Тотчас же две низкие тени миноносцев сдвинулись и, вздохнув машинами, пошли за посыльным судном. Флотилия вытягивалась белой линией кильватерных огней.

Вышли в озеро. Ветер свежел. С веста шла короткая волна. Через час канонерская лодка «Номер два» уже отыгрывалась, принимая волну. Тренер слушал нараста-

ший шум и не мог отделаться от мысли, что шумят не прибрежные сосновые леса, а Ладожское озеро.

По пути в Видлицу, около устья реки Олонки, флотилию ждали транспорты с десантом. К ним подошли в три часа ночи. Рассвет зарождался на востоке отблеском бесконечных болот. Ветер стих.

В полной тишине флотилия перестроилась. Сторожевые суда окружили кольцом транспорты. Финская батарея как бы спросонок открыла огонь. Снаряды ложились между судами флотилии и берегом. Командующий приказал на огонь финнов не отвечать.

Тренер считал недолеты и посматривал на артиллериста.

Артиллерист потирал руки.

— Зябнете? Надо было выспаться раньше,— жестко сказал Тренер.— От дрожи может случиться расстройство желудка.

Артиллерист покраснел и сошел с мостика.

В пять часов флотилия подошла к Видлице. На берегах стояла предрассветная тишина. Если прислушаться, то слышался свист просыпающихся птиц. Было туманно и сыро.

Миноносцы отделились от флотилии, ушли к северу, круто повернули, и тотчас два гулких залпа, повторенных эхом, блеснули над серой водой.

Залпы учащались. Дым сражения — о нем недавно вспоминал Тренер — качался над палубами, взрываясь звонким треском огня.

Заградитель «Яуза» открыл огонь по видлицкому заводу. Завод вспыхнул исполинским костром. Финны отвечали торопливо и ожесточенно. Чайки с детским визгом неслись на юг, оглушенные боем.

Берега глухо дрожали. Дым взвивался над лесом то белыми, то багровыми клубами,— «Яуза» вела жестокую дуэль с батареей на южном берегу. Тренер посмотрел на часы, было уже шесть. Бой длился ровно час.

Подняв глаза от часов, Тренер увидел, как артиллерист пригнулся у орудия. Тренер, пораженный, смотрел на него,— были видны блестящие глаза на смуглом лице. «Прямо Лермонтов»,— подумал Тренер.

Канонерка вздрогнула, отшатнулась, и завыл, ввинчиваясь в небо, снаряд. Взрыв! Он пышно и долго расплы-

вался над землей. Вместо четырех орудий неприятельская батарея начала отвечать из трех.

— Пассажир подбил орудие,— сказал штурвальный.

Тренер оглянулся и в упор посмотрел в его смеющиеся глаза.

— Не пассажир, а старший артиллерист,— сказал он голосом, покрывшим гул боя.— Шутки в бою считаю неуместными.

Бой разгорался. Финны отстреливались с редким упорством. Сарвинг на своей канонерке, окутанной дымом, был ясно виден издалека: казалось, на мостике стоял памятник.

«Яуза» тремя залпами сбила батарею на южном берегу реки. Миноносцы носились вдоль северного берега, на крутых поворотах полыхая желтым огнем.

— Огонь достигает степени ураганного,— промолвил Тренер и поднял бинокль.

Смотреть мешали частые выстрелы с канонерки, поле зрения в бинокле смещалось после каждого удара.

Наконец Тренер нащупал неприятельскую батарею и выругался. То, что он увидел, поразило даже его, привыкшего к боям. Броневые катера в дыму и пене мчались вдоль самого берега, почти царапая бортами о камни, и расстреливали орудийную прислугу из пулеметов. Финны метались, не ослабляя огня.

В семь часов батареи неприятеля наконец замолчали. Финский штаб горел. Миноносцы перенесли огонь на Видлицкий Посад, где медленно подымалась в небо гора бурого дыма.

«Яуза» просемафорила Тренеру приказ немедленно войти в реку. Тренер ворвался в устье на полном ходу, ведя обстрел обоих берегов из орудий и пулеметов.

Оглянувшись, он увидел, что миноносцы прекратили огонь и застопорили машины.

«Ша и ре!» — просигналил ему по-дружески Сарвинг. На языке старых моряков это означало: «Все кончено».

— Брось трепаться,— ответил Тренер.

Сзади подходили транспорты. Началась высадка десанта. Тренер пошел вверх по реке, обстреливая правый берег шрапнелью. Когда он вернулся, высадка кончилась. Огонь стих.

— Неужели ша и ре?

Тренер достал из кармана склянку от рыбьего жира и отхлебнул несколько глотков коньяку. В это время в лесу швейными машинами застрочили пулеметы. Со всех судов тяжелым громом ударил залп. Финны делали последнюю попытку сбить десант в озеро.

С «Чайки», прошедшей у самого борта, Тренеру крикнули, что сейчас финны откроют пулеметный огонь. Тренер дал залп по опушке, но в ответ пулемет лопнувшим железным тросом хлестнул по палубным надстройкам, выбивая щепки в пыль.

Тренер выхватил руку из кармана. С рукава капала на палубу яркая кровь, но боли он не чувствовал. Второй залп колыхнул воздух. Тренер пошатнулся, сел на кнехт, медленно стал на колени и упал головой на планшир. Мартайнен бежал с бака.

— Санитара! — крикнул он, и глаза его побелели.— Санитара скорей!

Огонь быстро стих.

Тренер, стиснув зубы, ждал, пока неопытный санитар резал тупыми ножницами толстый шинельный рукав.

После перевязки Тренер потерял сознание. Очнулся он, когда вся флотилия вытянулась на рейд и стала на якорь.

«Яуза» и «Сом» грузили трофеи — одиннадцать орудий, две тысячи винтовок, двенадцать пулеметов, множество снарядов, патронов, продовольствие и даже генеральские брюки начальника штаба, бежавшего к финской границе в одном белье. Брюки эти брезгливо принес на кончике штыка красноармеец с черным чубом и бросил на палубу.

— Ну что? — спросил Тренер Мартайнена.

— Разгром.— Мартайнен впервые за время службы на канонерке улыбнулся. Улыбка у него была ослепительная и открытая.— Руку прострелило? Ничего! Будем плавать вместе.

Тренер еще не знал, что «Музыкант» прославился вторично. В разгар боя Сарвинг перехватил радио на немецком языке из Сердоболя, где стояла финская флотилия. Очевидно, до Сердоболя дошли отголоски боя. Радио запрашивало: «Сообщите, что случилось. Нужна ли помощь?» Сарвинг ответил: «Все благополучно. В помощи не нуждаемся». Финская флотилия продолжала мирно качаться на сердобольском рейде и не выслала в район Видлицы даже разведки.

Весь день Тренер пролежал в каюте. За иллюминаторами душным паром лежал туман. В пелене тумана грозно и нежно пропели сирены миноносцев, прощавшихся с флотилией. Миноносцы уходили в Петроград.

К вечеру зашлепали колеса, зажурчала вода, залязгали рулевые цепи,— флотилия снялась обратно в Свирицу.

Мартайнен принес Тренеру чашку настоящего черного кофе. Впервые он долго и внимательно расспрашивал Тренера о ледниковом периоде. Тренер оживился, даже боль в простреленной руке стала меньше.

— Меня занимает,— Тренер смущенно улыбнулся,— одна мысль. Когда кончится война, я попытаюсь изложить ее на бумаге. Я хочу написать книгу. Мне кажется, я найду способ предотвратить новое нашествие льдов.

Мартайнен встал. Пора было уходить и дать раненому отдых,— начинался бред. Комиссар внезапно подумал, что на койке лежит не капитан сорока лет, а мальчик, взволнованный чтением Жюля Верна.

Никогда в жизни — ни в Финляндии, где Мартайнен работал на верфи в Ганге, ни в Кронштадте на флоте — он не встречал таких странных и привлекательных людей.

В своей каюте Мартайнен долго стоял, широко расставив ноги. Потом он открыл сундучок, достал растрепанную книгу «История кораблекрушений» и пошел к Тренеру. Раненый спал. Мартайнен положил книгу на стол — пусть почитает завтра.

В коридоре Мартайнен встретил вахтенного, свирепо посмотрел на него и сделал замечание за плохо вымытую палубу. Этим он как бы расквитался с собой за несвойственную ему мягкость и, успокоившись, ушел спать.

Утром пришло радио, что после видлицкой операции белый фронт дрогнул и финны бегут к границе.

Флотилия возвращалась по Свири в Онежское озеро. Река несла пену, отражения неба, облаков, березовых рощ, свисавших над берегами. Суда флотилии кроили серыми бортами на части волнующийся весенний мир, стремительно плывший по реке. Он разлетался на тысячи осколков на каменных порогах, но быстро возникал вновь.

На палубе пели. Тренеру доставляло удовольствие думать, что канонерка идет в солнечные страны и матросы хохочут, не в силах сдержать избыток веселья.

— Победа,— прошептал он и уснул.

Напрасно искать описание этого случая в истории войны, изданной американским военным министерством.

Сто тринадцатый американский полк, пришедший воевать против «красных боло» — большевиков, расквартировали в Медвежьей Горе и по бревенчатым блокгаузам вдоль Мурманской дороги.

Лейтенант Шервуд был офицером этого полка, состоявшего из румяных и сытых солдат.

В блокгаузах пахло инжирными конфетами и трубочным табаком «вирджиния». Солдаты брились каждый день. Консервные банки радовали глаз пестротой этикеток.

Офицеры носили в карманах безделушки — то плюшевых зайчат, то брелоки из неаполитанских камней — в качестве талисманов от бед. Патефоны наигрывали веселые военные песенки.

— Война — это охота,— говаривал лейтенант Шервуд.

В широком свитере и с трубкой в крепких зубах он был похож на городского охотника, приехавшего в леса с веселой компанией друзей бить волков и ставить западни на лисиц.

Шервуд был игроком. За картами его лицо чернело. Он обыгрывал всех и деньги прятал небрежно и безжалостно. Он обладал всеми качествами игрока: сухим равнодушием, истерической раздражительностью и глубоким убеждением, что окружающие созданы только для того, чтобы ему, Шервуду, было легче и приятнее жить.

До войны с «красными боло» Шервуд никогда не знал страха. Первый страх он испытал в селе Толвуе. Он старался о нем не вспоминать.

В Толвуе Шервуд со своим отрядом устраивал восстание против большевиков.

Может быть, если бы к Толвую подошел крейсер, чистый и сверкающий, Шервуд не испугался бы. Может быть, он даже вступил бы в бой с десантом — румяными матросами, одетыми в удобную и дорогую форму. То была бы лихая стычка с товарищами по оружию, отличавшимися от Шервуда лишь тем, что они люди другой национальности.

Но вместо крейсера Шервуд увидел грязный и низкий пароход, который топили дровами. Вместо новеньких орудий — облезлую пушку, бившую растрепанно и часто.

Вместо чистых матросов на берег выбегали оборванные люди, и, наконец, вместо блестящего офицера он заметил грузного женоподобного мужчину в шинели, похожей на больничный халат.

Шервуд понял, что это — смерть и ни о какой веселой перестрелке не может быть и речи. Перед ним были не товарищи по оружию, а враги. В их глазах Шервуд прочел свой приговор.

Нервы игрока не выдержали. Шервуд бежал, не сделав ни одного выстрела.

В Медвежьей Горе он сочинил рапорт, где бегство было заключено в такое количество шаблонных военных выражений, что теряло характер бегства и становилось «совершенно необходимым отступлением под натиском превосходящих сил противника».

Военный пыл сто тринадцатого полка быстро выветривался. Наступление на Петрозаводск шло медленно. От наседавших американцев яростно отбивался единственный батальон, прозванный американцами «батальоном помешанных».

— Взбешенная кошка может испугать даже льва,— говорил по этому поводу помощник Шервуда Тоуз.

Шервуд начал замечать, что солдаты — с ними в прежнее время было так приятно шутить — начали больше помалкивать. Они шептались по блокгаузам и внимательно рассматривали офицеров, будто видели их в первый раз.

Чутьем игрока Шервуд догадался, что солдаты прикупили хорошую карту, но никак не мог решить — какую. Все дело в том, когда они с нее пойдут и чья комбинация будет сильнее.

Ясно, что игру со стороны солдат будет вести сержант Кейри. Это успокаивало Шервуда. Что может выкинуть этот бывший садовник?

Прежняя профессия Кейри, подстригавшего плодовые деревья в садах Калифорнии, должна была выработать в нем качества, свойственные садовникам: доброту и склонность к размышлениям, особенно по утрам, когда сады пахнут воском и цветами померанца.

Шервуд рассказал о своих опасениях Тоузу.

Тоуз начал философствовать — это было его единственным недостатком.

— Божья коровка,— сказал он, радуясь собственной находчивости,— всегда ползет по пальцам вверх. Кейри —

божья коровка. Имея дело с ним, никогда не опускайте руку, а держите ее пальцами вверх. Показывайте на небо, и Кейри невольно поползет к небесам.

— Бред,— пробормотал Шервуд.— Говорите серьезнее.

— Необходимо поддерживать возвышенный образ мыслей этого солдата. Надлежит делать вид, что мы вегетарьянцы и убивать «красных боло» нам так же неприятно, как собственноручно резать петухов. Станьте его единомышленником, обезоружьте его этим. Ругайте командира полка. Пойте почаще «Звезду отчизны». Тоскуйте по родине. Это верный путь избавить себя от неприятностей.

Шервуд послал Тоуза ко всем чертям и решил развлекаться. Их рота стояла в тылу около Дигановой горы. Стычек с «боло» не случалось, это очень успокаивало солдат. Тоуз предложил устроить пикник на ближайшем озере.

День пикника напомнил Шервуду калифорнийское лето. Солнечный свет заливал траву, где трещали кузнечики. Казалось, в озеро с большой высоты сыплется бисер.

От рома голова гудела перетянутой гитарной струной. Патефон насвистывал лихую военную песенку:

Милей солдата
На свете нет,
Об этом знает
Красотка Кэт!

Тоуз, как всегда в таких случаях, говорил о величии солдатской жизни. Речь его звучала неподдельным пафосом.

— Что такое солдат? — кричал он отрывисто и чокался с русской женщиной, приглашенной на пикник из Медвежьей Горы.— Солдат — это человек, знающий цвет воды всех океанов и цвет небес всех материков. Вот что такое солдат! Полки идут всюду — и по снегам России, и по земле Палестины. Чужой ветер шумит в наших знаменах. Ваше здоровье, но, поверьте, я не пьян! Слава горит над нами, как солнце,— слава побед и прелесть опасности. На своих штыках мы носим цветы родных полей. Мы посылаем мысленные поцелуи девушкам, оставленным за океаном. Жизнь солдата прекрасна. Жизнь солдата гремит, как марш. Но, к сожалению, слишком часто она бывает так же коротка, так же коротка.

Тоуз впал в грустное состояние и предложил русской покататься на лодке.

Шервуд незаметно привязал к лодке тонкий канат и, когда она отошла на несколько шагов от берега, стремительно потянул ее обратно. Тоуз греб, брызгал веслами и ругался.

Шервуд отпустил лодку, но снова потянул ее с той же силой. Лодка врезалась в берег. Женщина упала. Ее легкое шелковое платье промокло. Она припужденно улыбалась. Шервуд хохотал.

В эту минуту появился Кейри. Он двигался по лесной тропинке и был виден издалека. Он держал винтовку наперевес. Перед ним шел высокий худой человек с завязанными руками. Порванный клеш бил его по ногам.

Наступила неприятная тишина.

Шервуд опрокинул в горло алюминиевый стаканчик рома, нащупал в кармане револьвер и встал. Тоуз и женщина подошли сзади.

— Пленный,— сказал Кейри, стукнул прикладом о землю и замер.

— Матрос? — спросил Шервуд пленного на ломаном русском языке.

Пленный молчал.

— Из какой части?

Пленный молчал.

— Если вы не перестанете молчать, я буду вынужден поступить с вами, как со шпионом.

Пленный молчал.

— Сын вора,— сказал Шервуд тихо,— если вы назовете свою часть и количество штыков, я отпущу вас обратно. Ваше присутствие в банде «боло» их не спасет.

Шервуд подождал, но пленный ничего не ответил.

— Комиссар? — догадался Шервуд и взглянул в лицо пленного.

Пленный смотрел на Шервуда пристально и спокойно. Шервуд отступил. Пленный сделал шаг вперед, не спуская с Шервуда глаз. Кейри стукнул прикладом и тоже сделал шаг вперед.

— Мне эта комедия не нравится! — крикнул Шервуд, чувствуя прилив истерического раздражения.— Заговоришь ты или нет, собачье мясо?

Пленный продолжал рассматривать Шервуда.

— Что он, немой? — спросил Шервуд Кейри.

— Нет, сэр, он разговаривал и даже смеялся.

Глаза Шервуда побагровели. В голове гудела готовая лопнуть струна.

— Говори! — Он плеснул на пленного остатками рома из стакана. Стакан во время допроса Шервуд держал в руке.

Пленный сделал шаг вперед и плюнул Шервуду в лицо. Женщина вскрикнула. Кейри все еще стоял навытяжку.

— А-а-а! — Шервуд отскочил к сосне. Тоуз знал, что сейчас начнется припадок.— Сержант, не тратить на него больше одного патрона. Сколько у вас патронов в винтовке? Пять? Через полчаса Тоуз проверит вашу винтовку. В ней должно остаться четыре патрона, или вы будете болтаться на первом семафоре.

— Слушаюсь,— глухо ответил Кейри, тронул пленного за рукав и пошел с ним в глубь леса.

«Об этом знает красотка Кэт»,— свистел равнодушный ко всему патефон.

Пикник был сорван. Тоуз и русская женщина вернулись в поселок. Шервуд остался. У него разболелась голова. Ему хотелось отдышаться.

Через полчаса сержант Кейри явился к Тоузу и молча подал винтовку. Тоуз лениво проверил патроны. Их было четыре.

Через два часа на берегу озера обнаружили труп лейтенанта Шервуда. Выстрел был произведен в голову.

В тот вечер в солдатских бараках было шумно и неспокойно. Тоуз слышал, как солдаты пели свою любимую песенку:

Взойди скорей, звезда моей отчизны,
Далекий край измучил сердце мне.
Что делать, брат? Беду солдатской жизни
Не утопить в вине.

Через неделю солдаты сто тринадцатого полка отказались сражаться и потребовали немедленной отправки на родину.

Полк стянули к океану и посадили на транспорты.

Через шесть месяцев сержант сто тринадцатого полка Джон Кейри был приговорен к смертной казни за убийство лейтенанта того же полка Гордона Томаса Шервуда.

На суде Кейри показал следующее:

— Лейтенанта Гордона Шервуда убил я, и убил потому, что он был негодяй.

Весной тысяча девятьсот девятнадцатого года меня послали с ним в село Толвуй, на берегу Онежского озера, с целью поднять восстание против большевиков.

Мы пробыли в Толвуе три дня. На четвертый день к берегу подошла канонерская лодка большевиков, открыла огонь и высадила десант. Он состоял, как потом выяснилось, из полковых музыкантов, едва умевших владеть винтовками. Мы бежали, не истратив ни одного патрона.

На улице в очень узком месте лейтенант Шервуд столкнулся с женщиной. Она вела за руку девочку лет трех. Я бежал сзади и все видел. Лейтенант Шервуд находился в том состоянии страха, когда кажется, что каждая секунда дорога для спасения собственной жизни. Он предполагал, что женщина с ребенком задержит его бегство. Не останавливаясь, он выхватил ручную гранату, сбил кольцо и швырнул ее в женщину. Взрывом была убита девочка.

Уже тогда у меня появилась мысль убить этого офицера.

Мы вернулись в Медвежью Гору. Здесь я встретил большевиков, пробравшихся в наш тыл.

Я узнал, что мы были глупо обмануты. Я увидел людей, в тысячу раз более близких мне по крови и духу, чем офицеры американских полков.

Председатель суда предупредил, что это замечание усугубляет вину и усиливает наказание.

— Больше, чем казнить меня, вы со мной ничего не можете сделать.

— Продолжайте,— поморщился председатель.

— Во время стоянки нашей части в резерве около Медвежьей Горы патруль из трех солдат задержал в лесу матроса-большевика. Я доставил его к лейтенанту Шервуду. Лейтенант пьянствовал на берегу озера со своим помощником Тоузом и неизвестной мне русской женщиной. Пленный отказался дать показания. Лейтенант пришел в ярость и плеснул в него остатками рома из своего стакана. За это он заслужил от пленного плевок в лицо.

Кейри остановился.

— Лейтенант приказал мне расстрелять пленного. Я отвел его за четверть мили и отпустил, дав ему на дорогу табаку и спичек. Потом я вернулся к лейтенанту. «Негодяй убит?» — спросил он меня. «Так точно!» — ответил я и выстрелил ему в лицо. Я сделал то, что нахожу нужным. Все дальнейшее хорошо известно.

— Вы большевик? — спросил председатель.

— Кончайте,— ответил Кейри.

В зале суда наступила тишина.

Из комнаты конвоя долетало заглушенное пение:

Взойди скорей, звезда моей отчизны,
Далекий край измучил сердце мне.
Что делать, брат? Беду солдатской жизни
Не утопить в вине.

Председатель послал секретаря прекратить пение.

В августе канонерка «Музыкант», получив приказ произвести разведку, подошла к восточному берегу озера, к селу Песчаный Погост.

Ранняя осень уже засыпала лесные дороги мокрыми листьями. Ветер сносил их в кучи около ветхой ограды Песчаного монастыря.

Боцман с «Музыканта» Миронов пошел на берег, долго бродил около монастырских стен, искал грибы, зашел к монахам, побеседовал, посмеиваясь, о кончине мира, а вечером доложил Сарвингу, что одного из монахов нужно немедленно арестовать.

— Почему?

— Коротковолосый,— ответил Миронов.— На пальце у него след от кольца. Монахи колец не носят.

Сарвинг согласился.

Вечером Миронов взял двух матросов и пошел в монастырь. Почти задевая за лицо крыльями, метались вокруг летучие мыши. Над пустошами, заросшими низким лесом и желтой травой, над порубками и болотами подымалась заржавленная луна.

— Вот,— сказал Миронов, поглядев на луну.— Был я в Америке. Там в ресторанах бьют в такие медные гонги, созывают господ в дининг-рум обедать.

Миронов до революции был матросом торгового флота. Он плавал на французских пароходах между Шербургом и Рио-де-Жанейро. Бразилию он не любил.

На жадные расспросы товарищей об этой фантастической стране он отвечал односложно:

— Жарко очень. Нет моготы, как жарко. Никакой бани не нужно. Пот с тебя вытекает, как сало с жареного поросенка. Народ мелкий и нервный. Ходят, вертятся, чирикают, как воробьи,— нету силы в народе.

Миронов говорил с натугой, заикался, краснел.

Разговор для него был каторжной работой. Он предпочел бы перекрасить своими руками всю канонерку от киля до клотика, чем отвечать на приставания матросов.

Миронова тотчас же прозвали «оратором». Когда заходил разговор о выступлении где-нибудь на сельском сходе, шутники кричали, прячась за спинами надежных соседей:

— Даешь Миронова! У него язык работает механически!

Миронов выискивал обидчика глазами, потом говорил в пространство:

— Гляди, как кокну, мокро станет!

Монастырские ворота были заперты. Миронов постучал рукояткой маузера. Монах с гнилым запахом изо рта приоткрыл калитку.

— Ты бы, батя, водку пил, нутро у тебя от святости гниет,— сказал Миронов, протискиваясь в калитку.

Монах поклонился в пояс.

— Веди к настоятелю.

— Они богу молятся,— просипел монах и мигнул облезлыми глазками.— Нельзя их нынче тревожить.

— Говорю, веди!

Монах шустро побежал по заросшему бурьяном двору.

В покоях настоятеля бегали по стенам худые тараканы. Мутно светили лампадки, и только луна за пыльным окном сияла круглой золотой иконой.

Настоятель вышел молча. Он сжимал сухими руками железный крест на груди и тонко посапывал носом.

— Где ваш святой странник, папаша? — спросил Миронов.— Подайте его на бочку.

— Пошто он вам нужен, матросики? — спросил настоятель басом.— Пошто нарушаете иноческий покой? Неужто нельзя призывать господа среди ваших братоубийственных дел? Игрушку спрячь,— настоятель кивнул

на револьвер.— Бог жизнь дал, бог и приберет в положенное время.

— Не бузи, патриарх! — Миронов начинал сердиться.— Мы заместо бога приберем кого полагается.

Настоятель воздел руки к небу и затряс головой. Миронов оттолкнул его и вошел в заднюю комнату. С лавки встал худой человек в старой рясе.

— Их высокородие командир канонерской лодки капитан Ерченко,— сказал Миронов,— просят ваше благородие пожаловать к нам на корабль на чашку чаю.

— Веди,— сказал странник и твердым военным шагом пошел к двери. Лицо его было спокойно и устало.— Веди,— повторил он.— Все равно, такое уж твое счастье.

На канонерке странника обыскали. Под рясой и вонючим тряпьем нашли пакет с английскими донесениями, напечатанными на папиросной бумаге. Донесения на имя великобританского поверенного в Вологде были подписаны генералом Уолшем и, судя по содержанию, переправлялись из Мурманска.

На груди у странника обнаружили шрам от пулевой раны. Но особенно удивило матросов то обстоятельство, что подмышки у странника были чисто выбриты.

— На какого дьявола это нужно? — спросил Миронов.

— От вшей,— спокойно ответил странник.— Опасности меньше. Когда же твой командир меня допросит?

— Дай срок. Управится, тогда и допросит.

— А к стенке когда?

— А за стенку ты не журись. Стенка никого не минует. Может, заместо стенки ты у нас будешь коком — свиней палить. Останешься на сверхсрочную службу. Всякое случается, господин офицер.

Сарвинг перевел донесения и приказал привести арестованного. На столе в кают-компании лежала записка, найденная у пленного, с двумя цифрами — 13 и 57, браунинг и золотая пуговица с орлом.

— Садитесь, поручик.— Сарвинг говорил очень медленно, и на его обрюзгшем лице, вопреки обыкновению, не было даже тени улыбки.

— Я не поручик, а подполковник. Но сейчас это не важно.

Сарвинг усмехнулся.

— Сейчас важно лишь то, что вы обыкновенный шпион,— промолвил он, перебирая бумаги.— Но не будем

вспоминать о неприятных вещах. Поговорим на более интересные темы. Например, не встречали ли вы в Мурманске англичанина со шрамами на лице? Такие шрамы остаются на обмороженных местах. Чего вы хотите, пятьдесят градусов ниже нуля — это вам не жук потрогал лапкой. В бураны и при плохой пище все кончается гангреной и смертью. Так вот, не случалось ли вам беседовать с человеком, покрытым такими шрамами?

Офицер помолчал.

— Да. Такого я, кажется, видел, но не говорил с ним. Я не знаю английского языка.

— Значит, вы не знаете и содержания этих документов? — Сарвинг положил руку на листок папиросной бумаги.

— Нет.

— Вы плохой шпион.— Сарвинг поднял на офицера серые глаза, во взгляде его была брезгливость и усталость.— Вы не интересуетесь людьми. Вы не интересуетесь даже секретными пакетами, из-за которых рискуете жизнью. Поэтому-то вы так легко и попались.

— Не потому,— ответил офицер, скручивая толстую папиросу из махорки.— Я прошел пешком от Повенца до Песчаного Погоста. Я устал. Мне все надоело. Один конец.

— Раскаяние после ареста не имеет никакой силы.

Офицер молчал.

— Куда вы шли?

— В Вологду.

Сарвинг тихо свистнул — далеконько! Он повертел золотую пуговицу и бумажку с цифрами 13 и 57.

— Это что?

— Пустяки. В Вологде я должен был пришить эту пуговицу к косоворотке, чтобы меня опознали свои. А тринадцать и пятьдесят семь — это пароль и отзыв. На пристани в Вологде я должен был встретить человека с такой же золотой пуговицей и сказать ему «тринадцать». Если он ответит «пятьдесят семь»,— значит, свой. Я передаю ему пакет и получаю новое задание. Вот и все.

Сарвинг спрятал пуговицу и записку в карман вытертой до блеска синей куртки.

— Пошлете кого-нибудь в Вологду? — спросил офицер.

— Как придется.

— Мне безразлично. Скоро вы отправите меня в «штаб Духонина»?

Сарвинг побарабанил пальцами по столу. Бледные звезды за окнами казались страшно далекими, будто канонерка стояла среди Тихого океана. За переборкой кто-то сердито сказал:

— Пес вас знает, выбленочный узел завязать не умеете! Бархатные стали, черти!

— Сперва я отправлю вас в штаб флотилии. Если шпион дается в руки живым, то его обыкновенно разменивают. Таков неписаный закон. Но, в общем, в штабе посмотрят.

Два матроса с винтовками отвели арестованного в каюту.

Ночью канонерка снялась и пошла на соединение с флотилией.

Сарвинг сидел в каюте, сдвинув фуражку на затылок, много курил и перечитывал документы, отобранные у офицера. Огня он не зажигал. В окна светила пасмурная северная ночь.

Сарвинг волновался. Он бормотал про себя ругательства, пытался встать, но снова со скрипом садился на койку и подолгу смотрел на белесую карту озера, где берега и глубины проступали тонкими, почти стертыми линиями. Ему нужен был собеседник, чтобы излить свое волнение. Собеседника не было. Но если бы он и был, то Сарвинг все равно не мог бы высказать ему свои мысли, ибо они касались документов, совершенно секретных. Поэтому Сарвинг беседовал с картой.

— Паршивая получается комбинация,— говорил он, часто задумываясь.— Вот я, Ерченко, штурман дальнего плавания... Плавал я и в Атлантическом океане, и в Тихом, и к берегам не жался, как каботажники. Плевали мы на маяки! Мы маяков по две недели в глаза не видели.

С детства, понимаешь ты, с самого детства я всосал в себя вместе с чаем и табаком уважение к своей профессии. Моряки — это не озерные трепачи. Кто открывал новые земли? Кто описывал берега, изучал течения, погибал у полюсов? Наш брат моряк. Благодаря кому открыта теория Дарвина? Благодаря морякам и кораблю «Бигль». Не будь кораблей и плаваний, Дарвин сидел бы себе би-

блиотекарем в Лондоне и жевал бутерброды с крутыми яйцами. Вся история прошита, как парус прошивается манильским тросом, именами моряков. Колумб, Магеллан, Кук, Лаперуз, Беринг, Нансен да, наконец, этот самый Шекльтон.

Да... Шекльтон... Мужество отчаянное, полярные ночи, вылазки на лыжах к Южному полюсу. Человек смотрел смерти в лоб, смотрел и смеялся. Газеты писали о величии... Нет, я не сомневаюсь. Это было настоящее величие. Еще в морском училище историк Шервинский говорил нам: «Морякам присущи сильные характеры». Так вот этот самый Шекльтон был одним из немногих... Как это сказать? Ну, человек с железными скулами и запасом жизни, которого хватило бы на десять капитанов... И вот — сгнил. Осталась одна мертвая хватка. И все Англия. Лондонские коммерсанты, чертовы старички, чтоб они пропали!

Сарвинг наклонился над столом. Выцветшая ночь разливала по каюте свет, как бледную воду.

Было холодно. Хотелось закутаться с головой в шинель, согреться, уснуть и увидеть во сне родную Одессу, теплую воду в Бакалейной гавани, солнце, мокрые букеты гвоздики, что продают девчонки.

Сарвинг поежился. Если наскочат английские истребители, то так, может быть, и придется умереть, не выспавшись. Он начал медленно читать:

«Уполномоченному правительства его величества.

Вам необходимо знать, что бывший офицер королевского флота Шекльтон, прославленный своей экспедицией к Южному полюсу, заключил с губернатором Северной области генералом Миллером соглашение о передаче в концессию английскому акционерному обществу под председательством упомянутого Шекльтона всех богатств Кольского полуострова. Общество обладает капиталом в два миллиона фунтов стерлингов. Оно состоит из англичан с наилучшей деловой и финансовой репутацией. Концессия заключается на 99 лет.

Общество Шекльтона получает Мурманский район со всеми минеральными залежами, железнодорожную линию от Мурманска до Сороки, право вывозить лес в неограниченных размерах, строить лесопильные заводы, дороги и порты, ловить рыбу и вообще всячески использовать рус-

ский Север в интерсах развития великобританского капитала.

Генерал Миллер получает взамен крупный транспорт продовольствия и обмундирования. Будут также доставлены иные предметы, необходимые для успешных действий русской добровольческой армии».

— Иные предметы! — Сарвинг усмехнулся.

«Директор-распорядитель компании Шекльтон прибыл в Мурманск для работы.

Вам необходимо поддерживать среди организации русских офицеров уверенность (основанную на подлинном положении дела), что работа английских промышленников на севере не только облегчит борьбу с большевиками на фронте, но упорядочит тыл добровольческой армии, каковой, как вам должно быть известно, носит черты беспорядка и анархии.

Сообщаю вам для сведения, что флотилия его величества на реке Северной Двине пополнилась броненосной канонерской лодкой речного типа «Умбер», пришедшей из Бразилии, и тремя номерными мониторами».

Утром канонерка подходила к острову Хед. Шли у самого берега. Солнце переливалось в воде выпуклыми зеркалами. Пахло теплыми листьями ивы.

На баке слышался смех. Боцман Миронов рассказывал матросам, как английская речная канонерка «Умбер» во время плаванья по Амазонке запуталась в водяных лилиях и потеряла винт.

За островом открылась флотилия. Со сторожевого катера заиграли на гребешках неистовый марш — обычное приветствие «Музыканту». Миронов погрозил насмешникам кулаком и обозвал их «халамидниками».

Сарвинг просемафорил флагманскому кораблю: «Имею на борту пленного белого офицера с секретными документами».

От флагманского корабля отвалила шлюпка. Вода разлеталась с весел гребцов тяжелыми каплями ртути. Оловянные лососи выскакивали из воды, окруженные брызгами и бледными радугами от солнца.

До осени Тренер пролежал в петрозаводском лазарете. Рука долго не заживала. Началось глубокое нагноение — в рану попал кусок шинельного сукна.

В начале августа рука прошла. Тренер собирался выписаться, но заболел сыпным тифом.

Вместе с Тренером лежал сигнальщик с «Музыканта», Федор Гущин, раненный в ногу.

Судьба как бы нарочно сталкивала Тренера с Гущиным. Оба были ранены в одном бою под Видлицей, в один и тот же день заболели сыпняком и вместе вышли из лазарета.

Гущин был низкорослый матрос с прищуренными глазами. В лазарете он зачитывал до дыр пухлый томик Пушкина.

Каждый раз, откладывая книгу, Гущин говорил:

— Окончательно хорошо!

— Чем тебе Пушкин нравится, Федя? — спрашивал Тренер.

— Душа от него горит, Эдуард Петрович.

Душа у Гущина горела не только от Пушкина. Она горела и от воспоминаний, и от жгучей боли. Гущин не мог забыть буйные митинги на Якорной площади в Кронштадте, дождливую ночь, когда он стоял в карауле у Смольного, и гром башенных орудий «Авроры», стрелявшей по Зимнему дворцу.

Пламя костров и огни выстрелов в тумане — такими запомнились ему первые дни Октября. От них тянуло свежестью балтийских волн. Со щек не сходил кирпичный румянец. Бушлат был всегда нараспашку. Сердце холодело от волнения,— казалось, прямо в сердце дул ветер революции.

От боли душа начала гореть недавно. Гущин шептал в потолок: «Окончательные гады»,— и отворачивался от Тренера к стене.

Он скрывал от капитана страшную новость: канонерка «Номер два» и сторожевое судно «Баян» выбросились на камни около Толвуя после боя с английскими истребителями и гидропланами.

В первых числах августа истребители наскочили на канонерку и «Баяна», стоявших в дозоре у острова Сал. Истребители носились с неимоверной скоростью. Они развивали шестьдесят узлов в час, а наши канонерки едва натягивали четырнадцать узлов.

Истребители вертелись угрями, вспарывали воду и, пользуясь преимуществом хода, спасались от выстрелов. Гидро засыпали наши суда бомбами, снижаясь к самой воде.

Когда орудия на канонерке и «Баяне» раскалились и отказались стрелять, оба корабля, полузатопленные и окутанные паром, выбросились на камни. Команда спаслась вплавь. Гидро расстреливали плывущих из пулеметов.

Канонерка «Номер шесть» до последней минуты отражала набеги истребителей, прикрывая собой израненные суда. Расстреляв все снаряды, она ушла на юг, отбиваясь из винтовок от англичан, наседавших, как стая гончих.

Гущин боялся рассказать об этом Тренеру: капитан был еще слаб.

— Труба! — бормотал Гущин.— Ну, ничего, посчитаемся.

Посчитаться пришлось только поздней осенью, когда Тренер и Гущин вернулись во флотилию.

В первых числах октября флотилия вышла в Толвуй.

Около Толвуя, на острове Мэг, белые поставили сильные судовые орудия. Остров запирал вход в Повенецкий залив.

Был получен приказ уничтожить батареи противника на острове Мэг, уничтожить белую флотилию и высадить десант в тылу у белых, в Медвежьей Горе.

Хмурая осень моросила над озером. Лесные гари затянули берега серой дымкой.

В Толвуе Тренер пошел с Гущиным к Кузьминишне в «Кафе Колдунчик». Старуха узнала капитана, обрадовалась и снова накормила его простоквашей. Учительницы Тренер не застал. Она уехала в Петрозаводск, и Кузьминишна даже не знала ее адреса.

От Кузьминишны пошли побродить в лес. Приближался вечер. В тумане падали желтые листья.

Гущин сорвал ветку мокрой калины и сказал задумчиво:

— «Люблю я пышное природы увяданье».

После лазарета он часто вспоминал кстати и некстати пушкинские стихи.

— Здесь я ее нашел, учительницу,— он показал Тренеру на тропинку.— Сердце горит, как вспомню.

На канонерку они вернулись в темноте. Звезды отражались в озере, как в матовом стекле. Леса опадали. В ушах Тренера стоял еще шорох сухой листвы, свист последних птиц. Не верилось, что рядом рыщут истребители белых и что вот в этом переулке лейтенант Шервуд бросил ручную гранату в двухлетнюю девочку.

Гущина радовало, что завтра бой и он наверняка примет сигнал командующего лечь на створ острова Мэг и открыть огонь залпами. Опять матросы зовут его «Копченым глазом», как принято дразнить сигнальщиков. Но даже это радовало Гущина.

Тренер проснулся еще до рассвета. За перегородкой каюты барабанил по палубе дождь.

Тренер натянул сырую шинель. Его знобило. Сквозь изморось с трудом просачивалось слякотное утро. На востоке лежала розовая грязная муть. Она предвещала ненастье.

Гущин не ошибся — с флагманского корабля просемафорили приказ лечь на створ острова Мэг.

К десяти часам утра открылся низкий остров. Розовый свет на горизонте потух. Навстречу кораблям бежали бесконечные волны. Начало качать.

Кабельтовы уменьшались, но остров молчал. На сигнальной мачте был виден в бинокль трехцветный флаг.

На судах заиграли боевую тревогу.

Остров полыхнул шестью желтыми огнями. Угрюмый гром потряс воздух. Дождь пошел гуще.

Флотилия открыла ответный частый огонь. Суда маневрировали, ложась на разные курсы.

— «Дым багровый клубами всходит к небесам»,— громко сказал Гущин.— Садят из шести орудий. Красота! Однако спасения им не будет.

Все было непривлекательно: и небо, и озеро, и пасмурные дали, и низкий остров. Только желтые вспышки орудий разрывали замешанный на пепле дым. Вспышки эти казались Тренеру праздничными хлопушками.

Внезапно Тренер ощутил прилив мальчишеской радости. Непонятная уверенность, что и его, и Мартайнена, и всю флотилию ожидает необыкновенное счастье, заставила его рассмеяться. Такое чувство он изредка испытывал в жизни. Оно никогда не обманывало. Гущин с удивлением взглянул на смеющегося командира: боевой парень, даром что сказочник и чудак!

Тренер повернул канонерку бортом и дал залп по острову, дымившемуся от разрывов и дождя.

Неожиданно спустился туман. Огни выстрелов на острове едва пробивали его пелену. Тренер с раздражением взглянул на часы,— всего восемь часов утра, но впечатление такое, что на озеро опускается ночь.

Бой быстро затихал. Остров растаял в тумане. Дождь монотонно гудел по палубам кораблей. Подойти ближе к острову было невозможно: белые поставили под берегом мины.

С флагманского судна передали приказ прекратить огонь и стягиваться к Кузаранде. Надо было экономить снаряды и пополнить запас дров.

— Ну и паршивые места! — рассердился Тренер.

На следующее утро флотилия снова подошла к острову и открыла жестокий и частый огонь.

Сперва остров отвечал из всех орудий, потом начал отвечать все реже, как огрызающийся зверь. На острове возник пожар.

Внезапно Тренер выругался и засвистел, что во время боя считается верхом бестактности. Но событие действительно было необычайное: снаряды белых ложились перед самым островом — там, где никаких судов не было. Белые били в чистую воду.

— Они ошалели! — крикнул Гущин.

Старший артиллерист пожал плечами.

— Забавно,— промолвил Мартайнен и показал глазами на всплески снарядов, подымавшиеся далеко позади флотилии.

Белые стреляли суетливо и неумело.

— Что происходит? Что за кабак! Какие немыслимые дистанции.

— Или повальное сумасшествие,— предположил артиллерист,— или испортились дальномеры.

Можно было подумать, что орудия на острове попали в руки детей и они забавляются, расстреливая прибрежные скалы. Одна скала взлетела на воздух каменным дождем.

Тренер укоризненно покачал головой. Суда флотилии постепенно прекратили огонь.

С флагманского корабля затрещало радио. Командующий предлагал острову сдаться во избежание излишнего кровопролития.

Через минуту на уцелевшей сигнальной мачте на острове поднялся красный флаг. «Ура» прокатилось над судами флотилии и далеким громом отозвалось на лесистых берегах. Вздрогнула вода.

Флагманский корабль принял с острова радио: «Не стреляйте». Остров Мэг сдался.

Командующий приказал гарнизону прислать делегацию с замками от орудий. Остров не ответил. Он сдался, но поведение гарнизона казалось подозрительным, хотя орудия на острове молчали.

Ждали весь день. Лишь к вечеру от острова отвалила шлюпка. На судах флотилии наступила глубокая тишина, будто все затаили дыхание, надеясь услышать разговор делегатов с командующим.

Делегаты поднялись на палубу флагманского корабля. Впереди шел молоденький офицер без оружия и со споротыми погонами. Он отдал командующему честь.

— Гарнизон острова деморализован,— сказал он высоким вздрагивающим голосом.— Часть людей вместе с офицерами бежала на берег, часть перепилась. Остальные сдаются.

— Почему вы не ответили на радио о присылке делегации?

— Вашим последним снарядом разбило радиостанцию. Мы доставили пулеметы и шифры.

— Чем объяснить вашу сдачу? Ведь остров хорошо укреплен.

Офицер покраснел.

— Иностранцы ушли. Мы остались одни, и потом... это было безнадежное дело.

Командующий улыбнулся. Он вспомнил утреннюю сумасбродную стрельбу.

— Почему вы вели такой странный, чтобы не сказать больше, огонь?

— Орудийная прислуга была пьяна.

Матросы стояли поодаль. Офицер оглянулся, побледнел и сделал шаг назад. Он ждал, что по бокам вырастут конвойные с примкнутыми штыками, но командующий приказал отвести делегатов в кают-компанию и напоить чаем.

— Я очень прошу,— сказал офицер более твердым голосом,— по возможности не расстреливать нас, а использовать в качестве бойцов. Иностранцы третируют нас, офицеров и солдат Северной добровольческой армии, как

собак. Даже наши союзники плюют нам в лицо, втайне считая нас изменниками родине. Это невыносимо. Лейтенант Смолл устраивает массовые порки крестьян. Адмирал Кетлинский убит в Мурманске за то, что противился интервенции. В тылу разбой, пьянство и хабарничество.

— По возможности мы вас не расстреляем.— Командующий снова улыбнулся своим мыслям.— Вы бывший студент, должно быть?

— Так точно.

В кают-компании офицер жадно пил чай, и на глазах его блестели слезы. Он был еще очень молод. Слезы он глотал вместе с жидким чаем и сухарями.

— Совсем птенец,— сказал командующий комиссару флотилии.— Трудно такому без мамы, ой, трудно!

Делегаты сообщили, что вокруг острова стоит пояс мин.

Всю ночь к Мэгу ощупью подходили шлюпки с судов флотилии. К утру на остров был высажен отряд моряков. Он захватил восемь орудий и богатые запасы обмундирования и продовольствия.

Около судов флотилии плавали вспоротые консервные банки от английского корнбифа и французской солонины.

Потеплело.

Половина неба затянулась красным дымом — за облаками заходило солнце.

Тренер втянул воздух всей грудью. Он проглотил одним залпом десятки свежих запахов: онежской воды, рыбы, осени, смолистых палуб, березового дыма из корабельных труб.

Вторую победу он ощутил как отдых.

Обстоятельства смерти сигнальщика Гущина передавались из уст в уста и ко времени прихода флотилии из-под Медвежьей Горы в Петрозаводск приобрели характер легенды. На самом же деле смерть эта была для гражданской войны вполне обыкновенна.

Официальный рапорт сообщает следующее:

«В ночь на 5 ноября флотилия вышла из Толвуя к Медвежьей Горе для высадки десанта в тылу у белых.

Вблизи Аженского маяка к кораблям флотилии присоединились транспорты с отрядом красноармейцев. Не-

смотря на сильный мороз, половина бойцов не имела шинелей.

В полной темноте, с потушенными огнями флотилия продвигалась малым ходом вдоль самого берега, дабы не наскочить на мины, расставленные белыми в некотором отдалении от береговой полосы.

Не замеченная неприятелем, флотилия достигла мыса Крестовый Наволок и приступила к высадке десанта. Пошел мокрый и настолько густой снег, что с мостика не было видно собственного форштевня. Десант свозили на шлюпках в темноте и пурге.

При подходе транспорта к берегу шлюпки были обнаружены неприятельским дозором. Сделав несколько ружейных залпов, дозор отошел.

Спустя недолгое время флотилия белых открыла ураганный орудийный огонь из Пергубы, находящейся в миле от Крестового Наволока. Попаданий не было. Белые либо совсем не знали местонахождения нашей флотилии, либо в темноте не могли ориентироваться, так как своим молчанием мы не давали противнику возможности определить наше местоположение.

После получасовой стрельбы в расположении белой флотилии произошло несколько сильных взрывов.

К рассвету высадка десанта окончилась. Десант перерезал шоссейную дорогу Медвежья Гора — Любские Пески и захватил обоз белых.

Утром мороз усилился, и ветер развел большую волну. Флотилия начала обстрел Медвежьей Горы. На наш огонь отвечал только бронепоезд противника.

Днем обстрел Медвежьей Горы возобновился и вызвал в поселке большой пожар.

К вечеру от командира десантного отряда была получена записка. Он сообщал, что белые получили сильное подкрепление, наступают с двух сторон, и пока не поздно — надо дать суда для приема десанта обратно.

Десант был взят на заградители, и флотилия отошла к югу.

Десант не мог развить наступления ввиду пурги, а также голода и крайнего утомления бойцов предыдущими беспрерывными боями.

Во время десантной операции погибло 16 бойцов, в том числе сигнальщик Онежской флотилии Федор Гущин, добровольно вступивший в ряды десантного отряда».

Из рапорта никак нельзя сделать вывод, что десантная операция под Медвежьей Горой нанесла тяжелый удар белым.

В рапорте нет ни слова о ночной панике в Пергубе, как нет и подробностей смерти сигнальщика Гущина.

В рапорте сказано, что дозор белых, сделав несколько ружейных залпов по транспортам, быстро отошел. Дозор сообщил в Пергубу на суда белой флотилии, что к мысу Крестовый Наволок подошло с юга много пароходов. Ночь и буран преувеличили их размеры. По словам дозорных, пароходы были полны людей и на палубах ржали лошади,— очевидно, в тылу белых высаживалась кавалерийская часть.

Белая флотилия, стоявшая на якорях, открыла ураганный огонь. Били вслепую, в ночь, ожидая, когда ответят красные, чтобы по вспышкам выстрелов определить место высадки десанта. Но красные упорно молчали.

Мокрый снег лепил комьями в лица наводчиков. Страшная ночь душила со всех сторон, как петля.

Командующий белой флотилией страдал астмой. Он стоял на мостике, задыхался от раздражения, стучал кулаком по поручням и вскрикивал:

— Отвечайте же, черт вас дери! Отвечайте!

Временами командующему казалось, что дозор напутал, никаких большевиков нет и белая флотилия стреляет по пустому месту. Но тут же всем существом он ощущал крадущийся ход красных канонерок, запиравших его в Пергубе.

— Как они прошли по минам? — спрашивал он помощника. Не дожидаясь ответа, хватал бинокль и дрожащей рукой нащупывал разрывы.

Сначала он ничего не видел, кроме черной непроглядной воды, заливавшей озеро. Потом широкий круг бинокля загорался грязным огнем, взлетали бурные фонтаны, и снова глаза залепляло крепчайшим мраком.

— Противник молчит. Заставьте его отвечать! — кричал он помощнику и судорожно расстегивал шинель. Грудная жаба сосала сердце, то прикусывая его крепким ртом, то отпуская. Командующий знал, что это его последняя ночь на земле.

— Может быть, там никого нет?

Помощник пожал плечами.

— Есть. Прислушайтесь.

Командующий перестал ходить по мостику. Со стороны Любских Песков отчетливо гремели орудия. Командующий узнал огонь белого бронепоезда.

Что может быть страшнее врага, который без единого выстрела берет вас в кольцо в такую собачью ночь? По шоссе мчались обозы. Начиналась паника. Суетливые винтовочные выстрелы распарывали темноту. Со стороны железной дороги донесся тяжелый и медленный удар.

— Красные обходят! Мост взорвали! — крикнул в темноте надорванный голос.

Бронепоезд замолк. Сухопутная батарея белых стреляла очередями. Вспышки выстрелов освещали черные палубы, заваленные снежной жижей, хмурые берега, серый снег, летевший стремительным туманом над лесами.

Суда белой флотилии стреляли беспорядочно, то затихая, то сразу срываясь и перегоняя друг друга.

— Истерика! — пробормотал помощник командующего и вздрогнул от вопля с бака: «Суда по левому борту! Суда!»

— Дайте ракету,— приказал командующий.

Теперь все было ясно: красные канонерки заперли его в смертельной яме, поймали в западню, в чертов капкан.

Ракета свистнула и загорелась больным синеватым светом.

— Вот оно, вот! — крикнул командующий и показал в сторону озера, где в черной воде и шторме мчался, валясь с борта на борт, залепленный снегом до мачт миноносец с красным флагом на стеньге.

Командующий схватил себя за горло. Колючая боль свела скулы. Казалось, они трещат и лопаются на части. Был ясно слышен гул машин и порывистое хрипение пара, рвущегося из труб миноносца.

— «Уссуриец»,— пробормотал командующий.— Откуда? Как он прошел в Онежское из Балтики? Каюк! Взорвать флотилию!

Миноносец налетел белой бурей. Небо дрогнуло. Рев орудий обрушился на мокрые палубы.

Командующий упал. Помощник схватил его за плечи — он был мертв. Ракета погасла.

Помощник сбежал с мостика. С флагманского судна замигал жалкий в ночном шторме световой сигнал: взорвать суда белой флотилии, а командам отступать пешим порядком в Медвежью Гору.

Был миноносец или не был — помощник командующего не знал. Он отдал приказ о взрыве флотилии в силу ясного чувства, что все потеряно.

Через десять минут удары взрывов остановили на минуту буран. Снег пошел медленнее.

Об этом случае в приведенном выше рапорте сказано глухо: «После получасовой стрельбы в расположении белой флотилии произошло несколько сильных взрывов».

На рассвете разрозненные отряды белых моряков отходили к Медвежьей Горе. Свинцовый ветер нес колючую крупу. На месте, где недавно стояла флотилия, гуляла ледяная волна.

Отступавшие остановились — тяжелый залп стряхнул снег с сосен. Красная флотилия наконец открыла огонь. Орудия ворчали уверенно и неторопливо. Ночные страхи давно прошли. Стало ясно, что никакого миноносца не было.

Мурманские гимназисты в матросских шинелях, весь странный сброд, составлявший команду белой флотилии, понуро брел вдоль берега на север, где подымался дым громадного пожара. Горела Медвежья Гора.

Федор Гущин погиб на рассвете на второй день высадки десанта. Он ушел с корабля с отрядом бойцов.

Гущин знал, что поступок его сочтут дезертирством, но ему смертельно надоели неуклюжие пароходы, надоели бои, где не видишь врага, надоело холодное и неспокойное озеро, надоело, наконец, вылавливать мины игрушечными катерными тралами.

Сухопутные стычки казались очень заманчивыми. Там приходилось перебегать, прятаться, хитрить, вообще действовать, тогда как на корабле во время боя стой и жди, влепит или не влепит неприятельская батарея снаряд в твою «консервную коробку».

Весь день Гущин с бойцами отстреливался от наседавших с севера белых. Пальцы сводило от холода. Временами было невозможно спустить курок. Пули мяукали среди сосен и с чавканьем падали в мокрый снег.

Кое-кто из бойцов жевал сухари, но у большинства сухарей не было. Хотелось пить. Гущин стряхивал снег с еловых веток и глотал его. От снега шел слабый запах соленых огурцов.

К вечеру бронепоезд белых вырвался из леса и обстреплял отряд частой картечью. Бойцы падали в снег, дули, ругаясь, на красные пальцы, с натугой оттягивали затворы. Некоторые так и оставались лежать на снегу, и нельзя было понять, убиты они или уснули от непомерной усталости.

К ночи под прикрытием бронепоезда с юга подошли свежие белые части. Десант зажимали в тиски. Он медленно отходил к озеру.

По пути перешли вброд ледяную бурную реку. Один из бойцов упал в воду и начал биться, как пойманная рыба. Гущин понял, что боец пропал. Подобрать его не успели. Белые поливали реку частым огнем из автоматов.

Стало слышно, как далеко на озере громыхала флотилия, бомбардируя Медвежью Гору.

Неопытный в сухопутных боях, Гущин видел одно: десант сбивают к берегу, железная дорога не тронута, белые с двух сторон. Одним словом — «труба». О панике, вызванной десантом в тылу у белых, Гущин не знал. Он ее попросту не видел. О том, что белым, чтобы сбить десант, пришлось снять части с фронта, он тоже не знал.

К вечеру первого дня Гущин совершил второе дезертирство. Он скрылся из отряда, захватив четыре ручных гранаты. Ночью он прошел через лес до полотна железной дороги и залег в кустах около деревянного моста.

Он лежал и слушал, толком еще не зная, что будет делать. К полночи он задремал. Приснился ему родной Белозерск, осень, дождь, приходская школа и поп Иосаф, обучавший его грамоте по растрепанному учебнику Ветхого завета. Поп сидел в классе в глубоких калошах, из-под дверей дуло мокрым холодом.

Гущин проснулся и сплюнул,— приснится же такая мура!

Густо шел снег с дождем. Спокойно погромыхивали рельсы. По звуку Гущин решил, что идет бронепоезд. Он подполз к мосту. Никого вокруг не было. Из лесу осторожно, как бы пятясь, выкатился первый бронированный вагон.

— Эх, чайку бы! — вздохнул Гущин, сбил кольцо с гранаты и швырнул в мост.

Мост осел только после третьего взрыва.

Сбивая кольцо с четвертой гранаты, Гущин замешкался. Граната разорвалась в воздухе. Гущин сел на землю,

почувствовал во рту теплую жидкость и глотнул ее. Она была соленая, от нее тошнило.

— Вот так чаек! — пробормотал он растерянно, сплюнул на снег окрошку из зубов с кровью и лег на насыпь.

Поезд набегал с протяжным гулом.

Гущин опять забылся, увидел Тренера, шедшего к нему через лес, крикнул ему: «Душа у меня горит, Эдуард Петрович!» — но Тренер не слышал. Он шел и пел свою любимую песенку:

Кто ты, певунья, я не знаю,
Но звонким песням на реке
Я часто издали внимаю
В своем убогом челноке.

Гущин вздохнул и закрыл глаза.

Бронепоезд с чугунным лязгом и громом валился под откос, разворачивал землю и вздрагивал, как недобитая змея. В синеватом свете зари он был страшен и отвратителен.

Гущин лежал на боку, свернувшись калачиком. Казалось, на насыпи спит мальчик. Вокруг его головы снег превратился в розовую грязную кашу.

— Так и быть, поговорим о героизме,— согласился Сарвинг.— Понятие, конечно, туманное. Например, ваш угреватый артиллерист, когда заело зенитное орудие, грозил английскому летчику кулаком. Героизм это или нет? Летчик капнул на него бомбой и оторвал руку. Ставлю этот вопрос на обсуждение. Вот черт, как скребет!

Флотилия пробивалась через лед к Петрозаводску. Летняя кампания закончилась. На палубах стоял визг от трущихся о льдины железных корпусов. Черный туман, носивший название «соуса», лежал по горизонту.

— Тоже нашли героя,— рассердился Мартайнен.— Если бы ему не оторвало руку, я упек бы его под арест. Он должен был чинить орудие, а не махать кулаками.

— Ну, хорошо! Возьмем другой случай с тем же самым артиллеристом. Под Видлицей он блевал от страха, но во время боя сбил неприятельские батареи. Что вы на это скажете?

— Это героизм,— согласился Мартайнен.

— Героизм, героизм,— насмешливо повторил Тренер.— Величайший героизм не в том, чтобы подставлять лоб под

шальную пулю, а в том, чтобы понять величие совершающихся событий и верить в победу. Сигнальщик Гущин жил как герой, но смерть его я не считаю героической, хотя вы на этом и настаиваете. Позвольте, дайте мне кончить. Гущин жил как герой. Почему? Совершенно ясно, потому что за коркой черствого хлеба, за тифом, дырявыми канонерками и вынужденной жестокостью он видел конечную цель. Она была великолепна, и, поверьте мне, Гущин ни на минуту в этом не сомневался.

— «Туманно, туманно, как все туманно кругом»,— хрипло пропел Сарвинг.

— Для тебя все туманно, толвуйский барабанщик, даже таблица умножения.

— Вы считаете, что Гущин погиб бессмысленно? — спросил Мартайнен.

— Да. В наше время смерть должна быть целесообразной, как и любое человеческое действие. Умирать следует тогда, когда это нужно и когда это дает наибольший, если хотите, деловой эффект. Гущин погиб, как восторженный поэт на баррикаде. Он не имел права бросить корабль.

Мартайнен укоризненно покачал головой.

Тренер вспылил.

— В героизме должны сочетаться ум и верный расчет. Иначе это галиматья. Поняли? Революция не крестовые походы, где рыцари умирали ради того, чтобы поцеловать землю Иерусалима. Красивые жесты сейчас не нужны.

— Ну, если вы считаете взрыв бронепоезда красивым жестом...— пробормотал Сарвинг.— Это уж слишком.

Тренер наговорил сгоряча кучу несуразностей и, хлопнув дверью, вышел на палубу.

Он не умел спорить. В пылу спора он зачастую говорил совсем не то, что думал, потом спохватывался и ругал себя дураком. Так было и сейчас. Смерть Гущина потрясла его. Он прекрасно видел ее величие.

«Что может заставить людей с легким сердцем бросаться в бой?» — спрашивал он себя.

Очень многое. Начиная от идей, потрясающих человека до последнего нервного волокна, и кончая вот такой смертью, какой умер Гущин.

Тренер пошел на бак. Холодный туман наплывал густыми полосами, и в нем отрывисто звенели склянки. Звон склянок вызывал у Тренера множество воспомина-

ний. В сущности, вся жизнь прошла под этот звон, всегда одинаковый и всегда немного печальный.

— Не жизнь, а целая история с географией,— усмехнулся Тренер и неожиданно сказал в пространство: — Вот за это спасибо!

Он благодарил неизвестно кого за то, что ему привелось родиться в эту величавую и грозную эпоху, слышать гул величайших портов мира, гром сражений, видеть ржавые берега Миссолунги, где умер Байрон, и заросший чертополохом Белозерск, где родился матрос Федор Гущин, читать умные книги и драться за революцию.

— Честное слово, хорошо жить! — сказал Тренер Сарвингу, вышедшему вслед за ним на палубу.— Я чего-то там наболтал. Ты не обращай внимания. Если ты умрешь, как Гущин, я начну тебя уважать.

— Ты меня живого уважай,— захохотал Сарвинг.

Золотые пуговицы с якорями болтались на его шинели и дрожали от смеха.

Со сторожевого судна долетело глухое пение сирены. Вдали возник Петрозаводск. Спускался вечер, но в городе не зажигали огней — там ждали налета неприятельских аэропланов. Только над Онежским заводом хмуро светилось зарево литейных печей.

Вскоре после десанта у Медвежьей Горы северный фронт был прорван, и белые в беспорядке отошли к океану.

1932

СОЗВЕЗДИЕ ГОНЧИХ ПСОВ

Всю осень дули ветры с океана. Воздух дрожал, и наблюдать звезды по ночам было очень трудно.

Астроном Мэро был болен и стар. Он не мог сам раздвинуть маленький купол обсерватории и звал на помощь садовника. Они вдвоем тянули за тонкий канат. Створки купола тихо визжали, расходились, и, как всегда, в совершенной темноте появлялось холодное звездное небо.

Мэро садился отдохнуть на лесенку и горестно качал головой: «Ну, конечно, опять ветер! Опять воздух разной плотности летит над землей, перепутывая световые лучи».

Сухие дубовые листья залетали в обсерваторию. Деревья шумели за стенами, и садовник говорил, что если ветер срывает даже дубовые листья, то, значит, будет дуть очень долго.

Мэро любил поговорить с садовником. В горной обсерватории жило всего восемь человек. До ближайшего городка было тридцать километров каменистой трудной дороги. Товарищи Мэро — астрономы — отличались молчаливостью. Они разговаривали редко,— все, что можно рассказать, уже было рассказано. Они избегали расспросов и делали вид, что поглощены вычислениями.

Старуха Тереза — тоже молчаливая и суровая — готовила астрономам скромный обед. С каждым месяцем обед в одни и те же часы, в обществе одних и тех же людей становился все тягостнее. С каждым годом все крепче овладевала людьми привычка к одиночеству. Тишина была так постоянна, что даже случайно прочитанные книги Мэро воспринимал как шум. Читая книгу, он, конечно, не слышал никаких звуков, но живо представлял их себе и сердился тем сильнее, чем больше было в книге сутолоки и громких разговоров.

— Какая крикливая книга! — говорил он и морщился.— В ней люди невыносимо орут, спорят, плачут... Нет сил разобраться в этом вопле.

Слух его за несколько лет жизни в обсерватории очень окреп. Он слышал много звуков, которых раньше не замечал. Они были однообразны. Ветер посвистывал в проволочных канатах, поддерживавших мачту; на ней по праздничным дням подымали флаг. Тогда прибавлялся еще один звук — веселое хлопанье флага. Оно вызывало воспоминания о праздниках в детстве, когда их городок так шумел от флагов, что у бабушки Мэро начиналась мигрень.

В детстве было много солнца, гораздо больше, чем теперь, и солнце тогда было совсем иное — очень яркое, огромное, занимавшее полнеба.

— Мне кажется,— говорил Мэро садовнику,— что солнце остывает на наших глазах. Свет уже не тот, да, не тот, как будто его закрыли пыльным стеклом.

Садовник соглашался со всем,— не ему было спорить с таким ученым человеком, как Мэро.

Кроме шума ветра, были еще другие звуки. Зимой мистраль нес через горные перевалы сухой снег и шуршал им, как песком, по окнам лабораторий. Изредка кричали орлы. Иногда дождь журчал в каменных водостоках. Летом был слышен редкий гром. Его раскаты возникали не над головой, как обычно, а внизу, в долинах. Грозовые тучи теснились гораздо ниже высот, на которых стояла обсерватория.

Этим, пожалуй, исчерпывались все звуки, если не считать плача заблудившихся коз и крика автомобиля,— раз в неделю шофер привозил из городка продукты, газеты и почту.

Газеты забирал к себе в комнату молодой астроном Ньюстэд — неуклюжий норвежец — и никогда не возвращал. Сначала астрономы ворчали на невежливого норвежца, потом привыкли к этому и забыли о существовании газет. Изредка они спрашивали Ньюстэда, что происходит внизу, в человеческом мире, откуда можно было ждать одних неприятностей. Ньюстэд неизменно отвечал, что мир по-прежнему сходит с ума. Этот ответ удовлетворял всех.

В конце осени Мэро, проводивший ночи около телескопа,— он изучал в то время созвездие Гончих Псов,— впервые услышал новые звуки. Они напоминали гул отдален-

ных горных обвалов. Вначале они были так слабы, что Мэро их плохо различал. Мэро терялся в догадках, но даже не пытался рассказывать о своих наблюдениях астрономам,— его и так считали чудаком. Но звуки усиливались. В одну из ночей сотрясение было уже так велико, что звезды сместились и раздвоились в зеркале телескопа.

Звуки шли со стороны побережья. Мэро вышел на железный балкон обсерватории и долго всматривался в горы.

Он видел все то же: снега, лунный блеск, звезды, лежавшие прямо на утесах, как сигнальные огни,— но нигде не было белой пыли, обычной спутницы снежных лавин.

— Матвей,— окликнул Мэро садовника,— вы ничего не слышали? Должно быть, в горах снежные обвалы.

— Слишком мало снега для обвалов,— ответил садовник.— Надо прислушаться.

Они замолчали. За оградой был слышен мерный плеск воды, будто падавшей на стекло. Это шумел ручей, кое-где уже покрытый коркой льда. Тишина длилась долго. Потом тяжелый удар прокатился с востока и, отраженный горами, вернулся обратно на запад и стих.

— Это не обвал,— пробормотал садовник.

— Что же тогда?

— Это дальнобойные,— ответил неуверенно садовник.— Война бродит кругом, но сюда она не подымется. Слишком высоко. Здесь ей нечего делать.

Тогда Мэро вспомнил скупые рассказы Ньюстэда о гражданской войне, опустошавшей в долинах старинные города и скудные поля крестьян. Вспомнил жалобы шофера на то, что в городке остались одни женщины и старики и ему приходится самому грузить продукты и потому опаздывать. Вспомнил, что Тереза начала готовить обеды гораздо худшие, чем раньше, но на это никто не обратил внимания.

Надо было тотчас все узнать. Мэро закрыл обсерваторию и спустился к жилому дому.

Астрономы сидели за ужином. Каминная труба в столовой пела глухо и сонно,— так она пела уже много лет.

— Друзья,— сказал, задыхаясь, Мэро. Он остановился в дверях и торопливо разматывал теплый шарф.— Я слышу отдаленную канонаду.

Астрономы подняли головы от тарелок.

— Ньюстэд,— продолжал Мэро очень громко и возбужденно, и астрономы оглянулись, но не на Мэро, а куда-

то в угол, как бы не допуская мысли, что громкий голос может принадлежать больному старику.— Ньюстэд, вы должны подробно рассказать нам, что происходит.

Ньюстэд не ответил. Он взглянул на часы, встал и подошел к радиоприемнику. Все с удивлением наблюдали за ним.

Ньюстэд наклонился над рычагами. Красным накалом загорелись электрические колбы, и печальный мужественный голос начал говорить об уличных боях в Мадриде, о воздушных бомбардировках, о сотнях изуродованных снарядами детей и о гибели дворца Альбы, где горят полотна Веласкеса и Риберы.

Астрономы слушали молча. Голос умолк так же внезапно, как и начал говорить.

— Что вы думаете об этом? — спросил Мэро в наступившей тишине и понял, что вопрос его был не совсем уместен.

Ньюстэд лениво вернулся к столу. Он сидел, вытянувшись, как бы прислушиваясь, и крепко держался за стол большими руками.

Сухой старик в сером костюме, сейсмолог Дюфур, отличавшийся изысканностью речи, первый нарушил молчание.

— Каждый из нас,— сказал он, усмехаясь,— чувствует себя в осажденной крепости с того дня, как он прибыл в обсерваторию. Мы окружены горами, где нет ни лесов, ни руды, ни угля. Нас осаждают ветры и снега. Миру нет дела до нас — и нам нет дела до мира. Люди безумствуют в долинах, но сюда им незачем подыматься. Здесь только звезды. Нельзя перелить их на орудия или добыть из них ядовитые газы. Они бесполезны для разумного человечества. Поэтому мы в безопасности.

— Не шутите так, Дюфур,— сказал Ньюстэд.— Война длится уже пять месяцев.

— Глупости, глупости,— пробормотал дребезжащим голосом молчавший до сих пор Эрве. Это был человек, словно лишенный возраста: ему можно было дать, не ошибившись, и сорок и шестьдесят лет.— Меня интересует другое: как может человек огорчаться из-за того, что сгорел кусок холста, хотя бы и покрытый красивыми красками? Я говорю о картинах Веласкеса. Всю жизнь я вожусь со звездами, это научило меня не волноваться из-за пустяков. Что может быть более непрочным, чем кусок полотна? А ради

него люди мучаются, радуются и даже умирают. Это непонятно! Как можно связывать свою жизнь с такими вещами, когда существуют мысль и небо!

Разговор прервал Дюфур. Он быстро вышел и вернулся с тонкой бумажной полоской.

— Вот,— сказал он с торжеством,— еще одно доказательство точности моего сейсмографа. Он записал за последние дни около двухсот небольших сотрясений земли. Очевидно, это и есть разрывы снарядов. Я только сейчас об этом догадался.

Астрономы наклонились над бумажной полоской. Карандаш вычертил на ней ломаную линию, отражавшую колебания земной коры.

Ньюстэд провел пальцем по изломанной линии. Глаза его были прищурены, а папироса крепко зажата прокуренными выпуклыми зубами,— Ньюстэд злился.

— Каждый излом,—сказал он,—означает удар снаряда. Ваша машина, Дюфур, лучше всего записывает убийства.

Дюфур хотел возразить, но не успел,— ясный удар возник за окнами. Горное эхо превратило его в раскаты и обрушило вниз, в каменные пропасти. Все притихли.

Мэро молчал. Ему не хотелось участвовать в бесплодном разговоре. Всю жизнь он думал, что изучение неба, так же как раскрытие всех других загадок вселенной, роднит человека с землей. Мэро был стар, добр и весь запас своих знаний берег не для себя. Он начал даже писать книгу о небе для тех веселых и вихрастых школьников, что должны были завидовать ему, старику, там, далеко, в глубоких земных долинах.

Непривычные мысли и воспоминания владели им в последнее время. Он вспоминал детство, а старики очень не любят вспоминать эту пору своей жизни. Он вспоминал елку. Пока ее не зажигали, она таинственно жила в соседней комнате за закрытой дверью, и только слабый запах хвои тревожил детское воображение. Потом дверь распахивалась, он робко входил и видел сверкающее дерево. Он мог рассматривать его, трогать хвою и золотые орехи, стеклянные нити и хлопушки, мог нюхать апельсины и инжир, висевшие на ветках,— он мог изучать елку, но, несмотря на это, ощущение тайны и прекрасных вещей, наполнявших комнату, не покидало его ни на минуту.

Такое же чувство он испытывал от познания вселенной.

— Все существует для человека,— говорил Мэро.— Если исчезнут люди, то, боюсь, мне, астроному, будет ненужно даже звездное небо.

Эти мысли Мэро не решался высказывать часто,— они не встречали сочувствия. Сегодняшний разговор в столовой вызвал у него раздражение. Он не замечал раньше у своих собратьев по науке такой сухости мыслей и чувств. Грубый и ленивый Ньюстэд был, пожалуй, лучше их всех.

Гражданская война в долинах, отзвуки сражений и неприятный разговор в столовой как будто не нарушили жизни ученых. Астрономы работали по ночам, спали первую половину дня, а вечера проводили в лабораториях. Там они сличали снимки звездного неба за многие годы, стремясь найти незначительные изменения. Каждое изменение в знакомой путанице звезд являлось открытием и давало повод для интересных догадок.

Ничто не изменилось, но все же непонятная тревога овладела учеными. Ее мог заметить только опытный глаз.

Мэро, сидя у телескопа, что-то сердито и подолгу бормотал. Ньюстэд два раза был замечен в том, что среди дня наводил искатель телескопа на край отдаленных гор. Остальные делали вид, что не замечают этого,— по астрономической традиции, рассматривание в телескоп земли считалось занятием для дураков.

Дюфур изредка говорил, что ощущение близкой, но безопасной для него войны укрепляет его нервы. Когда падал снег, астрономы бывали не в духе,— облачное небо останавливало работу. Больше всех негодовал Эрве. Теперь же, когда пошел густой снег, Эрве заметил, что снег, к счастью, сделает дорогу в обсерваторию непроходимой для вооруженных отрядов. Дюфур ядовито усмехнулся.

Библиотекарь Бодэн начал отбирать газеты у Ньюстэда и прочитывал их от доски до доски. При этом он так морщился, будто газетные заметки причиняли ему назойливую боль.

Как-то декабрьской ночью в обсерваторию Мэро вошел Ньюстэд. Это было нарушением правил,— никто не должен был мешать друг другу во время наблюдений. Мэро оглянулся и встал.

Ньюстэд остановился. Он расставил ноги и засунул руки в карманы брюк. Оба молчали.

Мэро почувствовал легкий запах вина. Это было уже слишком. Поведение норвежца делалось вызывающим.

— Я пришел,— сказал Ньюстэд так громко, будто он говорил с глухим,— помочь вам закрыть купол, потому что удар будет внезапным.

«Он пьян,— подумал Мэро. Впервые он видел пьяного человека в обсерватории.— О каком ударе он говорит?»

— Удар будет внезапным,— сердито повторил Ньюстэд.— Не упрямьтесь. Выйдите и посмотрите.

Ньюстэд закрыл купол, взял Мэро за локоть и вывел на железный балкон. Мэро шел безропотно,— в словах Ньюстэда он почувствовал тревогу и угрозу.

— Вот,— Ньюстэд кивнул на горы.— Какое прекрасное зрелище!

Над зубцами гор подымалась отвесная облачная стена. Она была освещена неизвестно откуда исходившим тусклым светом. Она протянулась от одного края горизонта до другого и на глазах росла, светлела, как бы распухала, закрывала звезды.

— Ураган,— сказал Ньюстэд и засмеялся.— Через десять минут он будет здесь. Дайте только ветру прорваться через горы.

— Почему же так тихо? — спросил Мэро.

— Ураганы всегда подходят в тишине.

Тишина была такой напряженной, что звуки собственных голосов казались им надтреснутыми и неприятными. Не было слышно даже привычного шума ручья. Горы уже курились серым дымом.

— Надвигается,— прошептал Ньюстэд.

Мэро наклонился вперед. Он вслушивался. В невыносимой тишине далеко и слабо жужжал мотор.

— Там человек.— Мэро показал на горы.

Снежные смерчи уже взлетали взрывами к черному небу.

— Где? — спросил Ньюстэд.

Мэро схватил его за плечо.

— Там, там! — кричал он и показывал на вершины, где Ньюстэд не видел уже ничего, кроме урагана, стремительно падавшего в ущелья дымными потоками.— Я слышу аэроплан.

— Вы...— крикнул Ньюстэд, но удар ветра оборвал его хриплый крик.

Земля вздрогнула, и тяжелый непрерывный вой урагана уничтожил все звуки. Ветер оторвал Мэро от перил

балкона и прижал к стене обсерватории. Снег хлестал в глаза, в рот, не давал дышать. Ньюстэд схватил Мэро за руку и потащил вниз,— норвежец был уже весь белый от снега.

Они пробивались через тяжелые потоки воздуха к жилому дому, хватались за деревья, за кусты, почти падали на землю, закрывали руками глаза от мелкой гальки, больно бившей по лицу. Все дрожало вокруг и выло на разные голоса. Мачта напряженно гудела, голый сад свистел, как сотни яростных флейт, трещала разбитая черепица, звенели стекла, коротким непрерывным громом гремели железные крыши.

Фонари на столбах не качались на проволочных канатах, а были вытянуты наискось к земле,— ветер не давал им качаться, он отклонял их в сторону и каждую минуту мог сорвать и унести.

Ньюстэд втащил Мэро в столовую и только тогда окончил прерванную ветром фразу.

— Вы ошиблись,— сказал он, снимая пиджак и стряхивая с него снег,— аэроплана не было. А если он и был, то теперь его уже нет. Осталась только куча щепок.

Мэро не возражал.

Вскоре в столовую собрались астрономы. Буря объединяет людей. Она подогревает воображение. Даже скучные люди находят во время бури слова, чтобы передать легкое возбуждение, что охватывает человека, когда за стенами безумствует ветер.

Астрономы разошлись очень поздно. Мэро не спал. Он лежал на своей узкой кровати, прислушиваясь к вою ветра, и чувство одиночества сжимало ему сердце. Неужели так и придется жить до смерти в этих горах, в белой комнате, похожей на больничную палату? Неужели никто не придет, не погладит седую голову и не скажет: «Спи, я посижу около тебя и почитаю, пока ты уснешь»?

Мэро лежал свернувшись и казался себе мальчиком. Он вспомнил слова Эрве: «Астрономы не должны иметь любимых людей». «Да и старики, должно быть, тоже»,— подумал Мэро.

Он встал, поднял штору и снова лег. Ему хотелось быть поближе к урагану, а опущенная штора казалась железным занавесом. Теперь ураган был совсем рядом, за двойными рамами окон. Он не только визжал, распевал в скалах и плескал снегом в стекла, но и светил. Тихий свет

сочился от снегов. Он был чуть синеватым, будто за окнами кто-то зажег большие спиртовые горелки.

— Не надо засыпать,— пробормотал Мэро и начал думать об аэроплане, пролетевшем перед бурей над горами. Летчик не мог оглянуться,— впереди торчали отвесные скалы,— и только спиной, одной беспомощной спиной он ощущал ураган, догонявший его, как гончая зайца.

Ветер стучал ставнями. Болело сердце, и мысли медленно запутывались, пока Мэро не задремал.

Ему приснился странный сон. Будто он садится в запыленный серый автомобиль, чтобы ехать на юг Испании. Вместе с ним садится высокий тощий старик с седой дрожащей бородкой. Потертый костюм старика топорщится и гремит, и Мэро с испугом замечает под пиджаком у своего спутника заржавленные старые латы.

— Мы поедем туда и обратно,— говорит старик, и латы его скрежещут и скрипят в тесной машине,— и вы увидите всё. Постарайтесь сдержать слезы.

И вот они мчатся по узким дорогам среди гор, и с каждого перевала открываются внизу громадные, как море, пространства разноцветной земли, то коричневой и сожженной небом, то черной от листвы лимонных деревьев, то медной от спелых колосьев, то голубой от воздуха, застоявшегося над лесами. И каждый раз при виде новых долин старик в латах встает, протягивает руку вперед и с торжеством кричит одно и то же слово:

— Испания!

Так они мчатся мимо городов, где столько солнца, что оно не помещается на черепичных крышах и стенах домов и проникает даже в самые дальние углы погребков, где Мэро пьет со стариком вино и ест сыр, пахнущий гвоздикой.

Так они мчатся мимо старинных соборов, как будто покрытых серой копотью жары, мимо рек, из которых лениво пьют чистую воду терпеливые быки, мимо школ, где поют дети, мимо дворцов, где за полотняными занавесями сверкают в сумраке картины великих мастеров, мимо садов и полей, где каждый комок земли взвешен на руке и растерт твердыми ладонями спокойных поселян, мимо парков и заводов, жужжащих, как шмели, колесами горячих машин, мимо страны, летящей навстречу в ветре, хохоте, песнях, приветствиях и разнообразных отзвуках прекрасного труда.

В пустынном городке они проносятся мимо памятника какому-то высокому старику с седой бородкой. Мэро узнает в этой бронзовой фигуре своего спутника и успевает прочесть на памятнике надпись: «Мигель Сервантес».

— Так это вы — Сервантес? — кричит Мэро старику.

Старик снимает шляпу и рассеянно отвечает:

— Да, я когда-то жил в этом городе.

Они поворачивают обратно и снова несутся мимо тех же городов, теперь уже лежащих в развалинах, наполненных тяжелым смрадом трупов, мимо школ, где на порогах валяются убитые дети с жалобно открытыми ртами, мимо безумных женщин, бегущих по дорогам с остекленевшими глазами, мимо расстрелянных, привязанных за руки к ручкам дверей, мимо облетевших от пожара садов, мимо надписей, сделанных сажей на белых оградах: «Смерть всем, кто думает о свободе и справедливости! Смерть всем, кто не с нами!», мимо дворцов, превращенных в кучи черного мусора.

Отряд пехотинцев останавливает машину. У солдат тяжелые сапоги, похожие на ведра, красные лица, рыжеватые усы. Командует ими белобрысый офицер с оттопыренными ушами и сухим затылком.

— Вы кто? — кричит офицер.

Старик в латах встает, глаза его чернеют от гнева, руки трясутся.

— Собаки! — кричит он.— Наемные убийцы, обросшие кровавой шерстью! Прочь из моей страны! Я — Мигель Сервантес, я сын и поэт Испании, я солдат и честный человек!

Старик широко расставляет руки, он хочет задержать солдат.

— Огонь! — кричит офицер и взвизгивает от злости.

Солдаты стреляют, и Мэро слышит, как пули бьют по заржавленным латам старика, и старик падает лицом в пыль и, умирая, гладит худыми теплыми руками щебень родной дороги.

— Испания! — говорит он страстно, и редкие слезы падают на горячую землю.— Испания, мать моя, страна моих детей!

Снова щелкают пули по латам, но почему-то очень негромко.

Мэро проснулся. Как будто кто-то стучал в дверь. Он прислушался. Ветер еще шумел, но не так сильно, как ве-

чером. Ураган уставал. Хлопнула ставня, и кто-то застучал в дверь сильнее.

— Кто там? — спросил Мэро почти шепотом.

— Я, сударь,— ответил из-за двери садовник.

— Что случилось?

— В ущелье, за ручьем, стреляют,— сказал садовник.— Может быть, вы встанете, и мы послушаем. Я думаю, что случилась беда.

Мэро начал поспешно одеваться. Неужели война поднялась и сюда, в никому не нужные горы? Он вспомнил только что виденный сон, и ему показалось, будто кто-то медленно стискивает ему горло.

— Должно быть, это хлопают ставни, Матвей,— сказал он шепотом, боясь разбудить Эрве, спавшего за стеной. Ему хотелось верить, что садовник ошибся и никаких выстрелов нет. Кто и в кого может посылать пули в этой пустыне?

Садовник ничего не ответил. Они вышли. Снег уже не падал. Ветер стихал, и на востоке смутно виднелись громады туч, задержанных горами. Начинался рассвет. Он просачивался сквозь разрывы тяжелого неба, и можно было уже различить деревья, покрытые снежными шапками, и зеленую воду в бассейне, где плавали маленькие вылинявшие рыбки.

Садовник провел Мэро к ограде. За ней дымилась пропасть и бормотал ручей. Дна пропасти не было видно,— темнота в горах дольше всего держится в ущельях и уходит оттуда медленно — пожалуй, не быстрее, чем испаряется снег.

— Это здесь,— сказал садовник и показал за ограду.

Мэро заглянул вниз, но ничего не увидел.

— Мое зрение ослабло,— сказал он печально.— Я ничего не вижу. Может быть, вы увидите лучше меня.

— Страшновато заглядывать,— ответил садовник.— Давайте лучше немного послушаем.

Они замолчали. И тогда Мэро услышал как будто слабый человеческий стон или хриплый короткий крик. Он был очень неожиданным. Потом два глухих выстрела прогремели в темноте на берегу ручья.

Мэро отшатнулся от ограды и быстро пошел к жилому дому. Садовник, ничего не понимая, растерянно шел следом. Снова прогремели два коротких выстрела.

Мэро прошел в лабораторию. Садовник шел за ним. Мэро открыл нишу в стене. Руки его дрожали. Он нажал кнопку, и пять колоколов начали яростно звонить в разных концах дома и в обсерваториях. Это был сигнал тревоги. Его давали только в случае серьезной опасности или необходимости немедленно созвать всех обитателей обсерватории.

Колокола гремели оглушительно.

В комнатах зажегся свет, захлопали двери,— и через несколько минут в лаборатории собрались взволнованные астрономы.

Один Ньюстэд был спокоен. Он подошел к Мэро, крепко взял его за плечо и слегка встряхнул.

— Что случилось? — спросил он очень громко.

Никто не обратил внимания на грубый поступок Ньюстэда.

— В ущелье,— ответил Мэро,— кто-то погибает. Он просит помощи.

— Откуда вы это взяли? — рассердился Дюфур.— Он кричит?

— Он кричит и стреляет через равные промежутки времени.

Наступило молчание.

— Кто пойдет со мной? — спросил неожиданно Ньюстэд.— Если он разбился, надо идти вчетвером. Иначе мы его на вытащим.

— Я бы пошел с вами,— ответил садовник.

— Этого мало.

— Тогда возьмите меня,— тихо попросил Бодэн.

— Все равно мало. Надо идти вчетвером,— повторил Ньюстэд.

Мэро молчал. Он не мог спуститься в ущелье. Даже в автомобиле, когда машина подымалась в горы, и то Мэро уставал. Ему передавалось напряжение мотора.

— Ну что же,— сказал Эрве,— я очень вынослив, хотя и выгляжу стариком.

— Это не имеет значения,— ответил Ньюстэд.— Идемте.

Когда они оделись и вышли, было уже светло, но туманно. Ньюстэд первый пролез через ограду и начал спускаться. В руках у него был канат. Вторым перелез садовник. Бодэн и Эрве спускались последними. Щебень осыпался у них из-под ног и громко шуршал по откосам.

Мэро и Дюфур стояли около ограды. Взошло солнце, снег начал таять, с деревьев падали крупные капли воды.

Ньюстэд и его спутники растворились в тумане. Сначала ничего не было слышно, кроме стука скачущих по обрыву камней, потом Ньюстэд закричал:

— Эге-гей, эге-гей! — И в ответ где-то очень близко хлопнул выстрел.

Ньюстэд крикнул:

— Стреляйте вверх, а не в скалы, черт вас возьми! Может быть рикошет.

Чей-то незнакомый голос несколько раз позвал:

— Сюда, сюда! Перейдите ручей, сюда!

Голоса были слышны отчетливо, будто из соседней комнаты.

— Рикошет,— повторил Мэро с удивлением. Он знал значение этого слова, но произнес его в первый раз в жизни и удивился.— Какое неприятное слово — рикошет.

— Думаю, что мы услышим еще худшие слова,— холодно сказал Дюфур.

Из тумана доносились голоса, но гораздо глуше, чем раньше.

— Дайте нож разрезать веревки, он сильно запутался,— послышался голос Ньюстэда.— Все равно, давайте садовый, только скорей.

— Что там? — крикнул Мэро, но никто не ответил.

Была слышна возня, потом слабый крик, и Бодэн сказал сердито:

— Да не спотыкайтесь вы, ради бога!

Разговоры надолго стихли, и было слышно только хриплое дыхание взбирающихся по откосу людей.

— Пусть отдохнет,— сказал садовник где-то совсем рядом.

— Ничего, идите,— ответил Бодэн.

Мэро уже различал темное пятно, медленно подымавшееся по склону.

— Держите крепче, Матвей,— попросил Эрве.

— Ничего,— ответил глухо садовник.— У меня руки липкие от крови, я не выпущу.

Наконец они поднялись к самой ограде, и Мэро увидел у них на руках окровавленного человека в синем брезентовом костюме. Лица его нельзя было различить из-за спутанных и слипшихся волос. Серые брюки Ньюстэда были измазаны кровью.

Человека быстро внесли в комнату Эрве и положили на кровать. Бодэн, исполнявший в обсерватории обязанности не только библиотекаря, но и врача, раздел неизвестного, промыл раны и наложил перевязки. Ему помогал Ньюстэд.

В комнатах запахло лекарствами. Полы были затоптаны, на них стояли лужи от растаявшего снега.

Обитатели обсерватории собрались в столовой. Они смотрели на капли густой крови, тянувшейся наискось по ковру, и ждали Ньюстэда и Бодэна. Те долго не шли.

У Мэро дрожали руки.

— Надо бы истопить камин, Тереза,— сказал он служанке, но она, сидя в углу, что-то шептала, должно быть молилась, и не расслышала просьбы Мэро.

Первым вошел Ньюстэд. Он подошел к камину и начал греть руки, хотя огонь в камине не горел. Потом оп заметил это, деланно засмеялся и набил трубку.

— Ну вот,— сказал он,— война наконец добралась и до нас. Поздравляю с ней всех собравшихся.

— Что с ним? — спросил Мэро.

— Он, должно быть, умрет,— ответил Ньюстэд.— У него переломано все, что может быть переломано у человека. Прыжки с парашютом в горах — отчаянное дело. Он летел из Франции в Мадрид.

— Военный? — спросил Дюфур.

— Нет, он поэт.

— Я не настроен шутить,— сказал ледяным голосом Дюфур.

— А я вам говорю, что это так,— рассердился Ньюстэд.— Ураган перевел машину в штопор, он успел выброситься с парашютом. Все остальное понятно.

— Главное никому не понятно,— пробормотал Дюфур.— Вы что-то упомянули насчет войны.

Вошел Бодэн. Он снял очки и посмотрел на всех красными близорукими глазами.

— Нужен настоящий врач,— сказал он растерянно.— Я слишком мало знаю, чтобы спасти этого человека.

Решение было принято тут же. Машина пойдет в городок за врачом. Поедут шофер и Ньюстэд. Бодэн и Мэро должны дежурить около разбившегося человека. Тереза им будет помогать. Все астрономические наблюдения будут пока вести Дюфур и Эрве.

— Настоящий ученый никогда не поступил бы так

опрометчиво, как Мэро и Ньюстэд,— сказал Дюфур Эрве, когда Ньюстэд уехал.— Я не уверен в том, что можно срывать многолетние наблюдения из-за бесполезной суеты вокруг этого человека. Он все равно не выживет.

Эрве молчал.

— Война,— сказал он наконец и вздохнул.— Я знаю, что астрономы никогда не будут стрелять друг в друга. А об остальном я предпочитаю не думать.

— А следовало бы подумать о том, что наша французская обсерватория находится на испанской земле,— сказал Дюфур.

Ньюстэд уехал. Снег стаял, и мокрые горы блестели под солнцем. По скалам бежала ледяная вода. Небо подымалось все выше, делалось бледнее, из пустынной долины потянуло теплом.

Шофер резко затормозил и показал Ньюстэду на красные скалы. У их подножия валялась куча железа и дерева.

— Это его машина,— сказал шофер.

Ньюстэд вышел, собрал в тени от скалы слежавшийся снег и очистил им со своих брюк бурые пятна крови.

— Едемте,— сказал он шоферу.— Как бы наши старики его не уморили.

Они легко понеслись вниз. Казалось, что машина сорвалась, тормоза лопнули и они не смогут остановиться до самого городка. На поворотах машину заносило, и она с размаху сбрасывала в пропасти груды щебня.

Ньюстэд был доволен. Он пел. Земля приближалась. Он уже слышал запах дыма из нищих очагов. На голых склонах паслось маленькое стадо коз. Его сторожила высокая старуха в черном платке. Она стояла у дороги и даже не оглянулась, когда машина промчалась рядом.

Городок был пуст и тесен. Толпа худых крикливых женщин окружила машину. Женщины говорили все сразу. Ньюстэд плохо знал испанский язык. Он с трудом разобрал из их слов, что негодяй доктор бежал с семьей в Уэску, а в городе остался только аптекарь.

Одна из женщин держала за руку девочку в черном платке, таком же, как у всех женщин и у старухи, сторожившей коз. Девочка исподлобья смотрела на Ньюстэда, а женщина о чем-то просила, вытирая глаза грязным фартуком.

— Чего она хочет? — спросил Ньюстэд шофера.

— Она просит, чтобы мы взяли эту девочку с собой. У девочки фашисты недавно убили отца. Под Уэской. Она говорит — в горах не так опасно, они туда не придут.

— Кто «они»?

Шофер пожал плечами:

— Понятно.

— Мы не можем ее взять,— сказал Ньюстэд.— Кто с ней будет возиться? И так у нас раненый человек.

Шофер молчал.

— Кто с ней будет возиться? — повторил Ньюстэд.

— Мое дело — руль, а ваше дело — решать все остальное.

— Ах, так?!

Ньюстэд открыл дверцу машины и втащил девочку. Мать засмеялась и что-то закричала девочке, поправляя черные седеющие волосы.

Шофер дал ход. Машина рванулась вверх по улице, к аптеке. Ньюстэд обернулся. Женщины махали вслед черными платками и были похожи на стаю худых птиц, бесшумно хлопающих крыльями. Девочка упрямо смотрела в спину шофера глазами, полными слез.

— Скажите ей, чтобы она не боялась,— сказал шоферу Ньюстэд.— Когда все пройдет, мы ее привезем обратно.

Шофер кивнул головой.

Аптекарь спал. Ньюстэд попросил разбудить его. Вышел желтый горбун. Он сонно поздоровался и стал на скамейку за прилавком, чтобы быть выше.

Ньюстэд не знал, что нужно купить для разбившегося человека. Он коротко рассказал о случившемся и попросил совета. Аптекарь удивленно посмотрел на Ньюстэда и сдержал зевоту.

— У меня ничего нет. Могу поклясться. Есть немного гипса, марли и шесть ампул морфия. Это все, что я могу дать. Без врача вы не справитесь. Йод есть у вас в обсерватории. Господин Бодэн год назад купил столько йоду, что его хватит на всю республиканскую армию, а не только на одного человека из этой армии.

— Почему вы думаете, что он республиканец?

— Кто же будет лететь из Франции ночью? Вы нашли самолет?

— Нет,— ответил Ньюстэд. Он не был расположен к болтовне.

— Дело не в человеке, а в самолете,— проворчал ап-

текарь и пошел в заднюю комнату. Он что-то бормотал там, долго копался и наконец вынес небольшой пакет.

Ньюстэд попрощался. Аптекарь вышел за ним на каменное крыльцо. Серый свет стоял над городком. Снег на горах казался отсюда очень тусклым.

— А где сейчас дерутся? — спросил Ньюстэд.

— Всюду,— ответил аптекарь и усмехнулся.

Обратно ехали медленно: подъем делался все круче. Девочка сидела сгорбившись, уставившись круглыми, полными слез глазами в спину шофера. Ньюстэд не знал, как ее утешить, молчал и насвистывал.

Снова встретилась высокая старуха около маленького стада коз. Она, нахмурившись, оглянулась на машину.

Выцветшее небо простиралось над головой. Горы были рыжие, покрытые голыми дубовыми кустами. Долину затянуло сероватым дымом.

Ньюстэд впервые понял, как ему надоело жить в обсерватории, хотя бы и так близко от звездного неба. Хорошо бы очутиться в Мадриде, где люди живые, шумные и упорные, где они дерутся за очень понятные вещи! Может быть, все это будет длиться очень недолго, но что с того?

— Что с того? — вслух повторил Ньюстэд.

Девочка не оглянулась. Она сидела все так же неподвижно.

«Большое горе»,— подумал Ньюстэд, глядя на нее. Он хотел потрепать ее по плечу, но не решился.

Отсюда, из долины, обитатели обсерватории показались ему мертвецами, которые только притворяются живыми и спорят, говорят, едят и наблюдают звезды, как заводные куклы. Особенно раздражал Дюфур — ходячий часовой механизм с изысканным звоном. Тихоня Эрве казался неплохим человеком, но жизнь в обсерватории вышелушила его и иссушила, как мумию.

— Один Мэро,— пробормотал Ньюстэд,— но он так стар, что может умереть от сильного порыва ветра.

За одним из поворотов, откуда уже была видна обсерватория, шофер остановил машину.

— Теперь не стоит торопиться,— сказал он.— Посмотрите на мачту.

Ньюстэд всмотрелся и увидел флаг. Он был приспущен до половины. Эта традиция была близка Ньюстэду. Сын морского капитана, любителя астрономии, он хорошо знал

морские нравы, и приспущенный флаг — знак траура — всегда вызывал у него ощущение несчастья. С давних пор многие обсерватории Европы придерживались этого морского обычая.

Ньюстэд понял, что опоздал.

Ворота обсерватории были закрыты. Несмотря на гудки, никто не вышел навстречу. Шофер вылез из машины и сам открыл ворота.

Ньюстэд взял девочку за руку и повел ее к Терезе.

— Как тебя зовут? — спросил он ее по дороге.

— Си,— шепотом ответила девочка.

— Сесиль? — переспросил Ньюстэд.

— Си,— повторила девочка, и из глаз ее потекли слезы.

Больше Ньюстэд ничего не спрашивал.

Заплаканная Тереза встретила девочку спокойно, будто только ее и ждала. Она вытерла руки о передник и, присев на корточки, начала разматывать на девочке рваный черный платок. Она заговорила с ней своим грубым, мужским голосом. Девочка отвечала шепотом, но не плакала. Ньюстэд ушел, недоумевая,— он так и не понял, в чем заключена эта чертовская тайна общения с детьми.

Он прошел в комнату Эрве, где лежал умерший. В столовой зеркало было завешено старым холстом.

В коридоре он встретил Матвея. Садовник нес только что срезанные ветки сосен и тиса с темной листвой. Они вместе вошли в комнату.

Человек лежал, вытянувшись, под простыней, на кровати. Волосы его были причесаны, и через лоб тянулся запекшийся шрам.

Матвей разбросал по полу хвою. На столике горели две восковые свечи. Пламя трещало. Шторы были спущены.

— Это зажгла Тереза,— сказал тихо садовник.— Женщины знают, как обряжать умерших.

Ньюстэд посмотрел на лицо неизвестного. Оно было молодым, но очень измученным. Две глубокие морщины, как шрамы, лежали на щеках. Выражение губ было таким, будто человек кого-то вполголоса звал.

— Вот и смерть погостила у нас, сударь,— сказал Матвей.— Профессор Эрве приказал вырыть могилу около ограды, под старым тисом.

— Где Мэро? — спросил Ньюстэд.

— Он у себя. Он очень расстроен. Человек умер у него на руках.

Ньюстэд медлил идти к Мэро. Вошел Эрве.

— Ньюстэд,— сказал он и криво улыбнулся,— вот видите, жизнь впервые ворвалась в нашу обитель, но и то под видом смерти.

— Не только,— ответил Ньюстэд.— Я привез из города маленькое существо. Оно нуждается в помощи.

— Неужели мы еще кому-нибудь нужны? — спросил Эрве с искренним удивлением.

Мэро сидел в своей комнате за письменным столом. Он сжимал виски слабыми руками — хотел сдержать слезы.

Стол был пуст. Он не написал за этим холодным лакированным столом ни одной строчки любимому человеку, здесь он писал только вычисления и вежливые письма астрономам. Ни любимых, ни любящих не было. Нет, они были когда-то, но Мэро забыл о них. Должно быть, они давно уже умерли, как умер этот человек. «Нельзя забывать любящих, лучше их убить, чем забыть»,— говорила его мать, и Мэро теперь понял, что она была права.

Человек умер во время дежурства Мэро. Он почти не говорил. Он все время стонал и один только раз окликнул Мэро.

— Отец,— сказал он, и Мэро вздрогнул от этого забытого слова,— возьмите в сумке письмо и бумаги... Прочтите... Отправьте... Если приедет, вы расскажете... Я думаю только о ней, бесполезно думать о другом... Совсем бесполезно...

Мэро нашел письмо и бумаги. Человек затих, потом начал бредить. В бреду он пел. Это было очень страшно, и Мэро позвал Бодэна.

Когда Бодэн пришел, человек был уже мертв.

Письмо и бумаги Мэро забрал к себе и все никак не мог дочитать до конца,— множество мыслей возникало после каждой прочитанной строчки.

Человека похоронили в сумерки. Все стояли молча, обнажив головы, пока садовник и Ньюстэд засыпали могилу мокрым щебнем. На могиле поставили маленький деревянный столб с дощечкой. На ней Бодэн написал:

> Виктор Фришар, поэт, француз. Разбился во время перелета из Франции в Мадрид. Пусть к именам людей, отличавшихся мужеством, прибавится еще одно имя неизвестного нам, но благородного человека!
> Астрономы и сотрудники французской обсерватории Сиерра дель Кампо (Пиренеи)

После похорон астрономы собрались в лаборатории. Ньюстэд созвал всех, чтобы сделать, как он сказал, чрезвычайное сообщение. Все были утомлены и молчали,— прожитый день стоил нескольких лет прежней невозмутимой жизни.

— Профессор Мэро,— сказал Ньюстэд и встал, этим он подчеркнул важность своих слов,— передал мне бумаги и письмо, оставшиеся после умершего. Перед смертью он просил огласить их и отправить по назначению. Я выполняю волю неизвестного мне человека с тем большей охотой, что содержание этих бумаг,— Ньюстэд положил на них тяжелую руку,— заставляет меня отказаться на время от работы в обсерватории и спуститься в долины, где вот уже пять месяцев, как вам известно, свирепствует гражданская война.

— Я знал, что вы филантроп,— заметил Дюфур.

— Это делает честь вашей проницательности,— спокойно ответил Ньюстэд.— Человек, которого мы пытались спасти и только что похоронили,— французский поэт. Поэты — братья астрономов. Прекрасное содержание окружающей жизни проявляется не только в законах звездного неба, но и в законах поэзии.

— Понятно,— пробормотал Дюфур.— Читайте письмо!

— Если бы вам это было понятно,— ответил Ньюстэд,— то вы бы не занимались сейчас вычислением орбиты планеты за номером тысяча двести двенадцать. Диаметр этой планеты не больше километра. Я считаю эту работу такой же ненужной, как подсчет пылинок на земле.

— Спасибо! — воскликнул Дюфур и деланно засмеялся.— И после этого вы считаете себя ученым?

— Да,— грубо ответил Ньюстэд.— Вы — Дюфур, я — Ньюстэд, и мы никогда не поменяемся мозгами. Но я еще не окончил. Поэты и писатели Франции приобрели несколько аэропланов и оружие для помощи испанской Народной армии. Фришар вызвался перебросить эти аэропланы в Мадрид. Причина его гибели известна. В разбитом самолете осталось оружие — винтовки, патроны и пулеметы.

— Очень хорошо,— сказал Эрве,— но мы-то ими не воспользуемся.

— Письмо адресовано в Бриэк, женщине,— сказал Ньюстэд, как будто не слыша всех замечаний.— Вряд ли нужно называть ее имя. Я читаю письмо.

«Это письмо отправят тебе, если я умру. Ты помнишь последний день в Бриэке, когда я уезжал, помнишь черные скалы и запах старых рыбачьих сетей? Дул очень холодный ветер с океана, и у тебя зябли маленькие милые руки. Мы были одни в нищем городке. Мы были тогда совсем одиноки с тобой, и ты была для меня не только любимой, но и матерью, сестрой, самым преданным другом.

Через час я вылетаю в Испанию. Я храню в своей памяти твои слова о том, что ты не могла бы любить ничтожного человека. Для иных людей трудно сохранить достоинство в наше время, когда низость, вооруженная пулеметами и фосгеном, начала схватку со всем лучшим, чем жило и будет жить человечество. Для иных лучше бежать на край земли и спрятаться в теплые норы, размышляя о том, что жизнь дается только раз и ее надо прожить для себя. Но во имя того, что она дается только раз, что она неповторима и замечательна,— во имя этого мне легче идти навстречу опасности с открытым лицом и завоевать эту жизнь или умереть за нее, чем писать красивые слова и страдать от дурного запаха собственной совести.

Ты поймешь меня, я знаю. Я не умею утешить тебя. Я люблю землю, потому что ты живешь на ней, люблю воздух, потому что он прикасается к твоему лицу, люблю каждую травинку, на которой останавливаются твои глаза, люблю каждый твой след на сыром песке и почную тишину, потому что тогда я слышу твое дыхание,— и вместе с тем я лечу умирать. Я почти уверен в этом.

Прощай! Ты расскажи о своем горе рыбачкам, если у тебя хватит сил рассказать. Никто лучше этих простых, рано постаревших женщин не сможет понять его,— ведь у них нет ни одной семьи, где бы не было горя».

Ньюстэд окончил читать и, наклонив голову, перебирал на столе бумаги. Все молчали. Эрве начал задыхаться, судорожно вынул платок и высморкался.

— Хорошо, что вы прочли письмо,— тихо сказал Мэро.— Хорошо, я знаю... Но позвольте мне уйти, я не могу дольше оставаться.

Мэро вышел. Дюфур сидел с потухшей папиросой во рту.

Мэро заперся в своей комнате, подошел к окну и заплакал. Колючая тяжесть в груди причиняла боль. Мэро думал, что она растворится от слез, стекавших по его желтым щекам, но она все усиливалась, и Мэро уж ничего не видел за окном,— звезды мутными пятнами расползались по стеклу.

Ему было жаль умершего, жаль молодую осиротевшую женщину, жаль себя, Эрве, всех, кто так бесприютен, затерян в этом громадном и неласковом мире.

Поздно вечером Мэро вошел в комнату Ньюстэда. Норвежец стоял у стола и рвал какие-то бумаги.

— Ньюстэд,— сказал Мэро,— я уезжаю. Я хочу сам отвезти письмо в Бриэк. Я, как и вы, на время бросаю обсерваторию.

— Что ж,— ответил Ньюстэд,— ведь у вас нет ни сына, ни дочери... Это понятно.

Мэро с благодарностью посмотрел на Ньюстэда. Ньюстэд обнял его за плечи и сказал:

— Мы никогда не должны забывать друг друга.

— Конечно,— ответил Мэро.

У себя в комнате Мэро увидел на столе последние астрономические вычисления и тщательно спрятал их в ящик.

Созвездие Гончих Псов играло далеким светом за стеклами, и Мэро, взглянув на него, подумал, что Бриэк лежит как раз в той стороне.

Утром ни Ньюстэд, ни Мэро не уехали. На рассвете в обсерваторию прибежала из города измученная женщина, мать девочки. Голосом, хриплым от волнения, она рассказала, что городок занят небольшим отрядом фашистов, что аптекарь донес командиру отряда, будто в обсерватории скрывается раненый человек, летевший из Франции в Мадрид, и утром отряд выступает в обсерваторию.

— Они думают, что он вез секретные бумаги, и хотят его расстрелять,— сказала женщина.— Так хвастались солдаты.

— Единственная секретная бумага погибшего у меня,— сказал Мэро.— Я ее никому не отдам.

Женщина посмотрела на Мэро с удивлением. Она не поняла слов этого старика.

Снова был созван военный совет.

— Что же делать? — спросил Бодэн.

— Не выдавать его, даже мертвого,— ответил Ньюстэд.

Дюфур не удержался.

— Придется защищать от них звезды,— сказал он, усмехаясь.— Их много? — спросил он женщину.

— Тридцать человек.

— Все равно,— сказал Ньюстэд.— Начнем действовать.

— Конечно,— согласился Дюфур.— Для астрономов не составит труда разбить эту воинскую часть. Тем более что в ней нет наших собратьев по науке, и потому даже Эрве может участвовать в схватке.

Через час шофер и Ньюстэд привезли на машине двадцать винтовок, патроны и пулемет. Они подобрали их среди обломков самолета. Несколько винтовок было испорчено, пулемет тоже. Шофер к полудню починил его и хотел испробовать, но Ньюстэд запретил пробу,— звуки выстрелов могли заставить отряд насторожиться раньше времени.

Ньюстэд распоряжался невозмутимо. По молчаливому соглашению он был избран начальником вооруженной обсерватории. Вопреки его ожиданиям, никто не сомневался в необходимости дать отпор отряду, подымавшемуся из долины. Непонятное веселье охватило обитателей обсерватории,— очевидно, то возбуждение, какое появляется у человека во время большой опасности.

План обороны был прост. Он был рассчитан на то, чтобы ошеломить нападавших и взять их под перекрестный огонь. Это, по мнению Ньюстэда, должно было привести к бесспорной победе.

Невдалеке от обсерватории, на скале, установили пулемет. Со скалы было удобно обстреливать поворот дороги. У пулемета лежал шофер. Около него дежурили с винтовками садовник и Ньюстэд. Садовник замаскировал пулемет и скалу сухими дубовыми ветками.

Дюфур наблюдал за дорогой в искатель малого телескопа. За пятнадцать километров были хорошо видны ее белые безлюдные изгибы.

Вход в обсерваторию был забаррикадирован тяжелыми ящиками от инструментов.

Бодэн, Эрве и Мэро сидели на скамейке около ограды, откуда им был виден тот же поворот дороги, что и Ньюстэду, засевшему на скале. Эрве впервые за многие годы

закурил. Три старика тихо беседовали, и только по сухому блеску их глаз можно было догадаться, что они взволнованы.

Винтовки стояли поодаль, прислоненные к стене. Был солнечный день, с гор дул прохладный ветер, и белый петух взлетел на ограду и кричал, хлопая крыльями. Было слышно, как в кухне Тереза громко беседовала с горожанкой и говорила, что старики, пожалуй, еще могут постоять за себя.

Никто из астрономов не верил, что бой действительно будет. Мэро следил за тенью от мачты. Она сначала закрыла одну винтовку, потом другую и уже подходила к третьей.

— Может быть, они повернули обратно? — спросил Бодэн, и в голосе его послышалась тревога.

— Эй, вы,— сказал Мэро,— старый наполеоновский гвардеец! Потерпите еще час-другой, не огорчайтесь!

Мэро смотрел на тень мачты. Она закрыла уже третью винтовку. Что-то темное поползло рядом с тенью. Мэро поднял голову и увидел флаг. Он подымался вверх, раскрываясь и шурша. Это Дюфур давал знать Ньюстэду, что на дороге замечен отряд.

— Наконец-то старина Дюфур высмотрел то, что ему нужно,— сказал Бодэн.

Он вздрагивал от волнения. Быстро подошел Дюфур.

— Двадцать пять! — прокричал он возбужденно.— Двадцать пять королевских молодчиков! Впереди идет командир, рыжий, как огонь.

— Почему вы думаете, что это командир? — спросил Мэро.

— С каких пор вы начали сомневаться в точности наших приборов? Я видел нашивки на его воротнике.

— Ну, в таком случае мы не спорим,— сказал, улыбаясь, Эрве.

— Они будут на повороте через двадцать минут,— сказал Дюфур.

— Если не ошибаюсь,— пробормотал Бодэн,— тот способ обстрела, который предложил нам Ньюстэд, носит название флангового огня?

— Совершенно верно,— подтвердил Дюфур.— Они попадут в засаду. Но вы подумали, что нам делать, если они все же прорвутся через ограду?

— Они не прорвутся,— сказал Мэро,— или мы умрем.

— Надо предвидеть всё,— возразил Эрве.— Мы можем отступить на наблюдательные вышки. Их три, и все они построены из гранита. Посмотрите: лесенка, балкончик, железная дверь. Два узких окна заменят бойницы. Других окон нет.

— Замечательные боевые сооружения! — воскликнул Бодэн.— Как мы раньше не видели этого?

— Это будет лучше всего,— сказал Мэро.— По крайней мере, мы погибнем, как принято писать в военных приказах, на боевом посту, около своих спектрографов и зеркал.

Все засмеялись. Никто не верил в возможность настоящего боя.

— Но в общем,— сказал Дюфур,— пора идти за Терезой.

Он позвал Терезу. Ее появление прекратило шутки. Тереза была в короткой юбке, а грудь она крест-накрест туго перевязала черным платком. Она осмотрела винтовки, выбрала себе самую новую и сказала:

— Девчонкой отец учил меня стрелять по коршунам. Они часто воровали у нас цыплят.

— Ну, друзья,— сказал Бодэн,— давайте приготовимся.

Старики взяли винтовки. Каждый из них уже давно выбрал себе выступ ограды, из-за которого собирался стрелять.

Дюфур посмотрел на часы.

— Очень скоро,— сказал он шепотом.

Все, кроме Мэро, заняли свои места. Мэро решил подойти к ограде в последнюю минуту,— ему было трудно стоять.

— Как будто видна пыль,— таинственно сказал Бодэн.

— Посмотрите, Тереза.

— Недавно стаял снег,— ответила так же тихо Тереза.— Откуда же быть пыли?

Мэро потрогал карман. В нем зашуршало письмо в Бриэк. Он предупредил всех, что письмо у него, и потому был спокоен.

— А! — тихо вскрикнул Дюфур.

Мэро торопливо подошел к своему выступу. Все, не двигаясь, смотрели на дорогу. Из-за поворота медленно

выходили солдаты. Они несли винтовки на ремнях и шли вразброд.

— Когда будете нажимать спуск, старайтесь не дышать,— предупредила Тереза.

— Вы настоящая маркитантка, Тереза,— ответил Дюфур.— Но почему же Ньюстэд так долго молчит?

— Наш шофер был на фронте. Он знает, когда начинать.

Дорога уже чернела от солдат. Они остановились, пропуская вперед офицера, и в ту же минуту торопливо забил и залаял пулемет Ньюстэда. Желтые дубовые листья полетели вихрем. Горное эхо перебрасывало стук пулемета со скалы на скалу; он отскакивал от отвесных стен, шарахался с размаху на дно пропастей, падал, подымался, звучал то глухо, то нарастал до оглушительного треска, будто стальные молотки били по пустым пароходным котлам. Щебень и пули свистели по дороге. Солдаты бросились за каменный парапет. Офицер что-то кричал, закрывая рукой голову, потом упал и больше не двигался. Дюфур насчитал на дороге десять упавших, но в это время первая пуля звякнула об ограду и с тихим воем прошла рикошетом через сад, сбив несколько веток со старой сосны.

— Друзья,— крикнул Бодэн,— не зевайте!

Солдаты, лежавшие за парапетом, не были видны Ньюстэду, но их легко было обстреливать из-за ограды. Первым выстрелил Бодэн. Тереза щурилась, у нее из-под платка выбилась прядь седых волос, и она, сердясь, судорожно и часто ее поправляла. Дюфур долго целился и стрелял спокойно. Эрве старался попасть в парапет: от удачных выстрелов над ним взвивались белые струйки пыли. У Мэро после первого же выстрела заболело плечо от удара прикладом, но он продолжал стрелять, почти не целясь.

Часть солдат перенесла огонь на ограду. Все чаще щелкали пули. Белый петух, испуганный выстрелами, с кудахтаньем взлетел на сосну, сорвался и тяжело ударился о землю,— он был разорван пулей.

Огонь учащался. Мэро слышал за своей спиной звон стекла. Пули били по окнам второго этажа. Он подумал, что лаборатория в первом этаже, и это очень хорошо,— все приборы останутся целы.

Пулеметные пули прошли по верхушке ограды и запорошили пылью глаза.

— Все по пулеметчику! — приказал Бодэн.— У них один пулемет, больше нет. Как они успели его поставить!

Мэро стрелял, почти не сознавая, что происходит. Очень трудно было вставлять обойму в винтовку. Он несколько раз больно защемил себе кожу на ладони, из пальца текла кровь.

Он видел, как солдаты медленно отползли вниз по склону, прячась за камнями. Судя по выражению их лиц, они что-то кричали и ругались. Он хорошо видел ноги пулеметчика — очень худые и кривые, в грязных обмотках. Потом он увидел, как пулеметчик привстал, упал на бок и покатился по крутому склону, точно зеленый мешок. Он докатился до дубового куста и застрял в нем.

Пулемет затих. Теперь работал только пулемет Ньюстэда. Солдаты вскочили и побежали, пригибаясь к земле. Они прыгали вниз, с камня на камень, некоторые бросали винтовки.

Мэро видел, как Ньюстэд и шофер быстро спустили пулемет со скалы на дорогу, бегом прокатили его до поворота и залегли. Снова пулемет задрожал и залаял, и по дороге понеслись длинные ленты пыли. Ньюстэд махал рукой.

— Поздравляю вас, старики,— сказал Дюфур.— Они отступают.

— Значит, это конец? — спросил Эрве.

— Да, мы, кажется, ловко отделались,— ответил Бодэн.

Пулемет стих. Раздался последний одинокий выстрел. Это еще стреляла Тереза. Эрве потряс ее за плечо. На дороге видно было всего несколько солдат, бежавших вниз. Они исчезли за поворотом.

Мэро бросил винтовку и выпрямился. Солнце сверкало над головой. Тишина плыла над горами. Мэро вздохнул. Воздух был напитан запахом листьев и корней.

Снова стало слышно, как ручей шумит на дне пропасти. Амфитеатр гор, залитых солнцем, сверкал и переливался красками поздней осени, и Мэро улыбнулся. Он знал: у него есть дочь где-то там, в Бриэке, есть родная душа в этом мире, есть друзья — астрономы, старые, но храбрые люди. Он чувствовал себя так, будто только что завоевал право на жизнь, на обладание всем миром, шумевшим внизу, в когда-то чуждых долинах.

Тереза улыбнулась Мэро. Он обнял ее, и они расцеловались, как старики — брат и сестра. Было слышно, как Ньюстэд пел на дороге какую-то норвежскую песенку.

В тот же день остатки фашистов были выбиты одним ударом из городка отрядом басков, и Мэро и Ньюстэд тотчас уехали. Их провожали очень шумно, но никто не мог скрыть грусти этого прощания.

Снова тишина завладела обсерваторией, и, как всегда, звездное небо сверкало над ней по ночам и до рассвета прислушивалось к тихим голосам астрономов, медленным шагам садовника и к плеску старого ручья на дне ущелья.

1936

ОРЕСТ КИПРЕНСКИЙ

Поздней осенью 1836 года в устье Невы против Галерного острова бросил якорь грязный итальянский корабль. Он пришел из Ливорно.

Падал первый снег. Он сваливался пластами с грубых парусов, но тонким серебром ложился на реи. В сумерки корабль, занесенный снегом и освещенный огнем фонарей, казался даже собственным матросам нарядным и легким.

Корабль привез редкий груз — последние картины русских художников, живших в то время в Риме. Полотна Брюллова и Бруни, портреты Кипренского и гравюры Иордана были бережно завернуты и сложены в пустой каюте.

Прихода корабля долго ждали петербургские любители живописи. Первым на пристань приехал писатель Нестор Кукольник. Он стряхнул сырой снег с плаща и цилиндра и прошел в каюту капитана.

Свеча дрожала на черном столе. Она освещала в пыльной стеклянной вазе несколько апельсинов.

Капитан ел апельсины. Пахучий сок стекал по его загорелым пальцам. Кукольник, усмехнувшись, сказал, что наконец он чувствует и здесь, в Петербурге, воздух Италии.

Капитан пробормотал что-то невнятное и, дожевывая апельсин, выдвинул ящик стола. Там среди истрепанных географических и игральных карт лежало письмо. Капитан протянул его Кукольнику. Кукольник вскрыл конверт и начал читать.

«В конце сентября,— читал Кукольник,— Орест Кипренский занемог жестокой горячкой, от которой усердием доктора начал было оправляться и стал

выходить, как простудился снова, и горячка возвратилась. Художник не вставал более. Он скончался здесь, в Риме, третьего прошедшего октября».

Кукольник встал.

— Вы привезли тяжкую весть,— сказал он несколько напыщенно капитану.— В Риме умер один из величайших художников нашего века, мой соотечественник Орест Кипренский.

Капитан не ответил. Он перебирал апельсины. Вверху, па палубе, перекликались матросы. Итальянский язык казался особенно звонким в густом снегу, засыпавшем пустынные проспекты и дворцы Петербурга.

Капитан выбрал самый большой апельсин и подбросил его на ладони.

— Вот — возьмите,— сказал он и улыбнулся. Блеск зубов преобразил его угрюмое лицо.— В Италии никогда не перестанут созревать апельсины и художники.

Кукольник попрощался и вышел. Он спрятал апельсин в карман плаща и всю дорогу чувствовал его тяжесть и запах.

Кукольник медленно шел, прикрывая рукою рот от ветра, и думал, что не только в Италии, но и в Петербурге никогда не перестанут рождаться художники. Умер милый волшебник Орест, но живы Брюллов, Иванов и Уткин.

Петербургские дома, выкрашенные в зеленоватый, лимонный и серый цвета, казались фарфоровыми. Свет фонарей дрожал на античных фронтонах домов.

— Великий Рим среди болот и северных лесов! — сказал Кукольник, думая о Петербурге.— Великий Рим в снегах и мраке ночи. Судьба его будет прекрасна.

Эта мысль принесла утешение.

Ни одна газета и ни один журнал не откликнулись на смерть Кипренского. Кукольник недоумевал. Трудно было понять причины молчания, окружившего смерть этого мастера.

Почти через месяц после смерти Кипренского Кукольник напечатал в «Художественной газете» несколько печальных строк.

«Смерть Ореста Кипренского,— писал он,— столь неожиданно лишившая Россию одного из блистательнейших художников, промелькнула в повременных изданиях как тень, наведенная мимолетной тучей, гонимой сильным ветром. Правда, немногие подробности о последних днях Кипренского достигли до северной столицы,— но отчего не раздались даже обычные газетные элегии над гробом знаменитым? Отчего не отдана последняя дань уважения художнику? Отчего? Решить не можем, но причины обнаружатся».

Причина была проста. Кипренский был не нужен тогдашней николаевской России, как были ей не нужны Федотов и Пушкин, Рылеев и Лермонтов, Гоголь и Иванов.

Кипренский прожил короткую жизнь. Она началась блестяще, но окончилась глупо и печально. Россия сжала его за шею и медленно пригибала к земле, пока не поставила на колени перед знатью, перед царем и Бенкендорфом. И Кипренский-художник сбился с пути и умер гораздо раньше, чем спился и умер Кипренский-человек.

Итальянский апельсин долго лежал у Кукольника на письменном столе. Он придавал особую мягкость воздуху, наполненному запахом старых книг и слабой копотью свечей.

Кукольник берег его и все время старался вспомнить слышанный давно, лет пять назад, рассказ Кипренского об апельсине. Потом он все же вспомнил его и записал, но, как всегда, потерял запись среди множества заметок о живописи и неоконченных стихов.

Помнится, Кипренский рассказывал о своем детстве. Упоминал он о нем неохотно. Оно прошло на мызе под Ораниенбаумом. «Ораниенбаум» по-немецки означает «оранжевое, или апельсиновое дерево».

Старики, помнившие век Елисаветы, говорили, что название это было дано не зря. При основателе Ораниенбаума Меншикове в теплицах тамошнего дворца вызревали апельсины. Даже на гербе Ораниенбаума было изображено серебряное поле с апельсиновым деревом, усыпанным созревшими плодами.

Старики, помнившие век Елисаветы, были матросы из морской богадельни в Ораниенбауме — первые наставники

и учителя мальчика Кипренского. Их звали «сурками». Все время они проводили в неторопливых беседах и сне.

Чаще всего они рассказывали о морских бурях, налетавших на линейные корабли, грохоте волн и треске снастей. После их рассказов казалось, что вся земля наполнена холодными ураганами, тяжелым дымом туч, ветрами, дождями и грозами. Старые матросы хвастались бурями, как будто сами их вызывали.

Мрачность их рассказов соответствовала окружавшей природе,— белесое небо простиралось над болотистым берегом Финского залива, и томительно проходили тусклые осени и зимы.

Нетерпеливый мальчик — а Кипренский всю жизнь был нетерпелив и горяч — дожидался лета, когда солнце превратит наконец в бледное золото воды залива и зашевелится светлыми стрелами в листве дворцовых садов.

Летом матросы выползали на солнце. Их беззубые рты улыбались шуму деревьев и робкому свисту птиц. Менялись и матросские рассказы. В них среди вечных непогод наступало короткое затишье. Матросы вспоминали Италию, путали названия южных морей. Их память с натугой проникала через вереницу тяжелых матросских лет, через свинцовые туманы, через мутную воду старческой слепоты и вдруг озарялась светом полуденных стран, тонущих в оливковых рощах и перезвоне колоколов.

Крепкая вера моряков в то, что за пеленой дождей и бурь их ждут тихие гавани, сказывалась в этих летних рассказах матросов с особенной силой.

Мальчик Кипренский — побочный сын бригадира Дьяконова, отданный отцом на воспитание своему крепостному Адаму Швальбе,— был с ранних лет предоставлен себе. Он мог часами слушать рассказы матросов или бегать из дому в ораниенбаумские сады и прятаться там от сторожей и садовников.

Эти сады славились каналами. Веснами в них отражались заросли цветущей сирени. Мраморные статуи смотрели в зеленоватую воду холодных прудов, где плавали форели.

Ораниенбаум пугал мальчика своим безлюдьем.

Театр и дворец, построенные Растрелли, давно пустовали. На Катальной горке ни разу за многие годы не было

слышно грохота увеселительных колясок. Сады, казалось, навсегда застыли в пышном запустении. Дворцовые зеркала не отражали никого, а холодные залы годами не слышали шума шагов и военной музыки времен императора Павла.

Мальчик был волен населять эти залы выдуманными героями и прекрасными женщинами. Он делал это со страстью и с полной верой в их существование.

Так с детства Кипренский привык мечтать. Спустя много лет эта героическая мечтательность сообщила особое очарование его работам. Это было в те годы, когда Кипренский превратился из крепостного мальчика в художника и о его «магической кисти» заговорила вся Европа.

В Ораниенбауме Кипренскому изредка удавалось пробираться мимо полосатой будки гренадера к самому дворцу. Мальчик осторожно подымался на террасу и, прижав лоб к холодному стеклу дверей, долго, до ломоты в висках, рассматривал старинные портреты, висевшие в залах.

Короли и императоры неторопливо скакали на этих портретах в желтом пороховом дыму. Багровые вспышки мортир освещали крутые и надменные лица. Блестели кирасы. Знамена развевались в синих грозовых тучах, обрезанных тяжелой золоченой рамой.

Дома Кипренский по памяти рисовал эти портреты, а добродушный Адам Швальбе тайком от него показывал их своему барину Дьяконову. Рисунки были хорошие, и Дьяконов решил отдать совсем еще маленького мальчика в Академию художеств.

Несмотря на то что Кипренский был сыном Дьяконова, по казенным бумагам отцом его считался Швальбе. Тотчас после рождения мальчика Дьяконов приказал Швальбе усыновить его и дать ему при крещении фамилию Копорский — по месту рождения мальчика в городке Копорье, вблизи Ораниенбаума. Под этой фамилией Кипренский и жил вплоть до поступлению в Академию.

В Академии ему переменили фамилию на Кипренский. В то время «незаконным» детям можно было выдумывать и менять фамилии сколько угодно. Это считалось в порядке вещей.

В Академии художеств прошли детство и вся юность Кипренского.

Рассказы «сурков» о бурях, дворцовые сады и темные портреты остались в памяти Кипренского на всю жизнь.

Может быть, старым матросам он был обязан тем, что любовь к бурям, грозе и непогоде была выражена у него с особенной резкостью.

То было время французской революции, когда ветер романтики шумел над Европой.

Бледные поэты — в зарницах, в бурях и громах — пели вдохновенные песни о прелести дружбы, благородных порывах, свободе и мужестве. Наполеоновские солдаты разносили по самым глухим городкам славу побед, революционные декреты, шелест изорванных знамен. Тревога очищала умы от сытости и жеманства восемнадцатого века.

Во время учения в Академии Кипренский был покорен романтикой. Он искал ее всюду. После утомительного сидения в классах за срисовыванием гипсовых Зевсов и Афродит Кипренский уходил на набережную Невы, бродил по ней и читал нараспев стихи неведомого поэта:

Ночь опустила тьму на старые сады.
Холодный ветр свистит и бьется на полянах.
И сердце нежное, все в пламени и ранах,
Трепещет с полночи до утренней звезды.
Увы, любимцы муз, свершился жребий мой!
Поет военный рог той полночью стоокой,
Бушуют облака И точно! Дланью рока
Замахнут тяжкий меч над юною главой.

Эти стихи вызывали у Кипренского слезы. В них было все, что он любил еще с детства,— старые сады, холодный ветер, ночные тучи и нежное сердце. Потом эта любовь к бурной природе и неспокойному человеческому сердцу окрепла под влиянием времени.

«Мне часто мерещится,— писал Кипренский впоследствии,— черная качающаяся аллея дерев. Земля, кажется, окаменела, и до сих пор сохраняет она вид ужаса».

Недаром на всех портретах, написанных Кипренским в юношескую пору, позади взволнованных людей, позади поэтов, воинов и печальных женщин всегда стоит непроницаемое грозовое небо. Невольно кажется, что далекий гром и дыхание ливней покрывают нервной бледностью их лица.

Толпа этих странных и привлекательных людей как будто только что сошла на берега Невы с корабля, пришедшего из земли, созданной Байроном, из страны, где мудрые беседы и пылкие страсти сообщают существованию необычайную прелесть.

Учителя Кипренского по Академии Угрюмов и Дойен относились к живописи со страстью и строгостью. Они требовали от учеников умения рисовать с закрытыми глазами.

Дойен заставлял воспитанников Академии накладывать краски на полотно так, чтобы даже под лупой почти не было заметно следов кисти. Поверхность картины должна была быть гладкой, как полированная кость. Только после этого Дойен разрешал молодым художникам работать широкими и свободными мазками.

Все время уходило на рисование. Кипренский научился владеть карандашом с такой точностью, как хирург работает скальпелем. На чтение не оставалось времени.

Над умами художников властвовал тогда Левицкий — хитрый и добродушный украинец, создавший гениальные портреты кавалеров и дам екатерининской эпохи.

Все пытались подражать золотистому теплому тону его картин. Этот тон молодые художники ловили и изучали всюду — в пыльных классах Академии, когда закатное солнце бросало косые лучи на паркет, в отблесках куполов и игре бронзовых шандалов, в зрачках красавиц, позлащенных пламенем свечей.

На последних картинах Левицкого золотистый тон исчез. Он сменился фиолетовым и малиновым — холодным и старческим тоном.

Это дало повод Дойену произнести перед учениками речь о различном ощущении красок в юности, зрелом возрасте и старости.

— Юности свойственна пестрота красок, зрелости — тонкая мера в употреблении теплых и глубоких тонов, а старости — синеватые и холодные краски, столь похожие на цвет жил на старческих руках,— говорил Дойен и восхищался собственной проницательностью.— Не только каждый возраст человека имеет свои любимые краски, но также и каждая страна и каждое столетие на всем протяжении рода человеческого. Изучайте лица людей и краски своего века, если хотите стать его живописцами!

Кипренский следовал совету Дойена. Он изучал лица людей и краски своего века с присущей ему горячностью.

Подобно Пушкину, только что выпущенному из Лицея, Кипренский вел в то время жизнь петербургского повесы.

Но и в беспокойстве легкой жизни, среди балов, бессонных ночей и бесчисленных увлечений красавицами у Кипренского бывали минуты сосредоточенности и внимания.

Они приходили внезапно. Они застигали художника то среди улицы, то на извозчике во время возвращения с товарищеской пирушки, то в разгаре беседы с друзьями.

Как бы от сильного внутреннего толчка окружающий мир внезапно преображался. Куда ни взглянешь, всюду лежали чистые краски, то плотные, то совершенно прозрачные, созданные светом северного солнца, снегом, огнем фонарей.

Привычная земля казалась в такие минуты творением гениальных художников или архитекторов. Цвет неба и облака были как будто написаны венецианцами, а горизонты, синие от прохладного воздуха, провел своим безошибочным карандашом Растрелли.

Однажды на зимнем рассвете Кипренский возвращался из гостей. Он шел по мосту через Неву, опустив голову, и ни о чем не думал,— ему хотелось спать. Запоздалая тройка пронеслась мимо. Колкая морозная пыль посыпалась в лицо.

Кипренский очнулся, поднял голову и остановился. То, что он увидел вокруг, было больше похоже на торжественный сон, чем на петербургское утро.

Ночь не хотела уходить из столицы. Она лежала пластами тяжелого сизого воздуха у подножия зданий и в глубине садов.

Взошло солнце. Багровый свет уже загорался в окнах дворцов и падал вниз, в темноту, вырывая из нее то полосатую будку часового, то бронзовый памятник полководцу, седой от снежной пыли, то капитель колонны, украшенную замерзшими листьями аканта.

Небо Италии простиралось в зените, чистое и прекрасное, с грядой легких розовеющих облаков. Летел густой, медленный снег. При ясности неба это казалось непонятным. Чудилось, что снег зарождается в чистом воздухе между землей и небесным сводом.

Кипренский долго смотрел на торжественное падение снега среди немоты и безлюдья петербургских площадей.

Снег осторожно ложился на чугунные перила мостов, на меховой ворот шинели и спины спящих извозчиков.

Столица покрывалась белым блеском. Далекие куранты пробили семь. Вокруг был разлит запах лесов, подступавших к Петербургу с севера и востока.

«Как я счастлив, что родился в России»,— подумал Кипренский.

У себя в комнате Кипренский сбросил мокрую шинель и сел к топившейся печке.

— Где,— сказал он с тоской,— где я возьму красок, чтобы изобразить это зимнее безмолвие, и этот блеск, и дворцы, утратившие объем и тяжесть, и, наконец, волнение своего сердца? Какой божественной кистью я смогу передать немой восторг этого утра?

А назавтра после этих мыслей молодой художник — снова щеголь и повеса — забывал обо всем, откладывал кисти и спешил на вахтпарад. Там, стоя на одной ноге и вытянув носки, замирали под водянистым и бешеным взглядом императора Павла полки. Там ждала Кипренского знакомая девушка — любительница военных учений.

Сверкание сабель, поднятых к небу, грохот барабанов и мерный топот полков, вращавшихся вокруг курносого императора,— все это вызывало ее восхищение.

— Я могла бы отдать сердце только военному,— сказала она однажды Кипренскому.

На следующем вахтпараде Кипренский прорвался сквозь строй солдат, бросился к Павлу и крикнул:

— Ваше величество! Я художник, но я хочу променять кисть на саблю. Молю принять меня в армию.

Павел, сморщившись, посмотрел на молодого франта и придержал коня.

— Убрать его,— сказал он сквозь зубы.— Военный парад есть таинство. Никому не вольно нарушать его безрассудными криками.

Кипренский получил жестокий выговор от начальства. Выговор был прочитан в присутствии всех учеников Академии.

Товарищи обидно пожимали плечами. Трудно было понять, как юноша, обладающий таким талантом, столь легкомысленно хотел променять его на расположение женщины.

Кипренский мучился тяжелым стыдом, но вскоре забыл

о случае на вахтпараде. Он был легкомыслен не только в молодости, но и потом, в зрелые годы. Детская неустойчивость и погоня за внешним блеском в конце концов погубили его.

Еще в Академии Кипренский написал пейзаж «Пруд» — один из прекраснейших пейзажей русской живописи. Он полон тишины и прелести.

Пруд неподвижен. Вода в нем гладкая и дымная,— такою она бывает ранним утром или после заката.

Стены высоких деревьев, темные чащи неподвижно стоят по берегам пруда. В небе висят серые, насыщенные росой облака. Мраморная статуя женщины на берегу печально смотрит в светлую воду.

По своей простоте и мягкости эта картина Кипренского равна пушкинским элегиям. Поэзия сумерек выражена в ней с тончайшим мастерством.

Друзья Кипренского говорили, что он, как ночная птица, начинал жить только в сумерки.

Невольно кажется, что к Кипренскому относятся две позабытые пушкинские строчки, начало неоконченных стихов:

Скажи мне, ночь, зачем твой тихий мрак
Мне радостней...

Последняя строка оборвана, но содержание ее ясно. Мрак ночи радостнее разоблачающего дневного света. Романтиков всегда привлекали сумерки, когда не только природа, но и лица людей чудятся таинственными и вдохновенными.

Почти в то же время Кипренский написал портрет своего отца.

Много лет спустя он выставил этот портрет в Неаполе. Неаполитанские художники пришли в величайшее волнение. Кипренский был вызван к президенту Неаполитанской академии художеств Николини.

Старый и желчный итальянец встретил Кипренского подозрительно и сказал, что лучшие знатоки живописи тщательно исследовали портрет и нашли, что он не мог быть написан художником девятнадцатого века. Портрет был признан работой Рубенса, которую Кипренский выдает за свою. Правда, голоса знатоков разделялись. Иные считали портрет работой Ван-Дейка, другие — Рембрандта.

Кипренский расхохотался в лицо президенту. Николини закричал, что неаполитанские академики не позволят столь наглым образом обманывать себя какому-то иностранцу.

Конечно, Кипренский без труда доказал, что портрет принадлежит его кисти, и долго потом издевался над неаполитанцами.

В 1803 году Кипренский блестяще окончил Академию. Начались лучшие годы его жизни.

Недаром Кипренский следовал совету Дойена и изучал лица людей своего века. Он создал галерею портретов, где каждое лицо передавало законченный внутренний образ человека, самые примечательные черты его характера.

Изучение портретов Кипренского вызывает такое же волнение, как если бы вы долго беседовали со многими полководцами, писателями, поэтами и женщинами начала девятнадцатого века.

Кипренский писал свежо, широко и законченно.

На его портретах существуют не только лица, но как бы вся жизнь написанных им людей — их страдания, порывы, мужество и любовь. Все это оставило след на их облике и было перенесено на холст.

Один из современников Кипренского говорил, что, оставаясь наедине с его портретами, он слышит голоса людей.

В этом была доля правды. Живость впечатления так велика, что, глядя на портрет Пушкина, как будто слышишь давно знакомый голос поэта, обращенный к нам, его далеким потомкам.

Галерея работ Кипренского разнообразна. Это великолепные автопортреты, портреты детей и его современников — поэтов, писателей, государственных мужей, полководцев, любителей живописи, купцов, актеров, крестьян, моряков, декабристов, художников, масонов, скульпторов, коллекционеров, просвещенных женщин и архитекторов.

Достаточно перечислить несколько имен, чтобы понять, что Кипренский был подлинным живописцем своего времени: Пушкин, Крылов, Батюшков, слепой поэт Козлов, Ростопчин, графиня Кочубей, знаток искусств Оленин, Голенищев-Кутузов, масоны Комаровский и Голицын, адмирал Кушелев, Брюллов, актер Мочалов, переводчик «Илиады» Гнедич, легендарный кавалерист Денис Давыдов — «боец чернокудрявый с белым локоном на лбу», партизан

Фигнер, строитель одесского порта де Воллан, декабрист Муравьев, поэты Вяземский и Жуковский, архитектор Кваренги.

Этот список юношеских работ Кипренского далеко не полон. Кипренский оставил еще несколько автопортретов.

Он писал себя то подмастерьем живописи, то мечтательным мальчиком, читающим стихи, то изящным и оживленным светским юношей, объединившим в себе образы Моцарта и Евгения Онегина.

Но на всех этих портретах он одинаков — нервный, легкомысленный, тонкий, с косыми взлетающими бровями. Товарищи звали его «нежным франтом», а один из них оставил о Кипренском скупую, но выразительную запись:

«Был он среднего роста, довольно строен и пригож, но еще более любил делать себя красивым».

Незадолго до войны 1812 года Кипренский был послан в Москву в помощники скульптору Мартосу. Мартос работал в то время над памятником Минину и Пожарскому.

В Москве Кипренский продолжал писать с прежней горячностью и мастерством.

Он мечтал о поездке в Италию, о Риме — второй родине художников, но границы были закрыты.

Армия Наполеона шла по Европе в громе сражений и побед. Музеи сотрясались от гула канонады. Ядра скакали по бульварам музыкальной Вены. Художники ушли с полей, уступив место лафетам, пыльной гвардии и санитарным повозкам.

Кипренский смирился и усердно помогал Мартосу — умному скульптору, уже прославленному памятником герцогу Ришелье в Одессе.

В это время талант Кипренского достиг полного выражения. Легкомыслие как бы покинуло художника. Он чувствовал глубоко и сильно и со смелостью и тактом передавал то, что чувствовал.

Работа ему давалась легко. Он был подлинным «баловнем счастья».

Из Москвы Кипренский переехал в Тверь, где в то время жила дочь Павла Первого, принцесса Екатерина Павловна. Она пригласила Кипренского к себе и окружила заботами.

Дворец Екатерины Павловны был превращен в своего

рода клуб литературы и изящных искусств. Многие выдающиеся люди Москвы бывали здесь запросто.

Окна дворца каждый вечер пылали сотнями свечей. В гостиных курили, спорили, читали стихи и острословили московские поэты и писатели, меценаты и художники.

Приближалась война. Дыхание боевых дней, передвижение армии, тревога, охватившая страну,—все это способствовало напряженной и взволнованной мысли.

Иногда в полночь быстро входил новый неожиданный гость. От его плаща шел запах ветра и полей. Он нетерпеливо скакал из Москвы в Тверь на перекладных, чтобы сообщить последние вести о баталиях и выслушать чтение высокопарных стихов и шум страстных споров.

Тусклый фонарь у тверского шлагбаума и ленивый сторож-инвалид перевидали в то время много приезжих, памятных всей России.

Кипренский жил вместе со всеми приподнятой и бессонной жизнью.

Но однажды вечером никто не приехал. На городскую площадь вошел на рысях полк угрюмых улан и расположился биваком. Горели костры, освещая черные капли дождя. Громко жевали лошади. Запах дыма, навоза, лошадиного пота и хлеба был неотделим от хриплой брани и дребезжащего голоса трубы. Москва была занята Наполеоном.

В Твери стало тихо. Больше никто не приезжал. Кипренскому было некого рисовать. Тогда он начал писать портреты крестьян и пейзажи на окраинах Твери и берегах Волги.

Карандаш сменил кисть. Кипренский только подцвечивал свои рисунки с удивительной тонкостью.

Слава молодого Кипренского росла стремительно.

Он вернулся из Твери в Петербург почти признанным гением. Слух о нем проник в Западную Европу. Вся столица говорила о «волшебном карандаше» художника. Легкость, с какою он создавал свои портреты, казалась чудом.

Кипренский был приглашен ко двору писать портреты великих князей. Все именитые люди столицы добивались чести быть увековеченными Кипренским.

Законное признание художника знатоками живописи преобразилось в петербургском высшем свете в пустую и

трескучую моду. Кипренский стал моден, как в то время были модны коралловые ожерелья среди женщин и звонкие брелоки — «шаривари» — среди мужчин.

Кипренский начал писать еще лучше. Мастерство его портретов, особенно портрета Хвостовых, достигает как бы предела человеческих возможностей. Петербург подхватывает брошенное кем-то крылатое слово, что краски Кипренского действуют на людей, как рейнвейн. Они рождают резкие переходы от улыбки к необъяснимой печали, от восторга к задумчивости.

Кипренский, обладавший величайшим даром импровизации, но лишенный многих необходимых знаний, упорства и мужества, погружался в блеск славы. Он не жалел себя. Вдохновение — непередаваемое состояние, предел мечтаний художников и поэтов — длилось дни, недели, месяцы.

Вдохновение заставляло его смеяться от радости при каждом удачном ударе кисти, страдать от бессонницы, бродить по Петербургу в зелени и блеске белых ночей, всматриваться в спящие многоцветные воды, чтобы потом перенести эти краски на полотно.

Вера в могущество и светлый дар своих рук, глаз, своего ощущения мира держала художника в непрерывном внутреннем напряжении.

Из мастерской, пахнущей лаком, он едет в императорские дворцы, где воздух кажется ему благородным от множества картин, мебели и бронзы, сделанных руками славных мастеров. Выйдя из дворца, он встречает друзей, приветствующих его молодо и радостно. Он встречает женщин, открыто улыбающихся ему, его славе, его счастливой юности,— женщин прекрасных и ждущих столь же прекрасной любви.

Кружится голова. Дни мелькают в жестоком напряжении. Где-то в глубине мозга уже родилась, как мышь, усталость и начинает грызть, пока еще осторожно и робко, вызывая приступы головной боли. Усталость и головную боль Кипренский заглушал вином.

Кипренский не знал, да и не мог знать, что слава для таких людей, как он,— страшнее смерти.

Он любовался славой, гордился ею. Он искренне верил лести и трескучим тирадам журналистов. Он думал, что мир уже лежит у ног, покоренный его мастерством.

Он не знал, что талант, не отлитый в строгие формы

культуры, после мгновенного света оставляет только чад. Он забыл, что живопись существует не для славы. Он пренебрег словами Пушкина о том, что «служенье муз не терпит суеты; прекрасное должно быть величаво...».

За это он расплатился впоследствии тяжело и жестоко.

Кто знает, чем бы кончились эти напряженные дни, если бы не наступила передышка. Кипренскому было разрешено уехать в Рим «для усовершенствования в живописном мастерстве».

Может быть, Кипренский надорвался бы и умер молодым, как умирали многие талантливые люди в тогдашней России. Может быть, живя вблизи Жуковского и Пушкина, живя в кругу людей, знавших его душевную неуравновешенность, он никогда не сделал бы искусство средством для жизненного успеха. Кто знает?

Сам он втайне сознавал, что совершает ошибку, но, не привыкший разбираться в своих душевных состояниях, не мог решить, как найти от нее избавление.

Он неясно тосковал о друге, который удержал бы его от погони за удачей и внешним блеском, вылечил бы от безволия и внушил мудрость большого человека и скромность подлинного гения. Тоска о друге-хранителе преследовала Кипренского до самой смерти, но жажда легкой жизни и удачи преодолела все.

От Петербурга до Любека Кипренский плыл на корабле. Море бушевало. Кипренский восхищался. Ему казалось, что корабль несет его в туманные страны романтики, взлелеянные в мечтах еще с детства.

Любек поразил его пустынностью. Недавно из города ушли последние наполеоновские полки. Германия встретила художника шелестом придорожных тополей и шумом быстро текущего Рейна. Наконец коляска Кипренского достигла Швейцарии. Он увидел Альпы.

«Я видел,— восклицает он в письме к Оленину,— горы, осужденные на вечные льды».

Кипренский остановился в Женеве, где написал несколько портретов и был избран членом художественного общества. Это избрание он встретил как должное.

Из Женевы он выехал в Италию. Радость не покидала его. Цветение чуждой природы создало вокруг него новый живописный мир.

Густые леса на берегах Лаго-Маджоре встречали его легким гулом. Свет солнца трепетал на их листве, как на поверхности моря. «Винограды горели, как яхонты. Селения улыбались своему изображению в лазоревой воде». Голоса пастухов звучали непонятно и весело в теплом неподвижном воздухе.

В Милане Кипренский целые дни проводил около «Тайной вечери» Леонардо да Винчи. Сторожа, хранители картины, рассказывали ему, как сам Наполеон несколько часов сидел перед творением Леонардо в глубокой задумчивости. Созерцание «Тайной вечери» внушило Кипренскому новую веру в свои силы.

«При виде творений гения,— писал он,— рождается смелость, которая в одно мгновение заменяет несколько лет опытности».

В миланском театре Кипренский впервые услышал «Волшебную флейту» Моцарта.

Чистые звуки моцартовской музыки, похожие на голоса серебряных труб, привели его в восхищение. В музыке Моцарта Кипренский хотел найти оправдание для себя,— ведь создал же Моцарт, капризный и ветреный, как женщина, проводивший ночи в пирушках и похождениях, эту высокую музыку.

Но Кипренский не знал, что Моцарт никогда не подчинял музыку низкому житейскому успеху.

Дилижанс въехал в Рим поздним вечером. Он задержался в Альбани, где ленивые жандармы окуривали серой вещи путешественников. В окрестностях Рима свирепствовала холера.

Когда стих грохот колес по каменной мостовой, Кипренский услышал свежий шум воды в городских фонтанах. Вода журчала и пела, наполняя ночь усыпительным плеском.

Сердце у Кипренского тяжело билось. Его провели в темную сводчатую комнату гостиницы и зажгли свечи.

Он тотчас же погасил их и распахнул окно. Ночь, великая, как далекое прошлое, стояла над Римом. Казалось, атланты держали ночное небо на широких плечах и от усталости все ниже склонялись к земле, приближая к ней звезды.

Неразгаданный город лежал у ног художника. Кипренский долго всматривался, пытаясь различить величественные руины, и внезапно вздрогнул,— в темноте высился огромный тяжелый купол собора, более черный, чем ночь. Это был храм святого Петра.

Кипренскому стало страшно. Он вспомнил последние петербургские годы. Внезапная усталость спутала его мысли.

«Не исчерпал ли я себя петербургским неистовством?— подумал Кипренский, отходя от окна.— Хватит ли сил продолжать начатое столь же успешно? Достигну ли я вершин Рафаэля? А достигнуть надобно».

«Нет!» — мерно сказал кто-то из темноты за окном.

Кипренский быстро обернулся,— это тяжелый церковный колокол отсчитывал часы.

«Нет!» — повторил колокол и стих, но темнота еще долго гудела от его медного голоса.

Было два часа ночи. Силы оставили Кипренского. Он уснул, не раздеваясь.

А утром в лицо полилось густое римское небо. Голубой воздух наполнял комнату. Пели фонтаны. Звонили колокола. Внизу на тесной площади бранились итальянки, продавщицы овощей, и отчаянно вопили погонщики ослов.

Кипренский быстро умылся, сбежал, насвистывая, с лестницы и смешался с пестрой толпой, расступившейся перед красной каретой кардинала.

Ветер пролетал над Римом и нес сухие и пышные облака, такие же, как на картинах старых мастеров.

Кипренский, отравленный славой, растерялся в загадочном Риме.

С каждым днем он все больше убеждался, что вершины Рафаэля ему не по силам. Он испытал чувство, описанное Гоголем: «Могучие создания кисти возносились сумрачно перед ним на потемневших стенах, все еще непостижимые и недоступные для подражания».

В чем была тайна Рафаэля? В чем было очарование старых мастеров? Как открыть эту тайну и перенести на свои холсты легкость чужой кисти?

Кипренский не знал. Он хотел покорить Рим, как недавно покорил Петербург. Он торопился и потому пошел по самому легкому пути.

Картины Рафаэля были выписаны тонко и гладко. Кипренский решил выписывать свои работы так же тщательно, как Рафаэль и Корреджо. Выходило сухо, мертво. Художник изменил себе. Глаза его как будто не видели живых красок.

Вместо великолепных портретов он начал писать скучные композиции Христа, окруженного детьми, и слащавые головки цыганок с розами в волосах.

Он хотел покорить Рим, но не знал Рима.

Однажды Кипренский услышал, как на улице весело распевали песню о Брюллове. Впервые зависть вошла в сердце. Рим — вечный Рим! — пел песню о молодом русском художнике, но не о нем, не о блистательном Оресте.

Кипренский был чужд Риму. Галерея Уффици во Флоренции заказала ему его собственный портрет. Но Кипренскому было мало этого. О портрете знали многие, но не весь Рим.

Кипренскому хотелось быть блестящим не только в живописи, но и в повседневной жизни. Он мечтал о том, как всюду — в остериях и дворцах, в Ватикане и академиях, среди прелестных римлянок и завистливых художников — громкая слава летит за ним, кружит головы, дает богатство, беспечность, любовь, преклонение.

В Риме для Кипренского пришло время последнего выбора между суровой жизнью подлинного художника и позолоченным существованием модного живописца. Кипренский выбрал последнее.

В то время военная гроза уже отшумела. Наполеон был сослан на пустынный остров в океане. Громы революции затихли в сонном воздухе Европы.

Романтика умирала, не находя опоры в окружающей жизни. Место прежних героев и бледных от нежности женщин заняли Чичиков и Хлестаков. Романтика умирала, и вместе с ней медленно умирал художник Кипренский,

Русские художники, жившие в Риме, скоро наскучили Кипренскому.

Все дни напролет они свистели, как дрозды, за моль-

бертами в своих тесных комнатах, а по вечерам заполняли остерии на Испанской площади, затевая за дешевым вином бесплодные споры.

Они отращивали бороды, чтобы быть похожими на мастеров Возрождения, небрежно закидывали через плечо плащи, мечтали о славе Кановы, болели римской лихорадкой «терцаной» и время от времени умирали от чахотки. Рим был губителен для северян.

Только двое русских привлекали Кипренского — Брюллов и застенчивый чахоточный Тамаринский.

Дружба с Брюлловым не ладилась. Он обидно молчал, рассматривая последние итальянские работы Кипренского. Мнительный Кипренский объяснял это завистью.

Тамаринский тоже молчал, но в глазах его не было осуждения. Даже в Риме он кутал в шарф худую шею и жаловался на сырость ночей,— по вечерам ветер приносил из Кампаньи запах болот.

Тамаринский был сыном дьякона. Его отец надорвался, читая Евангелие на литургии в присутствии императора Павла. Этим обстоятельством друзья Тамаринского объясняли хилое здоровье художника, родившегося через год после этого случая.

Тамаринский был знаком со знаменитым датским скульптором Торвальдсеном, соперником итальянского скульптора Кановы, жившим в то время в Риме.

Торвальдсен только что закончил бюст лорда Байрона. Весь Рим говорил о недавнем посещении города английским поэтом.

Кипренский еще с петербургских дней хранил в своем сердце память о Байроне. Он горько досадовал на судьбу, приведшую его в Рим уже после отъезда Байрона. Он завидовал даже слугам в остериях, видевшим прекрасного британца.

Кипренский уговорил Тамаринского вместе пойти к Торвальдсену посмотреть бюст Байрона и поговорить о поэте.

В то время Кипренский писал картины на аллегорические сюжеты — «Анакреонтову гробницу» и «Цыганку с миртовой веткой в руке». Писал он вяло, стараясь приятностью красок и зализанностью мазка вызвать восхищение итальянской публики.

Картины хвалили, особенно «Анакреонтову гробницу». Итальянский поэт Готти даже воспел ее в тяжеловесных

стихах. Но все это было не то,— в похвалах не хватало искреннего волнения, как и в картинах уже не было живой игры красок и свободной кисти.

Посещение Торвальдсена доставило Кипренскому величайшую горечь и радость.

Светловолосый датчанин — обычно ленивый и беспечный — был в тот вечер сердит и взволнован.

Когда Кипренский вместе с Тамаринским поднимались в мастерскую Торвальдсена по железной грохочущей лестнице, из дверей мастерской выскочил толстый человек. Обмахивая шляпой потное лицо, он промчался мимо Кипренского и едва не сбил его с ног. Кипренский узнал в нем скульптора-итальянца, известного своими ловко сделанными, безжизненными статуями.

Внезапно дверь мастерской распахнулась. В ней появился Торвальдсен.

— Я зубами высеку из мрамора лучше, чем ты резцом! — крикнул он вслед убегавшему скульптору и захлопнул дверь.

Кипренский поколебался и осторожно постучал. Слуга открыл дверь. Торвальдсен быстро ходил по мастерской. На диване с цилиндром в руке сидел красавец Камуччини — известный Риму исторический живописец — и смеялся, глядя на Торвальдсена.

— Я удивляюсь, как развитой человек может сейчас смеяться! — сказал Торвальдсен и обернулся. Гнев быстро сошел с его лица. Через минуту он уже наливал в стаканы вино и отгонял мохнатых собак, царапавших лапами бархатные жилеты гостей.

Оживленно беседовали о скульптуре. Кипренский сказал, что мраморы Ватикана представляются ему мертвыми и не вызывают волнения, свойственного великим творениям искусства.

— Мой русский друг,— сказал Торвальдсен, посмеиваясь и разглядывая на свет вино,— мой знаменитый друг, позвольте мне сегодняшней ночью показать вам эти мраморы, и вы измените ваше легкомысленное суждение.

— Как, ночью? — воскликнул Кипренский.

— Не будем раньше времени разглашать нашу тайну,— хитро сказал Торвальдсен.

Камуччини снисходительно улыбнулся.

— Нельзя оскорблять мрамор! — воскликнул Торвальдсен.— Ничто лучше мрамора не может выразить чистоту

человеческого тела. Он слишком тонок для моих грубых рук. Я преклоняюсь перед благородным резцом Кановы. С детства я привык высекать статуи из дерева. Я помогал отцу. Мой отец — исландец, резчик по дереву в Копенгагене,— делал деревянные фигуры для носов кораблей. Он был плохой художник. Его деревянные львы были похожи на толстых собак, а нереиды — на торговок рыбой.

Торвальдсен засмеялся.

— Отец очень горевал, что ему не удается работа. Вечером, за несколько часов перед моим рождением, мать сидела за прялкой. Она ждала родов, была рассеянна и забыла завязать нитку на прялке. Это у нас, датчан, считается счастливой приметой. «Петер,— сказала мать отцу уже после того, как я родился,— не горюй. Я забыла завязать нитку на прялке. Значит, сын принесет нам счастье».— «Я не знаю, что это такое»,— сказал отец. «Я тоже хорошенько не знаю,— ответила мать,— но я думаю, что счастлив тот, кто доставляет счастье многим людям».

Торвальдсен налил Кипренскому вина.

— Пейте! Все матери ошибаюся, когда говорят о своих детях. И моя мать ошибалась, когда так думала обо мне. Я рассказал вам это затем, мой знаменитый русский друг, чтобы привести наивные слова моей матери о счастье. Я завидую вам. Вы должны быть беззаботно счастливым человеком. Я знаю ваши петербургские работы. Поэтому пейте и не спрашивайте меня о бюсте Байрона. Я его не покажу.

— Почему?

— Об этом мы поговорим по дороге в Ватикан.

Торвальдсен встал.

— Ночь уже достаточно темна,— сказал он,— чтобы смотреть античные статуи.

Кипренский недоумевал. Они вышли. Римская ночь была полна тьмы, огней, затихающего грохота колес и запаха жасмина.

— Почему вы не хотите показать нам бюст Байрона? — спросил Камуччини.— Неужели мы не достойны этого?

Торвальдсен остановился около лавчонки с фруктами и закурил трубку от толстой свечи, прилепленной к прилавку. Связки сухой кукурузы висели вперемежку с гроздьями апельсинов.

— Друзья,— сказал Торвальдсен,— не обижайтесь. Я не покажу вам Байрона потому, что эта работа несовершенна и не передает души поэта. Когда Байрон вошел в мою мастерскую, я обрадовался так сильно, как исландские дети радуются после зимы летнему солнцу. Я пел, работая над бюстом, хотя Байрон позировал ужасно. Его лицо было все время в движении. Ни на одно мгновение оно не могло застыть. Тысячи выражений срывались с этого прекрасного лица точно так же, как с его губ срывались тысячи то веселых, то острых, то печальных слов. Я делал ему замечания, но это не помогало. Когда я кончил бюст, Байрон мельком взглянул на него и сказал: «Вы сделали не меня, а благополучного человека. На вашем бюсте я не похож».— «Что же дурного, если человек счастлив?» — спросил я. «Торвальдсен,— сказал он, и лицо его побледнело от гнева,— счастье и благополучие так же различны, как мрамор и глина. Только глупцы или люди с низкой душой могут искать благополучия в наш век. Неужели на моем лице нет ни одной черты, говорящей о горечи, мужестве и страданиях мысли?» Я поклонился ему и ответил: «Вы правы. Мой резец мне изменил. Я радовался, глядя на вашу голову, а радость туманит глаза».— «Мы еще встретимся»,— сказал Байрон, пожал мою руку и вышел. На днях один богатый русский предложил мне за бюст тысячу цехинов.

— И что? — живо спросил Кипренский.

— Ничего. Я сказал ему: «Если бы вы, сударь, предложили мне деньги за то, чтобы разбить бюст, я взял бы их охотно. Свои ошибки я не продаю».

Торвальдсен засмеялся. Кипренский молчал. Все, что говорил Торвальдсен, причиняло ему боль. Датчанин бередил открытую рану.

«Даю ли я сейчас счастье многим людям, как это было ранее? — думал Кипренский.— Неужели только глупцы пытаются устроить благополучие своей жизни?»

Размышления эти были прерваны приходом в Ватикан. Торвальдсен передал привратнику пропуск от кардинала.

При свете тусклой свечи они прошли по темным и гулким залам, где столетиями жили в тишине статуи, фрески, картины и барельефы. Лысый старик монах шел следом за Торвальдсеном.

Торвальдсен остановился посреди обширного зала. В нишах тускло белели мраморы.

— Отец! — негромко позвал Торвальдсен монаха.

Старик подошел. Торвальдсен взял из его рук факел, не замеченный ранее Кипренским, и поднес к нему свечу.

Багровое пламя рванулось к потолку, и под стенами внезапно засверкали статуи, озаренные колеблющимся светом.

— Теперь смотрите! — негромко сказал Торвальдсен.

Художники стояли неподвижно. Кипренский всматривался в неясную игру огня на теплом камне. Он старался закрепить в памяти движения теней, сообщавшие необычайную живость лицам героев и мраморных богинь. Знакомая по петербургским дням, давно позабытая душевная дрожь овладела им. Слезы комком подступили к горлу.

— Ну, что же, камень живет? — тихо спросил Торвальдсен.

— Живет,— глухо ответил Кипренский.

— Живет,— повторили Камуччини и Тамаринский.

— Друзья,— веско сказал Торвальдсен,— только так рождаются образы от античной скульптуры и создаются в тайниках нашей души законы мастерства.

Художники все еще стояли неподвижно. Они молчали. Огонь шумел, освещая бесконечные залы.

Всю эту ночь Кипренский не спал. Как всегда, звонили колокола, и от тяжелых слез болело сердце.

«Где, на каких путях я потерял законы мастерства? Смогу ли я быть снова свободным?» — спрашивал себя Кипренский, но тотчас же эта мысль тонула в дремоте и в пении старых позабытых строк:

И сердце нежное, все в пламени и ранах,
Трепещет с полночи до утренней звезды...

Утомленный художник уснул. Рассвет разгорался над Римом.

Потрясение, пережитое в залах Ватикана, не прошло бесследно. Снова с прежним волнением Кипренский начал работать над портретом князя Голицына — одним из самых поэтических полотен русской живописи.

С прежним проникновением изображен у Кипренского этот мистик и аристократ, личный друг императора Александра.

Эта работа Кипренского написана в глубоких, бархатистых коричневатых и синих тонах. Позади сидящего бледного князя виден Рим, купол собора святого Петра, темные

деревья и небо, покрытое пышными грозовыми облаками — такими, как на картинах старых мастеров.

Второй портрет — княгини Щербатовой — Кипренский написал в мягких и блестящих красках, таких же мягких, как шелковая шаль, накинутая на плечи княгини. Все лучшее, что осталось в Кипренском от житейских встреч с женщинами, он воплотил в образе Щербатовой — задумчивость, нежность, девическую чистоту.

Это, пожалуй, были последние работы Кипренского, если не считать прекрасного портрета Голенищевой-Кутузовой и нескольких рисунков. В последний раз Кипренский вызывал своей кистью из глубин воображения любимых героев и женщин,— их уже не было в подлинной жизни. Это была вспышка перед концом.

После этого Кипренский писал слащавые и фальшивые вещи — жеманных помещиц, скучных богатых людей, представителей равнодушной знати. Он пытался заменить прежние острые характеристики изображением бытовых подробностей. Он наивно думал, что одежда, перстни, кресла и трубки смогут рассказать о человеке больше, нежели рассказывала раньше его гениальная кисть.

Свободные движения людей на портретах сменила деревянная и тупая поза. Краски сделались грязными, мутными и угнетали глаз. Заказы сыпались сотнями. В ящике письменного стола кучами валялись ассигнации и звенело золото.

В это время случилось событие загадочное, оставившее черную тень на всей дальнейшей жизни Кипренского.

Для картины «Анакреонтова гробница» Кипренский разыскал красивую натурщицу. У нее была дочь — маленькая девочка Мариучча. Кипренский рисовал и мать и дочь.

Однажды утром натурщицу нашли мертвой. Она умерла от ожогов. На ней лежал холст, облитый скипидаром и подожженный.

Через несколько дней в городской больнице «Санта-Спирито» умер от неизвестной болезни слуга Кипренского — молодой и дерзкий итальянец.

Глухие слухи поползли по Риму. Кипренский утверждал, что натурщица убита слугой. Медлительная римская

полиция начала расследование уже после смерти слуги и, конечно, ничего не установила.

Римские обыватели, а за ними и кое-кто из художников открыто говорили, что убил натурщицу не слуга, а Кипренский.

Рим отвернулся от художника. Когда он выходил на улицу, мальчишки швыряли в него камнями из-за оград и свистели, а соседи — ремесленники и торговцы — грозили убить.

Кипренский не выдержал травли и бежал из Рима в Париж.

Перед отъездом он отвел маленькую сироту Мариуччу в сиротскую школу для девочек, в «консерваторио», и поручил ее настоятелю-кардиналу. Он оставил деньги на воспитание девочки и просил немногих художников, еще не отшатнувшихся от него, заботиться о Мариучче и сообщать ему о ее судьбе.

В Париже русские художники, бывшие друзья Кипренского, не приняли его. Слух об убийстве дошел и сюда. Двери враждебно захлопывались перед ним. Выставка картин, устроенная им в Париже, была встречена равнодушно. Газеты о ней промолчали.

Кипренский был выброшен из общества. Он затаил обиду. В Италию возврата не было. Париж не хотел его замечать. Осталось одно только место на земле, куда он мог уехать, чтобы забыться от страшных дней и снова взяться за кисть. Это была Россия, покинутая родина, видевшая его расцвет и славу.

В 1823 году, усталый и озлобленный, Кипренский вернулся в Петербург.

Сырое небо Петербурга залечивало раны медленно. Старые друзья не знали, о чем говорить. Никто из них не расспрашивал Кипренского об Италии. Их нарочито веселые и однообразные возгласы при встрече: «Ба, Орест, да ты все таков же!» — смертельно надоели художнику.

Кипренский понял, что дружба хиреет от долгой разлуки. Прошлое вспоминалось со вздохом, а иной раз с равнодушием и скукой.

Только сады, холодная Нева и небо оставались все те же,— их дружба была неразделимой и вечной. Она не требовала ответных чувств.

Кипренский работал, получая достойные заказы, бывал при дворе, где рисовал с бюста Торвальдсена портрет только что умершего императора Александра Первого, изредка его навещали покровители и друзья.

Но все это было не то. Потускнели глаза, в них появилось беспокойное выражение, ослаб голос. По утрам художник часами лежал в постели, ни о чем не думая и ни к чему не прислушиваясь.

Иногда, накладывая на полотно серую или молочно-розовую краску и как бы не замечая ее мертвого тона, Кипренский вдруг бросал с бешенством кисть на пол, срывал с вешалки плащ и выбегал на улицу. Он шел, не замечая людей, на окраины города, где гнили в тумане тусклые домишки, и возвращался только к ночи.

Бывало это всякий раз в то время, когда что-нибудь в окружающей Кипренского петербургской жизни напоминало ему Италию. Глухая сердечная боль по светлому воздуху, по древним колоннам, горячим от солнца, по запаху жасмина приходила все чаще и чаще. С непонятным упорством Кипренский показывал друзьям картины, написанные в Италии, и требовал похвал. Все сделанное в Италии казалось ему прекрасным. Друзья хмурились и пожимали плечами.

Кипренский писал сейчас ни хорошо, ни плохо,— что-то погасло внутри. Однажды к нему прислали от Бенкендорфа. Граф просил Кипренского написать портреты его детей.

Кипренский махнул рукой и согласился. Теперь ему было все равно — писать ли Пушкина или Бенкендорфа, Кюхельбекера или Аракчеева. Слабость свою Кипренский пытался прикрыть напускным легкомыслием и старался не вспоминать слов, сказанных им много лет назад, когда ему посоветовали писать портрет Аракчеева:

— Писать его надо не красками, а грязью и кровью, а таких вещей на моей палитре не водится.

Только два события запомнились Кипренскому из этих последних петербургских лет: наводнение 1824 года и работа над портретом Пушкина.

В день наводнения Кипренский ни разу не вспомнил об Италии. Утром он проснулся от пушечных ударов, сотрясавших стены. Ветер свистел в темных коридорах пустого дома. Кипренский распахнул дверь мастерской и засмеялся,— его, еще горячего от сна, сразу же обдуло запа-

хом морской воды. За окнами непрерывно мчалось к востоку черное угрюмое небо.

— Буря! — крикнул Кипренский и подбежал к окну.

Буря бушевала над Петербургом, как возвращенная молодость. Редкий дождь хлестал в окна. Нева вспухала на глазах и переливалась через гранит. Люди пробегали вдоль домов, придерживая шляпы. Ветер хлопал черными шинелями. Неясный свет, зловещий и холодный, то убывал, то разгорался, когда ветер вздувал над городом полог облаков.

Кипренский спустился на улицу. Пушки били все тревожнее и чаще. Мокрые уланы неслись вскачь по затопленным мостовым, шумно взбивая пену. Смоленые лодки качались на привязи около чугунных оград. Нева шла громадой железной воды и грозно рокотала около мостовых устоев. В домах горели свечи.

Непонятный восторг вселился в душу Кипренского,— он дрожал от холода и возбуждения. Художник торопливо вернулся домой, зажег огонь в круглой чугунной печке и схватил краски. Чем было лучше всего передать цвет этого ненастного дня? Кипренский выбрал сепию. Рисунок он нанес нервным брызгающим гусиным пером. Так появилось его «Наводнение».

Когда Кипренский писал портрет Пушкина, поэт был озабочен, хотя и пытался шутить.

Кипренский решил всю прелесть пушкинской поэзии вложить не в лицо поэта, бывшее в то время утомленным и даже чуть желтоватым, а в его глаза и пальцы. Глазам художник сообщил почти недоступную человеку чистоту, блеск и спокойствие, а пальцам поэта придал нервическую тонкость и силу.

— Ты мне льстишь, Орест,— промолвил грустно Пушкин, глядя на оконченный портрет.

Однажды Пушкин прочел Кипренскому стихи об Италии, как бы чувствуя тоску художника по недавно покинутой «стране высоких вдохновений»:

Где пел Торквато величавый;
Где и теперь во мгле ночной
Адриатической волной
Повторены его октавы;
Где Рафаэль живописал;

Где в наши дни резец Кановы
Послушный мрамор оживлял
И Байрон, мученик суровый,
Страдал, любил и проклинал...

Кипренский слушал, опустив голову и задержав кисть на полотне. Он в то время набрасывал губы поэта, а чтение стихов нарушало их замкнутую линию, столь похожую на линию юношеских губ.

— Александр Сергеевич,— сказал Кипренский, не подымая головы,— я хотел бы унести твой голос с собой в могилу.

— Полно, Орест,— ответил Пушкин и вдруг закричал тонким голосом, каким кричали на улицах торговки-чухонки: — Клюква, клюква, ай ягода-клюква!

Кипренский рассмеялся и легко ударил кистью по холсту.

В 1827 году Кипренский вновь уехал в Рим. Ему все казалось, что в Риме вернется былая слава. Но жизнь уже приближалась к концу, и талант был тяжело подорван

В Риме Кипренский скучал. Он ждал событий, перемен. Мариучча выросла, стала стройной и милой девушкой. Кипренский полюбил ее, но долго скрывал это и от себя, и от Мариуччи, и от немногих друзей.

От тоски и необъяснимой тревоги художник начал пить. Работа быстро утомляла его, а без нее не было денег. И Кипренский работал, как сотни итальянских художников-ремесленников, снимавших копии с Рафаэля, Корреджо и Микеланджело для богатых иностранцев. Он часто писал по заказу портреты безразличных ему людей и зевал от скуки.

Рим был прежним, несмотря на медленное умирание художника. «Все тот же теплый ветер верхи дерев колышет, все тот же запах роз, и это все — есть смерть».

Так же пылали величественные закаты, так же, как и раньше, художники ходили смотреть на них с холма Пинчио. Грозный свет и сумрак римских вечеров любил Гоголь. Вместе с художниками он смотрел на закаты и приходил в раздражение, когда его окликали.

— Не мешайте мне,— восклицал он,— хотя бы на одно мгновение стать прекрасным человеком в этом неласковом мире.

Все так же пахли плесенью и вином каменные полы в остериях, где Кипренский встречался по вечерам со своим новым другом, гравером Иорданом. Иордан любил Кипренского и называл его «предоброй душой».

Десять лет, проведенных в Риме, Иордан потратил на гравировку рафаэлевского «Преображения». В кирпичном полу своей комнаты около гравировального станка он протер ногами глубокую яму. Об этой яме любил рассказывать художникам Гоголь. Художники почитали Гоголя, но стеснялись его,— писатель был необщителен и молчалив.

Иванов в то время уже писал свое «Явление Христа народу».

Кипренский же сидел в остериях. Он носил с собой хлеб и кормил им бродячих собак. Собаки ходили за художником стаями, но в остерии их не пускали. Тогда они садились у дверей и терпеливо ждали, помахивая хвостами.

По стаям собак, сидевших то у одной, то у другой остерии, заказчики разыскивали Кипренского. Они заставали его за столом, уставленным бутылками. Он всегда требовал у слуги свечу, ставил ее перед собой и, прежде чем выпить вино, долго рассматривал его на свет.

— Жаль, друг мой милый,— сказал он однажды Иордану,— что нельзя писать картины вином. Сколько бы света и трепета мы вкладывали тогда в свои творения.

— Ваши краски, Орест Адамович,— ответил вежливый Иордан,— не уступают игре вина.

Кипренский досадливо поморщился и отвернулся.

— Что было, то быльем поросло,— сказал он глухо.

Кипренский не знал, что оставалось ему делать в жизни. Существовать было одиноко и неуютно. Тогда измученный Кипренский совершил последнюю ошибку — женился на Мариучче. Она его не любила, но была привязана к нему, как к человеку, спасшему ее от нищеты и голода. Чтобы жениться на Мариучче, Кипренский принял католичество.

Вместе с Мариуччей Кипренский уехал в Неаполь.

Ненадолго жизнь стала светлее. Каждый час больной и печальный художник чувствовал рядом с собой присутствие прекрасной юной итальянки. Она читала ему книги по истории Италии, трактаты о живописи и стихи,

Кипренский следил за каждым ее движением, пытаясь уберечь Мариуччу от самых ничтожных житейских неприятностей и оградить от скуки.

Уходило много денег. Кипренский ради заработка был готов на все. Он начал писать модные в то время сладкие пейзажи с дымящимся Везувием, продавал в Петербург копии с картин знаменитых итальянцев, унижался перед графом Шереметьевым, снабжавшим его деньгами, и писал ему жалкие шутовские письма в стихах:

Уж времечко катилось к лету,
А у меня денег нету.

Он просил у Бенкендорфа взаймы двадцать тысяч рублей на пять лет. Он намекал на то, что ему, Кипренскому, следовало бы пожаловать какой-нибудь орден за прошлые его заслуги живописца. Но Петербург молчал.

Падение художника шло с неизбежностью. Кто знает, понимал ли Кипренский всю глубину своего душевного несчастья, вызванного слабостью воли, погоней за житейским успехом, отсутствием твердых вкусов и взглядов?

Если он и не понимал этого, то все же чувствовал, как крепнет в нем человек ничтожный и пошлый и теряется в туманах прошлого образ гениального и веселого юноши, сына романтического века.

В Неаполе Кипренский написал, собрав последние силы, полный высокой поэзии портрет Голенищевой-Кутузовой. Этот портрет возник среди дешевых и вымученных его работ, как последнее сверкание прошлого.

Из Неаполя Кипренский уехал с Мариуччей во Флоренцию и Болонью, а оттуда вернулся в Рим.

Погасшими глазами он смотрел на эти пустынные величественные города, вяло бродил по улицам, заросшим цветущей травой, и не предавался воспоминаниям. Очарование прошлого было ему уже недоступно. Хотелось покоя, вина, беспечных снов, действующих как лекарство, помогающих забыть тревогу последних лет.

В Риме Кипренский поселился в старом дворце Клавдия, где когда-то жил французский художник Лоррен.

Кипренский сильно пил. Каждую ночь он возвращался пьяный и приводил с собой подозрительных завсегдатаев остерий.

«Молодая жена его,— пишет Иордан,—не желая видеть великого художника в столь неприглядном виде, часто не впускала его, и он ночевал под портиком своего дома».

В одну из таких ночей в октябре 1836 года Кипренский простудился, несколько дней перемогался, а потом слег.

Мариучча вызвала старого доктора Риккарди, лечившего всех русских художников.

Лысый и вертлявый старик, похожий на запыленное чучело птицы, вошел вприпрыжку в низкую комнату, где лежал Кипренский. От каменных пустых стен тянуло холодом. Риккарди огляделся и высоко поднял брови — в комнате знаменитого художника висела только одна картина — неоконченный портрет Мариуччи, сидящей у окна.

Кипренский бредил.

Эхо чьих-то торопливых шагов доносилось из далеких пустующих комнат. Густая темнота лежала в углах и в длинных каменных коридорах. Жить в таком доме было сиротливо и холодно.

Риккарди выслушал больного. Ночной осенний ветер шумел над Римом. Старый дворец был полон странного гула, низкого пения каминных труб, хлопанья ставен, скрипа дверных петель.

Риккарди долго смотрел на бледное лицо Кипренского, откинув с его лба блестящие от испарины темные волосы.

— Синьора,— сказал он Мариучче,— у вашего мужа грудная горячка. Шум ветра не дает мне возможности выслушать его со всей тщательностью. Он очень плох. Надо пустить кровь.

Мариучча молчала. Ей было страшно оставаться одной с этим бредящим, внезапно ставшим совсем чужим человеком.

В бреду Кипренский говорил по-русски. Мариучча почти ничего не понимала. Она заплакала. Кипренский очнулся, пристально посмотрел на Риккарди и схватил его за руку.

— Александр Сергеевич,— сказал он очень тихо, и слезы поползли по его небритым щекам.— Спасибо... как же ты шел так далеко, милый... Ночь какая ненастная, а ты меня не хотел оставить...

Риккарди наклонился к больному.

— Это кто? — спросил тревожно Кипренский.— Цирюльник?

— Я доктор,— сказал медленно Риккарди.— Очнитесь. Я доктор. Говорите.

— У меня тяжелая кровь,— спокойно сказал Кипренский.— Краски застыли в жилах. Выпустите кровь, она не греет. Она холодит сердце.

— Прекрасно! — сказал Риккарди.

— Что вы понимаете,— прошептал Кипренский.— Люди великие, благородные, блиставшие умом и талантом, благословляли мое имя. Жуковский поцеловал меня в голову, Пушкин писал мне элегии, и знаменитые воины считали мою руку столь же верной, как их стальные клинки.

Он поднял худую руку и долго рассматривал ее на свет. Риккарди быстро сжал Кипренского за локоть, подставил оловянную чашку и проткнул острым скальпелем кожу. Брызнула темная кровь.

— Miserere mi, Domine,— сказал Кипренский и глубоко вздохнул.— Никто не знает... Лишь один я их помню, милые слова, любовь моего сердца...

Он помолчал и сказал тихо:

И сердце нежное, все в пламени и ранах,
Трепещет с полночи до утренней звезды...

Слезы снова потекли по его щекам.

— Друзей! — вдруг дико закричал Кипренский и сел на постели. Оловянная чашка опрокинулась, и кровь растеклась из нее по простыне и подушке.— Друзей!

Он упал на постель, на кровавые пятна, и лицо его начало медленно и торжественно бледнеть. Тихо дрожали свечи. Риккарди приложил щеку с губам Кипренского.

Старый дворец гудел от ветра, как громадный струнный оркестр, играющий под сурдинку реквием.

Эхо чьих-то торопливых шагов неслось по пустующим залам. Быстро вошел Торвальдсен. Он увидел лицо Кипренского, очищенное от страданий, от следов пороков и болезней,— лицо более прекрасное, чем мрамор античных скульптур.

Торвальдсен снял шляпу, стал на колени у тела Кипренского и прижался лбом к его свисавшей с постели руке.

Осенний ветер шумел над Римом.

1936

ИСААК ЛЕВИТАН

У художника Саврасова тряслись худые руки. Он не мог выпить стакан чая, не расплескав его по грязной суровой скатерти. От седой неряшливой бороды художника пахло хлебом и водкой.

Мартовский туман лежал над Москвой сизым самоварным чадом. Смеркалось. В жестяных водосточных трубах оттаивал слежавшийся лед. Он с громом срывался на тротуары и раскалывался, оставляя груды синеватого горного хрусталя. Хрусталь трещал под грязными сапогами и тотчас превращался в навозную жижу.

Великопостный звон тоскливо гудел над дровяными складами и тупиками старой Москвы — Москвы восьмидесятых годов прошлого века.

Художник пил водку из рюмки, серой от старости. Ученик Саврасова Левитан — тощий мальчик в заплатанном клетчатом пиджаке и серых коротких брюках — сидел за столом и слушал Саврасова.

— Нету у России своего выразителя,— говорил Саврасов.— Стыдимся мы еще родины, как я с малолетства стыдился своей бабки-побирушки... Тихая была старушенция, все моргала красными глазками, а когда померла, оставила икону Сергия Радонежского. Сказала мне напоследок: «Вот, внучек, учись так-то писать, чтобы плакала вся душа от небесной и земной красоты». А на иконе были изображены травы и цветы — самые наши простые цветы, что растут по заброшенным дорогам, и озеро, заросшее осинником. Вот какая оказалась хитрая бабка! Я в то время писал акварели на продажу, носил их на Трубу мелким барышникам. Что писал — совестно припомнить. Пышные дворцы с башнями и пруды с розовыми лебедями. Чепуха и срам. С юности и до старинных лет приходилось мне писать совсем не то, к чему лежала душа.

Мальчик застенчиво молчал. Саврасов зажег керосиновую лампу. В комнате соседа — скорняка защелкала и запела канарейка.

Саврасов нерешительно отодвинул пустую рюмку.

— Сколько я написал видов Петергофа и Ораниенбаума — не сосчитать, не перечислить. Мы, нищие, благоговели перед великолепием. Мечты создателей этих дворцов и садов приводили нас в трепет. Куда нам после этого было заметить и полюбить мокрые наши поля, косые избы, перелески да низенькое небо. Куда нам!

Саврасов махнул рукой и налил еще рюмку. Он долго вертел ее сухими пальцами. Водка вздрагивала от грохота кованых дрог, проезжавших по улице. Саврасов воровато выпил.

— Работает же во Франции,— сказал он, поперхнувшись,— замечательный мастер Коро. Смог же он найти прелесть в туманах и серых небесах, в пустынных водах. И какую прелесть! А мы... Слепые мы, что ли, глаз у нас не радуется свету. Филины мы, филины ночные,— сказал он со злобой и встал.— Куриная слепота, чепуха и срам!

Левитан понял, что пора уходить. Хотелось есть, но полупьяный Саврасов в пылу разговора забыл напоить ученика чаем.

Левитан вышел. Перемешивая снег с водой, шли около подвод и бранились ломовые извозчики. На бульварах хлопья снега цеплялись за голые сучья деревьев. Из трактиров, как из прачечных, било в лицо паром.

Левитан нашел в кармане тридцать копеек — подарок товарищей по Училищу живописи и ваяния, изредка собиравших ему на бедность,— и вошел в трактир. Машина звенела колокольцами и играла «На старой Калужской дороге». Мятый половой, пробегая мимо стойки, оскалился и громко сказал хозяину:

— Еврейчику порцию колбасы с ситным.

Левитан — нищий и голодный мальчик, внук раввина из местечка Кибарты Ковенской губернии,— сидел, сгорбившись, за столом в московском трактире и вспоминал картины Коро. Замызганные люди шумели вокруг, ныли слезные песни, дымили едкой махоркой и со свистом тянули желтый кипяток с обсосанных блюдец. Мокрый снег налипал на черные стекла, и нехотя перезванивали колокола.

Левитан сидел долго,— спешить ему было некуда. Но-

чевал он в холодных классах училища на Мясницкой, прятался там от сторожа, прозванного «Нечистая сила». Единственный родной человек — сестра, жившая по чужим людям, изредка кормила его и штопала старый пиджак. Зачем отец приехал из местечка в Москву, почему в Москве и он и мать так скоро умерли, оставив Левитана с сестрой на улице,— мальчик не понимал. Жить в Москве было трудно, одиноко, особенно ему, еврею.

— Еврейчику еще порцию ситного,— сказал хозяину половой с болтающимися, как у петрушки, ногами,— видать, ихний бог его плохо кормит.

Левитан низко наклонил голову. Ему хотелось плакать и спать. От теплоты сильно болели ноги. А ночь все лепила и лепила на окна пласты водянистого мартовского снега.

В 1879 году полиция выселила Левитана из Москвы в дачную местность Салтыковку. Вышел царский указ, запрещавший евреям жить в «исконной русской столице». Левитану было в то время восемнадцать лет.

Лето в Салтыковке Левитан вспоминал потом как самое трудное в жизни. Стояла тяжелая жара. Почти каждый день небо обкладывали грозы, ворчал гром, шумел от ветра сухой бурьян под окнами, но не выпадало ни капли дождя.

Особенно томительны были сумерки. На балконе соседней дачи зажигали свет. Ночные бабочки тучами бились о ламповые стекла. На крокетной площадке стучали шары. Гимназисты и девушки дурачились и ссорились, доигрывая партию, а потом, поздним вечером, женский голос пел в саду печальный романс:

Мой голос для тебя и ласковый, и томный...

То было время, когда стихи Полонского, Майкова и Апухтина были известны лучше, чем простые пушкинские напевы, и Левитан даже не знал, что слова этого романса принадлежали Пушкину.

Он слушал по вечерам из-за забора пение незнакомки и запомнил еще один романс о том, как «рыдала любовь».

Ему хотелось увидеть женщину, певшую так звонко и печально, увидеть девушек, игравших в крокет, и гимназистов, загонявших с победными воплями деревянные шары

к самому полотну железной дороги. Ему хотелось пить на балконе чай из чистых стаканов, трогать ложечкой ломтик лимона, долго ждать, пока стечет с той же ложечки прозрачная нить абрикосового варенья. Ему хотелось хохотать и дурачиться, играть в горелки, петь до полночи, носиться на гигантских шагах и слушать взволнованный шепот гимназистов о писателе Гаршине, написавшем рассказ «Четыре дня», запрещенный цензурой. Ему хотелось смотреть в глаза поющей женщины,— глаза поющих всегда полузакрыты и полны печальной прелести.

Но Левитан был беден, почти нищ. Клетчатый пиджак протерся вконец. Юноша вырос из него. Руки, измазанные масляной краской, торчали из рукавов, как птичьи лапы. Все лето Левитан ходил босиком. Куда было в таком наряде появляться перед веселыми дачниками!

И Левитан скрывался. Он брал лодку, заплывал на ней в тростники на дачном пруду и писал этюды,— в лодке ему никто не мешал.

Писать этюды в лесу или в полях было опаснее. Здесь можно было натолкнуться на яркий зонтик щеголихи, читающей в тени берез книжку модного тогда писателя Альбова, или на гувернантку, кудахчущую над выводком детей. А никто не умел презирать бедность так обидно, как гувернантки.

Левитан прятался от дачников, тосковал по ночной певунье и писал этюды. Он совсем забыл о том, что у себя, в Училище живописи и ваяния, Саврасов прочил ему славу Коро, а товарищи — братья Коровины и Николай Чехов — всякий раз затевали над его картинами споры о прелести настоящего русского пейзажа. Будущая слава Коро тонула без остатка в обиде на жизнь, на драные локти и протертые подметки.

Левитан в то лето много писал на воздухе. Так велел Саврасов. Как-то весной Саврасов пришел в мастерскую на Мясницкой пьяный, в сердцах выбил пыльное окно и поранил руку.

— Что пишете! — кричал он плачущим голосом, вытирая грязным носовым платком кровь.— Табачный дым? Навоз? Серую кашу?

За разбитым окном неслись облака, солнце жаркими пятнами лежало на куполах, и летал обильный пух от одуванчиков,— в ту пору все московские дворы зарастали одуванчиками.

— Солнце гоните на холст! — кричал Саврасов, а в дверь уже неодобрительно поглядывал старый сторож — «Нечистая сила».— Весеннюю теплынь прозевали! Снег таял, бежал по оврагам холодной водой,— почему не видел я этого на ваших этюдах? Липы распускались, дожди были такие, будто не вода, а серебро лилось с неба,— где все это на ваших холстах? Срам и чепуха!

Со времени этого жестокого разноса Левитан начал работать на воздухе. Вначале ему было трудно привыкнуть к новому ощущению красок. То, что в прокуренных комнатах представлялось ярким и чистым, на воздухе непонятным образом жухло, покрывалось мутным налетом.

Левитан стремился писать так, чтобы на картинах его был ощутим воздух, обнимающий своей прозрачностью каждую травинку, каждый лист и стог сена. Все вокруг казалось погруженным в нечто спокойное, синеющее и блестящее. Левитан называл это нечто воздухом. Но это был не тот воздух, каким он представляется нам. Мы дышим им, мы чувствуем его запах, холод или теплоту. Левитан же ощущал его как безграничную среду прозрачного вещества, которое придавало такую пленительную мягкость его полотнам.

Лето кончилось. Все реже был слышен голос незнакомки. Как-то в сумерки Левитан встретил у калитки своего дома молодую женщину. Ее узкие руки белели из-под черных кружев. Кружевами были оторочены рукава платья. Мягкая туча закрыла небо. Шел редкий дождь. По-осеннему горько пахли цветы в палисадниках. На железнодорожных стрелках зажгли фонари.

Незнакомка стояла у калитки и пыталась раскрыть маленький зонтик, но он не раскрывался. Наконец он подался, и дождь зашуршал по его шелковому верху. Незнакомка медленно пошла к станции. Левитан не видел ее лица,— оно было закрыто зонтиком. Она тоже не видела лица Левитана, она заметила только его босые грязные ноги и подняла зонтик, чтобы не зацепить Левитана. В неверном свете он различил бледное лицо. Оно показалось ему знакомым и красивым.

Левитан вернулся в свою каморку и лег. Чадила свеча, гудел дождь, на станции рыдали пьяные. Тоска по материнской, сестринской, женской любви вошла с тех пор

в сердце и не покидала Левитана до последних дней его жизни.

Этой же осенью Левитан написал «Осенний день в Сокольниках». Это была первая его картина, где серая и золотая осень, печальная, как тогдашняя русская жизнь, как жизнь самого Левитана, дышала с холста осторожной теплотой и щемила у зрителей сердце.

По дорожке Сокольнического парка, по ворохам опавшей листвы шла молодая женщина в черном — та незнакомка, чей голос Левитан никак не мог забыть. «Мой голос для тебя и ласковый, и томный...» Она была одна среди осенней рощи, и это одиночество окружало ее ощущением грусти и задумчивости.

«Осенний день в Сокольниках» — единственный пейзаж Левитана, где присутствует человек, и то фигуру человека написал Николай Чехов. После этого люди ни разу не появлялись на полотнах Левитана. Их заменили леса и пажити, туманные разливы и нищие избы России, безгласные и одинокие.

Годы учения в Училище живописи и ваяния окончились. Левитан написал последнюю, дипломную работу — облачный день, поле, копны сжатого хлеба.

Саврасов мельком взглянул на картину и написал мелом на изнанке: «Большая серебряная медаль».

Преподаватели училища побаивались Саврасова. Вечно пьяный, задиристый, он вел себя с учениками, как с равными, а напившись, ниспровергал все, кричал о бесталанности большинства признанных художников и требовал на холстах воздуха, простора, света.

Неприязнь к Саврасову преподаватели переносили на его любимого ученика — Левитана. Кроме того, талантливый еврейский мальчик раздражал иных преподавателей. Еврей, по их мнению, не должен был касаться русского пейзажа,— это было делом коренных русских художников. Картина была признана недостойной медали. Левитан не получил звания художника, ему дали всего лишь диплом учителя чистописания.

С этим жалким дипломом вышел в жизнь один из тончайших художников своего времени, будущий друг Чехова, первый и еще робкий певец русской природы.

На сарае в деревушке Максимовке, где летом жил Левитан, братья Чеховы повесили вывеску: «Ссудная касса купца Исаака Левитана».

Мечты о беззаботной жизни наконец сбылись. Левитан сдружился с художником Николаем Чеховым, подружился с чеховской семьей и прожил три лета рядом с нею. В то время Чеховы проводили каждое лето в селе Бабкине около Нового Иерусалима.

Семья Чеховых была талантливой, шумной и насмешливой. Дурачествам не было конца. Каждый пустяк, даже ловля карасей или прогулка в лес по грибы, разрастался в веселое событие. С утра за чайным столом уже начинались невероятные рассказы, выдумки, хохот. Он не затихал до позднего вечера. Каждая забавная человеческая черта или смешное слово подхватывались всеми и служили толчком для шуток и мистификаций.

Больше всех доставалось Левитану. Его постоянно обвиняли во всяческих смехотворных преступлениях и, наконец, устроили над ним суд. Антон Чехов, загримированный прокурором, произнес обвинительную речь. Слушатели падали со стульев от хохота. Николай Чехов изображал дурака-свидетеля. Он давал сбивчивые показания, путал, пугался и был похож на чеховского мужичка из рассказа «Злоумышленник»,— того, что отвинтил от рельсов гайку, чтобы сделать грузило на шелеспера. Александр Чехов — защитник — пропел высокопарную актерскую речь.

Особенно попадало Левитану за его красивое арабское лицо. В своих письмах Чехов часто упоминал о красоте Левитана. «Я приеду к вам, красивый, как Левитан»,— писал он. «Он был томный, как Левитан».

Но имя Левитана стало выразителем не только мужской красоты, но и особой прелести русского пейзажа. Чехов придумал слово «левитанистый» и употреблял его очень метко.

«Природа здесь гораздо левитанистее, чем у вас»,— писал он в одном из писем. Даже картины самого Левитана различались,— одни были более левитанистыми, чем другие.

Вначале это казалось шуткой, но со временем стало ясно, что в этом веселом слове заключен точный смысл — оно выражало собою то особое обаяние пейзажа Средней России, которое из всех тогдашних художников умел передавать на полотне один Левитан.

Иногда на лугу около бабкинского дома происходили странные вещи. На закате на луг выезжал на старом осле Левитан, одетый бедуином. Он слезал с осла, садился на

корточки и начинал молиться, обратясь лицом на восток. Он подымал руки кверху, жалобно пел и кланялся в сторону Мекки. То был мусульманский намаз.

В кустах сидел Антон Чехов со старой берданкой, заряженной бумагой и тряпками. Он хищно целился в Левитана и спускал курок. Тучи дыма разлетались над лугом. В реке отчаянно квакали лягушки. Левитан с пронзительным воплем падал на землю, изображая убитого. Его клали па носилки, надевали на руки старые валенки и начинали обносить вокруг парка. Хор Чеховых пел на унылые похоронные распевы всякий вздор, приходивший в голову. Левитан трясся от смеха, потом не выдерживал, вскакивал и удирал в дом.

На рассвете Левитан уходил с Антоном Павловичем удить рыбу на Истру. Для рыбной ловли выбирали обрывистые берега, заросшие кустарником, тихие омуты, где цвели кувшинки и в теплой воде стаями ходили красноперки. Левитан шепотом читал стихи Тютчева. Чехов делал страшные глаза и ругался тоже шепотом,— у него клевало, а стихи пугали осторожную рыбу.

То, о чем Левитан мечтал еще в Салтыковке, случилось,— игры в горелки, сумерки, когда над зарослями деревенского сада висит тонкий месяц, яростные споры за вечерним чаем, улыбки и смущение молодых женщин, их ласковые слова, милые ссоры, дрожание звезд над рощами, крики птиц, скрип телег в ночных полях, близость талантливых друзей, близость заслуженной славы, ощущение легкости в теле и сердце.

Несмотря на жизнь, полную летней прелести, Левитан много работал. Стены его сарая — бывшего курятника — были сверху донизу завешаны этюдами. В них на первый взгляд не было ничего нового — те же знакомые всем извилистые дороги, что теряются за косогорами, перелески, дали, светлый месяц над околицами деревень, тропки, протоптанные лаптями среди полей, облака и ленивые реки.

Знакомый мир возникал на холстах, но было в нем что-то свое, не передаваемое скупыми человеческими словами. Картины Левитана вызывали такую же боль, как воспоминания о страшно далеком, но всегда заманчивом детстве.

Левитан был художником печального пейзажа. Пейзаж печален всегда, когда печален человек. Веками русская литература и живопись говорили о скучном небе, тощих по-

лях, кособоких избах. «Россия, нищая Россия, мне избы серые твои, твои мне песни ветровые — как слезы первые любви!»

Из рода в род человек смотрел на природу мутными от голода глазами. Она казалась ему такой же горькой, как его судьба, как краюха черного мокрого хлеба. Голодному даже блистающее небо тропиков покажется неприветливым.

Так вырабатывался устойчивый яд уныния. Он глушил все, лишал краски их яркости, игры, нарядности. Мягкая разнообразная природа России долгое время считалась слезливой и хмурой. Художники и писатели лгали на нее, не сознавая этого.

Левитан был выходцем из гетто, лишенного прав и будущего, выходцем из Западного края — страны захудалых еврейских местечек, чахоточных ремесленников, черных синагог, тесноты и скудности.

Бесправие преследовало Левитана всю жизнь. В 1892 году его вторично выслали из Москвы, хотя он уже был художником со всероссийской славой. Ему пришлось скрываться во Владимирской губернии, пока друзья не добились отмены высылки.

Левитан был безрадостен, как безрадостна была история его народа, его предков. Он дурачился в Бабкине, увлекался девушками и красками, но где-то в глубине сознания постоянно жила мысль, что он парий, отверженный, сын расы, испытавшей унизительные гонения.

Иногда эта мысль целиком завладевала Левитаном. Тогда начинались приступы болезненной хандры. Она усиливалась от недовольства своими работами, от сознания, что рука не в силах передать в красках то, что давно уже создало его свободное воображение.

Когда приходила хандра, Левитан бежал от людей. Они казались ему врагами. Он становился груб, дерзок, нетерпим. Он со злобой соскабливал краски со своих картин, прятался, уходил с собакой Вестой на охоту, но не охотился, а без цели бродил по лесам. В такие дни одна только природа заменяла ему родного человека,— она утешала, проводила ветром по лбу, как материнской рукой. Ночью поля были безмолвны,— Левитан отдыхал такими ночами от человеческой глупости и любопытства.

Два раза во время припадков хандры Левитан стрелялся, но остался жив. Оба раза спасал его Чехов.

Хандра проходила. Левитан возвращался к людям, снова писал, любил, верил, запутывался в сложности человеческих отношений, пока его не настигал новый удар хандры.

Чехов считал, что левитановская тоска была началом психической болезни. Но это была, пожалуй, неизлечимая болезнь каждого требовательного к себе и к жизни большого человека.

Все написанное казалось беспомощным. За красками, наложенными на полотно, Левитан видел другие — более чистые и густые. Из этих красок, а не из фабричной киновари, кобальта и кадмия он хотел создать пейзаж России — прозрачный, как сентябрьский воздух, праздничный, как роща во время листопада.

Но душевная угрюмость держала его за руки во время работы. Левитан долго не мог, не умел писать светло и прозрачно. Тусклый свет лежал на холстах, краски хмурились. Он никак не мог заставить их улыбаться.

В 1886 году Левитан впервые уехал из Москвы на юг, в Крым.

В Москве он всю зиму писал декорации для оперного театра, и эта работа не прошла для него бесследно. Он начал смелее обращаться с красками. Мазок стал свободнее. Появились первые признаки еще одной черты, присущей подлинному мастеру,— признаки дерзости в обращении с материалами. Свойство это необходимо всем, кто работает над воплощением своих мыслей и образов. Писателю необходима смелость в обращении со словами и запасом своих наблюдений, скульптору — с глиной и мрамором, художнику — с красками и линиями.

Самое ценное, что Левитан узнал на юге,— это чистые краски. Время, проведенное в Крыму, представлялось ему непрерывным утром, когда воздух, отстоявшийся за ночь, как вода в гигантских водоемах горных долин, так чист, что издалека видна роса, стекающая с листьев, и за десятки миль белеет пена волн, идущих к каменистым берегам.

Необъятные просторы воздуха лежали над южной землей, сообщая краскам резкость и выпуклость.

На юге Левитан ощутил с полной ясностью, что только солнце властвует над красками. Величайшая живописная

сила заключена в солнечном свете, и вся кажущаяся серость русской природы хороша лишь потому, что является тем же солнечным светом, но приглушенным, прошедшим через слои влажного воздуха и тонкую пелену облаков.

Солнце и черный свет несовместимы. Черный цвет — это не краска, это труп краски. Левитан сознавал это и после поездки в Крым решил изгнать со своих холстов темные тона. Правда, это не всегда ему удавалось.

Так началась длившаяся много лет борьба за свет.

В это время во Франции Ван-Гог работал над передачей на полотне солнечного огня, превращавшего в багровое золото виноградники Арля. Примерно в то же время Моне изучал солнечный свет на стенах Реймского собора. Его поражало, что световая дымка придавала громаде собора невесомость. Казалось, что собор выстроен не из камня, а из разнообразно и бледно окрашенных воздушных масс. Надо было подойти к нему вплотную и провести рукой по камню, чтобы вернуться к действительности.

Левитан работал еще робко. Французы же работали смело, упорно. Им помогало чувство личной свободы, культурные традиции, умная товарищеская среда. Левитан был лишен всего этого.

Со времени поездки на юг к обычной хандре Левитана присоединилось еще постоянное воспоминание о сухих и четких красках, о солнце, превращавшем в праздник каждый незначительный день человеческой жизни.

В Москве солнца не было. Левитан жил в меблированных комнатах «Англия» на Тверской. Город за ночь так густо заволакивало холодным туманом, что за короткий зимний день он не успевал поредеть. В номере горела керосиновая лампа. Желтый свет смешивался с темнотой промозглого дня и покрывал грязными пятнами лица людей и начатые холсты.

Снова, но уже ненадолго, вернулась нужда. Хозяйке за комнату приходилось платить не деньгами, а этюдами.

Тяжелый стыд охватывал Левитана, когда хозяйка надевала пенсне и рассматривала «картинки», чтобы выбрать самую ходкую. Поразительнее всего было то, что ворчание хозяйки совпадало со статьями газетных критиков.

— Мосье Левитан,— говорила хозяйка,— почему вы не нарисуете на этом лугу породистую корову, а здесь под липой не посадите парочку влюбленных? Это было бы приятно для глаза.

Критики писали примерно то же. Они требовали, чтобы Левитан оживил пейзаж стадами гусей, лошадьми, фигурами пастухов и женщин.

Критики требовали гусей, Левитан же думал о великолепном солнце, которое рано или поздно должно было затопить Россию на его полотнах и придать каждой березе весомость и блеск драгоценного металла.

После Крыма в жизнь Левитана надолго и крепко вошла Волга.

Первая поездка на Волгу была неудачна. Моросили дожди, волжская вода помутнела. Ветер гнал по ней короткие скучные волны. От надоедливого дождя слезились окна избы в деревне на берегу Волги, где поселился Левитан, туманились дали, все вокруг съела серая краска.

Левитан страдал от холода, от скользкой глины волжских берегов, от невозможности писать на воздухе.

Началась бессонница. Старуха хозяйка храпела за перегородкой, и Левитан завидовал ей и писал об этой зависти Чехову. Дождь барабанил по крыше, и каждые полчаса Левитан зажигал спичку и смотрел на часы.

Рассвет затерялся в непроглядных ночных пустошах, где хозяйничал неприветливый ветер. Левитана охватывал страх. Ему казалось, что ночь будет длиться неделями, что он сослан в эту грязную деревушку и обречен всю жизнь слушать, как хлещут по бревенчатой стене мокрые ветки берез.

Иногда он выходил ночью на порог, и ветки больно били его по лицу и рукам. Левитан злился, закуривал папиросу, но тотчас же бросал ее,— кислый табачный дым сводил челюсти.

На Волге был слышен упорный стук пароходных колес,— буксир, моргая желтыми фонарями, тащил вверх, в Рыбинск, вонючие баржи.

Великая река казалась Левитану преддверием хмурого ада. Рассвет не приносил облегчения. Тучи, бестолково теснясь, неслись с северо-запада, волоча по земле водянистые подолы дождей. Ветер свистел в кривых окнах, от него краснели и мерзли руки. Тараканы разбегались из ящика с красками.

У Левитана не было психической выносливости. Он приходил в отчаяние от несоответствия между тем, чего он ожидал, и тем, что видел в действительности. Он хотел

солнца,— солнце не показывалось; Левитан слеп от бешенства и первое время даже не замечал прекрасных оттенков серого и сизого цвета, свойственных ненастью.

Но в конце концов художник победил неврастеника. Левитан увидел прелесть дождей и создал свои знаменитые «дождливые работы»: «После дождя» и «Над вечным покоем».

Картину «После дождя» Левитан написал за четыре часа. Тучи и оловянный цвет волжской воды создали мягкое освещение. Оно могло исчезнуть каждую минуту. Левитан торопился.

Картины Левитана требуют медленного рассматривания. Они не ошеломляют глаз. Они скромны и точны, подобно чеховским рассказам, но чем дольше вглядываешься в них, тем все милее становится тишина провинциальных посадов, знакомых рек и проселков.

В картине «После дождя» заключена вся прелесть дождливых сумерек в приволжском городке. Блестят лужи. Облака уходят за Волгу, как низкий дым. Пар из пароходных труб ложится на воду. Баржи у берега почернели от сырости.

В такие летние сумерки хорошо войти в сухие сени, в низкие комнаты с только что вымытыми полами, где уже горят лампы и за открытыми окнами шумит от падающих капель и дико пахнет заброшенный сад. Хорошо слушать игру на старом рояле. Его ослабевшие струны звенят, как гитара. Темный фикус стоит в кадке рядом с роялем. Гимназистка сидит в кресле, поджав ноги, и читает Тургенева. Старый кот бродит по комнатам, и ухо у него нервно вздрагивает,— он слушает, не застучат ли в кухне ножи.

С улицы пахнет рогожами. Завтра — ярмарка, и на Соборную площадь съезжаются телеги. Пароход уходит вниз по реке, догоняет дождевую тучу, закрывавшую полнеба. Гимназистка глядит вслед пароходу, и глаза ее делаются туманными, большими. Пароход идет к низовым городам, где театры, книги, заманчивые встречи.

А вокруг городка день и ночь мокнут растрепанные ржаные поля.

В картине «Над вечным покоем» поэзия ненастного дня выражена с еще большей силой. Картина была написана на берегу озера Удомли в Тверской губернии.

С косогора, где темные березы гнутся под порывистым ветром и стоит среди этих берез почти сгнившая бревен-

чатая церковушка, открывается даль глухой реки, потемневшие от ненастья луга, громадное облачное небо. Тяжелые тучи, напитанные холодной влагой, висят над землей. Косые холстины дождя закрывают просторы.

Никто из художников до Левитана не передавал с такой печальной силой неизмеримые дали русского ненастья. Оно так спокойно и торжественно, что ощущается как величие.

Вторая поездка на Волгу была удачнее первой. Левитан поехал не один, а с художницей Кувшинниковой. Многие, да и сам Левитан, считали, что эта трогательно любившая его женщина была описана Чеховым в рассказе «Попрыгунья». Левитан жестоко обиделся на Чехова за этот рассказ. Дружба была нарушена, а примирение шло туго и мучительно. До конца жизни Левитан не мог простить Чехову этого рассказа.

Левитан уехал с Кувшинниковой в Рязань, а оттуда спустился на пароходе вниз по Оке до слободы Чулково. В слободе он решил остановиться.

Солнце садилось в полях за глинистым косогором. Мальчишки гоняли красных от заката голубей. На луговом берегу горели костры, в болотах угрюмо гудели выпи.

На пристани в Чулкове к Левитану подошел низкий старик с вытекшим глазом. Он нетерпеливо потянул Левитана за рукав чесучового пиджака и долго мял шершавыми пальцами материю.

— Тебе чего, дед? — спросил Левитан.

— Суконце,— сказал дед и икнул.— Суконцем охота полюбоваться. Ишь скрипит, как бабий волос. А это кто, прости господи, жена, что ли? — Дед показал на Кувшинникову. Глаза его стали злыми.

— Жена,— ответил Левитан.

— Та-ак,— зловеще сказал дед и отошел.— Леший вас разберет, что к чему, зачем по свету шляетесь.

Встреча не предвещала ничего хорошего. Когда на следующее утро Левитан с Кувшинниковой сели на косогоре и раскрыли ящики с красками, в деревне началось смятение. Бабы зашмыгали из избы в избу. Мужики, хмурые, с соломой в волосах, распояской, медленно собирались на косогор, садились поодаль, молча смотрели на художников. Мальчишки сопели за спиной, толкали друг друга и переругивались.

Беззубая баба подошла сбоку, долго смотрела на Левитана и вдруг ахнула:

— Господи Сусе Христе, что ж это ты делаешь, охальник?

Мужики зашумели, Левитан сидел бледный, но сдержался и решил отшутиться.

— Не гляди, старая,— сказал он бабе,— глаза лопнут.

— У-у-у, бесстыжий,— крикнула баба, высморкалась в подол и пошла к мужикам. Там уже трясся, опираясь на посох, слезливый монашек, неведомо откуда забредший в Чулково и прижившийся при тамошней церкви.

— Лихие люди! — выкрикивал он вполголоса.— Чего делают — непонятно. Планы с божьих лугов снимают. Не миновать пожару, мужички, не миновать бяды.

— Сход! — крикнул старик с вытекшим глазом.—Нету у нас заведения картинки с бабами рисовать! Сход!

Пришлось собрать краски и уйти.

В тот же день Левитан с Кувшинниковой уехали из слободы. Когда они шли к пристани, около церкви гудел бестолковый сход и были слышны визгливые выкрики монашка:

— Лихие люди. Некрещеные. Баба с непокрытой головой ходит.

Кувшинникова не носила ни шляпы, ни платка.

Левитан спустился по Оке до Нижнего и там пересел на пароход до Рыбинска. Все дни он с Кувшинниковой просиживал на палубе и смотрел на берега — искал места для этюдов.

Но хороших мест не было, Левитан все чаще хмурился и жаловался на усталость. Берега наплывали медленно, однообразно, не радуя глаз ни живописными селами, ни задумчивыми и плавными поворотами.

Наконец в Плесе Левитан увидел с палубы старинную маленькую церковь, рубленную из сосновых кряжей. Она чернела на зеленом небе, и первая звезда горела над ней, переливаясь и блистая.

В этой церкви, в тишине вечера, в певучих голосах баб, продававших на пристани молоко, Левитану почудилось столько покоя, что он тут же решил остаться в Плесе.

С этого времени начался светлый промежуток в его жизни.

Маленький городок был беззвучен и безлюден. Тишину нарушали только колокольный звон и мычание стада, а по

ночам —колотушки сторожей. По уличным косогорам и оврагам цвел репейник и росла лебеда. В домах за кисейными занавесками сушился на подоконниках липовый цвет.

Дни стояли солнечные, устойчивые, сухие. Русское лето, чем ближе к осени, тем больше бывает окрашено в спелые цвета. Уже в августе розовеет листва яблоневых садов, сединой блестят поля, и вечерами над Волгой стоят облака, покрытые жарким румянцем.

Хандра прошла. Было стыдно даже вспоминать о ней.

Каждый день приносил трогательные неожиданности — то подслеповатая старуха, приняв Левитана за нищего, положит ему на ящик с красками стертый пятак, то дети, подталкивая друг друга в спину, попросят нарисовать их, потом прыснут от смеха и разбегутся, то придет тайком молодая соседка-староверка и будет певуче жаловаться на свою тяжелую долю. Ее Левитан прозвал Катериной из «Грозы» Островского. Он решил вместе с Кувшинниковой помочь Катерине бежать из Плеса, от постылой семьи. Бегство обсуждалось в роще за городом. Кувшинникова шепталась с Катериной, а Левитан лежал на краю рощи и предупреждал женщин об опасности тихим свистом. Катерине и впрямь удалось бежать.

До поездки в Плес Левитан любил только русский пейзаж, но народ, населявший эту большую страну, был ему непонятен. Да и кого он знал? Грубого училищного сторожа «Нечистую силу», трактирных половых, наглых коридорных из меблированных комнат, диких чулковских мужиков. Он часто видел злобу, грязь, тупую покорность, презрение к себе, еврею.

До жизни в Плесе он не верил в ласковость народа, в его разум, в способность многое понимать. После Плеса Левитан ощутил свою близость не только к пейзажу России, но и к ее народу — талантливому, обездоленному и как бы притихшему не то перед новой бедой, не то перед великим освобождением.

В эту вторую поездку на Волгу Левитан написал много полотен. Об этих вещах Чехов сказал ему: «На твоих картинах уже есть улыбка».

Свет и блеск впервые появились у Левитана в его «волжских» работах — в «Золотом Плесе», «Свежем ветре», «Вечернем звоне».

Почти у каждого из нас остались в памяти еще с детства лесные поляны, засыпанные листвой, пышные и печальные уголки родины, что сияют под нежарким солнцем в синеве, в тишине безветренных вод, в криках кочующих птиц.

В зрелом возрасте эти воспоминания возникают с поразительной силой по самому ничтожному поводу,— хотя бы от мимолетного пейзажа, мелькнувшего за окнами вагона,— и вызывают непонятное нам самим чувство волнения и счастья, желание бросить все: города, заботы, привычный круг людей — и уйти в эту глушь, на берега неизвестных озер, на лесные дороги, где каждый звук слышен так ясно и долго, как на горных вершинах,— будь то гудок паровоза или свист птицы, перепархивающей в кустах рябины.

Такое чувство давно виденных милых мест остается от «волжских» и «осенних» картин Левитана.

Жизнь Левитана была бедна событиями. Он мало путешествовал. Он любил только Среднюю Россию. Поездки в другие места он считал напрасной тратой времени. Такой показалась ему и поездка за границу.

Он побывал в Финляндии, Франции, Швейцарии и Италии.

Границы Финляндии, ее черная речная вода, студенистое небо и мрачное море нагоняли тоску. «Вновь я захандрил без меры и границ,— писал Левитан Чехову из Финляндии.— Здесь нет природы».

В Швейцарии его поразили Альпы, но вид этих гор ничем не отличался для Левитана от видов картонных макетов, размалеванных крикливыми красками.

В Италии ему понравилась только Венеция, где воздух полон серебристых оттенков, рожденных тусклыми лагунами.

В Париже Левитан увидел картины Моне, но не запомнил их. Только перед смертью он оценил живопись импрессионистов, понял, что он сам отчасти был их русским предшественником,— и впервые с признанием упомянул их имена.

Последние годы жизни Левитан проводил много времени около Вышнего Волочка на берегах озера Удомли. Там, в семье помещиков Панафидиных, он опять попал в путаницу человеческих отношений, стрелялся, но его спасли...

Чем ближе к зрелости, тем чаще мысль Левитана останавливалась на осени.

Правда, Левитан написал несколько превосходных весенних вещей, но почти всегда это была весна, похожая на осень.

В «Большой воде» затопленная разливом роща обнажена, как поздней осенью, и даже не покрылась еще зеленоватым дымом первой листвы. В «Ранней весне» черная глубокая река мертво стоит среди оврагов, еще покрытых рыхлым снегом, и только в картине «Март» передана настоящая весенняя яркость неба над тающими сугробами, желтый солнечный свет и стеклянный блеск талой воды, каплющей с крыльца деревянного дома.

Самые мягкие и трогательные стихи, книги и картины написаны русскими поэтами, писателями и художниками об осени.

Левитан, так же как Пушкин, Тютчев и многие другие, ждал осени, как самого дорогого и мимолетного времени года.

Осень снимала с лесов, с полей, со всей природы густые цвета, смывала дождями зелень. Рощи делались сквозными. Темные краски лета сменялись робким золотом, пурпуром и серебром. Изменялся не только цвет земли, но и самый воздух. Он делался чище, холоднее, и дали были гораздо глубже, чем летом. Так у великих мастеров литературы и живописи юношеская пышность красок и нарядность языка сменяется в зрелом возрасте строгостью и благородством.

Осень на картинах Левитана очень разнообразна. Невозможно перечислить все осенние дни, нанесенные им на полотно. Левитан оставил около ста «осенних» картин, не считая этюдов.

На них были изображены знакомые с детства вещи: стога сена, почернелые от сырости; маленькие реки, кружащие в медленных водоворотах палую листву; одинокие золотые березы, еще не обитые ветром; небо, похожее на тонкий лед; косматые дожди над лесными порубками. Но во всех этих пейзажах, что бы они ни изображали, лучше всего передана печаль прощальных дней, сыплющихся листьев, увядающих трав, тихого гудения пчел перед холодами и предзимнего солнца, едва заметно прогревающего землю.

Исподволь, из года в год, у Левитана развивалась тяжелая сердечная болезнь, но ни он, ни близкие ему люди не знали о ней, пока она не дала первой бурной вспышки.

Левитан не лечился. Он боялся идти к врачам, боялся услышать смертный приговор. Врачи, конечно, запретили бы Левитану общаться с природой, а это для него было равносильно смерти.

Левитан тосковал еще больше, чем в молодые годы. Все чаще он уходил в леса,— жил он в лето перед смертью около Звенигорода,— и там его находили плачущим и растерянным. Он знал, что ничто — ни врачи, ни спокойная жизнь, ни исступленно любимая им природа не могли отдалить приближавшийся конец.

Зимой 1899 года врачи послали Левитана в Ялту.

В то время в Ялте жил Чехов. Старые друзья встретились постаревшими, отчужденными. Левитан ходил тяжело опираясь на палку, задыхался, всем говорил о близкой смерти. Он боялся ее и не скрывал этого. Сердце болело почти непрерывно.

Чехов тосковал по Москве, по северу. Несмотря на то что море, по его собственным словам, было «большое», оно суживало мир. Кроме моря и зимней тихой Ялты, казалось, ничего не оставалось в жизни. Где-то очень далеко за Харьковом, за Курском и Орлом лежал снег, огни нищих деревень мигали сослепу в седую метель, она казалась милой и близкой сердцу, гораздо ближе бёклиновских кипарисов и сладкого приморского воздуха. От этого воздуха часто болела голова. Милым казалось все: и леса, и речушки — всякие Пехорки и Вертушинки, и стога сена в пустынных вечерних полях, одинокие, освещенные мутной луной, как будто навсегда позабытые человеком.

Больной Левитан попросил у Чехова кусок картона и за полчаса набросал на нем масляными красками вечернее поле со стогами сена. Этот этюд Чехов вставил в камин около письменного стола и часто смотрел на него во время работы.

Зима в Ялте была сухая, солнечная, с моря дули тепловатые ветры. Левитан вспомнил свою первую поездку в Крым, и ему захотелось в горы. Его преследовало воспоминание об этой поездке, когда с вершины Ай-Петри он увидел у своих ног пустынное облачное небо. Над головой висело солнце,— здесь оно казалось гораздо ближе к земле, и желтоватый его свет бросал точные тени. Облач-

ное небо дымилось внизу в пропастях и медленно подползало к ногам Левитана, закрывая сосновые леса.

Небо двигалось снизу, и это пугало Левитана так же, как пугала никогда не слыханная горная тишина. Изредка ее нарушал только шорох осыпи. Шифер сползал с откоса и раскачивал сухую колючую траву.

Левитану хотелось в горы, он просил отвезти его на Ай-Петри, но ему в этом отказали — разреженный горный воздух мог оказаться для него смертельным.

Ялта не помогла. Левитан вернулся в Москву. Он почти не выходил из своего дома в Трехсвятительском переулке.

Двадцать второго июля 1900 года он умер. Были поздние сумерки, когда первая звезда появляется над Москвой на страшной высоте и листва деревьев погружена в желтую пыль и в отсветы гаснущего солнца.

Лето было очень поздним. В июле еще доцветала сирень. Ее тяжелые заросли заполняли весь палисадник около дома. Запах листвы, сирени и масляных красок стоял в мастерской, где умирал Левитан, запах, всю жизнь преследовавший художника, передавшего на полотне печаль русской природы,— той природы, что так же, как и человек, казалось, ждала иных, радостных дней.

Эти дни пришли очень скоро после смерти Левитана, и его ученики смогли увидеть то, чего не видел учитель,— новую страну, чей пейзаж стал иным потому, что стал иным человек, наше щедрое солнце, величие наших просторов, чистоту неба и блеск незнакомых Левитану праздничных красок.

Левитан не видел этого потому, что пейзаж радостен только тогда, когда свободен и весел человек,

Левитану хотелось смеяться, но он не мог перенести на свои холсты даже слабую улыбку.

Он был слишком честен, чтобы не видеть народных страданий. Он стал певцом громадной нищей страны, певцом ее природы. Он смотрел на эту природу глазами измученного народа,— в этом его художественная сила и в этом отчасти лежит разгадка его обаяния.

1937

ТАРАС ШЕВЧЕНКО

> Други мои, искренние мои!
> Пишите, подайте голос за эту бедную, грязную чернь! За этого поруганного, бессловесного смерда!
>
> ——
>
> О, край мой милый! Моя судьбина!
>
> *Шевченко*

Дед мой — старый николаевский солдат — любил поговорить о Тарасе Шевченко.

— Было это в давние времена,— говорил дед,— когда служил я, хлопчик, в Оренбургском крае...

Эти давние времена казались мне похожими на рисунки в старых, побуревших журналах. Они были тусклыми, выгоревшими, от них тянуло горькой плесенью.

— Было это в давние времена,— повторял дед и тщетно старался выбить трясущимися руками искру из кремня, чтобы закурить трубку,— еще при царе Николае. Стояла наша рота в Гурьеве, на реке Урале. Кругом, куда ни кинь глазом, степь да степь, одна соленая земля, одна пустынная местность. И от великой сухости пропадали в той местности солдаты.

Я смотрел на деда и удивлялся — как это у него за столько лет жизни не сошли с лица ожоги от каспийского солнца. Щеки у деда были черные, шея жилистая, привыкшая к красному солдатскому воротнику, и только в глазах поблескивала голубоватая вода — спутник дряхлости, признак недалекой смерти.

— И прогоняли в то время через Гурьев,— неторопливо говорил дед,— известного впоследствии человека, бывшего крипака Шевченко. Забрил его царь в солдаты за мужицкие песни. Гнали его, хлопчик, на Мангышлак, в самое киргизское пекло, где тухлая вода и нет ни травы, ни лозы, никакого даже ледащего дерева. Рассказывали старослуживые солдаты, что подобрал рядовой Шевченко

у нас в Гурьеве сухой прут из вербы, увез на Мангышлак, а там посадил и поливал его три года, пока не выросло из того прута шумливое дерево. В наше время солдата гоняли сквозь строй, били беспощадно мокрыми прутьями из вербы. Называлось это занятие у командиров «зеленая улица». Один такой прут и подобрал Шевченко. В память забитого тем прутом солдата он его посадил, и выросло на крови солдатской да на его слезах веселое дерево в бедняцкой закаспийской земле. И по нынешний день шумит оно листами на Мангышлаке, рассказывает про солдатскую долю. Да некому его слушать, хлопчик. Шевченко давно лежит в высокой могиле по-над Днепром, а слышно тот разговор только пескам, да сусликам, да пыльному ветру. Дует он там день и ночь с бухарской стороны. День и ночь порошит глаза, сушит горло, тоску прибавляет. А теперь, по прошествии многих времен, может, на том месте, где сажал Шевченко вербу, уже вырос сад и какая-нибудь птица сидит в том саду и свиристит в тени, в холодке, про свои птичьи небольшие дела.

Я мог слушать деда весь день. В коноплянике жужжали зеленые мухи. Горох на горячем плетне рассыхался, трещал, и струилась, шумела за плетнем по камням быстрая река Рось.

Я знал от деда, что она несла свою воду сначала к Белой Церкви, а потом в степи, где «мрияла» голубая жара и задувал с Босфора, шевелил бурьян тепловатый черноморский ветер.

После солдатчины дед чумаковал в степях, возил из Крыма на волах перекопскую желтую соль и сушеную рыбу. С тех пор осталась у него привычка петь дребезжащим голосом заунывные, как скрип чумацких возов, запорожские песни. То были песни о сиротах, о злых мачехах, о сказочных маленьких реках, текущих из вишневых садов, о могилах и ястребах. «Засинели издалече старые курганы». Потом я узнал, что это были любимые песни Шевченко.

«По прошествии многих времен», летом 1931 года, я, внук этого безответного деда, сошел со старого каспийского парохода на берег в Александровском форте (бывшем Новопетровском укреплении), на полуострове Мангышлак, в месте ссылки Тараса Шевченко.

Я вспомнил рассказы деда и разыскал в пустынном, пришибленном поселке несколько жалких деревьев.

Тусклый свет поблескивал на их выгорающих листьях. Пыль лежала над горизонтом — пыль ссыльных пустынь, мертвых солончаковых пространств. По дворам ревели облезлые верблюды. Солнце казалось глазом слепого.

Я пошел в степь. Желтоватые грязные облака стояли на небе. При первом взгляде на них было ясно, что они стоят здесь неделями, месяцами, как бы прилипнув к этому сухому небу.

На земле, очень редко, шагах в ста друг от друга, росли кусты горькой солянки. За холмом я наткнулся на казахскую могилу. Около выветренного камня стояла пиала с теплой водой. На пиале сидели, покачиваясь, маленькие птицы.

Я вспомнил взволнованные слова Шевченко в его дневнике о киргизских детях. Они приносят на могилы своих родных чашки с водой, чтобы птицы, залетающие в эти мертвые земли, не погибли от жажды.

Здесь, в этих местах, бродил постаревший поэт в пыльном солдатском мундире. Здесь, по приказу Николая Первого, у него отобрали единственный карандаш, чтобы он не мог ни писать, ни рисовать. Здесь он думал о детях, жалеющих маленьких птиц, тосковал о своей «прекрасной, бедной Украине во всей ее непорочной и меланхолической красоте».

Я возвращался на пароход. Я торопился. Мне казалось, что пароход может уйти раньше времени и оставить меня на этих надрывающих сердце пустырях. Тогда я понял все великое отчаяние Шевченко, томившегося здесь семь лет в ссыльной казарме, отчаяние народного певца, которому заткнули железным кляпом рот.

В старое время на полях Украины часто можно было встретить пугливых мальчиков-пастухов — босоногих, в холщовых рубашках и штанах, с торбами за спиной. В торбы полагалось прятать краюху хлеба и кусок сала. Но в них большей частью не было ничего, кроме черствой корки и щербатого ножа, чтобы вырезать из вербы свистки и свирели. Иногда в торбе попадались сухие жуки, сломанные подковы и кремни — нехитрый запас пастушьих игрушек для непонятных взрослым, удивительных игр, где главным героем было воображение.

Вот таким хлопчиком-пастушонком со старой торбой на веревочной перевязи и был в детстве Тарас Шевченко.

Детство его ничем не отличалось от детства сотен таких же боязливых, погруженных в свои детские раздумья пастушат. Детские эти раздумья были горькими, как сама судьба детей, как печально было их будущее — рекрутчина, батоги, бедность, вечный труд и, наконец, лишний рот — постылая старость. Напрасно девушки гадали о будущем по знаменитым «оракулам», напрасно видели счастливые сны. Все знали, что эти сны редко сбываются в такой клятой стране, как николаевская Россия.

Родился Тарас в семье крепостного крестьянина Григория Шевченко в селе Моринцах, Звенигородского уезда, Киевской губернии. Родился в 1814 году, когда русская армия утверждала могущество империи Александра на полях Европы и сумрачным крипакам-украинцам как будто остались на долю только воспоминания. И они вспоминали при свете каганцов Железняка и Гонту, уманскую резню, колиивщину — украинскую жакерию, когда их отцы поднялись на панов, вооруженные деревянными кольями. Среди этих рассказов о потерянной вольности, среди гнева на панщину и вырос Шевченко.

Семья Шевченко принадлежала помещику Энгельгардту — «напыщенному и ничтожному животному», по отзывам беспристрастных современников. Но у этого ничтожества была железная рука. Шевченко с ненавистью вспоминал о ней до конца жизни.

Когда Тарасу пошел девятый год, умерла его мать. Отец, переехавший в деревню Кирилловку, женился на вдове с детьми. У маленького Тараса началась сиротская жизнь, полная обид и невыплаканных слез.

Об этой жизни было сложено много песен в тогдашней сирой России. О сиротах гнусавили убогие люди па папертях сельских церквей, о сиротах пели слепцы-кобзари по ярмаркам. И пели недаром. Песни о сиротстве детей выдавали потаенные думы о сиротстве народа. Слепые певцы, может быть сами того не зная, пели грозные и мрачные песни о великой народной печали.

Единственной утешительницей маленького Тараса была старшая сестра Катруся — его терпеливая, нежная нянька. Она уводила его, плачущего, в леваду. Она рассказывала ему сказки о том, что небо стоит над землей на высоких синих столбах. Если идти и день и два, то по-

дойдешь к этим столбам и увидишь небо так близко, что его можно будет потрогать рукой.

Мальчик затихал, слушал, а наутро убегал в степь искать эти синие небесные столбы, сбивался с дороги, засыпал, обессиленный, в бурьяне, и его привозили домой чумаки.

Через два года после смерти матери умер и отец. Тарас остался круглым сиротой.

Когда перед смертью Григорий Шевченко делил между детьми свое нищенское наследство (должно быть — черную солому, холсты и казапы), он сказал, что Тарасу не надо оставлять ничего, потому что Тарас — мальчик не такой, как все: выйдет из него или замечательный человек, или большой негодяй,— ни тому, ни другому бедняцкое наследство не понадобится.

Мачеха, чтобы избавиться от пасынка, отдала его в пастухи. Пастухом Тарас был плохим. Пасти овец и свиней ему мешало живое воображение. Мальчик часами лежал на старых могилах, разглядывал небо, рассматривал украденную у дьячка книгу с картинками или играл сам с собою в тихие игры.

Пришлось взять его из пастухов и отдать в ученье к сельским дьячкам. Их было несколько, этих спившихся учителей грамоты. Они заставляли Тараса добывать им водку и читать по ночам псалтырь над покойниками.

Двенадцатилетним мальчиком Тарас уже знал всю невеселую судьбу крепостного: от рождения и до последней гробовой его свечи. Смерть казалась отдыхом. В прибранной пустой хате лежал восковой человек. Его черные заскорузлые руки впервые в жизни были бездельно сложены на груди. Ему не надо было вставать до рассвета, идти на барщину, подымать сохой неподатливую землю, думать все одну и ту же унылую думу, как прокормить жену и детей.

Потрескивала свеча. Воск капал на тонкие страницы псалтыри. Привычно вздыхали женщины, и голос Тараса бормотал неясные утешения о светлых местах, где будет покоиться рядом с умершими панами душа крипака, потому что, как учила церковь, все люди после смерти становятся братьями.

Уже с этих лет Тарас невзлюбил подневольную крестьянскую жизнь. Все попытки мачехи и брата приучить его к хлеборобству наталкивались на безмолвное сопро-

тивление. Уже с этих лет Тарас мечтал о живописи. Он украл у учителя-дьячка пять копеек, купил на них бумаги, сшил тетрадь и разрисовал ее цветами и узорами.

В конце концов Тарас не выдержал ежедневных побоев дьячка и ночных бдений над покойниками, сбежал из своей деревни и начал бродить по окрестным селам, разыскивать учителя живописи.

Живописью занимались всё те же пьяницы дьячки, писавшие иконы для церквей. Иные брали к себе Тараса в ученье, но заставляли его батрачить или без конца тереть краски; другие прогоняли его в первый же день, считая ни к чему не способным. Только маляр в селе Хлипновке взялся испытать приблудного мальчика. Две недели он заставлял его рисовать, потом сказал, что из Тараса выйдет хороший художник, но взять его в обучение он боится, потому что Тарас — беглый крипак. Маляр потребовал у Тараса письменного разрешения от помещика Энгельгардта.

Тарас простодушно пошел за разрешением к управляющему имениями Энгельгардта. Тот посмотрел его рисунки и отправил Тараса на господскую дворню.

В то время Энгельгардту, жившему в Вильно, понадобились новые слуги. Тараса посадили на телегу вместе с другими дворовыми и отправили в далекую Литву. В донесении Энгельгардту о новых слугах управляющий против имени Тараса написал: «Годен на комнатного живописца».

В 1829 году в Вильно стояла снежная зима. Глубокие снега приглушали звон католических костелов. Это не была страшная зима 1812 года,— о ней виленцы вспоминали с содроганием. Город еще жил памятью о походе Наполеона, о балах Александра, о сражениях и гибели на обледенелых горах около Вильно всей артиллерии Наполеона — маршал Ней приказал ее сжечь.

Здесь, в Вильно, был последний привал погибавшей многоязычной армии. Еще при Шевченко в подвалах виленских монастырей находили скелеты французских солдат.

Польша волновалась. Адам Мицкевич томился в позолоченной тюремной клетке — в литературных салонах ненавистного ему Петербурга. Молодежь зачитывалась

его «Конрадом Валленродом». Медленно, но явственно приближалось польское восстание.

Но мальчик Тарас ничего не знал об этом,— только гораздо позже он выучил польский язык и впервые прочел Мицкевича. Сейчас он целыми днями сидел в темноватой прихожей на конике — сундуке, где хранились принадлежности лакейского звания, ждал барского оклика, подавал Энгельгардту трубки. Вместо комнатного живописца помещик сделал его комнатным казачком.

В Вильно страсть к живописи у Тараса еще усилилась. В редкие свободные часы мальчик убегал в город. В Остpoй Браме, в бернардинских монастырях он видел старинные иконы, написанные безвестными художниками пышно и театрально. В доме Энгельгардта он рассматривал портреты героев войны двенадцатого года и суздальские образа. В Вильно мальчик впервые полюбил архитектуру и сохранил эту любовь на всю жизнь. Потом, на Украине и в Нижнем Новгороде, он зарисовывал старинные здания, восторгался их пропорциями, строгостью линий и позабытыми строителями этих зданий — большей частью «простыми крестьянами-холопами».

В Вильно Шевченко испытал первую любовь. Она была неудачна, как и все его увлечения. Всю жизнь он прожил бобылем.

Об этой первой любви Шевченко мы знаем мало. Он полюбил девушку-польку. Встретил он ее в одном из виленских костелов. Костелы всегда были местом встреч, взглядов, мимолетных и неясных знакомств.

Девушка была «вольная». Тарас был холоп. В этом одном уже заключалась безысходность его первой любви.

В палатах помещика Тарас впервые понял, как он унижен. У него появилась ясная мысль о необходимости освобождения холопов. Мысль эта росла, крепла, закалялась на протяжении жизни и сделала из безвестного мальчика великого «мужицкого поэта» и революционера.

Зимой в Вильно гремели балы. Паркеты дрожали от танцев, сияли под потолками тяжелые люстры, звенели шпоры. Ветер от шелковых шлейфов холодил ноги старикам, глядевшим на танцы из кресел. Крепостные музыканты надрывались на хорах, выдувая из флейт и кларнетов бешеные темпы мазурки.

Однажды Энгельгардт уехал на бал. Бал давали в день именин Николая. Челядь Энгельгардта могла наконец отдохнуть,— бал должен был затянуться до утра.

Когда в большом гулком доме все успокоились, Шевченко зажег свечу, прокрался в барские комнаты и начал срисовывать портрет генерала Платова.

Платов ехал по зимним полям. По обочинам дороги валялись замерзшие французы. Конь Платова гарцевал, как будто позировал мальчику.

Шевченко увлекся. Свеча оплывала. Ночь медленно приближалась к рассвету. Шевченко не слышал стука в дверь, суеты, грозных окриков Энгельгардта. Очнулся он от того, что рука барина схватила его за ухо и сбросила со стула. Взбешенный Энгельгардт кричал, что казачок палит всю ночь свечи и может сжечь дом и весь город. Тогда еще не стерлось воспоминание о пожаре Москвы, сгоревшей якобы от копеечной свечки.

— На конюшню! — кричал Энгельгардт.— Не твое холопское дело производить копии с этих портретов!

Утром Шевченко выпороли на конюшне. Порку он перенес, но несколько дней после нее думал о самоубийстве.

Через год, когда он получил от Энгельгардта новый удар, он думал уже не о самоубийстве, а об убийстве своего барина: «С ножом в господские палаты я шел, не чувствуя земли». А через несколько лет он уже звал народ тащить на плаху первого крепостника и помещика всей России — царя Николая.

Порка не испугала Тараса — он был тих, но упрям и продолжал втихомолку срисовывать портреты. Тогда Энгельгардт сдался. Он решил сделать из Тараса своего крепостного художника. В то время, как известно, помещики считали признаком просвещенности иметь дворовых художников, хотя нередко и засекали их до смерти.

Вблизи Москвы, в деревне Марфино — бывшем поместье князя Голицына, сохранилась около церкви могила крепостного архитектора Белозерова. Белозеров построил в Марфино церковь, но отказался, несмотря на приказ Голицына, поставить внутри церкви столбы. Столбы испортили бы легкую архитектуру. Голицын приказал засечь Белозерова, похоронить у стен построенной им церкви и выбить на могильной плите надпись о причинах его смерти в назидание непокорным холопам.

Энгельгардт вскоре переехал в Варшаву и отдал Шевченко в учение австрийскому хитроватому портретисту Лампи.

У Лампи Шевченко проучился недолго. Кончался 1830 год. Готовилось восстание. Польские полки волновались. Слово «повстание» произносилось во весь голос на городских площадях и в кофейнях. Наместник Константин заперся у себя в Бельведере. У французского консульства, где развевался трехцветный флаг, стояли возбужденные, восторженные толпы варшавян.

Энгельгардт решил бежать. Оставаться в Польше было опасно. Всю дворню он отправил в Петербург вслед за телегами, нагруженными барским добром. Стояла зима. Путь от Варшавы до Петербурга Шевченко прошел пешком.

В Петербурге Энгельгардт отдал Шевченко в учение к «комнатному живописцу» Ширяеву. Ширяев держал малярное и стекольное заведение.

Шевченко, вместе с другими учениками, жил у Ширяева на чердаке, носил ветхий тиковый халат и ходил на работу — красить стены, расписывать потолки и вывески.

Ширяев был подрядчиком. Это был человек необразованный, крутой и грубый. О том, чтобы научиться у него даже самым простым приемам живописи, нечего было и думать. Шевченко, как и все ширяевские ученики, боялся своего хозяина. Ширяев знал только один способ обучения — зуботычину.

По вечерам на чердаке у Ширяева старшие ученики рассказывали Шевченко о красотах Петербурга, о знаменитых петергофских гуляниях и фонтанах. Громадный город — туманный и прямолинейный, холодный и блистательный — первое время пугал Шевченко. Разнообразие живописных богатств, заключенных чуть ли не в каждом доме, казалось ему сказочным после лубочных картинок, которые он воровал на Украине у своих учителей-дьячков. Все это надо было рассмотреть, изучить, срисовать.

Как-то летом Шевченко сбежал с работы и пошел пешком в Петергоф. В кармане его халата было несколько медных грошей и кусок хлеба.

В Петергофе Шевченко увидел нарядные толпы петербуржцев, любовавшихся струями воды, летевшими

ввысь, к вершинам столетних деревьев, увидел Ширяева с его толстой женой, испугался и тотчас повернул обратно.

Он был так голоден и слаб, что фонтаны не произвели на него того впечатления, которого он ожидал. Кроме того, было страшно увидеть рядом с мраморными статуями и блещущими фонтанами, рядом с праздничной листвой садов тяжелое лицо самодура и кулака Ширяева.

Так жизнь шаг за шагом давала Тарасу трудные, но нужные уроки. Рабство и пышные придворные праздники, тиковый халат и шелестящие наряды женщин, подрядчик, торжественно шествующий среди творений Растрелли и Воронихина,— все это возвращало мысль к обездоленности народа.

Народ, только народ имел право созерцать красоту и облагораживать себя этим созерцанием, а не Ширяевы и Энгельгардты. Надо было научиться высокому искусству живописи, чтобы отдать его народу, чтобы картины — «изящнейшие произведения человеческого духа» — висели не в дворцовых залах, а в народных галереях.

Никто не мог помочь Шевченко в трудном искусстве, и он начал изучать его сам. По пути с работы на ширяевский чердак он заходил в Летний сад и срисовывал мраморные статуи, поставленные еще во времена Елисаветы.

В Летнем саду Тарас начал писать и свои первые стихи. «О первых моих литературных опытах,— говорил он впоследствии,— скажу только, что они начались в том же Летнем саду, в светлые безлунные ночи. Украинская строгая муза долго чуждалась моего вкуса, извращенного жизнью в школе, в помещичьей передней, на постоялых дворах и в городских квартирах. Но когда дыхание свободы возвратило моим чувствам чистоту первых лет детства, проведенных под убогою батьковскою стрехою, она, спасибо ей, обняла и приласкала меня на чужой стороне».

Днем рисовать было некогда. Помогали белые ночи. Их сумрак был светел. Он не скрывал очертания статуй. Наоборот, в прозрачном блеске ночей статуи казались особенно ясными на темной листве, вычерченными более чистыми линиями, чем днем. Днем они были грубее.

Шевченко сидел около статуй и рисовал. Никто не мешал ему. Летний сад был пуст, безмолвен.

В одну из таких ночей преподаватель Академии художеств Сошенко проходил через Летний сад и увидел мальчика, сидевшего на перевернутом малярном ведре перед

статуей Сатурна. Сошенко тихо подошел. Мальчик обернулся и что-то быстро спрятал за пазуху.

— Что ты здесь делаешь? — спросил Сошенко.

— Да ничего,— ответил растерянно мальчик.— Ничего я не делаю такого... Шел с работы и зашел в сад.

Сошенко молчал.

— Я рисую,— прошептал мальчик и покраснел.

— Покажи.

Мальчик показал художнику измятый набросок статуи Сатурна. Набросок был очень хорош.

Сошенко дал мальчику свой адрес и наказал непременно прийти в ближайшее воскресенье и принести свои рисунки.

С этой встречи начался перелом в жизни Шевченко. Сошенко первый открыл в Летнем саду этот «алмаз в кожухе», как он называл впоследствии Шевченко.

В первое же воскресенье Тарас пришел к Сошенко. Художник открыл ему дверь и протянул руку. Тарас схватил ее и хотел поцеловать. Сошенко вырвал руку. Тарас испугался, бросился вон из дверей и убежал.

Сошенко был возмущен «раболепием» мальчика. Он не знал, что Тарас — крепостной. Сгоряча он не понял, что запуганный мальчик хотел поцеловать ему руку не из раболепия, а из благодарности — так же, как поцеловал бы руку приласкавшего его отца.

Сошенко был взволнован не меньше Тараса. На следующий вечер он пошел в Летний сад, чтобы отыскать мальчика, и увидел его перед статуей Аполлона Бельведерского. Сошенко забрал мальчика и повел в трактир. Мальчик был худ, бледен; было видно, что он голодает.

В трактире Тарас рассказал Сошенко свою немудрую жизнь. Сошенко был в отчаянии: талантливый мальчик оказался крепостным. Не было никакой надежды вырвать его у помещика и сделать художником. Тарас смотрел в глаза Сошенко, но художник только махнул рукой.

Они молча вышли из трактира. Великолепный город лежал вокруг, расчерченный гениальными архитекторами. Казалось, неизмеримое горе было заключено в продуманной классической красоте петербургских зданий.

Около трактира встретился известный художник, старик Венецианов. Сошенко рассказал ему о Тарасе. Венецианов долго приглядывался к украинскому юноше, потом тихо сказал Сошенко:

— Добейтесь хотя бы некоторого улучшения его участи, а потом уже будем хлопотать о свободе. Все возможно на этом свете, лишь бы было непреклонное желание.

Сошенко пошел к Ширяеву. Долго он уговаривал угрюмого подрядчика отпускать Шевченко в свободное время к нему, художнику Сошенко, для обучения живописи. Ширяев подозрительно посматривал на художника и упирался. Занятие чистой живописью было, по его мнению, вредным баловством и ничего не могло принести крепостному, кроме несчастья. Но Сошенко был настойчив, и подрядчик сдался.

С тех пор Тарас все свободное время проводил в мастерской у Сошенко. Здесь он встретился с блиставшим в то время в Петербурге Карлом Брюлловым.

Имя Брюллова, недавно вернувшегося из Италии, было окружено трескучей славой. Петербуржцы знали восторженные отзывы Вальтера Скотта о полотнах Брюллова. Рассказывали, что в Риме, когда Брюллов появлялся в театре, зрители встречали его рукоплесканиями. О Брюллове создавались легенды. Его ставили в один ряд с Микеланджело и Рафаэлем. Его великолепная мастерская приводила в трепет измотанных нуждой художников и нищих учеников Академии. Пушкин восхищался Брюлловым и просил его написать портрет жены — Натальи Гончаровой.

Преклонение перед Брюлловым легко понять. Брюллов внес в русскую живопись живую нарядность и приподнятость красок. Вместе со своими полотнами он как бы целиком перенес в Россию клочок Италии. Все на его холстах золотилось, смуглело, сверкало лукавством, улыбкой, театральной грацией. Брюллову завидовал даже Кипренский.

Брюллову понравились рисунки Шевченко. Сбылось то, о чем Тарас не мог и мечтать. Один из величайших художников Европы не только держал в руках, но и искренне хвалил его «мазню».

Брюллову понравился Тарас — «мальчик с некрепостным лицом». Он заинтересовался его судьбой и обещал Сошенко подумать о ней.

После встречи с Брюлловым Тарас несколько дней ходил, ничего не видя, не слыша. Он беспричинно смеялся, забывал о работе, не замечал ругани Ширяева. Слезы радости часто появлялись у него на глазах.

Сошенко устроил так, что Тарас начал посещать классы Академии художеств. Там он рисовал античные гипсы. Он все сильнее втягивался в живопись, знакомился с вольнолюбивыми художниками, начинал понимать язык линий и следовать традициям живописного мастерства. И тем отвратительнее делалось для него прозябание раба, малярная работа, мусорный ширяевский чердак.

Брюллов рассказал о судьбе талантливого украинского юноши Жуковскому и музыканту Виельгорскому. Сообща было решено добиться освобождения Тараса.

Брюллов поехал к Энгельгардту. Он вернулся от помещика в бешенстве. «Это самая грязная свинья, какую я когда-либо встречал в жизни,— сказал он Сошенко.— Завтра он обещал назначить цену за Шевченко. Сходите к нему и узнайте, сколько он запросит».

Так начался страшный торг с Энгельгардтом за свободу Шевченко.

Сошенко не решился сам пойти к Энгельгардту. Он попросил об этом Венецианова. Сошенко думал, что Энгельгардт постыдится затеять торговлю с простодушным стариком, пользовавшимся всеобщей известностью и уважением. Венецианов охотно согласился идти к помещику,— всю жизнь он помогал людям, «впадавшим в крайность». Он считал это таким же естественным для себя делом, как и писание картин.

Энгельгардт заставил старика Венецианова больше часа дожидаться в передней, среди челяди и лакеев. Принял он Венецианова грубо, надменно. Он не захотел слушать разговоров о талантливости Шевченко и необходимости свободы для его дальнейшего развития.

— Все это вздор! — сказал он Венецианову.— Все это филантропия! Не в том, батенька, дело.

Тогда Венецианов, краснея за собеседника, спросил, во сколько Энгельгардт оценивает свободу Шевченко.

— Наконец-то я слышу достойные слова! — воскликнул Энгельгардт и начал уклончивый разговор о том, что Шевченко ему надобен, потому что он, Энгельгардт, заказывает ему портреты знакомых и даже платит крепостному художнику за каждый портрет рубль серебром.

Торг длился долго. Энгельгардт в конце концов назначил за Шевченко выкуп в две тысячи пятьсот рублей и не захотел уступить ни копейки.

Сумма по тем временам была огромна. Она делала освобождение Шевченко почти невозможным. Венецианов пришел к Сошенко обескураженный и сердитый.

Снова совещались Брюллов, Сошенко, Венецианов и Жуковский и решили деньги эти достать во что бы то ни стало.

Шевченко страшно волновался. Он задумал убить Энгельгардта. Чтобы успокоить его, Сошенко добился у Ширяева отпуска для Тараса на один месяц. Но Ширяев был не такой человек, чтобы согласиться на это даром,— Сошенко должен был бесплатно написать портрет Ширяева.

Отпуск не помог Шевченко. Он знал, что нигде двух с половиной тысяч достать нельзя, что не стоит думать о свободе, и с каждым днем томился все больше. Он притих, был подавлен, растерян. Мысль об убийстве Энгельгардта он оставил: вместо свободы это принесло бы еще худшую неволю — каторгу, Сибирь.

Тоска заполняла дни. Мысли путались, и как леденящее железо входило в сердце отчаяние. Тарас не выдержал этого напряжения и заболел горячкой.

Его свезли в больницу. Гнилая весна медленно одолевала зимнюю стужу. Бурый дым падал из труб на закисающий снег. Лед на Неве чернел и трещал. С залива дули мокрые ветры.

Шевченко смотрел из окна больницы,— никакое солнце в мире, даже солнце его родной Украины, не могло бы пробить толщу облаков, волочившихся по озябшей земле. Дни, холодные как казарма, стояли над промозглым Петербургом. Шевченко чудилось, что худой николаевский солдат заглядывает на него в окна, не спускает с больного бескровных глаз, моргает белыми ресницами. Но за окнами никого не было,— там шел реденький снег.

Как-то ночью грозно вздохнула и грохнула Нева,— по реке двинулся лед. А утром в больницу пришел Ширяев — тихий, смущенный, совсем непохожий на прежнего матерого хозяина.

Он помял в руке черный картуз, сел и сказал:

— Ну, Тарас, не взыскивай с меня за обиду. Выкупили тебя господа художники. Теперь ты человек вольный.

Шевченко отвернулся, и губы у него задрожали.

Он не поверил хозяину. Ширяев повздыхал, потоптался — и ушел.

Вскоре пришел Сошенко. Шевченко сел на койке и спросил:

— Это правда?

— О чем ты говоришь, Тарас? — спросил Сошенко.

— Это правда, что вы... что я...— сказал Тарас и замолчал. Он боялся выговорить последнее слово — невероятное слово «свободен».

Сошенко догадался.

— Правда, Тарас,— сказал Сошенко.

Шевченко упал лицом на соломенный больничный тюфяк и зарыдал. Сошенко вынул из кармана «вольную» и отдал ее Шевченко. Тот прочел ее несколько раз, поцеловал и спрятал под подушку.

Было это 22 апреля 1838 года.

Болезнь Тараса заставила его друзей поторопиться с поисками денег. Жуковский и Брюллов придумали выход. Брюллов написал портрет Жуковского. Портрет этот был разыгран в лотерею. Лотерея дала две с половиной тысячи рублей. Деньги тотчас отвезли Энгельгардту и получили от него «вольную» на «ревизскую душу крестьянина Тараса Григорьевича Шевченко».

Освобождение Шевченко почти совпало со смертью Пушкина. Пушкин умер только за год до этого. Только год назад Тарас робко вошел, вместе с притихшей толпой, в небогатую квартиру поэта. Пушкин лежал в гробу, в прихожей. Витые розовые свечи горели около изголовья. В квартире был беспорядок, обычно сопутствующий смерти.

Великий поэт напомнил Тарасу его родных крипаков, по которым он читал псалтырь,— так же было измучено его лицо, так же, должно быть впервые в жизни, были спокойно сложены на груди его сухие маленькие руки.

Тарас принес с собою лист бумаги и огрызок карандаша. Он спрятался в угол и начал срисовывать безжизненную голову поэта. Он смущался, вздрагивал, когда кто-нибудь задевал его полой тяжелой шубы.

Тогда уже Пушкин вошел в жизнь Тараса как недосягаемый друг, как величайший учитель поэзии.

Весна наконец победила холодную слякоть. По Неве прошел ладожский лед. Голубые дни подымались с востока и медленно уходили на запад, в тихую воду залива.

Золотые шпили сверкали над шумным, оживающим городом. Шевченко был свободен.

От радости он даже не мог рисовать. Он бродил по городу, светлый, улыбающийся, часто вынимал из кармана «вольную» и перечитывал ее при свете северной ночи. Потом долго стоял задумавшись, глядел, как над островами зеленеет заря. Она казалась ему зарей его новой, удивительной жизни.

Тарас поселился у Сошенко и начал работать в Академии художеств под руководством Брюллова. С грязного чердака он перешагнул в мастерскую великого художника, где, как в лавке антиквара, были собраны превосходные вещи. Каждая из них была достойна рассказов, споров и размышлений.

В этой мастерской Тарас впервые понял прелесть бесед, переливающихся острой мыслью, шуткой, веским замечанием. Здесь вспоминали о Пушкине как о недавнем госте этой мастерской. Здесь во время работы читали вслух научные трактаты, говорили о Риме, качестве красок, рассказах Гоголя, Рембрандте и античности, музыке Гайдна и декабристах.

Брюллов открыл Шевченко свою богатую библиотеку. Шевченко впитывал содержание книг, как земля впитывает внезапный ливень. Он узнал о Гете, Шиллере, старике Гомере и Вальтере Скотте. Он изучал историю средних веков и Греции, французский язык, прошел курс зоологии, физики и анатомии.

Но особенно охотно Шевченко искал и прочитывал книги по истории Украины. Он не забыл ее в тревогах и радостях последних лет. Он всегда носил в сердце память о родных крипаках, лирниках, курганах, шумящих седою травою.

Брюллов тоже любил Украину. Тарас подолгу рассказывал ему о защитнике сельской бедноты — Кармелюке, песнях и праздниках, о мягком работящем народе, загнанном Екатериной в крепостное ярмо.

Иногда Брюллов брал Шевченко с собой в Эрмитаж или на загородные прогулки. Однажды они ездили на пароходе в Петергоф. Теперь Шевченко не был голоден. Петергоф предстал перед ним совершенно иным, чем в первый раз. Он ощутил прелесть этих садов, где в глубине аллей шумят балтийские волны, где морской ветер покрывает рябью пруды и из мраморных изваяний льются по

ступеням, покрытым илом и бронзой, прозрачные водопады.

Эти прогулки были праздниками для Шевченко. Брюллов читал ученикам лекции о том, как живописать воду, небо, деревья и травы. Шевченко все больше привязывался к своему учителю. Почтительное, почти благоговейное отношение к Брюллову он сохранил надолго. Шевченко был тверд в привязанностях. Он прощал Брюллову все. Когда много лет спустя он узнал о скупости Брюллова, то старался внушить себе, что эта черта является только «случайной гримасой гения».

Годы учения в Академии художеств были самым легким временем в жизни Шевченко.

Он поселился в мансарде с товарищами по Академии: Михайловым и Штернбергом. Дни проходили в посещении академических классов, в работе и чтении. Шевченко любил слушать чтение во время работы и сам любил читать вслух товарищам.

Постепенно завязывались знакомства с передовыми людьми своего времени и с украинцами, жившими в Петербурге,— писателем Гребенкой, знаменитым математиком Остроградским.

Впервые Тарас начал слушать музыку Бетховена, Гайдна, Моцарта. Музыку он любил. Она всегда напоминала ему об Украине. Из тончайших и разнообразных мелодий возникал образ родной певучей страны. Шевченко тосковал по ней. Припадки этой тоски приобретали порой характер болезни, и в эти минуты Шевченко писал на клочках бумаги первые свои украинские стихи. Поэзия уже боролась в нем с увлечением живописью. Поэзия уже стала его «странным, неугомонным призванием». Тогда же он написал свои знаменитые «Думы»:

Думы мои, думы мои,
Цветы мои, дети!
Я растил вас, я берег вас.
Где ваш кров на свете?
В край родной идите, дети,
К нам на Украину,
Под плетнями сиротами,
А я здесь уж сгину.
Там найдете сердце друга,
Оно не лукаво,
Там найдете, дети, правду,
А может, и славу.

Привечай же, мать-отчизна,
Моя Украина,
Моих деток неразумных,
Как родного сына!

Жизнь шла легко, несмотря на отсутствие денег. Когда перепадал лишний рубль, приятели бежали в трактир «Рим» на Васильевском острове и заказывали сочные бифштексы. Однажды они украли живого гуся у смотрителя Академии. Гуся сварили в самоваре и съели, а крылья его подарили художнику Петровскому. Петровский писал конкурсную картину «Агарь в пустыне». Ему нужны были крылья какой-нибудь большой птицы, как образец для крыльев ангела, утешающего Агарь. За свою «Агарь» Петровский получил заграничную командировку. Шевченко со смехом рассказывал всем, как гусиные крылья создали счастье художника.

В своих живописных работах Шевченко начал постепенно уходить от академичности и ложноклассической трактовки образов к ясному и простому реализму. Характерно, что один из академических этюдов Шевченко изображает нищего мальчика, который делится милостыней с бродячей собакой. Это была дань художника своему детству.

Шевченко получил от Академии две серебряные медали за свои работы, но работы эти его уже не радовали. Он увлекся акварельным портретом. В этой области учителем Шевченко был портретист Соколов. Тарасу нравились его просвечивающие краски, изящество рисунка.

Портреты работы Шевченко вскоре стали славиться в Петербурге. Посыпались заказы. Нужда окончилась. Шевченко стал кормильцем целой ватаги молодых художников-украинцев. Он начал хорошо одеваться, бывать в театрах. Это вызвало жестокие упреки его наставника Сошенко. Он негодовал на «безалаберную жизнь» Тараса. «Мы — плебеи,— говорил Сошенко,— и вести легкомысленную жизнь нам с тобой не пристало».

Однако ничего странного в таком поведении Шевченко не было. Он оставался в те годы еще настоящим ребенком. Купленный им непромокаемый плащ казался ему чем-то необыкновенным. Он гордился им и с восторгом показывал знакомым. Его, бывшего пастуха, помнившего дырявые, насквозь промокшие свитки, радовало, что вот хитрые люди придумали материю, которая и в дождь остается су-

кой. Недолгое увлечение Шевченко внешней стороной петербургской жизни было естественным у юноши, только что вырвавшегося из нищеты.

Оставаясь наедине с собой в пыльной комнате, заваленной начатыми холстами, Шевченко до слез грустил по Украине, и все думы, вся страсть, вся любовь его были далеко от Петербурга, были со своим обездоленным народом. Оставаясь один в своей каморке, Тарас писал стихи о родине. Над нею «орел черный сторожем летает, кобзари о ней народу песни распевают». О стихах этих никто не знал, и, может быть, долго не узнал, если бы не случай. Произошел он в конце 1839 года.

Шевченко писал портрет полтавского помещика Мартоса. Мартос приходил позировать Шевченко. Однажды Мартос заметил на полу комнаты исписанный клочок бумаги. Он поднял его — и прочел украинские стихи, поразившие Мартоса ясностью языка, певучестью, скорбью о судьбе Украины. Это был отрывок «Тарасовой ночи».

— Что это? — спросил Мартос.— Чьи это стихи?

— Мои,— неохотно ответил Шевченко.— Так... Баловство. Когда плохо делается на сердце, я и начинаю портить бумагу. У меня их много, этих стихов.

Шевченко вытащил из-под кровати корзину, доверху набитую изорванными скомканными листами, исписанными крупным неправильным почерком.

— Вот все мое добро,— сказал.— Тут сам черт вывихнет лапу.

Мартос начал разбирать рукописи. Шевченко смотрел на него с недоумением. Рукописи были в таком беспорядке, что Мартос не мог в них разобраться. Он взял их с собой, чтобы дома привести в порядок, и ушел.

Но пошел он не домой, а к украинскому писателю Гребенке. Они вдвоем разобрали рукописи, прочли их и долго молчали. Они были потрясены. Они впервые узнали о существовании большого народного поэта, чьи стихи были так неотделимы от страданий и мыслей народных, что даже не верилось, что они написаны одним человеком, а не созданы всем народом в течение многих лет на шляхах, на полях Украины.

Молчат горы, стонет море,
Могилы в тумане.
Стонут дети казацкие
Во вражеском стане.

На следующий день Мартос снова пришел к Тарасу позировать для портрета. Тарас молчал. Молчал и Мартос. Он ждал, когда Тарас спросит его о стихах. Но Тарас был угрюм, работал с ожесточением и не говорил ни слова. Наконец Мартос не выдержал.

— Прочел я ваши стихи, Тарас Григорьевич,— сказал он.

Шевченко молчал.

— Великолепные стихи! Их надо тотчас напечатать.

Шевченко испугался.

— Что вы! — заговорил он быстро и недовольно.— Какие это стихи! Засмеют меня за эти стихи, а то, пожалуй, и побьют поэты.

С большим трудом Мартосу удалось добиться от Шевченко разрешения напечатать стихи отдельной книгой. Она была названа «Кобзарь» и вышла в свет в феврале 1840 года. Вскоре вышли отдельными книгами и две великолепные поэмы Шевченко «Катерина» и «Гайдамаки».

Петербург заговорил о новом «мужицком» поэте. На Украине появление «Кобзаря» произвело впечатление потрясающее. Его выучивали наизусть, над ним плакали, его хранили в сундуках. Чудесным казалось, что из северного Петербурга раздался свободный голос бывшего раба-украинца, и голос этот прозвучал по всей стране как плач о бедняках, как призыв к освобождению от рабства.

Тогда Тарас еще не знал, что «своими стихами он сам себе кует кандалы». Узнал он об этом через несколько лет, в Петропавловской крепости. Со времени выхода «Кобзаря» Третье отделение уже тайно следило за поэтом.

Летом 1843 года сбылась наконец мечта Тараса. Он вернулся к себе на Украину прославленным поэтом и художником.

Поездка была связана с печатанием большого художественного альбома «Живописная Украина». В альбом должны были входить зарисовки украинских пейзажей, старых городов, быта, картины из истории Украины, написанные и выгравированные самим Шевченко. Текст к гравюрам должны были писать известный историк Бодянский и украинский писатель Кулиш.

Украина встретила Тараса ласково, но вскоре же нанесла удар его юношеским представлениям о родине. Все украинцы были на отдалении одинаково милы Шевченко, как была мила сама Украина. Шевченко думал, что ее

единственное несчастье заключалось в порабощении царским самодержавием. Стоило сбросить гнет царской России — и тотчас возродится былая вольность и слава, мирный труд расцветет на черноземных полях, и песни польются от края до края степей.

На Украине Шевченко был желанным гостем — и в хатах крипаков, и в усадьбах помещиков-украинцев. Но как только Тарас переступил порог первого же помещичьего дома, он понял, что он крепостной, хотя и носит в кармане «вольную». Его принимали охотно, но временами давали почувствовать, что он — бывший холоп и ему не по плечу равняться со шляхтой и дворянством. Шевченко не мог смотреть в глаза казачка́м, подававшим трубки, дворне, снимавшей шапки перед ним, знатным столичным человеком.

Он был костью от кости этих холопов, он был поэтом бедняцкой Украины. Ненависть к помещикам, к панам, независимо от того, кто они были — украинцы, поляки или русские,— вошла с тех пор в его сердце и крепла с каждым годом.

Он резко порвал знакомство с помещиками. В ответ на это один из помещиков, Лукашевич, прислал ему письмо. «Таких мужиков и олухов, как ты,— писал Лукашевич Шевченко,— у меня триста душ».

Однажды Шевченко гостил у полтавского помещика, «стихоплета» Родзянко, дружившего одно время даже с Пушкиным. Несмотря на кажущуюся дружбу с Пушкиным, Родзянко написал на него донос в стихах в то время, когда Пушкин был уже в ссылке. Пушкин, предупрежденный друзьями, не мог поверить этому. «Донос на человека сосланного есть последняя степень бешенства и подлости»,— писал Пушкин. Он думал, что на это не способен даже Родзянко.

В доме Родзянко Шевченко увидел, как дворецкий ударил по лицу дворового мальчика. Шевченко ночью ушел из дома Родзянко, уехал в Миргород и больше с Родзянко не встречался.

Была одна только помещичья семья, с которой Шевченко мирился,— просвещенная и гуманная семья князя Репнина.

Дочь Репнина, Варвара, экзальтированная, порывистая женщина, полюбила Шевченко. Варвара была воспитана в отвращении к крепостному праву. Ее прекло-

нение перед Шевченко — бывшим крипаком, теперешним разночинцем и талантливым поэтом — было безгранично. Она довела это преклонение до смешного. Каждая выпитая Шевченко рюмка водки, каждая вольная шутка казались ей недостойными гения и заставляли искренне и долго страдать. О своей любви она не сказала Шевченко ни слова. Это была безмолвная, но самоотверженная любовь.

Когда Шевченко находился в ссылке, Варвара Репнина настойчиво хлопотала о его освобождении. Она прекратила хлопоты только после грубой угрозы со стороны Третьего отделения подвергнуть за это преследованию всю ее семью.

От идиллических мечтаний о патриархальной Украине Шевченко резко перешел к мыслям об освобождении народа от власти царя и панов. Он понял, что единственный путь к этому — восстание. Он знал, что его слова о судьбе украинских помещиков, о том, что «кровь их детей польется в далекое море сотнею рек», станут словами пророческими.

Вы, разбойники и воры,
Жадная орава!
По какому вы людскому
Божескому праву
И землей, от века общей,
И людьми живыми
Торгуете? Берегитесь,
Встретитесь вы с нами!
Он настанет, день веселый,
Вас настигнет кара,
Пламя новое повеет
С Холодного Яра!

Второй раз Шевченко приехал на Украину из Петербурга после окончания Академии художеств — весной 1844 года.

Весна стояла дружная, туманная. Полая вода задерживала Шевченко в пути. Есть нечто величавое в разливах русских рек. Они наполняют воздух самых убогих уголков земли блеском воды, отражающей весеннее небо. Блеском, похожим на блеск мелких морей, что вплотную подступили к порогам курных изб, к голым березовым рощам. Шевченко не досадовал на задержку в пути.

Он поселился в Киеве, сразу же был окружен украинской молодежью, но жил в Киеве мало. Он исколесил всю

Украину. Шевченко начал работать в археологической комиссии и по ее поручению зарисовывал памятники старины, сохранившиеся на Украипе. Это дало ему прекрасное знание страны.

Он побывал в Подолии, на Волыни и на Полтавщине, во многих местах около Киева, в Чернигове, Нежине и Чигирине. Он напряженно работал как художник, но еще больше как поэт. В это время им была написана поэма о Яне Гусе и много стихотворений.

Однажды во время своих скитаний Шевченко попал на ярмарку в город Ромны. Здесь он увидел настоящую гоголевскую Украину.

Над Ромнами стояла непроницаемая мелкая пыль. На ярмарку пригнали громадные табуны лошадей и съехались со всей России кавалерийские ремонтеры покупать лошадей для армии. Лошадей гоняли на корде перед покупателями. Неистово кричали цыгане. Лудильщики били в медные тазы.

В ярмарочном балагане выступал знаменитый украинский актер Соленик. Это был выдающийся актер, равный по дарованию Щепкину, но рано умерший. Шевченко считал его актером даже большего мастерства, чем Щепкин. Со Щепкиным к тому времени Шевченко познакомился и сдружился.

Выступление Соленика перед ярмарочным сборищем Шевченко воспринял как унижение театрального искусства.

В тот же вечер на ярмарке выступал хор московских цыган. Они разухабисто пели «Горные вершины»:

Не пылит дорога,
Не дрожат листы...
Подожди немного,
Отдохнешь и ты.

Пьяные ремонтеры ревели от восторга и швыряли в цыганок измятыми кредитками. Шевченко ушел взбешенный.

«Думал ли великий германский поэт,— писал об этом Шевченко,— а за ним и наш великий Лермонтов, что их глубоко поэтические стихи будут отвратительно-дико петы пьяными цыганками перед собором пьянейших ремонтеров? Им и во сне не снилась эта грязная пародия».

Во время скитаний по Украине Шевченко много вре-

мени проводил среди крепостных крестьян. По ночам в темных хатах собирались родные его «гречкосеи» и безнадежно жаловались на угнетения, на обиды, на жестокости панов и шляхтичей. Для помещиков и шляхтичей, наводнявших Украину, «гречкосеи» были только «быдлом» — рабочим скотом. Гнев охватывал Шевченко — великий, беспощадный гнев поэта, трибуна, революционера. Этот гнев сообщил его стихам характер неистовых проклятий.

Да, он клял этот барский «смердящий» мир, клял царя, всех предателей и насильников.

А слез! А крови! Напоить
Всех императоров бы стало.
Князей великих утопить
В слезах вдовиц! А слез девичьих,
Ночных и тайных слез привычных,
А материнских горьких слез!
А слез отцовских, слез кровавых!
Не реки — море разлилось!
Пылающее море... Слава
Борзым, и гончим, и псарям,
И нашим батюшкам-царям...

Шевченко был «вольный». Его вольное слово звучало по всей Украине, его стихи читали шепотом, но этот шепот гремел в сердцах как набатный колокол, от него закипали слезы в глазах и холодели руки.

— Что делать, Тарас? — спрашивали измученные крипаки.— Вот ты вышел в люди — дай совет, открой очи, научи, как добиться до правды.

Шевченко в то время уже знал, что делать. Сбросить царя и помещиков. Взять землю. Он открыто звал к этому крестьян. Он писал об этом. Его «археологические прогулки» по Украине превращались в страстные агитационные поездки. Всюду, где был Тарас, усиливался крестьянский гнев, разгоралось возмущение. Он подымал в сознании крипаков задавленные рабством пласты человеческого достоинства и негодования.

В это время в Киеве вокруг историка Костомарова собрался кружок либеральной украинской молодежи. Молодежь эта была враждебна крепостному праву и считала, что оно может быть уничтожено с помощью самих же «раскаявшихся» помещиков. Надлежало только вдохновить на освобождение крестьян лучших из помещиков и сделать это, воздействуя на них наукой и поэзией.

Постепенно кружок вокруг Костомарова рос и превратился, наконец, в тайное общество, названное Кирилло-Мефодиевским братством. Члены братства мечтали о политическом объединении славян и уничтожении «рабства и всякого унижения низших классов». Государственный строй славянских стран члены братства представляли себе в виде Славянских Соединенных Штатов.

Костомаров преклонялся перед поэзией Шевченко. По его словам, «Тарасова муза прорвала какой-то подземный заклеп, уже несколько веков запертый многими замками, запечатанный многими печатями».

Костомаров привлек в братство Тараса Шевченко, хотя Шевченко не разделял в своих политических взглядах той половинчатой либеральной теории, какую проповедовало братство. Путь Шевченко был путь революционной борьбы, путь уничтожения царской и помещичьей власти. Шевченко знал, что революция будет беспощадной и кровавой. Но он примкнул к Кирилло-Мефодиевскому братству, так как вокруг него все же объединились передовые люди Украины.

Братство не было искушено в конспирации. В его среду проник предатель — студент Попов. Он донес властям, и братство было разгромлено. Костомаров и другие видные члены братства были арестованы.

Шевченко арестовали 5 апреля 1847 года, когда он возвращался из Чернигова в Киев и переправлялся на пароме через Днепр.

Участие Шевченко в Кирилло-Мефодиевском братстве было для правительства, как выяснилось впоследствии, только удобным поводом для ареста. Третье отделение давно подозревало о ходивших по рукам «дерзких» стихах Шевченко и о его агитации среди крепостных.

Семнадцатого апреля Шевченко был под конвоем доставлен в Петербург и заключен в Петропавловскую крепость. Началось следствие.

На допросе в Третьем отделении на вопрос: «Какими случаями вы были доведены до такой наглости, что писали самые дерзкие стихи против государя императора?» — Шевченко ответил: «Возвратясь в Малороссию, я увидел нищету и ужасное угнетение крестьян помещиками, посессорами и шляхтичами. И все это делалось и делается именем государя и правительства».

Следствие закончилось быстро. Результаты его были неожиданны. Шеф жандармов Орлов доложил Николаю, что дело Кирилло-Мефодиевского братства раздуто. Приговоры были очень мягкими для тогдашнего режима. Очевидно, правительство знало цену разговорам пылких юношей о моральном перевоспитании крепостников. Костомаров получил только год тюрьмы. Почти все обвиняемые были освобождены. Только один Шевченко был приговорен к ссылке рядовым солдатом в Оренбургский батальон «с правом выслуги», то есть на неопределенное время, почти на пожизненную каторгу.

В своем докладе царю Орлов сказал прямо: «Шевченко не принадлежал к братству, но он виновен по своим собственным отдельным действиям».

Николай мстил Шевченко за ненависть поэта к царям. Николай понимал, что «мужицкая» поэзия Шевченко была во много раз страшнее для самодержавия, чем либеральная болтовня юношей из Кирилло-Мефодиевского братства.

На приговоре о ссылке Шевченко Николай написал слова, изумившие даже жандармов: «Под строжайший присмотр, запретив писать и рисовать». Это была гражданская смерть для Шевченко. Художнику связали руки, поэту заткнули рот и бросили его в каторжную жизнь захолустного гарнизона.

Второго июня Шевченко выехал в сопровождении жандармов в Оренбург. Громадный путь в две тысячи километров жандармы проскакали в девять дней.

Шевченко был отправлен тайно. Никто не знал, куда сослан поэт. Первое время по Петербургу ходили слухи, что он увезен на Аландские острова и там повешен.

Из Оренбурга Шевченко отправили в Орскую крепость, в пятый линейный батальон.

Если бы Шевченко не обладал мужеством и волей, если бы он не был «одарен крепким телосложением», как было сказано даже в приговоре о ссылке, он не вынес бы десятилетней ссыльной тоски.

Тяжесть этой тоски трудно передать словами. Даже в русском языке мало этих слов,— а кому, как не русскому народу, была знакома острожная кандальная тоска! С давних времен до самого начала двадцатого века,

вплоть до революции, народ этот пропадал по каторгам, шагал по унылым «владимиркам» и томился на вшивых этапах. Но за черными сибирскими ночами, за мраком и пылью азиатских степей этот великий замученный народ видел правду, синеющую как далекий рассвет.

И Шевченко думал в ссылке о том, чтобы «солнце правды хоть сквозь сон увидеть», чтобы «хотя бы раз еще взглянуть на народ свой».

Мертвая степь окружала Орск со всех сторон, тусклая степь, откуда изредка приходили в город толпы кочевников менять верблюжью шерсть на водку и махорку. Кочевники называли Орск «злой крепостью».

Первые люди, которых Шевченко увидел, въезжая в Орск, были колодники с черными клеймами, выжженными на лбу.

Шевченко отвели в казарму. От нее шла застарелая кислая вонь. Ротный командир осмотрел поэта и пригрозил ему розгами, если он не будет «молодцевато служить государю» и выполнять по всей строгости ружейные приемы. Но до конца солдатской жизни Шевченко так и не выучил ни одного ружейного приема.

Казарма встретила поэта равнодушно. Люди тупели здесь годами. Казалось, их ничто не занимало, кроме еды, сна, водки и картежной игры.

Командиры твердо следовали аракчеевскому правилу: «Сто человек забей — одного выучи». Это была, по словам Шевченко, «кабацкая шваль, прикрытая офицерским мундиром».

Каждый день из месяца в месяц Шевченко вставал на заре, чистил сапоги, фабрил усы и выходил на казарменный плац обучаться шагистике, ружейным приемам, колке чучел и «словесности» — самому тупоумному порождению николаевского армейского строя.

Унтера со злорадством следили за тем, чтобы поэт ничего не писал и не смел даже брать в руки карандаш.

«Стань навытяжку!» — этот крик преследовал поэта с утра до ночи. Но и ночь не давала покоя. Ночью солдаты дрались в казарме из-за украденных портянок и понюшки табаку, вели бесконечные споры, кого в какой роте пороли и кого будут пороть завтра, или разгоняли тоску — рвали всей пятерней струны балалаек. Среди старослуживых солдат крепко жили выработанные годами интересы — зависть из-за лишней манерки щей, мечты о лазаре-

те. Когда Шевченко заболел цингой и лег в лазарет, вся рота жестоко завидовала ему. Болезнь была затаенной мечтой каждого солдата.

Пили все: офицеры, солдаты, все население никому не нужного Орска. Пили жестоко, тупо; заливали водкой, заглушали похабными песнями и рассказами казарменную тоску.

В Оренбурге у Шевченко нашлись друзья. Одним из них был чиновник Михаил Лазаревский. Он всячески старался облегчить участь поэта, но это было невозможно.

Единственный путь избавиться хотя бы в незначительной доле от муштровки, от скотского быта казармы, нелепый, но единственный путь, был в «угощении» офицеров. От каждого угощения водкой офицеры размякали, смотрели сквозь пальцы на отлучки Шевченко и не требовали от него лихой выправки,— на нее он был совершенно неспособен.

Во время этих отлучек Шевченко уходил в степь, за город, или на берег глинистого мутного Урала, доставал из-за голенища сапога, из-за солдатской «халявы» маленькую истрепанную тетрадку и записывал в нее стихи.

Это были короткие стихи об одиночестве, о многоцветных радугах, пьющих там, на далекой родной Украине, днепровскую воду, о жестокой бедняцкой доле. Временами все прошлое — Украина, и Петербург, и милые сердцу друзья, и Академия художеств — казалось обманом, навеянным степною сон-травой.

Но эти отлучки, короткие передышки были куплены тяжелой ценой,— Шевченко должен был пить вместе с теми, кого он угощал. Так полагалось по традиции пьяниц. Нарушение этой традиции приводило к жестоким унижениям. Это и случилось впоследствии, когда Шевченко был переведен в Новопетровское укрепление. Инженерный офицер Кампиони затащил Шевченко к себе в офицерский флигель, где пьянствовали офицеры. Они лежали в одних рубахах на кошме и тянули по очереди сивуху из полуведерной бутыли. Шевченко тоже хотели напоить сивухой, но он вырвался и вышел. Кампиони выскочил вслед за ним с отчаянным криком, что он, рядовой Шевченко, оскорбил офицера. Шевченко был арестован. На следующий день Кампиони подал рапорт коменданту о том, что Шевченко оскорбил действием его, Кампиони, и потому надлежит начать следствие.

Было это в 1857 году, накануне освобождения Шевченко, когда из Петербурга пришли известия о «помиловании». По тогдашним порядкам, дело грозило новой каторгой. Комендант посоветовал Шевченко единственный выход — извиниться перед Кампиони и уговорить его взять рапорт обратно. На карту ставилась вся дальнейшая жизнь, и Шевченко не выдержал: надел солдатский мундир и пошел к Кампиони. Он долго дожидался в передней. Потом Кампиони впустил Шевченко в комнату, покуражился над ним и наконец согласился взять рапорт обратно за четверть сивухи.

Так, среди отчаяния, сивухи, безвестности прошел год в Орске. Друзья ничего не писали. Они не скоро узнали, куда сослан Шевченко Первые письма он получил от Варвары Репниной и от своего украинского друга Лизогуба. Репнина прислала Тарасу книги, а Лизогуб — ящик с красками. Это был печальный подарок. Лизогуб не знал приказа Николая, запрещавшего Шевченко рисовать.

Весной 1848 года просвещенный моряк лейтенант Бутаков приехал в Оренбургский край, чтобы произвести подробную опись берегов Аральского моря.

От Михаила Лазаревского Бутаков узнал о судьбе поэта и настоял, чтобы Шевченко был включен в состав Аральской экспедиции. Бутакову нужен был художник для зарисовки берегов Аральского моря. Шевченко был обрадован этим назначением и тотчас же выехал из Орска в Оренбург.

Экспедиция прошла на верблюдах от Оренбурга до берегов Аральского моря, построила две шхуны и вышла в плавание. Шевченко был назначен на шхуну «Константин». Он жил в одной каюте с офицерами и ссыльным солдатом, геологом Вернером.

Плаванье по Аралу было для Шевченко коротким отдыхом. Аральское море, похожее на синюю ртуть, налитую в песчаные берега, монотонные дни, самый характер работы, связанный с промером глубин, с исследованием необитаемых островов, с долгими стоянками в тихих, безжизненных бухтах — все это позволяло хоть на время забыть казарму.

Экспедиция, закончив летние работы, зазимовала в глухом форте Кос-Арал.

Зимовка была тяжелая. Шумели холодные ветры, день и ночь трещали сухие камыши. Не было ни книг, ни писем. Почта в Кос-Арал приходила один раз в шесть месяцев.

Шевченко снова переболел цингой. У него началась бессонница. Много лет спустя, при воспоминании о ночах в Кос-Арале, у него, по его собственному признанию, холодело сердце. А тут еще изводили казаки-староверы, несшие в Кос-Арале сторожевую службу. Они приняли Шевченко из-за его бороды за ссыльного раскольничьего попа и преследовали поэта назойливыми выражениями своей почтительности.

Но хуже всего была бессонница. Туманная луна подымалась над Голодной степью,— там лежали неведомые страны, откуда Сыр-Дарья несла мутную и мертвую воду.

Шевченко выходил по ночам на палубу и тихо, чтобы не слышал капитан, пел любимые украинские песни,— томился, вспоминал об Украине. Слушал эти песни только вахтенный матрос. А пел Шевченко прекрасно. Некоторые из его современников говорят, что талантливость Шевченко якобы ярче всего была выражена не в его стихах и картинах, а в пении старинных запорожских песен.

Трещали камыши, холодная ночь простиралась над миром, и одиночество камнем лежало на сердце. Иногда в такие ночи великий поэт и замуштрованный солдат, преждевременно состарившийся от каторжной муки, плакал, сидя на палубе шхуны, и вытирал глаза рукавом колючей шинели. Плакал о своей недоле, милых друзьях, о заброшенности и беспомощности среди окружавших его равнодушных, казенных людей. В ссылке он вспомнил о матери:

...Счастье, мама,
Что ты так рано спать легла,
А то бы бога прокляла
За мой удел.

Никому не было дела до Шевченко. Каждый нес на душе свою заботу, каждый думал о покинутой семье. Один только лейтенант Бутаков был спокоен,— его спасала выдержка исследователя.

В Кос-Арале Шевченко написал за зиму много стихов и поэм. Его гнев на царя и панщину еще больше окреп, еще усилился в ссылке:

Пусть палачи царей карают.
Конец им, палачам людским!

Весной экспедиция закончила опись аральских берегов, вернулась в Оренбург и занялась разработкой полученных материалов. Бутаков сообщил начальству, что Шевченко не может быть возвращен в свою часть, пока не закончит отделки «живописных видов Арала».

Шевченко остался в Оренбурге. Образованный и гуманный офицер капитан Герн поселил его у себя и отвел под жилье и мастерскую поэта флигель в саду. Шевченко снял ненавистную солдатскую форму, ходил в штатской одежде, много писал и рисовал. Командующий краем генерал Обручев заказал ему портрет своей жены.

После отчета о блестящей работе Аральской экспедиции генерал Обручев выдал Шевченко в награду... пять рублей серебром. Начальник Отдельного Оренбургского корпуса генерал Перовский возбудил в Петербурге ходатайство о производстве Шевченко в унтер-офицеры и разрешении ему рисовать. Петербург отказал. Петербург выразил неудовольствие тем, что, несмотря на приказ Николая, Шевченко было разрешено заниматься в экспедиции рисованием. Лейтенант Бутаков был взят под тайный надзор полиции.

В Оренбурге Шевченко сблизился с поляками, сосланными за восстание 1830 года. Среди них был разжалованный в солдаты польский офицер Сераковский. Он провел несколько лет в гарнизонах на берегу Сыр-Дарьи, видел ежедневные порки солдат, и у него возникла идея — ей он отдал всю жизнь — добиться отмены телесных наказаний в русской армии. После смерти Николая Сераковский был помилован, уехал в Петербург, поступил офицером в Главный штаб и настойчиво добивался уничтожения шпицрутенов, розог, палочных избиений, заковывания в колодки.

Когда в 1863 году началось второе польское восстание, Сераковский примкнул к нему, был схвачен и повешен по приказу Муравьева. О Сераковском, как о мужественном и благородном человеке, проникнутом идеями социализма, писали Герцен и Чернышевский.

В Оренбурге жить стало немного легче. Шевченко знал, что в столице друзья хлопочут о нем, что по просьбе добряка Лазаревского генерал Обручев согласился отправить Шевченко не в Орск, а вместе с Вернером на полуостров Мангышлак, в горы Каратау для поисков каменного угля. Это уже сулило некоторую независимость, отодвигало все дальше «смердячую» казарму в Орске.

Но случилось предательство. Некий прапорщик Исаев донес генералу Обручеву, что Шевченко ходит в штатском платье и, вопреки царскому приказу, пишет стихи и рисует картины. Обручев это прекрасно знал,— ведь не кто иной, как Шевченко, рисовал портрет его жены,— но раз донос был получен, ему, по правилам, надлежало дать ход. У Шевченко был произведен обыск. Нашли «партикулярные ношебные вещи», тетради со стихами, альбомы, с рисунками и книги Шекспира, Пушкина и Лермонтова.

Полетели срочные донесения в Петербург. Петербург предписал рядового Шевченко держать под арестом и внушить ему, чтобы в дальнейшем он не осмеливался нарушать приказа Николая. Но рвение местных военных властей обогнало Петербург. Шевченко был посажен в тюрьму — уже не за рисование и не за стихи, а за то, что появлялся на улицах в штатской одежде.

Больше полугода он просидел в тюрьмах Оренбурга, Орска и Уральска и был наконец, поздней осенью 1850 года, выслан в Новопетровское укрепление, на полуостров Мангышлак, на восточный бесплодный берег Каспийского моря. Это было место, носившее у видавших виды николаевских солдат название «могилы» и «вонючего пекла».

Ссылка на Мангышлак означала то же, что смерть. О человеке, загнанном в эту пустыню, начисто забывали. Он существовал только в порыжевших от времени списках. Списки эти валялись в рассохшихся шкафах захолустных военных канцелярий. Пьяные писаря крутили из них цигарки, и в сизом чаду махорки исчезала порой самая память о сосланном. Если Петербург запрашивал о нем, то проходили месяцы, пока бумажные следы ссыльного отыскивались по канцеляриям.

Орск и Арал были только преддверием ссылки. Настоящая каторга началась на Мангышлаке.

Ротный Потапов — багроволицый, неряшливый, беспрерывно отрыгивающий сивухой,— придумал простой способ, чтобы отравить существование Шевченко. Он не кричал, не сажал поэта в «курятник» — на гауптвахту, а назойливо придирался к мелочам.

К Шевченко был приставлен дядька-солдат. Он следил, чтобы у Шевченко не было ни перьев, ни карандашей, ни чернил, ни бумаги. Каждый раз, когда Шевченко выходил

из казармы, его обыскивали, заставляли снимать сапоги Начальству было известно, что в Орске поэт прятал стихи за голенища сапог.

Мангышлак — глинистый, перегоревший от солнца полуостров, окруженный мелководным морем. На востоке, за солончаками, подымаются горы Каратау. Они похожи на сухой человеческий мозг — громадные купола из песчаника, изрытые трещинами.

На этом клочке земли было выстроено Новопетровское укрепление — самое скучное место во всей тогдашней Российской империи.

Изредка приходила из Гурьева парусная лодка с почтой, и еще реже — колесный пароход из Астрахани. Два-три раза за несколько лет заходил старый маленький крейсер, и морские офицеры — «невежды и брехуны», по словам Шевченко,— забавлялись тем, что рассказывали одичавшим жителям форта всяческие страхи: на днях, мол, приедет корпусный командир, отдаст под суд за пьянство офицеров и перепорет для порядка всех ссыльных солдат.

Солдаты в Новопетровском были другие, чем в Орске. В Орске было много старослуживых солдат, взятых в армию по рекрутчине на двадцать пять лет. Здесь же было много юношей, отправленных в армию по воле родителей за «дурной нрав» (эта мера широко применялась в помещичьем быту), и бывших офицеров, разжалованных в солдаты за уголовщину — «загибание» углов в картежной игре, воровство, продажу казенного имущества.

Жалованье офицерам и солдатам привозил пароход из Астрахани. Его ждали с нетерпением целыми месяцами только затем, чтобы, получив мешки с деньгами и раздав деньги по рукам, начать «гомерическое» пьянство.

Деньги целиком отсылались маркитанту или «спиртомеру» — целовальнику винной лавки Зигмонтовскому. Денщики притаскивали бутылки с водкой. В офицерские флигеля вызывали из казарм песенников, и начиналось пьянство. Длилось оно несколько дней и кончалось обыкновенно кровавой дракой.

Но в пьянстве соблюдался известный порядок. Солдатам жалованье выдавали не раньше, чем кончали пить офицеры. В этом сказывалась «мудрость» начальства. Солдаты пили во вторую очередь, когда офицеры уже успевали проспаться, и таким образом форт не оставался покинутым на произвол сплошной пьяной толпы.

Пили и зимой и летом — в удушающей жаре, в испарине, пили до белых чертей.

Ссыльные солдаты могли бы легко бежать из укрепления во время офицерских попоек, но бежать было некуда Вокруг простиралась смертоносная пустыня, такая голая пустыня, что «не на чем было даже повеситься», как горько шутил Шевченко.

Население Новопетровского состояло из солдат, а это было «самое бедное, самое жалкое сословие в нашем отечестве», из офицеров — подонков армии, и немногих гражданских личностей — проходимцев и авантюристов.

Шевченко сдружился только с одним солдатом — служителем при лазарете, Андреем Обеременко. Они были земляки и, сидя по вечерам на пороге лазарета, вспоминали Украину и пели вполголоса украинские песни.

В свободные от тяжелых работ и муштровки часы Шевченко заходил к целовальнику Зигмонтовскому. Это был лживый, невежественный старик, утомительно хваставшийся своей феерической жизнью. Жизнь эта сплошь состояла из «стечения удивительных обстоятельств». Зигмонтовский был и актером и якобы прогремел в роли Дмитрия Донского. Под видом морского лейтенанта он плавал с адмиралом Лазаревым к Южному полюсу, а будучи заседателем Одесского земского суда, примкнул к декабристам, за что и сидел будто бы в одиночном заключении в крепости Измаиле. Все, на что бы ни бросал даже мимолетный взгляд этот беспокойный старик, вызывало у него жажду вранья. Однажды, угощая Шевченко селедкой, он обильно поливал ее прованским маслом и при этом рассказывал, что во время плавания с адмиралом Лазаревым ему, Зигмонтовскому, удалось досконально узнать, откуда берется это самое прованское масло. Корабли Лазарева остановились около острова Прованс, лежащего между Италией и «городом Сингапуро». На этом острове росли громадные деревья Стоило только надрезать на них кору, чтобы в бутылки хлынуло чистейшее прованское масло.

Но среди обитателей укрепления даже Зигмонтовский и его бесцветная старушка жена казались прекрасными людьми, и Шевченко часто заходил к ним почитать газету (Зигмонтовский получал «Петербургские ведомости») и послушать безобидное вранье старика.

Прошло три года. Ротного Потапова перевели в Уфу. Вместо него был назначен ротным служака и фрунтовик

капитан Косарев. Он показался после Потапова «ангелом доброты». Комендантом укрепления был назначен полковник Усков — человек мягкий, увлекавшийся впервые появившейся в то время фотографией. Наконец, начальником края вместо Обручева был назначен генерал Перовский — взбалмошный, жестокий, но предприимчивый и своеобразный человек, гордившийся знакомством с Пушкиным, Гоголем и Жуковским.

Под влиянием друзей Шевченко Перовский в предписании к Ускову намекнул на необходимость послаблений ссыльному поэту. Шевченко был освобожден от тяжелых работ, муштровки, выправки. Перовский, будучи в Петербурге, просил шефа жандармов Дубельта разрешить наконец Шевченко рисовать, но Дубельт отказал.

Тогда Шевченко решил заняться лепкой. Бродя по окрестностям укрепления, он нашел хорошую глину и начал лепить из нее фигуры киргизов. Усков сначала обеспокоился, но потом решил, что раз лепка не запрещена,— значит, позволена, и смотрел на эти занятия Шевченко снисходительно.

Жизнь скрашивалась письмами — снова начали писать друзья,— посещениями семьи Ускова и редкими наездами в укрепление людей из России. Ненадолго приезжал писатель Писемский. Он обрадовал поэта рассказами о необычайном успехе его стихов. Два раза приезжали с экспедицией, изучавшей рыбные богатства Каспийского моря, ученый Бэр и молодой ученый Данилевский. С ними Шевченко отводил душу, но каждый раз после отъезда этих людей его охватывала новая тоска.

Бэр посоветовал Тарасу написать о своей судьбе президенту Академии художеств, известному скульптору и медальеру графу Федору Толстому. Шевченко написал, но без всякой надежды на помощь Толстого, только чтобы не обидеть Бэра.

Пустыня сторожила укрепление. В самой монотонности ее горизонта, в бесплодности земли, в мутном небе была заключена огромная тоска.

По вечерам Шевченко часто ходил вокруг стен укрепления. Сонные волны набегали на берега. Перекликались часовые. Звездное небо, такое же, как на родине, сверкало над головой, и от этого было еще горше, еще труднее на сердце.

Шевченко облысел, глаза его сузились и потеряли блеск, походка стала тяжелой и медленной. Жизнь как бы кончалась, но не кончалась каторга. Шевченко подолгу смотрел на запад, где за ночной мглой, за шумом тусклого моря лежали блещущие росой, цветистые от радуг степи и небеса Украины. Ему снились томительные сны, дрожащие песни кобзарей, деревни, пестрые как писанки, гром днепровских порогов. Но наступало пробуждение, и поэт с горечью признавался:

Сердце старое черствеет,
И очи не видят
Ни хатенки этой белой
Под синью небесной,
Ни долины приветливой
У темного леса...

В Новопетровском Шевченко не написал за семь лет ни одного стихотворения. Казалось, что воображение иссякло, пролилось, как вода на сухую землю. И все чаще ярость подымалась к горлу, и Шевченко проклинал страшным неистовым проклятием палача Николая, обрекшего поэта на медленную смерть в изгнании, на худшую казнь, какую мог придумать «коронованный фельдфебель».

В 1855 году до глухого форта дошла радостная весть — Николай умер. Скрытое ликование охватило всех, даже некоторых офицеров. Упала тяжесть, ломавшая кости всей стране.

Говорили, что Николай отравился, не выдержав исхода Крымской кампании, и огромный его труп, надушенный и обложенный цветами, был так страшен, что придворные дамы от одного вида мертвого императора падали в обморок.

Шевченко ждал освобождения, ждал амнистии от нового царя — Александра.

Александру Второму были поданы списки ссыльных, подлежавших освобождению. Он прочел их и тщательно вычеркнул из списков имя Шевченко. Он вежливо улыбнулся и сказал: «Этот слишком сильно оскорбил мою бабку и моего отца, чтобы я мог его простить».

Последняя надежда на освобождение пропала. И солдаты, и Усков, и даже иные отпетые офицеры Новопетровского укрепления были поражены царской несправедливостью и старались утешить Шевченко.

Одинокий, лишенный родных и друзей, Шевченко увлекся женой коменданта Ускова. Он бывал у Усковых каждый день. Дети Ускова полюбили поэта и звали его Горичем, сокращая трудное отчество.

Жена Ускова была красивая, приветливая женщина. Она обласкала Шевченко, а он полюбил ее по-юношески, с трепетом и благоговением. Но это была любовь неразделенная и скрытая. О ней нельзя было говорить никому. О ней Шевченко не мог даже намекнуть самой Усковой.

Любовь ссыльного солдата к жене коменданта сулила им обоим только несчастье.

О первых днях этой любви Шевченко писал, что дыхание поэзии появилось в мертвой пустыне. Но каторга — это «безграничное вместилище безграничных мерзостей» — оказалась сильнее молодой женщины. На глазах у поэта Ускова менялась. Сначала она грустила и плакала, а через два года уже бойко играла в карты до утренней зари, ссорилась за ломберным столом, сплетничала, вырывала страницы из Лермонтова и скручивала из них папильотки.

Шевченко перенес двойной удар — неразделенной любви и медленного морального падения любимой женщины. Но он уже привык к ударам и научился переносить их.

Во время припадков тоски он уходил в степь, где разбили свои кибитки киргизы. Кочевники с недоумением смотрели на пожилого солдата с желтым лицом и добрыми глазами, бродившего по пустыне. Шевченко любил киргизов за их чистосердечие, живость, за детское любопытство.

Опять, как на Арале, началась бессонница. Шевченко выходил с вечера к стенам укрепления и бродил всю ночь вокруг этих стен, пока не появлялась на чистом небе утренняя Венера. Он бродил и думал о том, что тюрьма убила его как художника и поэта.

Но на следующий день он записывал в своем дневнике: «Вечер был тихий, светлый. На горизонте чернела длинная полоса моря, на берегу его горели в красноватом свете скалы, а на одной из скал блестели белые стены укрепления. Я невольно залюбовался своей семилетней тюрьмой». Такую запись, где были скупые и точные краски, мог сделать только настоящий художник. Нет, глаз был еще зорок, и сердце негодовало на людскую неправду — значит, каторга еще не совсем замучила поэта.

Шевченко не знал, что Федор Толстой обивал в это время в Петербурге пороги дворцовых приемных и требовал

освобождения поэта. Толстой был человеком широкого сердца и душевной мягкости. Ему отказывали, но он упрямо возобновлял просьбы. Хлопотал он, хлопотала его жена, Настасья Ивановна Толстая. Они заинтересовали судьбой поэта всех петербургских литераторов. Они ездили к великим княгиням и министрам. Они доказывали, что дальнейшее заточение Шевченко — бессмысленная жестокость. Им помогали Сераковский, поэт Алексей Толстой, братья Жемчужниковы.

И вот, наконец, свершилось: второго мая 1857 года Шевченко получил письмо из Петербурга от Михаила Лазаревского. Лазаревский поздравлял Шевченко со свободой.

Поэт, не дочитав письма, заплакал и долго не мог унять своих слез. Потом он прочел, что обязан своим освобождением Федору Толстому, но больше всего — его жене, Настасье Ивановне Толстой.

Шевченко написал письмо Толстой, похожее на крик благодарности, на молитву,— письмо, полное громадного волнения, почти экстаза.

«Сестра моя...— написал он и долго не мог продолжать: слезы капали на бумагу, не давали Шевченко дышать.— Сестра моя, богу милая, никогда мною не виденная! Чем заплачу тебе за радость, за счастье, которым ты обняла, восхитила мою бедную, тоскующую душу? Слезы! Слезы беспредельной благодарности приношу в твое возвышенное сердце».

Второе письмо он написал Федору Толстому и впервые подписал его не словом «рядовой», а словом «художник» Шевченко.

Шевченко ликовал, а приказ об освобождении медленно переползал из одной канцелярии в другую, писаря рылись в пыльных списках, пакеты дожидались оказии, и путь в три тысячи верст приказ шел почти три месяца. Поэт был обречен на ежедневное, изматывающее душу ожидание. Без приказа Усков не имел права освободить Шевченко. Он утешал поэта, а в ответ на гневные жалобы вздыхал и говорил одно только слово: «Форма!» Да, это была бесчеловечная «форма», но почему же, когда надо было сослать Шевченко, тот же длинный путь жандармы проделали всего за девять дней?

После письма Лазаревского Усков освободил Шевченко из казармы и разрешил ему жить в беседке, в комендантском саду. Сад был насажен с громадным трудом. Для

него специально привозили на шхунах чернозем из Астрахани.

Шевченко любил этот сад, ухаживал за ним, и в беседке, в этом саду, дожидаясь приказа об освобождении, написал свои повести на русском языке и начал дневник. По своей искренности этот дневник является одним из исключительнейших явлений нашей литературы.

Начав писать, Шевченко успокоился. Ему казалось, что каторга его еще не сломала, что он все такой же, каким был десять лет назад.

О том, какой скудной, какой нищенской была солдатская жизнь Шевченко, можно судить по той неудержимой радости, с какой он пишет в дневнике, что купил себе, незадолго до отъезда, медный чайник. Это было уже богатство. Он ставил чайник на стол в беседке, писал, потом наливал себе чай в кружку, любовался чайником и гордился им, как живым существом.

Чтобы скрасить ожидание, Шевченко решил прочитывать по одной странице в день биографию Гоголя. Но биография была прочитана, а бумаги из Оренбурга все не было. Тогда Шевченко начал читать так же медленно книгу Кулиша «Записки о Южной Руси». И эта книга была прочитана до конца и выучена почти наизусть, а приказа все не было.

Шевченко много думал о будущем. Он мечтал после возвращения из ссылки заняться гравюрой. Он считал, что живопись существует для народа, а единственный путь показать ему величайшие произведения живописи — это гравюра.

«Быть хорошим гравером,— писал он в своем дневнике,— значит быть распространителем прекрасного и поучительного в обществе. Значит быть полезным людям. Прекраснейшее, благороднейшее призвание гравера! Сколько изящнейших произведений, доступных только богачам, коптилось бы в мрачных галереях без твоего чудотворного резца».

Дни проходили в ожидании. Шли теплые, тихие дожди. Шевченко не спал по ночам, лежа в своей беседке. Он все думал о будущем и слушал, как застенчиво шуршит дождь — редкий гость пустыни — по скудной зелени,

по крыше беседки. Потом Шевченко вставал, зажигал свечу, кипятил воду в чайнике и писал до утра свой дневник.

Наконец приказ об освобождении пришел. По правилам, Шевченко должен был выехать сначала в Оренбург, а уже оттуда, оформив свою «отставку из армии», возвращаться в Россию. Но комендант Усков на свой страх и риск выдал поэту пропуск от Новопетровского укрепления до Петербурга без заезда в Оренбург.

Второго августа 1857 года, после десятилетней ссылки, Шевченко сел в парусную рыбачью лодку. Она отплывала в Астрахань. Шевченко был так взволнован, так торопился, что плохо помнил, как уехал, с кем прощался, кто провожал его на пристань.

Когда лодка отошла, он оглянулся на мрачные берега, где темнели батареи, где чей-то женский платок еще белел, еще трепетал в воздухе. Шевченко снял шапку. Любовь ушла, забылась. Каспийское море гудело, накатывало на берега тяжелую воду. Над пустыней подымалась тихая мгла, как дым пожара. Ветер заливал брызгами лицо. Это была свобода. Ветер теребил рваную солдатскую шинель, как будто хотел сбросить с поседевшего Тараса последнюю память о ссылке.

Тарас задумался. Значит, не сбылись его слова, а он их когда-то считал пророческими:

В неволе вырос меж чужими
И, не оплаканный своими,
В неволе, плачущий, умру.

В пропыленной Астрахани Шевченко прожил несколько дней, дожидаясь парохода на Нижний Новгород. Здесь он встретил своих земляков — киевлян. Они были потрясены видом поэта. Изможденный, в изорванном солдатском мундире, он был больше похож на беглого, чем на освобожденного из ссылки.

Новые друзья одели Шевченко и устроили в его честь шумную вечеринку.

Только в Астрахани Шевченко понял, как измучила его ссыльная казарма: простое человеческое отношение к себе он воспринимал как счастье,— он отвык от него на протяжении последних десяти лет.

Астрахань казалась Шевченко «огромной кучей мусора, которую венчают зубчатые белые стены кремля и

стройный великолепный собор XVII века». Шевченко был рад этому впечатлению от Астрахани. После семилетнего прозябания в пустыне он думал, что Астрахань должна была произвести на него громадное впечатление. Значит, он еще не потерял взыскательности художника. «Стало быть,— пишет Шевченко,— я еще не совсем одичал».

Он был тронут до слез, когда в грязном астраханском трактире завели «машину» и она хрипло заиграла увертюру из «Роберта-Дьявола». Семь лет Шевченко слышал только треск барабанов и раздирающие сердце звуки военного горна.

Собор так заинтересовал Шевченко, что он хотел зарисовать его, но не хватило времени. Он всех расспрашивал об этом соборе, о его строителе, но узнал только, что строил его «простой мужичок». Это было правдой. Это прекрасное и величественное здание, видное за тридцать километров, было построено крепостным Дорофеем Мякишевым в начале восемнадцатого века. За постройку этого здания — оно могло соперничать с лучшими зданиями знаменитейших зодчих — Мякишев получил всего сто рублей серебром. Постройка длилась двенадцать лет.

В ссылке Шевченко ничего не читал. В Астрахани он тотчас пошел в библиотеку. Старик библиотекарь с гренадерскими усами, одетый в сюртук с красным солдатским воротом, очень дивился любопытству приезжего и рассказал Шевченко, что он был всего пятнадцатым посетителем за весь последний год.

Шевченко увидел на полках книжки «Русского вестника» и тут же, стоя около полок, начал читать их,— там были напечатаны незнакомые ему вещи Гоголя, Аксакова и Соловьева.

В Астрахани жил рыбопромышленник Сапожников, учившийся живописи у Шевченко в Петербурге в 1842 году. Он узнал о приезде поэта и предложил ему место на пароходе «Князь Пожарский», нанятом Сапожниковым для переезда со своей семьей в Нижний Новгород. Поэт с радостью согласился.

Плавание по Волге было для Шевченко праздником. Пароход шел от Астрахани до Нижнего целый месяц. Шевченко все время бегал по палубе, смотрел на берега, перезнакомился со всем населением парохода, сдружился с капитаном Кишкиным.

У Кишкина была «секретная тетрадь» с запрещенными стихами Рылеева, Беранже и Барбье. По вечерам собирались в каюте, и Кишкин читал эти стихи вслух. Особенно понравились Шевченко гневные стихи Барбье:

Свобода — женщина с упругой, мощной грудью,
С загаром на щеке,
С зажженным фитилем, приложенным к орудью,
В дымящейся руке.

Иногда в каюту к Шевченко приходил бывший крепостной, пароходный буфетчик Панов и играл для поэта на скрипке лучшие вещи Шопена. Панов был необыкновенный скрипач, «крепостной Паганини». Игра его радовала и печалила Шевченко. Поэт радовался неиссякаемой талантливости народа и печалился о его судьбе,— Паганини должен был с салфеткой под мышкой с утра до ночи подавать всяческие расстегаи, солянки и водку пассажирам и владельцам парохода.

На пароходе Шевченко впервые прочел «Губернские очерки» Салтыкова-Щедрина. Они вызвали у него восторженное восклицание: «О Гоголь, наш бессмертный Гоголь! Какою радостью возрадовалась бы благородная душа твоя, увидя вокруг себя таких гениальных учеников своих!»

Книга Салтыкова-Щедрина была для Шевченко первым громким голосом революционной демократии, нарождавшейся в России. Шевченко был взволнован,— теперь он не чувствовал одиночества. Появилось новое могучее течение общественной мысли — течение искреннее, смелое, подавшее голос «за бедную грязную чернь». Новые люди были сродни Шевченко,— он уже знал это по тем отдельным словам, рассказам, намекам, которые доходили до него во время волжского плавания.

Шевченко все реже вспоминал Костомарова, Кулиша, либеральных дворянских юношей из Кирилло-Мефодиевского братства. Голоса Герцена, Чернышевского заглушали наивную болтовню «братчиков», постепенно превращавшихся в реакционеров, в преданных царских чиновников, в казенных профессоров.

Стояла осень. Кончался сентябрь. Дубовые леса по берегам Волги уже заржавели от первых утренних морозов, но на полях и в сырой траве еще попадались последние лесные цветы. Каждый раз, когда пароход останавливался у глухих пристаней, Шевченко уходил в леса и возвращал-

ся румяный, мокрый от росы, с громадным букетом цветов, которые тут же раздавал пассажирам.

Казалось, ничто не предвещало нового испытания. Но в Нижнем Новгороде Шевченко узнал еще об одной подлости правительства. Нижегородский губернатор был извещен, что как только в городе появится Тарас Шевченко, то его, упомянутого бывшего рядового Шевченко, надлежит препроводить на жительство в Оренбург.

Кроме того, в предписании губернатору было сказано, что Шевченко запрещен въезд в обе столицы — Петербург и Москву.

В Нижнем Новгороде Шевченко сказался больным. Местные власти сочли это заявление вполне достаточным и разрешили ему оставаться в городе до выздоровления.

Мягкость местных властей объяснялась тем, что нижегородским губернатором был причастный к декабристам, отсидевший ссылку в Верхнеудинске, полковник Александр Муравьев.

Нужно было выиграть время, чтобы Федор Толстой и петербургские друзья могли успеть выхлопотать поэту разрешение жить в Петербурге. Шевченко стремился в Петербург, к друзьям-разночинцам, туда, где билась новая революционная мысль, наконец — в Академию художеств, чтобы изучить граверное мастерство.

Всю зиму поэт прожил в Нижнем Новгороде. Местное общество встретило его ласково. Он перезнакомился со множеством «любопытных личностей». Нижний Новгород был не только городом купцов, разбогатевших около Волги, но и городом многих чудаков и многих просвещенных людей.

Шевченко часто бывал у Якоби — любезного и едкого либерала, аристократа, презиравшего «фельдфебелей на троне» — Николая и Александра. Якоби снабжал Шевченко первыми брошюрами Герцена, вышедшими за границей. Когда Якоби показал Шевченко номер герценовского «Колокола», поэт поцеловал страницы газеты. Герцен был для Шевченко «апостолом» свободы.

Шевченко дружил с известным собирателем народных песен — тихим, застенчивым библиотекарем Варенцовым.

Он слушал игру на рояле местного виртуоза Татаринова, великолепно исполнявшего Мейербера.

В Нижнем Новгороде был очень хороший театр, и Шевченко был постоянным его посетителем. В театре он познакомился с чудаком Улыбышевым, дряхлым старцем, знатоком музыки, написавшим биографии Бетховена и Моцарта.

И Шевченко и Улыбышев приходили в театр не столько посмотреть пьесы, сколько послушать музыку,— в старые времена в театре перед спектаклем и в антрактах играли оркестры. Шла какая-нибудь кровавая драма или балаганный водевиль «Коломенский нахлебник» («дрянь с подробностями», по выражению Шевченко), а в антракте зрители слушали прекрасную увертюру из моцартовского «Дон-Жуана». Прекрасную, конечно, лишь в том случае, если оркестранты не были мертвецки пьяны и если от духоты не гасли к третьему действию все лампы и спектакль на этом не прекращался.

В Нижнем Новгороде в то время жил Даль. Тарас его побаивался за холодный характер и за увлечение теософией.

Шевченко предпочитал людей простых, общительных, разговорчивых,— он сам очень любил поговорить. Говорить он мог с одинаковой охотой обо всем — о Брюллове и ценах на муку, об отвратительных дорогах в России и мерзости военного сословия, о нижегородском кремле и «неудобозабываемом унтере» Николае Первом, о том, как делать настоящую вишневку, о картинах Цампиери.

В доме Якоби Шевченко впервые встретился с декабристом. Это был Анненков. Шевченко отнесся к нему с величайшей почтительностью. Анненков был седой, величественный старик — настоящий «благовеститель свободы».

Преклонение Шевченко перед декабристами было безграничным. Он разыскал в Новгороде дочь декабриста Пущина, учившуюся в тамошнем институте, нарисовал ее портрет и всячески ее баловал.

Декабристам он посвятил взволнованные строки:

А ты, всевидящее око!
Знать, проглядел твой взор высокий,
Как сотнями в оковах гнали
В Сибирь невольников святых?
Как истязали, распинали
И вешали?! А ты не знало?
Ты видело мученья их
И не ослепло?! Око, око!
Не очень видишь ты глубоко.

Ты спишь в киоте, а цари...
Да чур проклятым тем неронам!
Пусть тешатся кандальным звоном,—
Я думой полечу в Сибирь,
Я за Байкалом гляну в горы,
В вертепы темные и норы
Без дна, глубокие, и вас,
Поборников священной воли,
Из тьмы, и смрада, и неволи
Царям и людям напоказ
Вперед вас выведу, суровых,
Рядами длинными, в оковах...

В Нижнем Новгороде Шевченко много работал. Он написал поэму «Неофиты» и несколько стихотворений — свои знаменитые «Долю», «Музу», «Славу», и привел в порядок все стихи, написанные в ссылке, всю свою «невольницкую» поэзию. Работал он над прозой — над «Матросом» и другими повестями.

Несмотря на снежную и очень морозную зиму, Шевченко много рисовал на воздухе. Он срисовывал новгородские церкви и башни кремля. Тяготение к старой суровой архитектуре было по-прежнему его «слабостью».

Шла деятельная переписка с друзьями. Один из этих друзей — знаменитый актер Щепкин — приехал на несколько дней в Нижний из Москвы, чтобы повидаться с Шевченко. Для Шевченко это было «торжество из торжеств». Сдружила Шевченко со Щепкиным общая судьба — оба были украинцами и бывшими крепостными.

В марте 1858 года пришло из Петербурга известие о том, что Шевченко разрешено жить в столице.

Восьмого марта Шевченко выехал в Москву.

В Москве он несколько дней прожил у Щепкина, виделся с Аксаковым, с декабристом Волконским, с Варварой Репниной. Она не узнала его — так осунулся и постарел Шевченко. По ее словам, он был «совсем потухший». Встреча не дала радости и поэту.

Из Москвы Шевченко выехал по железной дороге в Петербург.

Петербургские друзья встретили Шевченко восторженно. Федор Толстой и Лазаревский приехали на вокзал встречать поэта. Шевченко остановился у Лазаревского

На следующий день Федор Толстой привез его к себе. Когда взволнованный Шевченко вошел в комнату, графиня

Настасья Ивановна бросилась к нему. Шевченко протянул к ней руки, воскликнул: «Серденько мое!» — обнял ее и заплакал.

Шевченко хотел очень много сказать этой женщине, спасшей его от неволи. Он думал об этой встрече, ждал ее с нетерпением, но сказать ничего не смог — спазмы душили его.

Петербург очень радостно встретил поэта. В нем видели мученика, его приветствовали как страшную жертву николаевского царствования.

Каждый день его приглашали в дома тогдашних просвещенных людей. Он познакомился со Львом Толстым, Меем, Даргомыжским, Полонским, Щербиной, Достоевским, Курочкиным. На вечере, где Шевченко выступал вместе с Достоевским, Майковым и Писемским, публика устроила ему восторженную овацию. Шевченко от волнения сделалось дурно.

С утра до вечера комната Шевченко была полна друзьями. Они тащили его в театр, в цирк, в Эрмитаж, на художественные выставки, на званые обеды, на дружеские пирушки. Эта бурная радость оглушала и утомляла Шевченко. Иногда он прятался от друзей и одиноко бродил по Петербургу, возвращался на старые места, вспоминал молодость.

Ссылка кончилась. Петербург был перед ним. Свобода казалась неограниченной. Но к желанной цели Шевченко пришел физически усталым. На Волге, в Нижнем, в Москве он еще крепился. Только в Петербурге он понял, что сделали с ним ссылка и казарма. Доктора признали его организм «преждевременно и навеки искалеченным и обессиленным».

Физическая разбитость особенно удручала Шевченко потому, что в Петербурге он встретился и сошелся с великим представителем революционной русской демократии — Чернышевским. Шевченко вошел в круг передовых людей, группировавшихся около журнала «Современник». Всем существом, всеми помыслами Шевченко был с этими людьми. Это было естественно,— ведь, по словам Добролюбова, «весь круг дум и сочувствий Шевченко находился в совершенном соответствии со смыслом и строем народной жизни».

Впервые Шевченко встретился с Чернышевским на «вторниках» у Костомарова. Чернышевский поразил Шев-

ченко ясным сознанием цели, умом, волей. Костомаров опасался влияния Чернышевского на Шевченко. Костомарову был враждебен «мужицкий демократизм» Чернышевского. Костомаров хотел сохранить Шевченко для себя — для украинских либеральных националистов. Но Тарас резко и определенно стал на сторону «мужицких демократов» — его подлинных братьев по духу.

Охлаждение между Шевченко и Костомаровым было неизбежным. Костомаров был далеко не прежним либералом. Многим стало известно, что во время ссылки в Саратове он ведал секретным столом при губернаторе и участвовал в обвинении саратовских евреев в ритуальном убийстве. А Шевченко в это время выступил вместе с Чернышевским с резким протестом против антисемитских статей одного петербургского журнала.

Шевченко начал изучать гравюру. Лучшие граверы, Иордан и Уткин, показали ему приемы этого сложного, тонкого мастерства. Шевченко с необыкновенным, почти подвижническим упорством погрузился в работу. Лучшие гравюры Шевченко сделал с картин Рембрандта. В 1860 году он получил звание академика гравюры и офорта.

В свободные минуты он писал стихи. В этих последних его стихах много горечи, много неистовой ненависти к общественному строю России, к ее «псарям-императорам», много насмешек над богом с его «свинцовыми ушами», предчувствия близкого конца:

Что ж, не пора ли понемногу
С тобою, спутницей убогой,
Нам вирши слабые бросать
И помаленьку собирать
Телеги в дальнюю дорогу?

Шевченко жил в маленькой квартире при Академии. Старый солдат-дядька приносил ему еду, чистил платье, изредка пытался прибрать в комнате, но Шевченко каждый раз его выгонял. Он не позволял никому прикасаться к своим гравировальным доскам, к резцам, к рукописям, к бутылям с кислотами для протравления гравюр. На столе всегда лежало монисто, цветные украинские бусы, а над постелью на стене висели пучки сухих украинских трав — барвинка, руты, полыни.

Но жизнь порадовала Шевченко еще одной редкой и верной дружбой. В то время в Петербурге играл на сцене

великий негритянский трагик Айра Олдридж. Он первый показал русским подлинного Шекспира. Это был актер гениальный. Он разрушал традиции ложноклассического театра. Он даже играл спиной к публике, что тогда считалось совершенно невозможным для актера. Каждый его жест потрясал, каждая фраза была ясна, несмотря на то, что Олдридж играл на английском языке.

Шевченко впервые увидел Олдриджа в «Отелло». Поэт ушел со спектакля в глубоком смятении.

Через несколько дней Шевченко познакомился с Олдриджем у Толстых. Беседа шла при помощи переводчиков — детей Толстого. Олдридж рассказал Шевченко свою жизнь. Он был негром из Судана. Миссионер привез его из Африки в Лондон, где он, сын племени рабов, стал величайшим трагическим актером. Много общего было в судьбах Шевченко и Олдриджа, и это общее сдружило их.

Они много времени проводили вместе. Один раз Олдридж посетил Шевченко. В этот день Шевченко впервые разрешил старому солдату прибрать комнату, и тот выкинул во двор сухую траву и рассыпанное монисто. Шевченко промолчал.

Шевченко написал портрет Олдриджа. Олдридж пел для Шевченко негритянские песни.

Когда Олдридж уезжал, его провожал весь театральный Петербург. С пути Олдридж прислал письмо русским актерам. «Вы изъявили в моем лице,— писал Олдридж,— сочувствие всему моему угнетенному племени».

Приближалась старость. Появилось желание уехать на родину, на Украину, поселиться в чистой маленькой хате, в покое, читать, писать стихи и гравировать прекрасные произведения живописи.

Шевченко рвался на Украину, хотел переиздать «Кобзаря», но ни того, ни другого власти ему не разрешали.

С большим трудом было все же добыто разрешение поехать на родину. Летом 1859 года Шевченко приехал в родное село Кирилловку, где жили его брат и сестра.

Сестра не сразу его узнала,— не узнала своего Тараса в измученном, старом, тяжело дышащем человеке. Жить в Кирилловке было тяжко: Шевченко был единственный «вольный» среди всей своей крепостной семьи.

...в благодатном том селе
Земли чернее, по земле
Блуждают люди; оголились

Сады зеленые; в пыли
Погнили хаты, покосились;
Пруды травою заросли.
Село как будто погорело,
Как будто люди одурели,—
Без слов на барщину идут
И за собой детей ведут!..

Тарас уехал в местечко Корсунь, к родственнику Варфоломею Шевченко, и вместе с ним начал поиски клочка земли

Землю нашли под Каневом, на высоком крутояре над Днепром, где Шевченко был потом похоронен.

Во время переговоров о покупке земли,— как водится, неторопливых и хитрых переговоров за бутылкой наливки,— присутствовал какой-то захудалый шляхтич Козловский. Шевченко уже дошел до той степени раздражения против помещиков и шляхтичей, что не мог спокойно разговаривать с людьми этого сословия. Он сказал Козловскому несколько колкостей, потом разговор зашел о «божественных вещах», и Шевченко весьма вольно высказался о христианских святых.

Козловский донес. Через шесть дней Шевченко был арестован, просидел в тюрьме в Черкасах и в Киеве, был допрошен и выпущен.

Он прожил около месяца в Киеве и возвратился в Петербург. Он увез с собой новую обиду и память о запуганной, опутанной доносчиками стране.

В Петербург Шевченко приехал уже больным.

Здесь он хлопотал об освобождении от крепостной зависимости своих родных. Хлопоты эти были связаны с утомительным хождением по канцеляриям, переговорами со взяточниками. С Шевченко все чаще случались припадки неистового гнева. Он легко раздражался, плакал, подолгу никого к себе не пускал. Усталость усиливалась. Врачи исследовали Шевченко и нашли у него водянку. Ему запретили выходить из дому.

Он засел за гравюру, торопился работать, как будто сам назначил себе сроки приближавшейся смерти.

Девятнадцатого февраля 1860 года к Шевченко зашел его знакомый — Черненко. В этот день ждали опубликования манифеста об освобождении крестьян.

— Ну, что, что? Есть воля? Есть манифест? — судорожно спросил Шевченко.

— Еще нет,— ответил Черненко.

Шевченко тяжело выругался, закрыл лицо руками, упал на кровать и заплакал.

Болезнь усиливалась Шевченко очень страдал. Друзья навещали его, но он стеснялся этих посещений. Большую часть дня он сидел один в своей неуютной холостяцкой комнате.

Старый солдат не понимал, что Шевченко болен, и все ходил вокруг, ворчал на беспорядок, на то, что лампа горит по ночам и со стен, с пучков сухих украинских трав, сыплется мусор.

Двадцать пятого февраля был день рождения Шевченко. Квартиру поэта посетило много знакомых. Когда все ушли и остался один Лазаревский, Шевченко сказал:

— Да, если бы на родину, на Украину,— там бы я, может быть, выздоровел.

Ночь прошла без сна. Мокрый снег шел над Петербургом. В этом снегу, среди холода невских льдов, среди каменных уснувших громад, в душной комнате, пропитанной запахом кислот и лекарств, в комнате, как бы отрезанной от мира ночным мраком, сидел и задыхался одинокий, отекший от водянки, плачущий старик с загубленной жизнью. Старик, которому едва минуло сорок шесть лет.

Двадцать шестого февраля утром Шевченко позвал старого солдата, приказал прибрать комнату и пошел в свою мастерскую. В дверях он остановился, вскрикнул и тяжело упал на порог.

А через несколько часов он уже лежал в комнате на столе, покрытый простыней, спокойный и величавый. Тонкие свечи трещали в изголовье и озаряли измученное лицо ссыльного солдата и великого народного певца.

Черное солнце поднялось в тот день над милой его Украиной.

1938

МЕЩОРСКАЯ СТОРОНА

ОБЫКНОВЕННАЯ ЗЕМЛЯ

В Мещорском крае нет никаких особенных красот и богатств, кроме лесов, лугов и прозрачного воздуха. Но все же край этот обладает большой притягательной силой. Он очень скромен — так же, как картины Левитана. Но в нем, как и в этих картинах, заключена вся прелесть и все незаметное на первый взгляд разнообразие русской природы.

Что можно увидеть в Мещорском крае? Цветущие или скошенные луга, сосновые боры, поемные и лесные озера, заросшие черной кугой, стога, пахнущие сухим и теплым сеном. Сено в стогах держит тепло всю зиму.

Мне приходилось ночевать в стогах в октябре, когда трава на рассвете покрывается инеем, как солью. Я вырывал в сене глубокую нору, залезал в нее и всю ночь спал в стогу, будто в запертой комнате. А над лугами шел холодный дождь и ветер налетал косыми ударами.

В Мещорском крае можно увидеть сосновые боры, где так торжественно и тихо, что бубенчик-«болтун» заблудившейся коровы слышен далеко, почти за километр. Но такая тишина стоит в лесах только в безветренные дни. В ветер леса шумят великим океанским гулом и вершины сосен гнутся вслед пролетающим облакам.

В Мещорском крае можно увидеть лесные озера с темной водой, обширные болота, покрытые ольхой и осиной, одинокие, обугленные от старости избы лесников, пески, можжевельник, вереск, косяки журавлей и знакомые нам под всеми широтами звезды.

Что можно услышать в Мещорском крае, кроме гула сосновых лесов? Крики перепелов и ястребов, свист ивол-

ги, суетливый стук дятлов, вой волков, шорох дождей в рыжей хвое, вечерний плач гармоники в деревушке, а по ночам — разноголосое пение петухов да колотушку деревенского сторожа.

Но увидеть и услышать так мало можно только в первые дни. Потом с каждым днем этот край делается все богаче, разнообразнее, милее сердцу. И, наконец, наступает время, когда каждая ива над заглохшей рекой кажется своей, очень знакомой, когда о ней можно рассказывать удивительные истории.

Я нарушил обычай географов. Почти все географические книги начинаются одной и той же фразой: «Край этот лежит между такими-то градусами восточной долготы и северной широты и граничит на юге с такой-то областью, а на севере — с такой-то». Я не буду называть широт и долгот Мещорского края. Достаточно сказать, что он лежит между Владимиром и Рязанью, недалеко от Москвы, и является одним из немногих уцелевших лесных островов, остатком «великого пояса хвойных лесов». Он тянулся некогда от Полесья до Урала. В него входили леса: Черниговские, Брянские, Калужские, Мещорские, Мордовские и Керженские. В этих лесах отсиживалась от татарских набегов древняя Русь.

ПЕРВОЕ ЗНАКОМСТВО

Впервые я попал в Мещорский край с севера, из Владимира.

За Гусем-Хрустальным, на тихой станции Тума, я пересел на поезд узкоколейки. Это был поезд времен Стефенсона. Паровоз, похожий на самовар, свистел детским фальцетом. У паровоза было обидное прозвище: «мерин». Он и вправду был похож на старого мерина. На закруглениях он кряхтел и останавливался. Пассажиры выходили покурить. Лесное безмолвие стояло вокруг задыхавшегося «мерина». Запах дикой гвоздики, нагретой солнцем, наполнял вагоны.

Пассажиры с вещами сидели на площадках — вещи в вагон не влезали. Изредка в пути с площадки на полотно начинали вылетать мешки, корзины, плотничьи пилы, а за вещами выскакивал и их обладатель, нередко довольно древняя старуха. Неопытные пассажиры пугались, а опытные, скручивая «козьи ножки» и поплевывая, объясняли,

что это самый удобный способ высаживаться из поезда поближе к своей деревне.

Узкоколейка в Мещорских лесах — самая неторопливая железная дорога в Союзе.

Станции завалены смолистыми бревнами и пахнут свежей порубкой и дикими лесными цветами.

На станции Пилево в вагон влез косматый дед. Он перекрестился в угол, где дребезжала круглая чугунная печка, вздохнул и пожаловался в пространство:

— Чуть что, сейчас берут меня за бороду — езжай в город, подвязывай лапти. А того нет в соображении, что, может, ихнее это дело копейки не стоит. Посылают меня до музею, где советско правительство собирает карточки, прейскуранты, все такое прочее. Посылают с заявлением.

— Чего брешешь?

— Ты гляди — вот!

Дед вытащил измятую бумажку, сдул с нее махру и показал бабе-соседке.

— Манька, прочти,— сказала баба девчонке, тершейся носом об окно.

Манька обтянула платье на исцарапанных коленках, подобрала ноги и начала читать хриплым голосом:

— «Собчается, что в озере живут незнакомые птицы, громадного росту, полосатые, всего три; неизвестно, откуль залетели,— надо бы взять живьем для музею, а потому присылайте ловцов».

— Вот,— сказал дед горестно,— за каким делом теперь старикам кости ломают. А все Лешка-комсомолец. Язва — страсть! Тьфу!

Дед плюнул. Баба вытерла круглый рот концом платка и вздохнула. Паровоз испуганно посвистывал, леса гудели и справа и слева, бушуя, как озера. Хозяйничал западный ветер. Поезд с трудом прорывался через его сырые потоки и безнадежно опаздывал, отдуваясь на пустых полустанках.

— Вот оно, существование наше,— повторил дед.— Летошний год гоняли меня в музею, сегодняшний год опять!

— Чего в летошний год нашли? — спросила баба.

— Торчак!

— Чегой-то?

— Торчак. Ну, кость древнюю В болоте она валялась. Вроде олень. Роги — с этот вагон. Прямо страсть. Копали его цельный месяц Вконец измучился народ.

— На кой оп сдался? — спросила баба

— Ребят по ём будут учить.

Об этой находке в «Исследованиях и материалах областного музея» сообщалось следующее:

«Скелет уходил в глубь трясины, не давая опоры для копачей. Пришлось раздеться и спуститься в трясину, что было крайне трудно из-за ледяной температуры родниковой воды. Огромные рога, как и череп, были целы, но крайне непрочны вследствие полнейшей мацерации (размачивания) костей. Кости разламывались прямо в руках, но по мере высыхания твердость костей восстанавливалась».

Был найден скелет исполинского ископаемого ирландского оленя с размахом рогов в два с половиной метра.

С этой встречи с косматым дедом началось мое знакомство с Мещорой. Потом я услышал много рассказов и о зубах мамонта, и о кладах, и о грибах величиной с человеческую голову. Но этот первый рассказ в поезде запомнился мне особенно резко.

СТАРИННАЯ КАРТА

С большим трудом я достал карту Мещорского края На ней была пометка: «Карта составлена по старинным съемкам, произведенным до 1870 года» Карту эту мне пришлось исправлять самому. Изменились русла рек. Там, где на карте были болота, кое-где уже шумел молодой сосновый лес; на месте иных озер оказались трясины.

Но все же пользоваться этой картой было надежнее, чем заниматься расспросами местных жителей. С давних пор так уж повелось у нас на Руси, что никто столько не напутает, когда объясняет дорогу, как местный житель, особенно если он человек разговорчивый.

— Ты, милый человек,— кричит местный житель,— других не слухай! Они тебе такого наговорят, что ты жизни будешь не рад. Ты меня одного слухай, я эти места наскрозь знаю. Иди до околицы, увидишь по левой руке избу-пятистенку, возьми от той избы на правую руку по стежке через пески, дойдешь до Прорвы и вали, милый, край Прорвы, вали, не сумлевайся, до самой до горелой ивы. От нее возьмешь чуть-чуть к лесу, мимо Музги, а за

Музгой подавайся круто к холмищу, а за холмищем дорога известная — через мшары до самого озера.

— А сколько километров?

— А кто его знает? Может, десять, а может, и все двадцать. Тут километры, милый, немереные.

Я пытался следовать этим советам, но всегда или горелых ив оказывалось несколько, или не было никакого приметного холмища, и я, махнув рукой на рассказы туземцев, полагался только на собственное чувство направления. Оно почти никогда меня не обманывало.

Туземцы всегда объясняли дорогу со страстью, с неистовым увлечением. Меня это вначале забавляло, но как-то мне самому пришлось объяснять дорогу на озеро Сегден поэту Симонову, и я поймал себя на том, что рассказывал ему о приметах этой запутанной дороги с такой же страстью, как и туземцы.

Каждый раз, когда объясняешь дорогу, будто снова проходишь по ней, по всем этим привольным местам, по лесным проселкам, усеянным цветами бессмертника, и снова испытываешь легкость на душе. Эта легкость всегда приходит к нам, когда путь далек и нет на сердце забот.

НЕСКОЛЬКО СЛОВ О ПРИМЕТАХ

Чтобы не заблудиться в лесах, надо знать приметы. Находить приметы или самим создавать их — очень увлекательное занятие. Мир примет бесконечно разнообразен. Бывает очень радостно, когда одна и та же примета сохраняется в лесах год за годом — каждую осень встречаешь все тот же огненный куст рябины за Лариным прудом или все ту же зарубку, сделанную тобой на сосне. С каждым летом зарубка все сильнее заплывает твердой золотистой смолой.

Приметы на дорогах — это не главные приметы. Настоящими приметами считаются те, которые определяют погоду и время.

Примет так много, что о них можно было бы написать целую книгу. В городах приметы нам не нужны. Огненную рябину заменяет эмалированная синяя табличка с названием улицы. Время узнается не по высоте солнца, не по положению созвездий и даже не по петушиным крикам, а по часам. Предсказания погоды передаются по радио. В городах большинство наших природных инстинктов погру-

жается в спячку. Но стоит провести две-три ночи в лесу, и снова обостряется слух, зорче делается глаз, тоньше обоняние.

Приметы связаны со всем: с цветом неба, с росой и туманами, с криком птиц и яркостью звездного света.

В приметах заключено много точного знания и поэзии. Есть приметы простые и сложные. Самая простая примета — это дым костра. То он подымается столбом к небу, спокойно струится вверх, выше самых высоких ив, то стелется туманом по траве, то мечется вокруг огня. И вот к прелести ночного костра, к горьковатому запаху дыма, треску сучьев, перебеганию огня и пушистому белому пеплу присоединяется еще и знание завтрашней погоды.

Глядя на дым, можно определенно сказать, будет ли завтра дождь, ветер или снова, как сегодня, солнце подымется в глубокой тишине, в синих прохладных туманах. Безветрие и теплоту предсказывает и вечерняя роса. Она бывает такой обильной, что даже блестит ночью, отражая свет звезд. И чем обильнее роса, тем жарче будет завтрашний день.

Это всё очень несложные приметы. Но есть приметы сложные и точные. Иногда небо вдруг кажется очень высоким, а горизонт сжимается, кажется близким, до горизонта как будто не больше километра. Это признак будущей ясной погоды.

Иногда в безоблачный день вдруг перестает брать рыба. Реки и озера мертвеют, как будто из них навсегда ушла жизнь. Это верный признак близкого и длительного ненастья. Через день-два солнце взойдет в багровой зловещей мгле, а к полудню черные облака почти коснутся земли, задует сырой ветер и польются томительные, нагоняющие сон обложные дожди.

ВОЗВРАЩЕНИЕ К КАРТЕ

Я вспомнил о приметах и отвлекся от карты Мещорского края.

Изучение незнакомого края всегда начинается с карты. Это занятие не менее интересное, чем изучение примет. По карте можно странствовать так же, как по земле, но потом, когда попадаешь на эту настоящую землю, сразу

же сказывается знание карты — уже не бродишь вслепую и не тратишь времени на пустяки.

На карте Мещорского края внизу, в самом дальнем углу, на юге, показан изгиб большой полноводной реки. Это Ока. К северу от Оки тянется лесистая и болотистая низина, к югу — давно обжитые, населенные рязанские земли. Ока течет по рубежу двух совершенно разных, очень непохожих пространств.

Рязанские земли хлебные, желтые от ржаных полей, кудрявые от яблоневых садов. Околицы рязанских деревень часто сливаются друг с другом, деревни разбросаны густо, и нет такого места, откуда бы не была видна на горизонте одна, а то и две-три еще уцелевшие колокольни. Вместо лесов по склонам логов шумят березовые рощи.

Рязанская земля — земля полей. К югу от Рязани уже начинаются степи.

Но стоит переправиться на пароме через Оку, и за широкой полосой приокских лугов уже стоят темной стеной Мещорские сосновые леса. Они идут к северу и востоку, в них синеют круглые озера. Эти леса скрывают в своей глубине громадные торфяные болота.

На западе Мещорского края, на так называемой Боровой стороне, среди сосновых лесов лежат в мелколесье восемь боровых озер. К ним нет ни дорог, ни троп, и добраться до них можно только через лес по карте и компасу.

У этих озер одно очень странное свойство: чем меньше озеро, тем оно глубже. В большом Митинском озере всего четыре метра глубины, а в маленьком Удемном — семнадцать метров.

МШАРЫ

К востоку от Боровых озер лежат громадные мещорские болота — «мшары» или «омшары». Это заросшие в течение тысячелетий озера. Они занимают площадь в триста тысяч гектаров. Когда стоишь среди такого болота, то по горизонту ясно виден бывший высокий берег озера — «материк» — с его густым сосновым лесом. Кое-где на мшарах видны песчаные бугры, поросшие сосняком и папоротником,— бывшие острова. Местные жители до сих пор так и зовут эти бугры «островами». На «островах» ночуют лоси.

Как-то в конце сентября мы шли мшарами к Поганому озеру. Озеро было таинственное. Бабы рассказывали, что по его берегам растут клюква величиной с орех и поганые грибы «чуть поболее телячьей головы». От этих грибов озеро и получило свое название. На Поганое озеро бабы ходить опасались — около него были какие-то «зеленущие трясины».

— Как ступишь ногой,— рассказывали бабы,— так вся земля под тобой ухнет, загудит, заколышется, как зыбка, ольха закачается, и вода ударит из-под лаптей, прыснет в лицо. Ей-богу! Прямо такие страсти — сказать невозможно. А самое озеро без дна, черное. Ежели какая молодая бабенка на его глянет — враз сомлеет.

— Отчего сомлеет?

— От страху. Так тебя страхом и дерет по спине, так и дерет. Мы как на Поганое озеро наткнемся, так бяжим от него, бяжим до первого острова, там только и отдышимся.

Бабы нас раззадорили, и мы решили обязательно дойти до Поганого озера. По пути мы заночевали на Черном озере. Всю ночь шумел по палатке дождь. Вода тихо ворчала в корнях. В дожде, в непроглядном мраке выли волки.

Черное озеро было налито вровень с берегами. Казалось, стоит подуть ветру или усилиться дождю, и вода затопит мшары и нас вместе с палаткой и мы никогда не выйдем из этих низких, угрюмых пустошей.

Всю ночь мшары дышали запахом мокрого мха, коры, черных коряг. К утру дождь прошел. Серое небо низко провисало над головой. От того, что облака почти касались верхушек берез, на земле было тихо и тепло. Слой облаков был очень тонок — сквозь него просвечивало солнце.

Мы свернули палатку, взвалили на себя рюкзаки и пошли. Идти было трудно. Прошлым летом по мшарам прошел низовой пожар. Корни берез и ольхи подгорели, деревья свалились, и мы каждую минуту должны были перелезать через большие завалы. Шли мы по кочкам, а между кочками, там, где кисла рыжая вода, торчали острые, как колья, корни берез. Их зовут в Мещорском крае колками.

Мшары заросли сфагнумом, брусникой, гонобобелем, кукушкиным льном. Нога тонула в зеленых и серых мхах по самое колено.

За два часа мы прошли только два километра. Впереди показался «остров». Из последних сил, перелезая через завалы, изодранные и окровавленные, мы добрались до лесистого бугра и упали на теплую землю, в заросли ландышей. Ландыши уже созрели — меж широких листьев висели твердые оранжевые ягоды. Сквозь ветки сосен просвечивало бледное небо.

С нами был писатель Гайдар. Он обошел весь «остров». «Остров» был небольшой, со всех сторон его окружали мшары, только далеко на горизонте были видны еще два «острова».

Гайдар закричал издали, засвистел. Мы нехотя встали, пошли к нему, и он показал нам на сырой земле, там, где «остров» переходил в мшары, громадные свежие следы лося. Лось, очевидно, шел большими скачками.

— Это его тропа на водопой,— сказал Гайдар.

Мы пошли по лосиному следу. У нас не было воды, хотелось пить. В ста шагах от «острова» следы привели нас к небольшому «окну» с чистой, холодной водой. Вода пахла йодоформом. Мы напились и вернулись обратно.

Гайдар пошел искать Поганое озеро. Оно лежало где-то рядом, но его, как и большинство озер во мшарах, было очень трудно найти. Озера окружены такими густыми зарослями и высокой травой, что можно пройти в нескольких шагах и не заметить воды.

Гайдар не взял компаса, сказал, что найдет обратную дорогу по солнцу, и ушел. Мы лежали на мху, слушали, как падают с веток старые сосновые шишки. Какой-то зверь глухо протрубил в дальних лесах.

Прошел час. Гайдар не возвращался. Но солнце было еще высоко, и мы не тревожились — Гайдар не мог не найти дорогу обратно.

Прошел второй час, третий. Небо над мшарами стало бесцветным; потом серая стена, похожая на дым, медленно наползла с востока. Низкие облака закрыли небо. Через несколько минут солнце исчезло. Только сухая мгла стлалась над мшарами.

Без компаса в такой мгле нельзя было найти дорогу. Мы вспомнили рассказы о том, как в бессолнечные дни люди кружили в мшарах на одном месте по нескольку суток.

Я влез на высокую сосну и стал кричать. Никто не отзывался. Потом очень далеко откликнулся чей-то голос.

Я прислушался, и неприятный холод прошел по спине: в мшарах, как раз в той стороне, куда ушел Гайдар, уныло подвывали волки.

Что же делать? Ветер дул в ту сторону, куда ушел Гайдар. Можно было разжечь костер, дым потянуло бы в мшары, и Гайдар мог бы вернуться на «остров» по запаху дыма. Но этого нельзя было делать. Мы не условились об этом с Гайдаром. В болотах часто бывают пожары. Гайдар мог принять этот дым за приближение пожара и, вместо того чтобы идти к нам, начал бы уходить от нас, спасаясь от огня.

Пожары в высохших болотах — самое страшное, что можно испытать в этих краях. От них трудно спастись — огонь идет очень быстро. Да и куда уйдешь, когда до горизонта лежат сухие, как порох, мхи, и спастись можно, да и то не наверняка, только на «острове» — огонь почему-то обходит иногда лесистые «острова».

Мы кричали все сразу, но нам отвечали только волки. Тогда один из нас ушел с компасом в мшары — туда, где исчез Гайдар.

Спускались сумерки. Вороны летали над «островом» и каркали испуганно и зловеще.

Мы кричали отчаянно, потом все же разожгли костер — быстро темнело,— и теперь Гайдар мог выйти на огонь костра.

Но в ответ на наши крики не было слышно никакого человеческого голоса, и только в глухие сумерки где-то около второго «острова» вдруг загудел и закрякал, как утка, рожок автомобиля. Это было нелепо и дико — откуда мог появиться автомобиль в болотах, где с трудом проходил человек?

Автомобиль явно приближался. Он гудел настойчиво, а через полчаса мы услышали треск в завалах, автомобиль крякнул в последний раз где-то совсем рядом, и из мшар вылез улыбающийся, мокрый, измученный Гайдар, а за ним и наш товарищ — тот, что ушел с компасом.

Оказывается, Гайдар слышал наши крики и все время отвечал но ветер дул в его сторону и отгонял голос. Потом Гайдару надоело кричать, и он начал крякать — подражать автомобилю.

До Поганого озера Гайдар не дошел. Ему встретилась одинокая сосна, он влез на нее и увидел вдали это озе-

ро. Гайдар поглядел на него, выругался, слез и пошел обратно.

— Почему? — спросили мы его.

— Очень страшное озеро,— ответил он.— Ну его к черту!

Он рассказал, что даже издали видно, какая черная, будто смола, вода в Поганом озере. Редкие больные сосны стоят по берегам, наклонившись над водой, готовые упасть от первого же порыва ветра. Несколько сосен уже упало в воду. Вокруг озера, должно быть, непроходимые трясины.

Темнело быстро, по-осеннему. Мы не остались ночевать на «острове», а пошли мшарами в сторону «материка» — лесистого берега болота. Идти в темноте по завалам было невыносимо трудно. Каждые десять минут мы проверяли направление по фосфорному компасу и только к полночи выбрались на твердую землю, в леса, наткнулись на заброшенную дорогу и поздней ночью дошли по ней к озеру Сегден, где жил наш общий приятель Кузьма Зотов, кроткий, больной человек, рыбак и колхозник.

Я рассказал всю эту историю, в которой нет ничего особенного, только затем, чтобы дать хотя бы отдаленное понятие о том, что представляют собой мещорские болота — мшары.

На некоторых мшарах (на Красном болоте и на болоте Пильном) уже началась добыча торфа. Торф здесь старый, мощный, его хватит на сотни лет.

Да, но надо окончить рассказ о Поганом озере. На следующее лето мы все же дошли до этого озера. Берега у него были плавучие — не привычные твердые берега, а густое сплетение белокрыльника, багульника, трав, корней и мхов. Берега качались под ногами, как гамак. Под тощей травой стояла бездонная вода. Шест легко пробивал плавучий берег и уходил в трясину. При каждом шаге фонтаны теплой воды били из-под ног. Останавливаться было нельзя: ноги засасывало и следы наливались водой.

Вода в озере была черная. Со дна пузырями поднимался болотный газ.

Мы удили на этом озере окуней. Мы привязывали длинные лески к кустам багульника или к деревцам молодой ольхи, а сами сидели на поваленных соснах и курили, пока куст багульника не начинал рваться и шуметь или не сгибалось и трещало деревцо ольхи. Тогда мы лениво подымались, тащили за леску и выволакивали на берег жирных

черных окуней. Чтобы они не уснули, мы клали их в свои следы, в глубокие ямы, налитые водой, и окуни били в воде хвостами, плескались, но уйти никуда не могли.

В полдень над озером собралась гроза. Она росла на глазах. Маленькое грозовое облако превратилось в зловещую тучу, похожую на наковальню. Она стояла на месте и не хотела уходить.

Молнии хлестали в мшары рядом с нами, и на душе у нас было неважно.

Больше на Поганое озеро мы не ходили, но все же заслужили у баб славу людей отпетых, готовых на все.

— Вовсе отчаянные мужчины,— говорили они нараспев.— Ну такие отчаянные, такие отчаянные, прямо слов нету!

ЛЕСНЫЕ РЕКИ И КАНАЛЫ

Я снова отвлекся от карты. Чтобы покончить с ней, надо сказать о могучих массивах лесов (они заливают всю карту зеленой тусклой краской), о загадочных белых пятнах в глубине лесов и о двух реках — Солотче и Пре, текущих на юг через леса, болота и гари.

Солотча — извилистая, неглубокая река. В ее бочагах стоят под берегами стаи язей. Вода в Солотче красного цвета. Такую воду крестьяне зовут «суровой». На всем протяжении реки только в одном месте к ней подходит неведомо куда ведущая дорога, и при дороге стоит одинокий постоялый двор.

Пра течет из озер северной Мещоры в Оку. Деревень по берегам очень мало. В старое время на Пре, в дремучих лесах, селились раскольники.

В городе Спас-Клепики, в верховьях Пры, работает старинная ватная фабрика. Она спускает в реку хлопковые очесы, и дно Пры около Спас-Клепиков покрыто толстым слоем слежавшейся черной ваты. Это, должно быть, единственная река в Советском Союзе с ватным дном.

Кроме рек, в Мещорском крае много каналов.

Еще при Александре II генерал Жилинский решил осушить мещорские болота и создать под Москвой большие земли для колонизации. В Мещору была отправлена экспедиция. Она работала двадцать лет и осушила только полторы тысячи гектаров земли, но на этой земле никто не захотел селиться — она оказалась очень скудной.

Жилинский провел в Мещоре множество каналов. Сейчас каналы эти заглохли и заросли болотными травами. В них гнездятся утки, живут ленивые лини и верткие вьюны.

Каналы эти очень живописны. Они уходят в глубь лесов. Заросли свисают над водой темными арками. Кажется, что каждый канал ведет в таинственные места. По каналам, особенно весною, можно пробираться в легком челне на десятки километров.

Сладковатый запах водяных лилий смешан с запахом смолы. Иногда высокие камыши перегораживают каналы сплошными плотинами. По берегам растет белокрыльник. Листья его немного похожи на листья ландыша, но на одном листе прорисована широкая белая полоса, и издали кажется, что это цветут громадные снежные цветы. Папоротник, ежевика, хвощи и мох наклоняются с берегов. Если задеть рукой или веслом за космы мха, из него вылетает густым облаком яркая изумрудная пыль — споры кукушкиного льна. Розовый кипрей цветет невысокими стенами. Оливковые жуки-плавунцы ныряют в воде и нападают на стаи мальков. Иногда приходится тащить челн волоком по мелкой воде. Тогда плавунцы до крови кусают ноги.

Тишина нарушается только звоном комаров и всплесками рыб.

Плавание всегда приводит к неизвестной цели — к лесному озеру или к лесной реке, несущей чистую воду над хрящеватым дном.

На берегах этих рек в глубоких норах живут водяные крысы. Есть крысы, совершенно седые от старости.

Если тихо следить за норой, то можно увидеть, как крыса ловит рыбу. Она выползает из норы, ныряет очень глубоко и выплывает со страшным шумом. На широких водяных кругах качаются желтые кувшинки. Во рту крыса держит серебряную рыбу и плывет с ней к берегу. Когда рыба бывает больше крысы, борьба длится долго, и крыса вылезает на берег усталая, с красными от злости глазами.

Чтобы легче было плавать, водяные крысы отгрызают длинный стебель куги и плавают, держа его в зубах. Стебель куги полон воздушных ячеек. Он прекрасно держит на воде даже не такую тяжесть, как крыса.

Жилинский пытался осушить болота Мещоры. Из этой затеи ничего не вышло. Почва Мещоры — это торф, подзол и пески. На песках хорошо родится только картошка.

Богатство Мещоры не в земле, а в лесах, в торфе и в заливных лугах по левому берегу Оки. Эти луга иные ученые сравнивают по плодородию с поймой Нила. Луга дают великолепное сено.

ЛЕСА

Мещора — остаток лесного океана. Мещорские леса величественны, как кафедральные соборы. Даже старый профессор, ничуть не склонный к поэзии, написал в исследовании о Мещорском крае такие слова: «Здесь в могучих сосновых борах так светло, что на сотни шагов вглубь видно пролетающую птицу».

По сухим сосновым борам идешь, как по глубокому дорогому ковру,— на километры земля покрыта сухим, мягким мхом. В просветах между соснами косыми срезами лежит солнечный свет. Стаи птиц со свистом и легким шумом разлетаются в стороны.

В ветер леса шумят. Гул проходит по вершинам сосен, как волны. Одинокий самолет, плывущий на головокружительной высоте, кажется миноносцем, наблюдаемым со дна моря.

Простым глазом видны мощные воздушные токи. Они подымаются от земли к небу. Облака тают, стоя на месте. Сухое дыхание лесов и запах можжевельника, должно быть, доносятся и до самолетов.

Кроме сосновых лесов, мачтовых и корабельных, есть леса еловые, березовые и редкие пятна широколиственных лип, вязов и дубов. В дубовых перелесках нет дорог. Они непроезжи и опасны из-за муравьев. В знойный день пройти через дубовую заросль почти невозможно: через минуту все тело, от пяток до головы, покроют рыжие злые муравьи с сильными челюстями. В дубовых зарослях бродят безобидные медведи-муравьятники. Они расковыривают старые пни и слизывают муравьиные яйца.

Леса в Мещоре разбойничьи, глухие. Нет большего отдыха и наслаждения, чем идти весь день по этим лесам, по незнакомым дорогам к какому-нибудь дальнему озеру.

Путь в лесах — это километры тишины, безветрия. Это грибная прель, осторожное перепархивание птиц. Это липкие маслюки, облепленные хвоей, жесткая трава, холодные белые грибы, земляника, лиловые колокольчики на

полянах, дрожь осиновых листьев, торжественный свет и, наконец, лесные сумерки, когда из мхов тянет сыростью и в траве горят светляки.

Закат тяжело пылает на кронах деревьев, золотит их старинной позолотой. Внизу, у подножия сосен, уже темно и глухо. Бесшумно летают и как будто заглядывают в лицо летучие мыши. Какой-то непонятный звон слышен в лесах — звучание вечера, догоревшего дня.

А вечером блеснет наконец озеро, как черное, косо поставленное зеркало. Ночь уже стоит над ним и смотрит в его темную воду,— ночь, полная звезд. На западе еще тлеет заря, в зарослях волчьих ягод кричит выпь, и на мшарах бормочут и возятся журавли, обеспокоенные дымом костра.

Всю ночь огонь костра то разгорается, то гаснет. Листва берез висит не шелохнувшись. Роса стекает по белым стволам. И слышно, как где-то очень далеко — кажется, за краем земли — хрипло кричит старый петух в избе лесника.

В необыкновенной, никогда не слыханной тишине зарождается рассвет. Небо на востоке зеленеет. Голубым хрусталем загорается на заре Венера. Это лучшее время суток. Еще все спит. Спит вода, спят кувшинки, спят, уткнувшись носами в коряги, рыбы, спят птицы, и только совы летают около костра медленно и бесшумно, как комья белого пуха.

Котелок сердится и бормочет на огне. Мы почему-то говорим шепотом — боимся спугнуть рассвет. С жестяным свистом проносятся тяжелые утки. Туман начинает клубиться над водой. Мы наваливаем в костер горы сучьев и смотрим, как подымается огромное белое солнце — солнце бесконечного летнего дня.

Так мы живем в палатке на лесных озерах по нескольку дней. Наши руки пахнут дымом и брусникой — этот запах не исчезает неделями. Мы спим по два часа в сутки и почти не знаем усталости. Должно быть, два-три часа сна в лесах стоят многих часов сна в духоте городских домов, в спертом воздухе асфальтовых улиц.

Однажды мы ночевали на Черном озере, в высоких зарослях, около большой кучи старого хвороста.

Мы взяли с собой резиновую надувную лодку и на рассвете выехали на ней за край прибрежных кувшинок —

ловить рыбу. На дне озера толстым слоем лежали истлевшие листья, и в воде плавали коряги.

Внезапно у самого борта лодки вынырнула громадная горбатая спина черной рыбы с острым, как кухонный нож, спинным плавником. Рыба нырнула и прошла под резиновой лодкой. Лодка закачалась. Рыба вынырнула снова. Должно быть, это была гигантская щука. Она могла задеть резиновую лодку пером и распороть ее, как бритвой.

Я ударил веслом по воде. Рыба в ответ со страшной силой хлестнула хвостом и снова прошла под самой лодкой. Мы бросили удить и начали грести к берегу, к своему биваку. Рыба все время шла рядом с лодкой.

Мы въехали в прибрежные заросли кувшинок и готовились пристать, но в это время с берега раздалось визгливое тявканье и дрожащий, хватающий за сердце вой. Там, где мы спускали лодку, на берегу, на примятой траве стояла, поджав хвост, волчица с тремя волчатами и выла, подняв морду к небу. Она выла долго и скучно; волчата визжали и прятались за мать. Черная рыба снова прошла у самого борта и зацепила пером за весло.

Я бросил в волчицу тяжелым свинцовым грузилом. Она отскочила и рысцой побежала от берега. И мы увидели, как она пролезла вместе с волчатами в круглую нору в куче хвороста невдалеке от нашей палатки.

Мы высадились, подняли шум, выгнали волчицу из хвороста и перенесли бивак на другое место.

Черное озеро названо так по цвету воды. Вода в нем черная и прозрачная.

В Мещоре почти у всех озер вода разного цвета. Больше всего озер с черной водой. В иных озерах (например, в Черненьком) вода напоминает блестящую тушь. Трудно, не видя, представить себе этот насыщенный, густой цвет. И вместе с тем вода в этом озере, так же как и в Черном, совершенно прозрачная.

Этот цвет особенно хорош осенью, когда на черную воду слетают желтые и красные листья берез и осин. Они устилают воду так густо, что челн шуршит по листве и оставляет за собой блестящую черную дорогу.

Но этот цвет хорош и летом, когда белые лилии лежат на воде, как на необыкновенном стекле. Черная вода обладает великолепным свойством отражения: трудно отличить настоящие берега от отраженных, настоящие заросли — от их отражения в воде.

В Урженском озере вода фиолетовая, в Сегдене — желтоватая, в Великом озере — оловянного цвета, а в озерах за Прой — чуть синеватая. В луговых озерах летом вода прозрачная, а осенью приобретает зеленоватый морской цвет и даже запах морской воды.

Но большинство озер все же — черные. Старики говорят, что чернота вызвана тем, что дно озер устлано толстым слоем опавших листьев. Бурая листва дает темный настой. Но это не совсем верно. Цвет объясняется торфяным дном озер — чем старее торф, тем темнее вода.

Я упомянул о мещорских челнах. Они похожи на полинезийские пироги. Они выдолблены из одного куска дерева. Только на носу и на корме они склепаны коваными гвоздями с большими шляпками.

Челн очень узок, легок, поворотлив, на нем можно пройти по самым мелким протокам.

ЛУГА

Между лесами и Окой тянутся широким поясом заливные луга.

В сумерки луга похожи на море. Как в море, садится солнце в травы, и маяками горят сигнальные огни на берегу Оки. Так же как в море, над лугами дуют свежие ветры, и высокое небо опрокинулось бледной зеленеющей чашей.

В лугах тянется на много километров старое русло Оки. Его зовут Прорвой.

Это заглохшая, глубокая и неподвижная река с крутыми берегами. Берега заросли высокими, старыми, в три обхвата, осокорями, столетними ивами, шиповником, зонтичными травами и ежевикой.

Один плес на этой реке мы назвали «Фантастической Прорвой», потому что нигде и никто из нас не видел таких огромных, в два человеческих роста, репейников, голубых колючек, такой высокой медуницы и конского щавеля и таких исполинских грибов-дождевиков, как на этом плесе.

Густота трав в иных местах на Прорве такая, что с лодки нельзя высадиться на берег,— травы стоят непроходимой упругой стеной. Они отталкивают человека. Травы перевиты предательскими петлями ежевики, сотнями опасных и колких силков.

Над Прорвой часто стоит легкая дымка. Цвет ее меняется от времени дня. Утром — это голубой туман, днем — белесая мгла, и лишь в сумерки воздух над Прорвой делается прозрачным, как ключевая вода. Листва осокорей едва трепещет, розовая от заката, и в омутах гулко бьют прорвинские щуки.

По утрам, когда нельзя пройти по траве и десяти шагов, чтобы не промокнуть до нитки от росы, воздух на Прорве пахнет горьковатой ивовой корой, травянистой свежестью, осокой. Он густ, прохладен и целителен.

Каждую осень я провожу на Прорве в палатке по многу суток. Чтобы получить отдаленное представление о том, что такое Прорва, следует описать хотя бы один прорвинский день. На Прорву я приезжаю на лодке. Со мной палатка, топор, фонарь, рюкзак с продуктами, саперная лопатка, немного посуды, табак, спички и рыболовные принадлежности: удочки, донки, переметы, жерлицы и, самое главное, банка с червяками-подлистниками. Их я собираю в старом саду под кучами палых листьев.

На Прорве у меня есть уже свои любимые, всегда очень глухие места. Одно из них — это крутой поворот реки, где она разливается в небольшое озеро с очень высокими, заросшими лозой берегами.

Там я разбиваю палатку. Но прежде всего я таскаю сено. Да, сознаюсь, я таскаю сено из ближайшего стога, но таскаю очень ловко, так, что даже самый опытный глаз старика колхозника не заметит в стогу никакого изъяна. Сено я подкладываю под брезентовый пол палатки. Потом, когда я уезжаю, я отношу его обратно.

Палатку надо натягивать так, чтобы она гудела, как барабан. Потом ее надо окопать, чтобы во время дождя вода стекала в канавы по бокам палатки и не подмочила пол.

Палатка устроена. В ней тепло и сухо. Фонарь «летучая мышь» висит на крючке. Вечером я зажигаю его и даже читаю в палатке, но читаю обыкновенно недолго — на Прорве слишком много помех: то за соседним кустом начнет кричать коростель, то с пушечным гулом ударит пудовая рыба, то оглушительно выстрелит в костре ивовый прут и разбрызжет искры, то над зарослями начнет разгораться багровое зарево и мрачная луна взойдет над

просторами вечерней земли. И сразу же стихнут коростели и перестанет гудеть в болотах выпь — луна подымается в настороженной тишине. Она появляется, как владетель этих темных вод, столетних ив, таинственных длинных ночей.

Шатры черных ив нависают над головой. Глядя на них, начинаешь понимать значение старых слов. Очевидно, такие шатры в прежние времена назывались «сенью». Под сенью ив... И почему-то в такие ночи созвездие Ориона называешь Стожарами, а слово «полночь», которое в городе звучит, пожалуй, как литературное понятие, приобретает здесь настоящий смысл. Вот эта тьма под ивами, и блеск сентябрьских звезд, и горечь воздуха, и далекий костер в лугах, где мальчишки сторожат коней, согнанных в ночное,— все это полночь. Где-то далеко сторож отбивает на сельской колокольне часы. Он бьет долго, мерно — двенадцать ударов. Потом снова темная тишина. Только изредка на Оке закричит заспанным голосом буксирный пароход.

Ночь тянется медленно; кажется, ей не будет конца. Сон в осенние ночи в палатке крепкий, свежий, несмотря на то что просыпаешься через каждые два часа и выходишь посмотреть на небо — узнать, не взошел ли Сириус, не видно ли на востоке полосы рассвета.

С каждым часом ночь холодеет. К рассвету воздух уже обжигает лицо легким морозом, полотнища палатки, покрытые толстым слоем хрустящего инея, чуть-чуть провисают, и трава седеет от первого утренника.

Пора вставать. На востоке уже паливается тихим светом заря, уже видны на небе огромные очертания ив, уже меркнут звезды. Я спускаюсь к реке, моюсь с лодки. Вода теплая, она кажется даже слегка подогретой.

Восходит солнце. Иней тает. Прибрежные пески делаются темными от росы.

Я кипячу крепкий чай в жестяном закопченном чайнике. Твердая копоть похожа на эмаль. В чайнике плавают перегоревшие в костре ивовые листья.

Все утро я ловлю рыбу. Я проверяю с лодки переметы, поставленные поперек реки еще с вечера. Сначала идут пустые крючки — на них всю наживку съели ерши. Но вот шнур натягивается, режет воду, и в глубине возникает живой серебряный блеск — это ходит на крючке плоский лещ. За ним виден жирный и упористый окунь,

потом — щуренок с желтыми пронзительными глазами. Вытащенная рыба кажется ледяной.

К этим дням, проведенным на Прорве, целиком относятся слова Аксакова:

«На зеленом цветущем берегу, над темной глубью реки или озера, в тени кустов, под шатром исполинского осокоря или кудрявой ольхи, тихо трепещущей своими листьями в светлом зеркале воды, улягутся мнимые страсти, утихнут мнимые бури, рассыплются самолюбивые мечты, разлетятся несбыточные надежды. Природа вступит в вечные права свои. Вместе с благовонным, свободным, освежительным воздухом вдохнете вы в себя безмятежность мысли, кротость чувства, снисхождение к другим и даже к самому себе».

НЕБОЛЬШОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ ОТ ТЕМЫ

С Прорвой связано много всяких рыболовных происшествий. Об одном из них я расскажу.

Великое племя рыболовов, обитавших в селе Солотче, около Прорвы, было взволновано. В Солотчу приехал из Москвы высокий старик с длинными серебряными зубами. Он тоже ловил рыбу.

Старик ловил на спиннинг: английскую удочку с блесной — искусственной никелевой рыбкой.

Мы презирали спиннинг. Мы со злорадством следили за стариком, когда он терпеливо бродил по берегам луговых озер и, размахивая спиннингом, как кнутом, неизменно выволакивал из воды пустую блесну.

А тут же рядом Лепька, сын сапожника, таскал рыбу не на английскую леску, стоящую сто рублей, а на обыкновенную веревку. Старик вздыхал и жаловался:

— Жестокая несправедливость судьбы!

Он говорил даже с мальчишками очень вежливо, на «вы», и употреблял в разговоре старомодные, давно забытые слова. Старику не везло. Мы давно уже знали, что все рыболовы делятся на глубоких неудачников и на счастливцев. У счастливцев рыба клюет даже на дохлого червяка. Кроме того, есть рыболовы — завистники и хитрецы. Хитрецы думают, что они могут перехитрить любую рыбу, но никогда в жизни я не видел, чтобы такой

рыболов перехитрил даже самого серого ерша, не говоря о плотве.

С завистником лучше не ходить на ловлю — клевать у него все равно не будет. В конце концов, похудев от зависти, он начнет подкидывать свою удочку к вашей, шлепать грузилом по воде и распугает всю рыбу.

Итак, старику не везло. За один день он обрывал о коряги не меньше десяти дорогих блесен, ходил весь в крови и волдырях от комаров, но не сдавался.

Один раз мы взяли его с собой на озеро Сегден.

Всю ночь старик дремал у костра стоя, как лошадь: сесть на сырую землю он боялся. На рассвете я зажарил яичницу с салом. Сонный старик хотел перешагнуть через костер, чтобы достать хлеб из сумки, споткнулся и наступил огромной ступней на яичницу.

Он выдернул ногу, вымазанную желтком, тряхнул ею в воздухе и ударил по кувшину с молоком. Кувшин треснул и рассыпался на мелкие части. И прекрасное топленое молоко с легким шорохом всосалось у нас на глазах в мокрую землю.

— Виноват! — сказал старик, извиняясь перед кувшином.

Потом он пошел к озеру, опустил ногу в холодную воду и долго болтал ею, чтобы смыть с ботинка яичницу. Две минуты мы не могли выговорить ни слова, а потом хохотали в кустах до самого полдня.

Всем известно, что раз рыболову не везет, то рано или поздно с ним случится такая хорошая неудача, что о ней будут рассказывать по деревне не меньше десяти лет. Наконец такая неудача случилась.

Мы пошли со стариком на Прорву. Луга еще не были скошены. Ромашка величиной с ладонь хлестала по ногам.

Старик шел и, спотыкаясь о травы, повторял:

— Какой аромат, граждане! Какой упоительный аромат!

Над Прорвой стояло безветрие. Даже листья ив не шевелились и не показывали серебристую изнанку, как это бывает и при легком ветре. В нагретых травах «жупдели» шмели.

Я сидел на разбитом плоту, курил и следил за перяным поплавком. Я терпеливо ждал, когда поплавок вздрог-

нет и пойдет в зеленую речную глубину. Старик ходил по песчаному берегу со спиннингом. Я слышал из-за кустов его вздохи и возгласы:

— Какое дивное, очаровательное утро!

Потом я услышал за кустами кряканье, топот, сопенье и звуки, очень похожие на мычание коровы с завязанным ртом. Что-то тяжелое шлепнулось в воду, и старик закричал тонким голосом:

— Боже мой, какая красота!

Я соскочил с плота, по пояс в воде добрался до берега и подбежал к старику. Он стоял за кустами у самой воды, а на песке перед ним тяжело дышала старая щука. На первый взгляд, в ней было не меньше пуда.

— Тащите ее подальше от воды! — крикнул я.

Но старик зашипел на меня и дрожащими руками вынул из кармана пенсне. Он надел его, нагнулся над щукой и начал ее рассматривать с таким восторгом, с каким знатоки любуются редкой картиной в музее.

Щука не сводила со старика злых прищуренных глаз.

— Здорово похожа на крокодила! — сказал Ленька.

Щука покосилась на Леньку, и он отскочил. Казалось, щука прохрипела: «Ну погоди, дурак, я тебе оторву уши!»

— Голубушка! — воскликнул старик и еще ниже наклонился над щукой.

Тогда и случилась та неудача, о которой до сих пор говорят по деревне.

Щука примерилась, мигнула глазом и со всего размаху ударила старика хвостом по щеке. Над сонной водой раздался оглушительный треск оплеухи. Пенсне полетело в реку. Щука подскочила и тяжело шлепнулась в воду.

— Увы! — крикнул старик, но было уже поздно.

В стороне приплясывал Ленька и кричал нахальным голосом:

— Ага! Получили! Не ловите, не ловите, не ловите, когда не умеете!

В тот же день старик смотал свои спиннинги и уехал в Москву. И никто больше не нарушал тишину протоков и рек, не обрывал блесной холодные речные лилии и не восторгался вслух тем, чем лучше всего восторгаться без слов.

ЕЩЕ О ЛУГАХ

В лугах очень много озер. Названия у них странные и разнообразные: Тишь, Бык, Хотец, Промоина, Канава, Старица, Музга, Бобровка, Селянское озеро и, наконец, Лангобардское.

На дне Хотца лежат черные мореные дубы. В Тиши всегда затишье. Высокие берега закрывают озеро от ветров. В Бобровке некогда водились бобры, а теперь гоняют мальков шелесперы. Промоина — глубокое озеро с такой капризной рыбой, что ловить ее может только человек с очень хорошими нервами. Бык — озеро таинственное, далекое, тянущееся на много километров. В нем мели сменяются омутами, но мало тени на берегах, и потому мы его избегаем. В Канаве водятся удивительные золотые лини: каждый такой линь клюет полчаса. К осени берега Канавы покрываются пурпурными пятнами, но не от осенней листвы, а от обилия очень крупных ягод шиповника.

На Старице по берегам — песчаные дюны, заросшие чернобыльником и чередой. На дюнах растет трава, ее зовут живучкой. Это плотные серо-зеленые шарики, похожие на туго закрывшуюся розу. Если вырвать такой шарик из песка и положить корнями вверх, он начинает медленно ворочаться, как перевернутый на спину жук, расправляет с одной стороны лепестки, упирается на них и переворачивается опять корнями к земле.

В Музге глубина доходит до двадцати метров. На берегах Музги во время осеннего перелета отдыхают журавлиные стаи. Селянское озеро все заросло черной кугой. В ней гнездятся сотни уток.

Как прививаются названия! В лугах около Старицы есть небольшое безыменное озеро. Мы назвали его Лангобардским в честь бородатого сторожа — «лангобарда». Он жил на берегу озера в шалаше, сторожил капустные огороды. А через год, к нашему удивлению, название привилось, но колхозники переделали его по-своему и стали называть это озеро Амбарским.

Разнообразие трав в лугах неслыханное. Нескошенные луга так душисты, что с непривычки туманится и тяжелеет голова. На километры тянутся густые, высокие заросли ромашки, цикория, клевера, дикого укропа, гвоз-

дики, мать-и-мачехи, одуванчиков, генцианы, подорожника, колокольчиков, лютиков и десятков других цветущих трав. В травах к покосу созревает луговая клубника.

СТАРИКИ

В лугах — в землянках и шалашах — живут болтливые старики. Это или сторожа на колхозных огородах, или паромщики, или корзинщики. Корзинщики ставят шалаши около прибрежных зарослей ивняка.

Знакомство с этими стариками начинается обыкновенно во время грозы или дождя, когда приходится отсиживаться в шалашах, пока гроза не свалится за Оку или в леса и над лугами не опрокинется радуга.

Знакомство всегда происходит по раз навсегда установленному обычаю. Сначала мы закуриваем, потом идет вежливый и хитрый разговор, направленный к тому, чтобы выведать, кто мы такие, после него — несколько неопределенных слов о погоде («заладили дожжи» или, наоборот, «наконец-то обмоет траву, а то все сушь да сушь»). И только после этого беседа может свободно переходить на любую тему.

Больше всего старики любят поговорить о вещах необыкновенных: о новом Московском море, «водяных еропланах» (глиссерах) на Оке, французской пище («из лягушек уху варят и хлебают серебряными ложками»), барсучьих бегах и колхознике из-под Пронска, который, говорят, заработал столько трудодней, что купил на них автомобиль с музыкой.

Чаще всего я встречался с ворчливым дедом-корзинщиком. Жил он в шалаше на Музге. Звали его Степаном, а прозвище у него было «Борода на жердях».

Дед был худой, тонконогий, как старая лошадь. Говорил он невнятно, борода лезла в рот; ветер ворошил у деда мохнатое лицо.

Как-то я заночевал в шалаше у Степана. Пришел я поздно. Были серые теплые сумерки, перепадал нерешительный дождь. Он шумел по кустам, стихал, потом снова начинал шуметь, как будто играл с нами в прятки.

— Возится этот дождь, как дитё,— сказал Степан.— Чисто ребенок — то тут шелохнет, то там, а то и вовсе притаится, слушает наш разговор.

У костра сидела девочка лет двенадцати, светлоглазая, тихая, испуганная. Говорила она только шепотом.

— Вот, приблудилась дурочка из Заборья! — сказал ласково дед.— Телку в лугах искала-искала, да и доискалась до темноты. Прибегла на огонь к деду. Что ты с ней будешь делать.

Степан вытащил из кармана желтый огурец и дал девочке:

— Ешь, не сумлевайся.

Девочка взяла огурец, кивнула головой, но есть не стала.

Дед поставил на огонь котелок, начал варить похлебку.

— Вот, милые вы мои,— сказал дед, закуривая,— бродите вы, как нанятые, по лугам, по озерам, а того нету у вас в понятии, что были все эти луга, и озера, и леса монастырские. От самой Оки до Пры, почитай на сто верт, весь лес был монашеский. А теперь народный, теперь тот лес трудовой.

— А за что им такие леса были дадены, дедушка? — спросила девочка.

— А пес их знает за что! Бабы-дуры говорили — за святость. Грехи они наши замаливали перед матерью божьей. А какие у нас грехи? Грехов у нас почитай никаких и не было. Эх, темнота, темнота!

Дед вздохнул.

— Ходил и я по церквам, был грех,— пробормотал смущенно дед.— Да что толку-то! Лапти даром уродовал.

Дед помолчал, накрошил в похлебку черного хлеба.

— Житьишко наше было плохое,— сказал он, сокрушаясь.— Не хватало ни мужикам, ни бабам счастья. Мужик еще туда-сюда — мужик, по крайности, к водке прибьется, а баба совсем пропадала. Ребята у ней были не питые, не сытые. Топталась она всю жизнь с ухватами у печки, покуль черви в глазах не заводились. Ты не смейся, ты это брось! Я верное слово сказал насчет червей. Заводились те черви в бабьих глазах от огня.

— Ужасти! — тихо вздохнула девочка.

— А ты не пужайся,— сказал дед.— У тебя черви не заведутся. Теперь девки нашли свое счастье. Ране народ думал — живет оно, счастье, на теплых водах, в синих морях, а на поверку вышло, что живет оно здесь, в черепке,— дед постучал корявым пальцем по лбу.— Вот, к при-

меру, Манька Малявина. Голосистая была девчонка, и все. В старые времена она бы свой голос в одночастье проплакала, а теперь ты гляди, что получилось. Что ни день — у Малявина чистый праздник: гармонь играет, пироги пекут. А почему? Потому, милые мои, что как же ему, Ваське Малявину, не весело жить, когда Манька каждый месяц ему, старому черту, двести рублей присылает!

— Откуль? — спросила девочка.

— Из Москвы. Она в театре поет. Кто слыхал, говорит — райское пение. Прямо плачет навзрыд весь народ. Вот она какая теперь становится, бабья доля. Приезжала она прошлым летом, Манька. Так разве узнаешь! Тонкая девица, гостинец мне привезла. Пела в избе-читальне. Я до всего привычный, а прямо скажу: схватило меня за сердце, а чего — не пойму. Откуль, думаю, такая власть человеку дадена? И как это пропадала она у нас, мужиков, от нашей дурости тысячи лет! Потопчешься сейчас по земле, там послухаешь, тут поглядишь, и умирать вроде все как будто рано и рано — никак, милый, время для смерти не выберешь.

Дед снял похлебку с огня и полез в шалаш за ложками.

— Жить бы нам и жить, Егорыч,— сказал он из шалаша.— Родились мы чуть-чуть рановато. Не угадали.

Девочка смотрела в огонь светлыми, блестящими глазами и думала о чем-то о своем.

РОДИНА ТАЛАНТОВ

На краю Мещорских лесов, недалеко от Рязани, лежит село Солотча. Солотча прославлена своим климатом, дюнами, реками и сосновыми борами. В Солотче есть электричество.

Крестьянские кони, согнанные в ночное на луга, дико смотрят на белые звезды электрических фонарей, повисшие в далеком лесу, и всхрапывают от страха.

Я жил первый год в Солотче у кроткой старушки, старой девы и сельской портнихи, Марьи Михайловны. Ее звали вековушей — весь свой век она коротала одна, без мужа, без детей.

В ее чисто умытой игрушечной избе тикало несколько ходиков и висели две старинные картины неизвестного

итальянского мастера. Я протер их сырым луком, и итальянское утро, полное солнца и отблесков воды, наполнило тихую избу. Картину оставил отцу Марьи Михайловны в уплату за комнату неизвестный художник-иностранец. Он приезжал в Солотчу изучать тамошнее иконописное мастерство. Он был человек почти нищий и странный. Уезжая, он взял слово, что картина будет ему прислана в Москву в обмен на деньги. Денег художник не прислал — в Москве он внезапно умер.

За стеной избы по ночам шумел соседский сад. В саду стоял дом в два этажа, обнесенный глухим забором. Я забрел в этот дом в поисках комнаты. Со мной говорила красивая седая старуха. Она строго посмотрела на меня синими глазами и комнату сдать отказалась. За ее плечом я разглядел стены, увешанные картинами.

— Чей это дом? — спросил я вековушу.

— Да как же! Академика Пожалостина, знаменитого гравера. Умер он перед революцией, а старуха — его дочь. Их там две живут старухи. Одна совсем дряхлая, горбатенькая.

Я недоумевал. Гравер Пожалостин — один из лучших русских граверов, работы его разбросаны всюду: у нас, во Франции, в Англии, и вдруг — Солотча! Но вскоре я перестал недоумевать, услышав, как колхозники, копая картошку, заспорили, приедет ли в этом году в Солотчу художник Архипов или нет.

Пожалостин — бывший пастух. Художники Архипов и Малявин, скульптор Голубкина — все из этих, рязанских мест. В Солотче почти нет избы, где не было бы картин. Спросишь: кто писал? Отвечают: дед, или отец, или брат. Солотчинцы были когда-то знаменитыми богомазами.

Имя Пожалостина до сих пор произносится с уважением. Он учил солотчан рисовать. Они ходили к нему тайком, неся завернутые в чистую тряпицу свои холсты на оценку — на хвалу или поругание.

Долго я не мог свыкнуться с мыслью, что рядом, за стеной, в темноватых комнатах старого дома, лежат редчайшие книги по искусству и медные гравированные доски. Поздно ночью я выходил к колодцу напиться воды. На срубе лежал иней, ведро обжигало пальцы, ледяные звезды стояли над безмолвным и черным краем, и только в доме Пожалостина тускло светилось окошко: дочь

его читала до рассвета. Изредка она, вероятно, поднимала очки на лоб и прислушивалась — стерегла дом.

На следующий год я поселился у Пожалостиных. Я снял у них старую баню в саду. Сад был заглохший, весь в сирени, в одичалом шиповнике, в яблонях и кленах, покрытых лишаями.

На стенах в пожалостинском доме висели прекрасные гравюры — портреты людей прошлого века. Я никак не мог избавиться от их взглядов. Когда я чинил удочки или писал, толпа женщин и мужчин в наглухо застегнутых сюртуках, толпа семидесятых годов, смотрела на меня со стен с глубоким вниманием. Я подымал голову, встречался взглядом с глазами Тургенева или генерала Ермолова, и мне почему-то становилось неловко.

Солотчинская округа — страна талантливых людей. Недалеко от Солотчи родился Есенин.

Однажды ко мне в баню зашла старуха в поневе — принесла продавать сметану.

— Ежели тебе еще сметана потребуется,— сказала она ласково,— так ты приходи ко мне, у меня есть. Спросишь у церкви, где живет Татьяна Есенина. Тебе всякий покажет.

— Есенин Сергей не твой родственник?

— Поет? — спросила бабка.

— Да, поэт.

— Племянничек мой,— вздохнула бабка и вытерла рот концом платка.— Был он поет хороший, только больно чудной. Так ежели сметанка потребуется, ты заходи ко мне, милый.

На одном из лесных озер около Солотчи живет Кузьма Зотов. До революции Кузьма был безответный бедняк. От бедности сохранилась у него привычка говорить вполголоса, незаметно — лучше уж не говорить, а помалкивать. Но от этой же бедности, от «тараканьей жизни» сохранилось у него и упрямое желание во что бы то ни стало сделать своих детей «настоящими людьми».

В избе Зотовых появилось за последние годы много нового — радио, газеты, книги. От старого времени остался только дряхлый пес — никак не хочет умирать.

— Как его ни корми, все равно тощает,— говорит Кузьма.— Такой у него на всю жизнь завод остался бедняцкий. Кто почище одет, тех боится, хоронится под лавку. Думает — господа!

У Кузьмы трое сыновей-комсомольцев. Четвертый сын — еще совсем мальчик, Вася.

Один из сыновей, Миша, заведует опытной ихтиологической станцией на озере Великом, около города Спас-Клепики. Как-то летом Миша привез домой старую скрипку без струн — купил ее у какой-то старухи. Скрипка валялась в старухиной избе, в сундуке,— осталась от помещиков Щербатовых. Скрипка была итальянской работы, и Миша решил зимой, когда на опытной станции будет мало работы, съездить в Москву — показать ее знатокам. Играть на скрипке он не умел.

— Если окажется ценной,— сказал он мне,— подарю кому-нибудь из наших лучших скрипачей.

Второй сын, Ваня,— учитель ботаники и зоологии в большом лесном селе, за сто километров от родного озера. Во время отпуска он помогает матери по хозяйству, а в свободное время бродит по лесам или по озеру по пояс в воде, ищет какие-то редкие водоросли. Их он обещал показать своим ученикам, шустрым и страшно любопытным.

Ваня человек застенчивый. От отца к нему перешли незлобивость, расположение к людям, любовь к душевным разговорам.

Вася еще учится в школе. На озере школы нет — там всего четыре избы,— и Васе приходится бегать в школу через лес, за семь километров.

Вася — знаток своих мест. Он знает каждую тропинку в лесу, каждую барсучью нору, оперение каждой птицы. Его серые прищуренные глаза обладают необыкновенной зоркостью.

Два года назад на озеро приехал из Москвы художник. Он взял Васю себе в помощники. Вася перевозил художника на челне на другой берег озера, менял ему воду для красок (художник рисовал французскими акварельными красками Лефранка), подавал из коробки свинцовые тюбики.

Однажды художника с Васей застигла на берегу гроза. Я помню ее. Это была не гроза, а стремительный, предательский ураган. Пыль, розовая от блеска молний, неслась по земле. Леса шумели так, будто океаны прорвали плотины и затапливают Мещору. Гром встряхивал землю.

Художник с Васей едва добрались до дому. В избе художник обнаружил пропажу жестяной коробки с аква-

релью. Краски были потеряны, великолепные краски Лефранка! Художник искал их несколько дней, но не нашел и вскоре уехал в Москву.

Через два месяца в Москве художник получил письмо, написанное большими корявыми буквами.

«Здравствуйте,— писал Вася.— Отпишите, что делать с вашими красками и как их вам переслать. Как вы уехали, я их искал две недели, все обшарил, пока нашел, только сильно простыл, потому уже были дожди, заболел и не мог вам раньше отписать. Я чуть не помер, но теперь хожу, хотя еще очень слабый. Так что не сердитесь. Папаня говорил, что было у меня воспаление в легких. Пришлите мне, если есть у вас какая возможность, книжку про всякие деревья и цветных карандашей — охота мне рисовать У нас уже падал снег, но только стаял, а в лесу под елочкой — смотришь — и сидит заяц! Остаюсь *Вася Зотов*».

МОЙ ДОМ

Маленький дом, где я живу в Мещоре, заслуживает описания. Это бывшая баня, бревенчатая изба, обшитая серым тесом. Дом стоит в густом саду, но почему-то отгорожен от сада высоким частоколом. Этот частокол — западня для деревенских котов, любителей рыбы. Каждый раз, когда я возвращаюсь с ловли, коты всех мастей — рыжие, черные, серые и белые с подпалинами — берут дом в осаду. Они шныряют вокруг, сидят на заборе, на крышах, на старых яблонях, подвывают друг на друга и ждут вечера. Все они смотрят не отрываясь на кукан с рыбой — он подвешен к ветке старой яблони с таким расчетом, что достать его почти невозможно.

Вечером коты осторожно перелезают через частокол и собираются под куканом. Они подымаются на задние лапы, а передними делают стремительные и ловкие взмахи, стараясь зацепить кукан. Издали кажется, что коты играют в волейбол. Потом какой-нибудь наглый кот подпрыгивает, вцепляется в кукан мертвой хваткой, висит на нем, качается и старается оторвать рыбу. Остальные коты бьют от досады друг друга по усатым мордам. Кончается это тем, что я выхожу с фонарем из бани. Коты, застигнутые врасплох, бросаются к частоколу, но не успевают

перелезть через него, а протискиваются между кольями и застревают. Тогда они прижимают уши, закрывают глаза и начинают отчаянно кричать, прося пощады.

Осенью весь дом засыпан листьями, и в двух маленьких комнатках становится светло, как в облетающем саду.

Трещат печи, пахнет яблоками, чисто вымытыми полами. Синицы сидят на ветках, пересыпают в горле стеклянные шарики, звенят, трещат и смотрят на подоконник, где лежит ломоть черного хлеба.

В доме я ночую редко. Большинство ночей я провожу на озерах, а когда остаюсь дома, то ночую в старой беседке в глубине сада. Она заросла диким виноградом. По утрам солнце бьет в нее сквозь пурпурную, лиловую, зеленую и лимонную листву, и мне всегда кажется, что я просыпаюсь внутри зажженной елки. Воробьи с удивлением заглядывают в беседку. Их смертельно занимают часы. Они тикают на врытом в землю круглом столе. Воробьи подбираются к ним, слушают тиканье то одним, то другим ухом и потом сильно клюют часы в циферблат.

Особенно хорошо в беседке в тихие осенние ночи, когда в саду шумит вполголоса неторопливый отвесный дождь.

Прохладный воздух едва качает язычок свечи. Угловатые тени от виноградных листьев лежат на потолке беседки. Ночная бабочка, похожая на комок серого шелка-сырца, садится на раскрытую книгу и оставляет на странице тончайшую блестящую пыль.

Пахнет дождем — нежным и вместе с тем острым запахом влаги, сырых садовых дорожек.

На рассвете я просыпаюсь. Туман шуршит в саду. В тумане падают листья. Я вытаскиваю из колодца ведро воды. Из ведра выскакивает лягушка. Я обливаюсь колодезной водой и слушаю рожок пастуха — он поет еще далеко, у самой околицы.

Я иду в пустую баню, кипячу чай. На печке заводит свою песню сверчок. Он поет очень громко и не обращает внимания ни на мои шаги, ни на звон чашек.

Светает. Я беру весла и иду к реке. Цепной пес Дивный спит у калитки. Он бьет хвостом по земле, но не подымает головы. Дивный давно привык к моим уходам на рассвете. Он только зевает мне вслед и шумно вздыхает.

Я отплываю в тумане. Восток розовеет. Уже не доносится запах дыма сельских печей. Остается только безмолвие воды, зарослей, вековых ив.

Впереди — пустынный сентябрьский день. Впереди — затерянность в этом огромном мире пахучей листвы, трав, осеннего увядания, затишливых вод, облаков, низкого неба. И эту затерянность я всегда ощущаю как счастье.

БЕСКОРЫСТИЕ

Можно еще много написать о Мещорском крае. Можно написать, что этот край очень богат лесами и торфом, сеном и картофелем, молоком и ягодами. Но я нарочно не пишу об этом. Неужели мы должны любить свою землю только за то, что она богата, что она дает обильные урожаи и природные ее силы можно использовать для нашего благосостояния!

Не только за это мы любим родные места. Мы любим их еще за то, что, даже небогатые, они для нас прекрасны. Я люблю Мещорский край за то, что он прекрасен, хотя вся прелесть его раскрывается не сразу, а очень медленно, постепенно.

На первый взгляд — это тихая и немудрая земля под неярким небом. Но чем больше узнаешь ее, тем все больше, почти до боли в сердце, начинаешь любить эту обыкновенную землю. И если придется защищать свою страну, то где-то в глубине сердца я буду знать, что я защищаю и этот клочок земли, научивший меня видеть и понимать прекрасное, как бы невзрачно на вид оно ни было,— этот лесной задумчивый край, любовь к которому не забудется, как никогда не забывается первая любовь.

1939

РАЗЛИВЫ РЕК

Поручик Тенгинского пехотного полка Лермонтов ехал на Кавказ, в ссылку, в крепость Грозную

Весна выдалась непохожая на обыкновенные русские весны. Поздно распустились деревья, поздно цвела по заглохшим уездным садам черемуха. И реки запоздали и долго не могли войти в берега.

Разливы задерживали Лермонтова. Приходилось дожидаться паромов, а иной раз, если паром был поломан или ветер разводил на разливе волну, даже останавливаться па день-два в каком-нибудь захолустном городке.

Лермонтов равнодушно слушал жалобы проезжающих на высокую воду и дрянные отечественные дороги. Он был рад задержкам. Куда было скакать сломя голову? Под чеченскую пулю?

Впервые за последние годы он с тревогой думал о смерти. Прошло мальчишеское время, когда ранняя гибель казалась ему заманчивым исходом в жизни. Никогда еще ему так не хотелось жить, как сейчас.

Все чаще вспоминались слова: «И может быть, на мой закат печальный блеснет любовь улыбкою прощальной». Он был бесконечно благодарен Пушкину за эти строки. Может быть, он еще увидит в жизни простые и прекрасные вещи и услышит речи бесхитростные, как утешения матери. И тогда раскроется сердце, и он поймет наконец, какое оно, это человеческое счастье.

Городок, где пришлось задержаться из-за гнилого парома, был такой маленький, что из комнаты в «Номерах для проезжающих» можно было рассмотреть совсем рядом — рукой подать — поля, дуплистые ивы по пояс в воде и заречную деревню. Ее избы чернели на просыхающем откосе, как стая грачей. Навозный дымок курился над ними.

Из окна было слышно, как далеко, за краем туманной земли, поет, ни о чем не тревожась, пастуший рожок.

— Когда пройдет это кружение сердца? — спросил себя Лермонтов и усмехнулся. Он снял пыльный мундир и бросил на стул.— Круженье сердца! Кипенье дум! Высокие слова! Но иначе как будто и не скажешь.

Вошел слуга.

— Тут какие-то офицеры картежные стоят,— доложил он Лермонтову.— В этих номерах. Хрипуны, охальники — не дай бог! Про вас спрашивали.

— Будет врать! Откуда они меня знают?

— Ваша личность видная. Играть с ними будете? Ай нет?

— Отстань!

— А то я вам мундир почищу. В таком мундире к столу сесть совестно. Одна пыль!

— Не трогай мундир! — приказал Лермонтов и добавил, ничуть не сердясь, а даже с некоторым любопытством: — Станешь ты меня слушать или нет?

— Как придется,— уклончиво ответил слуга.— Я перед вашей бабкой Евангелие целовал за вами смотреть.

— Знаешь что,— спокойно сказал Лермонтов,— ступай ты подальше! Надоел.

Слуга вышел. Лермонтов расстегнул рубаху, лег на шаткую койку и закинул руки за голову.

В дощатом домишке рядом с «номерами» сидел у окна худой паренек и вот уже который час наигрывал на гармонике один и тот же мотив, — должно быть, совсем опалел от скуки: «Ах ты, барыня-сударыня моя! Ах ты, барыня-сударыня моя! Ах ты, барыня-сударыня моя!»

Лермонтов слушал, глядя сумрачными глазами на стену. Там было старательно выведено синим карандашом: «Пристанище для путешествующих по державе Российской».

Российская держава, Россия! Нескладная родная страна!

Утром Лермонтову встретился на улице слепой солдат. Он просил милостыню. Солдата вела за руку девочка лет четырнадцати, вся в лохмотьях. Сквозь грязную рвань просвечивало ее детское нежное тело.

— Кем он тебе приходится, этот солдат? — спросил Лермонтов девочку.

— Да никем. Я сирота. А ему пушечным огнем глаза выжгло.

— В бою под Тарутином! — хрипло прокричал солдат. По его зажатым воспаленным векам ползали мухи, но солдат их не отгонял.

«Ах ты, барыня-сударыня моя! Ах ты, барыня-сударыня моя!» — повизгивала гармоника.

Лермонтов дал солдату полтинник.

Слуга лежал на подоконнике в «номерах» и смотрел на улицу.

— Напрасно вы их балуете, Михаил Юрьевич,— сказал он укоризненно из окна.

— Помалкивай, пока я тебя не отправил в Тарханы!

Да, Россия... В Москве, на вечере у Погодина, Лермонтов впервые встретился с Гоголем. Гости сидели в саду. В этот день было народное гулянье. Из-за кирпичной ограды проникал с бульвара запах пропотевшего ситца. Пыль, золотясь от вечерней зари, оседала на деревьях.

Гоголь, прищурив глаза, долго смотрел на Лермонтова — чуть сутуловатого офицера — и лениво говорил, что Лермонтов, очевидно, не знает русского народа, так как привык вращаться в свете. «Попейте кваску с мужиками, поспите в курной избе рядом с телятами, поломайте поясницу на косьбе — тогда, пожалуй, вы сможете — и то в малой мере — судить о доле народа».

Лермонтов вежливо промолчал. Это Гоголю не понравилось.

Лермонтов был удивлен разговорами Гоголя, его брюзгливым голосом. За ужином Гоголь долго выбирал, помахивая в воздухе вилкой, в какой соленый груздь эту вилку вонзить.

Одно было ясно Лермонтову: Гоголь им пренебрегал. «Способный, конечно, юноша. Написал превосходные стихи на смерть Александра Сергеевича. Но мало ли кому удаются хорошие стихи! Писательство — это богослужение, тяжкая схима. А офицер этот никак не похож на схимника».

В ответ Гоголю Лермонтов, выждав время, прочел отрывок из «Мцыри».

— Еще что-нибудь,— приказал Гоголь.

Тогда Лермонтов прочел посвящение Марии Щербатовой:

На светские цепи,
На блеск утомительный бала
Цветущие степи
Украйны она променяла...

Гоголь слушал, сморщив лицо, ковырял носком сапога песок у себя под ногами, потом сказал с недоумением:

— Так вот вы, оказывается, какой! Пойдемте!

Они ушли в темную аллею. Никто не пошел вслед за ними. Гости сидели в креслах на террасе. Обгорали на свечах зеленые прозрачные мошки. На бульваре лихо позванивала карусель.

В аллее Гоголь остановился и повторил:

Как ночи Украйны,
В мерцании звезд незакатных,
Исполнены тайны
Слова ее уст ароматных...

Он схватил Лермонтова за руку и зашептал:

— «Ночи Украйны в мерцании звезд незакатных...» Боже мой, какая прелесть! Заклинаю вас: берегите свою юность.

Гоголь сел на скамью, вынул из кармана клетчатый платок и прижал его к лицу. Лермонтов молчал. Гоголь слабо махнул ему рукой, и Лермонтов, стараясь не шуметь, ушел в глубину сада, легко перелез через ограду и вернулся к себе.

За окном прогремели по булыжникам колеса, брякнул и замолк колокольчик под дугой, захрапели лошади; топоча сапогами, скатился по лестнице гостиничный слуга, знакомая девочка-нищенка пропела серебряным голоском «Барыня-красавица, подайте копеечку убогому слепцу-кавалеру», и гармоника споткнулась и затихла. Кто-то новый приехал в гостиницу.

Лермонтов встал с койки и подошел к окну.

Из запыленной коляски выходила, слегка подобрав дорожное платье, Мария Щербатова — высокая, тонкая, с бронзовым блеском в волосах.

Лермонтов отшатнулся от окна. Откуда она здесь, в этом заштатном городке? Так недавно еще он расстался с ней в Петербурге.

Любила ли она его? Он не знал. Вообще он не знал, любил ли его по-настоящему хоть кто-нибудь в жизни. Все привязанности кончались обманом. Наталья Иванова променяла его на проворовавшегося офицера, Лопухина вышла замуж за богача.

Как же Щербатова попала сюда? В Петербурге она ничего не говорила ему об этой поездке. Потом он вспомнил: городок этот лежал по пути на ее Украину. Какой все же славный городок! Там, в степях Заднепровья, выросла эта юная женщина с лазурными глазами.

Любила ли она его, он не знал. Но он, если бы мог, подарил ей всю землю. Вся теплота этой любви сосредоточилась в нем одном. Он берег ее, он жил с ней одиноко и счастливо.

Он был благодарен за это Щербатовой. Не важно, знала она об этом или нет. Достаточно того, что она жила и случай столкнул их на несхожих житейских дорогах.

Он позвал слугу и велел получше почистить мундир.

Мария Щербатова была здесь! Он слышал ее голос в пропахшем кислыми щами коридоре, шум ее платья, знакомые шаги, хлопанье рассохшихся дверей, свежий плеск воды в тазу, запах лавандовых духов. И наконец он услышал заглушенные слова, каких ждал с той минуты, когда увидел ее выходящей из коляски:

— Неужели Михаил Юрьевич здесь? Вот забавный случай! Тогда передай ему вот это.

«Вот это» было запиской, наспех набросанной на клочке бумаги. Ее принес слуга.

В записке было два слова:

«Приходите скорей!»

Никакие слова не казались ему такими зовущими и ласковыми, как два этих маленьких слова.

Марии Щербатовой тоже казалось, что впервые в жизни она написала такие удивительные и важные слова.

В них было все смятение ее любви, утаенной печали.

С детства она верила в счастливые неожиданности, ждала их, но ожидание это никогда не сбывалось. Ничего, кроме горечи, не приносило это ожидание. А вот сейчас — сбылось!

Еще там, в Петербурге, узнав о ссылке Лермонтова, Щербатова решила тотчас уехать к себе на Украину. Нет, еще бьется сердце, и она не променяла цветущие украинские степи на мертвую суету Петербурга. Он был не прав, когда упрекал ее в этом.

Она решила ехать. В глубине души, как исчезающий, неуловимый сон, жила надежда: может быть, она еще встретит его, догонит в пути Мало ли что случается в жизни Есть же такое утешительное слово — «наугад».

И вот — сбылось! Лермонтов здесь. И она должна решиться и сказать ему наконец, как он ей дорог. И потом плакать от нежности, от безнадежности добиться хотя бы недолгого счастья.

Она не могла объяснить себе многого. Сейчас ей хотелось запомнить на всю жизнь этот городок, гостиный двор с желтыми облупившимися сводами, голубей на базаре, зеленую вывеску трактира «Чай да сахар!», каждую щепку на горбатой мостовой.

— Я думаю совсем не о том, не о том! — шептала Щербатова, торопливо причесываясь перед темным гостиничным зеркалом.— Думаю о пустяках, а этот свободный для сердца день не повторится. Никогда! Что я скажу ему? Где? Нет, только не в этих «номерах»! Уйдем за город, к реке. Вон в ту рощу, где блестит на солнце покосившийся крест над часовней. Должно быть, там кладбище.

Но встреча, как это всегда бывает, получилась совсем не такой, как ожидала Щербатова.

Когда послышались шаги Лермонтова, Щербатова вышла в коридор, сбежала, задыхаясь, по лестнице и остановилась в воротах. В руке она держала за синюю шелковую ленту соломенную шляпу.

Они встретились у ворот, и Лермонтов, наклонившись, чтобы поцеловать ее руку, пропустил тот единственный миг, когда слеза блеснула в ее синих, как шелковая лента, глазах и тотчас исчезла.

И пошли они не в кладбищенскую рощу, а в городской запущенный сад. Там так громко трещали воробьи, что Лермонтов, усмехнувшись, заметил:

— Как будто на сотне сковородок жарят яичницу на украинском сале.

Щербатова слабо улыбнулась. Она поняла, что вряд ли скажет ему сейчас то, что хотела сказать минуту назад

Они все время уходили в сторону от единственно важного для них разговора.

Под горой в мутноватой воде кружились отражения облаков. И весь этот скромный весенний день казался Щербатовой тайным подарком. Он принадлежал только ей. Никто не знает, где она, с кем она сейчас. Сердце полно до краев. Пальцы вздрагивают, когда она прикасается к рукаву его грубого мундира. Прижать бы к груди эту милую голову, пригладить волосы...

Но этого тоже не случилось. Лермонтов, сгорбившись и застенчиво улыбаясь, заговорил о России, о том, что любит в ней как раз то, чего не любят другие. Вот все досадуют на разлив, а он готов прожить хоть месяц в этом городке и только то и делать, что смотреть на полую воду. Должно быть, все занимательно для нас, если душа открыта для самых простых впечатлений.

Он говорил с ней, как с другом, как с мужчиной. В его темных глазах появился влажный блеск.

Он расказал о слепом солдате и девочке-поводыре. Они весь день не выходили у него из головы.

— Михаил Юрьевич! — Щербатова положила пальцы на горячую руку Лермонтова.— Я догадываюсь обо всем, что вы можете думать обо мне. Но я не такая. Я выросла среди простонародья. Я бегала босиком по крапиве и пасла телят и гусей. До сих пор я не могу без слез слушать наши малороссийские песни. «Закувала та сыва зозуля раным-рано на зори». Вы понимаете? «Закуковала серая кукушка на ранней заре».

— Я понимаю,— ответил Лермонтов и начал чертить ножнами шашки по песку.

— Михаил Юрьевич! — сказала с отчаянием Щербатова.— Опять у вас тоска! Я не знаю, что сделать, чтобы ее не было.

— Все кончится,— спокойно ответил Лермонтов.— Мы украли у этого дурацкого света единственный день. Но все равно вы ничем не можете помочь мне. Просто вы не решитесь.

— Да, не решусь,— призналась Щербатова и опустила голову.

— Вы не виноваты,— сказал, успокаивая ее, Лермонтов.— Мне грустно оттого, что я вас люблю, и знаю, что за этот легкий день вам придется дорого рассчитаться. Мы

не скроемся. Здесь шайка петербургских офицеров. И среди них один. Я давно приметил его. Или, вернее, он давно преследует меня, как тень. Некий жандармский ротмистр с черной повязкой на глазу. Единственный, но зоркий глаз Бенкендорфа.

— Ну, вот,— Щербатова встала и протянула Лермонтову руки, как бы желая помочь ему подняться с низкой садовой скамейки.— Вы так просто сказали то, что я не решаюсь сказать сама.

Она слегка потянула его за руки. Лермонтов встал, и она, обняв его за плечи, поцеловала в губы, потом в глаза — поцеловала прямо, открыто, глядя в побледневшее лицо.

И опять все случилось не так, как она думала. Не было ни бурных слов, ни пылких признаний, ни клятв, а только разрывающая сердце нежность.

Слепой солдат зашел в ренсковый погребок и купил на весь полтинник, полученный от Лермонтова, казенного вина. Но он не стал его пить в погребке, а отнес на «квартиру» — солдат ночевал на окраине городка, в Слободке, в дальней кривой избе.

Хозяин избы, непутевый шорник, вдовец, увидев штоф с вином, засуетился, постлал на стол дырявое, но чистое рядно, насыпал в деревянную миску соленых желтых огурцов, достал краюху хлеба и солонку с красной, заржавевшей солью.

В избе было по-весеннему сыро. Пахло гнилой кожей. Изо рта валил пар.

Начали пить, отдуваясь, поминая святых угодников.

Девочка сидела на скамье, поджав босые ноги, и жевала корку. Тощая, только что окотившаяся кошка терлась о ноги девочки. Девочка чувствовала тепло кошачьей шкурки, смотрела на кошку прозрачными, пустыми глазами, потом отломила кусок корки и бросила кошке.

Кошка стала жадно грызть корку, как пойманную мышь,— урча, давясь и встряхивая ушами.

— Ишь ты,— сказал хозяин избы,— мамзель какая! Хлеб животному стравливает. Это, я считаю, безобразие.

Девочка ничего не ответила, а солдат закричал хозяину:

— Тысячи нас, солдат, сполняют царскую службу! Понимаешь ты это, серая твоя башка? На солдате государство стоит...

— То-то вас порют через каждого третьего,— заметил хозяин.— Ты лучше расскажи, откуда ты родом.

— А я и не помню! — бесшабашно ответил солдат.— Ей-богу, забыл. Одно помню: стояла мать под ракитой и крестилась на солнце, когда меня угоняли. Мать у меня была раскрасавица, прямо цыганка!

— Ну, бреши, утешайся,— согласился хозяин избы.— Куда ты только подаяние деваешь? У самого в брюхе щелк. И девочка у тебя засохла, насквозь светится.

— Она вроде немая,— ответил солдат.— Только милостыню за меня просит. А чтобы другое слово сказать, так этого за ней не водится. Катька! — крикнул он — Хочешь вина?

Девочка молча покачала головой, не спуская глаз с кошки.

— Слушай! — закричал солдат и стукнул желтой ладонью по столу.— Слушай мое объяснение, спворайдовский мужик! Меня сам командир за бой под Тарутином облобызал. Видишь, крест егорьевский! Перед ним встать следует, а не сидеть раскорякой. С тем крестом я могу во дворец беспрепятственно войти — часовые меня не тронут. Войти и сказать караульному генералу: «Доложи государю, такой-растакой сын, что старослужащий солдат желает ему представиться на предмет вспоможения». И генерал — ни-ни, не пикнет! Только забренчит орденами и побегит к царю докладать.

— Да ну! — притворно удивился хозяин избы.— Так-таки и побегит?

— Еще как! Мне вот офицер дал полтинник. Катька говорит — молодой офицер, чернявый. Это не каждому полтинник дают! Это, брат, заслужить надо. Я самого Кутузова видел. Полководца! Одноглазый генерал. Облик львиный. Скачет в дыму, знамена над ним шумят, «ура» катится до самой Москвы. И кричит он нам: «Ребята, умрем за отечество! Умрем, кричит, за отечество!»

Солдат сморщил лоб и заплакал. Плакал он молча, сидя навытяжку, придерживая на груди почернелый Георгиевский крест.

— Все герои, а пока что в дерьме преем,— вздохнул хозяин.— Ты лучше пей, кавалер. Солдат веселиться должен. По уставу.

— Видит бог, должен! — закричал солдат с натугой, лицо его начало чернеть, и он запел:

Ах ты сукин сын, камаринский мужик!

Солдат тяжело затопал ногами под столом.

Ты, видать, видать, к веселию привык!

— Дедушка,— испуганно сказала девочка и положила синеватые пальцы на набухшую узлами руку солдата.— Ты не пой: закашляешься.

— Полк, слуша-а-ай! — закричал солдат и тотчас закашлялся.

Кашлял он долго, навалившись грудью на стол, выпучив красные от удушья глаза. Хозяин избы жевал огурец и с любопытством смотрел на солдата.

— Чего ж ты сидишь? — сказал он наконец девочке.— Видишь, человек кончается. Паралик его разбирает.

Солдат упал головой на стол, захрипел и сполз, свалив лавку, на земляной пол. Кошка, прижав уши, отбежала с недоеденной коркой к холодной печке.

Девочка стала на колени около солдата, схватила его за голову.

— Дедушка! — закричала она.— Встань! Чего ж ты по полу валяешься? Худо тебе?

— Тихо! — прохрипел солдат.— Слушай мою команду. Офицер дал мне полтинник. Душа-офицер! Доложи ему: помер, мол, старослужащий солдат и кавалер Трифон Калугин с весельем, как полагается.

Ах ты сукин сын, камаринский мужик!

— Дедка! — звонко вскрикнула девочка, легла головой на грудь солдату и обхватила его плечи.

И должно быть, солдат почувствовал скудное и последнее для него тепло детских рук. Он задвигался и положил девочке на лицо тяжелую ладонь.

— Темно мне помирать,— сказал он.— Хоть бы солнышко вполглаза увидеть! Ты не кричи. Жизнь солдат-

ская — портянка. Снял и выкинул. Беги к офицеру, скажи... хоронить надо солдата по правилам службы.

Солдат дернулся и застыл. В наступившей тишине было слышно, как кошка догрызала хлебную корку и тяжело дышал хозяин избы.

— Вот тоже,— сказал он наконец,— навязались постояльцы на мой загривок. Погодь!

Он оттолкнул девочку и начал ловко шарить в карманах у солдата.

— Мошна-то глубока, да пуста,— зло бормотал он.— Голь перекатная! А вино пьют. Да еще угощают! Мне двугривенный полагается за постой.

Девочка вскочила. Хозяин качнулся, хотел схватить ее за подол, но девочка метнулась к порогу и, не оглядываясь, выбежала из избы.

Бывает такая внутренняя уверенность в себе, когда человек может сделать все.

Он может почти мгновенно написать такие стихи, что потомки будут повторять их несколько столетий.

Он может вместить в своем сознании все мысли и мечты мира, чтобы раздать их первым же встречным и ни на минуту не пожалеть об этом.

Он может увидеть и услышать волшебные вещи там, где их никто не замечает: серебряный пень в лунную ночь, звон воздуха, небо, похожее на старинную морскую карту. Он может придумать множество удивительных рассказов.

Примерно такое же состояние испытывал сейчас Лермонтов. Он был спокоен и счастлив. Но не только любовью Щербатовой. Разум говорил, что любовь может зачахнуть в разлуке. Он был счастлив своими мыслями, их силой, широтой, своими замыслами, всепроникающим присутствием поэзии.

Днем Лермонтов обошел со Щербатовой весь городок. Из сада они пошли посмотреть на разлив и узнали, что паром починят только завтра. Они долго сидели на теплых от солнца сосновых бревнах, наваленных на береговом песке. Щербатова рассказывала о своем детстве, о Днепре, о том, как у них в усадьбе оживали весной высохшие, старые ивы и выпускали из коры мягкие острые листочки.

Она увлеклась воспоминаниями. В голосе у нее появилось мягкое южное придыхание. Лермонтов любовался ею.

Они пообедали у известной в городке бригадирской вдовы-поварихи. Она накрыла стол в саду. Цвела яблоня. Лепестки падали на толстые ломти серого хлеба и в тарелки с крутым борщом. К чаю бригадирша подала тягучее вишневое варенье и сказала Лермонтову:

— Я его берегла для праздника. А вот сейчас не стерпела, выставила для вашей жены. Где это вы отыскали такую красавицу?

Щербатова вспыхнула слабым румянцем. Лермонтов впервые за этот день увидел слезу на глазах Щербатовой. Она незаметно смахнула ее мизинцем.

Он не узнавал ее. Она была прелестна в Петербурге, но куда сейчас девалась ее тамошняя сдержанность, снежная, почти мраморная красота и горделивость движений? Сейчас перед ним была простая, ласковая женщина, и тайная радость, что она переменилась так внезапно ради него, не покидала Лермонтова.

Только к вечеру они вернулись в «помера». Огромное солнце склонялось к разливу.

Из большой комнаты в «номерах», занятой офицерами, доносились то дружный хохот, то рыдающие стоны гитары и нестройное пение:

Коперник весь свой век трудился,
Чтоб доказать Земли вращенье.
Дурак, зачем он не напился,—
Тогда бы не было сомненья!

Под стеной «номеров» сидела на земле, обхватив руками колени и положив на них голову, знакомая нищенка. Она, казалось, спала. Лермонтов остановился.

— Почему ты одна? — спросил он.— Где солдат?

Девочка подняла голову, но не встала.

— Где солдат? — повторил Лермонтов.

— На Слободке. Лежит в хате.

— Что с ним?

— А он помер. Как почернел, так и свалился под лавку. А меня к вам послал.

— Зачем?

— А я не знаю,— шепотом ответила девочка, и лицо у нее задрожало.— Велел добежать до вас, а я не дослушала.

— Испугалась?

— Ага! — еще тише ответила девочка.

Щербатова вскинула на Лермонтова глаза. Лицо его стало суровым и нежным Она ни разу не видела у него такого лица. Легкая боль кольнула ей сердце.

— Я не знала, что вы так чувствительны.

Лермонтов пристально взглянул на нее.

— Я не люблю благодеяний,— сказал он, чуть сердясь.— Все это вздор! Но со вчерашнего дня мне все кажется, что я отвечаю за эту детскую жизнь

Слуга Лермонтова, по своему обыкновению, лежал на подоконнике и, сощурив глаза, смотрел на улицу. Он явно показывал проходящим, что нестерпимо скучает в этой серой провинции. Лермонтов резко окликнул его и приказал накормить девочку.

Когда Лермонтов проходил со Щербатовой по тесному коридору «номеров», дверь из офицерской комнаты распахнулась. Из нее высунулся жандармский ротмистр с черной повязкой на глазу. Увидев Лермонтова, он тотчас захлопнул дверь.

— Извините, мне надобно отлучиться,— сказал Лермонтов Щербатовой, поклонился и быстро открыл дверь в офицерскую комнату.

Шум за дверью оборвался.

Щербатова пошла к себе, но в комнату не вошла, а остановилась у дверей. Она была оскорблена внезапным уходом Лермонтова.

«Господи! — сказала она про себя. Дорога каждая минута, а он теряет время на карты. Что это значит?!»

Тяжелая боль сжала ей грудь. В одно это мгновение она поняла, что даже короткая разлука приводит ее в отчаяние. Что же будет завтра, когда придется расставаться надолго, может быть, навсегда?

Небо за окном в конце коридора становилось все зеленее. День быстро угасал. На смену ему шла тишина ночи со слабым заревом звезд.

Если бы можно было остановить медленный ход ночи над этим глухим уголком России! Остановить, чтобы никогда не наступал завтрашний день...

Офицеры играли и пили вторые сутки.

Лермонтов вошел, не постучавшись. Он уронил на пороге белоснежный носовой платок и так ловко и незаметно поднял его, что кое-кто из офицеров подумал:

«Да, с этим разжалованным гусаром лучше не связываться. Бьет, как пить дать, в пикового туза пулей в пулю».

Жандармский ротмистр с черной повязкой на глазу встал и вышел в соседнюю комнату. Лермонтов посмотрел ему в спину. Одноглазый! А может быть, нарочно завязал глаз для нечистой игры.

Офицеры замолкли. По их напряженным лицам Лермонтов догадался, что они только что говорили о нем и Щербатовой. Нижняя губа у него дернулась, но усилием воли он сдержал нервную дрожь, кивнул всем и сказал:

— Жаль, что так поспешно ушел господин ротмистр. Мне бы надобно сразиться именно с ним.

Жандармский ротмистр быстро открыл дверь из соседней комнаты и остановился на пороге.

— Я к вашим услугам,— сказал он добродушно и слегка поклонился.— Всегда рад сразиться с прославленным русским поэтом.

— Насколько я знаю,— спокойно ответил Лермонтов,— вы играете только втемную. Ну что ж, сыграем и втемную.

Ротмистр деланно засмеялся и подошел к столу. Глаз его прищурился от злобы.

— Играю на тысячу,— сказал Лермонтов.— Не больше. Без отыгрыша. После выигрыша тотчас уйду. Идет?

Ротмистр кивнул.

— Идет! — ответил за него банкомет, белобрысый драгунский капитан.— Остановка за малым — за выигрышем. А я, признаться, думал, что вам сейчас не до игры, господин Лермонтов.

— Мысли ваши держите в кармане рейтуз,— резко ответил Лермонтов.

— Ежели бы вы не ехали на Кавказ, под пули...— сказал, краснея, банкомет и осекся.

Лермонтов смотрел на него выжидательно и спокойно.

— То что бы случилось, позвольте узнать? — спросил он с вежливым любопытством.

— Да так... ничего,— пробормотал банкомет.

Ротмистр кивнул и бросил на стол пачку ассигнаций.

Лермонтов тоже вынул деньги.

— Здесь тысяча,— сказал он.— Иду на все!

— Вы об этом уже изволили докладывать. Вот ваша карта.

Офицеры столпились у расшатанного стола. Хмель сразу слетел с них. Всем было ясно, что Лермонтов играет неспроста. Не такой уж мальчик уродился, чтобы чего-нибудь не выкинуть. Только совсем юный и пьяный до беспомощности чиновник прокричал:

Вам не видать таких сражений!

— Замолчите! — ласково сказал ему Лермонтов.

Чиновник всхлипнул и затих. Лермонтов быстро открыл карты.

— Ваша тысяча! — сказал банкомет с наигранным равнодушием.

— Посмотрим, как вы отыграетесь,— сказал Лермонтов ротмистру, взял деньги, засунул их, не считая, в карман, кивнул и вышел.

С этой минуты Лермонтов с полной ясностью понял, что ротмистр послан следить за ним.

— Индюк! — зло сказал ротмистр банкомету. Тот удивленно моргнул красными от бессонницы веками.— Тюфяк! — повторил ротмистр.— Пропустил такой случай расквитаться с этим наглецом! Он же лез на ссору, а ты вильнул и скис. «Да так... ничего...» — передразнил он банкомета.

— От такого и тремя откупишься,— пробормотал конопатый пехотный капитан.— По всем повадкам видно — головорез!

Тогда вдруг зашумел чиновник.

— Стреляться с Лермонтовым? — закричал он.— Не допущу! Извольте взять свои слова обратно!

— Проспитесь сначала, фитюк! — брезгливо ответил ротмистр.

А банкомет еще долго сидел, недоумевая, и моргал красными веками, пока двое драгун не взяли его под руки и не уложили на рваный, стреляющий пружинами диван.

После выигрыша Лермонтов пошел на Слободку.

К себе в «номера» он вернулся поздним вечером. Девочки в комнате не было. Слуга сидел у стола и лениво отковыривал ногтем воск на чадящей свече.

От внезапного тяжелого гнева у Лермонтова заныл затылок. Припадки такого гнева случались с ним все чаще. Последний раз так было на маскараде в Благород-

ном собрании, когда великая княжна игриво ударила его веером по руке и сказала, что хочет причислить поэта к своим приближенным. Он не сдержался, сказал княжне дерзость. Но тогда этот гнев был понятен.

Но почему гнев вспыхнул сейчас? Он не мог разобраться в этом. Может быть, потому, что в комнате не оказалось девочки, а может быть, от сонной и, как ему показалось, насмешливой рожи слуги.

— Подай мне мокрое полотенце,— хрипло сказал Лермонтов.— Свеча чадит, а ты сидишь как истукан. Где девочка?

Слуга начал мочить полотенце под медным рукомойником.

— Пить бы вам надо поменьше,— сказал он наставительно.

— Где девочка? — повторил Лермонтов, и голос его зазвенел.

— Кабы вы приказали мне ее караулить...— обиженно начал слуга, но Лермонтов не дал ему окончить.

— Где?! — крикнул он, и слуга отшатнулся, увидев его взбешенные глаза.

— Княгиня сюда заходили и увели ее к себе,— скороговоркой пробормотал слуга.— Что ж я, силком ее, что ли, буду держать, христарадницу эту!

Лермонтов вырвал из рук слуги полотенце, обвязал им голову.

— Ступай к себе,— сказал он, сдерживаясь.— И собирайся в дорогу. Завтра поедешь в Тарханы. К черту!

— Это как же? — спросил, прищурившись, слуга.

— Ступа-а-ай! — повторил Лермонтов так протяжно и яростно, что слуга, сжавшись, выскочил в коридор.

За дверью он перекрестился. «И впрямь лучше поеду,— подумал он.— А то еще убьет. Ей-богу, убьет. Смотри, какой бешеный!»

Лермонтов сел к окну, оперся локтями о подоконник и сжал ладонями голову.

Ночная прохлада лилась в окно из зарослей черемухи, будто черемуха весь день прятала эту прохладу в своих ветвях и только ночью отпускала ее на волю. Низко в небе вздрагивал огонь звезды.

«Надо пойти к Щербатовой,— думал Лермонтов.— Но можно ли? Там камеристка. Да все равно ничего не удержишь в тайне. Зачем случилась эта встреча? Опять

пришла тоска, дурные предчувствия». Он привык к одиночеству. Иногда он даже бравировал им: «Некому руку подать в минуту душевной невзгоды». Но вот сейчас и невзгода, и есть кому руку подать, а тоска растет, как лавина, вот-вот раздавит сердце.

Никогда ему не хотелось ни о ком заботиться. А вот теперь...

У него, как и у этой девочки, не было ни матери, ни отца. Сиротство роднило их, прославленного поэта и запуганную нищенку. Он думал, усмехаясь над собой, что, должно быть, поэтому он так обеспокоен ее судьбой.

Он смутно помнил свою мать,— вернее, ему казалось, что помнил,— ее голос, теплые слабые руки, ее пение. Думая о ней, он написал стихи о звуках небес, о том, что их не могли заменить скучные земные песни.

За окном стучал в колотушку сторож. И как люди считают, сколько раз прокуковала кукушка, чтобы узнать, долго ли им осталось жить, так он начал считать удары колотушки. Выходило каждый раз по-иному: то три года, то девять, а то и все двадцать лет. Двадцати лет, ему, пожалуй, хватит.

За спиной Лермонтова открылась дверь. Сквозной ветер согнул пламя свечи.

— Опять ты здесь,— сказал устало Лермонтов.— Я же говорил, чтобы ты оставил меня в покое.

Теплые руки обняли Лермонтова за голову, горячее лицо Щербатовой прижалось к его лицу, и он почувствовал у себя на щеке ее слезы.

Она плакала безмолвно, навзрыд, цепляясь за его плечи побелевшими пальцами. Лермонтов обнял ее.

— Радость моя! — сказала она.— Серденько мое! Что же делать! Что делать!

Оттого, что в этот горький час она сказала, как в детстве, украинские ласковые слова, Лермонтов внезапно понял всю силу ее любви

Что делать, он не знал. Неужели смириться? Жизнь взяла его в такую ловушку, что он не в силах был вырваться. Внезапная мысль, что его может спасти только всеобщая любовь, что он должен отдать себя под защиту народа, мелькнула в его сознании. Но он тотчас прогнал ее и засмеялся. Глупец! Что он сделал для того, чтобы заслужить всенародное признание? Путь к великому на-

значению поэта так бесконечно труден и долог — ему не дойти!

— Мария,— сказал он, и голос его дрогнул,— если бы вы только знали, как мне хочется жить! Как мне нужно жить, Машенька!

Она прижала его голову к груди. Он впервые за последние годы заплакал — тяжело, скупо, задыхаясь в легком шелку ее платья, не стыдясь своих слез.

— Ну что ты? Что ты, солнце, радость моя? — шептала Щербатова.

Лермонтов сжал зубы и сдержался. Но долго еще он не мог вздохнуть всей грудью.

— Пойдем сейчас ко мне,— шептала Щербатова.— Я покажу тебе девочку. Она спит. Я вымыла ее, расчесала. Я возьму ее к себе.

— Хорошо,— сказал он.— Иди. Я сейчас умоюсь и приду.

— Только скорее, милый.

Она незаметно вышла. Лермонтов умываться не стал. Он сел к столу и быстро начал писать:

Мне грустно, потому что я тебя люблю,
И знаю: молодость цветущую твою
Не пощадит молвы коварное гоненье.

Он встал, спрятал стихи за обшлаг мундира, задул свечу и вышел.

Глухая ночь проходила неведомо куда над городком, над черными полями и разливом. И лениво, как бы засыпая, ударил один раз в колотушку ночной сторож.

Рано утром Лермонтов снова ушел на Слободку и вернулся только к полудню Перед уходом он послал записку Щербатовой. Она была написана по-французски:

«Я обязан сегодня отдать последний долг солдату. Если у вас есть черное платье, то, прошу вас, наденьте его. Я зайду за вами и за девочкой».

Щербатова достала простое черное платье и торопливо переоделась.

Лермонтов пришел сдержанный, молчаливый, и они втроем пошли на Слободку.

Солдат лежал в пеструганом гробу на столе, прибранный, покрытый рваным рядном. Он как бы прислушивался, дожидаясь утренней побудки, пения полковой трубы.

Высокая старуха читала псалтырь, проглатывая сло-

ва, точно боясь, что ее остановят. По столу около гроба суетливо бегали рыжие тараканы. Старуха смахивала их ладонью.

Хозяин избы, уже успевший опохмелиться на полученную от Лермонтова трешку, не то плакал, не то кряхтел, стоя в углу и вытирая лицо ситцевым рукавом.

Пришел рыжий веселый священник с дряхлым дьячком, надел через голову старую ризу, выпростал жирные волосы, вытер лицо коричневым платком, попробовал голос и начал отпевание.

Щербатова стояла, опустив голову. Воск капал ей на пальцы с тонкой, согнувшейся свечи. Но она не замечала этого. Она думала о бездомном солдате, о своей нарядной и утомительной жизни в Петербурге и вдруг удивилась: зачем ей эта жизнь? И зачем ради нее она должна отказаться от любви, от радости, от веселья, даже от того, чтобы пробежать босиком по мокрой траве? Она думала о Лермонтове. Их родственная и светлая близость не может пройти никогда. Она думала обо всем этом, и ей казалось, что она молится за солдата, за Лермонтова, за свою самую печальную на свете любовь.

Девочка, одетая в серенькое, наспех подшитое на ней платье, смотрела, не мигая, за окно.

За окно смотрел и Лермонтов. Там сияла последняя для солдата весна. Легкий сквозняк уносил дым ладана. Небо и деревья светились сквозь этот дым тусклой позолотой.

«Может быть, это и моя последняя весна»,— подумал Лермонтов, но тотчас начал торопливо думать о другом — о Щербатовой, о том, что уже починили, должно быть, паром и через несколько часов он расстанется с ней.

— Кутузовский кавалер! — вздыхал позади хозяин.— Царствие ему небесное, вечный спокой!

Лермонтов улыбнулся. Щербатова с тревогой подняла на него глаза. Со времени встречи в городке малейшее его душевное движение тотчас передавалось ей. А он подумал, что вот эти слова будут когда-нибудь петь и над ним. Петь о вечном покое над человеком, созданным для вечного непокоя. Ну что ж, тогда ему будет все равно!

Кладбище оказалось в той маленькой роще за городом, где Щербатова хотела встретиться с Лермонтовым. Дымные тени от недавно распустившихся берез шевелились под ногами.

Хозяин избы подошел к гробу с молотком и гвоздями, чтобы заколотить крышку. Гвозди он держал во рту. Лермонтов отстранил его, наклонился и поцеловал бугристую руку солдата. Смуглое лицо его побледнело.

Щербатова опустилась на колени перед гробом, тоже поцеловала холодную солдатскую руку и подумала, что никогда она не забудет об этом дне.

Не забудет о шуме ветра в березах, застенчивом солнечном тепле, дрожащих губах девочки, голосе Лермонтова, о каждом сказанном им слове, об этих двух днях, что останутся в памяти, как святая святых,— коротких днях, затерянных среди тысячи других дней в потоке времени.

Все неподвижно смотрели, как сырая земля сыпалась на крышку гроба. Щербатова взяла руку Лермонтова и незаметно и нежно поцеловала ее. За все: за прошлые его страдания, за погибшую молодость, за счастье жить с ним под одним небом.

Щербатова сидела в коляске, закрыв глаза, закутав голову. Она сослалась на нездоровье, чтобы ее не тревожили.

После разлуки с Лермонтовым она не могла смотреть ни на степь, ни на людей, ни на попутные села и города. Они как бы заслоняли воспоминание о нем, тогда как все ее сердце принадлежало только ему. Все, что не было связано с ним, могло бы совсем не существовать на свете.

С детских лет она слышала разговоры, что любовь умирает в разлуке. Какая ложь! Только в разлуке бережешь, как драгоценность, каждую малость, если к ней прикасался любимый.

Вот и сейчас к подножке коляски прилип листок тополя. Когда Лермонтов, прощаясь со Щербатовой, вскочил на подножку, он наступил на него.

Щербатова смотрела на этот трепещущий от ветра жалкий лист и боялась, что его оторвет и унесет в поле. Но он не улетал. Лист оторвался и улетел только на третий день к вечеру, когда из-за днепровских круч ударил в лицо грозовой ветер и молнии, обгоняя друг друга, начали бить в почерневшую воду.

Гроза волокла над землей грохочущий дым и ликовала, захлестывая поля потоками серой воды.

Кучер повернул к видневшейся вдалеке деревне. Испуганные кони скакали, прижав уши, храпя, косясь на раскаты грозы, обгонявшие коляску то справа, то слева.

Щербатова привстала, сбросила шаль. Тополевого листка на подножке не было.

Гром расколол над головою небо.

«Зачем я не бросила все,— подумала с тоской Щербатова,— и не поехала с ним на Кавказ?»

Ничего не нужно сейчас — ни покоя, ни прочности в жизни. Только бы увидеть его, взять за руки. И знать, что он здесь, рядом, и что никакая сила в мире не сможет теперь оторвать их друг от друга.

Девочка испугалась грозы. Щербатова обняла ее, прижала к себе и тогда только заметила, что девочка плачет.

— О ком ты плачешь? — спросила Щербатова порывисто.— О ком?

Девочка только затрясла головой и крепче прижалась к Щербатовой.

Гроза несла над ними на юг, к Кавказу, обрывки разодранного в клочья неба. И старик-украинец в накинутой на голову свитке торопливо отворял перед взмыленными лошадьми скрипучий плетень и говорил:

— В такую грозу разве мыслимо ехать! Убьет и размечет. Заходите скорийше до хаты.

Опять задержка. Но теперь не из за поломанного парома, а из-за грозы. Она долго кружила над ночной степью в полыхании синего небесного огня. Серебряная путаница сухих стеблей и колосистых трав вдруг возникала во мраке по сторонам степного шляха и тотчас гасла, чтобы через мгновение вспыхнуть снова с нестерпимой, пугающей яркостью.

Каждый раз при вспышке молнии Лермонтов видел ее вороватый отблеск на эфесе своей шашки и на медной бляхе на спине ямщика. И каждый раз появлялась и снова тонула в кромешном мраке припавшая к широким балкам степная станица. Она как бы прилегла к земле, спасаясь от грозы.

В одной из хат Лермонтов остановился переждать грозу. Он думал назавтра ехать дальше, но черноземные

дороги превратились от ливня в озера липкой грязи. Надо было дождаться, пока они немного просохнут.

Хата была ветхая. На жердях под потолком висели пучки пересохшей полыни. Жили в хате старуха Христина, промышлявшая знахарством и гаданием, и ее муж, сельский скрипач Захар Тарасович. Он играл на крестинах и свадьбах. Скрипочка у него была совсем детская, высохшая от старости, как пучки полыни под потолком. И такая же легкая, как эти пучки.

Лермонтов прожил в станице два дня. Все время напролет он писал. Слугу он отправил в Тарханы, и никто не мешал ему, не приставал с разговорами.

Мысли были ясные, как безоблачная ночь. На душе было легко от этих мыслей и от ощущения, что все вокруг подвластно поэзии. Разлука со Щербатовой, воспоминания, тоска по юной любящей женщине — все это помогало Лермонтову писать. Он с грустью думал, что в сердце поэта, кажется, нет большей привязанности, чем привязанность к поющей строфе.

В последний вечер перед отъездом из станицы Захар Тарасович зазвал Лермонтова с собой на свадьбу.

Лермонтов согласился. В этот вечер ему не хотелось оставаться одному. Он был встревожен, и его тянуло к людям. Днем он видел, как ротмистр с черной повязкой на глазу вошел в хату, где жила молодая шинкарка. Опять этот ротмистр вьется около него.

На свадьбе Лермонтов сидел в углу на темной от времени лавке. Девушки в венках из бумажных цветов искоса поглядывали на него, опускали глаза и заливались румянцем. Сваты, повязанные вышитыми рушниками, степенно пили пшеничную водку и закусывали розовым салом и квашеной капустой.

Девушки тихо пели:

Ой, в Ерусалиме
Рано зазвонили.
Молода дивчина
Сына спородыла.

Невеста украдкой вытирала слезы, а Захар Тарасович подыгрывал девушкам на скрипке.

В полночь Лермонтов попрощался с хозяевами и вышел. Звезды медленно роились над головой. Ночь была южная, непроглядная. Из степи тянуло чабрецом.

Невдалеке от своей хаты Лермонтов столкнулся с пьяным. Пьяный молча загородил Лермонтову дорогу. Лермонтов сделал шаг в сторону, чтобы обойти его, но пьяный засмеялся и снова загородил дорогу.

— Ты со мной не шути, приятель,— сказал, сдерживая гнев, Лермонтов.— Дай мне пройти.

— Куда? — тихо спросил пьяный и крепко схватил Лермонтова за руку.

Лермонтов вырвался. Ни пистолета, ни шашки при нем не было.

— Долго ты у меня не находишься,— сказал со смешком пьяный.

Лермонтов с силой оттолкнул его и тут только заметил, что от пьяного не пахнет водкой.

Лермонтов пошел к своей избе. Сзади было тихо. Лермонтов оглянулся, и в то же мгновение сверкнул тусклый огонь из пистолетного дула, и пуля, подвывая, прошла около плеча и ударила в стену хаты. Посыпалась сухая белая глина.

Лермонтов в ярости бросился назад. Но там уже никого не было. Только брехали по всей станице собаки, встревоженные ночным выстрелом.

Лермонтов вернулся в хату, зажег свечу и при ее свете заметил, что левый погон у него оторван. Он потрогал плечо. Оно чуть болело.

Бабка лежала на печке.

— Вот клятый иуда! — сказала она.— Злодий, чтобы добра ему не было! Не поранил он вас?

— Нет. А откуда ты знаешь, что это в меня стреляли?

— Да так... ниоткуда,— ответила бабка.— Свечку лучше задуйте да отойдите от окна. А то он упорный.

— Кто это «он»?

— А кто ж его знает,— неохотно ответила бабка.— Он всего третий год как приехал до нашей станицы. За карбованец любого подпалит, а за два карбованца — так и до смерти забьет. Он кат, палач, людей вешал. Свое отслужил, так начальство и заховало его к нам в станицу, в скрытность.

Лермонтов зарядил пистолет, погасил свечу, лег на лавку и укрылся буркой.

Он думал, что год назад ни за что бы не погасил свечу, а наоборот, сел бы при свете к окну, чтобы бро-

сить вызов судьбе. А сейчас он берег каждый час своей жизни.

Сейчас он не имеет права играть собой. Он отвечал за все, еще не свершенное им, за каждое будущее слово, за каждую будущую строфу. Перед кем? Перед людьми, перед своей совестью, перед поэзией. Нечего играть в прятки. Порой он сам восхищался тем, что создал, но, конечно, никому не сознавался в этом. Разве он не написал слова, что «звезда с звездою говорит»? Ради этого стоило погасить свечу и лежать тихо, прислушиваясь, трогая время от времени теплую сталь пистолета.

— Ну что ж, пока вам еще не удалось отыграться, господин ротмистр,— сказал вслух Лермонтов.

Он задремал. Сквозь дремоту он ощущал легкий, даже легчайший ветер на лице. Щербатова вошла в избу, оставила открытой скрипучую дверь, и звездный свет сиял за дверью, как синяя глубокая заря. И свежесть ночи, огромная успокоительная свежесть, собравшая весь холод родников, что журчат повсюду по степным балкам, прикоснулась к его лицу. От этого прикосновения ночной прохлады губы Щербатовой, припикшие сквозь сон к его глазам, показались такими горячими, будто солнечный луч каким-то чудом прорвался сквозь ночь и упал на лицо Лермонтова.

Лермонтов проснулся. Сердце билось медленно. На печке Христина шепталась с Захаром Тарасовичем, вернувшимся со свадьбы,— рассказывала ему о ночном происшествии с Лермонтовым.

Лермонтов пролежал с закрытыми глазами до рассвета. Он лежал один в крошечной хате, затерянной в широкой степи под неохватным небом, лежал, укрывшись буркой.

Он вспомнил, как девочка-нищенка на кладбище обняла плечи солдата худыми руками и на мгновение прижалась к его груди. Что бы он дал теперь, чтобы почувствовать на себе эту детскую ласку!

— Нет, не успеть! — сказал он и покачал головой.

Было слышно, как где-то, должно быть в соседней хате, плакал ребенок. Этот слабый звук наполнял ночь живым ощущением горя. Что делать, чтобы прошло это сиротство, одиночество?

Лермонтов сел на лавке. Старики на печке зашевелились и затихли. Не зажигая свечи, Лермонтов начал писать карандашом на обертке от табака:

Не смейся над моей пророческой тоскою;
Я знал: удар судьбы меня не обойдет;
Я знал, что голова, любимая тобою,
С твоей груди на плаху перейдет;
Я говорил тебе: ни счастия, ни славы
Мне в мире не найти; настанет час кровавый,
И я паду...

А потом были длинные жаркие месяцы, ветер с невысоких гор под Ставрополем, пахнущий бессмертниками, серебряный венец Кавказских гор, схватки у лесных завалов с чеченцами, визг пуль. Пятигорск, чужие люди, с которыми надо было держать себя, как с друзьями. И снова мимолетный Петербург и Кавказ, желтые вершины Дагестана и тот же любимый и спасительный Пятигорск. Короткий покой, широкие замыслы и стихи, легкие и взлетающие к небу, как облака над вершинами гор. И дуэль. И последнее, что он заметил на земле,— одновременно с выстрелом Мартынова ему почудился второй выстрел, из кустов под обрывом, над которым он стоял.

Кавказ сотрясался от раскатов грома. Лермонтов упал. Тотчас, вся в летнем прозрачном солнце, склонилась над ним Мария Щербатова, и он сказал ей:

— Не плачьте. Я видел смерть. Значит, я буду жить вечно. На мне они не отыграются.

Гром не затихал в теснинах Кавказа. Это было 27 июля 1841 года — сто одиннадцать лет назад.

1952

Примечания

Произведения, составляющие настоящий том, создавались на протяжении без малого четверти века. «Жизнь Шарля Лонсевиля» была опубликована в 1933 году, через год после появления «Кара-Бугаза», ставшего как бы стартом профессионального самоутверждения Паустовского, в то время как увидевшая свет в 1955 году «Золотая роза» в известной мере подводила итоги многолетним размышлениям писателя о назначении художника и о природе искусства.

Эпоха, в какую возникли эти произведения, была насыщена крупнейшими социально-историческими потрясениями. Они не могли не отразиться на всем, что выходило в эти годы из-под пера Паустовского. Если, к примеру, «Созвездие Гончих Псов» пронизывало предчувствие надвигающейся военной грозы, тревожные раскаты которой слышались в известиях о боях в Испании, то «Повесть о лесах» поведала о невосполнимых потерях, какие только что окончившаяся Великая Отечественная война оставила в жизни нашей страны.

В основе вошедших в том произведений лежит многоликий жизненный материал. Тематически том составляют три независимых друг от друга раздела: повествования о месте природы в жизни человека и роли человека в жизни природы («Мещорская сторона», «Повесть о лесах»); исторические рассказы, воспроизводящие ключевые эпизоды близкого и отдаленного прошлого («Озерный фронт», «Судьба Шарля Лонсевиля»); жизнеописания людей искусства и науки («Орест Кипренский», «Исаак Левитан», «Тарас Шевченко», «Разливы рек», «Созвездие Гончих Псов» и как бы обобщающая их «Золотая роза»).

Неоднороден том и в жанровом отношении. К сюжетной повести, родственной по своей структуре роману («Повесть о лесах»), примыкают нечто вроде эссеистического цикла новелл («Золотая роза») и вещи, которые названы «маленькими повестями». Под

этой рубрикой Паустовский включал их в собрания своих сочинений. Такое обозначение во многом условно. Только с большой натяжкой можно отнести к одному литературному жанру такие несхожие меж собой произведения, как идущая по пятам фактов «Мещорская сторона», в каждой подробности которой ощутимо присутствие автора, ведущего рассказ от первого лица, и беллетризированное повествование «Разливы рек», где поведение и поступки не вымышленных, а реальных исторических фигур преображены фантазией их создателя.

И все же, несмотря на внешнюю пестроту произведений, составляющих настоящий том, они далеко не случайно оказались под одной обложкой. Тематические и жанровые отличия не могут заслонить их внутреннего родства. В самых что ни на есть злободневных вещах возникают образы и картины прошлого, равно как исторические произведения, отдаленные от современности десятилетиями или веком, перекликаются с сегодняшними проблемами и тревогами. Что и говорить, в жизнеописании Левитана перед Паустовским вставали другие художественные задачи, чем в очерковой повести о затерявшемся в средней полосе России лесном и луговом Мещорском крае, но не что иное, как тесное общение с природой этого края помогло писателю по достоинству оценить скрытое напряжение пейзажных полотен русского живописца, точно так же как пристальное внимание к этим полотнам дало ему возможность открыть в будничном и примелькавшемся ландшафте притягательные черты, которые прежде укрывались от его взора. Показательно, что в повести о лесах читатель встречается с людьми искусства, композитором и писателем, а на заключительных страницах книги о слагаемых писательского ремесла появляется проникновенное описание леса.

Узы кровного родства объединяют произведения этого тома, обращенные к разным сторонам действительности, написанные под воздействием различных побуждений и импульсов, но единые в своем отношении к миру и человеку. Пафос познания, культуры, творчества делает эти произведения близкими друг другу.

Узнаванию того, что рядом с нами и вокруг нас, что лежит под рукой, мимо чего мы равнодушно и лениво проходим, не задумываясь, обедняя свое духовное существование, посвящена повесть о Мещоре. Поэзия изучения состоит, по мысли Паустовского, в том, что мир, казавшийся нам однообразным и серым, наполняется живыми и значимыми подробностями, зыбкие и туманные впечатления сменяются достоверными и точными сведениями. Сознательно любить можно только то, что знаешь. Полюбить Мещорский край, постичь таящуюся в нем прелесть, прочно привязаться к

нему — это и значит узнать его. И тогда «этот край делается все богаче, разнообразнее, милее сердцу. И, наконец, наступает время, когда каждая ива над заглохшей рекой кажется своей, очень знакомой, когда о ней можно рассказывать удивительные истории».

Стефан Цвейг, воспевший немало героических подвигов, сокрушался: «Двадцатый век взирает на мир, лишенный тайн». И утверждал: «Пытливая мысль в поисках новых путей уже принуждена спускаться к причудливым тварям морских глубин или возноситься в бескрайние просторы неба. Нехожеными остались лишь воздушные дороги, но уже взмывают в поднебесье, обгоняя друг друга, стальные птицы, устремленные к новым высям, новым далям, ибо решены все загадки и почва земного любопытства истощилась».

Паустовский ведет скрытую полемику с такого рода позицией. Нет, не иссякла почва земного любопытства и не все еще загадки решены. Пытливой человеческой мысли есть что делать не только в морских глубинах и в бескрайних просторах неба.

«Повесть о лесах» написана в 1948 году, прежде всего о том времени, в какое она увидела свет. Позади осталась война. Но все еще носило ее следы. На большой территории леса были выжжены, дома превращены в руины. Люди ютились в землянках, в хибарах, в снятых с рельсов и вкопанных в землю железнодорожных вагонах. Надо было строить жилье. В огромных размерах. Для этого нужен был лес. Засуха сорок шестого года погубила урожай, которого с нетерпеливой надеждой ждала изголодавшаяся страна. Это случилось в конечном счете потому, что за полвека до этого бездушные руки вырубили водоохранный лес. Об урожае и о лесе думала страна. Эта практическая проблематика составляла первый план повести Паустовского и придавала ей в пору первой публикации злободневное звучание. Но есть в повести и второй план, раздвигающий ее границы, благодаря чему она читается с живым интересом и сегодня.

Лес— арена, на которой сталкиваются, с одной стороны, безрассудное варварство, хищничество, жестокость, с другой—подлинная культура, творчество, человечность. Лес — это и нечто сугубо практическое, имеющее прикладное хозяйственное значение. И нечто символическое. Сажая лес, человек меньше всего озабочен мимолетными и преходящими выгодами для себя. Он думает о потомках. О тех, кто, говоря словами Пушкина, увидит «могучий поздний возраст» деревьев. Думает о том, какую память он по себе оставит — о смысле своей жизни. Сажая лес, человек чувствует себя необходимым звеном в движущейся цепи поколений. Свою нерасторжимую связь с теми, кто был до него, и с теми,

кто идет ему на смену. Подлинная культура — это ответственность за настоящее и будущее человечества. Это твердое сознание, что мы продолжаем дело своих предшественников, которые позволили нам стать тем, кем мы стали. В утверждении этой мысли — главный нерв «Повести о лесах».

Тема искусства, рано войдя в творчество Паустовского, никогда не сходила со страниц его повестей и рассказов. Размышлениями о литературе, о судьбе писателя и его ответственности перед своим талантом поглощены Максимов в «Романтиках», Берг в «Блистающих облаках», Гарт в «Черном море». Поэзии и живописи посвящены биографические повести о Шевченко и Лермонтове, Кипренском и Левитане. В этих произведениях о людях искусства автор скрыт за героями. Он не вмешивается в повествование, а последовательно излагает события. Но вместе с тем Паустовский не стремится создавать объективные исторические характеры. Созданные им образы поэтов и художников очень субъективны. Они показаны такими, какими видит их автор, выделяющий в их биографиях то, что ему созвучно. В этих повестях рассыпаны мысли и наблюдения о секретах творчества, но, подчиненные в каждом отдельном случае конкретному замыслу, они неизбежно носят разрозненный и отрывочный характер. Настоятельной потребностью собрать эти мысли и наблюдения воедино, осмыслить свой опыт и поделиться им с читателем была рождена «Золотая роза».

В этой книге о писательском труде рассматриваются лишь те стороны литературного труда, которые подсказаны творческой практикой ее автора. Поэтому в ней мимоходом и в самых общих чертах говорится о сюжете и композиции многопланового романа — о проблемах, с которыми Паустовский почти не сталкивался в своей работе. В «Золотой розе» обстоятельно исследуются вопросы языка и стиля, взаимодействие смежных искусств и особенно влияние живописи и поэзии на прозу — все то, что постоянно стояло в центре внимания К. Паустовского. Из литературы — классической и современной — писатель берет только то, что ему близко и дает возможность резче оттенить свои взгляды. Если он обращается к Чехову или Мопассану, то не стремится воссоздать их характер и написать их портрет, а ограничивается своим, «паустовским», восприятием этих писателей. В силу этого — отдельные детали, а не исчерпывающий рассказ. Этими же мотивами вызвано постоянное обращение к истории возникновения и воплощения своих замыслов. Собственный пример в глазах автора «Золотой розы» не более поучителен, чем опыт других писателей,— в особенности тех, кем он восхищается. Но ему он более близок. И поня-

тен изнутри. Ему легче его проанализировать. Собственный литературный путь служит для Паустовского путем практического постижения сущности литературы и ее ведущих закономерностей.

В «Золотой розе» речь идет о сложнейших явлениях поэтики. Но в ней нет ничего от ученой (а нередко и псевдонаучной) тяжеловесности. Разговор в «Золотой розе» переходит от одного предмета к другому, то неожиданно вспыхивая, то вдруг затухая. Тон и ритм повествования непрерывно меняются. Проникновенную поэтическую новеллу сменяет «жесткое» и суховатое теоретическое рассуждение, бытовая жанровая оценка уступает место открытому публицистическому пафосу, в котором звучат неприглушенные патетические ноты. Казалось бы, книга должна была выглядеть сумбурной и растрепанной, а между тем она отмечена как внутренним, так и внешним единством.

Это объясняется тем, что в центре «Золотой розы» стоит обаятельный автор-рассказчик. Он держит в своих руках нити повествования. Если он перебил ход своих рассуждений короткой выразительной новеллой или отступил от темы, о которой начал говорить, значит, это диктуется замыслом. Автор-рассказчик не топчется на месте, не изрекает дежурных сентенций. Он думает, сомневается, ищет. Не имитирует жизнь, а живет. Тон автора-рассказчика убежденный, страстный, порой запальчивый, но никогда не менторский. Он не повышает голоса. Не взывает к своему авторитету. Он кровно заинтересован судьбами литературы, в ней он видит высокий смысл жизни и работы — и это заставляет нас его слушать. Автор не бесстрастный наблюдатель литературного процесса, а его живой и пристрастный участник. Он борется. Его плацдарм — искусство. Причастность ко всему, что происходит в искусстве, страстная авторская позиция и делают «Золотую розу» произведением стройным и цельным.

Тексты вошедших в третий том произведений печатаются по изданию: К. Паустовский. Собр. соч. в 8-ми томах, т. 3 и 6. М., ИХЛ, 1967, 1969.

ПОВЕСТЬ О ЛЕСАХ

Впервые — в журнале «Огонек», 1948, № 27—36.

В примечаниях ко второму тому шеститомного Собрания сочинений, материал для которых давал К. Паустовский, сказано:

«Появлению «Повести о лесах» предшествовало несколько рассказов и очерков Паустовского об огромной роли лесов в жизни нашей земли и благодетельном влиянии их на психику человека. В числе этих рассказов: «Акварельные краски», «Золотое время», «Старый челн», «Кордон 273», а также ряд очерков и статей. «По-

весть о лесах» наиболее ясно выражает особенность творчества Паустовского. Писатель берет какой-либо подлинный случай или реального человека и, по его собственному признанию (в повести «Кара-Бугаз»), окружает их «слабым сиянием вымысла», добиваясь этим возможности полного раскрытия человеческого характера и характера происходящих событий.

В «Повести о лесах» Паустовский широко пользуется этим методом, в частности, в той части книги, где речь идет о Чайковском. В ней есть подлинный биографический материал о великом композиторе. Но основной задачей писателя было — передать с полной силой отношение Чайковского к лесам как к творческой лаборатории, как к тем явлениям природы, которые, по словам Чехова, «учат человека понимать прекрасное».

В главах о городке, родине Анфисы, Паустовский пишет о городе Ливны Орловской области, где он прожил лето и осень 1932 года.

Отдаленным прототипом писателя Леонтьева является писатель И. С. Соколов-Микитов (в текст книги вкралась опечатка и инициал отчества дан неверно: Н.) — лесной человек, охотник и замечательный знаток и певец нашей русской природы.

По свидетельству Паустовского, своим поэтическим ощущением лесных наших краев он обязан Мещорским лесам под Рязанью и Брянским лесам, где прошла часть юности писателя.

«Повесть о лесах» отдельным изданием вышла в Детгизе, М.— Л., 1949 г., в последующие годы выдержала ряд изданий в различных городах СССР, а также в Праге, Будапеште, Варшаве, Берлине и Бухаресте».

«Повесть о лесах» в целом была встречена критикой благожелательно. Отмечая слабость и натянутость некоторых ее сюжетных ходов, рецензенты высоко оценили доскональное знание писателем материала и его мастерство в изображении картин природы.

Стр. 6. *«Краса полуночной природы...»* — Из стихотворения Н. М. Языкова «Родина».

Стр. 7. *«Лишь у тебя, поэт, крылатый слова звук...»* — Из стихотворения А. А. Фета «Как беден наш язык! — Хочу и не могу...».

Стр. 16. *«Одной волной подняться в жизнь иную...»* — Из стихотворения А. А. Фета «Одним толчком согнать ладью живую...».

Стр. 20. *«Промотавшиеся отцы».*— Из стихотворения «Дума» М. Ю. Лермонтова: «Насмешкой горькою обманутого сына над промотавшимся отцом».

«Не расцвел и отцвел в утре пасмурных дней...» — Из стихотворения А. И. Полежаева «Вечерняя заря»,

Стр. 24. *Аренский* Антон Степанович (1861—1906) — русский композитор, пианист, дирижер.

Стр. 30. *Мичурин* Иван Владимирович (1855—1935) — русский биолог и селекционер.

Докучаев Василий Васильевич (1846—1903) — русский естествоиспытатель.

Стр. 31. *Шишкин* Иван Иванович (1832—1898) — русский живописец и график.

Стр. 55. *...семья Рахманиновых дала даровитого молодого композитора* — Речь идет о Сергее Васильевиче Рахманинове (1873—1943) — известном композиторе, пианисте, дирижере.

Стр. 56. *Тютчев* Федор Иванович (1803—1873) — русский поэт.

Никитин Иван Саввич (1824—1861) — русский поэт.

Лесков Николай Семенович (1831—1895) — русский писатель.

Белинский Виссарион Григорьевич (1811—1848) — русский литературный критик и публицист.

Головнин Василий Михайлович (1776—1831) — русский мореплаватель, вице-адмирал.

Крамской Иван Николаевич (1837—1887) — русский живописец.

Щепкин Михаил Семенович (1788—1863) — русский актер.

Ермолов Алексей Петрович (1777—1861) — русский генерал, участник Отечественной войны 1812 года, покорения Кавказа.

Павлов Иван Петрович (1849—1936) — русский физиолог, создатель учения о высшей нервной деятельности.

Циолковский Константин Эдуардович (1857—1935) — советский ученый и изобретатель в области аэро- и ракетодинамики, теории самолета и дирижабля; основоположник современной космонавтики.

Малышкин Александр Георгиевич (1892—1938) — русский советский писатель.

Новиков-Прибой (настоящая фамилия Новиков) Алексей Силыч (1877—1944) — русский советский писатель.

Гайдар (настоящая фамилия Голиков) Аркадий Петрович (1904—1941) — русский советский писатель.

Пришвин Михаил Михайлович (1873—1954) — русский советский писатель.

Вересаев (настоящая фамилия Смидович) Викентий Викентьевич (1867—1945) — русский советский писатель.

Асеев Николай Николаевич (1889—1963) — русский советский поэт.

Есенин Сергей Александрович (1895—1925) — русский советский поэт.

Архипов Абрам Ефимович (1862—1930) — советский живописец.

Стр. 57. *Мельников-Печерский* — Мельников (псевдоним Андрей Печерский) Павел Иванович (1818—1883) — русский писатель, автор эпопеи из жизни заволжских старообрядцев «В лесах» и «На горах».

Стр. 60. *Коренник* — лошадь, впрягаемая в оглобли; средняя лошадь в тройке.

Стр. 62. *Плицы* — здесь: лопасти пароходного колеса, захватывающие воду при его вращении.

Стр. 77. *Багашевы* — крупные заводчики, владельцы металлургических и металлообрабатывающих предприятий в Центральных районах России. Изготовленные на принадлежащих им в Туле заводах самовары завоевали призы на всемирной выставке в Париже в 1889 г.

Стр. 82. *«И свежий лес шумит при звуке ветерка...»* — Из стихотворения М. Ю. Лермонтова «Когда волнуется желтеющая нива...».

Стр. 88. *«Проселочным путем люблю скакать в телеге...»* — Из стихотворения М. Ю. Лермонтова «Родина».

Стр. 104. *Камерон* Чарлз (1730-е гг.— 1812) — русский архитектор, представитель классицизма. Шотландец по происхождению, с 1779 г. работал в России. В Царском Селе (ныне г. Пушкин) создал комплекс «Висячего сада», «Агатовых комнат», «Холодных бань», «Камероновой галереи».

«Сады прекрасные, под сумрак ваш священный вхожу с поникшей головой...» — Из стихотворения А. С. Пушкина «Воспоминания в Царском Селе».

Стр. 120. *«Есть женщины в русских селеньях...»* — Строка из поэмы Н. А. Некрасова «Мороз, Красный нос».

Стр. 129. *Галилей* Галилео (1564—1642) — итальянский ученый, один из основателей точного естествознания.

Стр. 141. *«Лесов таинственная сень...»* — Строка из главы четвертой «Евгения Онегина» А. С. Пушкина.

«Подруга дней моих суровых...» — Из стихотворения А. С. Пушкина «Няне».

«Роняет лес багряный свой убор...» — Из стихотворения А. С. Пушкина «19 октября».

Стр. 143. *Тимирязев* Климентий Аркадьевич (1843—1920) — русский ботаник.

Вильямс Василий Робертович (1863—1939) — советский почвовед, разработавший травопольную систему земледелия.

Стр. 150. *«Машенька»* — художественный фильм, поставленный в 1942 г. режиссером Ю. Я. Райзманом по сценарию Е. О. Габриловича.

ЗОЛОТАЯ РОЗА

Впервые — в журнале «Октябрь», 1955, № 9, 10.

В примечаниях ко второму тому шеститомного Собрания сочинений говорится:

«Задолго до появления «Золотой розы» Паустовский в своей статье «Поэзия прозы» («Знамя» № 9 за 1953 г.) упомянул о том, что мысль написать такого рода книгу появилась у него еще до Великой Отечественной войны. Книга была даже начата, но работу над ней пришлось надолго отложить из-за начавшейся войны, а также других более срочных работ.

Свыше десяти лет Паустовский вел семинары прозы в Литературном институте им. Горького. На семинаре обсуждалось множество вопросов, касающихся писательского мастерства и психологии творчества. Но весь этот богатый материал не оставил никакого внешнего следа — семинары не стенографировались и выступления руководителей не записывались. В связи с этим у Паустовского появилась мысль о том, чтобы в какой-то форме закрепить интересный материал. С течением времени эта мысль становилась все настойчивее и привела к созданию книги «Золотая роза».

Отдельным изданием повесть вышла в издательстве «Советский писатель», М., 1955.

Константин Георгиевич рассказывал мне, что, приступив в предвоенные годы к работе над книгой о писательском труде, он первоначально намеревался назвать ее «Железной розой». Но случилось так, что за годы, отделяющие первые наброски книги от ее окончательного плана, он написал первую часть «Повести о жизни» — «Далекие годы», куда вошла история лирника Остапа, сковавшего железную розу. Совестясь вторично «эксплуатировать» уже написанную историю железной розы, писатель видоизменил свой старый замысел и дал ему новое название.

Судя по сохранившейся стенограмме беседы Паустовского на тему «Рассказ как жанр художественной литературы», состоявшейся в Союзе писателей СССР 22 марта 1946 года, к этому времени уже выкристаллизовался окончательный замысел книги о писательском труде. В этой беседе Паустовский сказал:

«Я давно, очень давно уже думал над одной книгой, и, возможно, что мне удастся ее написать; я даже начал писать эту книгу — это книга о том, как пишутся книги... Я вспомнил... один маленький случай, который произошел в Париже с уборщиком, человеком, который убирал мастерские за деньги; обычно на Западе моют стекла в магазинах или приходит человек и прибирает ремесленные мастерские; этот человек прибирал ювелирные ма-

стерские, убирал пыль, но пыль он не выбрасывал, а приносил к себе домой, а затем он переплавлял эту пыль, и в этой пыли всегда были маленькие крупинки золота, серебра и т. д., драгоценных металлов, с которыми работают ювелиры. В конце концов из этой пыли, совершенно негодной якобы, из этого мусора он выплавил два слитка золота и из одного выковал маленькую золотую розу».

В завершающей главке «Золотой розы» («Напутствие самому себе») Паустовский писал:

«На этом я кончаю первую книгу своих заметок о писательском труде с ясным ощущением, что работа только начата и впереди ее — непочатый край. Нужно сказать еще об очень многом — эстетике нашей литературы, глубочайшем ее значении как воспитательницы нового человека с его богатым и высоким строем мыслей и чувств, о сюжете, юморе, образе, лепке человеческих характеров, изменениях русского языка, народности литературы, романтизме, хорошем вкусе, правке рукописей — всего не перечтешь».

Автор не успел написать вторую книгу о писательском труде, но в последнем прижизненном издании первой книги (она вошла в третий том восьмитомного Собрания сочинений) две главы были расширены, и, кроме того, появились главы, которых не было в предыдущих публикациях «Золотой розы». Маленькая главка о Чехове уступила место большой главе, в основу которой были положены «Заметки на папиросной коробке», написанные Паустовским к столетию со дня рождения Чехова и напечатанные в 1960 году в «Литературной газете». Вместо беглых слов о Блоке появилась большая глава о русском поэте, выросшая из очерка «Александр Блок». В текст книги о писательском труде автор включил очерк «Иван Бунин». Характерно, что последние два очерка при первой публикации в «Тарусских страницах» были снабжены подзаголовком: «Главы из второй книги «Золотая роза». В окончательный текст книги, оказавшейся последним прижизненным ее изданием, вошла глава «Маленькая роза в петлице (Юрий Олеша)», которая до этого под названием «Встречи с Олешей» была напечатана в «Литературной газете».

«Золотая роза» вызвала множество откликов в печати. Почти все, писавшие о ней, отдавали должное мастерству писателя: «...произведение очень своеобразное по жанру, свободное по форме» (Андрей Турков, «Литературная газета», 6 марта 1956 г.); «Золотая роза» представляет собой интересную попытку трактовать проблемы искусства средствами самого искусства... Самое ценное в этой книге то, что она заражает читателя... серьезным и внимательным отношением к литературе, пробуждает в нем творческую мысль» (Екатерина Старикова, «Дружба народов», 1956, № 4).

Вместе с тем книга Паустовского вызвала немало критических нареканий и претензий: писателя упрекали в ограниченности авторской позиции, проявляющейся в «отстраненности от существа явлений, в пассивности, с которой писатель — герой этой книги — взирает на жизнь» (Вадим Соколов, «Новый мир», 1956, № 3); в том, что «нередко писателю изменяет... верное и прекрасное эстетическое чутье... в ярких романтических пейзажах и жанровых сценах «Золотой розы» чувствуется иной раз некоторое излишество, избыток красивых деталей и эмоциональной приподнятости... недостаточное внимание к идейной основе искусства сказывается иногда в теоретических рассуждениях Паустовского» (Е. Старикова).

Стр. 164. *«Литература изъята из законов тления...»* — Из цикла очерков М. Е. Салтыкова-Щедрина «Круглый год».

Оноре Бальзак (1799—1850) — французский писатель.

Стр. 165. *...в армии «Маленького Наполеона».*— Имеется в виду Наполеон III (Луи Наполеон Бонапарт; 1808—1873) — французский император в 1852—1870 гг. Племянник Наполеона I. Прозвище «Наполеон маленький» дал ему Виктор Гюго в памфлете того же названия.

Мексиканская война — война против Мексики, которую вела Франция в 1862—1867 гг.

Стр. 167. *Аннамитские войны* — войны, которые вела Франция в 1858—1884 гг. по захвату Индокитая, называвшегося в ту пору Аннамом.

Крака-Така — Очевидно, имеется в виду вулкан Кракатау, расположенный не в Индокитае, а в Индонезии, в проливе между островами Ява и Суматра.

Стр. 173. *«Для писателя полная радость...»* — Из «Послания пошехонцам» М. Е. Салтыкова-Щедрина. В оригинале: «Писатель не крот, который в темной норе выполняет свое провиденциальное значение, а существо общественное и общительное, для которого полная радость наступает только тогда, когда он убеждается, что совесть его находится в соответствии с совестью ближних».

Стр. 176. *Гезы* — фландрские патриоты, поднявшие восстание против испанской монархии.

Тиль Уленшпигель — герой книги бельгийского писателя Шарля де Костера (1827—1879) «Легенда об Уленшпигеле и Ламме Гудзаке, об их доблестях, забавных и достоверных деяниях во Фландрии и в других краях».

«Пепел Клааса стучит» в сердца многих голландцев» — Имеются в виду слова Тиля Уленшпигеля: «Пепел Клааса стучит в мое сердце». Клаас — отец Тиля.

Стр. 179. *Врубель* Михаил Александрович (1856—1910) — русский живописец.

Борисов-Мусатов Виктор Эльпидифорович (1870—1905) — русский живописец.

Гоген Поль (1848—1903) — французский живописец, представитель постимпрессионизма.

Стр. 182. *Бородинский бой* — сражение около села Бородино, состоявшееся 26 августа (7 сентября) 1812 г., в котором русские войска под командованием М. И. Кутузова упорной героической обороной сорвали наполеоновский план разгрома русской армии, что предопределило поражение французской армии.

Дени Дидро (1713—1784) — французский философ, писатель, основатель и редактор «Энциклопедии».

«Царит весны таинственная сила...» — Из стихотворения А. А. Фета «Майская ночь».

Стр. 184. *Лойола* Игнатий (1491?—1556) — основатель ордена иезуитов.

Стр. 185. *Давид* — царь Израильско-Иудейского государства в конце II века — около 950 г. до нашей эры.

Стр. 192. *Джинс* Джеймс Хопвуд (1877—1946) — английский астрофизик, автор космогонической гипотезы.

Стр. 193. *Хаджи-Мурат* (конец 90-х гг. XVIII в.— 1852 г.) — участник освободительной борьбы кавказских горцев, один из правителей Аварского ханства, наиб Шамиля. Одержал ряд побед над русскими войсками. В 1851 г. перешел на сторону русских; убит при попытке бежать от них в горы.

«И даль свободного романа...» — Из главы восьмой «Евгения Онегина» А. С. Пушкина.

Стр. 194. *«И долго буду тем любезен я народу...»* — Из стихотворения А. С. Пушкина «Памятник».

«Вдохновение есть расположение души...» — Из заметок Пушкина по поводу статьи Кюхельбекера в альманахе «Мнемозина». У Пушкина не «критики», а «критик», то есть автор статьи, В. К. Кюхельбекер.

Стр. 195. *«Но лишь божественный глагол...»* — Из стихотворения Пушкина «Поэт».

«Тогда смиряется души моей тревога...» — Из стихотворения М. Ю. Лермонтова «Когда волнуется желтеющая нива...».

«Приближается звук. И, покорна щемящему звуку...» — Из стихотворения А. А. Блока (без названия), вошедшего в цикл «Родина».

«Тургенев называл вдохновение...» — Из «Воспоминаний о Тургеневе» Н. Островской. В оригинале: «Находят минуты, когда чув-

ствуешь желание писать — еще не знаешь, что именно, но чувствуешь, что писаться будет. Вот именно это-то настроение поэты называют «приближением бога»... И эти минуты составляют единственное наслаждение художника. Если бы их не было, никто бы и писать не стал. После, когда приходится приводить в порядок все то, что носится в голове, когда приходится излагать все это на бумаге,— тут-то и начинается мученье».

Стр. 198. *«...Пушкин молодой, сей ветреник блестящий...»* — Из стихотворного послания Е. А. Баратынского И. Ф. Богдановичу.

Стр. 199. *«Это мнение напоминает мне...»* — Из книги Н. Апостолова «Живой Толстой» (Н. Русанов. Поездка в Ясную Поляну).

Стр. 201. *Скиапарелли* Джованни Вирджинио (1835—1910) — итальянский астроном, обнаруживший на Марсе сеть тонких линий, названных им каналами.

Стр. 205. *Сойкин* Петр Петрович (1862—1938) — русский издатель.

Стр. 208. *«Красные дьяволята»* — художественный фильм, снятый в 1923 г. кинорежиссером И. Н. Перестиани по одноименной повести П. А. Бляхина.

Стр. 215. *Инвернесс* — городок на побережье Атлантического океана в Великобритании.

Стр. 216. *Пржевальский* Николай Михайлович (1839—1888) — русский путешественник, исследователь Центральной Азии.

Анучин Дмитрий Николаевич (1843—1923) — русский антрополог, географ, этнограф, археолог.

Гедин Свен Андерс (1865—1952) — шведский путешественник.

Грум-Гржимайло Григорий Ефимович (1860—1936) — русский географ и зоолог.

Стр. 219. *«О память сердца! Ты сильней...»* — Из стихотворения К. Н. Батюшкова «Мой гений».

...то, что Достоевский называл «подробностями текущей жизни».— Очевидно, имеется в виду письмо к Х. Алчевской, в котором Достоевский писал: «...Готовясь написать один очень большой роман, я и задумал погрузиться специально в изучение — не действительности, собственно, я с нею и без того знаком, а подробностей текущего».

Стр. 220. *Пожалостин* Иван Петрович (1837—1909) — русский гравер.

Стр. 222. *Брюллов* Карл Павлович (1799—1852) — русский живописец и рисовальщик.

Перов Василий Григорьевич (1833/34—1882) — русский живописец.

Виардо-Гарсиа Мишель Полина (1821—1910) — французская певица и композитор, друг И. С. Тургенева.

«Ненастный день потух...» — Из стихотворения (без названия) А. С Пушкина.

Стр. 224. *Иордан* Федор Иванович (1800—1883) — русский гравер.

Торвальдсен Бертель (1768 или 1770—1844) — датский скульптор.

Стр. 227. *Франк* Бруно (1887—1945) — немецкий писатель, автор биографического романа «Сервантес».

Манн Генрих (1871—1950) — немецкий писатель.

Эйнштейн Альберт (1879—1955) — немецкий физик, создавший частную и общую теорию относительности.

Цвейг Стефан (1881—1942) — австрийский писатель.

Стр. 228. *«Дивишься драгоценности...»* — Из статьи Н. В. Гоголя «Предметы для лирического поэта в наше время» (1844).

Стр. 229. *Кайгородов* Дмитрий Никифорович (1846—1924) — русский естествоиспытатель и популяризатор естествознания.

Аксаков Сергей Тимофеевич (1791—1859) — русский писатель.

Стр. 230. *Нестеров* Михаил Васильевич (1862—1942) — русский живописец.

Стр. 235. *«Люблю тебя, Петра творенье...»* — Из поэмы «Медный всадник» А. С. Пушкина (Вступление).

Стр. 236. *«И меня по ветряному свею...»* — Из стихотворения С. А. Есенина «В том краю, где желтая крапива...».

Стр. 241. *«И вот сентябрь! замедля свой восход...»* — Из стихотворения Е. А. Баратынского «Осень».

Стр. 243. *«Душа в заветной лире...»* — Из стихотворения А. С. Пушкина «Памятник».

«Этот листок, что иссох...» — Из стихотворения А. А. Фета «Поэтам». У Фета: «Золотом вечным горит в песнопеньи».

Стр. 247. *«Унылая пора! очей очарованье...»* — Из стихотворения А. С. Пушкина «Осень».

Стр. 248. *«. посмистой дубравной...»* — Из стихотворения Н. М. Языкова «К Рейну».

Стр. 249. *«Простота есть необходимое условие прекрасного».* — Из письма Л. Н. Толстого Л. Андрееву (1908 г.).

Стр. 251. *Фрегат* — трехмачтовое парусное военное судно.

Баркантина — парусное трех- и более мачтовое судно.

Шхуна — парусное судно с двумя и более мачтами с косыми парусами.

Клипер — быстроходное парусное судно океанского плавания, существовавшее до конца XIX в. В военном флоте клиперы исполь-

зовались для дозорной и посыльной службы; в торговом — для перевозки из южных морей в Европу и в Америку особо ценных грузов (чая, пряностей и т. д.); современное быстроходное парусно-моторное промысловое судно.

Стр. 252. *Кабельтов* — морская мера длины, равная 0,1 морской мили или 185,2 метра.

Бемское стекло — высокий сорт стекла богемского или чешского происхождения.

Стр. 253. *Хосе Мария Эредиа* — Жозе-Мария де Эредиа (1842—1905) — французский поэт-парнасец.

Стр. 254. *Сытин* Иван Дмитриевич (1851—1934) — русский издатель-просветитель.

Стр. 255. *Шопен* Фридерик (1810—1849) — польский композитор и пианист.

Холодная Вера Васильевна (1893—1919) — русская киноактриса.

Стр. 257. *...любая страница «Писем из Рима» Стендаля...*— Судя по контексту этого высказывания, речь идет не о «Письме из Рима о современной итальянской литературе» (и продолжающем его «Втором письме о современной итальянской литературе»),— произведениях более или менее «проходных» для Стендаля. Скорее, Паустовский имел в виду «Прогулки по Риму» — книгу, о которой он отзывается с неизменным восхищением.

Стр. 258. *«И спеет жатва дорогая...»* — Из стихотворения Е. А. Баратынского «Осень».

«И забываю мир, и в сладкой тишине...» — Из стихотворения А. С. Пушкина «Осень».

Стр. 260. *Лажечников* Иван Иванович (1792—1869) — русский писатель.

Стр. 263. *Флобер* Гюстав (1821—1880) — французский писатель.

Стр. 267. *«Гораздо лучше мечтать о романе, чем писать его»,— говорил Достоевский.*— Имеются в виду, очевидно, слова из романа Достоевского «Униженные и оскорбленные», где сказано: «Мне всегда было приятнее обдумывать мои сочинения и мечтать, как они у меня напишутся, чем в самом деле писать их...».

«От бедности,— говорил о себе Достоевский...» — Из письма Ф. М. Достоевского М. М. Достоевскому (1858 г.).

Стр. 268. *Эренбург* Илья Григорьевич (1891—1967) — русский советский прозаик и поэт.

Стр. 273. *...по словам Пушкина, мелочь, которая обычно ускользает от глаз...*— Имеются в виду слова Н. В. Гоголя из книги «Выбранные места из переписки с друзьями»: «Пушкин... мне говорил

всегда, что еще ни у одного писателя не было этого дара выставлять так ярко пошлость жизни, уметь очертить в такой силе пошлость пошлого человека, чтобы вся та мелочь, которая ускользает от глаз, мелькнула бы крупно в глаза всем».

Стр. 275. *Скотт Вальтер* (1771—1832) — английский писатель.

Бернс Роберт (1759—1796) — шотландский поэт.

...Горький задумал издавать серию книг под рубрикой «История фабрик и заводов».— 7 сентября 1931 г. А. М. Горький выступил в газете «Правда» со статьей «История фабрик и заводов», в которой обратился с призывом к писателям создать историю крупнейших промышленных предприятий России.

Стр. 282. *Золя* Эмиль (1840—1902) — французский писатель.

Стр. 283. *Конвент* — высший законодательный и исполнительный орган Первой Французской республики, действовавший с 1792 по 1795 г.

Марат Жан-Поль (1743—1793) — один из вождей якобинцев в период Великой французской революции.

«Бемби» — мультипликационный фильм американского кинорежиссера и художника Уолта Диснея (1901—1966).

Стр. 284. *Если бы человек...*— Вольный пересказ слов Д. И. Писарева из статьи «Промахи незрелой мысли». У Писарева: «Если бы человек был совершенно лишен способности мечтать... если бы он не мог изредка забегать вперед и созерцать воображением своим в цельной и законченной красоте то самое творение, которое только что начинает складываться под его руками,— тогда я решительно не могу представить, какая побудительная причина заставляла бы человека предпринимать и доводить до конца обширные и утомительные работы в области искусства, науки и практической жизни».

«Случайно на ноже карманном...» — Из стихотворения А. А. Блока «Ты помнишь, в нашей бухте сонной...».

Стр. 286. *Эльдорадо* — мифическая страна золота и драгоценных камней, которую разыскивали в Америке испанские завоеватели.

Каравелла — в средние века трех- или четырехмачтовое парусное судно.

Стр. 288. *Ломоносов* Михаил Васильевич (1711—1765) — русский ученый-энциклопедист и поэт.

Стр. 290. *Твен Марк* (настоящее имя Семюэл Клеменс; 1835—1910) — американский писатель.

Стр. 291. *«Хаос — предтеча творения...»* — Из письма А. А. Бестужева-Марлинского Н. А. Полевому (1832 г.).

Стр. 293. *«Поэты недаром говорят о вдохновении...»* — Слова И. С. Тургенева приведены в воспоминаниях о нем Н. Островской.

Стр. 296. *Баркарола* — песня венецианских лодочников (гондольеров).

Стр. 304. *Канова* Антонио (1757—1822) — итальянский скульптор, представитель классицизма.

Стр. 306. *Кантилена* — плавная, певучая мелодия.

Стр. 308. *Переплетчиков* Василий Васильевич (1863—1918) — русский художник-пейзажист.

Роскин Александр Иосифович (1898—1941) — русский советский литературовед, театральный и литературный критик.

Стр. 309. *«По рыбам, по звездам проносит шаланду...»* — Из стихотворения Э. Г. Багрицкого «Контрабандисты».

Мария Павловна Чехова (1863—1957) — сестра А. П. Чехова, автор книги воспоминаний «Из далекого прошлого».

Стр. 311. *Куприн* Александр Иванович (1870—1938) — русский писатель.

Мамин-Сибиряк Дмитрий Наркисович (1852—1912) — русский писатель.

Станиславский (Алексеев) Константин Сергеевич (1863—1938) — советский режиссер, актер, педагог, теоретик театра.

Бунин Иван Алексеевич (1870—1953) — русский писатель.

Короленко Владимир Галактионович (1853—1921) — русский писатель.

Стр. 312. *Тихонов* (псевдоним — А. Серебров, Н. Серебров) Александр Николаевич (1880—1956) — русский советский писатель и литературный деятель.

Стр. 314. *«Рим в одиннадцать часов», «Похитители велосипедов», «Машинист», «Полицейские и воры», «Мечты на дорогах»* — неореалистические фильмы, созданные в первое послевоенное десятилетие в Италии.

Стр. 315. *Орландо* (Роланд) — герой рыцарской поэмы «Неистовый Роланд» итальянского поэта Лудовико Ариосто (1474—1533).

Петрарка Франческо (1304—1374) — итальянский поэт.

Абеляр Пьер (1079—1142) — французский философ, богослов, поэт.

Леопарди Джакомо (1798—1837) — итальянский поэт-романтик.

«В томленьях его исступленных...» — Из стихотворения А. А. Блока «Демон». У Блока: «В томленьи твоем исступленном тоска небывалой весны».

Пяст (наст. фамилия — Пестовский) Владимир Алексеевич (1886—1940) — русский поэт и переводчик.

«Этот голос — он твой...» — Из стихотворения А. А. Блока «Приближается звук. И покорна щемящему звуку...».

...«пора уже в дорогу бренные пожитки собирать...» — Из стихотворения С. А. Есенина «Мы теперь уходим понемногу...».

Стр. 320. *«И невозможное возможно...»* — Из стихотворения А. А. Блока «Россия».

«...низких нищих деревень не счесть...» — Из стихотворения А. А. Блока «Осенний день».

Стр. 321. *«Дремлю, и за дремотой — тайна...»* — Из стихотворения А. А. Блока «Русь».

«Не в богатом покоишься гробе...», «Нет, не вьются там по небу чубы...» — Из стихотворения А. А. Блока «Новая Америка».

«...чудь начудила и меря намерила».— Из стихотворения А. А. Блока «Русь моя, жизнь моя, вместе ль нам маяться?..».

«И коварнее северной ночи...» — Из стихотворения А. А. Блока «К музе».

Стр. 322. *«И веют древними поверьями...», «Я вижу берег очарованный», «И очи синие...»* — Строки из стихотворения А. А. Блока «Незнакомка».

«Ты рванулась движеньем испуганной птицы...» — Из стихотворения А. А. Блока «В ресторане».

«Сотри случайные черты...» — Из пролога поэмы А. А. Блока «Возмездие».

Стр. 323. *«Он таил от нас свою жизнь».*— Из дневника французского писателя Жюля Ренара (1864—1910). Ренар писал о Мопассане: «Напрасно он таил от нас свою жизнь; значит, он не был до конца писателем, ибо его жизнью объясняется его творчество, а его сумасшествие, быть может, самая прекрасная страница».

Стр. 324. *Башкирцева* Мария Константиновна (1860—1884) — русская художница и мемуаристка.

Бурже Поль Шарль Жозеф (1852—1935) — французский писатель.

Стр. 326. *Венгеров* Семен Афанасьевич (1855—1920) — русский историк литературы и библиограф.

Стр. 327. *«Илья Пророк»* — рассказ И. А. Бунина «Жертва», первоначально названный автором «Ильей Пророком».

Стр. 330. *Второй съезд советских писателей встретил овацией слова о том, что Бунин должен быть возвращен советской литературе.*— Имеется в виду выступление К. Федина, который под аплодисменты присутствующих сказал: «Не следует, по моему мнению, отчуждать Бунина от истории русской литературы, и все ценное из его творчества должно принадлежать читателю...».

Стр. 334. *Леконт де Лиль* Шарль (1818—1894) — французский поэт-парнасец.

Стр. 335. *Кимвал* — древний музыкальный инструмент в виде медных тарелок.

Стр. 340. *«И цветы, и шмели, и трава, и колосья...»* — Стихотворение (без названия), написанное Буниным 14 июля 1918 г.

Стр. 345. *Жюль Валлес* (1832—1885) — французский писатель.

Роллан Ромен (1866—1944) — французский писатель.

Доде Альфонс (1840—1897) — французский писатель.

Вийон Франсуа (1431 или 1432 — ?) — французский поэт.

Стр. 347. *Уточкин* Сергей Исаевич (1876—1916) — один из первых русских летчиков.

Стр. 349. *Диоген* Синопский (ок. 400 — ок. 325 гг. до н. э.) — древнегреческий философ-киник.

Стр. 356. *Ключевский* Василий Осипович (1841—1911) — русский историк.

Ферсман Александр Евгеньевич (1883—1945) — советский геохимик и минералог.

Обручев Владимир Афанасьевич (1863—1956) — советский геолог и географ.

Мензбир Михаил Александрович (1865—1935) — советский зоолог.

Арсеньев Владимир Клавдиевич (1872—1930) — советский исследователь Дальнего Востока, этнограф и писатель.

Фенология — раздел биологии, изучающий периодические явления в развитии органической природы, обусловленные сменой времен года.

Орнитология — раздел зоологии, изучающий птиц.

Стр. 363. *Надсон* Семен Яковлевич (1862—1887) — русский поэт.

Стр. 365. *«Живопись учит смотреть и видеть...»* — Из статьи А. А. Блока «Краски и слова».

Джон Рескин (1819—1900) — английский писатель, историк и теоретик искусства.

Стр. 372. *Пикассо* (наст. фамилия Руис) Пабло (1881—1973) — французский живописец.

Матисс Анри (1869—1954) — французский живописец, график, мастер декоративного искусства.

Гоген Поль (1848—1903) — французский живописец.

Стр. 375. *«Где граница между прозой и поэзией...»* — Из «Дневника молодости» Л. Н. Толстого. У Толстого не «граница», а «границы».

Стр. 376. ...*«поэзия есть предвестник...»* — Из «Психологических заметок» В. Ф. Одоевского. У Одоевского: «Поэзия, как говорят, миротворительница; она есть предвестник...»

МАЛЕНЬКИЕ ПОВЕСТИ

СУДЬБА ШАРЛЯ ЛОНСЕВИЛЯ

Впервые — отдельным изданием в издательстве «Молодая гвардия». М., 1933.

В целом повесть вызвала сочувственные отклики. Исключение составила лишь опубликованная в «Литературной газете» (17 ноября 1933 г.) статья Виктора Шкловского «Роман из общих представлений». В том же номере газеты был напечатан ответ автора «Упрек возвращаю», в котором Паустовский оспаривал доводы критика.

Стр. 385. *Фуляр* — в данном случае: носовой платок.

Стр. 389. *Грейг* Самуил Карлович (1736—1788) — адмирал русского флота, командующий Балтийским флотом в русско-шведской войне 1788—1790 гг.

...о битве при Ватерлоо.— Ватерлоо — городок под Брюсселем, где 17 июня 1815 г. была разгромлена армия Наполеона I, что привело ко вторичному отречению его от престола.

...о плеяде Людовиков.— Речь идет о представителях династии Бурбонов, правившей Францией в XVI—XIX вв.

Плутарх (ок. 45 — ок. 127) — древнегреческий писатель и историк.

Стр. 391. *Порфир* — вулканическая горная порода, в которой резко выделяются величиной или цветом отдельные крупные кристаллы. Употребляется как строительный материал.

Павел (1754—1801) — российский император с 1796 г. до убийства его придворными заговорщиками в 1801 г.

Стр. 392. *Оссиан* — легендарный воин и бард кельтов, живший, по преданию, в III в. Известна литературная мистификация Дж. Макферсона (1736—1796), издавшего «Сочинения Оссиана, сына Фингала».

Стр. 394. *Екатерина II* Алексеевна (1729—1796) — российская императрица с 1762 по 1796 г.

Державин Гаврила Романович (1743—1816) — русский поэт.

Стр. 397. *«Энеида»* — поэма римского поэта Вергилия Марона Публия (70—19 гг. до н. э.).

Карфаген — древнее государство на севере Африки.

Дидона — карфагенская царица, героиня «Энеиды».

Стр. 398. *Санкюлот* — революционер, республиканец периода Французской революции (конец XVIII в.).

Монтаньяры — левые политические группы депутатов в Национальном конвенте во время Французской революции.

Стр. 401. *Фараон* — здесь: азартная карточная игра.

Стр. 406. *Янус* — согласно римской мифологии, божество дверей, входа и выхода, затем — всякого начала. Изображался с двумя лицами (одно обращено в прошлое, другое — в будущее).

Стр. 407. *Тайная экспедиция* — высший орган политического надзора и сыска в России (1762—1801).

Стр. 412. *Руже де Лиль* Клод Жозеф (1760—1836) — французский военный инженер, поэт и композитор. Автор революционного гимна «Марсельеза».

Стр. 413. *Цезарь* Гай Юлий (102 или 100 — 44 гг. до н. э.) — римский полководец.

Стр. 414. *Плюмаж* — украшение из перьев на головных уборах и конской сбруе.

Стр. 423. *...не хуже золингенских.*— Речь идет о Золингене — городе в земле Рейн-Вестфалия в Западной Германии, славящемся высоким качеством производимой в нем стали.

Стр. 427. *«Как адский луч...»* — Из стихотворения А. С. Пушкина «Кинжал».

Стр. 429. *«Товарищ, верь: взойдет она...»* — Из стихотворения А. С. Пушкина «К Чаадаеву».

ОЗЕРНЫЙ ФРОНТ

Впервые — в журнале «Тридцать дней», 1933, № 1 (под названием «Озерная война»). Под названием «Озерный фронт» вышла в «Роман-газете», 1934, № 10 и в том же году в Детиздате.

Стр. 431. *Флагман* — командующий крупным соединением военных кораблей, а также корабль (флагманский корабль), на котором находится командующий.

Стр. 437. *Трафальгарская битва* — морское сражение, состоявшееся в октябре 1805 г. у мыса Трафальгар (возле испанского города Кадис), в котором английский флот под командованием Нельсона разгромил франко-испанский флот под командованием адмирала Вильнева. В Трафальгарском сражении был смертельно ранен Нельсон.

Стр. 441. *Кнехты* — парные чугунные, стальные или деревянные тумбы на палубе судна, у его бортов, или на пристани, служащие для закрепления швартовых или буксирных канатов.

Стр. 443. *Блокгауз* — дерево-земляная, каменная или бетонированная постройка, рассчитанная на круговую оборону и используемая в качестве опорного пункта.

Стр. 449. *Диниг-рум* (дайнинг-рум) — столовая (а н г л.).

Стр. 454. *Лаперуз* Жан-Франсуа (1741—1788?) — французский мореплаватель.

Нансен Фритьоф (1861—1930) — норвежский исследователь Арктики.

Стр. 457. *«Люблю я пышное природы увяданье...»* — Из стихотворения А. С. Пушкина «Осень».

Стр. 458. *«Дым багровый клубами всходит к небесам».* — Из песни третьей поэмы А. С. Пушкина «Полтава». У Пушкина: «Дым багровый кругами всходит к небесам».

Стр. 461. *Кетлинский* Казимир Филиппович — контр-адмирал, командовавший в 1917—1918 гг. Мурманским укрепленным районом и отрядом судов.

Стр. 462. *Форштевень* — массивная часть судна, являющаяся продолжением киля и образующая носовую оконечность судна.

Стр. 468. *Крестовые походы* — походы (1096—1270 гг.) на Ближний Восток, организованные западноевропейскими феодалами под лозунгом борьбы с «неверными» (мусульманами) и освобождения «гроба господня» в Иерусалиме и «святой земли» (Палестины).

Стр. 469. *Миссолунги* — город в Греции.

СОЗВЕЗДИЕ ГОНЧИХ ПСОВ

Впервые — в журнале «Знамя», 1937, № 6.

Стр. 471. *Мистраль* — сильный и холодный северный ветер, дующий с гор.

Стр. 473. *Рибера* Хусепе (1591—1652) — испанский живописец и гравер.

ОРЕСТ КИПРЕНСКИЙ

Впервые — в журнале «Красная новь», 1937, № 6.

Стр. 498. *Бруни* Федор Антонович (1799—1875) — русский исторический живописец.

Кукольник Нестор Васильевич (1809—1868) — русский поэт, романист, драматург.

Стр. 499. *Уткин* Николай Иванович (1730—1863) — русский гравер.

Стр. 500. *Федотов* Павел Андреевич (1815—1852) — русский живописец и рисовальщик.

Бенкендорф Александр Христофорович (1783—1844) — русский государственный деятель. Активный участник подавления восста-

ния декабристов. С 1826 г. шеф жандармов и главный начальник III Отделения.

Елисавета (Елизавета) Петровна (1709—1761 или 1762) — российская императрица с 1741 г. Дочь Петра I.

Меншиков Александр Данилович (1673—1729) — сподвижник Петра I, светлейший князь, генералиссимус.

Стр. 503. ...*неведомого поэта* — По свидетельству К. Г. Паустовского, отдельные стихотворные строки в повести принадлежат ему (письмо директору музея А. П. Чехова в Ялте С. Г. Брагину от 22 июля 1963 г.: «Некоторые стихи для своей прозы я пишу сам»).

Стр. 504. *Левицкий* Дмитрий Григорьевич (ок. 1735—1822) — русский живописец

Стр. 506. *Вахтпарад* — военный церемониал при смене караула.

Стр. 507. *Ван Дейк* Антонис (1599—1641) — фламандский живописец.

Стр. 508. *Козлов* Иван Иванович (1779—1840) — русский поэт. В 1821 г. ослеп.

Ростопчин Федор Васильевич (1763—1826) — русский государственный деятель. В Отечественную войну 1812 г. московский генерал-губернатор.

Оленин Алексей Николаевич (1763—1843) — президент Академии художеств, директор Публичной библиотеки (с 1811 г.), археолог, историк, художник.

Голенищев-Кутузов Михаил Илларионович (1745—1813) — русский полководец, генерал-фельдмаршал, в Отечественную войну 1812 г.— главнокомандующий.

Мочалов Павел Степанович (1800—1848) — русский драматический актер.

Давыдов Денис Васильевич (1784—1839) — русский поэт, партизан Отечественной войны 1812 г., генерал-лейтенант.

Стр. 509. *Фигнер* Александр Самойлович (1787—1813) — полковник русской армии. В Отечественную войну руководил партизанским отрядом.

Вяземский Петр Андреевич (1792—1878) — русский поэт и литературный критик.

Мартос Иван Петрович (1754—1835) — русский скульптор.

Стр. 512. ...*«служенье муз не терпит суеты...»* — Из стихотворения А. С. Пушкина «19 октября».

Стр. 514. *Атланты* — согласно греческой мифологии, титаны, держащие на своих плечах небесный свод в наказание за их борьбу против богов Олимпа.

Храм святого Петра — собор в Ватикане, построенный в XV—XVIII вв.

«Могучие создания кисти возносились сумрачно...» — Из повести Н. В. Гоголя «Рим».

Стр. 515. *Корреджо* (наст. фамилия — Аллегри) Антонио (ок. 1489—1534) — итальянский живописец.

Остерия — трактир, кабачок (итал.).

Стр. 523. *Кюхельбекер* Вильгельм Карлович (1797—1846) — русский поэт.

Аракчеев Алексей Андреевич (1769—1834) — государственный деятель и временщик при Павле I и Александре I.

Стр. 524. *«Где пел Торквато величавый...»* — Из стихотворения А. С. Пушкина «Кто знает край, где небо блещет...».

Стр. 527. *Лоррен* (наст. фамилия — Желле Клод; 1600—1682) — французский живописец и график.

ИСААК ЛЕВИТАН

Впервые — в журнале «Красная новь», 1937, № 6.

Стр. 530. *Саврасов* Александр Кондратьевич (1830—1897) — русский живописец.

Сергий Радонежский (ок. 1321—1397) — основатель и игумен Троице-Сергиева монастыря.

Стр. 531. *Коро* Камиль (1796—1875) — французский живописец.

Стр. 532. *«Мой голос для тебя и ласковый, и томный...»* — Из романса А. Г. Рубинштейна на слова А. С. Пушкина («Ночь»).

Полонский Яков Петрович (1819—1898) — русский поэт.

Апухтин Александр Николаевич (1841—1893) — русский поэт.

Стр. 533. *...братья Коровины* — Коровин Константин Александрович (1861—1939) — русский живописец, Коровин Сергей Александрович (1858—1889) — русский живописец

Чехов Николай Павлович (1858—1889) — русский художник, брат А. П. Чехова.

ТАРАС ШЕВЧЕНКО

Впервые — Гослитиздат, М., 1939.

Стр. 553. *Железняк* (Зализняк) Максим (начало 1740-х гг.—?) — запорожский казак, один из руководителей крестьянского восстания на Правобережной Украине против польской шляхты (Колиивщина).

Гонта Иван (? — 1768) — сотник надворных казаков польских магнатов Потоцких, один из руководителей Колиивщины.

Стр. 555. *Ней* Мишель (1769—1815) — маршал Франции.

Стр. 558. *Константин Павлович* (1779—1831) — русский великий князь, сын Павла I. С 1814 г. наместник Королевства Польского.

Стр. 562. *Виельгорский* (Вьельгорский) Матвей Юрьевич (1794—1866) — русский виолончелист и музыкальный деятель.

Стр. 565. *Гайдн* Франц Йозеф (1732—1809) — австрийский композитор.

Кармелюк (Кармалюк) Устим Якимович (1787—1835) — руководитель антикрепостнического восстания на Правобережной Украине в 1832—1835 гг.

Стр. 566. *Гребенка* Евгений Павлович (1812—1848) — украинский и русский писатель.

Остроградский Михаил Васильевич (1801—1861 или 1862) — русский математик.

Стр. 567. *Соколов* Петр Федорович (1791—1848) — русский живописец.

Стр. 569. *Бодянский* Осип Максимович (1808—1877) — русский и украинский филолог-славист и историк.

Кулиш Пантелеймон Александрович (1819—1897) — украинский писатель, историк, этнограф.

Стр. 572. *Гус* Ян (1371—1415) — национальный герой чешского народа, идеолог чешской реформации.

Соленик Карп Трофимович (1811—1851) — украинский актер.

«Горные вершины...» — Стихотворение Иоганна Вольфганга Гете, переведенное на русский язык М. Ю. Лермонтовым.

Стр. 573. *Костомаров* Николай Иванович (1817—1885) — русский и украинский историк и писатель.

Стр. 582. *Маркитант* — мелочной торговец, преимущественно съестными припасами, сопровождающий армию в походе.

Стр. 583. *Дмитрий Донской* (1350—1389) — великий князь московский и владимирский, возглавивший борьбу русского народа против монгольского ига.

Лазарев Михаил Петрович (1788—1851) — русский мореплаватель, адмирал.

Стр. 584. *Дубельт* Леонтий Васильевич (1792—1862) — русский генерал, начальник отделения корпуса жандармов, в 1839—1856 гг. одновременно управляющий III Отделением.

Писемский Алексей Феофилактович (1821—1881) — русский писатель.

Бэр Карл Максимович (Карл Эрнст; 1792—1876) — русский естествоиспытатель и географ.

Стр. 587. *Братья Жемчужниковы* — Жемчужников Алексей Михайлович (1821—1908) — русский поэт. Жемчужников Владимир

Михайлович (1830—1884) — русский поэт. Братья Жемчужниковы вместе с Алексеем Константиновичем Толстым (1817—1875) создали Козьму Пруткова.

Стр. 590 *«Роберт-Дьявол»* — опера Джакомо Мейербера (1791—1864).

Соловьев Сергей Михайлович (1820—1879) — русский историк.

Стр. 591. *«Свобода — женщина с упругой, мощной грудью...»* — Строки из стихотворения «Собачий пир» французского поэта Огюста Барбье, переведенного на русский язык В. Бенедиктовым.

Паганини Никколо (1782—1840) — итальянский скрипач и композитор.

Стр. 593. *Даль* Владимир Иванович (1801—1872) — русский писатель, этнограф, лексикограф.

Анненков Иван Александрович (1802—1878) — декабрист, поручик, член Северного общества.

Стр. 595. *Даргомыжский* Александр Сергеевич (1813—1869) — русский композитор.

Щербина Николай Федорович (1821—1869) — русский поэт.

МЕЩОРСКАЯ СТОРОНА

Впервые — Детиздат, 1939.

В 1931 г. в журнале «На суше и на море» появился очерк «Мещорский край» — первое обращение автора к Мещоре.

В примечаниях к четвертому тому шеститомного Собрания сочинений сказано:

«Мещорский край (лесистая низменность между Рязанью и Владимиром) Паустовский несколько раз называл своей «второй родиной». Писатель прожил в этом краю с небольшими перерывами свыше двадцати лет. Это время было одним из самых плодотворных в его творчестве. По свидетельству автора, в Мещоре он впервые вплотную прикоснулся к народной жизни и к истокам чистого народного языка.

Роль Мещоры в творчестве Паустовского очень значительна. Об этом свидетельствует не только повесть «Мещорская сторона», но и многие рассказы и очерки Паустовского, посвященные этому уголку русской земли.

«Мещорская сторона» встретила на редкость единодушный прием. Все писавшие о повести отмечали ее достоинства и — прежде всего — изобразительное мастерство автора.

Андрей Платонов высказал мнение, что «Мещорская сторона» — «Это и есть собственная страна писателя, открытая им для себя и для нас и открывающая нам Паустовского как истинного художника. В этом рассказе есть простое течение природы, вос-

созданное Паустовским с такой воодушевляющей прелестью, которая лишь изредка удается художникам слова... В лице Паустовского мы имеем художника «неодушевленной» природы, и он только начал испытывать свою силу, и в будущем мы, возможно, явимся читателями его новых, еще более совершенных произведений, посвященных «великому лику космоса», склонившемуся к человечеству» («Детская литература», 1940, № 9).

Критик Александр Роскин считал, что такие произведения Паустовского, как «Мещорская сторона»,— «произведения живописи, созданные средствами словесного мастерства. Их можно было бы вешать на стену, если бы только для подобных картин существовали рамы и гвозди» («Литературный критик», 1938, № 1).

Стр. 627. *Татьяна Есенина.*— По свидетельству сестры поэта А. Есениной, тети Татьяны у них не было и этот эпизод не мог иметь места. Очевидно, «бабка», приходившая к Паустовскому и назвавшаяся именем матери Есенина, никакого отношения к семье поэта не имела.

РАЗЛИВЫ РЕК

Впервые — в сборнике рассказов Паустовского «Бег времени», «Советский писатель», 1954.

Стр. 632. *«И может быть, на мой закат печальный...»* — Из «Элегии» («Безумных лет угасшее веселье...») А. С. Пушкина.

Стр. 634. *Погодин* Михаил Петрович (1800—1875) — русский историк, писатель.

Схима — высшая монашеская степень, требующая от посвященного в нее выполнения суровых аскетических правил. Схимник — тот, кто принял схиму.

Стр. 635. *«На светские цепи .»* — Из стихотворения М. Ю. Лермонтова, посвященного М. А. Щербатовой.

Стр. 639. *Ренсковый погребок* — магазин, торгующий виноградными винами (от старинного названия всякого виноградного вина — «ренское», буквально: рейнское).

Шорник — специалист по изготовлению шор, то есть конской упряжи (без дуги и хомута).

Рядно — толстый холст из конопляной или грубой льняной пряжи.

Стр. 643. *«Коперник весь свой век трудился...»* — Слова студенческой песни.

Стр. 649. *«Мне грустно потому, что я тебя люблю...»* — Из стихотворения М. Ю. Лермонтова «Отчего».

Л. Левицкий

СОДЕРЖАНИЕ

ПОВЕСТЬ О ЛЕСАХ

ЗОЛОТАЯ РОЗА

МАЛЕНЬКИЕ ПОВЕСТИ

Паустовский К. Г.

П 21 Собрание сочинений: В 9-ти т.— М.: Худож. лит., 1980. —

Т. 3. Повести. /Примеч. Л. Левицкого.—1982.— 687с.

В том вошли «Повесть о лесах» и «Мещорская сторона» — о взаимоотношении человека и природы, исторические повести «Озерный фронт» и «Судьба Шарля Лонсевиля», жизнеописания людей искусства и науки («Созвездие Гончих Псов», «Орест Кипренский», «Исаак Левитан», «Тарас Шевченко» и др.), книга о писательском труде «Золотая роза».

П $\frac{4702010200\text{-}352}{028(01)\text{-}82}$ подписное Р2

Константин Георгиевич
ПАУСТОВСКИЙ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
ТОМ 3

Редактор Л. Полосина
Художественный редактор
Е. Ененко
Технический редактор
С. Ефимова
Корректор
Г. Володина

ИБ 2174
Сдано в набор 06.12 80 Подписано в печать 14 12 81 Формат 84×108$^{1}/_{32}$. Бумага типогр. № 2. Гарнитура «Обыкновенная новая». Печать высокая. Усл. печ. л. 36,12. Усл. кр отт. 36,12. Уч.-изд. л. 37,87. Изд. № III-139. Тираж 125 000 экз. Заказ № 2532. Цена 2 р. 60 к.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература». 107882, ГСП, Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19

Ордена Октябрьской Революции и ордена Трудового Красного Знамени Первая Образцовая типография имени А. А. Жданова Союзполиграфпрома Государственного комитета СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Москва, М-54, Валовая, 28

